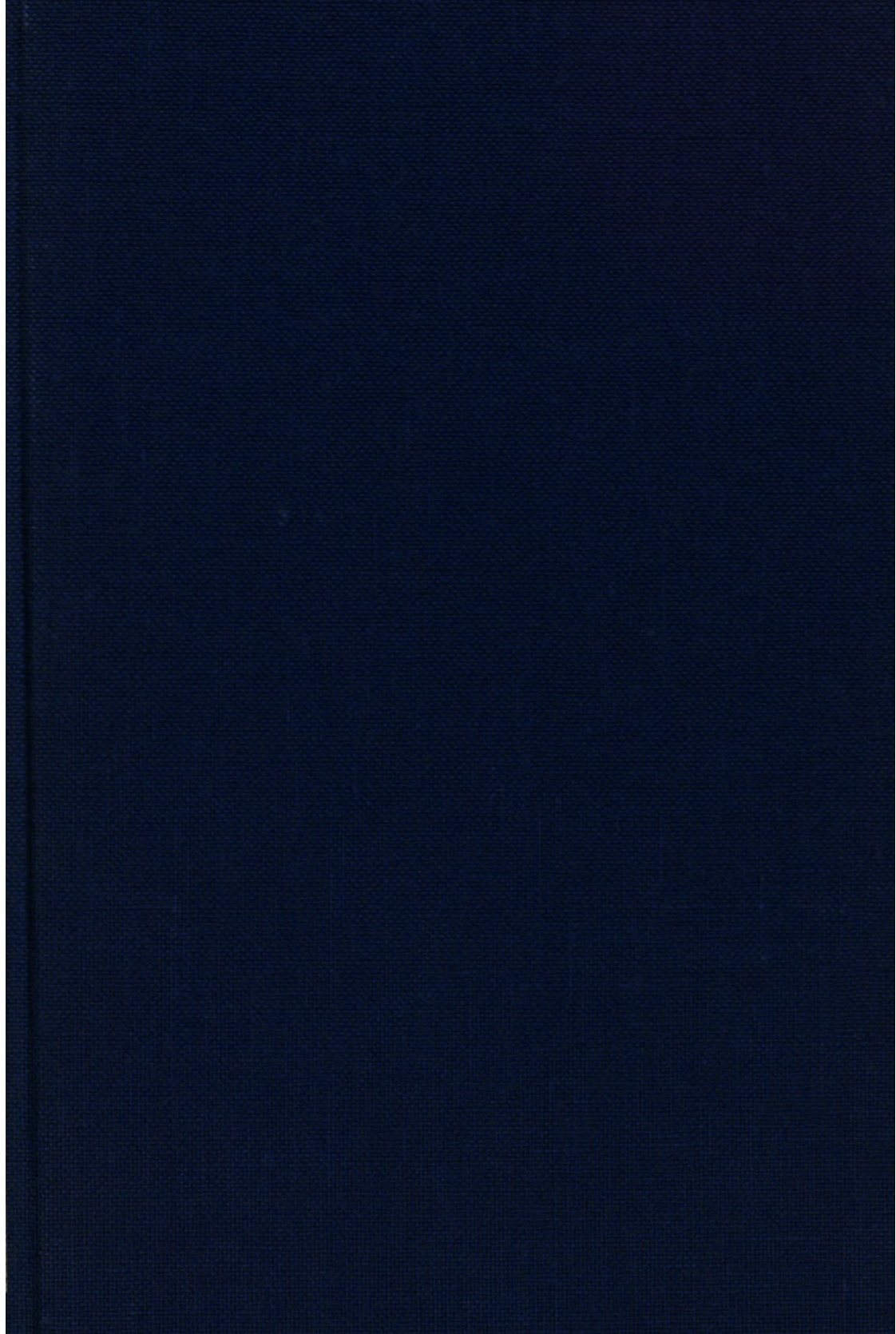




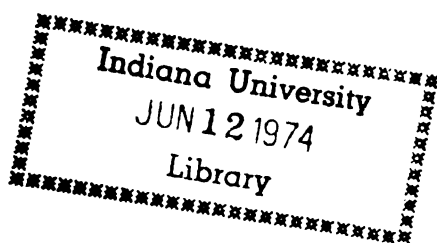


1000



SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS

94/27



Published by Europe Printing Establishment

This volume was previously announced as

SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS, 265/8

a series published by Mouton Publishers, The Hague, Netherlands

(supplements Slavistic Printings and Reprintings, 94/1–11)



EUROPE PRINTING ESTABLISHMENT

VADUZ – LIECHTENSTEIN

1973

БЫЛОЕ

Byloe

№ 16

1921

КС

DK1
.B982
New ser.
no. 16-17

INDIANA UNIVERSITY LIBRARY

Р. В. Ц.

Москва

15 т экз.

7-я типография М. С. Н. Х. (бывш. Мамонтова).

Две дорогие тени.

(Из воспоминаний о Г. В. Плеханове и М. А. Натансона, как семидесятиниках).

1. Георгий Валентинович Плеханов.

Есть люди, подобные монетам, на которых чеканится одно и то же изображение. Другое — похожи на медали, выбиваемые только для данного случая.

Горький.

Он был самый молодой среди нас. Но уже и тогда он выделялся своей эрудицией, гибким острым умом, живым, с огоньком, словом. За это последнее мы его прозвали „оратором“. Под этой же кличкой он выступил 6-го декабря 1876 года во время „Казанской демонстрации“. Познакомился я с ним в первый раз в 1875 году, в Петербурге. Как то встречаю на улице гимназического своего товарища, Успенского. Зовет к себе, с ним сейчас живет интересный юноша, студент Горного Института. Ладно! — ответил я. Действительно, интересный юноша. Типичный по внешности студент. Среднего роста, стройный, небольшая, темнорусая, лопатой, бородака, каштанового цвета волосы на голове, мягкими прядями падающие назад, белый, как мрамор, высокий лоб, карие, слегка миндалевидные глаза. Лицо в общем приятное, оригинальное. Особенно — живые, острые, порою насмешливые глаза. Разговорились. Как водится, подняли спор. Не помню сейчас всех подробностей нашего спора, но фигурировала здесь, — и это я помню хорошо, — статья Михайловского „О счастье“. И опять прекрасное впечатление. Что то свое, вызывающее, горячее. Чувствуется талант, способность к самостоятельному мышлению. Чувствуется темперамент. Славный юноша. Повидимому, много работает по своей специальности: комната вся уставлена химическими снарядами, ретортами, колбами, банками и прочими химическими принадлежностями. На полках и на столе книги. Много книг. И не только по естествознанию, но и общеобразовательных, серьезных книг много. Очевидно, читает много. Встретились мы опять, но уже как товарищи по „Земле и Воле“, в Саратове, где в 1877 году осела большая колония землевольцев для организации деревенских поселений в губернии. Это было наше ближайшее задание от нашего „центра“ в Петербурге. „Жорж“ (Плеханов) остался в г. Саратове и выступал в кружках молодежи и рабочих.

И очень удачно. Рабочие были прямо в восхищении от него, высоко ценили, гордились им. По моей просьбе Плеханов написал основные положения народничества. Надо было передать в один кружок местной молодежи. В один присест написал программу—быстро, листки так и летели, писал на-бело. Написано ясно, сжато, выразительно.

Вот эту то программу Плеханов пропагандировал рабочим и молодежи. Молодежь он также быстро завоевывал, но порою также скоро и терял. Завоевал своей эрудицией, даром слова, темпераментом. Терял же благодаря своему задору, своей своеобразной полемике,—этому жалю, которым он тогда уже умел чувствительно ранить своего противника. Уже тогда он был не в меру резок и нетерпим. В Саратове он все порывался в деревню, „в народ“. Но obstoятельства так неблагоприятно складывались для него, что все попытки его в этом направлении терпели неудачу. Но раз улыбнулась было ему перспектива удачи: в Аткарском уезде (Саратовской губ.) открылась вакансия народного учителя. Место для Плеханова подходящее. Но он был уже тогда нелегальным, подходящего документа по Мин. Нар. Просв. у нас тогда не было, да и подвергать новому риску нашего „оратора“, недавно только вырванного из когтей правительственных ищеек, мы, само собою, допустить не могли. Тут то выручил нас наш „Дворник“, т. е. Александр Михайлов. Он предложил Плеханову воспользоваться его, если не ошибаюсь, гимназическим аттестатом, тогда еще „чистым“ в политическом отношении. Сказано—сделано. Плеханов отправляется с этим документом и прошением в Аткарск, в училищный совет. Председатель училищного совета, приняв прошение Плеханова, попросил его подождать ответа в приемной. В это время случился курьез, который, если бы Плеханов не владел собою, мог бы окончиться печально. Дело вот в чем. Священник, член училищного совета, ознакомившись с бумагами Плеханова, заорал во все горло: „Да он сын Дмитрия Михайлова, моего большого приятеля... как же! Дмитрий Михайлов мой большой приятель... почтенный человек.“ Восхищенный своим открытием, он выскочил в приемную с криком:—„Михайлов! Михайлов, где же тут Михайлов?“ „Оратор“ спокойно отозвался: Я—Михайлов. Батюшка удивился: как он вырос, „молодцом стал“, он, „батюшка“, помнит де его еще мальчиком,—и с неподдельным живым интересом стал спрашивать его о родителях, общих знакомых и прочих прочих курских делах!..—„Ладно, ладно, молодой человек,—воскликнул экспансивный „батюшка“, получив от Плеханова все нужные ему сведения,—буду за вас хлопотать!..“ И ринулся в училищный совет. К сожалению, хлопоты благожелательного „батюшки“ не увенчались успехом. Все уверения его, что Михайлов—отец „прекрасный человек“ и „лучший его приятель“ разбились об упорство исправника, твердившего одно: „ну, так что же что знакомый, что хороший человек? Отец то хорош, а сын, может быть, и пропагандист...“ И уперся исправник, как бык:—„несогласен и несогласен..!“

Так и уехал Плеханов из Аткарска ни с чем. И снова взялся он за свою прерванную работу среди молодежи и рабочих. Плеханов был сильно огорчен этой неудачей, но я, наоборот, торжествовал. Я был решительно против поселения Плеханова в деревне. Я говорил: деревня не его стихия. Он бы только завял там. Его арена—город, с его широкими общественными запросами, с его умственным движением. Да и в самом Саратове он был незаменим. В Саратове уже в то время были кружки учащейся молодежи и зарождались уже группы среди

рабочих. Стало быть, почву под ногами имел в Саратове Плеханов,—значит ему работы не занимать стать. Но случился провал всей нашей группы в Саратове. И Плеханов, как и многие другие, бежал в Петербург. Здесь то он стал развертываться и выпрямился во весь рост во всем блеске творческих сил: и как пропагандист—агитатор среди молодежи и рабочих, и как литератор. Зимой 1877 года, под влиянием „Казанской демонстрации“, продолжавшей еще тревожить молодежь, а, главным образом, под влиянием неокончившегося еще тогда, „процесса 193-х“, выстрела В. Засулич—молодежь сильно волновалась.

Наш «центр» решил использовать это волнение. Вести агитацию среди молодежи поручено было Плеханову, Попову, Преображенскому и пишущему эти строки. Собирали молодежь и развертывали перед ней ужасающую картину жестокостей, практикуемых правительством по отношению к политическим. Звали ее открыто высказать свой протест подачей адреса на имя министра юстиции Палена. Адрес был написан Плехановым, напечатан в нашей „вольной типографии“ и энергично пущен в обращение среди молодежи. Адрес написан сильно. И если бы мы не тянули долго нашей агитации, демонстрация удалась бы. Возбуждение нарастало, но, к сожалению, мы упустили благоприятный момент, момент наибольшего под'ема—и демонстрация не удалась. С небольшими же силами, которые готовы были идти за нами, мы не решились двинуться. Но наша работа среди молодежи все-таки не пропала: за нашей агитацией последовало организационное строительство; образовывались группы народнического направления, притекали к нам новые и новые силы, образуя резерв, неприкосновенный до поры до времени капитал: придет время—мы его пустим в обращение.

Я был тогда неразлучен с Плехановым. Мы ютились у студентов, то у одних, то у других,—своего угла не имели. Это нас, впрочем, не особенно тяготило: мы как-то умудрялись, сидя по углам, работать. Плеханов тогда много читал и с большим выбором. Феноменальная у него была память. Он не нуждался ни в заметках, ни в извлечениях. Нужна ему какая нибудь справка, он подходит к полке, берет нужную ему книгу, раскрывает ее на той именно странице, где нужная справка имеется. И замечательно—память его с годами ничуть не ослабевала. Немудрено, что работа его отличалась такой высокой производительностью. Я никогда не видел его праздным, мечтающим, в состоянии *dolce far niente*. Не любил он пустых разговоров, не выносил он фразы, красивых жестов. Беседовать—значило для него мыслить вслух, сообщая, причем эта беседа была обворожительна, как по содержанию, так и по форме. Сколько чудных таких разговоров, с глазу на глаз, переживал я с ним! Сколько оригинальных мыслей, метких сопоставлений, порою проникнутых неподражаемым юмором, высказывал он! Помню—это было в начале 1879 года—появились статьи А. Ефименко „Трудовое начало в воззрениях народа“. (Точно заглавия не помню).—Мне они, эти статьи, очень понравились, я предложил их Плеханову для прочтения. Плеханов прочел их и, к изумлению моему, не пришел в такой восторг, как я.

„Почему Осип,—обратился он ко мне с насмешливым огоньком в глазах,—так увлекли тебя эти статьи? Слова нет, кое что интересное есть в них, но основная их мысль—трудовое начало—не социалистический принцип, а типично буржуазный. Трудовое начало—уже результат начавшегося распада первобытного коммунизма, когда эко-

номическое расчленение в общине пошло уже далеко. Раньше не трудовое начало регулировало взаимные отношения в общине, а *коллективизм*, если хочешь *коллективное* трудовое начало, а не *индивидуальное*. Наш идеал, как окончательный *синтез* социально—экономического процесса, именно *коллективизм*. К нему нас зовет научный социализм, к нему мы должны апеллировать каждый раз при оценке удельного веса того или другого факта в области теоретического знания". Признаюсь, я был поражен этой совершенно неожиданной для меня аргументацией Плеханова, своеобразной способностью его вскрывать Pudelskern всякого сложного вопроса. Богато одаренная натура, Плеханов не мог, само собою, удовлетвориться исключительно *познавательной*, идейной работой: натура боевая, он страстно искал *практической* деятельности, арены, трибуны... И в *агитации* он развертывался и выросал. А наша тогдашняя русская действительность давала ему для этого достаточно стимулов: взрыв на Насильеостровском патронном заводе (1877 г.), ряд рабочих стачек в Петербурге в 1878—79 годах. Не один, конечно, Плеханов работал тут: агитировали с ним и М. Попов и Тютчев, и молодежь, примкнувшая уже к нашему обществу. Но справедливость требует сказать, что *первую* скрипку всегда играл Плеханов.

Агитация его среди рабочих описана им самим просто и правдиво в его „Русском Рабочем в революционном движении“.

Весною 1879 г. Плеханов и я читали лекции петербургским рабочим по русской истории. Вступительную лекцию прочел Плеханов. Тема—русские народные движения: бунты Разина, Пугачева и Белашина.

Лекция построена была красиво и прочтена была с большим подъемом. К сожалению, „вихрь злобы и бешенства“ ураганом понесся по нашей безответной родине, особенно после 2-го апреля, и разметал все наши начинания: массовые аресты и высылки, разгромлен „Северно-русский рабочий союз“, разгромлена и наша рабочая конспиративная квартира. Мы едва спаслись. Лекции прекращены. Плеханов уехал на Дон, где вел энергичную пропаганду среди казаков и распространял среди них „Воззвание к Славному Войску Донскому“. Если не ошибаюсь, воззвание это было написано самим Плехановым, а напечатано в нашей подпольной типографии.

Этим исчерпывается все то, что я знаю о пропагандистской и агитационной работе Плеханова.

В 1878 году мы видим уже Плеханова в рядах редакции „Земли и Воли“. Ему принадлежат две руководящие статьи в №№ 3 и 4 под заглавием: „Закон экономического развития и задачи социализма в России“. В этих двух статьях центрального землевольческого органа Плеханов уже готов, как литератор, с определенной яркой писательской индивидуальностью. Это, по моему, лучшее, самое содержательное, что было написано в подполье по вопросу о революционном народничестве. Статьи его в „Черном Переделе“ представляют лишь дальнейшее развитие основных предпосылок названных статей в „Земле и Воле“. „Диалектическое мышление“—дает уже себя чувствовать.

„Тощее“, но содержательное красноречие,—в противоположность „жирному“ большинства подпольных изданий. Плеханов—готов, окристаллизировался, как законченная духовная личность. Жизнь, работа мысли обогатят его ум знанием, но ничего не прибавят к особенно-

стям его духовной организации: его своеобразный познавательный аппарат, с его своеобразными приемами познания, усвоения и диалектики, был уже тогда, когда он был землевольцем и чернопередельцем, совершенно готов.

Я мог бы, оставаясь близким к истине, дать такую характеристику духовной индивидуальности Плеханова: по *познавательным* своим наклонностям он—исследователь, ученый, философ; по темпераменту—публицист, воин, трибун. Создаваемые им—самостоятельно или несамостоятельно, все равно—ценности становятся интегральной частью его духовного бытия, сплавляются с его духовной личностью, а потому становятся для него не только объективной, но и субъективной ценностью, за целостность и сохранность которых он готов душу положить. И будет он те ценности оборонять от врагов своих всеми мерами *sans trêve ni merci*. Таков уже был Плеханов в юные и молодые годы, таким остался он и в зрелые. Не знает он половинчатости в сфере познания, чужд и отвратителен ему всякий эклектизм: чиста от всякой подмеси, от всякой шелухи должна быть всякая познавательная ценность. И не выносит он умственных компромиссов, а потому так суров, жесток он ко всякой теоретической мешанине, беспощаден в своей полемике к виляниям, вроде „с одной стороны нельзя не сознаться, но с другой стороны—должно признаться“. И потому то Плеханов так непримиримо, зло, саркастически борется с товарищами по редакции „Земли и Воли“, а затем с товарищами—землевольцами на Воронежском съезде, на котором он оказался таким одиноким, чуждым, что вышел из партии, когда убедился, что товарищи его свернули старое знамя,—не свернули, а только пока спустили. Так же страстно впоследствии боролся он с народничеством и с субъективной философией в социологии, с одной стороны, и бернштейнианством и ревизионизмом—с другой. Можно возставать против некоторых специфических приемов его полемики, но нельзя отрицать его глубоко честной мысли, его несокрушимого убеждения в истинности своей идеологии. Он может с правом сказать: *hier stehe ich und nicht anders*—на этом стою я и не могу иначе...

В 1879 году Плеханов *первые* выступает в *легальной* литературе: он помещает статью в народническом журнале „Устой“, редактируемом известным беллетристом—народником Златовратским (ныне покойным). К большому сожалению, я никак не могу припомнить заглавия его статьи. Помню только, что она была написана по поводу нагнетавшего тогда в литературном мире „Сборника статистических сведений по Московской губернии“ Орлова.

Статья Плеханова так понравилась Златовратскому, что последний предложил „начинающему“ только писателю стать постоянным сотрудником журнала.

II. Марк Андреевич Натансон.

В августе 1919 года телеграф принес печальную весть из-за границы о кончине М. А. Натансона. Ушел от нас навсегда один из самых ярких и выдающихся представителей революционного движения семидесятых годов,—человек огромной энергии, железной воли и крупных организаторских способностей, всю долгую жизнь свою—

с юношеских годов до глубокой старости—отдававший делу революционной борьбы за народное освобождение. Не сломали его тюрьма и ссылка, ссылка и тюрьма, изгнание, а свалил его медленно подкрадывавшийся к нему злой недуг. Около 5 лет тяжело болел Натансон, нередко он неделями, в мучительных страданиях, был прикован к постели. Но, изнемогающий и страдающий, он не сходит с своего боевого поста: как представитель заграничного центрального комитета партии эсеров, он с неустанной энергией направляет товарищей эмигрантов и в то же время зорко следит за работой других социалистических партий как русских, так и западно-европейских.

В Лозанне, где Натансон жил последние 4 года, до возвращения в Россию, дом его служил центром, тяготения для многочисленных эмигрантов различных направлений и фракций. И это всегда было так, куда бы судьба ни забрасывала Натансона. И в почти перманентной ссылке, и в сравнительно короткие промежутки на воле, он всегда являлся центральной фигурой, вокруг которой группировались, спланивались, организовались революционные и оппозиционные элементы.

Связи были у него обширные, прочные, влияние его было неограничено. Он—прирожденный организатор. Недаром прозвали его „собирателем русской земли“, а в Лозанне—„королем Лозанны“,—не в шутку, а в serio. В Лозанне, в кабинете Натансона, я впервые увидел две фотографические карточки, привлекавшие мое внимание, одна небольшая, другая—кабинетная. Первая представляет собою чудного юношу с высоко поднятой головой и сверкающими вдохновенными глазами, обращенными ввысь. Орленок, собирающийся расправить свои крылья. Вторая карточка изображает белого, как лунь, старика, с большой окладистой седой бородой, с высоким лбом и сурово сдвинутыми бровями, с загадочной несколько улыбкой—не то горечи, не то недоверия и презрения. То—Натансон—юноша и Натансон—глубокий старик, орленок и орел, но—увы!—с подбитыми уже крыльями...

Родился Натансон в Вильне, в зажиточной интеллигентной еврейской семье, в 1849 году. Родители обожали своего недоужинного, даровитого „Макса“. Воспитанный на литературе 60-х годов, страстный поклонник Чернышевского и Добролюбова, он дал клятву всю свою жизнь следовать великим заветам своих учителей. 19 лет от роду, в 1869 году, поступает в Медико-хирургическую Академию. И сразу становится центральной фигурой, как лидер студенческих движений и как организатор всяческих студенческих учреждений. По его инициативе и при ближайшем деятельном участии устраивается студенческая библиотека, сыгравшая впоследствии громадную культурно-революционную роль в жизни „медиков“.

В то же время он выступал публично на сходках, с резкой, горячей, непримиримой филиппикой прогив Нечаева и „нечаевщины“. Успех имел большой: „нечаевщина“ была отвергнута учащейся молодежью.

Как лично Натансон передал мне, Нечаев не замедлил отомстить ему: он посылает из Швейцарии с сторонницей своей Александровской транспорт с прокламациями с адресами лиц, кому они предназначались; на некоторых было написано: „передать Натансону“. При обыске у Александровской в Вержболове прокламации эти были найдены. Затем был обыск у Натансона и, хотя у него ничего предо-

судительного не найдено, он был арестован и привлечен к дознанию по делу Нечаева. Руководил дознанием сенатор Чемадунов. Натансон—юноша с негодованием отмахивается от себя какую бы то ни было солидарность с Нечаевым и его революционной деятельностью, клеймит ее убежденно, страстно и смело бросает обвинение Нечаеву в том, что он нарочито прислал на его имя прокламации, чтобы набросить на него, Натансона, подозрение в соучастии его в делах Нечаева, что продиктовано это чувством мести за решительное противодействие, оппозицию, которые неустанно Натансон вел против Нечаева. Натансон был освобожден без всякой ответственности.

В это время в Петербурге образовался небольшой *женский кружок* из 3-х сестер Корниловых, Батюшковых, Ольги Шлейснер и С. Перовской. Этот скромный женский кружок становится вскоре ядром, вокруг которого постепенно кристаллизуются лучшие революционные элементы тогдашней молодежи. Мы видим там Чайковского, Натансона, Кравчинского, П. Крапоткина, Л. Шишко, Лермонтова, Сердюкова, Лизогуба, Чарушина и других. Группа эта стала известна под именем „Чайковцев“. Можно без преувеличения сказать, что входившие в этот кружок люди—цвет тогдашней молодежи: ум, талант, высокое умственное развитие, в сочетании с несокрушимой энергией и волей, нравственная красота, стойкость, ригоризм в личных и общественных отношениях,—таковы были Чайковцы. Ближайшей задачей их деятельности—была *подготовительная*, культурно-революционная работа среди интеллигентной молодежи—на первом плане и среди городских рабочих—на втором. И в этом смысле их надо считать *авангардом* революционного движения *семидесятых* годов. Они были дальновидны, эти чайковцы. Они говорили, что целесообразно, вредно, до поры и времени пускать в молодежь всякого рода подпольные прокламации и брошюры, как орудие выработки сознательных революционных элементов. В последнем смысле это не достигает цели: оно не столько будит работу мысли, сколько стимулирует чувство. Это, во 1-х. А во 2-х, оно нередко является поводом к тому, что молодые, неокрепшие еще, революционные силы вырываются преждевременно из рядов молодежи и попадают в тюрьму и ссылку. Надо действовать иначе, надо прежде всего использовать высокие научные, публицистические и литературные ценности, как отечественные, так и западно-европейские. Здесь, неиссякаемый источник знания и мысли. Это задание легко может быть осуществлено *практически*, оно легально, и обеспечивает полный успех задуманному делу,—делу выработки, формирования сознательных революционных сил.

Раз это достигнуто, подпольная литература уже завершит начатое: слово воплотится в дело, мысль в волю, действие. Нужно отдать справедливость чайковцам, они справились со своей задачей. Выработан был стройный план действия, с строгим распределением функций и обязанностей между членами кружка. *Теоретики* занимались с молодежью и рабочими (с 1872 г.), составляя для них рефераты по разным отраслям знания. Из них, пропагандистов, выделилась подгруппа переводчиков с иностранных языков. Были переведены: Ланге, „Рабочий вопрос“, Консидеран „О Фурье“, Геккель—„Естественная история мироздания“ (Natürliche Schöpfungsgeschichte). К сожалению, книги эти не были пропущены цензурой. Я не могу здесь перечислить все сочинения (книги), выпущенные чайковца-

ми¹⁾. Назову лишь „Азбуку социальных наук“ Флеровского, послужившую, между прочим, сильным толчком к особо рьяному преследованию „книжного дела“ и организаторов его. *Практики* организовали „книжное дело“, библиотеки как в столицах, так и в провинции; заводили сношения с издателями, книгопродавцами и представителями интеллигентного общества и завязывали другие нужные для дела связи. В 1872 г. чувствовалось уже близко стоящими к молодежи руководящими группами, что революционное настроение все сильнее и сильнее нарастает, ширится и углубляется и что вот-вот оно прорвется и выльется неудержимым потоком. То были уже первые шаги кануна революционного *паломничества* „в народ“. Надо было подумать о том, чтобы его урегулировать, направить в определенное русло. И чайковцам пришла мысль создать орган литературный, с социально-революционной программой, которая объединила бы все революционные силы и дала бы им лозунг. Такой орган можно было издавать только за-границей, а редактором такового мог быть только П. М. Лавров, один из самых любимых учителей тогдашней молодежи. С этой целью был послан в Цюрих Натансон в 1872 г. Натансон передавал мне впоследствии, что переговоры с Лавровым окончились вполне удачно, что выработана была программа органа и что журнал, под редакцией самого Лаврова, должен был появиться в начале 1873 года. Остановки за средетвами и подходящими сотрудниками. Натансон спешил вернуться на родину, чтобы устроить и это последнее.

Но в России его ждало уже недреманное око 3-го отделения, которое сторожило и выслеживало его, как „самого опасного человека“: и он в том же 1872 году был выслан административно в Шенкурск (Архангельской губ.) За ним последовала его жена, Ольга Александровна Шлейснер, старый друг-товарищ по кружку Чайковцев. В ссылке Натансон прежде всего занялся пополнением своих знаний. Временами он посылал товарищам письма, в которых сильно и выпукло вырисовывалась его тогдашнее мироощущение и миропонимание. Он готовится высоко держать знамя революционной борьбы, он зовет к этому и товарищей. Он страстно ищет законченного синтеза теоретического и практического мышления,—по тогдашнему это значило—доктрины, концепции, по настоящему—идеологии. Это действительно необходимо, без этого немислим широкий размах революционного движения, немислимо теоретическое и практическое углубление его. „Азбука социальных наук“, как лично передавал мне Натансон, не удовлетворяла его: она, правда, будит мысль, но слишком расплывчатая, конфузная и несколько сумбурна. Не такая книга нужна. Натансон говорил это с огерчением, так как он относился тепло к Флеровскому, как к вечному протестанту и неугомонному, беспокойному борцу, всю жизнь свою проведенному в тюрьмах, этапах и ссылках. Мы читали письма Натансона с увлечением, они были для нас *mento vivere*, а жить—значило для нас—бороться.

Вернулся Натансон из ссылки,—это была *первая* его ссылка,—в 1875 году. В виде „опыта“, он сначала был переведен в г. Бобров (Ворожежской губ.), а потом благодаря нестойчивым ходатайствам

¹⁾ См. мою книжку „Земля и Воля 70-х годов. Издание „Русской Исторической Библиотеки“ № 19 1907 г. Здесь в 3 главе подробно указаны все книги, выпущенные чайковцами.

тестя его, поручика Шлейснера, Натансона перевели в Финляндию, „под строжайший надзор полиции“ и за поручительством его тестя. Это собственно было *продолжение* ссылки, но в смягченной форме. Любопытная черта тогдашних административных порядков. Финляндские власти, получив предписание 3-го отделения строго следить за Натансоном, чтобы он никуда без ведома и разрешения властей не отлучался, наотрез отказались было принять Натансона: с этим „опасным“—де человеком только неприятности наживешь. Но Натансон все таки был „водворен“. Но удержи-ка орла в клетке! Натансон исчез вскоре—и след его простыл. Его ищут с тревогой власти по всем весям и городам нашей необъятной русской земли, его нет, как нет. А он тем временем делал генеральный смотр всем нашим революционным силам, уцелевшим после разгрома 1874 года, собирал эти силы, сплачивал их и построил в зиму 1876—77 года „Общество Северных Народников“, принявшее в 1878 году название общества „Земля и Воля“. И это была кульминационная точка практического творчества Натансона. Выше этого он, по крайнему моему разумению, не пытался уже. Правда, он продолжал неутомимо работать и строить, но это уже были рутина, навык, направляемые опытной рукой. В это именно время, т. е. в 1876—77 годах я и познакомился лично с Натансоном. В числе делегатов, посланных в Петербург от ростовско-харьковского кружка, для окончательных переговоров с кружком Натансона, находился и я.

На другой день нашего приезда в Петербург, Натансон посетил нас на нашей конспиративной квартире, на Бассейной. Вошел мужчина выше среднего роста, шатен, небольшая шелковистая борода, высокий белый, философский лоб, карие, живые, умные, пронзительные глаза, в общем—фигура импонирующая. Впрочем, первое произведенное на меня впечатление было не совсем благоприятное: коробило меня, что слишком щупает глазами своего собеседника. „Кто это?“—спросил я тихо сидящего около меня Осняского. „Натансон!“ был ответ. Я взглянул на него раз-другой, поговорил—и неприятное мгновенное впечатление как рукой сняло. Не долго он у нас оставался, быстро поднялся и сказал: „Ну, прошу вас к себе на учредительное совещание. Работы много, много...“. Он сказал это таким тоном, словно мы уже словарились и приходится лишь все закрепить делом. Вечером мы собрались. Передаю лишь окончательный результат того ночного совещания—*учредительного*. Принята программа и тактика. Во главе поставлена *агитация* среди народа („буит“, откуда популярная кличка наша „северные бунтари“), рабочих и молодежи. Принят устав общества и форма строения его—*строго централизованная*. Утвержден наконец заранее выработанный уже план ближайших работ и распределение функций между членами общества. Общество конструировалось¹⁾. Мы крепко пожали друг другу руки—как бы этой внешней формой закрепляя заключение товарищеского союза. Разошлись за полночь бодрые, полные надежд.

Я задержался в Петербурге еще на некоторое время и переселился на квартиру Натансона, в Лештуковом пер. Натансон работал буквально день и ночь. Он не знал усталости. Подобно Лермонтовскому Мцыри, „знал одной лишь думы власть, одну лишь пламенную

¹⁾ Подробности см. в моей книге: „Земля и Воля“, 70-х годов, стр. 94—101. Издание „Русской Исторической Библиотеки“ № 19. 1907 года.

страсть*: этой думой было счастье народа, этой страстью была борьба за его освобождение. Таким я узнал Натансона в 1877 году. И меня он завоевал,—как завоевал и всех нас, товарищей его. И делалось это само собою. Он обладал удивительным чутьем организатора: тонко улавливал мнения и настроения окружающих и перевоплощал их в живое дело. *Собственное его идейное творчество*, как таковое, являлось лишь *синтезом коллективной мысли* его товарищей — в частности и окружающих его единомышленников — в целом. В итоге: он был глашатай и зодчий революционных стремлений, идей и революционных заданий данного момента. Но злой судьбе было угодно, чтобы как раз в тот момент, когда наше общество твердо стало уже на ноги, Натансон был вырван из нашей среды, брошен в Петропавловскую крепость, где просидел 2½ года — с мая 1877 года до ноября 1879 года, — когда его перевезли в В. Волочек, а оттуда он пошел в ссылку в Восточную Сибирь, в г. Верхотенск, где и был водворен. Но и в Верхотенске „божьей милостью“ III-е отделение не давало Натансону покоя: он переведен был в конце 1881 г. в Якутскую область, в самый отдаленный и гиблый улус, — в Багайтаиский, Якутск. окр. Вернулся он в Россию лишь в 1889 году. Около 12 лет подневольного прозябания! 12 годов самой лучшей поры жизни вырвано у Натансона!.. В Багайтаиском улусе — передавал мне Натансон — ему жидось в первое время так безысходно тоскливо, что он, этот железный человек, впал было в отчаяние... Но это была лишь временная, скоротечная аберация светлого крепкого духа. Он встрепенулся и скоро нашел себя. Его удивительная способность ориентироваться в среде новых обстоятельств и окружающих людей вынесла его из мрака на великий простор жизни. Он быстро научился говорить по якутски, что, само собою, сблизило его с якутами. Он вошел в личные и общественные их интересы, при случае помогал им своими советами и, таким образом, его стражники превратились в самых преданных ему людей. Они открывают ему, что в одном тоже диком и забытом Богом и добрыми людьми „наслеге“ (это — часть улуса, как деревня — часть волости) живет такой же „нюча“ (русский), как он, Натансон, что за этим „нюча“ тоже приказано строго-настрого смотреть.

Если „улахан тайон“ (большой господин), т. е. Натансон, желает, то они готовы привести „нючу“. И вот во едину от суббот к Натансону привезли „нючу“. Какая радость! „Нюча“ оказался рабочим Алексеем Петерсоном, — старым товарищем Натансона еще по кружку чайковцев. Петерсон погостил у него некоторое время, а потом и совсем переселился к нему. И в темную, как склеп, жизнь Натансона блеснул луч света. Через полгода приблизительно Натансона переводят в Батурский улус. Там уже „жили-были“ многие хорошие товарищи — и административные и бывшие каторжане. Между прочим, там же были землевольцы Н. С. Тютчев и И. Л. Лянев. Натансона поселили в наслег в 25—30 верстах от слободы Амга, где уже жили административные В. Г. Короленко, рабочий Ромась и сыльно-поселенец долгушинец И. И. Папин. Целую зиму и часть весны Натансон прожил не в своем наслеге, а на Чуронче, где в близости жили Тютчев и Лянев и некоторые каракозовцы. Вскоре на Чурончу добровольно прибыла В. И. Александрова (по процессу „50“, с которой Натансон и обвенчался.

Вслед за этим Натансоны перебрались в свой наслег. Я же в то время жил в с. Усть-Майском, в 200 вер. от Амги. Неожиданно по-

лучаю записку:— „Дорогой Осип, не тужи, скоро увидимся, обнимает тебя твой Марк.“ Я вскочил: Марк! это его характерный размашистый почерк. Я все время не находил себе места от радости. Вся прожитая мною в „Земле и Воле“ жизнь моя,—лучшая полоса моей жизни,—оживала в памяти моей, оживала выпукло, красочно,—ни дать, ни взять—грёза на яву или галлюцинация... Ждал с нетерпением дальнейших разъяснений. Но Натансон был скуп на писание и, вместо письма от него, в одно прекрасное весеннее утро является нарочный из Якутска с „гумагой“ (бумагой) от губернатора: перевести меня немедленно в слободу Амгу. Я—в Амге. Меня первый встретил Натансон. Горячая встреча. Посмотрел на него любовно: полуголый, точенный череп, большая посеребренная голова, мужественная осанка, те же неотразимо прекрасные глаза. Тот же, но вооруженный, окрепший, утвердившийся окончательно и физически и духовно. Опуская интимные наши разговоры о дорогих нам теньях,—о Софье Перовской, Ольге Натансон, Лизе Губе, Осинском, Квятковском... Я расскажу здесь о том, что особенно меня занимало: о революционных взглядах Натансона—как они постепенно разворачивались перед мною, не только из интимных наших бесед, с глаза на глаз, но и публично—из обмена мыслей с нашими товарищами по ссылке, приезжавшим к нам в Амгу, куда впоследствии окончательно переселились Натансоны. Скажу уже попутно, что Натансоны попали в Амгу после того, как они просидели в Якутской тюрьме с полгода за попытку бежать (собирались бежать Натансоны, Тютчев, рабочий Федоров и я). Попытка не удалась вследствие болтливости и небрежности уголовного поселенца, предложившего нам свои услуги. Поселенец, чтобы искупить свою тяжелую вину перед нами, поджег здание, где хранилось следственное дело со многими вещественными уликами. Благодаря этому, дело о побеге было „прекращено производством“—и Натансоны попали в Амгу. Вот с этого то времени к нам в Амгу и потянулись товарищи непрерывно,—кто в одиночку и парами, а то группами в 10—15 человек. Гостили у нас по несколько дней подряд. Эти периодические съезды имели для нас, сыльных, громадное революционно-воспитательное значение: они отвлекали нас от серых, докучливых будней и концентрировали наше внимание на высших интересах. Эти „асамблеи“ заменяли нам семью: тут мы находили отдых, мир, отраду душе; тут мы делились своими мыслями, чаяниями и стремлениями, проверяя себя, черпая силу, поддержку в предстоящей многим из нас долгой еще жизни в неволе. Тут же выступали мы с первыми своими литературными опытами. Короленко прочел нам „Сон Макара“ и „Соколинца“, Серошевский—свои первые якутские очерки, Виташевский познакомил нас с своими интересными записками по обычному праву. Я читал свои „Воспоминания“ об обществе „Земля и Воля“. Натансон дополнял их своими важными указаниями. Среди нас Натансон был живым хранителем революционных традиций, живым аккумулятором революционных настроений, дел и предприятий. В старину были такие певцы, трубадуры, баяны и мудрые старики, воспевавшие и передававшие от поколения к поколению подвиги „героев“. Натансона слушали с большим интересом, ибо он знал то, чего другие или совсем не знали, или знали лишь из вторых рук. Он все освещал с определенной твердой точки зрения: слышалась прямота, не знающая уступок, слышалась твердость, не терпящая уклонений в сторону. От частных вопросов, как водится, переходили к общим: поднимались

вопросы „идеологии“, „программы и тактики“ (тогда мы этих терминов не употребляли еще, а говорили: „доктрина“, „учение“, „методы и приемы борьбы“.) Много времени было потрачено, много копий поломано при спорах о роли и значении в революционной борьбе *сектантства*, современной *общины*, *капитализма* у нас в России. Ведь по всем этим вопросам появились тогда капитальные исследования. Но особенно страстно дебатировались злободневные, так сказать, вопросы: вопрос о терроре, *систематическом* терроре и о *политической борьбе*, в самом широком объеме этого слова. Ведь она, эта политическая борьба, выдвинута тогда, как *реальный* элемент, на первый план революционного действия. Думаю, что буду совершенно объективен, если сформулирую окончательно вывод из нашего многократного обмена мыслей так: в нашей старой, *народнической бунтарской* и *аполитической* идеологии произошел решительный сдвиг в сторону *народовольчества*, с неизбежными в таких случаях отклонениями и оттенками, — не существенного, впрочем, характера. Это относится исключительно к „старикам“: Натансону, Тютчеву, Линеvu, пишущему эти строки, к некоторым каракозовцам и многим, многим другим. „Молодые“ же, которые только что появились у нас в Якутии, как, например, Подбельский и Коган-Бернштейн, пылали, само собою, чистым, ничем не прикрашенным, идеальным народовольчеством. Они не нуждались ни в каких сдвигах и высоко держали знамя народовольчества.

Один вслед за другим, сошли в могилу двое из самых крупных представителей революционного движения семидесятых годов: Г. В. Плеханов и М. А. Натансон. Первый — мыслитель, талантливый публицист, пылкий оратор и трибун, впоследствии — основоположник Р. С. Д. Р. П., выдающийся знаток марксизма и социалистического движения на Западе, человек всю жизнь положивший на то, чтобы выработать в своих современниках твердое, ясное понимание окружающей их современной действительности. Он ушел от нас, не сказав еще своего последнего слова, он мог жить и должен был жить...

Второй — практик, организатор и искусный строитель, вечный и неутомимый „собираатель русской земли“, сплачивающий и объединяющий революционные силы. Натансон и революционная борьба — синонимы: он не мог жить без революционной борьбы и она сделалась плотью и кровью его. *Пятьдесят* ровно лет стоял он стойко на славном посту. Он совершил, повидимому, полный цикл своего революционного существования. Он ушел во-время. Но оба они — и Плеханов, и Натансон, — каждый на свой манер, — вносили свое имя в историю революционного движения в России, оба отдали революции свою жизнь. И красивая то была жизнь. И пойду я на их могилы и положу я — не венок, а напишу на могильной их плите следующие слова Гофмана: — „Есть люди, подобные монетам, на которых чеканится одно и тоже изображение. Другие — похожи на медали, выбиваемые только для данного случая“.

Плеханов и Натансон — „медали“. И надо носить их не на груди, а в сердце, как *memento vivere*, как неумиравшую память о вечной борьбе — *революционной борьбе*...

О. В. Аптекман.

12 марта 1920 г.
Петербург.

Уфимское Государственное Совещание 1918 года.

Из воспоминаний участника.

Для историка русского революционного движения одним из очень интересных его моментов будет, несомненно, период осени и начала зимы 1918 года, когда потерпела окончательный и жестокий крах попытка демократических элементов русского народа наметить общине с буржуазией „общенародные“ задачи революции и идти к выполнению их не путем гражданской войны, а путем соглашения классов. Эта соглашательская политика особенно отличала партию с-р., бывшую в революционный период классовой демократической партией и настойчиво проводившую эту политику в течении почти двух лет революции. Время с августа по декабрь 1918 года—это эпоха ликвидации „соглашательского“ периода революции, кончающегося Уфимским Государственным Совещанием.

Уфимское Совещание, бывшее по внешности новой и как будто удавшейся попыткой соглашения, в действительности ясно выявило твердое решение крупно-буржуазных и реакционных кругов начать политику разрыва с демократией и беспощадного ее подавления.

Инициатива созыва Государственного Совещания, составленного, главным образом, из представителей областных не-большевистских правительств, принадлежала Самарскому областному правительству-Комитету Членов Всероссийского Учредительного Собрания. Созыв такого совещания был продиктован Самарскому Комитету Ч. У. С. всей обстановкой момента. Положение дел на территории правительства Учредительного Собрания в августе 1918 г. было таково, что для него было только два исхода: или погибнуть в неравной борьбе двух губерний (самарской и уфимской, нескольких уездов казанской и самарской) со всей советской Россией, или, создав Всероссийское Правительство, обеспечить себе тыл и снабжение, восполняя свои недочеты из ресурсов Сибири и союзников.

Положение на фронте к концу августа было примерно таково. Крайний на севере фронт-екатеринбургский на направлениях тюменском, верхотурском и куптурском держался чехами и сборными добровольческими уральскими и сибирскими частями. Положение на нем было устойчивое, и красные постепенно подавались назад. В красно-уфимском уезде пермской губернии было крестьянское восстание, действовали небольшие партизанские отряды крестьян под командой случайных командиров (поручика Сарычева, капитана Ларионова и др.). Эти крестьянские отряды почти не имели связи с Екатеринбург-

бургом и другими частями фронта. Держались они на границах своих уездов и волостей, и судьба их зависела от главных направлений—екатеринбургского и др. Далее был район крестьянских отрядов осинского и мензелинского уездов. Осинский и мензелинский уезды не имели настоящего фронта, а представляли собой территории действия партизанских красных и белых отрядов. Ижевско-воггинский заводской район по правому берегу Камы имел постоянный фронт, но в нем не было армии, а было народное ополчение, численностью до 30 000 чел., но почти без командного состава (всего около 150 чел. молодых офицеров военного времени и несколько кадровых) с винтовками, но без патронов, без артиллерии, а главное с полной неуверенностью в собственных силах. После восстания в Сарапуле Ижевск получил связь с Самарой по Каме и Волге. Но до конца августа это был изолированный и вполне самостоятельный очаг гражданской войны.

От Казани на Буинск, Симбирск, Сызрань, Хвалынский, Вольск шел поволжский фронт Самарского Правительства, между Хвалынском и Вольском у Балакова переходивший на левый берег Волги и через николаевский уезд соединявшийся с фронтом уральских казаков. От Николаевска на Александров-Гай, Оренбург-Орск был фронт Уральского Областного Правительства, совместный с башкирами автономной Башкирии. Наиболее тяжелым было положение фронта Поволжского. Дело в том, что быстрые первоначальные успехи на этом фронте были достигнуты действиями чехо-словаков и добровольческих отрядов. Чехо-словаки на самом фронте имели в лучшем случае около 4 5.000 человек. Сами они считали от 3 — 4000 бойцов. Добровольческие отряды капитанов Махина и Каппеля в лучшие времена имели не больше 3.000 чел. каждый. Кроме того действовали небольшие партизанские отряды и вновь сформированные отряды так называемой „Народной Армии“. Народная Армия состояла из мобилизованных солдат и офицеров. По спискам, за исключением дезертиров, в ней было от 50—60.000, но вооруженных лишь до 30.000 человек. Эти войска были очень плохо обучены, не имели никакой внутренней спайки и были совершенно негодным боевым материалом. Войну вели чехи и добровольцы, а „Народная Армия“ лишь отягощала казну Самарского Правительства и подвергала опасности рядом стоящие беспособные части. Не буду касаться здесь причин такой полной негодности „Народной Армии“, скажу только, что она коренилась в глубочайшем отвращении массового городского и деревенского обывателя ко всяким жертвам, которых требовало от него государство, будь то власть Советов, Учредительного Собрания или Колчака. Уральский фронт защищался казачьим ополчением полковника (потом генерала) Дутова.

К концу августа положение на всех фронтах было устойчивое, кроме Поволжского фронта Самарского Правительства. Этот фронт явно разлагался. Негодность „Народной Армии“ к этому времени стала очевидна для всякого, и даже членов Самарского Правительства. 8—10.000 бойцов изнемогали, сдерживая напор Красной армии, собранной со всей Советской России и имевшей за собой богатый запас технических средств, боевых припасов и сеть железных дорог. К тому же командованием „Народной Армии“ была допущена ошибка, вытекавшая из желаний во что бы то ни стало удержать Казань. Все беспособные силы были стянуты в Казань и здесь поставлены

под удар Советской армии. Надо сказать, что в этот момент и у „красных“ замечалось тоже самое явление. Латышские, китайские, венгерские и добровольческие коммунистические (не наемные) части дрались хорошо. Остальные разбежались от первого выстрела. Но вместе взятые интернационалистские части и по количеству людей, и главное по массе артиллерии, броневиков, пароходов и пр. значительно превышали силы самарских чехов и добровольцев. Поэтому бои под Казанью должны были закончиться поражением и решающим. ибо под Казанью было собрано все лучшее самарской армии.

Сознавая опасность положения, Самарское Правительство под угрозой решающего разгрома искало помощи со всех сторон. Искало ее у союзников—получало обещания без указания размеров, дат и видов той помощи, которую союзники обещали оказать. Обращалось к сибирякам—получило таможенную войну и заверения, что Западная Сибирь еще не очищена от большевиков и свободных войск нет. Обращалось к чехам—но они фактически были заняты борьбой в Сибирии и преимущественно в восточной половине ее и не могли дать ничего существенного. В итоге самарцы изнемогали, но помощи не получали. Таково было военное положение Самарской республики. Внутреннее положение территории Учредительного Собрания было не менее трудно и запутано.

Одной из важных сил в борьбе против большевиков были офицеры. Вести борьбу без офицерства было немисливо. Офицерский состав необходимо было привлечь в ряды армии. Но, тогда как большевики разрешили этот вопрос с помощью террора и больших окладов, самарское правительство попыталось привлечь офицерство, воздействуя на его патристические и гражданские чувства. Правда, и материальная сторона дела не была совсем забыта, так как рядовой боец офицер в августе получал 250 руб. в месяц. Однако лозунг— „борьба за освобождение России от германско-большевистского ига“, хотя и вынудил Самарское Правительство демонстрировать свое полное доверие офицерству, передав ему в почти бесконтрольное ведение устройство армии и командование ею, тем не менее желанных результатов не принес. Офицерство (кадровое), реакционно настроенное, политически совершенно неразвитое и поэтому не оценивающее общую обстановку достаточно правильно, влюбленное в погоны, ордена, чины и прочие баллолки, неизменно тянуло в Сибирь или просто уклонялось от работы. Чтобы удержать офицерство на месте, надо было уничтожить для него возможность переходить в армию соседних областных государств, надо было создать единую обстановку службы. Вот почему офицерский вопрос, правильное вопрос о создании единой армии, так тревожил Самарское Правительство. Следующей трудной проблемой был вопрос финансовый. Самарское Правительство, исходя из верного теоретически принципа о вредности безграничного выпуска „умажных денег, пыталось совершенно не пользоваться печатным станком. Имея в своих руках золотой фонд, хранившийся в Казани, около 1/2 миллиарда номинальных—Самарское Правительство стремилось установить в области финансовое равновесие, получая деньги путем налогов, продаж казенных товаров и расходуя денежные знаки, взятые с бою в большевистских казначействах. Основой такого финансового хозяйства мог быть только правильный торговый оборот, но для него территория Самарского Правительства была недостаточна, а все остальные правительства (кроме Екатеринбургского) выпустили

свои денежные знаки. Торговля с Сибирью обозначала бы в этих условиях вывоз лучших общероссийских денег в обмен на худшие — областные. Этот вопрос подлежал, конечно, урегулированию во Всероссийском масштабе.

Точно также невозможно было путем отдельных договоров с областными правительствами добиться регулярной работы железнодорожной, телеграфной и почтовой связи с внешним миром и обеспечить себе снабжение армии из союзных стран. Все эти обстоятельства для Самарского Правительства, выносившего главную тяжесть борьбы с большевизмом, имели первостепенное значение, властная диктатура ему политику образования Всероссийской власти, политику объединения областных правительств.

Быть может, лишь немногие читатели дадут себе отчет, что в августе месяце на неоккупированной германцами территории России было 19 автономных, но не отделившихся правительств. Вот их перечень: 1) Московское Советское (Р. С. Ф. С. Р.), 2) Северное Областное, 3) Донское, 4) Кубанское, 5) Самарский Комитет Членов В. У. С., 6) Прикамский Комитет Членов В. У. С., 7) Автономное Правительство Туркестана, 8) Каспийско-Кавказское областное Правительство, 9) Автономное Правительство Башкирии, 10) Уральское Войсковое Правительство (казацкое), 11) Уральское Областное Правительство (Екатеринбургское), 12) Сибирское Правительство (быв. Западно-Сибирский комиссарпат), 13) Отряд эсаула Семенова, 14) Сибирское войсковое правительство, 15) Забайкальское войсковое правительство, 16) Правительство Хорвата (Дальневосточное), 17) Дальневосточное Правительство (Восточно-Сибирский комиссариат — Правительство Дербера, оно же Лаврова), 18) Владивостокская Городская Дума и Приморское земство, с прибытием союзных японских и американских войск фактически приобретшие часть правительственных функций. Кроме того 19) на правах совершенно самостоятельного правительства — Национальный Совет чехо-словацких войск ч. как кажется, 20) Автономное Правительство Якутской области. Сверх того, не располагая территорией, имело все же известное влияние так называемое Национальное Правление Турко-Татар внутренней России.

На оккупированной территории были правительства: 1) Украинское, 2) Крымское, 3) Белорусское, 4) Литовское, 5) Латышское, 6) Эстонское. Независимые или отделившиеся государства: 1) Грузия, 2) Армения, 3) Чечня, 4) Польша, 5) Финляндия и мелкие кавказские государства. Всего на бывшей территории Российской Империи было не менее 39 областных или национальных самостоятельных правительств. Из них Украинское Правительство хотя и находилось под ферулой германцев, но по отношению к остальной России все же пыталось вести самостоятельную политику.

Различные областные правительства интересовали Комитет Членов В. У. С. в разной мере, в зависимости от их отношения к главному вопросу момента — к войне с большевиками. С этой точки зрения все правительства (не касаясь независимых и оккупированных территорий) можно сгруппировать таким образом: 1) правительства, ведущие войну с Самарским Правительством, 2) правительства дружественные, но слишком отдаленные для совместных действий и 3) правительства, могущие быть объединенными под эгидой Всероссийского Правительства. К первым следует отнести: Советское Московское Правительство и его подотделы на Кавказе и в Туркестане.

Ко вторым: 1) северное областное, 2) донское, 3) кубанское, 4) Автономное Правительство Туркестана, 5) Каспийское—Кавказское

Все остальные могли составить единую территорию под единой Всероссийской властью. Такое объединение чрезвычайно укрепило бы всех их в борьбе против общего врага, Советской России, не позволив Красной армии разбивать их по частям. Однако ошибочно было бы думать, что всем правительствам эта задача представлялась одинаково важной. Те правительства, — прежде всех Самарское, Прикамское, Уральское Областное, Уральское Войсковое, Оренбургское Войсковое, Башкирское, — на границах которых шла война и которые изнемогали в борьбе с Красной армией, стремились главным образом обеспечить свое военное положение. Те же, как Сибирское, С.-менова. Хорвата, Дальневосточное и пр., для которых эта задача была уже решена силами добровольцев, чехо-войск и союзных десантов, ставили перед собой иные цели, клонившиеся к распространению своего влияния на соседние области, а затем, по мере изменения их личного состава, и к ликвидации внутри своих областей тех или иных установлений Великой Революции. Все же и эти правительства силой обстоятельств временно должны были искать об'единения, насколько оно было для них возможно. Правительства дальневосточные, оказавшиеся в сфере расположения союзных десантов, фактически утратили свободу действий и не могли вести самостоятельную политику.

Сибирское Правительство (Омское), попытавшееся вести политику вполне независимого государства, наткнулось на два фактора, вынудившие и его искать временного соглашения. Стремясь расширить свою территорию, омское правительство „оказало военную помощь“ Уральскому Правительству, занимая освобожденную от Красной армии территорию Урала своими войсковыми частями и взяв на себя создание уральского войска (уральских горных стрелков) и руководство его операциями, иначе сказать—обратив уральские войска в сибирские. Тем самым и оно создало для себя новый фронт с Красной армией—Екатеринбургский и вынуждено было считаться с этим фронтом, главным образом чехо-словацким. Таким образом, сибирское правительство не могло остаться вне влияния чехо-словаков, которые, пока они сражались с Красной армией и играли для областных правительств роль негра, тем самым приобретали решающее влияние и в тех внутренних делах области, в которые им было желательно вмешаться. Чехи же были за Всероссийское Правительство. Чехо-словацкий национальный Совет к августу месяцу вынужден уже был считаться с явным нежеланием чехо-войск заменять собой русскую „Народную Армию“. Это обстоятельство заставило национальный Совет напрятъ все усилия для образования Всероссийского Правительства, которое сумело бы, наконец, создать сильную русскую армию и тем освободить чешские войска от борьбы на Советском фронте. Сибирское Правительство тем более должно было остаться с чехами, что на главных направлениях Екатеринбургского фронта фактически вели войну чехи, а сибирские и уральские войска занимали тыловые гарнизоны и менее важные направления. Угроза чехов уйти с этого фронта всегда вынуждала Сибирское Правительство идти на уступки. В силу этих соображений перед категорически заявленным „желанием“ чешского Совета видеть сибирское правительство на государственном совещании—ему осталось только преклониться.

Но это согласие было вынужденным. Сибирское правительство

в лице Вологодского, Ивана Михайлова и др. само стремилось стать Всероссийским Правительством, растворяя в себе и поглотив остальные областные правительства. Уфимское же совещание таких перспектив перед Сибирским Правительством не открывало. Наоборот, это Совещание обещало укрепить положение главного соперника на титул всероссийской власти—Самарского Комитета членов В. У. С. С этим Сибирское Правительство примириться не могло, ибо оба правительства стояли на разных точках зрения на основной вопрос момента: народо-властные или военная диктатура.

Стоит остановиться немного над тем, почему так разошлись в этом главном вопросе два правительства, оба, повидимому, рожденные эс-эрами? —

Областные правительства, возникшие после ухода советских войск, формировались самыми разнообразными способами. Часть из них строилась на буквальном применении принципа: „Вся власть Учредительному Собранию“. Где этот принцип торжествовал, там правительства составлялись из наличных членов Всероссийского Учредительного Собрания, образовавших Комитет, обладавший всей полнотой власти и подбиравший администрацию и министров по своему усмотрению. Таковы были правительства: Северное Областное, Самарское и Прикамское. Учредительное Собрание состояло, за выходом из него большевиков и левых с.-р., почти исключительно из социалистов-революционеров. Социалисты-революционеры были вместе с тем единственной крупной политической партией, которая готовила в широком масштабе вооруженное свержение власти большевиков. Ничего нет удивительного в том, что правительства комитетов членов В. У. С. были правительствами социалистов-революционеров. Иной состав правительств получался там, где в основу их образования был положен принцип „коалиция всех живых сил“. Как бы ни была незначительна роль в вооруженной борьбе с большевиками тех или иных групп, принимавших участие в соглашении, они должны были, в силу коалиционности правительства, иметь в них своих представителей. Таковы были правительства: Уральское, Сибирское, Дальне-восточное (Хорвата). Чтобы уяснить себе историю Уфимского Совещания, необходимо охарактеризовать главного антагониста Самарского комитета В. У. С.—Сибирское Правительство (Омское).

Сибирское Правительство было образовано Сибирской Областной Думой после разгона Всер. Учредительного Собрания. Тогда в областной думе решающую роль играли социалисты-революционеры. Из них, и притом главным образом из членов Учредительного собрания, и было создано Сибирское Областное Правительство, немедленно после своего образования загнанное большевиками вместе с Думой в подполье. Это правительство, разбившись на две части, образовало два „комисариата“: западно-сибирский и восточно-сибирский, вошедшие в соглашение с офицерскими тайными организациями и занявшиеся подготовкой вооруженного выступления против большевиков. В момент выступления чехо-словаков они прокламировали себя областной властью, хотя на самом деле стали такой лишь отчасти. Главная масса войск, действовавших против большевиков, не подчинялась власти сибирских правительств. Это были: чехо-словаки, союзные десанты, отряды русских добровольцев, собравшиеся вокруг удалых атаманов Семеновы, Анненкова, Красильникова, отряд Хорвата и некоторые другие. Эти войска представляли собой автономные удельные

княжества без определенной территории. но пользовавшиеся верховной властью, постольку, поскольку принуждали к повиновению население, находившееся в районах расположения их частей. Иные из них, как напр. Семенова, вступали в конфликты даже с чехословаками

Правда, Сибирское Правительство (Омское) еще до полного освобождения своей территории от красноармейских войск уже встало на путь формирования особой Сибирской армии, подчиненной исключительно этому правительству. Однако, по отношению и к этой армии, благодаря своеобразному сочетанию элементов, игравших решающую роль в восстании против большевиков, власть Сибирского Правительства была чисто номинальной. Восстание против большевиков организовали главным образом две группы: социалисты-революционеры и тайные офицерские организации, беспартийные по названию, но монархические и реакционные по существу. Естественным ходом событий эти офицерские элементы стали во главе формируемой армии, а главное командование получили те из них, которые называли себя социалистами революционерами, как Гришин-Алмазов и др. Истинные социалисты-революционеры, вроде Краковецкого, оказались в стороне. Эти лица и стали фактически хозяевами положения, так как командный состав армии подчинялся только им, точно также как и боеспособные, хотя и разбойничьи, шайки Анненкова и Красильникова, готовые поддержать любую реакционную авантюру. Первый состав сибирского правительства (социалисты-революционеры) мог опираться на армию лишь в меру согласия на то штаба Сибирской армии, т. е. генералов: Гришина—Алмазова, Иванова—Ринова, Белова и других реакционеров—монархистов. Командный состав сибирской армии был против соглашения и за „поглощение“. В штатской части Сибирского Правительства единства не было. Бесчисленные зверства, совершенные в Сибири во время водворения власти Советов, когда под именем большевиков орудовали шайки беглых каторжников, так действовали на психику некоторых интеллигентских групп сибиряков, что борьба против большевиков стала для них самоцелью. Некоторые выражали это в формуле: „если царь—или большевики, то лучше царь“, а некоторые—и это было большинство,—видели спасение от большевизма в военной диктатуре. К сожалению, часть социалистов-революционеров из правых групп не осталась чужда этому течению. Кооперативная группа: Куликовский, Сазонов, Парунин; Иван Михайлов; затем быв. прокурор иркутской судебной палаты ссыльно-поселенец Сергей Старынкевич. Петр Вологодский и некоторые другие встали на эту точку зрения. Иван Михайлов и Петр Вологодский были членами Сибирского (Омского) Правительства. (Вологодский кроме того „Председатель административного Совета“). Старынкевич министром юстиции делового кабинета, „административного Совета“. Стремясь расчистить дорогу диктатуре, эти лица взорвали демократическое правительство социалистов-революционеров изнутри. Когда им не удалось провести в правительстве свой взгляд на образ правления, то для получения большинства они не остановились перед арестом, с помощью офицеров из командного состава Сибирской армии, министров—членов Правительства: Новоселова Патушинского и Шатилова. Новоселов был убит, а Патушинский и Шатилов под угрозой расстрела подписали прошения об отставке. Одновременно клеветнической кампанией в прессе и в обществе руга-

здесь ликвидировать и Дальневосточную группу Сибирского Правительства — правительство Лаврова, Дербера, Быковского и других. Таким образом остались налицо лишь те члены Сибирского Правительства — Вологодский, Иван Михайлов, Гришин-Алмазов, которые были сторонниками диктатуры, и „Административный Совет“, состоявший главным образом из кадет, беспартийных и с.-р. типа Старикиевича, т. е. также сторонников диктатуры. Нет ничего удивительного, что при таком личном составе Правительства оно одной из важнейших своих задач считало „сведение на нет“ Самарского Комитета Членов Всер. Учредительного Собрания, олицетворявших противоположный принцип демократического парламентского управления и неоднократно заявлявших, что основной задачей Самарского Правительства является борьба не только с большевиками, но и с попытками установления военной диктатуры.

Лицо свое Сибирское Правительство выявило определенно лишь в начале сентября, уже во время Государственного Совещания, а до того — оно жило, раздражаемое внутренними противоречиями, колеблясь между политикой демократии и политикой диктатуры. Поскольку преодолела группа диктатуры, правительство издавало акты, прямо враждебные Самарскому Правительству: объявление таможенной войны, захват с помощью плебисцита и воинских отрядов Златоустовского уезда Уфимской губернии, отказ в приеме областных денег и т. п. Поскольку весы наклонялись Новоселовым и другими, „Сибиряки“ шли на соглашение.

Сибирское Правительство и Самарский комитет членов В. У. С., — вот главные выразители политики диктатуры и политики народовластия. Все остальные областные правительства так или иначе группировались вокруг них. В высшей степени своеобразную роль, и до сих пор еще не вполне ясную, играл во всех внутри-областных делах чехо-словаки. Национальный Совет и его уполномоченные для различных областей вели политику изменчивую и шаткую. Политика эта определялась социалистическим настроением солдат, коалиционным составом Национального Совета, влиянием реакционных русских генералов — Дитерихса, Войцеховского и др., находившихся на службе у чехов, и вмешательством союзников. Первоначально чехи объявили о полном невмешательстве во внутренние русские дела. Затем устами военного министра майора Медека, уполномоченного доктора Власака, председателя национального Совета д-ра Павлу они неоднократно выражали свои симпатии Учредительному Собранию и говорили о том, что для чехо-словаков единственно приемлемым государственным строем является республика, основанная на принципах полного народовластия. Более того, в течении долгого времени на всех заборах и домах Самарской, Уфимской, Казанской и др. губерний висела громадная афиша „от чехо-словацких социалистов к русским рабочим и крестьянам“, — в которой жирным шрифтом было сказано, что чехо-словаки за всеобщее избирательное право, за Учредительное Собрание, и будут бороться против всякого рода военной диктатуры. Имея в виду социалистическое большинство Национального Совета и заявления его авторитетных представителей, эту афишу можно было считать за декларацию политического сдвеса чехо-войск. Их можно было считать сторонниками Комитета Ч. В. У. С. Чехи, как я указывал выше, к августу месяцу изверились в способность русских, т. е. главным образом Самарского правительства, создать боеспособную

„народную армию“. Между тем „Народная Армия“ была совершенно необходима для чехов, так как при небольшом численном составе—около 45.000 человек от Владивостока до Казани—они не имели резерва, и потери в четырех-месячных боях, достигавшие нескольких тысяч человек, крайне удручали солдат. Солдаты требовали, чтобы „русские сами дрались с большевиками“, и в их рядах назревала мысль об уходе с фронта. Однако, связав себя обязательствами перед союзниками, Национальный Совет не мог оставить фронт, не заменив свои части русскими. Вместе с тем чехи видели, что Самарский фронт без быстрой поддержки Сибири не удержится. Все эти соображения заставляли чехов энергично содействовать образованию Всероссийского Правительства.

Иностранные представители играли в Сибири и в Поволжье в высшей степени жалкую и двусмысленную роль. Насколько можно судить по отдельным заявлениям французских консулов Жанно и Комо, английского чрезвычайного уполномоченного сэра Нокса Эллиота, американского генерала Нокса, английского командира экспедиционного батальона члена парламента, члена рабочей группы (и консерватора) полковника Йорка и других, союзные правительства посылали этих людей, главным образом, в качестве наблюдателей, чтобы по их донесениям определить свою политику. Это было бессмысленно, так как на поездки требовалось много времени, а ситуация была крайне запутана. При полном незнании людей и языка эти представители,—как выразился публично один из них,—„просто ничего не понимали, что такое у Вас творится“. Пока они соображали и доносили, политическое положение, менявшееся с каждым часом, совершенно переставало соответствовать их донесениям. Английское и французское правительства это, повидимому, чувствовали и, занятые генеральным сражением на западном фронте, предпочитали отделяться обещаниями помощи, заверениями о невмешательстве во внутренние русские дела и т. п. Эта политика спутывала все карты всех областных правительств и еще больше увеличивала политическую неразбериху, господствовавшую позади „белогвардейского фронта“.

Две державы выгодно отличались в этом отношении от остальных. Это Япония и Америка. Их политика определялась взаимным соперничеством на Дальнем Востоке и, благодаря близости Японии к матерiku, отличалась достаточной ясностью. Япония желала подчинить своему влиянию всю Восточную Сибирь от Владивостока до Иркутска включительно. Двинув две дивизии первоочередных войск, японцы не только сыграли решающую роль в деле борьбы с военнопленными, составлявшими главную силу красных войск, но и заняли своими гарнизонами всю восточную Сибирь. Американцы, имевшие значительно меньше войск, одно время готовили большую экспедицию канадцев для образования Поволжского Восточного фронта против германцев. Когда же надобность в этом миновала, то они удовлетвоались заявлением решительного veto против занятия японцами Восточной Сибири и все свои экспедиционные войска оставили также восточнее Иркутска для противодействия заветным планам Японии. Вместе с тем американцы искали—с кем бы договориться об эксплуатации Сибирской ж. д. Во взаимные отношения областных правительств западной Сибири, Урала и Поволжья американцы и не вмешивались совершенно. Японцы же явно вели политику под-

держки всех сепаратистских течений, которые обеспечивали им раздробленность территории и безсилie правительств, а, значит, и безпрепятственное утверждение власти японцев в Восточной Сибири. Сибирское Правительство, в лице Вологодского, энергично искало признания со стороны союзников и возможно, что достигло бы его, если бы не образование Директории и противодействие Америки. Во всяком случае, ни Сибирское правительство, ни Самарское, ни Директория не могли добиться даже словесного предпочтения перед другими и это было причиной многих колебаний их политики. В вопросе о единой власти Англия, Франция и Америка, как кажется, приветствовали бы создание Всероссийского Правительства. Во всяком случае, местные мелкие представители высказывались в этом смысле. На государственном Совещании в кулуарах передавали даже, что союзники условием оказания военной помощи против большевиков на Поволжском фронте ставят образование Всероссийского Правительства. Такова была политическая обстановка в момент созыва Государственного Совещания в Уфе.

Первые соглашения, определившие состав съезда Государственного Совещания, срок и место его созыва, состоялись на предварительном съезде в Челябинске 20—25 августа. На этом съезде принимали участие представители: Самарского, Уральского Областного Сибирского (Омского), казачьих: Уральского и Оренбургского и Башкирского Правительств и чехо-войск.

На этом съезде уже обозначилась борьба между Сибирским и Самарским правительствами, пока на вопросе о месте созыва Государственного Совещания. Местом была определена Уфа, срок созыва 1 сентября, право на участие в съезде получали лишь организации, ставящие себе общегосударственные, но не частно-правовые или групповые цели. На съезде должны были быть представлены: правительства, органы народного и национального представительства, политические партии. Для достижения наибольшей удовлетворенности компромиссным (это было ясно вперед) решениями Государственного Совещания, все его постановления должны были решаться единогласными голосами всех представленных в нем организаций, как бы незначительны ни были размеры их влияния в стране.

Совещание состоялось под председательством Авксентьева, великого мастера на компромиссные решения и изобретение бумажных гарантий,—и, повидимому, удовлетворяло его участников.

1 сентября открыть Государственное Совещание в Уфе не удалось, так как отряд красных, теснимых в районе Верхнеуральска со всех сторон, прорвался через Самаро-Златоустовскую линию у ст. Иглино и прекратил железнодорожное сообщение между Сибирью и Поволжьем. Разсеяние этого 10.000 отряда и восстановление движения поездов заняло несколько дней, и Государственное Совещание открылось лишь 8 сентября в Большой Сибирской гостинице в Уфе.

На Государственном Совещании были представлены следующие организации: Самарский Комитет Членов В. У. С. (Вольский, Веденяпин, Фортунатов, Филипповский, Гендельман, Розенблюм, Ракитников, Минор, Буревой, Вольный, Владыкин, Ефремов, М. А. Кроль, Шмелев, Светицкий, Кутузов, Чайкин, Коган—Бриштейн, Лотошников, Подвицкий, Ф. Павлов, Е. Лазарев, Чернышев, Утгоф, Архангельский, Н. Фролов, Фокин, Н. Иванов, Алюнов, Васильев, Титов.

Брушвит, Лисиенко, П. Михайлов, Линдберг, М. Слоним, Б. Соколов, А. Минин, Алкин, Тухватулин, Жерогулов, Тухтаров, Ахтеров, Чокаев, Салихов, Алексеевский, В. Зензинов, Роговский, Гуревич, Левченко, Черненко, Огановский, Раков, Моисеенко, Николаев, Здобнов, Воробьев, Кругликов, Федорович, Володин, Почекуев, Фокзев, Кондратенко).

Не входившие в Комитет „по принципиальным соображениям“ В. Павлов, Авксентьев, Е. Брешковская, Аргунов.

Сибирское Временное Правительство (Омское) было представлено пр. Сапожниковым, Старынкевичем, Ивановым-Риновым;

Уральское Областное—кадетом Кролем и с.-р. А. А. Кашцевым;

Уральское Войсковое—ген. Хорошихиным;

Оренбургское Войско—Дутовым и братьями Шендриковыми;

Сибирское Войско—войск. старш. Катанаевым (арестов. впоследствии Директорией);

Иркутское, Семипалатинское, Енисейское, Астраханское,—Автономное правительство Туркестана—Чокаевым;

Национальное правление тюрко-татар внутренней России — Башкирское Правительство—Валидовым и Букейхановым;

Правительство Алаш-орды—;

Эстонское Правительство—Б. Линдэ и Нау;

партия социалистов-революционеров,—членами У. К. Веденяпиным, Гендельманом, Ивановым, Буревым, Ракитниковым, Коганом-Берштейном, Федоровичем, Чайкиным, Раковым;

партия социалдемократов-меньшевиков—Лепским, И. М. Майским, В. С. Кибриком;

организация с.-д. „Единство“—Фоминим;

партия конституционно демократическая—А. Л. Кролем, Коробовым;

народные социалисты—Знаменским, Чембуловым;

Союз „Освобождение России“—ген. Волдыревым;

Союз Земств и Городов—Авксентьевым, Третьяковым С. М. и Кабановым;

Сибирская Областная Дума—Тихоновым.

С самого начала съезд разбился на две части: на сторонников военной диктатуры и сторонников народовластия. Согласно оглашенным на съезде декларациям, партия к. д., „Единство“, Сибирское Правительство, казачьи группы—стояли за диктатуру; партия с.-р. Самарский Комитет членов В. У. С., Правительство Башкирии, Туркестана, Национальный Совет тюрко-татар внутренней России, партия с.-д. меньшевиков, представители Съезда земств и городов—были сторонниками народовластия. Уральское Областное и Эстонское Правительства, группа „Освобождение России“, Центр. Ком. н.-с. занимали примиряющую, неопределенную позицию, требуя ответственности правительства перед „Государственным Совещением“.

Борьба между этими течениями велась вокруг следующих практических положений:

1) Кто является источником постоянной Всероссийской власти?

2) Форма власти: ответственное или безответственное правительство?

3) Личный состав правительства.

Социалисты-революционеры и единомышленники им фракции исходили из следующих принципиальных положений: Единственным

источником власти является правильно избранное Учредительное Собрание. Первое Учредительное Собрание, как верховный источник власти, не могло быть распущено иначе, как собственным волеизъявлением. Насильственный разгон У. С. не прекратил его полномочий. Вместе с тем для авторитетности его решений требуется определенный вотум. Поэтому всякое правительство, не назначенное У. С., есть правительство временное, оно должно быть образовано на началах зоглашения участников Государственного Соещания на платформе: единства и независимости России на началах народовластия, социальных и политических приобретений февральской революции. Первой заботой Временного Правительства должно быть—созыв У. С. и получение от него полномочий. До созыва У. С. необходимо установить ответственность, хотя бы и ограниченную, правительства перед каким-либо суррогатом народного представительства. Таким должен быть Съезд Членов Всероссийского У. С., как более всякого иного суррогата приближающийся к У. С.

Правительство должно соответствовать обычным кабинетам или Советам Министров, оно должно быть образовано на принципе коалиции и быть приемлемым для будущего У. С. Таковы же, в общем, декларации Комитета Членов В. У. С. и делегации Р. С.-Д. Р. П.

Сторонники диктатуры—партия к.-д. и Сибирское Правительство—стояли на точке зрения, во всех отношениях совершенно противоположной. Они утверждали, что источником власти действительно должно быть У. С., но не настоящего созыва, а будущего. Первое Учредительное Собрание скомпрометировано своим фактическим бессилием, оно потеряло авторитет вследствие того, что из него вышло до $\frac{1}{3}$ его состава, и выборы в него не закончены. Впрочем, для данного момента важен не легальный титул власти, а ее фактическая мощь. Мощь же правительства приобретается лишь при наличии единства воли и беспрепятственности ее осуществления. Поэтому наилучшей формой власти является безответственный диктатор, который будет управлять Россией до полного водворения в ней порядка и лишь тогда сам созовет новое Учредительное Собрание, избранное на новых основаниях.

„На обязанности этой власти должно лежать то, что при первой возможности, не только когда очистится наша территория от внешнего врага, но как только страна мало-мальски придет в порядок,—обеспечить возможность населению произвести выборы в Учредительное Собрание на демократических основаниях и выборы правильные, где не было бы 105 процентов избирателей, подавших записки. Власть нужна сильная, мощная, решительная. И комитет партии Народной Свободы считает, что наилучшей формой осуществления такой власти было бы создание временной единоличной верховной власти. К великому несчастью для России, если наша революция выдвинула титанов разрушения, анархии и беспорядка, то, к сожалению, на фоне нашей революции не явилось ни одного человека, которому вся нация могла бы доверить такую власть и на которого могла бы рассчитывать, что он доведет страну до Учредительного Собрания.

Поэтому приходится поневоле мириться с менее совершенной формой в виде директории, но эту директорию мы мыслим, как верховную власть, действующую через посредство министров, ответственных перед этой верховной властью, при чем эта директория—эта верховная власть ни перед кем не отвечает, объем ее прав—вся полнота власти, она ограничивается только в том, что перед директорией ста-

вится задачей довести страну до Учредительного Собрания и *даже сама директория должна понимать, что подлжжит реше-ию Учредительного Собрания.*

Вы видите: то, что я Вам предлагаю—власть безконтрольная и безответственная. И вот перед нами, граждане,—заканчивает декларацию кадет П. А. Кроль,—стоит сейчас величайшая задача, а великая задача требует великих решений и, несмотря на то, что я заранее знал, что многих из Вас не может не смутить та форма, которую мы предлагаем, я все-таки считаю, что мудрость этого *Высшего Собрания* в конце концов окажется на высоте задачи”.

Я нарочно привел *in extenso* важнейшую часть декларации кадет, так как в ней намечена политика, во многом восторжествовавшая на Государственном Советании и определившая собой и Омский переворот с последовавшей диктатурой Колчака, и переход почти всей демократии России и Сибири в лагерь „нейтральных“ в борьбе с Советской властью.

Значительный интерес представляют еще декларации казачьих групп и группы мусульманских Правительств. Они важны потому, что на казачьих и башкирских полках лежала новая тяжесть борьбы, на юго-западном Уральско-Туркестанском фронте; и образование правительств, идущего в разрез с чаяниями широких масс, должно было в корне подрывать сопротивление казаков, башкиров и *мусульман* Советской власти.

Декларации эти не были тождественны. Декларация казаков отличалась двойственным характером. Войсковые круги, глубоко демократические, в силу традиции и других условий набрали своими представителями преимущественно офицеров из приспособляющихся. Делегации же на Уфимском Советании были избраны уже войсковыми правительствами, т. е. двухстепенными выборами, и лишь отчасти отражали взгляды казаков. Достаточно сказать что Сибирским делегатом был войсковой старшина Катапаев, арестованный впоследствии директорию.

Объединенная декларация семи казачьих войск: Оренбургского, Уральского, Сибирского, Семиреченского, Астраханского, Иркутского и Енисейского требовали безответственной Директории, создания Государственного Совета для решения вопросов войны и мира и созыва *нового Учредительного Собрания*,—другими словами требования казаков были очень близки к требованиям кадет. Однако, чтобы сохранить „лицо“ перед демократически настроенным казачеством, декларация пунктом 7 и последним заявляла: 7) „Всероссийская Верховная власть должна принять все меры к скорейшему созыву полноправного Всероссийского Учредительного Собрания, ибо искони демократические, представленные на Государственном Советании, Оренбургское, Уральское, Сибирское, Семиреченское, Астраханское, Иркутское и Енисейское казачьи войска, не признающие в своих областях иной власти, кроме народной, выраженной войсковыми кругами и органами, ими избираемыми, считают, что в Государстве Российском вся власть должна принадлежать, как истинному выразителю воли народной, полноправному Всероссийскому Учредительному Собранию нового созыва“.

Мусульмане, в лице правительств автономного Туркестана и Башкирстана, от Турко-татарского управления внутренней России и Сибири и Правительства Агаш-Орды, выступили с декларацией чисто

демократической. Устами Букейханова они заявили: „Мы признаем, что власть в России должна принадлежать... Учредительному Собранию этого созыва. Пока Учредительное Собрание это не создано, верховная власть по нашему мнению должна принадлежать наличному составу Съезда членов Учредительного Собрания, вместе с Коллегией, которая создастся на этом нашем Совещании, путем соглашения... Члены Учредительного Собрания и Съезда (т. е. Съезда Членов В. У. С.) будут заседать постоянно и будут исполнять роль законодательного органа при той коллегии, которую настоящее совещание составит по соглашению. Эта коллегия, из семи лиц, обязана составить деловой кабинет министров, ответственных перед Съездом Учредительного Собрания... В коллегии должно быть: от Комитета Всер. Учр. Собр. четыре представителя, от Сибирского правительства—один представитель, от казачьих войск—один представитель, от автономных правительств Туркестана, Башкурдистана, Алаша—один представитель“.

Я остановился так подробно на декларациях этих, сравнительно не таких больших, групп потому, что их позиции в Советской России известны меньше, чем точки зрения Комитета Членов В. У. С. или партии кадет. Между тем в последующей борьбе Советской власти с правительством Колчака эти группы сыграли, быть может, решающую роль. Башкиры перешли на сторону большевиков, а уральские и оренбургские казаки перестали сражаться. Это изменение их позиции можно было предугадать на основании декларации их представителей в Уфе.

Моменты внутри-съездовой борьбы фракций только с внешней стороны определялись всеми вышеприведенными принципиальными соображениями. На самом деле на съезде шла крайне обостренная групповая борьба демократии, в лице партии социалистов-революционеров, против цеховой буржуазии, представленной партией к-д и сибирским правительством. Одновременно в эту борьбу партий вмешивался и третий элемент, в лице армейской и казачьей военщины, которые, стремясь не к осуществлению принципов управления, а к возврату своих кастовых привилегий, оказывались вместе с тем наиболее азиатско-безпринципными в выборе средств и вероломными в исполнении своих обязательств, а потому внешне склонными к компромиссам. Монархисты и реакционеры в душе, офицеры свободно делались большевиками, а затем объявляли себя сторонниками Учредительного Собрания, что не мешало им впоследствии расстреливать членов Учредительного Собрания лишь за то, что они носят это высокое звание. Единственным исключением был ген. Болдырев, для которого данное им слово имело значение.

В такой компании все политические принципы и обязательства соблюдаются лишь постольку.... поскольку к этому вынуждает обстановка. Между тем обстановка за время с 20 августа по 26 сентября—время создания Всероссийского Правительства—менялась с головокружительной быстротой. Некоторые даты стоит заметить. 8 августа взята Казань, в августе же ваят Симбирск. Предложение Комитета Членов У. С. об образовании Всероссийской власти приветствуется всеми.

20—26 августа Административный Совет Сибирского Правительства замышляет освободиться от контроля Сибирской Областной Думы—на предварительном Совещании в Челябинске Сибирское правительство выступает как конкурент на Всероссийскую власть. В начале сентября прорыв большевиков у ст. Иглино—общий порыв к образованию

Всер. Власти. 5 сентября—взят Вольск,—начало Государственного Сопещания 8 сентября, при явной гегемонии Комитета Ч. В. У. С. 9 сентября падение Казани—усиление похода недемократической прессы против Комитета, составление декларации с требованиями безответственной военной диктатуры. Попытки реакционеров сорганизовать в Уфе заговор против Комитета Ч. В. У. С. Падение Симбирска. Сопотивление Сибирского правительства, кадет и казаков признанию прав первого Учредительного Собрания.

15-го получены известия о неудаче Омского переворота, убийстве Новоселова, аресте чехами начальника Омского гарнизона полковника Волкова и выступлении чехов на стороне Областной Думы. Сильный нажим красных на Уральском фронте. Сибирское правительство сдается и соглашается на признание полномочий Учредительного Собрания первого созыва.

17 сентября принятие Государственным Сопещанием общей программы образования Верховной власти.

18—25 сентября быстрое наступление красных в обхват Самары на Бугульму. Прорыв красных от Николаевска на Иващенко. Возстание в Иващенко. Паническое бегство мобилизованных народной армии.

Кадеты, Сибирское Правительство, казаки требуют преобладания цензовиков в Директории, отводят всех видных с-р, протестуют против включения в Директорию персонально членов Центр. Комитета П. С. Р.

22—25 сентября сведения о непризнании Сибирского Правительства союзниками. Угрожающее продвижение красных от Николаевска на Уральском казачьем фронте.

Казачьи депутаты идут на компромисс. В состав директории включается Зензинов.

25 сентября достигнуто соглашение о личном составе директории. Такова схема событий.

Внешне блестящие дела Самарского Комитета на Поволжском фронте дали ему возможность получить согласие реакционных групп на назначение места заседаний Сопещания на территории Учредительного Собрания. Но к моменту его открытия положение на фронте изменилось к худшему. 8-го открылось Сопещание и 8-го была взята красными Казань. Эта военная неудача предопределила вопрос об объеме власти Комитета Членов Учредительного Собрания и об ответственности перед ним Всероссийского Правительства—точка зрения, с которой Самарские члены У. С. поехали в Уфу. Однако к этому же времени определился сильный напор красных на Николаевском и Уфимском фронте. Уральские и Оренбургские казаки почувствовали крайнюю потребность в военной помощи и сделали достаточно покладистыми в вопросах политических, тем более в чисто теоретических спорах. Наиболее упорными в отстаивании диктатуры и непризнании прав на власть У. С. были сибиряки. В течение довольно долгого времени они тянули споры и, не сжигая за собой мостов, всячески тормозили соглашение. Оказалось, что прибывшие в Уфу члены административного Совета выжидали разрешения кризиса в Омске. Именно в это время реакционная часть Сибирского Правительства осуществляла задуманный ранее план уничтожения выбранного Областной Думой Сибирского Правительства и перенесения его полномочий на никем не избранный, а подобранный по принципу назначения тем же Сп.

Омским Правительством Административный Совет, своего рода деловой кабинет министров. Имея за собой поддержку штаба Сибирской армии и реакционных добровольческих отрядов Анненкова и Красильникова, Административный Совет мог рассчитывать выполнить эту задачу. И действительно, когда начальник гарнизона г. Омска полковник Волков и его подчиненные офицеры арестовали членов Сибирского Правительства и президиум Областной Думы, то русские военные части не шевельнулись на их защиту. Тем не менее по инициативе некоторых демократических групп в дело вмешались чехи. Батальона чехов оказалось достаточно для того, чтобы арестовать полковника Волкова и заставить скрываться идейного руководителя всего дела — министра финансов И. Михайлова. Когда развязка этого дела и то, что заговор пока сорвался, стала известна сибирякам, то они пошли на уступки. Стала возможной выработка общей платформы. Была намечена следующая программа. Права Учредительного Собрания признаются полностью. Но... господствующая фракция социалистов-революционеров обязуется не допускать принятия на себя Собранием учредительных функций. Должно быть создано новое Учредительное Собрание, которое фактически осуществит всю полноту власти, а Собрание первого созыва будет лишь обыкновенным парламентом, выполняющим функцию текущего законодательства и контроля над действиями правительства. Все же, Собрание первого созыва признается единственным легальным источником власти и потому должно собраться и открыться при кворуме в 250 членов 1 января 1919 г., а при кворуме в 170 членов — к 1 февраля 1919 г. Всероссийское Правительство вполне подотчетно Учредительному Собранию после его открытия. Таким образом крах Омского предприятия заставил сторонников диктатуры пойти на эту серьезную уступку в теоретическом споре о народовласти и диктатуре. Надо сознаться, что эта уступка была чисто внешней. Как люди дела и реального понимания положения вещей, не отягощенные к тому же предрассудками о нравственной обязательности данного слова, представители партии к-д и Сибирского Правительства охотно давали бумажные гарантии, требуя для себя реальных. В вопросе о форме власти они держались той же тактики: соглашась теоретически и на бумаге на ответственность Всероссийского Правительства перед народным представительством, на деле они требовали фактической безответственности правительства и диктаторских для него полномочий до созыва Учредительного Собрания, т. е. на четыре или пять месяцев. Расчет, и совершенно правильный, заключался в том, что положение вещей за четыре месяца может радикально измениться. Тем более, что единственную реальную гарантию всяких обязательств и прав сторонники диктатуры видели лишь в вооруженной силе. А в этом отношении ими были приняты все меры к тому, чтобы армия оказалась у них в руках. По отношению к армии было условлено, что армия устраивается на общепризнанных основах военного дела, что никакие воинские организации не будут допущены, что командный состав должен иметь достаточно свободы действий, а дисциплина — быть твердой при «соблюдении уважения к личности». Это «уважение к личности» было максимальной уступкой духу времени. Единство организации также было признано совершенно необходимым и достигалось подчинением всех войск Всероссийскому Правительству, т. е. генералу Болдыреву. При такой конструкции армии достаточно было иметь во главе ее свой штаб, чтобы

з течения короткого срока овладеть всей армией. Это было тем легче, что масса кадрового офицерства ненавидела все, что напоминало революцию, и готовность его поддержать диктатуру была вне сомнений.

Определение числа членов правительства вызвало большие прения. Идеалом одних был единоличный диктатор, для других желательнее было семичленное правительство. В конце концов, в виду невозможности найти лицо, которое могло бы быть предложено в качестве диктатора, и кадеты согласились на директорию из пяти лиц. Этим закончились прения в согласительной комиссии по вопросу о форме образования Всероссийской власти. За все это время пленум Государственного Сопещания не созывался, ибо работа происходила в согласительной комиссии и во фракциях.

Поэтому любопытно заглянуть во внутреннюю жизнь фракций за этот период. Я лично могу рассказать лишь о том, что происходило во фракции с-р и в Комитете Членов В. У. С., что фактически было одним и тем же. Мне кажется, что освещение работы фракции с-р будет все же небезполезно, ибо во время переговоров фракций ясно определялись две основные группы: с одной стороны кадеты и сибиряки, с другой—социалисты революционеры. Между ними главным образом шел спор. Фракции социалистов-революционеров, главенствующей на Сопещании, приходилось особенно тщательно и внимательно вдумываться в каждый предлагаемый или принимаемый компромисс, и, конечно, работы фракции шли с крайним напряжением. В начале же Государственного Сопещания фракция социалистов-революционеров раскололась на две части, скрепленные лишь силой партийной дисциплины и внешним принуждением событий. Всего во фракции было 50 человек с решающим голосом, и делились они почти поровну. На крайней левой стояли лишь члены У. К. Коган-Бернштейн и Чайкин. Они считали возможным признать Всероссийское правительство лишь в том случае, если оно будет ответственным перед съездом членов Учредительного Собрания, если учредительные функции Собрания первого созыва не будут оспариваться и если социалисты-революционеры будут представлены в правительстве соответственно их числу в Учредительном Собрании. Эта группа не считала возможным передоверить власть, врученную народом социалистам-революционерам, кому бы то ни было. Уступки они считали гибельными, ибо реакционный характер борьбы, поднятой против Учредительного Собрания кадетами и правыми группами, был для них вполне ясен, также впрочем как и для всех членов П. С.-Р. Когда в ходе переговоров выяснилось, что фракция социалистов-революционеров плет на чрезмерные, по их мнению, уступки, то оба они санкционировать их не желали. Коган-Бернштейн уехал с Государственного Сопещания и решил вернуться в Советскую Россию. С тех пор о нем нет точных сведений, но было известно, что человек с некоторыми особыми приметами М. Л. Коган-Бернштейна был расстрелян красноармейцами при попытке перейти через фронт. Чайкин оставался до конца Сопещания, но торжественного обещания не подписал и демонстративно покинул зал заседания во время оглашения акта об образовании власти.

Значительная группа депутатов с-р., возглавляемая Вольским стояла примерно на той же точке зрения, что и Коган-Бернштейн и Чайкин, но, лучше осведомленные о положении невыносимом положении, в котором находилась территория Учредительного Собрания, и гораздо больше втянувшиеся в борьбу против большевиков, чем

Котай-Бернштейн и Чайкин, только что приехавшие в Самару, эти депутаты шли на компромисс ради получения военной помощи Сибиря. Сам Больский неоднократно заявлял, что он идет на уступки, яже недопустимые принципиально, лишь ради того, чтобы спасти Самару от участи Казани и Симбирска. Как оказалось, эти надежды были неосновательны. Сибирская реакция только радовалась поражением на Самарском фронте, так как эти поражения вели к гибели ненавистную идею демократического строя и народовластия. В эту группу входили из видных с.-р. члены у. к. Веденяпин, Ракитников, Буревой, Н. Иванов, Раков и почти все депутаты рабочие. Эта группа, составлявшая почти половину депутатов, внутри фракции голосовала против дальнейших уступок, но, подчиняясь партийной дисциплине, на пленуме и в комиссиях голосовала согласно с постановлениями фракции. Руководящую роль во фракции и вообще в демократической части Совещания играли Авксентьев, Зензинов, Роговский, Гендельман. Это их дух реял во фракции и в согласительной комиссии и, насколько авторы ответственных за свои произведения, настолько и перечисленные выше депутаты ответственны за направление и ход работ Государственного Совещания и за его плачевные для демократии результаты. Соглашательство, как единственный метод политического действия, договоры и торжественные обещания, как единственные гарантии соблюдения обязательств,—таково было оружие, с которым эти природные парламентарии ринулись в самую гущу азиатско-мексиканского политического быта. Теперь, когда сроки исполнились, ясно видишь всю непривлекательную и комическую сторону этих переговоров. Одной стороне казалось, что достаточно вырвать от противников словесное обещание, чтобы желательный результат был достигнут, а другая сторона, видя это, ломалась и нехотя давала обещания, твердо зная, что они будут обязательны лишь в том случае, если будут выгодны или если их нельзя будет не исполнить не рискуя головой. Авксентьев и Роговский оживляли матерых казаков и ренегатов из Сибирского Правительства, уживались с ними, рассыпались перед ними в любезностях, стремясь приручить их к себе; а тем нужно было только одно—вера в военную силу и ни перед чем не останавливающаяся решительность Комитета—и отдельных членов Учредительного Собрания. Такой решительности реакционеры не видели и члены Учредительного Собрания особым уважением у жестоковейных казаков и сибиряков не пользовались: их считали „мягкотелыми“ и против них считали нужным бороться военными заговорами, веря, что „мягкотелость“ с.-р. гарантирует успех заговора. Но, к несчастью для кадет и тех, кто был с ними, чехословаки в это время открыто демонстрировали свои симпатии к Государственному Собранию. Арестом полковника Волкова в Омске и угрозой против нарушителей дисциплины в Уфе они ясно показали, что способны на решительные действия. Эта подпорка, поддерживавшая сзади Комитет Членов Учредительного Собрания и сообщавшая ему известную твердость, заставила военщину считаться с ним. Но этого конечно было недостаточно, чтобы торжественные обещания, данные в Уфе, были обязательны для Омских черносотенцев. Чехи ведь были не вездесущи, а с.-р. действительно были поголовно мягкотелы. Два небольших, но характерных, случая особенно ободрили реакционеров. Первый—это инцидент с генералом Галкиным. Генерал-майор Галкин был военным министром Комитета Членов В. У. С.

Во время подготовки самарского выступления против большевиков он дал ценные с стратегической точки зрения указания о плане выступления и тем заслужил благоволение т. Вольского. Выражая сочувствие борьбе за Учредительное Собрание и партии социалистов-революционеров, Галкин сумел втереться в доверие и к некоторым другим членам Комитета, между прочим к Фортунатову и Лазареву. К моменту Государственного Сопения обнаружилось, однако, что Галкин, произведенный Комитетом из капитанов в генералы и почти безконтрольно хозяйничавший в армии, не только полная бездарность, не сумевшая ничего создать за четыре месяца работы, но и авантюрист, ведущий интриги против Комитета. Когда председателю Комитета стало известно, что Галкин готов отказаться в повиновении Самарскому Комитету, министром которого он являлся, то В. К. Вольский решил подействовать на него угрозой „разоблачения его предательства перед всем народом“. Вольский составил текст обращения к народу и текст этот был „нечаянно“ доставлен Галкину. Галкин, как и следовало ожидать, понял такое выступление, как признак слабости, ибо по ту сторону фронта, так же как и по эту, есть только один признак силы—приказ об аресте и расстреле.—Весьма довольный таким доказательством слабости комитета У. С., Галкин сам распространил „обращение“ Вольского в правых группах Сопения и среди реакционного офицерства, которые много смеялись. Дипломатическая хитрость Вольского чрезвычайно уронила его в глазах не только правых групп, но и среди членов П. С.-Р. Всем стало ясно, что ореол силы и решимости, которым окружило Вольского Самарское выступление против большевиков, и резкие фразы на заседаниях Комитета и на митингах—не больше как обманчивая внешность, а на самом деле и он лишь „мягкотелый интеллигент“. Этот шаг Вольского лишил с.-р. возможности выставить его реальным кандидатом в члены Директории. Инцидент с Галкиным этим не кончился.

Особенно памятна, вероятно, бывшим на Государственном Сопении членам Комитета неприличная выходка, которую Галкин позволил себе на пленуме Комитета. Вызванный на заседание, чтобы информировать Комитет о положении дел на фронте, Галкин заявил приблизительно следующее: „положение на фронте очень тяжелое. Непосредственной опасности Самаре не угрожает, но нам нужно вооружение, снаряжение, обмундирование и военная помощь Сибири. Все это мы можем получить лишь после образования Всероссийского Правительства“. „Что же касается помощи, которую члены Учредительного Собрания могли бы оказать фронту, то она может выражаться лишь в том, что они прекратят болтовню и будут способствовать скорейшему образованию единой власти“. Председательствующий Архангельский делает Галкину замечание. Галкин продолжает: „я слышал, что есть мысль послать на фронт агитаторов ради воодушевления солдат (это было предложение председателя Комитета В. К. Вольского о посылке на фронт Членов У. С.); я заявляю, что посылка таких агитаторов была бы преступлением и предательством“. Новое довольно резкое замечание председательствующего Архангельского. Галкин продолжает: „я должен заявить, что армия и офицеры с нетерпением ожидают, когда члены Учредительного Собрания исполнят наконец свой долг и, прекратив партийные раздоры, создадут так необходимое для спасения России Всероссийское Правительство“.

Архангельский прерывает его еще раз и Галкин кончает: «Как угодно, но пока у меня есть возможность — я буду говорить то, что считаю своим долгом». Эта дикая выходка, которая ясно показала, что Галкин, так долго прикидывавшийся сторонником власти Учредительного Собрания, в действительности относится к Комитету с заглаженной злобой и презрением, не имела для него никаких последствий. Он остался военным министром. Эту слабость Комитета он учел как безсилие и немедленно по окончании Государственного Собрания выступил открыто против Комитета, отказавшись ему поинтоваться. Правда, преждевременно, ибо по приказу Бомдырева ему пришлось подчиниться, хотя бы только по внешности.

Уфимское совещание началось попыткой военного заговора. Едва успели члены Комитета прибыть в Уфу, как в городе по инициативе подполковника Солодовникова (начальника контр-разведки уфимского штаба формирования Народной Армии) состоялось собрание офицеров местного гарнизона — полков народной Армии. На этом собрании было постановлено, что гарнизон не желает признавать Самарское Правительство, а будет подчиняться лишь штабу Сибирской армии, в знак чего снимает георгиевскую кокарду Комитета Членов В. У. С. и будет носить бело-зеленую Сибирскую. На утро часть офицеров, явившись в свои части, приказали солдатам одеть бело-зеленые кокарды, заявив, что теперь уфимские полки входят в состав Сибирской армии. Об этом инциденте говорил весь город. Председатель Комитета Вольский, военный министр Галкин и чрезвычайный уполномоченный по военной части Фортунатов были в Уфе, знали о происшедшем, но мер никаких не приняли. Более того, когда против Солодовникова были выдвинуты обвинения общего уголовного характера, то Галкин положил дело под сукно и Члены Правительства Комитета Членов В. У. С. не решились противодействовать явному потворству Галкина офицерам-заговорщикам. Солодовников же был арестован лишь впоследствии Сибирским правительством за кражу 8 пудов золота. Это внешнее безучастие Самарского правительства все — и друзья и враги объяснили его безсильем. Да так оно и было. У Комитета в Уфе не было почти солдат на которых он мог бы положиться. „Инструкторская рота“ — составленная из 6. офицеров и интеллигенции и несшая охрану Совещания достаточно ясно дала понять, что и она на стороне Сибирского штаба. Кризис мог бы разрешиться много хуже — прямым выступлением реакционеров и арестом Членов Учредительного Собрания, но в городе были чехи — всего около батальона, и полковник Солодовников получил от чешского командования заверения, что никакой переворот чехами допущен не будет. Это моментально охладило пыл заговорщиков и вынудило их выжидать развития событий.

Я останавливаюсь на инцидентах с Галкиным и Солодовниковым в связи с прениями групп во фракции с.-р., так как эти прения нельзя понять, не зная этих фактов, в которой они протекали. Галкин — военный министр Комитета, креатура двух видных его членов — Вольского и Фортунатова. В руках Галкина была военная сила Комитета и измена его Комитету в критический момент образования Всероссийской власти поставила фракцию перед роковым вопросом: какими реальными силами (военными) может она подкрепить свои притязания? Измена Галкина вынуждала Комитет, а следовательно и фракцию с.-р. ибо это было единственно — или признать отсутствие за

собой военной силы и положиться исключительно на дипломатические маневры своих лидеров; либо, арестовав и расстреляв Галкина, назначить нового военного министра—кандидат у Комитета уже был. Но Вольский противился его назначению,—и таким образом овладеть снова военными силами Комитета, которые ускользали из его рук. В последнем случае надо было прибегнуть к помощи чехо-словаков, которые эту помощь были готовы оказать. Фракция с-р под влиянием Авксентьева и Гендельмана встала на первый путь—путь дипломатических ухищрений и словесных побед,—и с этой колен так и не могла свернуть вплоть до Омского переворота и Уфимского ареста членов У. С.

Две группы во фракции, довольно многочисленные, играли очень незаметную роль. Это во-первых кол-блившийся центр Минора, Архангельского и др. Его позиция „нельзя не признать, но нельзя и не сознаться“, не мешала ему в общем идти за Авксентьевым.

Второй группой была правая группа, которая еще продолжала верить в „национальную совесть и государственный разум“ буржуазии и наивно верила, что вся беда в том, что сами с-р. слишком прямолинейны и не способны на „государственный разумный компромисс“. Е. Е. Лазарев доходил до того, что предостерегал фракцию от отставания партийных кандидатур, ибо: „с-р. стали одиозны своей негосударственностью и прошлыми ошибками циммервальдистов“.

В том же стиле выступала и „бабушка“. Эти выступления вносили довольно много раздражения во фракцию, но не имели особого влияния. Наивная слепота, которая мешала правой группе понимать истинное положение вещей, была слишком очевидна.

Кстати сказать, именно эта группа Членов У. С. больше всех пострадала впоследствии от тех реакционных элементов, политическую порядочность которых она так горячо защищала.

Группа с-р., стоявших на крайней правой, не отличалась многочисленностью. В нее входили: Розенблюм, В. Павлов, Аргунов, Е. Лазарев, Подвицкий, Литошняков, М. Кутузов, Брешко-Брешковская, В. Лебедев (не член У. С.) и некоторые другие. Оригинальной особенностью тактической линии поведения этой группы было стремление к соглашению с буржуазией во что бы то ни стало. Национальные соображения перевешивали в ней все остальные. Россия завоевывается с запада Германией, с востока Японией. Она расчленена на десятки мелких государств и не сможет выйти из этого положения, пока в ней не будет твердой Всероссийской власти, способной национальные интересы народа поставить выше всех личных и групповых стремлений населения. Кад-ты, промышленники, офицеры как бы реакционны они ни были, все же обладают достаточно развитым национальным чувством и национальные задачи воссоединения и освобождения России могут поставить выше всех остальных. Без буржуазии нельзя обойтись в производстве, торговле и государственном управлении. Более того, историческая необходимость диктует переход власти в руки буржуазии и сопротивляться этому бесполезно, а с-р в правительстве все равно будут делать буржуазное дело (мнение Д. С. Розенблюма). Во имя национальных интересов соглашение с буржуазией должно быть достигнуто ценой самых тяжелых жертв.

Правые поддерживали, конечно, Авксентьева.

Таковы в общем разногласия, делившие фракцию с.-р. на мелкие группы. В результате всех колебаний фракция в большинстве пошла за Авксентьевым и Гендельманом и желательный для них компромисс был достигнут. 13 сентября программа Государственного Сопещения была оглашена на заседании пленума, одобрена им и Сопещение в лице соглашательной комиссии перешло к вопросу о кандидатурах. В этом вопросе стороны проявили максимум упорства и прения затянулись до 23 сентября. Позиция с.-р. в этом вопросе была сильно ослаблена некоторыми особенностями личного состава фракции. Кроме принципиальных положений, многих с.-р., оценивавших по достоинству непримиримую позицию цензовиков, ити на передачу значительной части власти представителям к.-д. и промышленников заставляли соображения совсем иного порядка. Самарская эпопея показала, что в партии с.-р. нет достаточного числа людей, способных руководить деятельностью государства в такой сложной и запутанной обстановке. Более того, с.-р. не могли дать достаточного числа деловых администраторов. Министры Самарского Комитета Членов У. Собрания, именно как министры, не пользовались особым фавором даже в среде своих товарищей. Среди военных специалистов не было ни одного настоящего с.-ра. Пути сообщения были доверены товарищу, не отличавшемуся рукоятку тормоза Вестингауза от вешалки для платья. Министром народного просвещения был Е. Е. Лазарев, преклонные годы которого делали его совершенно неспособным к административной работе. Я не буду давать характеристики членам Самарского правительства. Когда-нибудь их дадут люди, лучше меня, прибывшего в Уфу к концу деятельности Комитета, знающие кто чего стоит. Отмечу только, что и в Самаре и в Омске с.-р., оказавшись у власти, видели себя вынужденными образовывать при Правительстве т. н. деловой кабинет, — „Административный Совет“ в Омске, „Совет управляющих ведомствами“ в Самаре. Благодаря неспособности людей, называвшихся министрами, к руководству доверенными им отраслями управления им приходилось приглашать т. н. специалистов из провинциального чиновничества, которые и руководили делом. Эти элементы, абсолютно не демократические, смешанные с малограмотными в государственных делах с.-р., вели такую странную и противоречивую политику, которая никого не удовлетворяла и всех раздражала. Вот примеры: в области финансов — не выпускались новые бумажные деньги, а средства получались распродажей государственных имуществ (товаров) и было объявлено о возобновлении казенной продажи водки. Затем, когда было все же решено, что без выпуска денег не обойтись, то керенки не печатали, как по техническим (преодолимым) затруднениям, так и из принципиальных соображений, а новые бумажные деньги были выпущены в виде прощепелеванных облигаций государственных займов (т. н. „Раковки“). Выгоду от такой политики получило лишь Советское Правительство, которое оказывалось сохранявшим за собой монопольное право на выпуск керенок.

Министерство юстиции восстанавливало действия судебных установлений, но по его же проекту был принят „Советом Управляющих Ведомствами“ и опубликован закон (не введенный в жизнь) о чрезвычайном суде. Суд этот должен был состоять из назначенных представителей по 1 от ведомств — внутренних дел, военного, юстиции и представителя Главкомандующего фронтом. Этот суд имел право

назначать лишь смертную казнь, а ведал он длинный список правонарушений, включая спекуляцию.

В армии комиссаров не назначали, комитеты были упразднены, но офицеры достаточной дисциплинарной власти не получили.

Бесчинства карательных (самочинных) отрядов не встречали достаточного противодействия и деятельность их, развергавшаяся на фоне восстановления земских учреждений, чрезвычайно озлобляла крестьян.

В области изостранной политики Комитет до конца не сумел понять чехов (главную свою опору) и подчинить Национальный Совет своему влиянию.

Рядовые с.-ры, которые не были министрами, но которые не могли не видеть происходившего, начинали просто не доверять способностям людей своей партии быть правителями государства. Это недоверие шло так далеко, что в Уфе, после Колчаковского переворота, один из видных с.-р., военный, сказал мне: у нас сил хватит, чтобы арестовать и осилить Колчаковцев, ну а дальше что? Кто будет министрами? Тот же Вольский, Чернов и К°, которые уже два раза не сумели удержать власть? А больше никого ведь нет. Ради этого разумеется не стоит начинать восстание.

Пусть такой плохой подбор людей объясняется чисто случайными причинами, тем, что из общего числа свыше 200 с.-р. депутатов к августу в Самаре было не больше 50 человек; все же не случайно, что и самые энергичные люди, прошедшие через фронт ради исполнения своего долга, не сумели выделить из своих рядов достаточного числа администраторов.

Сама фракция с.-р. очень не высоко расценивала административные таланты своих сочленов и потому тем легче она пошла на уступки в вопросе о личном составе правительства. Довольно быстро было установлено, что кандидатуры должны обсуждаться с точки зрения их личной пригодности. Таким образом все группы выступали в согласительной комиссии желательных им кандидатов, а комиссия расценивала их пригодность, как деловых членов Директории. Этим внешне была отнята возможность оценок кандидатов с партийной точки зрения. На самом деле кандидаты оценивались главным образом все-таки с точки зрения принципов Самарских и Омских.

Главная работа членов согласительной комиссии заключалась в опорочивании нежелательных им кандидатов. Целый ряд кандидатур был отвергнут согласительной комиссией после продолжительных прений. С.-ры выставляли Е. Тимофеева, Д. Донского, В. Вольского. Первые два были отвергнуты, как отсутствующие и мало известные членам Совещания, а последний, как неприемлемый для буржуазных партий: „большевик“, слишком резкий в выражениях и негосударственного склада ума. Правые выставляли Хорвата—он был отвергнут с.-рами, „ввиду его японофильской ориентации“. Словом, ярким представителям каждой партии оказывались нежелательными. Это и понятно, ибо при наличии пяти членов директории властью должна была овладеть та из групп, которая сумеет дать в правительство людей, могущих подчинить себе остальных членов директории. Потому, когда во фракциях рассматривались кандидаты, то общий принцип был таков: провести своих ярких людей, а у противников

пропустить лишь серую посредственность. Бывали и такие соображения: кадеты выставляют Алексеева. Фигура одиозная, но на него согласиться можно, ибо приехал курьер и привез достоверные сведения, что Алексеев тяжело болен и полная развалина. Следовательно, назначая Алексеева, правые фактически оставляют пустовать одно свое место, но все же такая яркая фигура с их стороны позволяет с.-р. проводить своего более яркого представителя. С.-ры особенно заботились о том, чтобы кандидаты чужих партий внушали доверие с точки зрения личной порядочности. Им нно с этой стороны вполне приемлемыми казались Астров, Виноградов, Сапожников, Вологодский и Болдырев. Будущее показало, что личная порядочность вещь очень условная и из всей компании сумел сдержать „торжественное обещание“ лишь генерал Болдырев. В конце концов директория составила из: Н. И. Астрова от кадет, В. Г. Болдырева от „Союза освобождения“ и П. В. Вологодского от Сибирского правительства, Авксентьева от с.-р. и Чайковского от н.-с. Однако, так как три кандидата из пяти отсутствовали, то было решено избрать еще пять заместителей, которые могли замещать каждый лишь то лицо, заместителем к которому кандидат был избран. Астрова замещал проф. Виноградов, Болдырева — ген. Алексеев, Вологодского — проф. Сапожников, Авксентьева — Аргунов и Чайковского — Зензинов. Таким образом директория в конечном счете после прибытия Вологодского составила из: Авксентьева — временного председателя, ген. Болдырева, Виноградова, Вологодского и Зензинова.

23 сентября 1918 г. состоялось торжественное заседание пленума Государственного Совещания. На нем Роговским был оглашен „Акт об образовании Всероссийской верховной власти“. Вот его текст:

26 августа, 1—10—23 сентября 1918 г.

„Государственное Совещание в составе: съезда членов Всероссийского Учредительного Собрания и уполномоченных на то представителей: комитета членов Всероссийского Учредительного Собрания, Сибирского временного правительства, областного правительства казачьих войск: Оренбургского, Уральского, Сибирского, Иркутского, Семиреченского, Енисейского, Астраханского, представителей правительств Башкирии, Алаш, Туркестана и национального управления Турко-татар внутренней России и Сибири и временного эстонского правительства, представителей съезда городов и земств Сибири, Урала и Поволжья, представителей политических партий и организаций: партии с.-р., российской с.-д. рабочей партии, трудовой народно-социалистической партии, партии народной свободы, всероссийской с.-д. организации „Единство“ и „Союза возрождения России“ — в единодушном стремлении к спасению страны, воссозданию ее единства и обеспечению ее независимости постановило:

Вручить всю полноту Верховной власти на всем пространстве государства Российского Временному Всероссийскому Правительству в составе пяти лиц: Николая Дмитриевича Авксентьева, Николая Ивановича Астрова, генерал-лейтенанта Василия Георгиевича Болдырева, Петра Васильевича Вологодского и Николая Васильевича Чайковского.

Временное Всероссийское Правительство в своей деятельности руководствуется следующими установленными настоящим актом положениями:

Общие положения:

1) Временное Всероссийское Правительство впредь до созыва Всероссийского Учредительного Собрания является единственным носителем верховной власти на всем пространстве государства Российского.

2) Все функции верховной власти, временно отправляемые в виду создавшихся условий областными правительствами, должны быть переданы Временному Всероссийскому Правительству, как только оно того погребует.

3) Установление пределов компетенции областных правительств, на началах широкой автономии областей и на основах, приведенных в изложенной ниже программе деятельности правительства, предоставляется мудрости Временного Всероссийского Правительства.

Обязанности правительства в отношении Всероссийского Учредительного Собрания:

В непрерывную обязанность Временного Всероссийского правительства вменяется:

1) Всемерное содействие функционирующему, как государственно-правовой орган, съезду членов Учредительного Собрания в его самостоятельной работе по обеспечению приезда членов Учредительного Собрания и по ускорению и подготовке возобновления занятий Учредительного Собрания настоящего состава.

2) Неуклонное руководство в своей деятельности непререкаемыми верховными правами Учредительного Собрания и неустанным наблюдением, чтобы в деятельности всех подчиненных Временному правительству органов не было допущено ничего, могущего клониться к умалению прав Учредительного Собрания или к замедлению его работ.

3) Представление отчета в своей деятельности Учредительному Собранию немедленно по объявлении Учредительным Собранием своих работ возобновленными и безусловное подчинение Учредительному Собранию, как единственной в стране верховной власти.

Примечание: к сему прилагается постановление съезда членов Всероссийского Учредительного Собрания от 13 сентября 1918 года“.

Далее следует постановление Съезда Членов В. У. С., назначающее открытие Учредительного Собрания при кворуме в 250 человек на 1 января 1919 года, а при кворуме в 170 на 1 февраля 1919 года.

После постановления съезда в акте об образовании Всероссийской верховной власти изложена программа деятельности Временного Правительства. Согласно этой программе, Временное Правительство основными своими задачами имеет: борьбу с советской властью, воссоединение России, продолжение войны с германской коалицией, и восстановление договоров с державами Согласия. В своей деятельности, направленной к осуществлению этих задач, Временное Правительство должно было руководствоваться принципиальными

программными положениями достаточно демократического характера.

Завершался „акт“ назначением заместителей к членам директории в лице А. А. Аргунова, В. А. Виноградова, генерала Н. В. Алексеева, В. В. Сапожникова и В. М. Зензинова, и торжественным обещанием членов директории и их заместителей:

„Мы, члены Временного Всероссийского Правительства, избранные на Государственном Совещании в городе Уфе, торжественно обещаем хранить верность народу и государству Российскому и выполнять наши обязанности в полном соответствии с принятым на Государственном Совещании актом об образовании верховной власти“.

После подписания торжественного обещания наличными членами Директории Уфимское Государственное Совещание было закрыто *).

Всероссийское Временное правительство „восприняло всю полноту власти“, но.. не его слабым, дрожащим рукам было удержать эту великую тяжесть.

В результате тщательного отбора кандидатов создалась новая власть, никоим образом не удовлетворявшая, никому не дававшая победы, а главное—совершенно бесхарактерная по личным свойствам кандидатов. Надо сказать, что с.-ры в Директории были представлены двумя партийными с.-рами—Авксентьевым и Зензиновым (членом Ц. К. партии) и одним „сочувствовавшим“ с.-рам еще в мае этого года П. Вологодским. Генерал Болдырев вместе с Авксентьевым был одним из основателей „Союза Возрождения“ и, как предполагали, находился под влиянием Авксентьева. Словом, личный состав Директории не был, по видимому, враждебен с.-рам. Да так это и было, ибо, чтобы провести буржуазную диктатуру, директорию пришлось разогнать вооруженной рукой.

Беда была в том, что личные качества членов Директории совершенно не соответствовали требованиям момента. Политическая атмосфера Самары, Уфы, Омска, Дальнего Востока была густо насыщена заговорами, борьбой честолюбий, анархическим разгулом авантюристов. Политическое убийство не было редкостью. Военные монархические группы создавали тайные конспиративные организации „десяток“. Большевики конспирировали среди рабочих и крестьян. Мобилизованные войска, еще не обученные и не дисциплинированные, поражали массовым дезертирством и полным нежеланием воевать. Кадеты устами своего лидера Жордечкого заявили на партийном съезде в Омске: „кадеты всегда были слабы потому, что они хотели действовать в белых перчатках. Теперь пришло время, когда надо пользоваться всеми средствами“.

В этой „мексиканской“, как ее называли в Омске, обстановке нельзя было действовать парламентскими средствами. Только свирепая беспощадная расправа с противниками могла гарантировать Правительству беспрепятственное выполнение лежавших на нем задач. Ни Авксентьев, ни Зензинов для этого не годились. Решительные на словах, они больше всего боялись решительных действий.

*) В состав, образованного при „Директории“, „делового“ Совета Министров вошли, кроме председателя П. Вологодского: Н. Зефирин, А. Гаттенберг, Г. Гинз, Ю. Ключников, адм. А. Колчак, Г. Краснов, И. Михайлов, Н. Петров, И. Серебряников, С. Старынкевич, Л. Устругов, Г. Тельберг, Н. Щукин.

Два призрака вечно стояли у них перед глазами. Первый, что с таким трудом налаженное соглашение с буржуазией расстроится и начнется новая „гражданская“ война внутри антибольшевистских групп; и второй, что правительство окажется в положении большевиков, опирающихся на латышей, мадьяр, китайцев и просто сброд, или в положении Рады, опиравшейся на немцев. Неизбежность положения Директории была ясна с первого дня. Член Директории и председатель Сибирского правительства П. Вологодский на посланную ему сибирской делегацией поздравительную „по случаю избрания“ телеграмму ответил: „Образование директории досадное осложнение“.

Для многих членов У. С. положение вещей было ясно. Или члены Сибирского правительства, запятнавшие себя убийством Новоселова, будут арестованы, а поддерживающие их и монархические заговоры отряды Анненкова и Красильникова распущены и разоружены—или Всероссийская власть, а с ней вместе и Учредительное Собрание, осуждены на бесславную гибель. Зензинов и Авксентьев не оспаривали тяжесть положения, но на указание, что необходимо опереться на чехов и вооруженной рукой привести к повиновению заговорщиков, они отвечали: „это значит гражданская война“ и „мы не хотим создавать своих латышей“.

Этим участь Директории, как власти мертворожденной, была решена.

Р. S. Многие читатели вероятно спросят себя: а что же делал в это время лидер партии Виктор Чернов? На это я могу ответить лишь одним. Виктор Михайлович в этот момент уклонился от лидерства и, не желая нести ответственности за происходящее, представлял решать дело другим. Правда, когда было уже все кончено, соглашение заключено и изменить его нельзя было, то из Самары за подписями Чернова, Климушкина и еще некоторых других членов У. С. был получен протест против условий соглашения. Виктор Михайлович говорил даже, что теперь уже пора разорвать соглашение и объявить Всероссийской властью Комитет членов В. У. С. Это была его „новая“ идея, но она не встретила достаточного сочувствия в партийных кругах. Вина за уклонение В. М. от лидерства в такой ответственный момент лежит не только на самом В. Чернове. Многие партийные товарищи давали понять, что Виктор Михайлович фигура настолько однозвонная для буржуазных кругов и казачества, что приезд его может в корне разрушить налаживающееся соглашение. И Чернов не приехал, видимо не отдавая себе отчета, что если партия стыдится своего лидера и отказывается от знакомства с ним, то или партия никуда не годится или лидер уже перестал быть таковым.

Во время последнего кризиса партии—переговоров с большевиками—Виктор Чернов вновь отсутствует, хотя при желании он мог бы оказать на них свое влияние. Не настали ли для него и еще кой-кого „сумерки божьих“?

Член В. У. С. от Северного фронта В. Л. Утгоф.

Мои встречи с С. Л. Перовской.

Отрывки из воспоминаний.

Это было еще время женского вопроса. Стремление женщин выйти из своего рабского положения. Движение охватило тогда всю Россию. В конце 60-х годов, окончив гимназию, получив хорошее наследство по смерти отца, имея возможность, благодаря исключительному моему семейному положению—самостоятельно распоряжаться своими средствами—я устроила в собственном доме в Харькове, без разрешения, бесплатные высшие курсы для женщин, имевших уже подготовку, и вечернюю школу для работниц, в которой обучали грамоте, знакомили с географией, историей и вели беседы о равноправии женщин и мужчин. Главным деятелем и лектором был Яков Игнатьевич Ковальский, только что окончивший физико-химический факультет и оставленный на кафедре физики при Харьковском Университете. Женщин, желавших учиться, было много. Школу посещали главным образом модистки, как элемент более развитой. Мой дом с утра до позднего вечера бывал переполнен учащимися. Жандармерия обратила внимание и закрыла как курсы, так и школу.

Я вместе с одной из слушательниц курсов Анной Александровной Аптекман решали ехать в Петербург, где в это время открылись высшие курсы для женщин Аларчинской гимназии и у Чернышева моста. В то же время Ковальский ехал делегатом от Харьковских студентов в Петербург на студенческий съезд. Возвращаясь в Харьков после съезда, он познакомил нас в Петербурге с Гинзбургом, студентом-медиком, который должен был нас, в свою очередь, познакомить с передовыми женщинами. Как-то в сумерки зимнего туманного дня Гинзбург пришел к нам с предложением идти в квартиру, где собирается кружок женщин наиболее выдающихся, вокруг которого группируется много женской молодежи. Я почувствовала даже некоторую робость. С радостным чувством мы понеслись с ним на Владимирскую улицу. Войдя по парадной лестнице в большой дом против церкви, поднявшись во 2-й этаж, Гинзбург открыл незапертую дверь. Мы попали в большую порожнюю, уставленную зеркалами, пальмами, вешалками, очевидно, богатой квартиры. В соседней комнате было шумно. Оттуда доносились женские голоса спорящих. Навстречу нам вышла небольшого роста очень молодая девушка, крепко сложенная, со стриженными волосами, в типичном для того времени костюме (ставшем как бы формой для поборниц женского вопроса): косоворотке, перетянутой реманным поясом и короткой темной юбке. Отки-

нутые назад волосы открывали большой умный лоб, а большие серые глаза, в которых чувствовалась незаурядная энергия, сияли жизнерадостностью. В общем, она походила скорее на мальчика, чем на девушку. Это была младшая из сестер Корниловых, Александра Ивановна, впоследствии по мужу Мороз.

Приветливо поздоровавшись с нами, она ввела нас в большую комнату, в которой около 20 женщин оживленно беседовали, разбившись на отдельные группки. Некоторые молча сидели, прислушиваясь. В комнате трудно было дышать от дыма, многие курили. Хозяйка квартиры вернулась к одной из групп продолжать, видимо, неоконченный спор, оставив нас самих разбираться в новой обстановке. Гинзбург тотчас ушел, не войдя даже в комнату, где было собрание исключительно женщин.

На полу кучами лежали новые неразрезанные книги. Бросив беглый взгляд, я прочла: Флеровского „Положение рабочего класса“, Верморель „48 год“, Михайлов „Пролетариат“ и др.

Сразу я не могла ориентироваться. Новая обстановка, много новых незнакомых лиц, книги... отрывки разговоров. Найдя укромный уголок в комнате, я оттуда стала всматриваться в лица. Посреди комнаты стояла высокая, сгорбленная молодая девушка в красной гарибальдийке, с профилем камен, с роскошными выщипанными обрезанными по плечи золотистыми волосами, с правильным строгим лицом; она так и просилась в статую свободы.

Подле нее очень молоденькая девушка, скорее девочка, выделявшаяся между другими особой простотой костюма: серое скромное как будто еще гимназическое форменное платье, с белым небольшим воротничком, сидело на ней как-то неуклюже: видно было полное отсутствие заботы о своей внешности. Первое, что бросалось в глаза, — это необыкновенно большой высокий и широкий лоб, который так премиривал в маленьком кругленьком личике, что все остальное как то ступеньвалось.

В то время, как блондинка порывисто, горячо, страстно наступала, девушка с большим лбом чрезвычайно сдержанно но с большим упорством возражала ей. Всматриваясь в нее, я увидела под большим лбом серо-голубые глаза с несколько опущенными к вискам веками, смотревшие немного исподлобья с недоверчивым выражением. В глазах была какая-то упорная непреклонность. Маленький детский рот во время молчания был крепко сжат, как бы из боязни сказать что-нибудь лишнее. Лицо было глубоко вдумчиво и серьезно. От всей фигуры веяло аскетизмом-монашеством.

Вслушиваясь в их спор, я уловила нить. Блондинка доказывала ненужность обособления женских кружков от мужских, тогда как ее оппонентка упорно защищала неприемлемость совместных кружков в виду того, что мужчины как более развитые непременно будут подавлять самостоятельность мысли женщин. По мере того как разгорался этот спор, несмотря на первое яркое впечатление от блондинки и несмотря на мою слабость вообще к красоте — меня все больше и больше влекло к скромно одетой девушке — аскетке. Перед моими глазами мелькало много лиц интересных, красивых, милых, но снова мое внимание возвращалось к девушке в сером. Может быть, отчасти в этом сыграло роль и то, что ее костюм своей беспретенциозностью резко выделялся между всеми, которые были одеты, поддаваясь своего рода моде этого круга женщин; может и то, что с детства меня влекли

образы упорных защитников своей веры, шедших на самопожертвование, на которых так походила эта девушка.

Далеко за полночь стали расходиться. Хозяйка дома, Корнилова удержала меня и, когда все ушли, осталась только девушка в сером: она познакомила нас: это была *С. Л. Перовская*. Она предложила мне участвовать в небольшом кружке женщин, желающих изучать политическую экономию. Я согласилась.

Придя в назначенный день в комнату Вильберг, одной из участниц этого кружка, я была удивлена малочисленностью собравшихся. Были: Перовская, Корнилова, А. И., Шлейснер (первая жена Натансона) впоследствии умершая в Петропавловской крепости, я и Вильберг (о судьбе которой я ничего не знаю). На мои вопросы, обращенные к Перовской: „почему нас так мало, почему они не пригласили Аптекман, которая вместе со мной приходила к нам“. Перовская ответила: „в этот кружок мы решили принимать с большим разбором, только лиц, которых мы знаем, потому что впоследствии этот кружок превратится в другой, с другими целями“. „Но почему Вы приняли меня и не пригласили Аптекман. Вы одинаково с нами обменивались мнениями?“. — „Нет, о Вас мы еще до Вашего приезда знали: знали о занятиях ваших с работницами в Харькове; Аптекман мы еще не знаем, вероятно и она будет приглашена потом“ — ответила мне Перовская. Много толковали о том, с чего начать занятия. Было решено начать с Милля с примеч. Чернышевского. Исправными посетителями этих занятий были только Перовская и я. Остальные или вовсе не приходили или приходили, когда мы уже оканчивали назначенную на этот день порцию Милля. Перовская в таких случаях резко пробирала озадавленных, особенно доставалось Ольге Шлейснер, всегда куда то стремившейся, всегда торопившейся. Перовская относилась к занятиям очень серьезно. Вдумчиво останавливаясь на каждой мысли, она развивала ее, возражая то Миллю, то Чернышевскому. Видно было, как умственная работа сама по себе, не только как средство для чего то дальнейшего захватывала ее и доставляла наслаждение. Но это продолжалось недолго. Перовская стала приходить на чтение чем то озабоченная и рассеянная. Придя как то раз очень расстроенной, изменив своей обычной сдержанности и замкнутости, она сообщила мне о своем неприятном личном положении. Она очень близка с матерью, которая ее понимает, и в то же время в очень обостренных отношениях с отцом, который возмущен ее стремлением вырваться из душной атмосферы их семейной жизни. Теперь он хочет водворить ее в лоно семьи, чего она очень боится и потому находится в полулегальном положении, проживая у разных знакомых.

Наряду с этим, таким неудачным, кружком были другие, в которые также входили все мы и Аптекман. В этих кружках гвоздем дебатов бывал всегда женский вопрос, хотя попутно затрагивались политические и социальные темы. Собрания женщин бывали многочисленны и так часты, что едва успевали с одного переехать на другое. (Трамвай не было, а были общественные сани с многочисленными сидениями, которые черепахи шагом тащились четверкой лошадей по главным улицам Петербурга). С Перовской я встречалась по 3—4 раза в день на таких собраниях, но ни разу не помню ее выступающей с речью (чем тогда весьма многие злоупотребляли). Забывшись в уголок, она с места вставляла свои резкие замечания жестким тоном неопита, нетерпимо относящегося к инкомыслящим.

Как раз в разгар всяких собраний, формирований кружков, галала процесса Нечаевцев—я серьезно заболела и врачи категорически погнали меня из Петербурга на юг.

Незадолго перед моим отъездом Перовская, зайдя ко мне, сказала: „Скорее поправляйтесь, нам надо с вами потолковать об очень важном“. Она видела, что я не в силах была ни слушать, ни говорить, у меня началось кровохарканье, я очень ослабела.

Спустя некоторое время ко мне забегает одна из участниц довольно многочисленного кружка, в который входили Корнилова, Перовская, я, Аптекман и много других. Возмущенная, взволнованная она заявляет мне: „представьте себе: Корнилова и Перовская, всегда говорившие против соединения с мужскими кружками, сами вошли в мужской кружок. Я зашла к вам узнать, можно ли сегодня же собраться у вас кружку, мы потребуем их к ответу“. Я дала согласие. Вечером моя большая комната была полна женщинами. Ждали довольно долго Перовскую и Корнилову. Корнилова вошла с непринужденным, даже несколько вызывающим видом; у Перовской был смущенный подавленный вид, но готовый к бою. На них посыпались обвинения со всех сторон. Но вскоре главную роль прокурора взяла на себя Берлин (впоследствии женщина-юрист, вышедшая замуж за И. И. Кауфмана). По окончании речи Берлин, Корнилова, со свойственным ее характеру задором, стала возражать, но весьма неубедительно. Перовская просто, сдержанно ответила: „мы вам ничего объяснять не станем“, поднялась и вышла вместе с Корниловой.

Пришедший после собрания мой знакомый, уложив мои вещи, несмотря на мои попытки сопротивления, увез меня в этот же вечер на железную дорогу, сказав, что врач не позволил мне ни часу больше оставаться. Я уехала в Харьков.

Во время большого процесса 193-х часть подсудимых, как известно, протестуя против неправильно веденного следствия, против долгого 4-х-летнего предварительного заключения, во время которого многие умерли, сошли с ума, покончили с собой (таких было около 90 человек),—отказались принимать участие в суде. Перовская была в числе протестантов. Правительство под давлением возбуждения в обществе этим процессом, зажигательными речами подсудимых и защитников—выпустило многих на поруки, а суд довольно многих оправдал. Перовская была в числе оправданных.

Я в это время была в Петербурге. Встретив меня на улице, Перовская позвала к себе. В ее комнате мы застали большую компанию выпущенных. Шли оживленные разговоры, споры; рассказывались разные эпизоды процесса, причем по адресу „католиков“ (так называли непринявших участия в протесте) сыпались весьма нелестные замечания, шутки... чувствовалась крайняя нетерпимость. Перовская не высказывалась ни против „католиков“, ни за них. Изредка добродушно улыбалась на какую-нибудь злоую но меткую характеристику.

Несмотря на то, что я попрощалась с нею, рассчитывая уехать на другой день из Петербурга.

Между судившимися по этому процессу был очень молодой студент-технолог Н. А. М., вошедший в тюрьму цветущим юношей и выпущенный на поруки после 4-х-летнего заключения умирающим от туберкулеза. Державший себя безукоризненно на следствии и суде,

идеально честный, он не принял участия в протесте, глубоко убежденный, что присутствие на суде подсудимых, разоблачение лживости подставных свидетелей, речи подсудимых и защитников будут иметь большее влияние, чем протест. Это был мой хороший знакомый. Перед своим отъездом я зашла проститься с ним. Боясь встревожить его, а может разбудить, я бесшумно открыла дверь в его комнату и вошла незаметно.

Уходя, длинная комната была освещена лучами заходящего солнца. Л. лежал на железной кровати. Зловещий оумянец на впалых щеках красивого, тонкого лица ярко оттенял большие широко раскрытые темные глаза, лихорадочно горевшие.

Подле кровати на стуле за маленьким столиком сидела Перовская, бросавшая укрдкой взгляд на больного. В этом взгляде было столько мольбаливого, деликатного участия, столько нежности, ласки, желания облегчить страдания... я не узнала строгую сектантку, какую я видела при первом моем знакомстве с Перовской.

Заметив меня, она сразу подтянулась, лицо побелело, холодом, она ушла в себя, боясь показывать свою отчаянность. Одно время Перовская жила в Пет-бурге в одной комнате студентов-технологов, где был и Л. с своей сестрой. Там же были: Эдауров, Владыкин, Драго.

Л., поднявшись на постели, прерывающимся припадками кашля голосом с живым интересом стал расспрашивать Перовскую о процессе. Явно избегая этой темы, отвечая ему односложно, она старалась свести разговор на общие с ним воспоминания о жизни в коммуне, припоминая с некоторым напряжением мысли различные эпизоды комического, веселого характера. Это ей плохо удавалось. Л. почувствовал ее дипломатию, как то осунулся, потускнел... Перовская, уловив его настроение, испугавшись своих неловких шагов, тотчас торопливо заговорила о процессе, возмущаясь адвокатом Боровиковским (постом, впоследствии сенатором), который, желая спасти свою подзащитную, не остановился перед таким сравнением: "здесь, г.г. судьи, вы видите на скамье подсудимых орлов и куриц, защищаемая мною принадлежит ко вторым". Почувствовав, что она опять взяла как раз не подходящий случай, для данного момента, Перовская растерялась и неловко замолчала, недовольная собой. Л., добродушно засмеявшись, обратился к ней: "ну, ну, продолжайте, ведь меня то вы не считаете же курицей. Самое большее ни павой, ни вороной". Перовская обратилась и улыбувшись стала продолжать говорить о суде. Разговор наладился, стал непринужденным.

Я спешила на поезд.

В конце зимы 79 г. один рабочий из кружка, который я организовала в Харькове, пришел мне сказать, что какая то, видимо, революционерка очень хочет меня видеть, но ей не дают мой адрес, не зная — можно ли это сделать. Я в это время была в полулегальном положении и занималась с рабочими не под своим именем. Я спросила, кто знает эту особу. Он мне сказал, что ее видели с Жебуневыми и с ними она как будто свой человек. Дав свой адрес, я просила передать ей, что я жду.

В тот же вечер я очень обрадовалась, увидев пришедшую Перовскую. Внешне она очень изменилась. Прежний недоверчивый взгляд из-под лобья куда то совсем исчез, глаза смотрели открыто,

добродушно. Лицо стало мягче, женственнее, потеряло свою строгость и стало как то обыденней. Она рассказала мне о своем побеге с дороги, когда ее везли, уже оправданную судом, в ссылку. Ее рассказ был необыкновенно прост и лаконичен. „Убедившись, что жандармы, сторожившие меня на станции, в ожидании перемны поезда заснули, я вышла из комнаты, села на первый подошедший поезд, который шел в Петербург, и приехала“.

Перовская обратилась ко мне с вопросом: „правда, что у вас есть в Белгородском уезде хутор“.—Да, есть. „А согласились ли бы вы его использовать для устройства побга из Белгородской централки, осужденным по нашему процессу? прежде всех других, Мышкину, если нельзя будет всем?“—Ну, конечно.—Но в какой части Белгородского уезда централка—она не знала. Я сообщила ей место моего хутора; надо было узнать, какое пространство его отделяло от тюрьмы. К сожалению, мой хутор оказался совсем в другой стороне уезда и никак не мог быть использован.

Спустя несколько дней после прихода ко мне Перовской, Аптеман, жившая в это время у меня, сообщила мне, что встретила на улице Христину Даниловну Алчевскую (известную харьковскую деятельницу по народному образованию, но крайнюю монархистку), которая ей рассказывала, что к ней обращалась девица, кажется революционерка, за работой. По описанию внешности, сделанному Алчевской, Аптеман уверено утверждала, что это наверно была Перовская. Я решительно отвергала такое предположение.

Когда Перовская снова пришла ко мне, я ее спросила: „Вы знакомы с Алчевской?“—Нет, но я обращалась к ней за работой.—„Для кого?“—Для себя.—Я была изумлена. „Неужели вы найдутся средства у товарищей, чтобы обеспечить ваше существование, при вашем ригоризме?“ „Я так чувствую себя лучше, не тратя средств, нужных для дела“.

Моя мать, относившаяся весьма недружелюбно к моим знакомым, после первого визита ко мне Перовской вошла ко мне улыбаясь: „вот первая из твоих знакомых, которая мне понравилась, такое милое, чистое лицо, так сразу и влечет к себе“.

Едва зажурчали весенние ручейки, как мне пришлось бежать из Харькова. Перовская снабдила меня письмами к своим приятелям в Чернигов.

Поздней осенью того же года, приехав в Петербург, я пошла к товарищу Т., который отошел после раздела „Земли и Воли“ к той партии, которая потом приняла название „Черный Передел“, (но которая в это время еще никакого названия не имела); я была тоже в этой народнической партии.

Войдя к Т., я увидела полулежавшую на кушетке с книжкой в руках Перовскую. Она радостно поднялась мне навстречу: во после нескольких фраз, мы обе почувствовали—как будто какая то неудовимая стена стала между нами. Мы продолжали незначительный разговор, но он шел как то вяло, не по-старому.

Вскоре пришел Плеханов. Своим обычным развязным тоном он стал шутить по поводу опаздываний ожидавшегося Желябова. Мне были эти шутки не по настроению. Тяжело было переживать раскол партии и все, сопровождавшее этот раскол. Перовская молча бросила на Плеханова взгляд укора, опустила глаза и взялась за книгу. Этот

взгляд напоменял мне недоверчивый исподлобья взгляд, какой я видела при первой встрече с Перовской.

Пришел Желябов. Обменявшись с Плехановым несколькими дипломатическими фразами, они ринулись в словесный бой. Все те же вопросы: террор, политическая революция, народничество, социалистическая революция.... Перовская молчала, напряженно ловя каждое слово споривших.

Я не могла оставаться до конца спора.

Прощаясь, Перовская спросила меня: „Где вас повидать одну?“ Мы назначили свидание в одном ресторане, который всегда бывает переполнен учащими.

В назначенный день я увидела Перовскую, поджидавшую меня за маленьким отдельным столиком.

„Мне очень хочется перетащить вас к нам. Ведь у вас же ничего нет реального. У нас живое дело на очереди“—начала Перовская.

— Вся моя боевая натура стремится к вам, я за террор, но в вашей программе премирует политическая сторона над социалистической. Оторвавшись от народа, вы совершите политический переворот, а не социалистическую революцию. . . . стала я возражать.

Долго мы вполголоса под аккомпанимент гула сотенной толпы ресторана спорили. У меня сердце разрывалось. Меня неудержимо тянуло к боевой деятельности, а рассудок говорил: „нет, это отведет тебя от народа“.

Прощаясь, Перовская задумчиво, как бы размышляя сама с собой, сказала: „и знаете, будь у вас сейчас живое серьезное дело — я пошла бы с вами; но я не вижу у вас такого дела“.

Это была моя последняя встреча с Перовской.

Е. Н. Ковальская.

Семейные воспоминания о Степане Халтурине ¹⁾.

Степан Николаевич Халтурин, одна из наиболее ярких фигур русского рабочего революционного движения, родился в 1857 году в дер. Верхние Журавли Орловского уезда Вятской губ. в семье довольно зажиточного государственного крестьянина. Семья Халтурина была многочисленна — 5 братьев и 2 сестры; Степан был последним и потому самым любимым у своих родителей, особенно у матери.

Старик Халтурин был сам по тому времени сравнительно образованный и любознательный человек, много видавший на своем веку (так, будучи религиозным, он даже ездил в Палестину на богомолье), и поэтому он не жалел средств, чтобы дать своим сыновьям образование, особенно последним, Павлу и Степану.

Степан, бойкий и предприимчивый мальчик, с самого начала обнаружил большую склонность к образованию и, после первоначального обучения у местного дьячка и в Орловском уездном училище, был отправлен отцом в Вятку, в Вятское Земское училище для распространения технических и сельскохозяйственных знаний и подготовки учителей, где в то время уже учились старший брат Степана — Павел (отец автора этих строк) и брат будущей жены Павла, Николай Башкиров.

Училище, основанное Вятским Земством в 72 году, представляло собою весьма любопытную попытку по тому времени создать школу совершенно нового типа. Тогдашнее Вятское Земство, пользовавшееся еще всеми правами земских учреждений и по составу своему весьма демократическое (Вятская губерния — чисто крестьянская), свое главное внимание обратило на народное образование и своей первой очередной задачей поставило дать населению достаточный контингент подготовленных научно и воспитанных в передовом направлении учителей. Этой задаче и должно было служить Вятское Земское Училище. Программа его была разработана весьма широко и давала как общее солидное образование, так (на это было обращено особенное внимание) и специальное, техническое и сельскохозяйственное.

¹⁾ Автор этих строк принадлежит к следующему, младшему поколению фамилии Халтуриных и доводится племянником Степану Халтурину; эти воспоминания написаны по тем рассказам, которые неоднократно приходилось ему слышать от своего отца, Павла Халтурина, брата С. Халтурина, и дяди по матери, Николая Башкирова, который был близок к Степану, как в его юные годы, до ухода из Вятки, так и впоследствии во время пребывания Степана в Зимнем Дворце перед взрывом.

Главное внимание было обращено на естественные науки (технология, механика, разного рода специальные отрасли—стекловарение, пивоварение, поташное дело и т. д.), ремесла столярное,¹⁾ слесарное, кузнечное и т. д.

Система преподавания была курсовая и приближалась, таким образом, к высшим учебным заведениям; срок обучения 4-летний, в каникулы учащиеся отпускались только зимой на Рождество; летнее же время они должны были проводить на практических занятиях по сельскому хозяйству. Учащиеся, поступавшие в возрасте не моложе 15 лет и с предварительной подготовкой, по преимуществу были крестьянские дети, но были и из местной городской интеллигенции и мещан.

Интересна история этого Училища: организованное и содержавшееся на средства земства, оно сразу вызвало враждебное отношение со стороны власти; по отношению к учащимся и учителям практиковались всякие притеснения: напр.: учащиеся были лишены всяких льгот по отбыванию воинской повинности (были случаи, что брали в солдаты прямо со скамьи); и по окончании учащиеся не пользовались никакими правами, хотя по степени своего образования и его разнородности они стояли, конечно, неизмеримо выше выпускников тогдашних средних учебных заведений²⁾. Попытки земства найти себе более сильных покровителей были неудачны; все ведомства отказывались от такого „крамольного“ училища, пока последнее не было попросту ликвидировано и превращено в обычное казенное училище.

При такой постановке дела, явившегося прототипом теперешних вновь организованных школ, техникумов и т. д., Вятское Училище явилось рассадником передовой, демократически настроенной интеллигенции, которая дала целый ряд народных уч. телей, разного рода специалистов—техников, поступивших на службу в земские, городские и другие органы самоуправления, и наконец выделила группу лиц, перешедших, как Степан Халтурин, на путь открытой революционной работы.

Помимо училища в том же направлении действовала на молодых людей и та общая атмосфера, которая наблюдалась в то время в Вятке. Вятка тогда была местом ссылки для политических, около которых и группировалась учащаяся молодежь. Из таких ссыльных можно отметить некоего Трошанского, игравшего тогда видную роль в качестве организатора кружков. Были также и среди учителей Училища лица, руководившие воспитанием своих слушателей в прогрессивно-демократическом направлении, таковы Песковский, Нагорский, Котельников; последний, когда Степан Халтурин был в Петербурге, принял весьма большое участие в его судьбе.

Словом, та среда, в которой вращались братья Халтурины и Башкирев, была весьма благоприятной для развития в юношах духовных запросов высокого порядка и искания путей для их разр-

¹⁾ Между прочим Степан Халтурин именно здесь обучился и усовершенствовался в столярном ремесле в тонких работах (отделке): про него говорили, что „на его полировке блоха не упрыгнет—ноги скользят“.

²⁾ Напр. когда Н. Башкирев впоследствии поступил в Петербургский Университет, то он удивлял профессоров и студентов своими знаниями в физико-математических науках и вызывал предположения, что он уже был в высшем учебном заведении.

шения; здесь вырабатывались характеры будущих общественных деятелей, здесь молодежь, сама вышедшая из широких народных масс, запасалась необходимыми сведениями, училась на примерах уже прошедших известную революционную выучку деятелей старшего поколения и подготавливалась к продолжению их работы.

Но были конечно среди лиц, к которым шла молодежь, и такие, которые не заслуживали этого доверия и даже злоупотребляли им. Таким был ссыльный С.,¹⁾ который выдавал себя за политического, но, как в результате выяснилось, был сослан за двоеженство; лицо это сыграло весьма значительную роль в судьбе Степана и совершенно неожиданно для себя и для Степана определило ему путь русского революционера; об этом будет сказано дальше.

Интересно отметить патриархальные черты нравов доброго старого времени. Все собрания кружка, на которых велись споры на общественно-политические темы, читались книги в роде — „Хитрая Межанка“, „Исторические Письма“ и т. д., пелись революционные песни, происходили совершенно открыто; и наиболее посещаемой была квартира одного банковского чиновника, жившего как раз против дома Вятского губернатора Троицкого²⁾, и неоднократно, когда раздавались песни „Долго нас помещики душили“ или „Дубирушка“, сам губернатор выходил на балкон и слушал.

Но и до этой благословенной страны докатывались отзвуки тех жестоких мероприятий, которыми царское правительство пыталось задушить освободительные стремления среди лучших людей того времени: так, в связи с процессом 193 все кружки и организации в Вятке были разгромлены, многие члены их были арестованы, Степан Халтурин лишь случайно избежал этого ареста.

Эта история, конечно, дала много материала для размышления и сильно укрепила чувство недовольства и протеста против существующих общественных условий.

Некоторая разница в годах и характере — Степан был моложе на 1 1/2 года и более общительного, живого, жизнерадостного характера, любил повеселиться, попеть, — привели к тому, что старший Халтурин и Башкиров, бывшие на одном курсе, и Степан Халтурин очутились в разных кружках; при этом во главе кружка, в который попал Степан, стоял указанный выше С., придавший этому кружку несколько легкомысленный характер, что отталкивало Павла Халтурина и Башкирова. Но все же и в этом кружке главные разговоры шли об устройстве жизни на новых справедливых началах и здесь между прочим зародилась смелая, объяснимая молодостью членов, мысль о поездке в Америку для устройства там коммуны³⁾.

Степан, молодой 16-летний юноша, отставал от своих товарищей

¹⁾ Это лицо уже умерло, но живы некоторые его родственники, которые быть может не знают той неблагоприятной роли, которую С. сыграл в отношении Степана Халтурина; и поэтому его фамилия здесь не оглашается.

²⁾ Впоследствии директора Центрального Статистического Комитета.

³⁾ Вопрос о коммунальной жизни тогда весьма интересовал и другие кружки вятской молодежи; делались попытки проводить коммунальную идею на практике: устраивался общежития, коммунальные столовые и т. д. Между прочим необходимо отметить, что одним из основателей известной коммуны „Криница“ был выученик Вятского училища, Зот Сычугов, товарищ Халтуриных и Башкирова, который перед основанием „Криницы“ неудачно пытался соединиться с другим товарищем по школе Степаном Вадиковским трудовую коммуну в Уфимской губ.

в знаниях, но благодаря решительности и настойчивости своего характера содействовал проведению в жизнь намеченных планов.

Для поездки в Америку необходимы были деньги и заграничные паспорта. Как раз в это время умер отец Степана, и последний уступил свое право на наследство братьям за 1½ тысячи рублей. Но этого было недостаточно и молодые головы решились на следующую, по тому времени довольно обычную, комбинацию: в поездке была членом несовершеннолетняя девица, дочь умершего священника; она должна была получить после отца небольшое наследство, но тогда еще состояла под опекой. Чтобы освободить ее от опеки и получить наследство, было решено устроить фиктивный брак ее с одним из членов кружка Амосовым. Сказано—сделано, и к удивлению всех благочестивых обывателей Вятки молодые после венца разошлись в разные стороны: новобрачный со Степаном и другими товарищами пошел в трактир праздновать торжество, а молодая жена ушла с другими домой.

Получив необходимые для поездки деньги, путешественники начали хлопотать о заграничных паспортах. Степан поступил оригинально. В то время (в 1874—75 г.г.) как раз предполагалась всемирная выставка в Филадельфии: Степан воспользовался тем, что губернатор Тройницкий считал себя покровителем крестьянских и кустарных промыслов и старался содействовать их насаждению в своей губернии,—направился к нему и заявил, что ему надо ехать на выставку в Америку, чтобы достать там некоторые краски и узнать секрет их изготовления. Тройницкий позвал любознательного юношу и его намерение и лишь отечески посоветовал ему быть осторожнее за границей и не доверяться различным злонамеренным лицам.

Паспорта были получены всеми уезжавшими, кроме ссыльного С., но С. заявил, что он получит и деньги и заграничный паспорт через своего родственника в Рязанской губернии. В 1874 г. Степан, бросив 17 лет училище с 3-го курса, вместе с товарищами уехал из Вятки, несмотря на уговоры своего старшего брата и к большому горю своей старой матери. По приезде в Москву, путешественники послали Степана получать деньги к родственнику С. в Рязанскую губернию, а чтобы его не ограбили дорогой, Степан оставил в Москве и свой заграничный паспорт и деньги. Родственника С. он по указанному адресу не нашел; но не нашел он по возвращении в Москву и товарищей, которые, как выяснилось впоследствии, действительно уехали в Америку, взяв деньги Степана, при чем его паспортом воспользовался С.¹⁾

В погоню за покинувшими его товарищами Степан поехал в Петербург, но ему не удалось найти их здесь.

И таким образом вместо того, чтобы устраивать коммуну в далекой неведомой Америке, Степан совершенно неожиданно остался в России для выполнения тех великих задач, которые выпали на его долю, как первого вышедшего из рабоче-крестьянской среды революционного вождя, борца за народное счастье.

В Петербурге ему первое время, в виду отсутствия денег и зна-

¹⁾ Много лет спустя Н. Башкиров встретил С. в Московской губ. по возвращении его из Америки в Россию совершенно измученным, рабским человеком, при чем выяснилось, что их надежды на организацию коммуны не оправдались; некоторое время они сильно нуждались, особенно С. и названная выше девица, которая лишь случайно избежала печального конца.

комых, пришлось сильно нуждаться и браться за всевозможные работы—он был перевозчиком через Неву, был столяром и т. д. Случайно ему удалось встретиться с бывшим его учителем Котельвиновым, который, узнав о бедственном положении Степана, принял в нем ближайшее участие, устроил ему работы на железной дороге и ввел в кружки передовой и революционной интеллигенции Петербурга. Можно упомянуть фамилии Чарушина, Морозова, Блинова, Нагорского, тоже бывшего учителя Степана, доктора Солодовникова и т. д.

Здесь начинается общественно-политическая деятельность Степана. Полученная в Вятке некоторая подготовка и затем более широкое образование, приобретенное упорными усилиями Степана в Петербурге, сразу выделили его среди других революционных деятелей, а присущая ему энергия, настойчивость в достижении целей и главное то, что он, в отличие от обычных в то время революционеров-интеллигентов, был сам из простого народа, знал по своему опыту рабочую жизнь, ее нужды—все это создало ему громадную популярность среди широких рабочих масс Петербурга и выдвинуло его на первый план, как рабочего трибуна-вождя.

К этому времени относится его организационная работа среди рабочих Петербурга, Финляндии (в Гельсингфорсе), Москвы, создание первой в России рабочей организации — „Северный Рабочий Союз“, попытка организовать издание рабочей газеты и т. д. Все эти факты из деятельности Степана в эту весьма важную пору его жизни достаточно общезвестны. Поэтому, а также в виду того, что личные воспоминания о Степано за это время указанных выше лиц—Павла Халтурина и Н. Башкирова опираются на немногие письма от него, сообщать что либо новое, еще не появлявшееся в печати, не представляется возможным.

Что же касается его последующей деятельности—террористической, когда преследования царского правительства представили революционные организации вообще и в частности Степана перед мыслью о необходимости ответить на террор сверху террором снизу и направить все свои усилия прежде всего на устранение главного препятствия к осуществлению идеалов революционного движения и к освобождению русского народа—царизма, то тут некоторый материал можно почерпнуть из воспоминаний Н. Башкирова, который к этому времени (в 1879 году) приехал в Петербург для продолжения своего образования в Университете и перед взрывом Зимнего Дворца был в ближайшем непосредственном общении со Степаном.

Башкиров застал Степана уже в 3-м этаже Дворца, где он работал в качестве столяра под фамилией Батышкова. До этого же он работал на императорской яхте „Ивандия“. Помая на работы во дворцовом ведомстве Халтурину удалось через одного поставщика рабочих для дворца, некая, которому очень приглянулся молодой весьма способный и искусный в своем ремесле столяр.

На яхте Степану неоднократно представлялась возможность осуществить свой план царубийства, но имевшая тогда место крайняя простота нравов и опасность вместе с парем погубить кого либо из его семьи останавливали Степана, тогда еще не закалившего своего характера в террористической борьбе.

Надо заметить, что Степан и впоследствии, будучи уже в Зимнем Дворце, был первоначально против против организации царубий-

ства путем взрыва, из нежелания напрасных жертв, и шел на это дело, рассчитывая его осуществить посредством единоличного убийства кинжалом или выстрелом из револьвера.

И лишь невозможность это выполнить заставила его остановиться на взрыве дворца динамитом ¹⁾. План, сводившийся к тому, чтобы заготовить заряд в 15 пуд. динамита в подвальном помещении для рабочих и при помощи его взорвать царскую столовую, помещавшуюся через этаж, был разработан Квятковским; и Степану предстояла нелегкая задача пронести весь этот динамит, обманув многочисленных царских сторожей. Динамит доставляли через Квятковского и лейтенанта Суханова, впоследствии расстрелянного в связи с делом 1 марта 1881 г., из складов Морского Ведомства; переносил его Халтурин отдельными партиями по несколько фунтов под видом сахара.

У себя в помещении Халтурин хранил динамит в постели, на которой спал, и в сундуке; при этом находчивость Степана и умение ладить с людьми долгое время охраняли его от всяких подозрений; а отменно хорошее знание ремесла и добросовестное исполнение порученных ему работ создали ему и здесь популярность среди царской прислуги и товарищей по работе.

О ходе дела Н. Башкиров все время осведомлялся Халтуринным, который почти каждую неделю приходил к нему в гости ²⁾. Любопытно, что Башкиров, вместе с двумя товарищами вятчичами—Аленицыным и Скурихиным, жил тогда как раз у полицейского агента охранного отделения; они неоднократно устраивали пирушки с пением и музыкой, куда приглашали и хозяев; при этом веселый и общительный Халтурин пользовался особенными симпатиями у охранника и его жены. В свою очередь и сожители Башкирова неоднократно ходили во дворец к Халтурину, где у них были заведены знакомства со служащими дворца и где они за занятие с детьми получали продукты из царских кладовых, шедшие на пополнение более чем скромного студенческого бюджета ³⁾.

Дело подготовки взрыва подвигалось довольно успешно, пока провал Квятковского, у которого был найден план Зимнего Дворца с пометкой на царской столовой, не встревожил дворцовую стражу и доведение плана до конца (образование заряда в 15 пуд.) оказалось невозможным. И однажды Степан, придя к Башкирову весьма встревоженным, сообщил ему, что дальше продолжать дело невозможно, что замечается подозрение к нему и последний раз жандарм, пропуская его с динамитом, во что бы то ни стало хотел осмотреть этот „сахар“ и что событие должно произойти через несколько дней.

Действительно, последовавший через 2 дня взрыв, не приведший к желанному концу после таких нечеловеческих усилий, был произведен с зарядом динамита лишь в 2 ¹/₂ пуда.

И в этот решительный момент Степан прежде всего озабочен был о том, чтобы устранить всякую опасность от своих товарищей по ра-

¹⁾ Был лишь один момент, когда Степан столкнулся с Александром П с глазу на глаз, но это было так неожиданно, для Степана, что он не мог воспользоваться этим случаем.

²⁾ Трудно допустить такую неконспиративность со стороны Халтурина. *Ред.*

³⁾ Это утверждение о посещениях Халтурина во дворец, конечно, неверно. *Ред.*

Соте, и увел их заблаговременно из дворца под тем предлогом, что в этот день он празднует день своего рождения и хочет угостить своих товарищей. Отведя их в трактир и организовав там пирушку, он вернулся во дворец, чтобы устроить запал для взрыва, и затем ушел на заготовленную ему конспиративную квартиру.

Больше ни Н. Башкиров, ни П. Халтурин не видели Степана и лишь по рассказам других лиц были осведомлены о дальнейшей его деятельности вплоть до повешения в 1882 г. после убийства Одесского прокурора Стрельникова.

Несмотря на то, что Степан работал во дворце под чужой фамилией и до самого последнего времени оставался вне подозрения, — связь его с Башкировым была установлена охранниками и немедленно после взрыва Башкиров вместе со своими сожителями был арестован и подвергнут допросу, производившемуся знаменитым впоследствии фоп-Плеве и полковником Фаминцыным.

При этом Башкиров, отговорившись на вопрос о знакомстве с Батышковым полным неведением, разъяснил допрашивавшим, что фамилия того лица, карточка которого была забрана при аресте, была Халтурин, указал на его происхождение, объяснил к нему свое отношение и т. д.

Допросу подвергался и хозяин-охранник, у которого жил Башкиров со Скуриным и Аленицыным, но ничего опасного для последних он не мог рассказать и их в скором времени выпустили, оставив лишь под гласным надзором.

На процессе по поводу взрыва во дворце Башкиров был привлечен в качестве свидетеля; любопытно отметить, что один из судившихся рабочих неоднократно ставил в тупик своими знаниями по подрывному делу эксперта, проф. Федорова.

Павел Халтурин, тогда находившийся в Вятской губ. учителем, был также подвергнут аресту и допросу, но ничего инкриминируемого для него установлено не было и он был выпущен; у него как и у Башкирова была лишь забрана вся переписка и карточки Степана.

Но все же постоянный надзор со стороны местной полиции заставил Халтурина со своей семьей уехать с родины в Уфимскую губернию, и здесь (это уже лично помнит пишущий эти строки) неоднократно, особенно когда приближалась годовщина взрыва во дворце или казни Степана, семье Халтуриных приходилось переживать неприятные минуты ожидания появления полиции.

Таковы те немногие данные, которые сейчас могут быть наспех сообщены близкими к нему людьми и которые в значительной мере до настоящего времени оставались неоглашенными.

И. Халтурин.

5/XI 1919 года.

Псковский централ.

(Из воспоминаний политического каторжанина).

— Кто в централ,—выходи!—крикнул конвойный унтер-офицер, когда наш этап поравнялся с огромным четырехэтажным с решетчатыми окнами зданием. Подобрал свои кандалы и поправив на спине этапный мешок с эмалированным чайником, я в сопровождении двух конвойных направился в какой то узенький переулочек. Оказалось, что туда выходили задние ворота тюрьмы.

Что то ждет меня впереди,—не без тревоги думал я, вспоминая все слышанное про порядки, заведенные полковником Петром Черлениовским.

— А как здесь теперь живетса?—спросил я у одного из конвойных, бойкого и смешливого парня.—Каков здесь начальник?...

— Кто, Петрушка?...—многозначительно и весело ответил он.—Ого, брат, он те задаст пфеферу. Узнаешь у него, почем фунт лиха...

— Ну-ну, чего там зря пугать то. Чего мелешь...—вмешался второй конвойный.—Петрушка начальник хоть и строгий, но справедливый. Веди себя тихо—и ничего тебе не будет...

В конторе меня принял один лишь старший, высокий, толстый с двойным подбородком и длинными усами, похожий не то на латыша, не то на эстонца. Наскоро задав мне обычные в таких случаях вопросы (имя? фамилия? на сколько?.. кандалы есть?.. коты?..), он велел отвести меня в общий корпус. Спустившись в подвальный этаж и пройдя полутемный, с вонючим, сдцефически тюремным, т. е. затхло-парашечным воздухом, корридор, я очутился в пустой камере с двойными дверьми--наружной глухой и внутренней, представлявшей железную решетку. Два окна, снабженные не только обыкновенной решеткой, но и, как везде здесь, еще густой проволочной сеткой, выходили на узенький проулочный дворик, где мелькали фигуры каторжан, на левом рукаве у которых были пришиты разных цветов лоскутки с какими то нумерами. Как я потом узнал, цвет лоскутка определял категорию арестанта: у бессрочных—зеленый, у раскованных—красный, у вольнокомандцев—желтый и т. д.

Минут через сорок меня вызвали к начальнику, который жил в отдельном здании. У самых дверей его квартиры лежал огромный, похожий на теленка, рыжий пес; он как то меланхолически и как бы с презрением посмотрел на меня и даже не залаял, когда я, перешагнув через него, задел его кандалами. В маленькой прихожей стояло человек шесть арестантов, робких и запуганных. Из кабинета

начальника выскочил статный красавец, черноглазый, с пышными усами, должно быть, старший помощник.

— А-а, это те самые...—закричал он.—Почему вчера на работу не вышли, а?...

— Мороз, Ваше благородие!.. Живот болел... Не в могу...—послышалось со стороны каторжан.

— Ага... Живот заболел!.. Ну, теперь у вас не спереди, а сзади заболит... Вот выплюю я вам по сорок, и узнаете как лодырничать!..—продолжал Слясский, как звали этого старшего помощника.

— Ваше Высокородие... Извините... Заставьте вечно Бога молить—залепетали причитающим голосом арестанты; должно быть из случайных уголовных.

В это время меня ввели в кабинет. В небольшой комнате как те ухитрилось поместиться человек пять помощников и надзирателей; возле меня стояли: с одной стороны бледно-желтый человек с серыми и без бровей злыми глазами,—это был помощник Суворов, техник-строитель по профессии; а с другой—тонкий голубоглазый, весь розовый и похожий на девушку, помощник Федоров. Сам Черлениовский был мал ростом, плешив, с густыми полуседыми усами и умными черными глазами; с губ его почти не сходила тонкая, какая то злобно насмешливая улыбка.

Пока он подписывал какие то бумаги, я с любопытством разглядывал обстановку его кабинета. Тяжелая пунцовая портьера, роскошная оттоманка, узорчатый ковер на стене с прибитыми на нем старинными ружьями, кинжалами и пистолетами, жардиньерки с пахучими цветами, несколько мандолин и гитар, разбросанных на мягких креслах,—все это говорило о вкусах хозяина, и только я со своим овчинным полупубком, арестантским халатом, огромными кожаными рукавицами,—не подходил к этой обстановке. Неожиданно из боковой комнаты выбежала миниатюрная, совершенно белая собаченка и весьма резко принялась прыгать вокруг меня и неистово рвать мою шапку. Стоявший за моей спиной надзиратель хотел было улыбнуться, но вспомнив, что в присутствии начальника это не полагается, крикнул и стал смотреть куда то в сторону.

— Ну-с,—сказал Черлениовский, окончив подписывать что-то и повернувшись ко мне на своем круглом вертящемся кресле.—Здорово...

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!—ответил я, слегка запинаясь.

— Ты за что осужден,—спросил он, пристально вглядываясь в меня,—за севастопольское восстание?.. Ага, с этим мерзавцем, как его, лейтенантом Шмидтом... Насколько?... Всего десять лет ты получил!.. Жаль, жаль, что тебя тоже не повесили... Я бы тебя непременно вадернул!.. Но, к делу. Знаешь ли, за что тебя ко мне прислали?

— Нет, не знаю.

— А вот за то, что ты прохвост!.. про-хвост...

Я с удивлением посмотрел на начальника. Такой любезности, да еще при первом знакомстве, я никак не ожидал. Поймав мой недоумевающий взгляд, Черлениовский продолжал:

— Послушай ка, что про тебя из Вологды пишут...

Тут он стал читать вслух бумагу, которую все время держал в руках. Оказывается, что поведения я плохого, к начальству отно-

шусь без всякого почтения, подбивая к этому и остальных, что права я непокойного, характера упрямого, стараюсь поддерживать сношения с революционными организациями и газетами, что, в виду всего этого, меня нужно держать в изоляции.

— Так вот,—продолжал начальник,—вот что про тебя пишут. Знай же, что тебя не даром ко мне прислали. *Я всех исправляю*. Про всякого, кто от меня уходит, я даю такой отзыв: тих, почтителен, скромен... Неисправных же я просто уничтожаю!.. Понял?—просто: *уничтожаю*... Ибо я человек не гуманный, миндальничать с вашим братом не люблю—(при этих словах начальник как то зловеще-иронически искривил рот и один его ус нервно запрыгал).—Смотри же!.. Я посажу тебя в клетку, и если ты только пикнешь, рот не так откроешь, запорю!.. *З-а-п-о-р-ю!*.. Понял?

Признаться, я опешил. „Я человек не гуманный“... „Запорю“... „Уничтожаю“... „В клетку“...—все эти слова так и звенели в моих ушах, и в первую минуту я смотрел на нашего Петрушку ничего не понимающим взглядом.

— Понял?—повторил он, поднимаясь с кресла.

— Понял, понял,—заторопился я, желая поскорее уйти от него. —Понял...

— Ну, смотри же!.. Брюшин,—обратился он к дежурному.—ответи же в камеру ночного раз'единения.

Взволнованный и озадаченный, я в сопровождении надзирателя вышел из кабинета. Пройдя мимо больницы, мы направились к стоящему влево трехэтажному зданию, которое отделяется от общего двора малевькой оградой из колючей проволоки. Ввели меня наверх в узенький корридорчик и посадили в пятую клетку. Таких корридорчиков здесь всего четыре, в каждом из них по шесть клеток, не считая тех двух глухих, совершенно изолированных отделений с клетками же, которые расположены в противоположных концах здания и почему то назывались „монастырями“.

Представьте себе комнатенку в три шага длины и два шага ширины; слева, прямо к стенке привинчена узенькая железная койка, оба конца которой упираются в переднюю и заднюю стенки камеры; когда койка опущена, между нею и правой стеной остается расстояние *ровно в один шаг*. Маленький столик, табуреточка, узенькое из ржавой жести и еле прикрывающееся парашечное ведро, служащее также и для умывания—вот и *вся мебель этой клетки*. Прямо над головой, приблизительно на $\frac{3}{4}$ аршина от поднятой руки, идет горизонтальная из длинных и толстых прутьев решетка, отделяющая клетку от высокого сводчатого потолка. Низенькие боковые стенки соединяются посредством вертикальных прутьев с этой горизонтальной решетчатой перекладиной. Маленькая полурешетчатая дверь сделана из толстого листового железа. *Окон совсем нет* и свет попадает только из корридора. Ламп тоже *не полагается*, так что читать и вообще что бы то ни было делать можно здесь только с часов 9—10 утра до 3—4 пополудни. О том, чтобы ходить по этой каморочке, нечего и думать, *в ней можно только встать на одном месте*. Право, в ином карцере чувствуешь себя свободней.

Назначение этих клеток—изоляция арестантов друг от друга. В действительности же, благодаря решетчатым потолкам, здесь можно переговариваться с любой из 24 х клеток. Надзиратели у нас были хорошие, простые и непритязательные русские люди. Они несколько

и ни в чем арестантам не мешали и даже сами передавали из клетки в клетку сахар, книги и т. п.

В первый же час моего прихода сюда меня ошеломили ужасный шум и гам. Один что-то читает вслух, другой поет под аккомпанимент своих кандалов, третий во весь голос спорит о чем то с каторжанном, который сидит от него клеток на десять дальше, тот перебивает его и, перебиваемый в свою очередь другим, начинает ругаться, да так громко, что вызывает протест своего соседа, которому кто-то издали диктует арифметическую задачу. Затеваются спор, который сразу переходит на личности, всплывают прежние дразни и сплетни,—кутерьма эта иной раз длится до 9 час. вечера, когда наконец раздается последний свисток и все укладываются спать.

Через несколько дней я познакомился с нашими дежурными дядьками и чуть ли не со всеми своими видимыми и невидимыми соседями. Из надзирателей меня особенно заинтересовал Корнев, огромного роста, с большой бородой и громким зычным голосом. Он всем говорил „ты“, но ничего не имел против того, чтобы и арестант ему тыкал. Он мог целыми часами с большим подъемом и увлечением рассказывать о замысловатых разбойничьих похождениях и воровских проделках. За политиком наличными он охотно доставлял на волю нелегальные письма, приносил газеты, но в то же время с большим усердием порол каторжан розгами, раз что Черленцовский прикажет ему это.

Познакомился я и с некоторыми бессрочными. Из них Абрам Кучерской, стройный красивый парень, был когда-то бундовцем, потом пошел на „эксы“ и теперь тянет свою бесконечную каторжную лямку. Голубоглазый, с звонким голосом Воробьев был сын богатой помещицы: четыре года каторги он получил за содействие убийству недруга и соперника своего приятеля. Вздумав бежать из тюрьмы, он пустил в ход револьвер, кого то ранил и заработал себе бессрочную. Кочергин, неисправимый стилолет и старый профессиональный разбойник, с энергичным лицом и быстрыми глазами, по дороге в Исков, как был в кожаных и ручных кандалах, бежал из арестантского вагона на полном ходу поезда, но был настигнут в ближайшем лесу. Викторов, тщедушный и хилый на вид, смиренный себе и богомольный человек, получил бессрочную за то, что с целью грабежа вырезал всю семью, в том числе и маленьких детей. До каторги он был служителем при анатомическом театре одной клиники и специализировался на препарировке трупов,—отсюда, быть может, то хладнокровие, с которым он рассказывал о своих злодеяниях. Из уголовных я запомнил еще одного пожилого мужика, пухлого и всегда чему то улыбающегося,—осужден он за убийство родного отца, которого хотел ограбить.

Не знаю к какой категории причислить Метлина—юношу с некрасивым старческим лицом и хриплым голосом. Столичный рабочий, некогда деятельный социал-демократ большевик, входивший в кружок Алексинского, потом партизан-террорист, потом идейный экспроприатор, потом вульгарный грабитель, он долго сидел под смертным приговором, теперь хандрит и тоскует по воле, ругает социалистов и мечтает о крупном ограблении, которое обеспечило бы его на всю жизнь. Величает он себя „анархистом-индивидуалистом“.

К нам в клетки, и почти всегда неподалеку от меня, часто приводили также и тех карцерных, которым на четвертый день сидения

полагается свет, горячая пища и прогулка. Пробудет такой у нас сутки—и потом снова идет на трое суток в темную на хлеб и на воду. В таких случаях я всегда передавал им хлеб, чай и сахар и на этой почве поближе с ними познакомился. Большею частью попадали они в карцер за неисполнение приказаний начальства, за драку, за игру в карты, за ножик и т. п., а один мой случайный сосед, мелкий развращенный ворышка Сервитутов угодил в карцер за то, что воспользовался письмом своего товарища, воспользовался вопреки правилу, на основании которого каторжанин может посылать домой одно письмо в месяц.

Когда в Пскове, по почину с.-д. комитетчика, бывшего студента Фридолина и рижского анархиста Озолина, началась эпидемия подачи прошений на царское имя, Сервитутов сделал то же самое; но обратился не прямо к царю, а в Одесское отделение Союза Русского Народа, которому он до этого оказал какие то услуги. Черлениовский хотя и большой патриот, однако не дал ходу этому прошению, о чем Сервитутов и рассказывал теперь своему соседу по клетке, некоему Иващенко.

Иващенко—высокий с густой золотистой бородкой и темными кругами под глазами, был несомненный душевно-больной, часто порывший всякий вздор, или вдруг начинавший для чего-то измерять длину и ширину тех камер и корридоров, в которых он сидел. Однако сам он, кстати сказать, уже раза два побывавший в психиатрической больнице, считал себя лишь ловким симулянтom. По всей вероятности его умственное расстройство было вызвано тем самым чрезвычайно распространенным в тюрьме пороком, о котором говорили у него темные круги под глазами. На эту тему между обоими ворышками происходили длинные собеседования, полные сугубых откровенностей, и грязнейших подробностей.

Сервитутов попал в карцер прямо из общей камеры. Передавая какому то Молоденцеву, сидевшему в другом корридоре, тюремные новости: кого и за что порол, кто кого обыграл, кто на воле засылался и т. д.,—он продолжал:

— И что за арестант теперь пошел: один коммунист, другой индивидуалист, тр тий . . . ха-ха (тут Сервитутов употребил пару рифмованных нецензурных сравнений). „А если ты индивидуалист“ — приводил он слова кого то из своей камеры, должно быть, политического, — „значит тебе все равно, и ты можешь стать провокатором...“

То же недовольство арестантами, только недовольство иного рода, выразил и сам Молоденцев.

— Понимаешь, Микитка в сыщики поступил, а Ванька Боже мой и Андришка Скок, так те вот чем занялись: Танька Кучерявая, знаешь. Андриюшка маруха,—рассказывал Молоденцев своему собеседнику,—наденет это свое манто да шляпо, намажется, наштукатурится и пойдет на бульвар гостей заманивать. А сыщики ейные только того и ждут. Пока гость охает там у нее и кричит, они и обчищают его как следует; а ежели тот скандал поднимет, то они такие фонари ему подставят, что ему и ночью светло будет... Во какие воры пошли теперь... Дешевый народ стал... Все хотит с понтом делать, с кандибобером...

В самой крайней клетке нашего корридорчика сидел некий Бутенис, никогда ни с кем не заговаривавший и всегда державшийся

в стороне. Он даже на прогулку почти никогда не выходил. Несколько раз мне удалось видеть его в бане. Достаточно было посмотреть на его странную блуждающую улыбку и в особенности на его темные с расширенными зрачками и лихорадочно блестящие глаза, чтоб решить, что пред вами душевно-больной. В одиночке, куда он потом перешел, Бутенис окружил себя молитвенниками, раздобыл несколько икон с лампадами, строгойше соблюдал все посты, по ночам вскакивал с койки и целыми часами простаивал на коленях пред иконой Богородицы. Эта его набожность очень imponировала нисшей и высшей администрации. Как то с большим трудом удалось мне разговаривать с ним.

— За что вам каторгу дали?—спрашиваю.

Бутенис густо покраснел и, глядя куда то в сторону, ответил односложно:

— Жёну зарубил... ребенка... и тещу... В воскресенье... пьян был...

Мотивы убийства ему самому неясны. Жёну и ребенка он очень любил, про тещу худого слова сказать не может.

— Так, зверь пробудился... Нашло что то... Знаете, в каждом человеке зверек такой сидит... — добавил он в виде комментария после долгой паузы.

Глядя на измученное лицо Бутениса, на его согбенную фигуру, на этот убогий арестантский бушлат, я невольно подумал:

— „Отчего он в кандалах?.. Отчего он на каторге, а не в сапатории для душевно-больных“?

* * *

П. И. Черлениовский имел привычку обходить по праздникам заключенных и выслушивать их заявления. Смотря по настроению, он легко удовлетворял всякие просьбы, освобождал из карцеров, или же, наоборот, приказывал выпороть когонибудь или посадить в темную. В ближайшее воскресенье он как раз обходил клетки. Я решил попросить перевода в одиночку или в один из „монастырей“, где свету немного больше и где можно хоть чемнибудь позаниматься. Как раз начальника кто-то задержал и выслушал меня его старший помощник Слясский.

— Ну, что там?—крикнул он, подходя вплотную к полурешетчатой дверце моей клетки. От него несло каким то гнилостным и смрадным запахом, который заглушался крепкими и вульгарными духами. — Чо?.. Перевести?.. Вот новость... Ты просишься туда из-за нервов, другой оттого, что оттуда вид на улицу, третий потому, что хочет на баб смотреть...

— Но согласитесь, господин помощник, что есть разница в...

— Во-первых, я тебе не „господин помощник“, а „Ваше Высокопродие“—что? не знаешь как отвечать? а во вторых, сказано, что не переводу, и нечего тебе мудрить, голову морочить...

Круто повернувшись и так и не дослушав меня, он ушел.

Однако, когда, в виду ремонта понадобилось освободить все клетки, сам Петрушка распорядился перевести меня в одиночку. Своим одиночным корпусом Черлениовский очень гордился, часто водил туда своих знакомых, особенно дам, при чем для большого впечатления, чтобы воздух был всегда чистый—раз навсегда запретил всем

сидящим здесь курение табаку. Действительно, в одиночках всюду ослепительный блеск и чистота. Стены в камерах до самого потолка окрашены светло-розовой масляной краской, а обитые железом дверь и печь сверкают своей белизной. Окно, *сравнительно* большое и светлое, находится от пола на расстоянии чуть-чуть выше пояса, при чем подоконник не цементированный, а деревянный, и не покатый, а ровный, в каждой одиночке электрический звонок; парашка не торчит постоянно на глазах, а помещается в особом закрывающемся углублении в стене; крашеная полка с медной посудой, выдвижной ящичек для суковок и песку, плевательница с песком,—все это очень непохоже на одиночки других тюрем.

Петрушка был большой самодур; но в введенных им порядках были и такие стороны, которые весьма скрашивали тяжелую в общем обстановку Псковского Цептрала Обед (за исключением, впрочем, ужина) был густой и обильный, а в *день своих именин* начальник на свой счет угощал всех арестантов большой порцией мяса. Можно было иметь при себе с ботинками полотенца, чулки, собственное белье; все это стиралось на казенный счет. От чинов назара Черленковский требовал вежливого обращения, и достаточно было заключенному, которого надзиратель обругал матерной бранью, пожаловаться на него, как Черленковский непременно оштрафует надзирателя.

На Пасхе Черленковский, кстати, хороший музыкант и предводитель местного художественного кружка, устроил спектакль, подобрал превосходный хор и оркестр.—спектакль этот был поставлен точно и с большим вкусом и перебивали на нем почти все 800 арестантов. За редкими исключениями, начальник аккуратно и своевременно расковывал каторжан и давал обычную скидку, тогда как даже администраторы, слышавшие за либералов вроде, например, вологодского—Татарова или варшавского—Ляшенко безжалостно держали в кандалах и лишали скидки по два месяца с году, если каторжанин только раза два за весь срок посидит в карцере.

У нас в Пскове каждая камера сама выбирала старосту, который и представлял ее во всех нужных случаях. Кухня, библиотека, лавка, отчасти и больница находились в заведывании выборных из арестантов, которые исполняли также и ряд обще-конвояских работ. В силу неизбежности, им предоставлено было право свободно ходить по всем камерам и отделениям тюрьмы. Благодаря этому, а также благодаря тому, что наш тюремный *священник от* Николай Колиберский был в высшей степени гуманный и услужливый человек, я один из фельдшеров был в высшей степени падох на деньги, у каторжан почти никогда не прерывались сношения с волей, не переводились газеты, а библиотека беспрерывно обогащалась книгами самого радикального содержания.

Еще важнее было то обстоятельство, что большинство политических, где бы они ни сидели, организованы были в одну коммуны: каждый вносил сколько мог денег, общими суммами делилась между всеми коммуной, а выписку уже каждый делал сам от себя, покупал то, что ему лично хочется.

Таким образом, в отношении питания между пмущими и немущими не было существенной разницы и в тоже время не было мелочного уравнивания всех по одному ранжиру. Такой порядок имел огромное моральное значение, спаявая всех в одну семью, способствовал выработке коллективистических чувств и настроений. Несомнен-

но, что живы псковские каторжане так, как обыкновенно живут арестанты в других централах, т. е. практикой каждый из них мелочный колбасно табачьим индивидуализм или, в лучшем случае, устранивайся они лишь маленькими изолированными группками, жизнь под ярмом Петрушки была бы во сто крат тягостней и невыносимей.

Обслуживание этой стороны каторжного житья-бытья доставляло множество хлопот, приходилось прибегать к разным уловкам; но заведывавшие этим, с р. М. Фельдман и анархист П. Арсентьев, так умело вели дело, что начальство обо многом и не догадывалось даже.

Положительные и отрицательные стороны Псковских порядков как-то странно перепутывались. Своей репутацией усмирителя и исправителя каторжан Черлениовский дорожил чрезвычайно. Прилагая все усилия к тому, чтобы на волю не проникали сведения о его жестокостях, он в то же время предпочитал не доносить высшему начальству о таких происшествиях, которые могут бросить тень на „его“ тюрьму. При этом он не останавливался даже перед скрытием дел, обязательно требовавших судебного расследования. Так, однажды шесть каторжан пропихнули в бане потолок, пробрались на чердак и спустились на скрученных простынях на улицу. Какая-то баба увидела их, подняла крик; проходивший мимо офицер вызвал караул, и все беглецы были тут же задержаны. Передавая начальник это дело суду, жалкий из беглецов получал бы добавочных 8-10 лет каторги; но он ограничился тем, что выдернул их розгами (каждому ровно по сто ударов...), истерзал и искромсал их так, что некоторые тут же падали в обморок, но зато самое дело похерил.

Тюремной инспекции в Пскове тогда еще не было, и Черлениовский чувствовал себя полным и неограниченным властелином. Как-то в тюрьму приехал прокурор и, между прочим, распорядился, чтоб бессрочные, (согласно закону) были закованы не только в ножные, но и ручные кандалы. Сшиты были уже особые, с разрезами по бокам, рубахи и бушлаты (наручни предполагалось сделать с глухими заклепками), но вдруг Черлениовский почувствовал себя оскорбленным вмешательством какого-то штатского, и распорядился снять со всех бессрочных наручники—льгота, которой каторжане не пользовались даже в централах с более мягким режимом.

* * *

Порядки эти были бы совсем спасны, не будь Черлениовский самодур и крепостник... любивший во всем строжайшую дисциплину и субординацию. Впрочем, он еще готов был допустить внутреннее несогласие с его распоряжениями, но приходил в бешенство, если кто-нибудь выражал это *наружно*. Философия нашего начальника очень коротка: по обе стороны его персоны идет ряд ступеней подчинения. Сам он должен повиноваться губернатору, потом начальнику главного тюремного управления, потом министру, потом государю, потом Богу. Зато, с другой стороны, ему обязаны подчиняться помощники, надзиратели и арестанты. И без никаких. Подчиняться слепо, без рассуждений.

—В душе ты можешь думать обо мне, что хочешь,—говорил он с д. Д. Шиндлеру,—но наружно ты пред мной смиряйся и знаки почтения оказывай. Вот, например, я стою в церкви... Идет богослужение... Про себя я, быть-может, в это время о девочках—хе хе хе—

думаю, но все, что полагается, исполняю, к кресту прикладываюсь, молюсь, как должно... Так вот...

Вообще, отношений, выходящих за пределы слепой дисциплины, Петрушка и не представлял себе.

— Раньше ты беспрекословно исполнял приказания революционного комитета, — утверждал он в одной из своих бесед с максималистом Софоновым, — но теперь забудь о партии. Теперь ты каторжник, *принадлежишь к моей партии и должен слушаться моих, только моих приказаний...*

Будучи одно время заведывающим дисциплинарным батальоном, Черленниковский и в центре до фанатизма привержен был ко всему, что напоминало казарму. Панацеей же против всех проявлений арестантского своеволия он считал розги, благо такого рода тенденция весьма поощрялась главным тюремным управлением во время Шегловитова и третьей Государственной Думы. До этого, наприм., когда Черленниковский усмирал голый бунт смоленских каторжан, он не посмел даже тронуть ни одного арестанта, хотя поводов к этому было с его точки зрения более, чем достаточно.

Первой жертвой его самодурства явились каторжане, пришедшие из Петрограда. Было это в феврале 1909 г. Настроение у всех было бодрое, душевная свежесть и сила сопротивления не успели еще поблекнуть и ослабеть.

Вот входит к ним в камеру Черленниковский в сопровождении многочисленной свиты.

— Здорово! — говорит он

— Здравствуйте! — отвечают ему все 32 каторжанина, среди которых больше половины было политических

— Это что за *„здравствуйте“*!... Нужно отвечать: *„здравия желаем, ваше высокородие“*... Разве вас этому еще не учили? Говорили ли вам об этом?

— Говорили.

— Ну, так вот: *„здорово“*!

— Здравствуйте.

— Ах, мерзавцы, погоды! — есикел Петрушка. — Вы посланы сюда на исправление, должны во всем слушаться меня. — Я сам прошел такую школу, когда был в кадетском корпусе... Я всегда вел себя обязово, потому и в люди вышел, чина полковника добился... Ну, здорово! — стал он подходить к каждому в отдельности, но и на этот раз ничего не добился.

Возбужденный, весь покрасневший от гнева, Черленниковский стал размахивать кулаками и, что-то крича, вышел из камеры.

На следующий день был праздник. Начальник, иногда кто то совмещавший холодную жестокость с сентиментальным гуманизмом и к тому не любивший произносить речи, снова пришел к каторжанам и, не здороваясь, сказал им:

— Вот что, ребята, я, как христианин, человек милосердный... За то, что вы не отвечаете как следует, надо бы вас выпороть, но ради праздника я вас не трону... Надеюсь, однако, что впредь вы будете слушаться...

Ему никто ничего не ответил. На третий день началась сортировка по категориям.

— Здорово! — твердит свое начальник.

— Здравствуйте, твердят свое арестанты.

— Ага, мерзавцы!— сразу перешел на свой обычный тон Черлениновский,—вы все упорствуете. Я, как отец, ласков с вами, а вы озорничаете, дурака валаете. Я теперь должен разместить вас по разным камерам, но пока вы бунтуете, сделать этого не могу: ведь вы мне всех остальных заразите!—Я вас раньше исправить должен!..

— Господин начальник,—хотел было ему что-то сказать Сафонов.

— Какой, сукин сын, я тебе „господин начальник“!.. Я полковник, меня вся Россия знает, я смоленский бунт усмирил, все начальство меня почитает!.. Я тебе не „господин начальник“, а „Ваше Высочорodne“!.. Я вижу, Сафонов, что ты здесь главный зачинщик. Ты, наверно, связи с заграницей имеешь, думаешь, что я испугаюсь террористов... Но я этого не боюсь, не боюсь!.. За меня все надзиратели отомстят вам.. Отомстите?—обратился он к стоящим тут же помощникам и надзирателям..

— Отомстим !.. Отомстим!—гаркнули те в один голос, хватаясь за кобуры своих револьверов и делая страшные гримасы.

— Ну, так взять его, мерзавца!—крикнул Черлениновский, указывая рукой на Сафопова,—всыпать ему горячих!..

Надзиратели хватают Сафопова и тащат его вниз для экзекуции. Остальные каторжане обомлели. Они никогда не ожидали такого конца. В оцепенении они не знали, что делать.

— Это насилье, насилье!—первым крикнул Пылаев, с.-д. из кронштадтских матросов.

— Молчать, мерзавец!—подскочил к нему начальник.

— Сам мерзавец!—не вытерпел Пылаев.

— Что?—ахнул весь побледневший Черлениновский.—Взять его... Сто!.. Сто розог!... Ну, а ты, Иванов, будешь отвечать как следует?—подошел он к одному из уголовных, к рабочему, случайно свихнувшемуся на этот путь, но, благодаря общению с политиками, ставшему снова честным человеком.—Ведь ты, Иванов, не политик, ты мой, ты парень хороший!. Скажи, будешь?

— Нет,—отрезал тот.

— А, и ты с ними! Ну, так ты тоже сто получишь! Взять его!....

Надзиратели потащили и Иванова. Кроме указанных к ста розгам был приговорен еще с.-р. Гуменский, отказавшийся вовсе разговаривать с Черлениновским. За ним последовали: Поддубовский, Фельдман, С. Рыс—талантливый студент, умерший потом от чахотки, Ткаченко, Андреев и др. Всего назначено было к порке 14 человек. Более слабых здоровьем, вроде максималиста Рывкина и с.-д. Фридолина, начальник не трогал, а когда с.-д. Бернштейн упал в обморок, он даже стал ласкать его и приговаривать:

— Успокойся, успокойся, голубчик!. Я тебе ничего не сделаю... Ты ведь не согласен с этими подлецами!..

— Оставьте! оставьте меня,—кричал, весь дрожа от нервного потрясения, Бернштейн. Потом он вдруг стал распарывать соломенный тюфяк и хотел было поджечь его; Бернштейна с трудом успокоили и отвели в одиночку.

Некоторые из подлежавших порке были предварительно посажены в карцер. Был момент, когда двое из них — Фельдман и Сафонов, видя, что дело принимает угрожающий оборот, решили сдаться и просили начальника дать им возможность повлиять в этом смысле на остальных. Но вошедший в азарт Черлениновский не пошел на встречу этому.

В комнате для свиданий он и велел учинить расправу. Каторжан силой раздевали, обнажали, покрывали серым арестантским одеялом и, держа за голову и ноги, секли розгами по голому телу. Некоторые из истязаемых не выдержали и после 15-20 ударов, а некоторые и раньше, кричали:

— Сдаюсь... Сдаюсь...—и их сейчас же отпускали. ¹⁾

* * *

После этого в Псковском Центральном пошла целая полоса экзекуций. Вплоть до зимы 1911 года розга свистела во всю. Бывали периоды, когда порол *каждый день*. Ни возраст, ни характер дела, за которые арестант осужден, образовательный ценз, ни даже общественное положение, ни что не останавливало Черленниовского.

И за что только у нас ни поролы?

Не исполнил приказаний начальства (масса случаев), передал табак в одиночку (случай с Полежаевым), сорвал на прогулке цветок (случай с Пестуном); во время проверки расстегнулся пуговица (случай с Андреевым), якобы переговаривался с кем-то через клеточную трубу (случай с Фридрихом); засыпался с жестянкой, припританной для разрезки хлеба; протестовал против пребывания в камере "лягваго", т. е. предателя (случай с тем же Пылаевым. на этот раз кроме сатни розог наказанным еще дополнительной заковкой в кандалы и лишением скинки); жалоба на плохой обед (случай с Бугаевым); нежелание принять от Петрушки пасхальное яйцо (случай с тем же Ник. Ивановым),—да разве перечтешь все случаи...

Характерна последняя история.

Однажды в Пасхальную ночь открывается дверь 21-й камеры и надзиратель кричит:

— Выберите одного, чтоб в церковь пошел, только не полисика!

— Эх, поиду я на баб смотреть!—сказал, подмигнув своим раскосыми глазами, "Комик", как звали нашего присяжного весельчака и балагура Иванова. Он пошел в церковь.

Кончилась заутреня, стали расходиться, Черленниовский похристосовался со всеми помощниками, с их женами и сестрами, в отношении же надзирателей и арестантов ограничился тем, что давал каждому из них по яйцу. Вот наш Иванов чинно подходит к наложу, целует крест и идет назад.

— Христос Воскресе!—говорит ему вслед Петрушка, но тот не обращает на это внимания и идет к выходу.

— Иванов, сюда!—возвращает его начальник,—почему не берешь яичко?

— Не хочу! Вы нас порете, а потом яйцами оделяете...

¹⁾ Для слова *pro domo sua* Когда с-д. фракция третьей Государственной Думы узнала об этой трагической истории, она нашла доступ к потерпевшим и просила их прислать подробный материал для внесения запроса. Но ведь известно, что нашему брату политику, особенно интеллигенту, мало быть просто человеком с непосредственным чувством и простым здравым смыслом. Собравшись вместе, тщательно сграбли с четырех точек зрения обсудив предложение думских с-д., каторжаче, среди которых преобладали максималисты и с-р., вчлосли резолюцию: материала для запроса не давать.

Мотив?—А вот: принципиальным сторонникам бойкота третьей Думы не в лицу энципировать к этой же думе...

В своей просьбе с-д. фракция получила категорический отказ.

-- Ну ладно, потом поговорю с тобой...

На другой день рано утром, едва кончилась поверка, как в камеру входит Черлениовский и обращается прямо к Иванову.

— Ты почему, сукин сын, у меня яйца не взял?... Ты разговлялся, казенное яйцо ел, а моего и в руки не взял!

— То мне полагается от казны, от вас лично ничего брать не хочу... Вы меня пороли, издевались, вы мой враг, враг!

— Ах, прохвост!—прошипел начальник.—Разве я враг твой? Ведь я начальник твой, о тебе же забочусь!.. Твое счастье, что сегодня Пасха и я не хочу брать греха на душу... Но я тебе припомню это...

Дней через десять, когда 21-я камера совершала прогулку, с будки, стоящей возле деревянного прогулочного мостка, раздалась команда:

— Смирна—а! Шапки долой!...

— Это какая камера?—осведомился его высокоблагородие, пристально всматриваясь в каждого арестанта. Увидав Иванова, он вдруг вспыхнул:

— Ты что же это на меня косо смотришь? На своего начальника надо смотреть прямо... *Двадцать пять!*..—крикнул он сопровождавшему его отделенному, и Иванова отвели в баню, „выспали“ 25 розог и посадили в клетку....

У бессрочных, находившихся в одной из общих камер, готовился побег, но двое из них же—профессиональный вор Худинов и случайный экспроприатор Николаев, рыцарь молодой человек с бабьей корпленцией страдавший припадками,—донесли об этом Слясскому. Ничего не найдя у них (перед самым обыском бессрочные успели спрятать пиджики и прач. в трубчатые рамы от коек), Слясский на всякий случай посадил некоторых в карцер.

Начальник в это время был в отпуску. Приехав в Псков и узнав о таком попустительстве со стороны своего помощника, Черлениовский был вне себя от досады. Как то встретив на прогулке группу малосрочных политиков из одиночного корпуса, Петрушка, желая сорвать на ком-нибудь свой гнев, стал кричать на них:

— Вы что же это, мерзавцы, бежать у меня задумали?.. (побег вовсе готовился бессрочными арестантами из общего корпуса). Я вам покажу как бежать!.. Я приструню вас, сокращу!..

Заметив среди гуляющих максималиста Мелашкина, он велел ему выйти из рядов и тут же, в присутствии всех, стал распекать его самыми бранными словами. Тогда с р. Голубев, всегда такой спокойный и уравновешенный, не выдержал и, подойдя к Черлениовскому, говорит ему своим тихим голосом:

— Ваше высокоблагородие, нельзя ли повежливее!

— Что? что ты сказал!.. Фамилия как!... А, Голубев! Ладно!.. *Пятьдесят*,—отчеканил начальник, и Голубева (кстати человека в летах и учителя по профессии) выпороли розгами

Сидел у нас некий Клементьев, осужденный в каторгу за убийство в припадке ревности. Еще до этого он обнаруживал признаки душевного расстройства. Однажды он пожаловался Петрушке, будто восемь таких то арестантов хотят его убить. Начальник был как раз в подходящем настроении и, не задумываясь, приказал выпороть всех указанных Клементьевым. Впоследствии выяснилось, что донос на них—выходка мнительного и ненормального человека,—сделан

был совершенно зря. Посетив как то больницу, где в это время находился Клементьев, Черлениковский и говорит ему:

— Из-за тебя, мерзавца, я восемь человек невинных наказал . . .
Смотри, как только выздоровеешь, сейчас же от меня сто получишь . . .

Угроза эта, перспектива получить сто розог так подействовала на и без того душевно больного Клементьева, что он решил предупредить это и в ту же ночь, привязав полотенце к ноге, вадел петлю на шею и удавился. Утром нашли его похолодевший труп. Было это 30 сентября 1910 г.

* * *

Тяжелее всех было положение бессрочных. Их не выпускали ни на какие работы, за малейший проступок наказывали строже, чем срочных каторжан. Представьте себе людей, которые сплошь и рядом находились раньше под смертным приговором и которым в будущем предстоит длинный ряд лет, полных тоски, скуки и безрадостного прозябания. Почти все бессрочные сидели у нас в двух больших камерах и, так как состав их почти не менялся, то всем приходилось чуть ли не несколько лет подряд сидеть с одними и теми же лицами.. Уйти из общей камеры некуда, заняться какой-нибудь работой тоже не дают.

Удивительно ли, что между ними все время шли нелады и ссоры, что драгам и сипетням конца не было, что вражда, слепая, порой и беспричинная вражда одних к другим расстраивала нервы и без того расстроенных людей. Особенно часто ссорились между собой уголовные с политическими. Главным образом, в тех случаях, когда кто-нибудь из первых пытался возродить *традиции бывлой каторги* и корчил из себя „Ивана“, диктатора и узурпатора целой камеры.

Так, в Пскове в 20-й камере пробовал „поиванствовать“ некий Шульц, здоровенный детина, старый вор и разбойник, бежавший с Сахалина и совершивший отвратительное по своему зверству преступление: в Витебске он вместе с другим сахалинцем вырезал целую семью, в том числе пару маленьких детишек. Здесь в камере Шульц забирал себе и своим клеветам самый густой суп, самую жирную кашу, перехватывал записки и, как челoneк мелочно самолюбивый и придирчивый, заводил скандалы со всеми, кому он не нравился. За Шульца в таких случаях заступались другие уголовные бессрочники, особенно зверь-разбойник Викторov, ирбитель Слесарев—высокий и могучий красавец со жгучими черными глазами, конокрад Лобковский, стократно битый п с поломанными ребрами, а также один бывший с.р. максималист, окончательно ассимилировавшийся с уготовщиной, молоденький и всегда жедчно и анти-интеллигентски настроенный Иванов тоже Питерский мастеровой и однофамилец другого Иванова, прозванного „Комиком“.

Во главе же камерной оппозиции стояли: политический Андреев и одиу льнувший к политикам, вор, славный и хороший малый Горбулев.

Когда к бочке пороху подносят спичку, она взрывается, так и эд сь: достаточно было, чтоб Шульц забрал себе слишком уж большую порцию кашы, как долго сдерживаемое против него раздражение, буило взорваться. Мило по малу и пошла стенка на стенку. Шульц хватывает большой нож, бросается с ним на Гобулева. надосит ему несколько раз и первый вачинает кричать на весь коридор:

— Караул...! убивают!

На помощь Шульца подсакивают его соратники:

— Бей их... вали, ребята! — орет Виктор, неуклюже размахивая ножом.

В ответ на это, оппозиция начинает швырять в уголовных медных бачках, чайниками, метельниками, аспидными досками и кружками. В это время уголовные из соседней 21-й камеры, чтоб поддержать своих, передают им через потайную дыру несколько ножей. Видя это, оппозиция хватается за скамейки и давай ими утюжить своих недругов, особенно самого Шульца.

Тошот тяжелых, с круглыми железными гвоздями арестантских котов, звон кандалов, крики и отчаянная матерная брань, стоны и уханье дерущихся, звуки затрещи, тумак, которыми дубасят и костылят друг друга разъярившиеся „вечники“, свистки встревоженных напирателей, — все это слилось в адскую какофонию. На тревогу прибежал сам Петрушка. Распорядившись отнести окровавленных Шульца и Горбулева, а также двух тоже порезанных политиков в больницу, он тут же приказал всех остальных, *даже тех, кто умудрился остаться в стороне от побоища*, выпороть розгами. Услышав об этом, те двое политиков, сочувствия ради, отказались идти в больницу, и Черленновский распорядился и их — окровавленных и нуждающихся в лечении — тоже выпороть, их даже порол с большим азартом, чем остальных.

После экзекуции Черленновской хотел было снова посадить всех передравшихся между собою в прежнюю камеру, но Андреев (кстати получивший на этот раз сто розог, главным образом, на том основании, что он был на плохом счету у Петрушки) заявил ему:

— Я скорее покончу с собой, но ни за что не буду сидеть с этой публикой...

Тогда начальник переменял свое решение и рассадил всех по клеткам, наказав их вдобавок еще тем, что целый месяц держал на хлебе и воде, с выдачей горячей пищи и выпуском на прогулку один раз в четыре дня.

Весть о такой расправе, огульной и жестокой, быстро разнеслась по тюрьмам и всех возмутила. К этому времени — зимой 1911 г. — гипнов, наведенный псковским режимом, начал проходить, арестанты стали выходить из состояния угнетенной апатии и пассивности. Для группы политиков, наставивших на необходимости положить конец Петрушкиным порядкам, настала теперь пора действовать.

Всего лишь несколько месяцев тому назад, когда Слясский выпорол библиотекаря Николу, очень мало нашлось охотников протестовать против этого, несмотря на то, что Николай пользовался всеобщим уважением и любовью. Теперь же сравнительно легко удалось образовать группу самообороны. По кзмерам пущены были воззвания о голодовке, как единственном способе добиться перемены к лучшему. При этом шесть человек, у которых на руках был яд, решили, в случае неудачи предстоящей голодовки, отравиться и этим обратить на Исков внимание общества и партии.

Кроме того, во многие газеты удалось тайком переслать ряд корреспонденций, а социалистическим партиям в России и за границей было послано особое заявление, в котором политические каторжане Псковского центра предупреждают о назревающей катастрофе и просят заступничества.

Еще до этого политики, независимо от обще-хозяйственной коммуны, съорганизовались в отдельные партийные группы. Первое место как по своей численности, так и по налаженности организационного аппарата, занимали у нас с.-д., те самые с.-д., которые вначале были в полном загоне и которых большинство каторжан, с легкой руки максималистов и анархистов, третировало чуть ли не как миролюбивых либералов. С.-д. группа успела даже выпустить один или два номера тюремного журнала.

В подражание социалистам съорганизовались и анархисты. Об этом проведало начальство: в бане и клозете была найдена их переписка между собою. Выпоров совершенно неосновательно заподозренного в одной из записок одесского анархиста Винницкого, Черлепиновский явился в камеру к бессрочным и, поздоровавшись, провозгласил:

— Кто из вас революционер,—выходи!..

Никто не вышел. На повторный вопрос вышло несколько человек.

— Еще кто революционер?

Вышло еще два—три политика.

Переписать их фамилии!—распорядился начальник.— В случае чего, они первыми отвечают! Пусть они забудут, кем они были раньше... Теперь они все принадлежат к моей партии...

Чтоб пресечь всякую дальнейшую переписку между каторжанами, он велел отобрать тетради и карандаши не только у непосредственно скомпрометированных и не только в тех камерах, в которых они сидели, но у *всех 900 с чем то каторжан*, разбросанных по разным корпусам и корридорам.

Это еще больше озлобило арестантов.

23 ноября 1911 г., как бы в ответ на газетные корреспонденции, в Псков приехал сам начальник Главного Тюремного Управления Хрулев. Узнав об этом заранее, арестанты решили использовать это обстоятельство и разоблачить до конца Петрушкины порядки. В сопровождении какого то подозрительного пажа из охранного отделения Хрулев обходил все камеры и всех внимательно выслушивал. Жалоб накопилось так много, что после обхода Хрулеву пришлось до поздней ночи вызывать к себе каторжан для записи их показаний.

Вводят, наприм., к нему бывшего солдата Лямова, осужденного на 15 лет каторги за дерзкий ответ оскорбившему его офицеру. Черлепиновский, всегда с особенной злобой относившийся к политическим из военных, сразу не взлюбил его, около двух лет держал в клетке и долго не расковыливал.

— За что же, полковник, вы его в кандалах держите?—спрашивает Хрулев:—ведь законный срок давно прошел.

— Он, Ваше Преносходительство, самый главный здесь агитатор. Замочен во многих проступках,—отвечает Черлепиновский.

— Покажите-ка жалобную книгу...

Смотрят, и оказывается, что Лямов ни разу не сидел в карцере и ничего предосудительного за ним не числится. Хрулев пожимает плечами. Не меньше удивляется он, узнав, например, что все находящиеся в больнице, на том только основании, что им выдают по два-три кусочка сахара в день, в отличие от здоровых каторжан, лишены права делать обычную выписку на собственные средства. За-

писал он также и жалобы каторжан, сидевших в одиночках, которых, в том числе и сидевшим там по собственному желанию, Петрушка запретил курить табак. Особенно много сетований пришлось ему выслушать от наказанных розгами.

— Ну, что же,— отвечал он многим своей стереотипной репликой,— было да сплыло... Дело прошлое, надо простить... простить надо...

Черленковский никак не ожидал такого потока жалоб и, как водится, стал искать зачинщиков.

Сам собой разумеется, что такой истинно-русский патриот как Черленковский, сразу решил, что обыкновенный русский человек не способен без постороннего наущения и подстрекательства кричать, когда ему больно, и сопротивляться, когда его притесняют. Ясно, что евноваты здесь „инородцы“ и среди них евреи—эти классические, еще со времен Моисея и Пророков, агитаторы и смутьяны. Начальник приказал составить подробный список всех каторжан иудейского вероисповедания, собрал их в один из коридоров общего корпуса и, величественно воссекая на стуле, стал допрашивать каждого из них в отдельности. Он думал на основании подобных бесед узнать вероятных организаторов и обратиться до корня смуты. Каторжан, ответы которых показались ему наиболее значительными, он отмечал на особом листе. Однако, до расправы с ними так и не дошло.

Ревизия Хрулева, в сущности, ни на йоту не изменила положения каторжан. Карцера попрежнему редко пустовали, разги попрежнему редко лежали без применения. Все-таки чувствовалось, что специфически Псковский режим пошатнут, что в нем пробита брешь, что перемена к лучшему неизбежна. Сами каторжане получили наглядное представление о том впечатлении, которое может произвести организованное выступление всей арестантской массы. Долго накопившееся раздражение нашло себе неожиданный выход.

Когда II-я камера вышла на opravку, максималист Спивак и с.д. Завицкий вдруг, даже не сговорившись специально с другими камерами, стали кричать:

— Да здравствует голодовка!.. Товарищи, присоединяйтесь!.. Подать сюда начальника!..

С этими возгласами они стали подходить к решетчатым дверям камер второго коридора. Разумеется, что Спивака и Завицкого сейчас же отвели к начальнику, ну а этот опять таки, разумеется, сейчас же прибег к своему универсальному средству: вынорол и посадил в темную на семь суток. Расправившись с ними, Черленковский прибежал в корпус, стал обходить все камеры, всюду произносил речи, заканчивая их так:

Кто здесь за голодовку, выходи в сторону...

Таким образом он сам же осведомлял о происшедшем тех, кто этого еще не знал, и нелегально послужил посредником в организации общего выступления. Всех, примыкавших к голодовке, тут же отделили, обыскивали и переводили в отдельную камеру, при чем некоторые тут же удавлялись карцера.

— Подожди, кровопийца,—говорит начальнику экспансивный и пылкий Наум Коган, меньшевик, осужденный по делу о динамитной лаборатории в Ростове на Дону:—ты теперь из нас кровь пьешь, но тоже и мы с тобой потом сделаем...

Черленковский был ошеломлен.

— Что он говорит?—переспрашивает он в изумлении у стоявшего позади него старшего. От неожиданности и волнения Петрушка сжал фуражку и стал нервно проволить рукой по лбу.

„Ну и времена настали,—говорил его полное недоумения и растерянности лицо.—Или свет вверх дном перевернулся, или я сам распустил этих прохвостов“...

Когда был тотчас же закован в кандалы и отведен в карцер, где он, уж не знаю по какому поводу и для какой цели, разорвал рубашку, приваал лескут ее к вентилятору, что помещается внизу возле дверей карцера, и надел петлю на шею. Надзиратель как то своевременно заметил это и до самоповешения у Когана не дошло.

Вобщем, нужно заметить, что настроение у голодовщиков было отчаянное. Многие решили, в случае неудачи этого выступления, *при-нять яд*, и несомненно привели бы в исполнение это страшное решение, продиктованное безвыходной тоской и мукой, переносить которые дальше становилось невозможным.

Из восьмисот с лишним каторжан к протесту присоединилось около 150—цифра весьма солидная, если учесть в виду как пестрый состав каторги, среди которой преобладают уголовные, так и террористический режим, всех и все придавивший. Требования, выставленные арестантами, были невелики: отмена порки, изоляция лягавых, разрешение выписки продуктов два раза в месяц, а не один раз в четыре недели, выдача письменных принадлежностей, расковка тех 5—6 политиков, которых заковали вторично без достаточных оснований; наконец, шестой пункт требовал, чтобы одиночные камеры представлялись главным образом неврастенкам и больным.

Из этих требований пункт относительно лягавых требует пояснения. На арестантском жаргоне „лягавыми“ или „суками“ называются те субъекты, которые, с целью выслужиться перед начальством, доносят ему обо всем, что творится в камерах: о готовящемся побеге, о спрятанных пилках или игровых картах, о циркулирующих „ксивах“ (записках) или о неодобрительных отзывах про администрацию и т. п. До революции пятого года, когда вся тюрьма жила согласно традициям воровского мира, традициям, свято хранившимся с незапамятных времен, таких „лягавых“ просто *пришивали* т.-е. убивали или калечили. По понятным соображениям начальство брало этих „сука“ под свое особое покровительство, держало их отдельно и всячески изолировало, раз что такой „лягавый“ засыпался, т.-е. стал уже всем известен. Их обыкновенно держали по одиночкам или же собирали в одну камеру, в так называемый „сучий угол“ или „сучий департамент“.

Наш же Петрушка, хотя и презиравший всех этих доносчиков, услугами их пользовался не стесняясь, а главное, вовсе и не думал их изолировать. За малейшее посягательство на их неприкосновенность он нещадно наказывал. Так, когда с.-д. Пылаев, бывший тогда камерным старостой, в самой вежливой и корректной форме, попросил одного лягавого уйти из камеры, Черлепповский, которому предатель этот пожаловался, выпорол Пылаева (сто розог). вторично заковал в кандалы и, кроме того, лишил его обычной скидки. Пребывание в одной камере с заветными предателями и шпионами, что может быть тягостнее и мучительнее этого...

Голодовка между тем принимала серьезный оборот.

Чтоб одним ударом парализовать столь энергичное выступление арестантов, начальник выбрал из них человек 70 в одну камеру и посадил их на карцерное положение. Из камеры этой вынесены были столы, скамейки, матрацы, соломенные подушки и одеяла, при чем оправка должна была производиться не в уборной, а в самой камере.

Поступить так Черленювский не имел ни малейшего права, так как мирный и спокойный отказ от принятия пищи — не есть преступление или проступок. Впрочем, наивно требовать от крепостника и самодура, чтоб он считался с какими то правами и юридическими нормами. Но именно тем, что Петрушка собрал вместе такую массу протестантов, он сам же создал обстановку, в которой голодовка должна была пройти с наибольшим удобством. Так и было; наиболее отважные и популярные каторжане своим примером поддерживали бодрость в остальных. Голодовка проходила без воды — самый мучительный вид голодовки, обстоятельство которое показывало, что это была не пустая демонстрация, а серьезнейшая борьба. С общего согласия товарищи, отправляющие служебные функции и бывшие нелегальными посредниками, не участвовали в голодовке. Не участвовали в голодовке и часть политиков — одни страха ради, другие потому, что совершенно не верили в успешность борьбы с Петрушкой. Зато к голодовке прикнули некоторые из уголовных. Несколько больных, продолжая принимать пищу, заявили о своем сочувствии товарищам, но начальник крикнул им в ответ:

— Таких мерзавцев мне не надо, — и распорядился перевести их из больницы в ту самую сборную камеру, где сидели участники голодовки.

Соц.-дем. Усенко, техник, осужденный вместе с Коганом за организацию крупной динимитной лаборатории в Ростове н/Д, был все время против голодовки и даже агитировал против нее. Когда же она фактически началась, он вызвал Черленювского в слесарную мастерскую, где в то время работал, и в присутствии всех заявил ему о своем присоединении. Петрушка тут же приказал выпороть его и посадить в одпочку.

— Ты, прохвост, должен был заявить об этом мне наедине — мотивировать свое распоряжение начальник. — Зачем других смущаешь...

Несмотря на ужасную, прямо невероятную тесноту (камера, в которую начальник напихал 67 человек, предназначена была для 23...), первый день голодовки прошел удивительно бодро, — шуткам и смеху не было конца. Сами помшники и надзиратели не могли не проникнуться уважением к стойкости голодовщиков и поднимали на смех тех из них, кто скоро сдавался.

Однако, и в настроении остальных вскоре произошел перелом. Спать в повалку на совершенно голым полу, недостаток свежего воздуха, отсутствие пищи, — а главное, — жажда, мучительная и изнурительная жажда, которая туманила мозг и с острой болью давала чувствовать зависимость духа от материи, психологии от физиологии — все это нарушило равновесие не одного из протестантов. С заперкшимися губами, с помутившимися взорами валялись и корчились они на полу. У многих началась рвота, с одним случился сердечный приступ, человек 6—7 других пришлось на руках перенести в больницу. Тюремный священник, по настоянию начальника сменивший

отца Николая Колибергского, уволенного за чрезмерно христианское отношение к арестантам, посетил разметавшихся на полу и дрожавших от холода и голода каторжан и спросил:

— Не могу ли я чемнибудь помочь вам... но только в пределах, дозволенных тюремным уставом,—добавил он, покраснев от смущения.

— Нет, батюшка, обойдемся уж без вас,—ответили ему.

Кому то удалось послать несколько заметок в местную „Псковскую Жизнь“, газету, все время разоблачавшую непорядки нашего центра. Заметки эти были перепечатаны и в столичных органах. Губернатор Медем откомандировал своего адъютанта, жандармского ротмистра Злобина, который вместе с Петрушкой обходил голодовщиков и подробно обо всем спрашивал их. Не знаю, по инструкции ли Медема, в общем всегда корректно относившегося к каторжанам, или он это делал сам по себе, но Злобин вполне определенно выражал свое сочувствие протестантам и открыто признавал основательность всех их требований.

— Надо кончать,—многозначительно заявил он в присутствии всех начальнику, и... Тот уступил... Грозный и свирепый Петр Иванович Черлениовский пригласил к себе Шандера, Сафонова и еще кого то из депутатов и дал им честное слово офицера в том, что все требования будут удовлетворены. Произошло это на четвертый день голодовки.

— Это было месяца через три после голодовки. Я в то время находился уже в Орловском центре, куда меня вместе с другими перевели из Пскова *на окончательное исправление*. Однажды на прогулке мне шопогом сообщили, что Черлениовский переведен начальником Тверских арестантских рот. Это было несомненно понижение по службе.

П. И. Черлениовский не выдержал такого удара и вскоре без видимой причины умер.

Не знаю, придется ли ему на том свете отвечать за те страдания и оскорбления, которые он наносил своим ближним здесь на земле... А этих страданий и оскорблений, этой муки и этих слез было в Псковском центре много, *ох как много*...

В 1912 г. в Псков назначен был новый начальник, пошли новые порядки. Кое в чем стало лучше, кое в чем хуже, но специфически Петрушкин режим отошел в прошлое, канул в вечность вместе со своим творцом.

— Да будет же ему тяжела земля!

И. Генкин.

Русская революционная эмиграция.

Записка Я. В. Стефановича.

В делах департамента полиции, находящихся ныне в рукописном отделении библиотеки Академии Наук¹⁾, среди бумаг бывших директоров нашлась синяя папка с надписью „Стефанович“, содержащая ряд документов, относящихся к покойному Я. В. Стефановичу. Среди этих документов оказалась собственноручная записка Стефановича о русской революционной эмиграции, составленная им по поручению Плехве в 1882 году, когда С. содержался под арестом при III Отделении. Записка написана в двух экземплярах: черновик, со многими поправками автора, и беловом, с пометками Плехве и, повидимому, канцеляриста, переписавшего записку для более высокого лица, надо думать — для Александра II. Вероятно, это та самая „история революционного движения“ или „записка“ об этом движении, которую будто бы писал Стефанович, пользуясь доставлявшимися ему материалами и текущими делами из департамента полиции, около содержания и характера которой возник спор между г. Тютчевым („Былое“ №№ 10—11, „Знамя у Цепного моста“) и В. И. Засулич („Былое“ № 13, „Правдивый исследователь старины“). Написанный, стало, по обстоятельно и точно, очерк это обрисовывает и характеризует всю революционную эмиграцию и дает точное определение удельного веса различных групп русской эмиграции. Такого рода данные не были до того времени в распоряжении Плехве и департамента государственной полиции и современный читатель может ныне ответить на вопрос, был ли „предателем“ в собственном смысле этого слова Стефанович или его записка, составленная в пролическом, а иногда и явно недоброжелательном по отношению к эмиграции тоне, содержит в себе если и не предательство, то очевидную нескромность, совершенно неуместную в устах революционера и в записке, предназначенной для директора департамента государственной полиции.

Записка печатается по беловому ее экземпляру, ²⁾ с соблюдением орфографии подлинника.

Ө. Покровский.

¹⁾ В настоящее время все дела департамента полиции из рукописного отделения библиотеки Академии Наук передавы в Историко-Революционный фонд. *Ред.*

²⁾ Находка, сделанная Ө. И. Покровским, еще не решает вопроса о том, исчерпывается ли литературная деятельность Я. В. Стефановича, во время его

Въ настоящее время эмиграція совершенно не представляетъ того компактнаго цѣлаго, какимъ являлась въ періодъ времени, начиная съ 1873 г. и кончая почти 1878. Въ то время ей принадлежала инициатива русскаго революціоннаго движенія и, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, до нѣистой степени роль руководителя въ немъ. Она жила тѣсною связью съ этимъ движеніемъ, и всѣ метаморфозы, какія оно претерпѣвало, происходили далеко не безъ ея вліянія. Эмиграція представляла тогда нѣсколько группъ, разнившихся другъ отъ друга политическими тенденціями. Взаимныя отношенія этихъ группъ, — были ли они враждебныя, или союзническія, — всецѣло ограждались на отношеніяхъ другъ къ другу соответствующихъ имъ по программѣ кружковъ въ Россіи. Такимъ значеніемъ пользовались группы: „Впередъ“, „Работника“, „Громады“, „Набата“ (значеніе послѣдняго, впрочемъ, всегда было крайне ничтожно).

Въ первую группу входили: Лавровъ, Смирновъ, Таксисъ, Гинцбургъ, Липневъ, Клячко и др. Въ свое время она пользовалась вліяніемъ въ Россіи и поддерживала живыя сношенія съ такъ называемымъ кружкомъ Чайковцевъ. Но когда этотъ кружокъ разрушился, — частью вслѣдствіе арестовъ, частью вслѣдствіе перехода его членовъ къ болѣе крайнему направленію, — группа „Впередъ“ потеряла поддержку въ Россіи, и изданіе журнала и газеты должно было прекратиться въ 1876 г. Возникшія вслѣдъ за тѣмъ разнообразныя направленія въ русскіхъ кружкахъ не согласовались съ тенденціями „Впередъ“ и часто были даже враждебны имъ. Поэтому группа эмигрантовъ „Впередъ“ оказалась раньше другихъ оторванной отъ русской почвы и еще до начала террористическаго теченія подверглась полному разложенію. Липа, ее составлявшіе, потеряли всякую связь между собою и большинство изъ нихъ давно уже не имѣетъ ничего общаго ни съ русской, ни съ какой бы то ни было другой революціей. Лавровъ и Таксисъ живутъ въ Парижѣ (послѣдній работаетъ въ какомъ-то заведеніи чертежникомъ), Смирновъ и Гинцбургъ — въ Бернѣ, оба исключительно заняты наукой. Клячко въ Вѣнѣ, корреспондируетъ въ газетѣ. Липневъ въ Лондонѣ, занятъ какими-то коммерческими предпріятіями. Тутъ же и Чайковский съ семьей, живетъ литературой.

Группа „Работника“ имѣла непосредственныя отношенія къ Московскому кружку (процессъ 50-ти), при поддержкѣ котораго издавалась его газета „Работникъ“, а также большая часть рабочихъ брошюръ, переводившихся и распространявшихся въ Россіи главнымъ образомъ этимъ кружкомъ. Съ прекращеніемъ существованія Московскаго кружка группа „Работника“ вошла въ тѣсныя сношенія съ Петербургскою компаніей Натансона и предприняла изданіе „Общины“. Но въ 1878 г. эта газета оказалась уже не удовлетворяющей направленію до сихъ поръ поддерживавшаго ее кружка, которымъ и была основана въ предѣлахъ Россіи „Земля и Воля“. Народническія тенденціи новой газеты встрѣтили крайнее несочувствіе со стороны редакціи „Общины“, не допускавшей какого-то иного социализма для

заключенія въ камерѣ III Отдѣленія, запиской объ эмиграціи или охватываетъ еще и трудъ по исторіи революціоннаго движенія, который пока не найден. Но содержаніе и тонъ найденнаго мемуара даетъ возможность отъ известнаго нѣтъ къ неизвѣстному и сделать мало благоприятныя для Я. В. Стефановича заключенія о характерѣ и другихъ его тюремныхъ досугахъ. Въ настоящей книгѣ мы даемъ место письму въ редакцію Н. С. Тютчева, которое содержитъ заслуженную оценку поведенія Я. В. Стефановича. Ред.

Россіи, отличнаго отъ западно-европейскаго. Однако же, благодаря тому обстоятельству, что нѣкоторые, бывшіе сотрудники „Общины“ (Кравчинскій, Клеменсъ) отправились въ Россію, примкнули къ „Землѣ и Волю“, связи этой группы съ Петербургскимъ кружкомъ не порвались, хотя отношенія не имѣли уже характера прежней близости. Въ 1879 г., когда организація „Земли и Воли“ распалась на Народную Волю и Черный Передѣлъ, группа „Работника“ очутилась въ совершенно изолированномъ положеніи отъ Россіи. Она не раздѣляла ни террористическаго направленія первой съ лозунгомъ политической свободы, ни народничества послѣдняго. Съ этихъ поръ группа перестаетъ существовать, какъ таковая, и ея члены частью успѣли уже обуржуазиться, частью сохранили лишь идейный интересъ къ революціи, другіе же успѣли приспособиться къ заграничному движенію. Къ разряду первыхъ относятся Гольдштейнъ и Эльсницъ; ко вторымъ — Жуковский, Жемановъ и Аксельродъ¹⁾, а къ третьимъ — Черновъ и Ралли. Первый изъ этихъ двухъ вошелъ въ составъ рабочей социалистической секціи въ Парижѣ, а по изгнаніи оттуда примкнулъ къ Женевской секціи „Revolte“. Второй еще съ 1878 г. перенесъ свою дѣятельность въ Румынію, гдѣ успѣлъ приобрести право гражданства и сотрудничать въ мѣстныхъ газетахъ.

Группа Украинскаго сборника „Громада“ имѣетъ своей задачей создать социально-украино-фильскую партію въ предѣлахъ этнографической Малороссіи. До 1879 г. эта задача до нѣкоторой степени казалась осуществимой. Въ ту пору Драгомановъ поддерживалъ живую связь съ украинофилами Кіева, Харькова и Одессы. Отсюда шли матеріальныя средства на поддержку его изданій, рукописи, корреспонденціи. Всякіе планы, — касались ли они внутреннихъ дѣлъ или отношеній къ русскимъ или польскимъ социалистамъ, предпринимались съ вѣдома заграничной группы. Программа этой группы, какъ извѣстно, опредѣляется политическимъ федерализмомъ. Поэтому, когда русскіе революціонеры выставили на своемъ знамени политическую свободу, Драгомановъ съ радостью привѣтствовалъ такой поворотъ движенія, хотя и не выразилъ полнаго сочувствія красному террору, какъ средству достиженія такой цѣли. Черный Передѣлъ былъ встрѣченъ здѣсь крайне рѣзкой критикой, народничество которого по мнѣнію Драгоманова, не можетъ быть признакомъ прогрессивнымъ. Когда въ господство²⁾ Тютлебена и Черткова югъ былъ очищенъ отъ всѣхъ силъ украинофильства, заграничная группа лишилась какъ матеріальной, такъ и нравственной поддержки изъ Россіи, и въ настоящее время она находится внѣ всякихъ связей съ русской Украиной. Значеніе ея стало совершенно ничтожнымъ. Однако, изданія Громады не прекратились, благодаря средствамъ богатаго помѣщика Подолинскаго, постоянно живущаго за границей и входящаго въ составъ группы. Но эти изданія очень слабо расходятся даже въ Австрійской Украинѣ (Восточная Галиція), въ Россію же попадаютъ случайно въ количествѣ 2, 3 къ эмигрантовъ. Въ Галиціи они не имѣютъ большаго распространенія по той причинѣ, что Драгомановъ слишкомъ радикаленъ для партіи такъ называемыхъ русинскихъ народовцевъ; социалистовъ же націо-

¹⁾ Аксельродъ эмигрировалъ 1874 г. Въ 1878 г. онъ возвратился въ Россію, примкнулъ къ Черному Передѣлу, къ которому считалъ себя относительно ближе, нежели къ Народной Воли, а въ 1880 г. опять уѣхалъ за границу.

²⁾ Рукою Цюлове слова „въ господство“, зачеркнуты и вмѣсто нихъ на полѣ написано: „въ господство“.

нальной окраски—всего нѣсколько человѣкъ, группирующихся около редакціи газеты „Свѣтъ“, издающейся въ Лѣвовѣ. Народныя книжки на украинскомъ языкѣ рассылаются по почтѣ въ нѣсколько деревень, извѣстныхъ Павлику, третьему редактору Громады, родомъ изъ галиційскихъ крестьянъ (теперь эмигрантъ въ Женевѣ). Съ русскими революціонерами эта группа болѣе или менѣе правильныхъ сношеній не имѣетъ, хотя Драгомановъ неоднократно пытался завести таковыя съ южными дѣятелями. Такъ, напримѣръ, когда у нѣкоторыхъ лицъ явилось намѣреніе издавать конституціонную газету, онъ предложилъ свое сотрудничество, вошелъ въ переписку съ этими лицами; но предпріятіе почему то не осуществилось. Были попытки сойтись также съ кружками Чернаго Передѣла позднѣйшей формаціи, но и онѣ ни къ чему рѣальному не привели. Что касается Народной Воли, то хотя Драгомановъ и предлагалъ ей свои литературныя услуги, но вслѣдствіе его неблагоприятныхъ отзывовъ о русской партіи въ иностранной печати, эти предложенія отклонялись. Вообще Драгомановъ болѣе, чѣмъ кто-нибудь за границей, ищетъ путей своему вліянію на ходъ и направленіе русскаго движенія. Съ этой цѣлью онъ пишетъ брошюры на русскомъ языкѣ, сотрудничаетъ въ русскихъ заграничныхъ изданіяхъ, никогда не упуститъ случая познакомиться съ временно прѣзжающими изъ Россіи; ведетъ дѣятельную пропаганду федералистическихъ идей среди эмиграціи и главнымъ образомъ среди учащейся молодежи, а эти идеи для настоящаго времени сводятся, по его мнѣнію, къ группировкѣ оппозиціонныхъ элементовъ по національностямъ и къ пропагандѣ на языкахъ тѣхъ національностей, среди которыхъ данныя группы дѣйствуютъ. Были съ его стороны попытки основать литературныя кружки изъ эмигрантовъ. Такъ, подъ его вліяніемъ образовался еврейскій кружокъ съ цѣлью литературной пропаганды на этомъ именно языкѣ. Но все дѣло ограничилось тѣмъ, что было написано самимъ же Драгомановымъ и, разумѣется, по-русски воззваніе къ евреямъ съ просьбой содѣйствія цѣлямъ возникшаго кружка. Воззваніе не проникло въ Россію, и кружокъ распался: два изъ его членовъ¹⁾ съ разрѣшенія графа Лорисъ-Меликова возвратились въ Россію, а третій (не эмигрантъ) поступилъ въ Женевскій университетъ. Затѣмъ Драгоманову удалось найти изъ эмигрантовъ одного бѣлорусса и образовать съ нимъ бѣлорусскій литературный кружокъ. Была переведена на этотъ языкъ брошюра „Про богатство та бѣдность“ (которой въ Россіи нѣтъ ни одного экземпляра), а другія проявленія существованія этого кружка затѣмъ не восслѣдовало. Какъ ни ничтожны всѣ подобныя попытки, Драгомановъ всегда оповѣщаетъ о нихъ въ иностранныхъ газетахъ, какъ о фактахъ, свѣдѣтельствующихъ, что его тенденціи находятъ для себя почву и пріобрѣтаютъ право гражданства среди „всероссійскихъ социалистовъ“. Кромѣ трехъ названныхъ лицъ, къ группѣ Громады относятся Ляхоцкій, главный наборщикъ ея типографіи, которая помѣщается совместно съ типографіей „Работника“. Со стороны послѣдняго главнымъ наборщикомъ служитъ Жилка, старый эмигрантъ, работавшій еще при „Колоколѣ“. Кромѣ нихъ въ типографіи работаютъ Гутерманъ, Василевскій и др.

Группа „Набатъ“ никогда не имѣла вліянія на направленіе рево-

¹⁾ На полѣ рукою Плеве написано: „кто именно?“ Стефановичъ отвѣтилъ Николай-псевдонимъ одного, другого не помню“.

люціонного движенія въ Россіи, не смотря на огромныя претензіи въ этомъ смыслѣ. Съ самого начала своего существованія эта газета не пользовалась большимъ распространеніемъ среди кружковъ, которымъ очень хорошо было извѣстно, что никакой организаціи, ее поддерживавшей, не существуетъ кромѣ нѣсколькихъ женщинъ (Южакова, Ошанина). Между тѣмъ „Набатъ“ всегда фигурировалъ, какъ органъ какой-то сильной партіи, съ санкціи и на средства которой онъ, будто бы, и издается. Иностранцы этому вѣрили, но въ Россіи эта мистификація совершенно не достигала цѣли. В сущности же „Набатъ“ основанъ по инициативѣ эмигрантовъ: Ткачева, Дементьевой и Турскаго. Выдавая себя за уполномоченныхъ какой-то сильной централистической организаціи, этимъ лицамъ удалось привлечь къ своему дѣлу еще нѣкоторыхъ и, между прочимъ, богатаго человека Френка, на средства котораго, главнымъ образомъ, и существовало изданіе. Какъ извѣстно, Набатъ всегда проповѣдывалъ крайне рѣшительный образъ дѣйствій, съ пренебреженіемъ относился къ пропагандѣ социализма, а къ пропагандѣ знанія вообще—въ особенности; старался всѣми способами дискредитировать Лаврова и его „Впередъ“ въ глазахъ молодежи и являлся сторонникомъ преимущественно кровавыхъ дѣйствій. Когда революціонное движеніе въ Россіи дѣйствительно выступило на этотъ путь, Набатъ поспѣшилъ приписать такой поворотъ въ тактикѣ революціонеровъ главнымъ образомъ своему вліянію. Онъ объявилъ, что образовалось тайное общество „Народнаго Освобожденія“ на самыхъ строгихъ организаціонныхъ началахъ и, хотя не прямо, но давалъ ясно понять, что всѣ политическія убійства въ Россіи—результатъ приговоровъ этого общества, официальнымъ органомъ котораго онъ, Набатъ, уполномоченъ быть. Это показалось слишкомъ нахальнымъ посягательствомъ на, такъ сказать, чужую собственность, и вотъ въ 8 № „Общины“ появилось заявленіе за подписью Засуличъ, Кравчинскаго, Стефановича и др., заявленіе, которымъ опровергалось какъ вліяніе Набата на революціонное движеніе въ Россіи, такъ и существованіе общества „Народнаго Освобожденія.“ Вслѣдствіе такого заявленія, исходящаго отъ лицъ, пользовавшихся авторитетомъ, нѣкоторые эмигранты, группировавшіеся около Ткачева и Турскаго, порвали съ ними всякія сношенія (въ числѣ таковыхъ были Френкъ, Григорьевъ и другіе) и Набатъ съ этого времени прекращаетъ свое существованіе. Хотя тенденція Набата вполне аналогична съ тѣмъ направленіемъ, какое стало господствующимъ въ Россіи за послѣднее время, группа его не можетъ считаться повинной ни въ нравственномъ ни въ какомъ бы то ни было другомъ вліяніи на образованіе этого направленія, несмотря на то, что претензіи на такое вліяніе всегда у него были велики. Личности и кружки, явившіеся пионерами террористическаго движенія, были искренними противниками Набата, а къ его группѣ относились, какъ компаніи слишкомъ нечистоплотной. Когда револьверъ уступилъ мѣсто динамиту, то и въ этотъ періодъ не было случая обращенія къ Набатчикамъ со стороны русскихъ революціонеровъ за какимъ-нибудь сочувствіемъ или съ какимъ-нибудь предложеніемъ. Уже долго спустя послѣ распада этой группы, когда въ 1880 г. заграницу эмигрировали Морозовъ и Любатовичъ, Турскому, Лакіеру и еще кому-то изъ Набатчиковъ удалось сойтись съ этими лицами на почвѣ восстановленія Набата въ Россіи. Чтобы напомнить о немъ, выпустили одинъ № его заграницей (после 1-го марта), затѣмъ часть шрифта успѣли даже

перевести въ Россію, но тутъ онъ былъ захваченъ полиціей, а арестъ Морозова лишилъ Турскаго всякой связи съ Россіей,—и предпріятіе не осуществилось.

Къ группѣ Набата, теперь несуществующей, не столько по тенденціямъ, сколько по личнымъ отношеніямъ близко примыкаетъ группа „Общаго Дѣла“. Это не есть собственно группа революціонная по существу, по цѣлямъ, какія тѣмъ или инымъ путемъ могутъ преслѣдоваться. Это коммерческая компанія 3-хъ или 4-хъ лицъ, во главѣ которыхъ стоитъ Эльпидинъ, собственникъ книжнаго магазина, библіотеки и содержатель Pension'a¹⁾ для русскихъ voyageurs²⁾. Группа издаетъ газету „Общее Дѣло“, не имѣющую опредѣленнаго направленія. Въ ней пишутъ³⁾ Запцевъ⁴⁾, Алисовъ, Драгомановъ, Морозовъ и др. Корреспондентъ о Россіи пишется или проѣзжающими русскими путешественниками, или на основаніи свѣдѣній, отъ нихъ полученныхъ. Газета эта доставляетъ нѣкоторую выгоду ея издателямъ, раскупаясь par les voyageurs russes⁵⁾ по всей Европѣ. Кромѣ того, компанія беретъ на комиссію всѣ изданія, выходящіе на русскомъ языкѣ изъ подъ заграничныхъ станковъ. Ея отношенія къ остальной эмиграціи чисто коммерческія, эксплуататорскія. Здѣсь могутъ иногда занять денегъ подъ проценты, или оказать какую нибудь другую услугу, но не иначе какъ за плату. Кромѣ Эльпидина сюда входятъ Смирновъ⁶⁾, Трусев (владелецъ небольшой типографіи) и еще кто-то. Прошлое всѣхъ этихъ личностей никому неизвѣстно; нѣкоторые изъ нихъ, повидимому, поляки. О какихъ-нибудь отношеніяхъ этой компаніи къ русскимъ революціоннымъ организаціямъ, разумѣется, не можетъ быть и рѣчи.

Что касается участія русской эмиграціи въ иностранныхъ революціонныхъ движеніяхъ, то это участіе очень слабо. Можно указать лишь на одного Кропоткина, какъ на человѣка вполне акклиматизировавшагося и съ успѣхомъ вѣтшивающагося въ дѣла иностранцевъ. Онъ пользуется большою популярностію среди социалистовъ романскихъ народностей, хотя въ Швейцаріи его почти 4-хъ лѣтънія усилія увѣщались очень ничтожными результатами: Женевская секція анархистовъ изъ 10—15 рабочихъ, вошедшая въ составъ юрской федераціи, и газета *Revolte*, обязанная своимъ существованіемъ главнымъ образомъ средствамъ самого Кропоткина. Это объясняется тѣмъ, что въ Швейцаріи мѣстнаго пролетаріата въ полномъ смыслѣ этого слова нѣтъ и рабочее движеніе носитъ легально-соціалистическій характеръ, мало укладывающейся въ революціонно-анархическія тенденціи *Revolte*. Гораздо большимъ вліяніемъ пользуется Кропоткинъ въ Италіи чрезъ посредство сношеній съ тамошними агитаторами, чѣмъ въ Швейцаріи при своемъ постоянномъ здѣсь пребываніи. Къ русскимъ дѣламъ онъ не имѣетъ никакого отношенія. Были съ его стороны попытки вызвать въ Швейцаріи сочувственную агитацію къ русскимъ революціонерамъ, какъ, напр., по поводу Гессы Гельфманъ; но къ этому даже большинство изъ эмигрантовъ отнеслось несочувственно, не желая злоупотреблять гостепріимствомъ страны, доставляющей имъ убѣжище. Дру-

¹⁾ Рукою Плева поправлено: „пансіона“.

²⁾ Тою же рукою поправлено: „путешественниковъ“.

³⁾ Тою же рукою поправлено: „писали“.

⁴⁾ Тою же рукою прибавлено: „и пишутъ“.

⁵⁾ Тою же рукою поправлено: „путешествующими русскими“.

⁶⁾ Не изъ „Визрева“.

той, болѣе или менѣе сроднившійся съ заграницей русскій эмигрантъ—это Черкезовъ. Въ Парижѣ онъ былъ довольно дѣятельнымъ членомъ тѣхъ немногихъ анархическихъ секцій, органомъ которыхъ служила „La revolution sociale“. Послѣ своего изгнанія изъ Франціи, онъ отчасти замѣнилъ роль Кропоткина въ Женевской секціи того же направленія. Еще болѣе офранцузившимся русскимъ в Парижѣ является Николай Жебуневъ. Онъ открылъ красивую мастерскую въ одномъ изъ рабочихъ кварталовъ, живетъ совершенно изолированно отъ эмигрантовъ, но никакой агитаціей среди французовъ не занимается. Во время существованія Интернаціонала однимъ изъ дѣятельныхъ его членовъ былъ Жуковский, эмигрировавшій еще въ 1862 г. Но съ распаденіемъ этой организаціи послѣ Парижской Коммуны мало-по-малу сталъ удаляться отъ вмѣшательства въ иностранныя движенія, примкнувъ къ группѣ издателей „Работника“, затѣмъ „Общины“ и, съ прекращеніемъ этой послѣдней, совершенно устранился отъ всѣхъ политическихъ дѣлъ. Изъ отмѣчившихся русскихъ извѣстнѣй Чернышевъ (Иванъ), съ 1874 г. живущій въ Лейпцигѣ, гдѣ онъ, впрочемъ, никакого участія въ социаль-демократическихъ Feuillets не принимаетъ. Въ Лондонѣ болѣе или менѣе ассимилировались Ливевъ и Гольденбергъ, въ Италіи Анна Макаревичъ (Розенштейнъ), которая принимала весьма дѣятельное участіе въ мѣстныхъ дѣлахъ, два раза сидѣла въ Флорентійской тюрьмѣ; но въ настоящее время совершенно оставила поприще дѣятеля, вышла замужъ за итальянскаго социалиста-легалиста Косту и живетъ семейно.

Съ тѣхъ поръ, какъ внутренніе революціонные кружки вышли изъ-подъ вліянія эмиграціи и создали новыя формы борьбы, сущность которыхъ не отводила эмиграціи почти никакого мѣста въ этой борьбѣ; когда пропагандѣ социалистическихъ идей перестали придавать прежнѣе значеніе и въ революціонныхъ дѣйствіяхъ стали преобладать террористическіе приемы, — эмиграція, какъ таковая, была совсѣмъ забыта. Мало того, ее фетишровали, относились къ ней съ высоко, и эмигрировать за границу стало считаться преступнымъ бѣгствомъ съ полнаго сраженія. Подъ вліяніемъ въ этомъ направленіи сложившагося общественнаго мнѣнія революціонной среды, эмиграція за послѣдніе годы была чрезвычайно рѣдкимъ явленіемъ. Убавляли развѣ личности или изъ кружковъ мало дѣятельныхъ, или совсѣмъ не принадлежащихъ ни къ какимъ кружкамъ. Болѣе чувствительный притокъ эмигрантовъ давали въ послѣдніе 3 года южныя кружки, менѣе—Черно-Передѣльскіе, а „Народная Воля“ не выдѣлила изъ среды своей организаціи ни одного эмигранта¹⁾. При этомъ эмигрировавшіе не удерживали за собой никакой связи съ Россіей, являлись за границу въ большинствѣ случаевъ безъ всякихъ средствъ въ надеждѣ прискать здѣсь какое-нибудь занятіе, а пока кое-какъ перебиваться на счетъ эмигрантской кассы. Эта касса вътогда пополнялась взносами изъ Россіи и дѣйствительно служила солидной поддержкой для эмигрантовъ. Но потомъ, когда о нихъ забыли, забыли и объ эмигрантской кассѣ. Полная разрозненность, наступившая вскорѣ распаденіе прежде сплоченныхъ группъ, вслѣдствіе утери²⁾ связывавшихъ ихъ живыхъ интересовъ, а отсюда въ значительной

¹⁾ Рукую Плева послѣднее: „выдѣлила изъ среды своей организаціи только двухъ эмигрантовъ: Морозова и Любатовичъ“.

²⁾ Рукую Плева послѣднее: „утраты“.

степени разившійся индивидуализмъ среди русскихъ заграниченъ низвели эту кассу до учрежденія, которое стало существовать лишь номинально. Только въ послѣднее время взносы возобновились, благодаря личнымъ усиліямъ нѣкоторыхъ, но и то лишь среди очень ограниченного круга эмигрантовъ.

Все, что дѣлается въ Россіи, эмиграція узнаетъ изъ газетъ; даже подпольныя изданія попадаютъ къ ней не всегда и то благодаря личнымъ связямъ, оставленнымъ какимъ-нибудь эмигрантомъ въ Россіи. Были примѣры, когда одинъ № Народной Воли циркулировалъ чуть ли не по всей Европѣ. Однажды депутаты французской Палаты обратились къ Лаврову за разъясненіемъ, действительно ли антиеврейскіе беспорядки—дѣло революціоннаго воздѣйствія. Лавровъ отвѣчалъ, что не думаетъ, чтобы это было такъ, хотя положительное утверждать не можетъ, такъ какъ онъ-де совершенно отерванъ отъ Россіи. Столь неопределенный отвѣтъ депутаты получили бы и отъ всякаго другого эмигранта. Потерявъ тѣсную связь съ Россіей, отчасти по несочувствію теперешнему направленію движенія, а при сочувствіи вслѣдствіе невозможности быть ему полезнымъ иначе, какъ въ предѣлахъ самой Россіи, эмигранты утеряли ¹⁾ и всякую связь между собою. Каждый сталъ искать себѣ пристанища, побуждаемый не дѣловыми интересами, а прежде всего хлѣбнымъ вопросомъ ²⁾. Въ Женевѣ—и вообще въ Швейцаріи—гдѣ чрезвычайно трудно прискать работу иностранцу, остались лишь тѣ изъ эмигрантовъ, которымъ удалось пристроиться въ качествѣ сотрудниковъ русскихъ журналовъ, газетъ или найти уроки въ семьяхъ путешественниковъ. Другая часть эмиграціи здѣсь—это учащіеся въ университетѣ, обеспеченные средствами родныхъ или пріятелей. Того, что можно было бы назвать пролетаріатомъ эмиграціи, въ Швейцаріи нѣтъ, исключая 3—4 человекъ. Изъ нихъ одинъ—Поповъ—больной живетъ въ Женевѣ на общественный счетъ; другой—Гуревичъ—въ Бернѣ. А двое возвратились уже на родину съ разрѣшенія гр. Л.-Меликова. Все, что не получаетъ средствъ изъ Россіи, не можетъ въ то же время жить трудомъ интеллигентнымъ и должно искать труда физическаго, все это направляется въ Парижъ, Лондонъ, Марсель, Лионъ, Румынію. И нигдѣ эмиграція такъ не бѣдствуетъ, какъ въ Парижѣ. Перспектива большей возможности найти работу въ такомъ огромномъ центрѣ гонить ее главнымъ образомъ сюда. Многимъ дѣйствительно удается пристроиться то на заводахъ (Аркадакскій, Орловъ, Преферанскій и др.), въ типографіяхъ, то въ качествѣ чертежниковъ (Айвазовъ, Таксисъ) или просто чернорабочихъ, разносчиковъ и т. д. Но не мало такихъ, которымъ или незнаніе языка мѣшаетъ найти хоть временную работу или просто почему-нибудь ее не удается имъ найти. Живутъ они кое-какъ, на счетъ другихъ, часто безъ квартиры, проводя ночи то у того, то у другого, а случается—и на бульварахъ. Привилегированную часть эмиграціи составляютъ литераторы или корреспонденты газетъ (Лавровъ, Ткачевъ, Соколовъ, Цакни, Павловскій, Ашкинази, Денникеръ, Бухъ и др.). Но собственно одинъ Лавровъ всегда выказываетъ участіе въ матеріальной поддержкѣ бѣдствующихъ. Другие же или обременены семьями и поэтому не имѣютъ возможности о другихъ заботиться, или же слишкомъ обуржуазились для

¹⁾ Тою же рукою направлено: „утратили“.

²⁾ Тою же рукою поправлено: на „заботахъ о существованіи“.

этого. Вообще можно сказать, что социальныя инстинкты парижской эмиграціи значительно ниже швейцарской. Тутъ все-таки есть эмигрантскія кассы (въ Женевѣ и Бернѣ), какъ онѣ ни бѣдны, есть библиотека, о которой заботятся и содержатъ на общественный счетъ. Тамъ никакой кассы не существуетъ, и нерѣдко за помощью кому-нибудь заболѣвшему обращаются въ Женеву. Парижская библиотека находится въ самомъ жалкомъ видѣ и служитъ больше пристанищемъ бездомнымъ, чѣмъ читальней. Живутъ здѣсь гораздо разрозненнѣе, чѣмъ въ другихъ пунктахъ, часто совершенно не знаютъ другъ друга. Только вокругъ Лаврова группируется ¹⁾ небольшой кружокъ его поклонниковъ, которые собираются разъ въ недѣлю у него на квартирѣ и проводятъ время „въ политическихъ и литературныхъ бесѣдахъ“.

Румынскую колонію эмигрантовъ можно назвать по преимуществу экономической, потому что образованіе ея обязано главнымъ образомъ стимулу—найти средства къ существованію. Въ Румыніи русскіе эмигранты сосредоточивались въ двухъ пунктахъ—въ Яссахъ и Добруджѣ (Тульча). Сношенія отсюда съ Россіей настолько были ничтожны, что свѣдѣнія о ней и подпольныя изданія доходили къ румынскимъ эмигрантамъ черезъ Женеву и Парижъ. Единственная попытка завести непосредственныя сношенія съ родиной была сдѣлана Аксельродомъ (1880 г.), выписавшимъ черезъ Женеву въ Яссы одного изъ Одесскихъ Черно-Передѣльцевъ, который на обратномъ пути въ Россію на границѣ былъ арестованъ ²⁾. Послѣ 1-го марта Румынское правительство изгнало всю Ясскую компанію изъ предѣловъ своей территоріи; и она должна была переселиться частью въ Женеву (Аксельродъ), частью въ Парижъ (Судзѣловскій), а часть въ Лондонъ (Гольденбергъ). Если эта колонія и имѣла сколько-нибудь вредное значеніе для правительства, то скорѣе для румынскаго, чѣмъ для русскаго. По крайней мѣрѣ Судзѣловскій, жившій нѣсколько лѣтъ въ Яссахъ въ качествѣ врача, велъ пропаганду среди учащейся молодежи и даже написалъ социалистическую брошюру на румынскомъ языкѣ. Аксельродъ жилъ здѣсь единственно потому, что не имѣлъ средствъ переѣхать съ своей многочисленной семьей въ Швейцарію. Гольденбергъ занимался торговлей; другіе, кажется, тѣмъ же. Эмигранты въ Добруджѣ имѣютъ весьма слабыя сношенія съ Западомъ, а съ Россіей—развѣ, быть-можетъ, личныя. Здѣсь живетъ Ивановскій (докторъ) съ сестрой, Обѣдовы мужъ и жена (имѣютъ собственную ферму), Кацъ (содержитъ буфетъ на какомъ-то вокзалѣ), Дическуло и другіе, занимающіеся или извозомъ, или какими-нибудь мастерствомъ.

Такова общая фیزیономія русской эмиграціи заграницей.

Въ 1880 году нѣкоторая часть Черно-Передѣльческаго кружка, уѣхавшая за границу, внесла въ эмиграцію оживленіе. Въ это время эмигрировали Стефановичъ, Дейчъ, Плехановъ и др., Морозовъ, Либатовичъ (изъ Народной Воли). Старая эмиграція могла узнать такимъ образомъ о причинахъ раздѣленія „Земли и Воли“ и о программахъ обѣихъ фракцій изъ первыхъ рукъ. Разсужденія и споры по этимъ вопросамъ настолько заинтересовали публику, что сначала

¹⁾ Рукою Плеве поправлено на „группировался“.

²⁾ На подѣ рукою Плеве написано: „кто именно?“—Стефановичъ отвѣтилъ тутъ же: „нія неизвѣстно, содержался въ Книшиневскомъ замкѣ“.

случайныя собранія сдѣлались потомъ еженедѣльными въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Популярность этихъ собраній возросла до того, что ко дню ихъ въ Женеву съѣзжались эмигранты изъ разныхъ городовъ (Цюрихъ, Бернъ, Базель, Кларанъ). Здѣсь-то взгляды на настоящее положеніе въ Россіи и симпатіи эмигрантовъ къ той или другой фракціи сложились болѣе опредѣленно. Можно было ясно различать два теченія—за Народную Волю и за Черный Передѣлъ. На сторонѣ первой оказались Кропоткинъ, Набатчикъ и многіе изъ позднѣйшихъ эмиграціонныхъ наслоеній (Зелинскій, Туманова, Гольдовскій, Рошъ, Ефросъ и пр.). Всѣ они, если не абсолютно раздѣляли программу Народной Воли, то вполне оправдывали ея тактику, какъ вынужденную правительствомъ. На сторонѣ Чернаго Передѣла оказались часть Впередовцевъ, часть группы Работника и другіе. Но когда былъ поставленъ вопросъ о реальномъ выраженіи со стороны эмиграціи своего сочувствія тому или другому направленію, то Черный передѣлъ нашелъ гораздо больше готовности, чѣмъ Народная Воля. Постановка послѣдней была слишкомъ рѣзка. Единственная форма, въ какой требовалось выразить солидарность съ ней—это возвратиться въ Россію и стать въ ряды борящихся. Но на это могли рѣшиться 3—4 человека, не болѣе. Единственное, что сколько-нибудь представлялось полезнымъ въ интересахъ Народной Воли за границей—агитація въ пользу программы этой партіи и противъ русскаго правительства. На такую роль могъ быть единственно способенъ одинъ Кропоткинъ, какъ по своей популярности (prince)¹⁾, такъ и по образованности и таланту. Съ его стороны и были (ничтожныя, впрочемъ) попытки въ Швейцаріи. Болѣе же широкая агитація, какая, несомнѣнно, могла бы имѣть мѣсто въ Англіи или Америкѣ, требуетъ гораздо больше средствъ, чѣмъ стоимость всего потребляемаго въ Россіи динамита. Что касается Чернаго Передѣла, то его требованія по отношенію къ эмиграціи были гораздо болѣе удобовольными и по своему характеру были ей симпатичны. Это былъ призвъ помочь развитію социалистической литературы, которой Черный Передѣлъ придавалъ важное значеніе. И, дѣйствительно, образовался кружокъ подъ именемъ Соц.-Р.-в. Библиотеки, куда вошли Лавровъ, Плехановъ и другіе того же лагеря, и также былъ принятъ Морозовъ и Гартманъ (номинально), такъ какъ рѣшено было, чтобы этотъ литературный кружокъ не носилъ строго партіознаго характера. Имъ изданы: брошюра Плеханова „Отъ С.-Р. Библи.“ (кажется такъ), *Коммуна 1871* г. Лаврова, Шефле—*Квинтэссенція социализма*. Рядомъ съ этимъ Женевскіе Черно-Передѣльцы издали 1-й и 2-й №№ Ч. П., „Начало Конца“ (брошюра) и перепечатали *Хитрую механику*. Всѣ эти изданія доставлялись въ Россію совместными усиліями заграничныхъ и русскихъ Черно-Передѣльскихъ кружковъ. Со стороны же Народной Воли до послѣдняго времени требованія на эти изданія не предъявлялись, такъ же какъ и матеріальной поддержки таковымъ не оказывалось²⁾.

Были еще два момента, когда въ эмиграціи обнаружилось сильное движеніе, когда она, забывъ будничные интересы, со всѣхъ концовъ спѣшила выказать свою солидарность какъ съ русскими рево-

¹⁾ Зачеркнуто, повидимому, рукою Плехо.

²⁾ Стихи Морозова и его брошюра „Террористическое движеніе“ изданы имъ средства набатистовъ.

людионерами, так и между собою. Такими моментами были: вопросъ, возбужденный русскимъ правительствомъ о выдачѣ Гартмана и событие 1-го марта. Гартмановское дѣло слишкомъ близко касалось интересовъ всей эмиграціи, чтобы не вызвать къ себѣ съ ея стороны самого живого отношенія. Всѣмъ было ясно, что рѣшеніе выдать Гартмана вносить шаткость и въ положеніе всей эмиграціи не только въ Парижѣ, но и въ Швейцаріи. Въ случаѣ давленія на эту страну русскаго представительства, рѣшимость ея строго охранять неприкосновенность права убѣжища могла поколебаться, подъ вліяніемъ примѣра Франціи. И тогда перспектива быть изгнаннымъ изъ территоріи Швейцаріи представлялась весьма возможной почти каждому эмигранту. Вотъ почему были употреблены всѣ мѣры, чтобы возбудить общественное мнѣніе французовъ въ пользу Гартмана и тѣмъ не допустить правительство къ его выдачѣ. Отправлена была депутация къ Гамбеттѣ, обращались къ Виктору Гюго, къ членамъ Палаты, а, главное, всячески старались поддерживать агитацию прессы, доставляя газетамъ подходящій матеріалъ, свѣдѣнія, статьи, и вообще находились это время въ самомъ живомъ общеніи съ редакціями. Были собраны нужныя деньги и веденіе всего дѣла поручено Комитету, специально для этого избранному.

Катастрофа 1-го марта была такой же неожиданностью для всѣхъ, безъ исключенія, эмигрантовъ, какъ и для всякаго иностранца. Она вызвала самыя радужныя надежды въ этой средѣ. Одни были убѣждены, что 1-е марта послужитъ сигналомъ къ революціи, если не всеобщей, народной, то петербургской—чему-нибудь въ родѣ государственнаго переворота. Другіе, болѣе скептические ¹⁾, во всякомъ случаѣ считали необходимымъ серьезное движеніе земскихъ силъ, которому новое правительство должно будетъ сдѣлать уступки. Наконецъ, и помимо всѣхъ этихъ обстоятельствъ, хотѣлось вѣрить, что такъ или иначе, а близость лучшихъ ²⁾ временъ не за горами. Перспектива скорого возвращенія на родину многими представлялась столь возможной, что поднимались голоса о необходимости заранѣе позаботиться организовать фондъ, который бы облегчилъ это возвращеніе бывшимъ эмигрантамъ; даже казна пестрыхъ не охладила надеждъ, поднававшихся съ перемѣною царствованія. Этой казны готовы были находить оправдывающія ее обстоятельства. Иностранныя газеты, извѣстившія скорѣе затѣмъ, что гр. Лорисъ-Меликовъ вноситъ въ Совѣтъ министровъ проектъ что-то вродѣ конституціи, еще болѣе поддерживали радужныя упованія. И только удаленіе Лориса-Меликова и манифестъ зовато министра гр. Игнатьева ³⁾ произвели полное разочарованіе и заставили эмиграцію войти въ прежнюю колею пассивно-выжидательнаго положенія. Однако, съ 1-го марта отношеніе эмигрантовъ къ дѣйствующей организаціи (Н. В.) значительно измѣнилось въ пользу послѣдней. Если и не много прибавилось раздѣляющихъ ея программу, то очень многіе стали поклоняться ея успѣху.

¹⁾ Рукою Плеве поправлено на „скептическіе“.

²⁾ Тамъ же рукою поправлено на „нижъ“.

³⁾ Тамъ же рукою поправлено „манифестъ 29 апреля“.

М. И. Гурович—„Харьковцев.“

(Из воспоминаний).

Прежде чем сделать карьеру „талантливейший“ М. И. Гурович, —но кличке охранного отделения Харьковцев—прошел большой предварительный стаж. Насколько нам память не изменяет, первое предложение своих услуг он делает охране еще в бытность свою в ссылке. Жандармы не сразу откликнулись на его услуги. В этом бывшем революционере, пожелавшем слиться душой с ловцами людей и их спортом, очевидно, было нечто такое, что охранных дел мастеров заставило призадуматься над его предложением. Однако, уже скоро мы видим „Харьковцева“ на боевом посту.

Роль, которую он так ловко разыграл в качестве товарища покойного В. Я. Богучарского по ссылке, связи, которые ему удалось наладить через последнего и других деятелей освободительного движения того времени, — общественные, литературные и личные, — еще до водворения своего в Петербурге, столь укрепляют его положение, что ему даются первой важности поручения, о чем свидетельствует письмо Рачковского из Парижа, относящееся еще к началу девяностых годов. В письме этом сообщается о результатах поездки „Харьковцева“ за границу для налаживания сношений с „активными эмигрантами“, в частности для осуществления предательского плана „завлечения в Россию“ сперва Рубановича, а затем Опаниной, плана, которому департамент полиции придавал большое значение. Тогда—в первой половине девяностых годов—Гурович находит на след народолюбивской типографии и выдает видных представителей земского движения, председателя воронежской земской управы Колыбакина и саратовского земского врача, впоследствии видного эмигранта Ченныкаева, В. Я. Муринова и С. П. Мазуренко; пишет донос на Л. Н. Толстого.

Гурович, кажется, не сразу обнаружил ту сметку, ту догадку, которой требует сыск, но о сомнении по отношению к Харьковцеву уже не было и речи с первых шагов его деятельности в департаменте полиции.

Харьковцев-Гурович не был провокатором типа Дегаева или Азефа, Малиновского или Геккельмана — Ландезена. Тайн от жандармов у него не было. Без ведома и согласия розыскного учреждения, в котором протекала его работа, он не предпринимал никаких дел, не претендуя ни на какие „секретные“ выступления, пользуясь лишь всяким случаем, чтобы получить от охраны побольше денег.

Как известно, делились „сотрудники“ на две категории:

осведомителей и провокаторов. Гурович опять-таки не брезгал ни той ни другой работой, как выясняют его письменные донесения. Участвуя в нелегальных и полунелегальных кружках того времени, он давал обстоятельные сведения об их личном составе, организации, методах борьбы, принимавшихся в тот или иной момент, о ближайших планах этих организаций, особенно оппозиционных течений, где он обеспечивал себе солидные связи. В редакции, в комитете грамотности, в союзе писателей он был свой человек. И он не только писал обзоры для департамента полиции, составлял диаграммы, рисуящие ту или иную организацию со всеми ее членами и связями, представлявшиеся руководителям политического розыска столь ценными, что фортуна (в образе офицера в жандармском мундире) ни разу не обернулась против него. Это не мешало ему вместе с тем не брезгать и передачей таких мелких сведений, которые доставляют лишь простые осведомители.

В нижеследующих строках я не даю обзора провокаторской деятельности Гуровича, хотя последняя до сих пор совсем не освещена. Провокатор, получивший тотчас после своего разоблачения место заведующего политическим розыском департамента полиции, занимает нас, как личность; наша задача—на основании личных воспоминаний, относящихся к 1900-1901 годам, предшествовавшим его разоблачению, нарисовать его, как человека, нарисовать его портрет.

II.

В первый раз увидел я Гуровича в августе 1900 года на вечеринке, посвященной памяти Лаврова, устроенной в квартире А. Н. Богдановича в здании Горного Института на Васильевском Острове.

На этой вечеринке должны были быть Н. К. Михайловский и В. А. Мякотин. Ни тот, ни другой не явились. Может-быть, потому что вечеринка была устроена марксистами, а молодежь, наполнившая гостиную профессора, была окрашена в марксистские цвета. Но о Лаврове обстоятельно говорил на ней П. Н. Миллюков, популярный тогда автор "Очерков русской культуры"; на тему текущего дня студенты, втянутые в рабочее движение (Петрашкевич—Струмилин, тогда студент Лесного института, и пишущий эти строки) и рабочий Серов; наряду с молодежью были и представители петербургского общества, так что Гуровичу здесь было кого посмотреть и что послушать, особенно после коротенькой речи Серова¹⁾, когда разгорелись страсти.

Но Гурович приехал поздно и вскоре в сопровождении студента-сибиряка П. уехал, так что не только познакомиться, но и сколько-нибудь рассмотреть его в этом зале, где стоял гул от множества молодых голосов, мне не пришлось.

Но о Гуровиче я знал уже немало. Он искал связей с молодежью, откидывал ей двери своего дома, и у него бывали и деятели студенческого движения и студенты, работавшие в "Рабочем Деле", в группе двадцати, в "Рабочей Библиотеке" и других организациях того времени; он был известен, как издатель марксистского "Начала", ухлопавший на журнал в 1899 году значительные средства. Хотя подписывавший его гражданская жена его А. А. Воейкова, но все знали, что

¹⁾ Серов впоследствии оказался провокатором.

редства даны им, а не последней. Говорили о его прикосновенности к издательству „Знание“ (до перехода его в руки Горького), к журналу „Жизнь“, к газете „Северный Курьер“. . . Больше всего рассказывал о нем П., который принимал на веру все, что тот ему, как будто между прочим передавал о себе, чтобы П. потом чуть не его словами передавал нам. П. рассказывал, что Гурович издает книги не для того, чтобы извлекать из издательства доход, что где-то на юге у него собственные рудники, что часть средств, которые он получает с рудников, шла и теперь идет на цели революции, что в его гостиной можно встретить не только его товарищей по „Началу“—П. Б. Струве, М. И. Тугая-Барановского, В. Я. Богучарского и других, но и писателей „Русского Богатства“, и „Мира Божьего“, не только легальных, но и нелегальных марксистов и народников, наезжавших в Петербург из Женевы и Парижа. Фонды Гуровича стояли высоко в глазах П. и некоторых других студентов и потому, что он по крайней мере в беседах с молодежью отмежеввался от неомарксистов,шедших в своей ревизии ортодоксального марксизма на страницах „Жизни“ все дальше и дальше, и стал решительно на сторону революционной ортодоксии.

Вспомните чергу момента, к которому относятся мои воспоминания. Это было время кризиса марксизма, первой книги Бердяева, когда слово „ортодоксия“ звучало для нас гордо, а слово „критика“ произносилось с иронической усмешкой. О каком-нибудь размахе деятельности общества еще только шли разговоры. „Союз освобождения“ еще только вырисовывался где-то в тумане. И мирная обыденность царила в сердцах наряду с самой красной теорией. С другой стороны, хотя статка 1898 г. и сдвинула рабочих с мертвой точки, но настроение масс все же туго поддавалось политической пропаганде. Этим и объясняется успех „Союза борьбы“,—увлечение экономическими методами борьбы,—хотя потыгивчивость на экономические выступления, в сколько-нибудь массовом смысле этого слова, явилась позднее (тем более повысившийся уровень политической требовательности).

При таких условиях действующую среду представляла одна молодежь. В кружках ее царило убеждение, что на ее обязанности лежит не только борьба с самодержавием, но и с буржуазией; что молодежь это общественная сила, универсантами, технологами, горячками держалось не только студенческое движение, в роде демонстрации 1899 г., но и партийные организации того времени. И, в самом деле, не было эпохи, когда участие молодежи в освободительном движении было так реально: и кпзнение, по результатам, как в эти годы общественного затишья, предшествовавшие выступлению на арену политической борьбы широких слоев общества. И молодежь это чувствовала тем яснее, что марксизм дал ей жизненный толчок. И Гурович это чувствовал и всюду лнул к петербургской молодежи.

Вокреки тому факту, что порядок вещей, повидимому, ни в какой мере не колебался, более горячие головы все же держались того взгляда, что политический переворот может наступить не позже, чем через пять лет.

Правда, первые организации и борившие еще не заявляли о себе. Охранка имела дело с мирными по тому времени организациями и спокойно наблюдала за их развитием. Но вот социалисты-революционеры выпускают свою первую прокламацию, и охранных дел мастера начинают окрыляться мечтами о давно уж бывшей в их руках по-

живе. Карпович, Балмашов, Сазонов, Калчев, Савинков, Мопсеенко — все они еще собирались с силами, но и все они были членами студенческой секции, которая сама по себе, конечно, не шла дальше „Дубинушки“ и „Нагаечки“. И предвзвешивая практику, которой еще раз было искать в тогдашнем обществе, Гурович не пропускал ни одного собрания, ни одной вечеринки, где он мог встретиться лицом к лицу с революционно-настроенной молодежью.

III.

Знакомство мое с Гуровичем состоялось на вечеринке, пригласившейся в одном из глухих переулков Петербургской стороны, в соседстве с Крестовским Островом.

Он приехал вместе с М. И. Туган-Барановским; доклад, посвященный только что появившейся в журнале „Жизнь“ статье Струве „Против ортодоксии“, был уже кончен, и объектом беседы стал вопрос о том, что делать, после заявления одного рабочего, что рабочим не до теоретических рассуждений. Беседа разбилась как-то на ручейки; говорили, перебивая друг друга, и общий разговор ни как не клеился. Наконец, заговорил Туган-Барановский, которому молодежь его прегрешение против марксизма почему-то прощала охотнее, чем Струве, и общее внимание устремилось на него. В это время кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. Пред мной стоял П.

— Хотите познакомиться с Михаилом Ивановичем?

Не дождавшись моего ответа, он взял меня под руку и ввел в соседнюю комнату, где был приготовлен чай, стояла и кой-какая закуска, дешевое вино. Гурович сидел на диване, рядом с красивой девушкой в гладком черном платье, с светло-зеленой лентой в волосах. Она слушала стоявшего в неловкой позе студента. Я знал их обоих. Первая была бестужевка С-ва, второй — универсалт Пр-в, робкий на людях, в большом обществе, освещенной гостиной, но умевший много и интимно говорить в небольшой компании.

— Туган-Барановский кончил? — обратился к нам Гурович, подавая мне руку, так, как будто мы уже знакомы.

— Вам бы теории все, теории, — как будто извинялся он за то, что не слушает, что говорят по поводу реферата. — А мы уже пережили это. Когда мне было шестнадцать лет, для меня важнее всего было, о чем говорят. Так Туган-Барановский кончил? — повторял он, забыв, что уже задавал этот вопрос.

Я впервые рассмотрел его. Он был несколько грузин, и было как-то жаль, что нельзя снять с него какой-то рыхлый одутловатости. Но ростом был выше среднего. Лицо холерное, потертое, поражало какой-то напряженностью; глаза, ничего, кроме сытости, невыражающие; обильная, черно-окрашенная растительность на голове, бороде и усах; уши, точно хотевшие спрятаться в бахроме волос, но в то же время обращенные ко всем и ко всему. Нельзя было определить, сколько ему лет. Белье, костюм, манеры были рассчитаны на то, чтоб придать себе спокойную, благородную осанку, осанку литератора, но такого, который вместе с тем и в деньгах не нуждается, если хотите, даже и богат.

Мы уселись, и П. — в связи с рефератом — стал расспрашивать Гуровича, что делается у Поссе в „Жизни“, в которой теперь шла борьба между ортодоксами и критиками. Гурович неодобрительно отзывался

ся о В. А. Поссе, который фактически руководил журналом, но не имел своих взглядов и склонялся к оппортунизму, и очень хвалил нового сотрудника Суркова (А. А. Васильева), только что вернувшегося из ссылки (Вологды) и напечатавшего свои первые статьи в защиту революционного марксизма.

— Я старый волк, и я вам скажу,—говорил он, зная, конечно, насколько мы заинтересованы спором направлений—вода не на их, а на нашу мельницу... Не пройдет и двух, трех месяцев, как стане! Струве в „Жизни“ не будет...

„Но что вам мы, литература? Вот вы... от вас я жду—вы мне скажете чтонибудь очень хорошее... А вы говорите: плохи дела. Почему плохи? А потому, что вы не дерзаете, чтобы они шли хорошо,—повернулся он к Пр-ву, последними словами отвечая ему на то, чем шла речь в наше отсутствие.

Это была его манера, к которой впоследствии я привык, манера сводить беседу к „вопросам тактики“, методам борьбы. Вопрос о „Жизни“, борьбе двух течений тогдашнего марксизма мог подняться на теоретическую высоту; отвлеченных же разговоров Гурович избегал даже в обществе молодежи, которая жадно читала журнал, штудировала экономическую и философскую литературу, выступала с рефератами на вечеринках. „Вопросы же тактики“ и „методы борьбы“ кружились, конечно, около имен, около фактов, из которых потом и составлялись столь соблазнительные для департамента полиции допущения.

Пользуясь тем, что никого, кроме нас, за столом не было, Гурович вынул и показал нам свежий номер „Рабочего Дела“, только что полученный им из-за границы. Он рассказал нам, как номер целучился. Произошло это просто, но, разумеется, хитро. Рабочедельцы заделали его в портрет какого-то артиста в раме, который, конечно, пограничные жандармы не догадались пощупать на границе. В свою очередь, П. дал Гуровичу прокламацию, выпущенную социал-демократами по поводу закрытия „Северного Курьера“, газеты, которая проводила идеи марксистского „Начала“—и тут же не удержался, чтобы не назвать автора ее (которого Гурович знал по рассказам о нем П.). Гурович пробежал листок, бережно сложил его в четвертую долю, положил в карман, и—улыбаясь глазами так, как это делал именно он—сказал П.:

— Когда вы о вашем друге сказали мне первый раз, я подумал, из него выйдет толк. Однако, надо же нам и людей посмотреть..

Он непринужденной, развалистой походкой сделал несколько шагов, и мы все направились в залыце, где уже на М. И. Туган-Варановского рьяно наступал референт. Ловя его слова, референт оборачивал их острием к нему. Против его аргументов у последнего были наготове ряд стройных выводов, заимствованных из первого сборника ортодоксов, особенно статьи К. Тулина (Ленина) о „Критических заметках“ Струве. „Материалы к характеристике экономического развития России“,—так назывался сборник—как известно, были сожжены, но в одном экземпляре оказались у Гуровича и через П. обошли весь наш студенческий кружок.

Гурович прислонился к двери, вяло слушая разговор; последний опять принял теоретический характер. К С-вой подошел рабочий, который после реферата заявлял, что рабочим не до теории.

„Перемываете наши белые интеллигентские косточки? усмехнулась она ему.

— Напротив, из ваших просвещенных ут истину слушаем.

Это был хорошо распропагандированный рабочий, напечатанный даже заметку в „Рабочей Мысли“, которому уже тогда больше всего приглянулась по душе кампания против интеллигенции.

— Вы, интеллигенты, очень хорошо умеете языком изворачиваться.

С—ва не знакомила его с Гуровичем, чувствуя, что этот барин в золотом пенсне—вопреки своей близости к практике движения—не придется по душе интеллигентоиду. Когда он отошел от нас, Гурович будто бы мимоходом бросил ей несколько вопросов:

— „Пролетарий“, разумеется?

— Да.

— Где он работает?

— На Семяниковском заводе за Невской Заставой.

— Как его фамилия? наивно уронил он.

С—ва замаялась, а Гурович казался рассеянным и непонимающим.

— Что у вас за тайны от меня?—Но вдруг он „понял“.—Не говорите. Сам знаю—сам был молод. Что то мне старому изменяет конспиративный такт!

IV.

Вскоре после в зале Благородного собрания шел концерт (официально в пользу нуждающихся студентов технологического института, фактически в пользу Красного Креста). Войдя во время перерыва в помещение буфета, я еще издали заметил группу литераторов, вынивавших и закусывавших за отдельным столиком. Здесь были В. Я. Богучарский, В. П. Кранихфельд, М. И. Туган-Барановский, статистик А. А. Леонтьев. Между ними был и Гурович, который тотчас узнал меня, хотя видел меня всего только один раз на Петербургской террасе.

— „Как же это я до сих пор совсем не знал вас—сказал он, пододвигая рюмку и наливая мне вина.—Какой же вы молодец! Пафоса то, пафоса сколько!.. Мы только что о вас говорили с А. А...“, взглянул он в сторону Леонтьева.

Леонтьев сочувственно взглянул на меня, но ничего не сказал. Перед моим приходом он рассказывал о вечеринке, состоявшейся в Чесном, на которой М. М. Филиппов, редактор „Научного Обозрения“, столь эклектично примкнувшего к марксизму, призывал перейти от слова к делу. Странно было слушать этот призыв из уст писателя, все интересы которого вращались около отвлеченных материй, за которым даже в молодости не числилось никаких политических грехов; и я, тогда студент, только начинавший свою общественную деятельность, столь же наивно, сколько откровенно высказал ему в глаза впечатление от его речи. Вся беда нашего бездорожья, по моим словам, состояла в том, что люди с общественным положением предпочитали сидеть в уютных кабинетах в то время, как молодежь сидела в тюрьмах и гнила в ссылке свои молодые годы; что общество весь риск борьбы сваливало со своих плеч на плечи молодежи.

Гурович был в восторге от такой постановки вопроса об „отцах“ и „детях“. Она была ему на руку. Выступление „отцов“, в той или иной форме, уже носилось в воздухе и разговоры на эту тему (осо-

бенно в кругу писателей, которые вскоре после того 4 марта 1901 г. действительно вышли на улицу), обогащали Гуровича фактами, характеризующими настроение Петербурга, Москвы, провинциальных центров, для которых роль петербургской интеллигенции была столь велика, столь высоко авторитетна.

В этом направлении симптоматичны были проводы Н. А. Тага (Богораза), тогда еще только автора „Чукотских рассказов“, вернувшегося из Сибири и теперь уезжавшего в Америку вместе с Йохельсоном; проводы состоялись в квартире А. М. Калмыковой на Литейном. Здесь и П. Б. Струве, который отрекался от марксизма, передавал звание первого марксиста П. Н. Милюкову и П. И. Милюков, и ортодокс Сурков, столь пришедший по сердцу Гуровичу,—каждый с своей точки зрения, ставили вопрос о тех реальных общественных силах, которые должны заявить о себе не словом, а делом. Особенно темпераментную речь сказала там, насколько мне помнится, М. В. Бернштам (Кистяковская), тогда примыкавшая к группе „Союза Борьбы“.

И здесь, и там я видел Гуровича среди литераторов; у А. М. Калмыковой был даже весь цвет марксистской интеллигенции тех дней. Гурович держался скромно, но с достоинством. С первого взгляда можно было заметить, что особым уважением он не пользовался, а был одним из тех „нужных людей“, которые помимо своих личных свойств приобретают известное значение в редакциях газет, журналов, в издательских, культурных и даже общественных начинаниях в силу того или иного опыта, тех или иных связей, того или иного имущественного положения. Писательская среда ценила в нем, очевидно, скорее человека, который может быть полезен, нужен в издательском почине, чем бывшего секляного. Но среди писателей и их взаимных отношений я еще не знал. И мне не приходило в голову—по крайней мере в эти первые встречи—присмотреться к литераторам и литературному житию именно с этой стороны.

Но возвращаемся к концерту. Автракт закончил Б. Бурдеа остался лишь несколько человек, угощавшихся у стойки, и разговор на ту тему, которая занимала Гуровича, завязался. На вечеринке в Лесном был один Леонтьев. Даже Гурович на ней не был. Но о том же шли уже дебаты во многих кружках. И литераторы покуривая папиросы и потягивая вино, лениво перекидывались фразами.

— Пролетарий берется теперь за книжку,—говорил Леонтьев.

— Трудно только в России начинать... неопределенно возражал кто-то.

— Настроение общества во всяком случае таково, что давать какой-нибудь лозунг еще нельзя. Никакой протест не удался бы. Не считать же таковыми земские петиции...

— В верхах да,—опять начал Леонтьев,—но фабрики... Скоро видно будет. Но его прервал Гурович.

— Да, да, не они не верят,—указал он куда-то в пространство, возбужденный от нескольких рюмок выпитого вина,—а мы не верим. Вот молодежь нас спрашивает: почему мы ходим с кислыми лицами? Почему у нас чертики от страха в глазах прыгают?

Здесь не место было говорить об этом. Но разговор вполголоса продолжался о многом, а главным образом о том, что делается среди эмигрантов, в земской среде, в рядах „третьего элемента“, на фабриках и заводах что собирается предвзвешивать, что делать и т. п.

V.

Я прочел несколько лекций в кружке рабочих за Невской заставой, а также реферат в одном студенческом землячестве на тему об исторической необходимости и принципе классовой борьбы и теперь— в осенний тусклый холодный петербургский вечер—возвращался с урока по четвертой Рождественской Песков, обдумывая те изменения, которые следовало внести в статью. Я собирался его начать свое сотрудничество в журнале „Жизнь“.

Только я миновал Суворовский пр., навстречу мне на парадной четырехэтажного дома вышел Гурович. Оказывается, он жил в этом доме. Я хорошо запомнил этот самый дом, выкрашенный серой краской, с хорошо сохранившейся штукатуркой. Лицо его мне потом долго казалось неласковым и хитрым. Настоящей зимы еще не было, но Гурович уже был в меховом пальто и меховой шапке.

— Вы не ко мне ли?—поздоровался он со мной, хотя ни разу к себе меня не звал.

— Нет.

— В таком случае едемте на панихиду.

Оказывается, несчастный случай убил Леонтьева. Он попал на улице под лошадь, сутки промучился и умер. В 8 часов была назначена панихида и Гурович звал меня именно на нее. Он подозревал извозчика, и мы сели; остановились у открытых ворот двора, где стояло много пролеток; несколько павозчиков возилось около лошадей. Это, видно, был извозчий двор. Мы поднялись по лестнице в квартиру покойного, но публики было мало, и панихида уже шла к концу. Гурович сделал грустное лицо, пошептался с одним соседом, с другим и вместе со мной вышел. Смерть Леонтьева, кажется, не произвела на него впечатления. Он, по крайней мере, о ней не говорил.

— Что поделяваете? спросил он.

Я рассказал ему о своем реферате, сказал, что перерабатываю его в статью, которую хотел бы напечатать в „Жизни“. Я хотел еще распространиться на эту тему, но Гурович остановил меня.

— Для кого вы пишете? Что можно сказать в легальной „Жизни“?

То, что я рассказывал ему, ему казалось „ненастоящим“. Пусть статья будет остроумно и содержательно написана, но кому и для чего она нужна в данное время в России? Даже непонятно, как с боевой натурой можно теперь стремиться в литературу?—говорил он. Есть более жгучие дела, которые не ждут...

Мы подошли к его дому, и он предложил мне зайти, напиться у него чаю.

Отворила нам дверь чистенькая горничная, а встретила в гостиной А. А. Воейкова, которая, кстати сказать, продолжала жить со своим супругом и после его разоблачения.

Жил Гурович внешним образом так, как жило большинство литераторов его круга. В квартире было уютно, но как-то невесело и тихо; шум города спускался в нее неохотно, смягченными всплесками, хотя окна частью выходили на улицу. Нигде не было пыли, все было чисто, но застоявшийся воздух чувствовался в квартире. В узкой длинной угловой комнате, служившей кабинетом, на видном месте была прикреплена фотографическая группа ближайших сотрудников „Начала“ (и среди них хозяин дома); на столе лежали журналы, свежие книжные попки. В гостиной, в которой лежал ковер почти во

всю комнату, было и просторнее и светлее и пахло горячим ужином из соседней комнаты—столовой. Действительно, г-жа Воейкова, дама с выцветшим лицом и тусклыми глазами, сейчас же пригласила нас туда.

Какой-то ласковой обиденностью повеяло на меня от белесневшей скатерти, которой был накрыт стол, от крепкого пахучего чая и изобилия закусок, от больших столовых часов, которые отбивали такт. Мелкий дождь за окном пел свою следаливую песню. По крыше ползал ветер, бесприютно подвывая, но темные портьеры так надежно защищали нас от ненастья. И не хотелось уходить. С этого вечера и началось то, что можно назвать нашим знакомством.

— Заходите,—говорил мне Гурович,—вечером до восьми я всегда дома.

А в это время жена его пододвигала мне сардины, сыр, ветчину, тоже разговаривая со мною так, как будто она со мною давненько была знакома.

Отчего же и не заходить. Гурович интересовался тем, чем интересовался я. Бывали у него люди, которые пишут и о которых пишут, которые живут той яркой жизнью, какой и я хотел жить. И я стал бывать у него, очень скоро составив о нем мнение, которое у меня сохранилось до последних дней знакомства. Первое, что бросилось в глаза, это то, что он был не умен. Когда П. В. Струве узнал впервые, кто такой Гурович, он, говорят, не хотел этому верить, исходя только из того, что Гурович слишком не умен для того, чтобы так талантливо разыграть такую роль. На самом деле было так. Он водил за нос не только молодежь, но и людей с значительным жизненным опытом в прошлом. Я это объясняю одной чертой, которой он владел искусно: умением льстить и обещать.

— Ученого учить только портить...

— Знаете, в чем тайна вашего успеха? Вы...

— Вам я скажу, Н. Вы умный человек...

— Литературы нет. Можно устроить...

— Денег нет. И это устроить можно...

Я не знаю, чего он достигал, благодаря этому умению, в обществе. Но нас эта хитрая, питая белыми нитками политика обманывала, хотя мы и были плохого мнения об его уме; обманывала потому, что он действительно давал литературу, действительно давал и деньги. Подделываться к нам, молодым людям, несмотря на некоторый житейский опыт, все же мало знавшим людей, подчас преувеличавшим ничтожное и, наоборот, незамечавшим важного, Гуровичу было тем легче, что дурного мы о нем от знакомых литераторов не слыхали, хотя много дурного о нем они между собою говорили. Говорили, например, о том, что Гурович стал брюнетом только в Петербурге; до приезда своего сюда он был блондином. Но до нас такой факт не доходил. Объясняется это, может быть, тем, что Гурович нервно и жадно ловил всякое сказанное о нем слово, расстраивался каждым нехорошим о нем отзывом, благодаря которому он мог потерять во мнении тех, с кем считались окружающие. И люди, зная эту черту его, избегали открыто говорить о нем.

Несомненно, служба Гуровича была опасна и во времена тогдашнего политического затишья. Но и доверчивость, наивность интеллигенции достигла геркулесовых столбов; и он неизменно был в хорошем настроении. Правда, он был невежествен даже в области, в

которой он „работал“. Это был чувствительный минус в его работе. Он читал политические новинки, но из них брал только то, что способствует пищеварению. О политической экономии, о социальной политике он имел самое смутное представление. Он был искренно убежден, что социал-демократы разнятся от социалистов-революционеров отношением к террору главным образом. Кроме того, конечно, аграрные разногласия; но это не так важно. Но и здесь Гурович, как профессиональный игрок, всегда знал, везет ему или не везет. Он умел закрывать такие фразы:

— Совершается старший, давно пережитый Западной Европой процесс. Это ясно.

Особую позицию он занимал по отношению к террору.

— Я не понимаю, из-за чего весь шум,—говорил он.

Он уверял, что он во всем убежденный ортодокс, кроме вопроса о терроре, который в данное время, пока существует у нас паризм, должно решать лишь положительно, что марксистское решение его обрезает крылья движению, умерщвляет дух его, суживает размах.

Один лишь раз я застал его расстроенным. Он снял пенсне, и лицо его стало старчески скучным, морщинистым. Под глазами отвисали мешки. Как-то ничего солидного в лице не осталось. Это было, как легко можно было убедиться, после ссоры с женой, которой он, видимо, весьма и весьма боялся. Дело в том, что Гурович был равнодушен в этом мире не только к золоту, но и к женщинам; едва ли эти последние не были самой большой приманкой в его жизни. Воейкова же постоянно его ревновала. А так как она все о нем знала (как выяснилось из ее поведения после разоблачения), и так как она принадлежала к числу тех женщин, которые ни перед чем не останавливаются в делах любви, то последствия более или менее серьезного конфликта с нею для Гуровича были ясны.

VI.

Виднейших представителей марксизма у Гуровича я не видел, хотя они у него все бывали. Встретился я у него с А. А. Васильевым (Сурковым), с которым его связывали дружеские отношения. И Васильев, и Гурович оба все время кастили на все корки В. А. Поссе, хотя „обещание“ Гуровича сбылось: статьи Струве, как и Туган-Барановского, уже не появлялись в „Жизни“. Фактическим редактором второго отдела состоял теперь Васильев, который подбирал для журнала материалы в известном духе. Он держался с видом интеллигента, авторитет которого должен стоять высоко в глазах практиков рабочего движения; но сам он ни к одной из организаций не принадлежал и благополучно служил—после возвращения из ссылки—в министерстве финансов.

Встретил у Гуровича я В. Ф. Тотомнянца, только начинавшего свою кооперативную карьеру. Дело было за завтраком. Где-то в Колонне устраивалась вечеринка, я предлагал Тотомянцу и Гуровичу билеты. Гурович взял билет, уплатил за него монету, во много раз превышавшую стоимость билета. Тотомнянец же решительно отказался.

— Что я... не зарегистрирован еще в охранке...

Я с достоинством поставил ему на вид, что на вечеринке будут лишь те, кто достаточно известен друг другу.

— Тем более,—рассмеялся благоразумный кооператор.—Это то

меня и убеждает не пойти... Среди преданных делу всегда бывает один, преданный охранке...

Гурович снисходительно выслушал эти слова, давая мне понять, что Тотомианец и революция ни в каких отношениях друг с другом не стояли и не стоят, что к его „пошлостям“ надо относиться не серьезно.

Чаще всего встречал я у него нашу братию, безымянную Русь, например, С-ву. При ее появлении лицо Гуровича принимало мечтательно-сладенькое выражение, которое не шло ни его фигуре, ни его сытым холодным глазам. Помню, как-то один раз я ее застал у него. Ее лицо было прекрасно, особенно рот, редкий рот по паяцеству и благородству разреза. И вся она была удивительно чистая и нетронутая. Когда я вошел, она уже собралась уходить.

— У меня сегодня партийная явка. Надо условиться с представителем комитета, как вести занятия с кружком,—настойчиво повторяла она.

Но Гурович ее не отпускал. Он смотрел ей в глаза улыбающимся многозначительным взглядом, будто напоминая ей о чем-то, известном лишь им обоим. Но она уселась в кресло, не глядя на него, точно не желая с ним говорить. В передней раздался звонок, но Гурович—по своему обыкновению—не пошел навстречу. Вошел человек в темных очках, остриженный под гребенку. Он говорил громко, но невнятно, медленно двигая сухой шеей. Посидев недолго, он вместе с Гуровичем вышел из кабинета, в котором мы сидели. И вслед затем явился уже один Гурович.

— Приехал из-за границы,—сказал он вполголоса, обращаясь к С—еи. Он хочет работать с терроре.

Почув на свою любимую тему, он встал и заходил по комнате.

— Надобно истребить. Понимаете, истребить... Всех до единого, до последнего... Вы не знаете, как это начать. Он знает, как надо начать. Он вам скажет, как надо работать.

Он вдруг обернулся ко мне, зная мое отрицательное отношение к террору.

— Вот вы... не смеете перепрыгнуть через палисадник, который оставил вам Плеханов. Смотрите, как бы ваши чувства не спрятались в халат... Бояться теперь террора, значит, бояться жизни.

Но С—ва уже встала, чтобы решительно попрощаться с ним.

— Простите, мне некогда...—вскинула она на него свои милые, печальные глаза.

Я тоже стал прощаться; Гурович не стал меня удерживать.

„Одну минуту я вас задержу,—сказал он мне, раскрывая один из книжных шкафов, стоявших в его кабинете.—Я получил ящик нелегалщины. Хотите? Вы мне говорили, что вам нужна литература.

С—ва пересмотрела брошюры, журнальчики, из которых состояла литература, но ничего из нее не взяла. Я же нагрузился ею весь в такой степени, что перестал быть похожим на себя. Итак, мы вышли вместе на под'езд, перешли Лиговку и пошли одним из переулков. Был один из тех туманных мгlistых вечеров осени, когда каждый петербуржец как-то по особому, всем вутром своим начинает чувствовать, что он живет в болоте, и какая то тупая ноющая тоска, сходная с тоской по алкоголю, помимо воли и сознания, подкрадывается к сердцу. Где-то в двух шагах от нас копошился людской муравейник, где-то гулко сотрясал воздух звонок конки. Но здесь в переулке.

была тишина, как в лесу, и мы шли, не нарушая ее. Только у Литейного, расставаясь уже, С—ва сказала мне:

— Чудак, ведь, Михаил Иванович, вы не находите? Отдайтесь революции, повторяет он, как попугай. Но где революция, если взглянуть жизни в глаза? Не в твоей ли голове, мой милый? Не одна ли из тысячи иллюзий, которой мы обманываем себя, так как без нее еще тяжелее было бы жить! Может быть, через десятки лет жандармы так не будут издеваться над нами, как теперь!

VII.

Коломенская вечеринка чуть не провалилась. Вообще, полиция усилила надзор за нашими собраниями, и их стало очень затруднительно устраивать. Между тем, наступал новый год, который часть молодежи привыкла встречать нелегально, хотя встречи нового года полиция иногда и легально разрешала, как и вечеринку 8 февраля в день основания университета. Гурович вывел нас из затруднения, переговорив с семьей Н. Г. Гарина-Михайловского, которая предоставила под вечеринку свою квартиру в центре города (собственно несколько больших комнат).

В организационных хлопотах принял участие и Гурович. Он продавал билеты, приглашал ораторов, почти весь вечер все время стоял при входе, но именно, благодаря ему, вечеринка получила неконспиративный характер. На ней выступали П. Н. Милюков, В. А. Мякотин, М. П. Неведомский, А. А. Васильев; иные из них прятали, — слишком, правда прозрачно — концы в теорию, другие, как, например, Мякотин, бурно призывали к свержению самодержавия. Мы же, молодежь, ставили все точки над i, называя вещи своими именами. Между тем, если обычно вечеринки носили характер интимной, тесной беседы, где все друг друга знали, и потому самый состав участников был немногочислен, то здесь этот принцип был нарушен.

Вечеринка вышла очень людной. Просторные комнаты квартиры Гарина, предоставленные в наше распоряжение, были переполнены гостями, и объяснялось это тем, что Гурович и сам раздавал билеты направо и налево, и нам предлагал то же делать, ссылаясь на П. Н. Милюкова, который находил, что пора, мол, приучать полицию к собраниям. Действительно, П. Н. Милюков, принимавший участие во всех наших общественных делах, убеждал нас неоднократно начать осуществлять открыто явочным порядком подобные собрания. Но все же то, что делал Гурович, всех нас удивляло. Состав получился уже слишком пестрый, явно не похожий на состав нелегальной вечеринки, а вместе с тем все признаки конспирации как будто улетучились. Публика открыто приходила и уходила, и швейцар гостеприимно указывал всем дорогу. Последний был щедро вознагражден, но все же вечеринка являла собой вид зрелища, странного для тогдашних русских условий.

Для меня неясно, что случилось с Гуровичем в этот вечер. Охранка научила его носить личину. Обычно, более или менее, осторожный, следящий за каждым своим шагом, за впечатлением, которое он производит, он точно сошел с рельс на этот раз, забыв всякое чувство меры. П. Мню, подошел ко мне В. П. Мазуренко (потом видный деятель крестьянского союза), теперь видный политический украинец, который и тогда уже вел пропагандистскую работу в рабочих круж

ках. Гурович тотчас стал меня расспрашивать, к какой организации он принадлежит и где, в каком районе работает. Пришел скульптор И. Н. Жуков и принес ценный альбом декабристов, составленный им в Сибири из фотографических снимков; альбом предполагалось развешивать в пользу Красного Креста. Гурович, в свою очередь, стал расспрашивать все подробности и о нем и, так как я не знакомил его с ним, то подошел к нему и заговорил. И так весь вечер.

Каких-либо подозрений он не вызывал и не мог вызывать в нас. Слишком тесно он был связан с известными кругами. Но если на вечеринке в квартире Гарина мне все вообще не нравилось, то прежде всего Гурович, пропускавший всех, кто хотел на нее проникнуть, даже без билета, прямо с улицы. Бывает так, что все ощущения вдруг как то обостряются и каждая черта человека начинает восприниматься в увеличенном виде, точно все психические цвета сгущаются в глазах, и серое начинает казаться черным. Это именно со мной случилось по отношению к Гуровичу в этот вечер, отделявший новый 1901 от старого 1900 года. После того, как он впустил несколько человек, у которых билетов не было, мы вместе с Пр-м выразили ему свое неудовольствие. Но он и язык себе усвоил такой, каким с нами прежде не говаривал:

— Однако, до сих пор вы целы и невредимы.

— Не в том дело, Михаил Иванович. Много людей случайных. Мы их совсем не знаем...

— Это-то и хорошо, я нутром сужу, что хорошо, что дурно, ощущаю, что хорошо, и все тут,—отвечал он.—Ах, эта кружковщина... Мы делаем то, что нужно, вместо того, чтобы вариться в собственном соку...

Он точно бравировал чем-то, и мы решили, что он подвыпил, что с ним, впрочем, случалось редко в нашем присутствии.

— Но мы подводим с вами Николая Георгиевича,—сказал я.

— Успокойтесь. У Николая Георгиевича много недостатков. Это всем известно. Одного только у него нет: трусости...

VIII.

С новым годом над передовыми кадрами молодежи нависла новая беда, приснопамятное распоряжение—студентов, принимающих участие в студенческом движении, на предмет воспитания дисциплины и патриотического духа сдавать в солдаты. Явилось оно довольно неожиданно, и мы стояли перед фактом, чреватых грозными последствиями для каждого из нас. Первая сходка уже влекла применение указа и не мало жертв.

Эта аракчеевская мера произвела гнетущее впечатление не только на молодежь, но и на самые разные слои общества. Все были подавлены, все были возмущены, а дни тянулись все также невозмутимо покорно.

Гурович говорил, что эта мера, наконец, толкнула его в грудь, и он держал себя с видом человека, у которого болят зубы.

— Это им даром не пройдет,—уверял он и педал мысль устроить совещание общественных деятелей, которое обсудило бы, чем может общество поддержать молодежь.

Полиция, чувствуя возбуждение во всех слоях,—ведь каждую семью могла постигнуть одна и та же беда—еще более усилила свои

бдительность, и трудно было найти место, где бы можно было собрать несколько десятков людей из общества. Конечно, в конце-концов, предложил свою квартиру Гурович. У него, правда, было рискованно устраивать собрание. Он всегда делал вид, что ждет обыска, которого у него давно уже не было. Но обстоятельства не ждали. Да и было одно из них, которое было за его квартиру: швейцар, с которым можно было сговориться, который, по словам Гуровича, „не раз“ оказывал уже ему услуги. И было решено так.

На другой день у Гуровича собралось довольно многочисленное общество; пришли: К. М. Станюкович, М. М. Филиппов, А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин, В. А. Поссе, А. М. Калмыкова, В. П. Кранихфельд, В. Я. Богучарский, А. А. Васильев, В. И. Семеvский; были не только писатели, но и представители общества в широком смысле этого слова. Приглашал, конечно, не Гурович, а представители студенческих организаций. Но Гурович принимал деятельное участие в организации собрания. Ему все казалось, что то того, то другого забыли оповестить о готовящемся совещании, и он—с видом старшего товарища—напоминал:

— Позовите Кранихфельда. Непременно позовите. Я помню его еще по Воронежу ¹⁾.

Революционные организации не приняли участия в совещании, — студенчество и его судьба, как такового, их не интересовали. И это не мало огорчило Гуровича, который особенно не любил „Союза борьбы“.

— Что „Союз борьбы“, что-нибудь делает? спрашивал он меланхолично. Дело в том, что с „Союзом борьбы“ ему никак не удавалось наладить связей при всей готовности идти навстречу этой организации.

Собрание вышло очень возбужденным. Студенты сразу поставили вопрос о ближайших мерах, которые можно было бы предпринять, изложив постановление организационного комитета об'единенных высших учебных заведений; согласно этому постановлению, решено было ни в каком случае не поддаваться панике, просто не считаться с варварским приказом; если нас рассортируют по воинским частям, то вести пропаганду в воинских частях. Но вопрос в том, чем может поддержать, как может реагировать общество, если правительство не ограничится угрозой, а начнет сдавать на деле наиболее отзывчивых лидеров студенчества в солдаты.

Первой попросила слово А. М. Калмыкова. Она произнесла весьма горячую, весьма убедительную речь, в которой предостерегала молодежь от ненужной траты сил. Едва она произнесла свои последние слова, как из соседней комнаты вышла г-жа Воейкова и стала с ней шептаться. Затем обе оне ушли в столовую, а вслед за ними и Гурович. Оказалось, что с швейцаром дело уладилось, как следует. Но теперь о собрании провухал дворник и будто бы весьма волнуется происходящим. Так ли это было на самом деле, трудно судить, так как в квартиру дворник не приходил. Гурович вышел на лестницу.

¹⁾ Любопытно сопоставить этот отзыв с отзывом В. П. Кранихфельда о Гуровиче: „Несколько лет спустя,—пишет он в статье, посвященной В. Я. Яковлеву-Богучарскому („Былое“, 1917, № 1),—получив право жительства в столицах, я познакомился в Петербурге у Яковлева с Гуровичем, вплоть до последних дней не подозревая, что он когда-то был у меня на квартире в Воронеже. Гурович сразу произвел на меня отвратительное впечатление“.

но через несколько минут вернулся и сказал, что и с дворником все уладил.

После А. М. Калмыковой говорили В. А. Мякотин, М. М. Филиппов, А. А. Васильев, К. М. Станюкович, В. П. Кранихфельд, Н. Ф. Анненский и другие. Обсуждались два предложения: во-1) устроить уличную демонстрацию, в которой приняло бы участие общество; во-2) выпустить прокламацию „К обществу“. Тщетно пытались все говорившие дать сколько-нибудь конкретное направление беседе. Много было советов молодежи, много горячих пожеланий, но перекинуть мост между этими пожеланиями и живым проявлением, живым делом общества не удавалось. Еще раз приходила Воейкова, чтобы пошептаться с А. М. Калмыковой. На этот раз швейцар будто бы заметил гороховые пальто у входа...

Гурович весь вечер молчал. Нам, студентам, он как-то шепнул, что недоволен тем оборотом, какой приняло совещание. В самом деле никакого постановления не было принято. За отдельными исключениями ораторы ссылались на тот факт, что нет тех реальных сил, на которые они могли бы опереться, организуя какой-либо протест. На улицу русское общество не выходило и не выйдет. Что же касается прокламации, то таковую составить и распространить должны революционные организации, у которых есть на то и средства.

Между тем события не ждали.

Через несколько дней состоялась сходка в университете, и руководители ее первыми попали в солдаты. На пылких людей это подействовало столь сильно, что на другой день после того, как факт сдачи студентов в солдаты стал известным, Пр-в и С-ва уехали в Финляндию и там где-то под Иматрой, в лесу, в морозной зимней тишине покончили двумя выстрелами свою молодую жизнь и свою молодую любовь.

На другой день после того я зашел к Гуровичу. Он, не подавая мне руки, вопросительно взглянул на меня.

— С-ва застрелилась.

— Да. Вместе с ней застрелился Пр-в.

Он несколько минут задумчиво смотрел в окно, в котором переливался поздний луч холодного зимнего солнца. Потом встал, и вдруг на лице его появилось то мечтательное сладенькое выражение, какое так было мне знакомо.

— Ешьте яблоки,—сказал он и подошел к подоконнику. На нем были разложены десятки автоновских яблоков, румяных, крепких, крупносортных автоновок.

Он и сам взял в руку яблоко, но есть не стал.

Образ девушки, видимой, стоял перед ним. Может быть, он мысленно ласкал его и в то же время думал о том, что если он еще не выдал эту девушку, то будь она жива, все-таки пришлось бы выдать ее уже в силу тех связей, которыми она была опутана в своей работе, от которых ее было невозможно отделить даже при желании.

— Знаете, у меня слабое сердце,—сказал он вдруг.—Я уже три дня не выхожу из дому. Лежу.

— Разве?—удивился я. Он не имел вида человека, страдающего сердечными болезнями.

Да, такое у него сентиментальное сердце.. Он не может видеть страданий какой-либо живой твари; что говорить о человеке! С таким сердцем, как у него, лучше не жить на свете!

Он сделал грустное лицо и на мгновение выглянул какой-то угол его души, мелькнуло что-то, чего не сочинить нарочно. Но не успел я разглядеть его выражение, как безшумно вошла в кабинет жена и так же безшумно вышла.

Переждав, когда она вышла, Гурович спросил меня, был ли я когда-либо влюблен, и придал глазам известное мне выражение, но глаза не слушались.

— Тяжело в любви терпеть фиаско, — неожиданно для меня сказал он. — Но еще тяжелее терять веру в людей... Знаете, вся жизнь моя была испытанием. Я перенес жестокий обман моих друзей, которые взяли у меня веру. Но я не сдаюсь: я никогда не сдамся. — Как-то загадочно усмехнулся он. — Я имел бы полное право зачерстветь, но, как видите, этого со мною не случилось.

Все в том же тоне он еще сказал:

— Вам не приходит в голову: вот мы, социалисты, страдаем за человечество, любим все человечество, а простой обыкновенной любви между нами нет...

— Чему вы улыбаетесь? — вдруг с раздражением прервал он самого себя и даже привстал с дивана, на котором полулежал. — Однако, с вами надо быть осторожным.

Я взглянул на него. Лицо его стало прежним, непроницаемым; и глаза прежними, пустыми.

Он понял, что он в моих глазах сентиментален. Большой, столь, казалось, благоустроенный мужчина и — так расстроился. Чуть слезу не пускает... Но не это, главным образом, заставило его насторожиться. Он, который так верил в революцию и революционеров, вдруг заговорил со мною по-иному. Правда, из его слов прямо не следовало, что он в душе не так относится к революционерам, как выходит на словах... Но чутьем опытного зверя он вдруг, в один момент, всем существом своим почуял, что непростительно поддался настроению. Фраза о друзьях, которые взяли у него веру, могла быть мною истолкована совсем нежелательным для него образом.

Теперь уже все говорило в нем, что он не желает поколебать во мне то мнение, которое он поддерживал о себе в кругах передовой молодежи, вообще.

— Объясните мне еще раз... — начал он развязно, одним дыханием насвистывая что-то в нос.

И вдруг, совсем забыв, что он только что уверял меня, что у него болит сердце, беспечно предложил мне:

— Время ведь еще детское... Не пройтись ли нам к П. М. — чу.

Это был его приятель, недалеко от него живший, присяжный поверенный К. Я согласился, и мы вышли на улицу. Уже стемнело. Узкая длинная улица переливала двумя рядами фонарей, а январьский мороз креп, под ногами снег похрустывал, и люди шли быстро, точно боясь опоздать куда-то, перебегая через улицу, под самыми мордами лошадей...

Зимний лунный вечер был до странности хорош. Он začínал в сердце какое-то смутное ожидание чего-то...

— Ну, как ваши дела? — задал мне Гурович свой обычный вопрос.

Последние дни я чувствовал, что слежка за мной заметно усилилась. Слежка стала столь нахальна, что филеры как будто и не пытались уже вовсе скрывать от меня свои намерения. Я сказал об этом Гуровичу, на что он весело рассмеялся.

— Пора, пора... Но вы не фантазируете?

До Лиговки мы шли молча. Но здесь он предложил мне разделиться, я должен был идти вперед—по правой стороне, он позади—по левой, чтобы проследить, приведу ли я к К—му филера или не приведу. Так мы и дошли до самого дома, в котором жил К—ий, я впереди, он позади. Когда за нами закрылась дверь парадной, в которую мы вошли, он сделал круглые глаза и сочувственно похлопывая меня по плечу, сказал:

— Пожалуй, к этому дому подошло нас трое. Помните, я, лошадь и извозчик... Впрочем, плохой бы из меня филер вышел!...

Но Гурович не дооценивал свои способности. В ту же ночь с 30 на 31 января 1901 года, по возвращении домой, я застал у себя на Васильевском Острове наряд полиции и сыщиков, которые, обыскав меня и ничего предосудительного не найдя, отвезли в Дом предварительного заключения. Одновременно со мной были арестованы П. Н. Милюков, С. Петрашкевич (Струмили), несколько технологов, игравших видную роль в петербургских рабочих кружках, и несколько рабочих из-за Невской и Нарвской застав.

IX.

4-го марта 1901 года состоялась демонстрация. На ней были избиты Н. Ф. Анненский, М. И. Туган-Барановский и другие. Впервые на улицу вышли представители общества, после выстрела П. В. Карповича в министра народного просвещения, Боголепова—и после того к нам, в Дом предварительного заключения были привезены В. А. Мякотин, А. В. Пешехонов, В. В. Бернштам, М. В. Бернштам.

Гурович чистил, главным образом, литературу и все, что прикосновенно к ней. Журнал „Жизнь“ был закрыт. М. М. Филиппов, Н. Ф. Анненский, П. Ф. Лесгафт, В. П. Кранихфельд высланы были в Финляндию, А. В. Пешехонов—в Псков, П. Б. Струве и М. Туган-Барановский куда то дальше. Обыску подверглись и такие мирные писатели, как В. Э. Тотомианц. В числе высланных в Финляндию оказалась и моя невеста М. Ф. Лесгафт и Э. М. Зиновьева (впоследствии супруга Л. Г. Дейча). Однако, надо сказать, не боясь прогрешить против правды, что в охранке и в жандармских управлениях нравы тогда царили довольно патриархальные по сравнению с позднейшими. В то время, как моя невеста считалась высланной, она не только приезжала в Петербург, но добилась даже разрешения на свидания со мной.

И вот она то передала мне памятную записку, в которой я прочитал следующее: Узнав о моем аресте, Гурович обратился к Марии Францевне с предложением устроить мне побег. Чтобы показать, что это не слова, он предложил ей на это тут же довольно крупную сумму. Моя невеста, конечно, отклонила предложение на том основании, что ничего страшного мне не грозило. Но в то же время спрашивала меня, как быть.

Другой раз мы остались на свидании совершенно одни, и Мария Францевна рассказала мне, что Гурович стал бывать последнее время часто у Э. М. Зиновьевой, подружился с ней и пылко склонял ее к какому то террористическому акту. Позднее об этом говорила мне и сама Зиновьева.

Больше я ничего о Гуровиче не слышал в течение почти целого

года, что я провел в Доме предварительного заключения. Один раз как то Трусевич,—жандармский прокурор (будущий директор департамента полиции), который вел наше дело, в числе прочих лиц спросил меня и про Воейкову.

— С Анной Александровной Воейковой вы знакомы?—спросил он в порядке допроса.

Но карточку ее не показал, из чего я заключил, что она не арестована. Но мне бросилось в глаза, что он спрашивал о Воейковой, которая в нашем кругу никакой роли не играла, и в то же время не спрашивал о Гуровиче. И я решил, что Воейкова достаточно безвредная особа, чтобы не скрывать знакомство с ней.

— Знаком,—ответил я.

Я ясно помню впечатление, какое это произвело на Трусевича.

— Занесите в протокол,—сказал он,—и лицо его стало сосредоточенным и строгим. После этого он ни о чем меня уже не допрашивал.

Тогда я не мог понять, в чем тут дело. Я склонен был думать, что мне что-то показалось. Но теперь, вспоминая эту страничку из своего тюремного прошлого, я понимаю в чем дело. Подтверждая свое знакомство с Воейковой, иначе говоря с Гуровичем, я тем самым подтвердил тот материал, который был представлен обо мне Гуровичем, как о деятеле, с которым он был связан личным знакомством, подтвердил и ту мою характеристику, которую он составил, как я узнал потом, для Трусевича...

Но это было напоминанием о нем изнутри. С воли же о нем я ничего не слышал до января 1902 года, когда в Петербург приехал мой отец хлопотать о моем освобождении. На первом же свидании отец сообщил мне, что Гурович—провокатор, и рассказал, как это открылось. Оказывается, Гурович у себя устроил обыск. Жандармский офицер во время обыска у столь секретной особы чем-то погрешил против инструкции, о чем Гурович сейчас же сделал доклад в департамент полиции. В отместку же за это офицер, знакомый с хозяином дома, в котором жил Гурович, открыл последнему глаза на жильца одной из его квартир. Таким образом, слухи о Гуровиче пошли гулять по городу.

Когда я услышал от отца самый факт, я был ошеломлен, но вместе с тем не удивлен. Как бывает в таких случаях, я считал нужным выразить невольное сомнение.

— Ну, может быть, это только слухи,—сказал я, хотя в душе уже я знал, что это было так.

— Нет, можешь в этом не сомневаться,—грустно ответил мне отец, и рассказал мне еще кое-что. Чиновником особых поручений в департаменте полиции служил некий Махоткин, когда-то в нашем уезде занимавший место исправника. Связанный с ним делами и долготным знакомством, отец теперь через него хлопотал о моем освобождении на поруки. В одно из своих посещений на дому он рассказывал Махоткину о моем знакомстве с Гуровичем и открыто спросил его: верно ли, что Гурович провокатор.

— Но какие у вас основания?—сказал Махоткин.

— Весь город трубят об этом.

— Не думаю, чтобы это было серьезно.

— Очень даже серьезно.

Долго и спокойно Махоткин уверял, что эти слухи не имеют

под собой основания. Но когда он увидел из того, что рассказал ему отец, что Гуровичу идти уже некуда, что он открыт, изобличен, то он невольно и сам подтвердил то, о чем говорил город.

— Но... ради Бога, я это только вам... Я знаю: повредить Гуровичу мои слова уже не могут. Но верьте мне—достаточно ему узнать о том, что я сказал только что о нем в своей квартире, чтобы я вылетел из департамента полиции в двадцать четыре часа.

Когда я вышел из тюрьмы, уже циркулировали слухи, что Гурович принимает в департаменте полиции, где он сосредоточил в своих руках весь политический розыск. Отношение охраны к сотруднику после провала хорошо известно. Ни тени благодарности и сочувствия оно не проявляло. Если провал ограничивался разоблачением, охранка выдавала сотруднику несколько сот рублей и спроваживала дальше. Иначе отнеслась она к Гуровичу, который сразу занял высокий пост.

Я не мог, конечно, уехать из Петербурга, не побывав несколько раз в департаменте полиции.

И каждый раз, когда еще на лестнице обладал меня тот скучный, мертвящий дух, какой царил в каждом полицейском учреждении, я не мог побороть в себе волнения, смешанного с каким то странным чувством. Встреча могла произойти случайно. Но как бы она произошла, какой характер носила,—никакая фантазия не могла мне этого нарисовать...

Повидал я и кое-кого из литераторов; от них я узнал, что наиболее остро пережил разоблачение Гуровича В. Я. Богучарский-Яковлев. До самой смерти своей он не мог отделаться от невольного сознания, что личность Гуровича лежит на его политической совести. Он знал этого человека еще по ссылке с крайне непривлекательной в моральном отношении стороны; но, встретившись с ним впоследствии, с свойственным ему добродушием, простил ему прошлые гадости во имя его настоящего и вот—финал!

Х.

Прошли года два, три...

За выстрелом Балмашева грянули бомбы Сазонова, стала фактом боевая организация террористов, о которой так мечтал Гурович, и вот,—действительно, мы видим—первые дела ее дают пищу провокационным способностям его, Харьковцева-Гуровича.

Когда Сазонов—после удавшегося покушения на Плеве—лежал окровавленный без памяти, его состоянием, как известно, пыталась воспользоваться охранка. Охранка не удовольствовалась пассивной ролью, одним записыванием вырывавшихся у больного слов и восклицаний. Она посылает мастера своего дела посидеть у изголовья Сазонова, дать определенное направление его бреду, и вот перед нами провоцирование на бред.

Когда Сазонов пришел в себя и отдал себе отчет в том, что над ним продельвали в эти дни, он писал своим друзьям: „товарищи, будьте ко мне снисходительны. Если бы вы знали, какую смертельную муку я испытывал и сейчас испытываю, зная, что я брею! Но я не был в силах помочь себе. Чем? Откусить себе язык. Но и для этого нужна была сила, а я ослабел.“

И вот кто же, кто был признан этим мастером своего дела? Гурович.

Вскоре после покушения в кругах социалистов-революционеров стала известна копия отношения особого отдела департамента полиции от 20 июля 1904 года за № 8374 на имя начальника петербургской одиночной тюрьмы следующего содержания: „Департамент Полиции имеет честь просить Ваше Высочайшее разрешение доступ чиновнику Департамента Полиции коллежскому ассессору Гуровичу к содержащемуся в больнице при вверенной вам тюрьме арестанту, обвиняемому в убийстве статс-секретаря Плеве. Директор Лопухин“.

А затем стала известна и сама „Записка“ Гуровича. Представился он Сазонову, как доктор, и доктором все время называл его и фельдшер. Начинается же „Записка“ так, как будто ему удалось выпытать от Сазонова все пружины покушения. Поднеся все эти имена, будто бы выпытанные у Сазонова, Гурович продолжал: „К концу беседы убийца сознал, что он своею откровенностью признал участие своих трех товарищей в преступлении, и потому впал в крайнее отчаяние, говоря, что он „изменник“ и „предатель“, и умоляя, чтобы все высказанное им „осталось между нами“, хотя во всяком случае себе он простить не может, и, если бы у него был револьвер, то он покончил бы с собою. Несколько раз готов был назвать себя, но умолял, чтобы на этом не настаивали, так как это противно этике революционеров—„не заставляйте меня презирать себя“ и т. д.

Впоследствии „Социалист-революционер“ опубликовал и самый бред Сазонова. Достаточно сопоставить „Записку“ Гуровича с подлинными фразами Сазонова, чтобы убедиться, сколько наглости в догадках и утверждениях Гуровича. За несчастье носить имя Николая Ильича киевский присяжный поверенный Н. И. Бронштейн, благодаря Гуровичу, поплатился арестом и перспективой смертной казни. Когда же выяснилась полная непричастность Бронштейна к покушению на Плеве, департамент—вместо извинения—предложил ему жалованье и положение секретного сотрудника.

Гурович теперь был в силе. М. Бакай в своих воспоминаниях указывает, что, будучи еще секретными агентами департамента полиции, Гурович-Харьковцев и Азеф-Раскин направляли весь розыск в такой мере, что их сведениями пользовались все полицейские группы. Теперь положение Гуровича было высоко официально, и говорили, что его благополучием, его примером жандармы заманивали даже себе новых сотрудников. Конечно, провал возможен, — убеждали они,—но смотрите, как правительство заботливо относится к провалившимся агентам-провокаторам. Смотрите на бывшего сотрудника Гуровича—до чего он дослужился. Разве вам в перспективе это не улыбается?

Жил он открыто; повидимому, был не трус. Черту эту—умение владеть собою—он показал еще в момент своего разоблачения. Он не только не растерялся, но потребовал суда над собой, который и состоялся за границей из представителей „заграничной лиги русской революционной социалдемократии“, „союза русских социалдемократов за границей“ и группы „Борьба“. Хотя все основания были за то, что комиссия имеет улики и предъявленное обвинение серьезно, Гурович явился за границу, давал обстоятельные объяснения лично, боролся и на отныне ставках. Всем памятно, как Азеф скрылся с суда в Па-

риже, как только почувствовал первую улику против себя. Гурович же, напротив, ждал, пока суд, рассмотрев письменное сообщение петербургского комитета российской социалдемократической партии и отдельные другие показания—вынес ему свой приговор в самой разоблачающей форме. Правда, в то время он мог думать, что предательство сойдет для него, более или менее, благополучно. Но не то было теперь, когда человеку с таким прошлым грозила неприятность из-за каждого угла. Тем не менее он продолжал жить открыто, переименив лишь свою 4-ю Рождественскую на Саперный, кажется, переулок.

XI.

Прошел еще один год.

По городам и весям России прокатилась первая революция, первая боевая схватка широких масс народа с слугами последнего царя, и многое изменилось, по сравнению с тем, что было описано выше. Из подпольных кружков выросли открытые политические партии и загревели бомбы и адские машины не в одном только Петербурге.

Далее революция стала сменяться контр-революцией. Что же стало с Гуровичем?

Некоторое время он занимал пост на Кавказе и находился вне Петербурга, но в скором времени вернулся на свое насиженное место.

Говорили, что доклад о покушении на Трепова в 1905 г., напечатанный в 10-м номере „Былое“ за 1907 год и составленный по указаниям провокаторов, был делом рук Гуровича; что он получил за него Владимира второй степени; что он принимал руководящее участие в газете, издававшейся департаментом полиции для своих политических агентов и т. д. Продолжающееся его влияние подтверждает и Азеф, ставя его в письме к Б. В. Савинкову—рядом с пменем Рачковского. Но идти в гору Харьковцеву это, конечно, не мешало, не мешало и получить столько денег, сколько он хотел.

С своей стороны, высланный в 1901 году в Псков, я, пробыв в Пскове года полтора, вернулся в Петербург. И вот в 1906 году, когда Гурович был, что называется, на полицейской высоте, произошла моя встреча с ним, встреча лицом к лицу, с человеком, которого отделяет от меня такая пропасть.

Произошло это на Каменноостровском, в воскресный весенний полдень, когда так тянет петербуржцев к заливу—поваляться на траве и подышать бодрящим влажным воздухом. Каменноостровский был усеян бесконечной сетью экипажей, тянувшихся по направлению к островам, и я—переходя улицу, остановился у цветочного магазина, чтобы улучшить для того момент. Магазин был открыт, несмотря на праздничный день, и вот один из экипажей остановился у входа в него, и из него вышел... Харьковцев-Гурович, вместе с ним элегантно-одетая, не то дама из общества, не то дама от Максима.

Он хотел уже войти в магазин, но повернул голову и остановил глаза на мне. Я, в свою очередь, направил глаза на него с нескрываемым любопытством.

Он совсем не изменился по сравнению с тем, каким я его знал несколько лет назад—никаких следов пережитого ни в одной черте лица. И никаких мер не принял он для того, чтобы хоть несколько изменить наружность. Он был в штатском, и то же золотое пенсне

сверкало на его носу, и те же сытые холодные глаза из-под них смотрели на меня.

Что он меня узнал, не могло быть сомнения. Но посмотрел он на меня так, как будто видел первый раз в жизни. Одно только движение выдало его. Вместо того, чтобы дать дорогу своей даме и начать выбирать цветы, он стал переводить глаза с меня на велосипедиста, который совсем неподалеку от нас пил сельтерскую воду...

Но я уже переходил улицу.

Последнее известие о нем—было известие о его смерти. Однажды, проснувшись и раскрыв газету, я прочел в хронике коротенькое сообщение всего в несколько строк: „В Крыму, в Ялте покончил свои земные дни Михаил Иванович Гурович“.

Это было задолго до второй революции, но не задолго до войны.

.Т. Клейнборг.

С.-Петербургское охранное отделение в 1895—1901 гг.

(„Труд“ чиновника Отделения П. Статковского).

Автором печатающейся ниже истории деятельности Петербургского охранного отделения является П. Статковский. — человек, игравший достаточно крупную роль в жизни этого последнего, чтобы самому получить право на некоторое внимание со стороны читателей „Былого“.

Его жизненный путь был достаточно бурен, и к „тихой пристани“ петербургского охранного отделения он пришел далеко не сразу.

Родом он с юга, повидимому, из Херсонской губ., по происхождению, как свидетельствует его формулярный список, принадлежит к числу „церковно-служительских детей“ *); родился 25 июня 1856 г. Где он получил образование, — точных сведений мы не имеем; известно лишь, что в 1873 г. он сдал экзамен в Елисаветграде за реальное училище и в том же 1873 г., т. е. 17-летним юношей, поступил на военную службу в 132 Бендерский пехотный полк на правах вольноопределяющегося. Через несколько месяцев по зачислении на службу он был откомандирован из полка в юнкерское училище, но в последнем пробыл лишь немного больше года; 6 ноября 1875 г. он из училища исключен „за поступок, не соответствующий званию юнкера“, с предоставлением ему, однако, права держать офицерский экзамен. По возвращении в полк, Статковскому вскоре пришлось принять участие в войне 1877—78 гг.; он был в боях и за участие в сражении 30 ноября 1877 г. получил Георгия IV ст. В 1879 г. он сдал экзамен на чин „портупей-юнкера“, а 27 января 1880 г. произведен в прапорщики.

В офицерах он пробыл недолго. Летом 1884 г. на него пало подозрение в политической неблагонадежности; причиной был чей-то донос на него за разговоры с политическими заключенными во время несения службы начальника воинского караула в киевской тюрьме; возникли подозрения в передаче писем заключенным, и хотя оно ничем не было доказано, Статковскому было предложено немедленно же

*) При составлении этого очерка мы пользовались официальными материалами, а именно: формулярным списком Статковского, „памятной запиской“ о службе Статковского, представленною спб. градоначальником министру вв. дел в 1912 г., а также документами, хранящимися в деле Статковского в „особо-секретном отделе“ деп. полиции.

подать прошение об отставке; в противном случае угрожали отставкой принудительной, — со внесением в формулярный список отметки об удалении со службы „по политической неблагонадежности“. Статковский подчинился, подал прошение и 3 августа 1884 г. зачислен в запас армии с производством в подпоручики; одновременно над ним был установлен негласный надзор.

После этого из Киева, где протекала офицерская карьера г. Статковского, он перебирается в Петербург. Последующие годы — самое темное место в его биографии; к этому времени относится его поступление на службу в спб. охранное отделение, но точно установить дату этого поступления нам не удалось, так как в документах есть некоторое разноречие: „формулярный список“ и „памятная записка“ об его службе дают датой 30 сентября 1887 г., в то время, как одна из хранящихся, в „особо секретном“ отделе департамента полиции, в деле Статковского справок департамента полиции относит его поступление на службу в охранное отделение к 1885 г. Наряду с этим известно, что за 1885—87 гг. Статковский делает попытку поступить в какое-либо из высших учебных заведений; в прошении, поданном в 1895 г. на высочайшее имя, он заявляет, что в 1885 г. он сдал вступительные экзамены в технологический институт и не смог попасть в него только из-за отказа в выдаче свидетельства о благонадежности; в 1887 г. он возобновляет хлопоты, вновь подает прошение о свидетельстве, добивается личного свидания с тогдашним директором деп. полиции Дурново, но все безрезультатно; охранное отделение на него продолжает коситься: за это время у него трижды производятся обыски (18 июня 85 г., 5 апреля 86 г. и 1 апреля 87 г.), его фамилия часто мелькает в списках лиц, за которыми следят филеры. Это обстоятельство можно было бы считать доказательством, что в 1885 г. Статковский еще не поступал на службу в охранное отделение, если бы мы не знали, что охранное отделение довольно часто первое время относится к своим „сотрудникам“ не особенно доверчиво; официально негласный надзор со Статковского был снят только в мае 1893 г.

Как бы то ни было, с 30 сент. 1887 г. Статковский, во всяком случае, вступает на службу в охранное отделение „по вольному найму“, — проще говоря, агентом-провокатором; приблизительно в это же время он получает свидетельство о благонадежности и поступает в спб. университет, который и оканчивает в 1893 г. Со временем, — повидимому, после разоблачения студентами роли Статковского, что повлекло за собой, если не ошибаемся, маленькое его избиение, — Статковский переходит на канцелярскую работу в охранное отделение, но все еще остается „вольнованным служащим“.

Желание попасть в число штатных служащих толкает Статковского на довольно рискованный шаг — он обращается с просьбой об этом лично к государю на георгиевском празднике в 1895 г.; во время этой довольно продолжительной беседы Статковский, — согласно его собственной записи этого разговора, сделанной немедленно же после него, — сообщил государю, что „был уволен за политическую неблагонадежность, и хотя хлопотал о снятии с себя этого позорного пятна и восстановлении прав и чести своего имени, но не имел успеха, так как ходатайство не получило дальнейшего движения; теперь он просил о зачислении на штатную службу. Когда на эт. просьбу государь ответил предложением подать прошение, Статковский „слиберальничал“, выразил сомнение в том, дойдет ли это прошение до царя. То-

гда государь заявил: „Посмотрим. Подайте“, но Статковский все же продолжал пенять на свою горькую участь, не преминув сообщить, что ныне он служит в охранном отделении.

Эта беседа, о которой Статковский на другой же день сообщал по начальству, вызвала сильное недовольство последнего; г. Секеринскому, начальнику спб. охранного отделения, пришлось писать в департамент полиции, объясняя поведение своего подчиненного „некоторым излишним употреблением спиртных напитков“.

Прощение на высочайшее имя Статковский подал; в нем он подробно излагает свои мытарства и в заключение просит о восстановлении своей „чести“, об определении его в корпус жандармов, — „полагая, что наилучшим применением“ его „сил и усердия на служебном поприще престолу и отечеству возможно или в качестве чиновника охранного отделения, или офицера отдельного корпуса жандармов“, с зачислением всех, ранее прослуженных в охранном отделении, лет.

Просьба эта удовлетворена была лишь на половину: „доброе имя“ Статковского восстановлено было, и на штатную должность в охранное отделение он был зачислен, и засчитаны были прежние годы службы, но в отдельный корпус жандармов его принять отказались: в этом вопросе Статковский наткнулся на сопротивление штаба корпуса жандармов, начальника которого в официальной бумаге к директору департамента полиции высказался против приема в корпус Статковского, указав, что последний по своему моральному уровню не удовлетворяет тем требованиям, которые предъявляют к офицерам корпуса.

Дальнейшие этапы служебной карьеры г. Статковского таковы: в январе 1900 г. его назначают младшим чиновником особых поручений при спб. охранном отделении. в июне 1902 г. — таковым же старшим чиновником; в 1904—1905 гг. он заведует наружным наблюдением в СПб.; в 1905 г. в течение 2 месяцев исполняет должность помощника начальника отделения; в ноябре 1907 г. его назначают чиновником для поручений по району; в 1912 г. он выходит в отставку, получив при этом усиленную пенсию. За эти годы он неоднократно получает ордена (в декабре 1905 г. Станислава III ст.; в ноябре 1909 г. — Владимира IV ст. и т. д.), а также французскую золотую медаль (в 1898 г.).

Розыскную деятельность Статковского охранное отделение в записке, представленной в 1912 г. градоначальником министру внутренних дел, рисует в следующих красках:

„Отличаясь громадными розыскными способностями, неутомимой энергией и редкой преданностью долгу службы и любовью к делу. П. С. Статковский выполнил целый ряд блестящих ликвидаций и арестов, из коих заслуживают быть отмеченными: арест в 1897 г. тайной типографии в Новгороде; выяснение в 1898 г. серьезных революционеров — Веры Котюховой и Конкордии Захаровой, по связям с которыми 29 мая того же года была взята в г. Белостоке подпольная типография группы членов „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“, и обыск 4 апреля 1899 г. в общежитии студентов лесного института, где были обнаружены типографский станок и несколько приборов (мимеограф, гектограф и проч.) для воспроизведения воззваний и брошюр.“

Но особенную энергию и положительно кипучую деятельность

Статковский проявил в период революционного движения 1905—1907 гг. Так, в мае 1905 г., благодаря тому, что сумел убедить студента военно-медицинской академии Аудера сознаться в преступлении, обнаружена была в деревне Выра лаборатория разрывных снарядов. В октябре того же года Слатковским были обнаружены и приведены к сознанию убийцы агента охранного отделения Павлова; 21 ноября им был арестован председатель „совета рабочих депутатов“ Носарь-Хрусталеv; 8 декабря того же года Слатковский арестовал представителей боевой дружины студентов спб. университета, при чем все арестованные, в числе 8 человек, оказались вооруженными револьверами парабеллум; 11 декабря им же была арестована боевая дружина выборгского района в числе 33 человек, из коих значительная часть была вооружена револьверами и кинжалами, а в помещении обнаружены разрывные снаряды; 13 декабря П. С. Слатковским был произведен обыск в квартире рабочего Рутковского, у которого была обнаружена лаборатория разрывных снарядов и склад револьверных патронов. Рутковский и его помощники не оказали вооруженного сопротивления лишь потому, что Слатковский первый пригрозил им револьвером. Впоследствии Рутковский успел бежать из тюрьмы, и при вторичном задержании его 8 июля 1906 г. оказал чинам полиции вооруженное сопротивление. 30 декабря 1905 г. П. Слатковским, при производстве обыска в помещении общежития студентов спб. университета, были обнаружены три совершенно готовые бомбы; 20 сентября 1906 г., в ликвидацию членов группы „боевого коллектива при петербургском комитете партии социалистов-революционеров“, П. Слатковским при производстве обыска в помещении института инженеров путей сообщения был обнаружен динамит в количестве около 1½ пуда и 39 бомб.

„В этом же 1906 г. П. Слатковским были произведены расследования по делам „боевой организации при объединенном комитете кронштадтской военно-революционной организации“ и „группы террористов-экспроприаторов“. Благодаря умению названного чиновника вести допросы, обвиняемые по первому делу, нижние чины Ипатова Власов, дали откровенные показания о намерении вышеупомянутой организации взорвать помещение военно-морского суда, а обвиняемый по второму делу Патсюк, в откровенных показаниях, дал весьма ценные данные о деятельности означенной группы, совершившей целый ряд вооруженных грабежей и убийств и намеревавшейся взорвать помещение охранного отделения с целью убийства начальника, его помощника и чиновника Слатковского.

„Независимо изложенного, Слатковский, в течение 1906 г., произвел с блестящими успехами целый ряд расследований по следующим делам: вооруженное нападение на сберегательную кассу 31 января; убийство инженера Рухлова, убийство помощника директора того же завода Назарова; вооруженное нападение на ст. „Обухово“, во время которого убиты жандармский унтер-офицер и сторож (при производстве последнего расследования названным чиновником были выяснены еще 11 вооруженных грабежей, сопровождавшихся убийствами); вооруженное ограбление казначея портовой таможни и, наконец, вооруженное нападение с целью ограбления на канцелярию лесного института. Во всех случаях П. С. настолько энергично и умело произвел расследования, что все виновные в преступлениях лица, за редкими исключениями, выяснялись, арестовывались и понесли наказания по суду.

„В 1907 г. названный чиновник произвел ряд весьма сложных и

ответственных обысков и арестов, в некоторых случаях с опасностью для жизни. 18 февраля того же года Статковским был произведен один из самых грандиозных обысков того времени — в помещении общежития студентов политехнического института, где было арестовано 22 посторонних лица (из них 5 нелегальных) и обнаружено 16½ фунтов экстра-динамита, 400 капсулей с гремучей ртутью, пироксилиновые шашки, 2 совершенно готовых разрывных снаряда, оболочки для бомб и пр., а также громадное количество нелегальной литературы. Во время этого обыска Статковским было осмотрено 1200 комнат. В октябре того же 1907 г. Статковским было произведено расследование, приведшее к аресту лиц, замышлявших совершить покушение на жизнь министра юстиции, а в декабре названным чиновником были выяснены члены шайки грабителей, совершивших вооруженное нападение на контору фабрики Торнтон.

С затихшем революционного движения деятельность чиновника Статковского стала менее заметной, но он с прежней энергией продолжал службу в отделении, занимаясь исполнением наиболее сложных переписок, при чем и за это время службы названного чиновника заслуживают быть отмеченными нижеследующие случаи проявленных им недюжинных способностей по розыску. В октябре 1909 г. произведенным Статковским расследованием о шайке лиц, занимавшихся вооруженными грабежами в окрестностях Петербурга, было раскрыто убийство одного из членов этой шайки его же товарищами. В апреле 1910 г. им было раскрыто убийство городского спб. полиции Шабанова, за что чиновник Статковский получил благодарность директора департамента полиции (письмо его от 9 мая 1910 г. за № 110389). В июне 1910 г. весьма успешным допросом содержащегося в Гельсингфорсе арестанта Антонова, чиновник Статковский выяснил целый ряд лиц, занимавшихся в 1907 г. грабежами в Сестрорецке и его окрестностях*.

В этой записке дана, конечно, лишь казовая сторона деятельности г. Статковского; изнанки ее авторы записки не собирались касаться, но внимательный читатель записки о многом сможет догадаться при чтении ее. Она столь часто говорит об „умении Статковского вести допросы“ так, чтобы обвиняемые сознавались, что у читателя должен явиться вопрос: как же велись эти допросы? Ответа на этот вопрос в записке он не найдет, но в отчетах о политических процессах 1905—1910 гг. этот ответ найти не трудно: целый ряд лиц, дававших на допросах у Статковского „откровенные показания“, на суде рассказывали, как выколачивали из них эти показания. Статковский для Петербурга тех лет, особенно 1907—8 гг., был тем, чем был Григ для Варшавы, Грегус для Риги и т. д. — был организатором кабинетных пыток. Такой утонченности и методичности пыток, какая существовала в Риге, в Петербурге, правда не было, но избиения на допросах Статковского практиковались очень широко, и именно им Статковский обязан всем похвалам, которые рассыпает по его адресу спб. градоначальник.

Наряду с сыском, г. Статковский не чужд был и литературы, — охранной, конечно; им в 1907—1909 гг. составлен ряд записок о положении в столице профессионального, кооперативного и др. движений в Петербурге и т. д. *): наиболее крупной его работой является отчет

*) Его записка о рабочей кооперации 1907—8 гг. недавно опубликована в № 1 „Вестн. Раб. Кооперации“.

спб. охранного отделения, печатание которого в „Былом“ начинается с настоящего номера. Написан он Статковским по заказу начальника охранного отделения и был, насколько удастся восстановить, воспроизведен на пишущей машинке в количестве всего лишь 3 экземпляров, из коих один был представлен „самому“ П. А. Столыпину.

Борьба с „Союзом борьбы за освобождение рабочего класса“.— Ревизия П. И. Рачковского и назначение В. М. Пирамидова.— Арест и смерть М. Ф. Ветровой и демонстрация у Казанского собора.— Военные шпионы.— Тайная типография в Новгороде.— „Социал-революционеры“.— Усиление деятельности „союза борьбы“ и группа „Рабочего Знамени“.— Р. с.-д. р. п. на фабрике Палла.— Студенческое движение в 1899 г.— Первое мая 1899 г.— Группа „Рабочей мысли“.— „Контрабандисты“ в Малом театре.— Студенческие беспорядки в 1901 г. и выстрел Карповича.— Пропагандисты и с.-петербургская группа „Русского Знамени“.— Смерть В. М. Пирамидова.— „Настоящие социал-демократы“.

I.

Во второй половине 1895 г. охранное отделение вступило в борьбу с новой революционной организацией, принявшей наименование „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“.

В сентябре 1895 г. впервые появилась в С.-Петербурге прокламация от имени „союза борьбы за освобождение рабочего класса“ с обращением к рабочим сестрорецкого оружейного завода. Новое сообщество до конца 1896 г. проявляло весьма слабо свою деятельность. Главными организаторами этого сообщества были: помощник присяжного поверенного Владимир Ильин Ульянов (брат Александра Ульянова, казненного за покушение в 1867 г. на царевубийство), бывший студент с.-петербургского университета Юлий Иосифов Цедербаум, инженер-технолог Александр Леонтьев Малченко, инженер-технолог Ваенлий Васильевич Старков, сын чиновника, студент с.-петербургского технологического института Анатолий Александров Вансеев, инженер-технолог Глеб Максимов Кржижановский и студент с.-петербургского университета Петр Кузьмин Запорожец.

Впоследствии в число членов этого сообщества вступили: студент с.-петербургского технологического института Мовша Ааронов Турье, воспроизводивший на только-что изобретенном мимеографе воззвания от имени „союза борьбы“, помощник присяжного поверенного Константин Константинов Бауер, домашняя наставница Инна Гермогенова Смидович, дочь чиновника София Павлова Невзорова, дочь полковника Елена Дмитриевна Устругова и некоторые другие. Некоторые из членов „союза“ приняли на себя ведение пропаганды и распространение воззваний, преимущественно среди рабочих шпильсбургского и нарвского районов, а именно — студенты военно-медицинской академии Константин Михайлов Тахтарев и Александр Федоров Никитин и дворянка учительница Вера Владимировна Сибилева, а другие — подготовку пропагандистов, изготовление воззваний и размножение их копий.

Члены нового сообщества первое время старались завязывать знакомства с рабочими и составлять из них кружки в целях преступной пропаганды, частью устно, а частью путем распространения нелегальной литературы и, наконец, устройством кружковых библиотек, снабжая таковые книгами и брошюрами тенденциозного содержания.

Главная же цель, которую преследовали и старались достигнуть члены этого сообщества, состояла в подготовке хороших пропагандистов и агитаторов из среды самих рабочих, которые в будущем могли бы обходиться без „интеллигентов“.

В ноябре 1895 г. „союзу борьбы“ пришлось впервые активно выступать к подстрекательству рабочих к забастовкам, именно: благодаря „союзу борьбы“ произошли забастовки сперва на фабрике Торнтон, затем волнения папиросниц фабрики „Лаферма“ и, наконец, трехдневная забастовка рабочих „товарищества механического производства обуви“. Во время каждой из этих забастовок „союз борьбы“ выпускал в большом количестве гектографированные или mimeографированные листки, отпечатанные предварительно на пишущей машинке. Последнее обстоятельство в значительной степени способствовало распространению листков, так как такие листки гораздо легче читались полуграмотными рабочими.

В виду того, что на фабриках Торнтон и „Лаферма“, благодаря забастовкам, были произведены некоторые изменения в распорядках, клонившиеся к улучшению положения рабочих, „союз борьбы“ вменил это обстоятельство в заслугу себе, о чем широкоповестовательно повествовал в прокламации от 15-го декабря 1895 г., не забыв при этом похвалить и рабочих, „дружно“, — будто бы, — „защищавшим свои интересы“. Указывая же на происшедшие по поводу забастовок аресты и высылки, автор прокламации хвастливо заявил, что полиция ошиблась в адресе, так как и после арестов листки все-таки появляются, а, значит, „союз борьбы“ цел и невредим.

Успех этот вскружил головы членам „союза борьбы за освобождение рабочего класса“. Поездки пропагандистов в рабочие районы участились. Мерами агентуры вскоре же удалось выяснить и установить главарей пропаганды, что подтверждалось и данными наблюдения. На представление начальника отделения в департамент полиции о необходимости произвести обыски и аресты выясненных членов „союза борьбы“, получена была резолюция на представлении, что „данные обвинения не достаточно мотивированы, и потому обыски и аресты являются преждевременными“.

Таким образом „Союз борьбы“ продолжал свое дело, а охранному отделению, ослабленному в это время командированием 12 человек лучших филеров в распоряжение московского охранного отделения для наблюдения за чадхой группой „народовольцев“, пришлось ограничиться только наблюдением и регистрацией членов названного „союза“.

К весне 1896 года численность членов „союза борьбы“ значительно возрасла. Представителями его решено было совершить первое выступление по поводу предстоявшего 19-го апреля (1 мая н. ст.) всемирного рабочего праздника. В виду этого „союз борьбы“ выпустил новую прокламацию, в которой довольно ясно была наложена его программа.

Программа эта, как известно, легла в основу программы возникшей через два года „русской социал-демократической рабочей партии“.

„Мы, петербургские рабочие, члены союза, — повествовала, между прочим, прокламация, — приглашаем всех остальных наших товарищей присоединиться к нашему союзу и способствовать великому делу объединения рабочих для борьбы за свои интересы. Пора и нам

русским рабочим, разорвать цепи, которыми спутали нас капиталисты и правительство, чтобы держать в угнетении, пора и нам присоединиться к борьбе наших братьев-рабочих других государств, стать с ними под общее знамя, на котором написано:

„Рабочие всех стран, соединяйтесь!“

Заключительные слова этой прокламации представляют особый интерес, так как они указывают самый верный способ борьбы с капиталистами:

„Товарищи! Если мы будем действовать дружно и единодушно, то недалеко то время, когда и мы, сомкнувшись в стройные ряды, будем в состоянии открыто присоединиться к этой общей борьбе всех рабочих всех стран, без различия веры и племени, против всех капиталистов всего мира. И подымется наша мускулистая рука, и падут позорные цепи неволи; подымется на Руси рабочий народ, и затрепещут сердца капиталистов и всех прочих врагов рабочего класса.

Сюз борьбы за освобождение рабочего класса.

Петербург, 19-го апреля 1896 года*.

Призыв к празднованию рабочего праздника, что имела главным образом в виду вышеупомянутая прокламация, остался без ответа, и почти все рабочие столичных фабрик и заводов не оставляли своих работ, как 19-го апреля, так и 1-го мая, чему, впрочем, послужили причиной аресты некоторых вожakov „союза“, произведенные 18-го апреля, и изъятие значительного количества прокламаций.

Но вскоре рабочие, — совершенно по незначительному, казалось-бы, поводу, — проявили в действительности свое единение. 14-го мая 1896 года совершилось в Москве священное коронование их императорских величеств. По случаю праздников рабочие всех фабрик и заводов 14, 15, и 16-го мая не работали. Спустя неделю, именно 23-го мая, на „Российской мануфактуре“ подручные рабочие, получавшие поденную плату, не получив таковой за коронационные дни, явились в фабричную контору и потребовали уплатить им и за коронационные дни. Контора уплатила. Не то произошло на других фабриках и заводах: почти везде конторы отказали в уплате за коронационные дни, мотивируя тем, что такие дни не значатся в табели. В результате — волнения и забастовки среди рабочих, преимущественно на мануфактурах, на которых рабочие получают гораздо меньший заработок, чем на заводах. Этим обстоятельством воспользовались члены „союза борьбы за освобождение рабочего класса“, начав издавать почти ежедневно новые и новые прокламации, содержание которых ограничивалось требованиями исключительно экономического характера, именно: 1) об уменьшении рабочего дня от 7 ч. утра до 7 ч. вечера, с полуторачасовым перерывом для обеда; 2) о повышении расценок в такой пропорции, чтобы заработки рабочих не уменьшались-бы; 3) о прекращении работ в субботные дни в 2 часа пополудни; 4) о своевременной выдаче заработков; 5) о воспреещении хозяевам самовольно останавливать машины, а также пускай их в ход раньше времени и 6) об уплате рабочим за коронационные дни. Все эти требования были по сердцу рабочим, и большинство их присоединилось к забастовке, которая вскоре приняла грандиозные размеры: в первой половине июня число бастовавших рабочих достигло до 36.000 человек. Успех этой забастовки объясняется тремя причинами: 1) требованиями исключительно экономического характера; 2) летним временем и 3) ослаблением сил отделения, благодаря командировке значительного числа

агентов и полицейских надзирателей в Москву, на время праздников св. коронования и затем в Н.-Новгород на время высочайшего посещения. Конец забастовкам положен был ликвидацией выдающихся вожаков „союза борьбы“, произведенной 12-го июня, а благодаря аресту 24-го июня народовольческой типографии на Лахте „союз“ понес и материальные убытки, так как в помещении типографии были заарестованы в огромном количестве печатные брошюры, заказанные „союзом“.

К этому времени наглость членов „союза“ перешла всякие границы: почти каждую свою прокламацию к рабочим „союз борьбы“ заканчивал восклицанием „долой самодержавие!“ и доказывал рабочим, что самая главная причина экономического над ними гнета заключается в существовании в России самодержавия.

Спустя месяц после ликвидации „союза борьбы“, оставшиеся на свободе второстепенные члены его снова приступили к подпольной работе. Принятыми, однако, энергичными мерами агентуры и наблюдения — почти все они были выяснены и установлены, а обысками и арестами, произведенными 11, 12 и 13 августа, „союзу борьбы“ нанесен был слишком чувствительный удар, от которого он не скоро оправился, хотя в конце 1896 года и в продолжение первой половины 1897 года „союз борьбы“ все-таки давал знать о себе выпусками прокламаций, а также организацией частичных забастовок на некоторых столичных фабриках.

II.

В конце же 1896 года и начале 1897 года, по распоряжению департамента полиции, была произведена чиновником особых поручений при министре внутренних дел, П. И. Рачковским, ревизия деятельности охранного отделения. При ревизии, главным образом, было обращено внимание на правильность расходования сумм, предназначенных в уплату секретным сотрудникам, и на наем конспиративных квартир. Судя по последствиям, никаких неправильностей не было обнаружено, так как бывший в то время начальником охранного отделения полковник Секеринский, занимавший этот пост в течение 12 лет, в феврале 1897 года назначен был начальником с.-петербургского губернского жандармского управления и вскоре произведен был в генерал-майоры. В должность же начальника охранного отделения вступил, по личному предложению министра внутренних дел, отдельного корпуса жандармов полковник Владимир Михайлович Пирамидов, бывший в то время начальником одесского жандармского управления.

Полковник Пирамидов вступил в исполнение своих обязанностей 1-го марта 1897 года.

III.

Спустя четыре дня, в С.-Петербурге произошло событие, само по себе не столь важное, но оказавшееся чреватое последствиями.

22-го декабря 1896 года в С.-Петербурге произведены были две ликвидации: с.-петербургским охранным отделением была произведена ликвидация нескольких членов „союза борьбы“, в числе которых был арестован пропагандист „союза“, дворянин Николай Александров Потресов (известный ныне социал-демократический публицист „Старовер“).

а по распоряжению департамента полиции ликвидирована была наблюдавшаяся московским охранным отделением незначительная группа „народовольцев“, в числе которых была арестована слушательница высших женских курсов Мария Федосьева Ветрова. Содержась под стражей в с.-петербургской крепости, Ветрова, 12-го февраля 1897 года облила себя керосином и, затем, подожгла. Попытка на самоубийств была замечена поздно, благодаря чему Ветрова причинила себе настолько сильные ожоги, что через два дня умерла. Вскоре об этом случае была оповещена учащаяся молодежь. Революционные элементы воспользовались этим событием в целях нанесения удара правительству, в виду чего повели агитацию за устройство демонстрации, которая и состоялась в воскресенье 4 марта в Казанском соборе. В этот день, к концу литургии, собралось свыше 900 человек, обоих полов учащейся молодежи. Руководители демонстрации предложили духовенству собора отслужить панихиду по „новопреставленной Марии“. Очередной священник, выйдя из алтаря, сказал демонстрантам, что „здесь дом Божий и предназначен он для молитвы, а не местом для демонстрации“. В собравшейся толпе послышались непристойные возгласы. Наконец, руководители демонстрации, подняв принесенные четыре венка, двинулись из собора, а за ними и все демонстранты, намереваясь направиться на Невский проспект, но заранее прибывшим туда нарядом полиции демонстранты были отеснены на Казанскую улицу, а оттуда во двор пересыльной тюрьмы, находившейся тогда в Демидовом пер., откуда, по удостоверении личности каждого, все были отпущены. Дело это было рассмотрено особо-назначенной комиссией, по определению которой все участвовавшие в демонстрации студенты подвергнуты были аресту при тюрьме, на трое суток каждый, а курсисткам участвовавшим был объявлен от имени начальства учебных заведений — выговор. Подобного же рода демонстрации произошли впоследствии и в других университетских городах.

IV.

Начало этого года ознаменовалось в летописях отделения необычным ни ранее, ни после этого, — событием. На долю отделения выпал случай раскрытия государственного преступления совершенно особого характера. Именно: обнаружение шайки военных шпионов.

26-го апреля окружный интендант петербургского военного округа письмом за № 182 уведомил начальника охранного отделения, что к нему явился писарь Остроумов, подведомственной ему канцелярии, и доложил ему нижеследующее: накануне к нему, Остроумову, обратился его товарищ, писарь Шеляпин, предложив достать за денежное вознаграждение для одного отставного генерала сведения о численности войск и в этих целях назначил ему свидание у Исаакиевского сквера. В условленное время Остроумов туда явился и встретил Шеляпина. Вскоре туда-же пришел и отставной генерал, в штатском платье, и повел их к себе на квартиру. К ним вышла барышня, по-видимому, дочь хозяина, и, узнав, что он и Шеляпин согласны доставить сведения о составе частей войск русской армии и расположении ее частей, дала им по 25 рублей и отпустила их, назначив время для нового свидания.

Принятыми отделением мерами было немедленно установлено.

что отставной генерал — есть отставной действительный статский советник Михаил Николаев Парунов, проживавший вместе с своей дочерью Марией. Парунов, как оказалось, имел связь с за-границей и торговал иностранными орденами. Дальнейшей агентурой отделения было установлено, что Парунов поддерживает тесные сношения с адъютантом коменданта с.-петербургской крепости, капитаном Николаем Михайловым Турчаниновым, и. д. столоначальника IV отделения главного интендантского управления Александром Лохвицким, чиновником на усиление главного штаба, поручиком Шефкет Абдурахманом, секретарем при помощнике шефа жандармов, губернским секретарем Федором Обидейко и некоторыми другими лицами.

18-го мая все эти лица были подвергнуты обыскам и аресту, причем на квартире Парунова обнаружены были документы, указывавшие, что все эти лица состояли военными шпионами австрийского правительства. Все виновные были преданы суду и понесли заслуженное наказание, за исключением Турчанинова, который, содержась в крепости под стражей, покончил самоубийством.

V.

В начале же 1897 года была ликвидирована новая группа членов „союза борьбы за освобождение рабочего класса“, из числа которых наиболее выдающимися были: студент с.-петербургского университета Владимир Махновец (ныне известный, как большевик р. с. — д. р. п., пишущий под псевдонимом „Аким“), студенты военно-медицинской академии — вышеупомянутый Константин Тахтарев и Виктор Катин-Ярцев, учитель Сергей Порецкий, домашняя учительница Екатерина Дьяконова, дочь священника Аполлинария Якубова, студент технологического института Николай Обухов, ветеринарный врач Николай Бауман и нек. др.

В марте этого же года огранному отделению удалось обнаружить вновь образовавшуюся группу „союза борьбы“.

Здесь уместно будет описать то обстоятельство, благодаря которому удалось установить главных действующих лиц этой новой группы „союза борьбы“.

Содержась под стражей при доме предварительного заключения, Виктор Катин-Ярцев обратился с просьбой к стражнику дома заключения передать письмо его брату, Владимиру Катин-Ярцеву, находившемуся на свободе. Так как письмо было написано шифром, то оно было направлено в департамент полиции для расшифровки. Но и после расшифрования текст письма все-таки оказался мало понятным: говоря о продолжении дела „союза борьбы“, Виктор Катин-Ярцев рекомендовал своему брату, в целях выпуска новых прокламаций, „усадить Конкордию за машину, а Веру за мимеограф“. Пришлось решать вопрос, кто такие „Конкордия“ и „Вера“? В предположении, что обе они состоят слушательницами каких-то курсов и что имя „Конкордия“ — одно из редких, были просмотрены списки слушательниц всех женских курсов, при чем оказалось, что в списках значатся только три курсистки с именем „Конкордия“, одна из которых была армянка, а другая, перешедшая за тот возраст, когда уже перестают принимать активное участие в революционной деятельности, в виду чего внимание было остановлено на третьей, именно слушательнице курсов профессора Лесгафта, дочери чиновника, Конкордии Ивановой.

Захаровой. Немедленно было учреждено за ее сношениями наблюдение. В первый же день наблюдения она имела при конспиративной обстановке свидание с Владимиром Катин-Ярцевым, а на другой день посетила слушательницу рождественских курсов Веру Георгиеву Котлякову. Дальнейшим наблюдением за сношениями вышеупомянутых трех лиц, а также деятельностью внутренней агентуры к концу мая вся организация „союза борьбы“ была выяснена и 29 мая ликвидирована.

До июня месяца 1897 г. издания „союза борьбы“, распространявшиеся среди столичных рабочих, воспроизводились только на гектографе, но в июне месяце в отделении был получен отпечатанный ручным типографским способом экземпляр „устава центральной союзной рабочей кассы“, причем на обложке „устава“ было указано, что он напечатан в типографии газеты „Трибун“. Одновременно с тем были получены указания, что типография „Трибун“ находится вне С.-Петербурга, но не вдалеке, в одном из городов, название которого начинается буквою „Н“. Ясно было — в Новгороде или же Нарве. Одновременно с тем было установлено, что замеченный в распространении вышеупомянутого „устава“ рабочий с.-петербургск. порта., Александр Ильин, выехав вечером, в субботу 21 июня, из Петербурга по Николаевской железной дороги, на станции Бологое пересел в поезд рыбинско-бологовской жел. дороги и поехал в Новгород. Прибыв рано утром в Новгород, Ильин отправился на Торговую сторону и зашел в один из домов, находящихся на окраине города. Спустя полчаса, Ильин вышел оттуда с неизвестным мужчиной и в 9 час. утра они зашли в исторический музей, находящийся в Кремле. Пробыв там полчаса, Ильин вышел с тем же неизвестным, расставшись с которым на Торговой стороне, после перехода через мост, уехал паромом в Чудово, а оттуда, по николаевской жел. дороге, — в С. Петербург. В виду этого не оставалось сомнения, что типография „Трибун“ находится в Новгороде. В целях точного определения ее места был командирован в Новгород чиновник отделения. Вот что писал в своем докладе чиновник, прибыв 2 июля из командировки: „Свидевшись с оставшимися в Новгороде филерами, я узнал от них, что неизвестный мужчина, посетивший с Ильиным исторический музей, нигде более не показывался. Установить негласно, кто именно живет в историческом музее и кто заведывает им — не удалось. Я решил лично посетить музей. Дверь оказалась незапертой, и я вошел в переднюю, в которой никого не оказалось. Я окликнул, есть ли кто-либо в помещении? На мой оклик, в довольно длинном коридоре показался молодой человек. Подошел ко мне и разглядев меня, он, видимо, смутился и, стараясь скрыть смущение, спросил, что мне угодно? Я тоже несколько смутился, так как личность молодого человека была знакома мне по с.-петербургскому университету. Скрыв, в свою очередь, смущение, я спросил его, можно ли осмотреть музей? Молодой человек ответил утвердительно и, извинившись, что сторож куда-то ушел, запер на замок входную дверь и предложил мне подняться на второй этаж. Ну, думаю, заведет он меня куда-нибудь, где вдвоем или втроем и проучат меня за розсыл подпольной типографии. Во время осмотра древних исторических вещей и предметов, я старался решить два вопроса: где именно находится типография и как фамилия молодого человека, который считался консерватором музея? После осмотра мы вышли вниз. Этот консерватор предложил мне расписаться в посетителе

тельной книге. Я расписался „Петровским“. Поблагодарив молодого человека, я ушел из музея, купив при выходе каталог всех предметов и вещей, находящихся в музее. Просматривая в номере гостиницы каталог и узнав, что музей в будни открыт для осмотра с 11 часов дня, а по праздникам с 12 часов, я пришел к убеждению, что Ильин с неизвестным мужчиной приходил не для осмотра музея, так как 22 июня до 11 час. дня музей был закрыт, а по личным я, вероятнее всего, по партийным делам. Стало-быть, никакого сомнения нет, что если типография „Трибун“ находится в Новгороде, то она может храниться только в помещении исторического музея. В следующую ночь я уехал в Петербург. Явившись в отделение, сейчас взял альбом с фотографическими карточками студентов петербургского университета и вскоре установил, что консерватор новгородского исторического музея есть бывший студент петербургского университета Василий Тимофеев Талалаев, привлекавшийся уже к дознанию за печатание прокламаций и проживающий под гласным надзором полиции в Новгороде“.

Вслед затем в Новгород был командирован, с необходимым числом филеров, помощник начальника охранного отделения, ротмистр Мочалов. Наблюдением за Талалаевым установлены были его сношения с группой лиц, составивших в Новгороде революционный кружок, поддерживающий деятельные сношения с группой сообщников, проживающих в Петербурге.

22 августа оба кружка были ликвидированы, и типография „Трибун“, которой заведывал Талалаев, была арестована. Кроме вышеупомянутых Талалаева и Ильина, по этому делу были арестованы следующие наиболее выдающиеся лица: дворянка Раиса Тютчева, по первому мужу Прибылева, бывший ссыльный мещанин Николай Ушаков, братья Иван и Алексей Прокофьевы, студент петербургского университета Семен Федулов, бывший студент того же университета Федор Бартольд и некоторые другие лица.

VI.

Весной этого же года в отделении впервые были получены сведения, что в Петербурге организуется из наиболее радикальных элементов новое преступное общество, положившее в основу своей деятельности программу ранее существовавшей группы „народовольцев“ и принявшее наименование „социал-революционеров“.—В виду этого, деятельность охранного отделения во второй половине 1897 г. направлена была преимущественно к выяснению лиц, примкнувших к вышепозванному сообществу. Действительно, к концу года отделение имело сведения о большей части лиц этого сообщества. Не мало помогло выяснению по этому делу нижеследующее обстоятельство.

В начале сентября 1897 г. была отправлена из Петербурга по николаевской жел. дороге партия лиц, предназначенных к административной ссылке. Во время прибытия партии на николаевский вокзал, туда же явился молодой человек в форме студента военно-медицинской академии, с фотографическим аппаратом, который, при переходе партии через перрон, произвел фотографический снимок. Заметив это, два филера установили местожительство этого медика. Затем было выяснено, что он — студент военно-медицинской академии Константин Пехтер. Дальнейшим наблюдением были установлены

сношения его с некоторыми лицами из сообщества „социал-революционеров“ и, кроме того, была выяснена значительная часть новых лиц этого же сообщества. В виду того, что действовавшая в Петербурге группа „социал-революционеров“ поддерживала весьма оживленные сношения с членами этой же группы, находившимися в Киеве, Одессе и Екатеринославе, департамент полиции сделал распоряжение, чтобы ликвидация группы „социал-революционеров“ произведена была одновременно как в Петербурге, так и вышеупомянутых трех городах.

30-го января была, наконец, ликвидирована первая группа „социал-революционеров“, а спустя полтора месяца, именно, 12-го марта, и вторая. Обысками по С.-Петербургу были обнаружены и отобраны у обысканных в громадном количестве печатные преступные издания, отпечатанные, большей частью, за-границей, и только незначительная часть была напечатана в подпольной провинциальной типографии. Из числа обысканных и арестованных в С.-Петербурге по группе „социал-революционеров“ оказались: служащий в департаменте таможенных сборов Михаил Данилов Кутومانов (впоследствии член Государственной думы второго созыва), бывший студент Александр Фролов Свирчевский, архитектор Владимир Николаев Курицын, дочь полковника Александра Владимировна Померанцева (впоследствии вышла замуж за Курицына), слушательница высших женских курсов Елена Васильева Степаненко, горный инженер Владимир Александров Вознесенский, земский статистик Сергей Андреев Горюшин, служивший в департаменте земледелия Евгений Евгеньев Колосов, слушательницы: высших женских курсов Вера Хатемкина, женского медицинского института: Елизавета Рооп, Серафима и Елена Георгиевны Клитчоглу и Серафима Довгелло, поднадзорный крестьянин, Александр Маклецов (впоследствии член Государственной думы), главари группы: дворянин Николай Павлов Булич и дворянин Николай Матвеев Глазов (занимающийся ныне книгоиздательством) и мног. др.

VII.

В середине апреля 1898 года среди рабочих в С.-Петербурге появились печатные прокламации, изданные „типографией группы рабочих революционеров“, с приглашением праздновать день 1-го мая, как „всемирный рабочий праздник“. Принятыми, вслед за тем, в отделении мерами было установлено, что распространителем этих прокламаций является рабочий, еврей Яков Ипков Басс, а сообщник его — типографский наборщик, также еврей, Израиль Еселев Соркин. Благодаря прекрасной деятельности агентуры, вскоре удалось установить остальных сообщников Соркина по распространению нелегальной литературы, при чем, одновременно с этим, были получены указания, что в С.-Петербурге образовалась новая революционная организация, принявшая наименование „Русской социал-демократической рабочей партии“, а, по словам Соркина, названная партия предполагала вскоре выпустить в обращение свой печатный орган „Рабочее Знамя“. Дальнейшей деятельностью отделения к концу июня 1898 года были установлены проживающие в С.-Петербурге главари названной партии. каковыми оказались: ветеринарный врач Илья Моносов Ромм, технолог Хосюн Хацкелов Лурье, аптекарский помощник Исидор Мануйлов Гужовский, лисьмоводитель императорского вольно-экономического

общества Иван Адамов Саммер, секретарь редакции журнала „Хозяин“ Айаик Хацкелев Айзенберг, инженер-технолог Иосиф Шилдигер и слушательница медицинского института Ольга Михайлова Звягина.

Так как наблюдением за сношениями Хонова Лурье установлено было, что преступные издания он привозит из Белостока от мещанина Рубина Нухимова Фридмана, проживавшего в д. № 6, по Немецкой ул., вместе с мещанкой Рашей Яковлевой Страж, то в ночь на 26-е июля в квартире их произведен был обыск, которым обнаружена была совершенно оборудованная типография и значительное количество, отпечатанных там же, брошюр преступного содержания. Спустя два дня была проведена и в С. Петербурге ликвидация вышеупомянутых членов „Русской социал-демократической рабочей партии“. Обыски в С.-Петербурге оказались в высокой степени результативными.

Выше было упомянуто, что деятельность в С.-Петербурге „союза борьбы за освобождение рабочего класса“ значительно ослабела, благодаря успешным ликвидациям в конце 1896 года и в первой половине 1897 года. Вот что пишет по этому поводу апологет „союза борьбы“, В. Махновец (псевдоним „Аким“) в своей брошюре—„Очерк развития социал-демократии в России“: „В ночь с 8-го на 9-ое декабря 1895 года произошли (в С. П. Б.) аресты членов „союза борьбы“. Аресты продолжались весь декабрь и январь 1896 года и частью в феврале (стр. 53). „Союз борьбы“ тоже понес тяжелые потери и летом 1897 г., затем он снова был разгромлен 21-го марта, когда была взята также типография на Сергиевской ул., только что поставленная и имевшая целью обслуживать „союз“. (На Сергиевской ул. обыском обнаружена лишь железная рама для типографского станка)...

VII.

Подобного рода непрерывные и притом успешные ликвидации заставили призадуматься как интеллигентов-руководителей столичных и провинциальных кружков, так равно и самих рабочих.

Интеллигенты причину провалов усматривали в недостаточной сплоченности отдельных кружков, в отсутствии общих директив, благодаря чему каждый кружок действовал на свой риск и страх, и, наконец, — отсутствию общей для всех кружков программы революционных действий. Так как с возникновением в С.-Петербурге кружков, именовавшихся „союзом борьбы за освобождение рабочего класса“, почти в то же время начали возникать такие же кружки и в других промышленных центрах, в Москве, Киеве, Екатеринославе и др., — то руководители кружков, в целях объединения действий и выработки общей для всех программы, пришли к необходимости устройства съезда. Руководя рабочими от имени „союза борьбы“, интеллигенты всегда подмечали в большинстве рабочих желание ограничить свои требования строго-экономическими рамками и отнюдь не выставлять политических требований. Дабы воздействовать на рабочих и в политическом отношении, интеллигенты-руководители задумали организовать такое сообщество и с таким исполнительным органом во главе, члены которого были-бы обязательны для каждого, принадлежащего к „союзу борьбы“ или к другим группам, преследовавшим те же цели.

Действительно, в начале марта 1898 года в городе Минске съезд состоялся. В этом съезде принимали участие представители следующих революционных организаций: „петербургского союза борьбы“, „кневской группы“, „рабочей газеты“, „екатеринославского союза борьбы“ и „всеобщего еврейского рабочего союза Польши и России (Бунда)“. Установлено было тогда же, что в съезде принимали участие: мещанин, православный, но из евреев, Борис Александрович Эйдельман, сын священника Павел Лукин Тучапский, мещанин, католик Казимир Адамов Петрусевич и др. На съезде было принято, что все вышеупомянутые организации сливаются в одну, с названием „российской социал-демократической рабочей партии“, при чем „общееврейский рабочий союз в России и Польше“ входит в партию, как автономная организация; исполнительным органом партии должен являться центральный комитет, избранный съездом партии, которому комитет и отдает отчет в своей деятельности. Кроме того, членами съезда выпущена ширококвотная прокламация с заглавием „Манифест Российской социал-демократической рабочей партии“, извещавшая о состоявшемся съезде и образовании названной партии. В. Махновец в своем очерке „Первое мая в России“, упоминая о возникновении р. с.-д. р. п., добавляет, что: „это было лишь формальным признанием факта существования политического движения нового социалистического направления в России. В этом все историческое значение съезда. Формы, созданные им, были тотчас же разрушены полицией и до 1902 года не было центрального комитета партии“.

Распространяя свою деятельность, члены „союза борьбы“ еще осенью 1896 года вошли в сношения с рабочими ижорских адмиралтейских заводов в посаде Колпино, близ С.-Петербурга, и основали там тайный кружок. Организаторами названного кружка были: сын чиновника Василий Ванев, конторщик вышеуказанных заводов Александр Фельдман и, привлекавшийся уже к дознанию, рабочий Яков Андреев. Вскоре этот кружок попал под влияние других интеллигентов, намеревавшихся продолжать деятельность в духе „союза борьбы“, именно: акушерки Варвары Наденной, студентов лесного института Михаила Кучинского и Вацлава Килянского, лекаря Вигдора Мандельберга, слушательницы клинического повивального института Елены Крумзе и др. Вышеупомянутый Яков Андреев осенью 1897 г. вошел в сношения с рабочим Василием Поляковым, представителем от рабочих обуховского завода, человеком довольно развитым и предприимчивым. Именно этот Поляков и задумал издание для рабочих новой газеты при содействии и участии самих же рабочих, так как Полякову казалось, что статьи интеллигентов не особенно будут понятны для полуграмотных рабочих. Несколько времени спустя, действительно, появились в С.-Петербурге изданные на mimeографе №№ 1 и 2 новой газеты под названием „Рабочая Мысль“, которые редактированы были, по просьбе Полякова, врачом Николаем Богоцем, а mimeографировались учительницей обуховской заводской школы Надеждой Корсак-Кульженко. В январе 1898 года вся эта группа была ликвидирована. Будучи освобожден в июне того же года из-под стражи под особый надзор полиции, Поляков вскоре опять принялся за агитационную деятельность; в этих целях сошелся с братьями Юлием и Августом Кок и они совместно приступили к организации нового кружка. К этому кружку, назвавшемуся группой „Рабочей Мысли“, вскоре примкнули: слушательница вечерних женских курсов Мария Ситарева, повиваль-

ная бабка Евдокия Окунцова, а впоследствии — студенты с.-петербургского университета Николай Лохов, Владимир Шкляревич и Михаил Батырев; технологического института Сергей Кирпичников, Владимир Носков, Михаил Гардеенко и др., сын потомственного почетного гражданина Владимир Федоров (именовавший себя Забрезным), домашняя учительница Евгения Колышкевич и др. Все эти лица стремились соединить распавшиеся группы „союза борьбы“ со вновь возникшею группой „Рабочей Мысли“ в одно целое, но, благодаря умелой и своевременной деятельности охранного отделения, это ими не было достигнуто, хотя в течение следующего, 1899 года, эта группа еще несколько раз давала знать о своем существовании, но снабжение рабочих подпольной литературой представляло для этой группы чрезвычайные трудности, так как печатать в С.-Петербурге или его окрестностях, в виду зоркой деятельности охранного отделения, являлось совершенно невозможным, почему „Рабочая Мысль“ с тех пор печаталась сперва в Финляндии, а затем в Германии, и уже контрабандным путем водворялась в пределы империи.

В том-же, 1898 году, учительница воскресной школы русского технического общества в шлиссельбургском районе, Ольга Звездочетова, совместно с бывшим студентом с.-петербургского университета Сергеем Андроновым и помощником присяжного поверенного Михаилом Смирновым, согласились вести пропаганду среди рабочих названного района, внушая последним необходимость борьбы с государственным и экономическим строем в России. Вскоре, при содействии мастера фабрики Паля, Виктора Ногина, организован был тайный кружок рабочих, принявший наименование: группа „Рабочего Знамени“. К этому кружку вскоре примкнули организаторы других кружков: бывший студент с.-петербургского университета Сергей Цедербаум (родной брат Юлия Цедербаума — „Мартова“), губернский секретарь Владимир Татаринов, слушательницы акушерских курсов Ольга и Юлия Гольдман, сестры Цедербаум, вышеупоминавшийся Константин Шехтер и др.

В половине декабря 1898 года определившаяся к этому времени группа „Рабочего Знамени“ была ликвидирована и главные ее вожаки арестованы, при обысках были обнаружены мимеографы и значительное число вещественных доказательств.

IX.

Во время ликвидации этой группы произошло крупное событие, результатом чего было предание многих рабочих суду с.-петербургской судебной палаты. Вечером, 16-го декабря, пристав шлиссельбургского участка явился с небольшим нарядом полиции к помещению общежития рабочих фабрики Максведа для обыска и ареста 2—3 рабочих по ордеру охранного отделения. Наряду полиции было оказано сопротивление: было брошено с четвертого этажа несколько поленьев дров. Приостановив исполнение ордера, пристав доложил по телефону о происшедшем градоначальнику. Последний приказал послать туда большой наряд полиции и, при его содействии, привести в исполнение ордер охранного отделения. К 4-м часам утра к общежитию Максведа прибыли несколько сот пеших и конных городских, имея во главе полицеймейстера, подполковника Палибина и начальника полицейского резерва подполковника Галле. Было решено взять общежитие приступом, но без употребления в дело ни огнестрельного, ни

холодного оружия. По данному сигналу городовые ринулись по лестнице вверх. В этот же момент рабочие погасили электричество и стали бросать в городовых дрова, пустые бутылки, а некоторые лили кипяток. На один момент городовые, было, приостановились, но затем снова быстро ринулись вверх, и не прошло двух-трех минут, как вся лестница была занята ими. В общежитии, оказалось, проживали не менее 300 рабочих со своими семьями, а вся численность проживавших там была не менее 1200 душ. Вслед затем был произведен во всем помещении тщательный обыск, которым обнаружены были несколько нелегальных лиц и большое количество революционной литературы. Все виновники оказанного полицией сопротивления немедленно были арестованы и впоследствии преданы суду.

Х.

В первой половине 1899 года с.-петерб. охранному отделению пришлось затратить много энергии и времени на борьбу с возникшим — в небывалых, до тех пор, размерах студенческим движением.

Волнения среди студентов столичных высших учебных заведений, и, преимущественно, университета, за время существования охранного отделения, происходили через довольно правильные промежутки: 1) в январе 1882 года волнения среди студентов университета возникли по поводу благодарственного адреса основателю коллегии (общежития) при университете, Полякову, составленного профессорами университета; студенты находили нетактичным поступок профессоров, пославших адрес еврею-банкиру, нажившему громадные капиталы путем банковых операций и участием в железнодорожных предприятиях и затем пожертвовавшему значительный капитал на устройство студенческого общежития, почему многим студентам казалось, что Поляков отнюдь не заслуживает благодарности, так как пожертвованные капиталы приобретены Поляковым неблагоприятными путями. 2) Волнения среди студентов с.-петербургского университета в сентябре 1884 года явились откликом на беспорядки, происшедшие 8-го сентября того-же года среди студентов университета св. Владимира в день празднования пятидесяти-летнего юбилея названного университета; как известно, университет св. Владимира был потом закрыт и все студенты уволены. 3) Волнения же студентов университета в начале декабря 1887 года явились, как результат сочувствия студентам московского и казанского университетов, инспекторам которых — первого г. Брызгалову, а второго Потапову — были нанесены студентами оскорбления действием. 4) В марте 1890 г. снова возникли волнения среди студентов с.-петербургского университета и, повидимому, совершенно без побудительной причины, если не считать за таковую агитацию некоторой части студенчества об отмене университетского устава 1884 года и введении вновь устава 1863 года. 5) Совершенно незначительные, по своим размерам, беспорядки среди студентов с.-петербургского университета произошли в двадцатых числах февраля 1893 года, начавшись 19-го числа, в годовщину освобождения крестьян. 6) Конец 1894 года в С.-Петербурге также ознаменовался волнением среди студентов с.-петербургского университета, намеревавшихся составить и представить государю императору петицию об отмене устава 1884 года и даровании автономии всем университетам.

Конечно, студенческие волнения приводили к тому, что иници-

аторы волнений и наиболее деятельные агитаторы арестовывались, исключались из учебного заведения и высылались из столицы. После этого на происходивших сходках речь уже шла не о поддержке прежних требований, а о возвращении исключенных товарищей и, наконец, мало-по-малу, успокаивались. Вообще было замечено, что на происходивших в 80-х и 90-х г.г., до начала 1899 года, сходках студенты ни разу не предъявляли каких-либо требований политического характера и касались вопросов только академического характера.

Не так было в 1899 году. Как известно, ежегодно 8-го февраля студенты с.-петербургского университета празднуют годовщину основания своего университета, при чем, присутствуя на торжественном акте во время чтения ректором годового отчета, иногда позволяли себе делать выходки демонстративного характера по адресу ректора, если последний был имя нелюбим. В начале 1899 года ректором был профессор уголовного права Сергеевич, о котором студенты знали, что он в своих сочинениях является сторонником смертной казни. Особенно нелюбившие его студенты решили сорвать актовую его речь. Охранное отделение, получив сведения об этом намерении студентов, поставило в известность г. Сергеевича. Одновременно с тем, в отделении имелись также сведения о намерении студентов после акта устроить демонстративное шествие, с пением марсельезы, через Дворцовый мост и затем по Невскому проспекту, в виду чего был выслан значительный наряд пеших и конных городовых, чтобы воспрепятствовать студентам переход по Дворцовому мосту и направлять их или к переходу через Неву у Румянцева сквера, или же на Биржевый мост. Действительно, акт был сорван самым грубым и недостойным, для студентов, образом. Выйдя из университета, значительная часть студентов направилась к переходу у Румянцева сквера и здесь остановились. Городовые предложили студентам расходиться, но последние, повидимому, не желали исполнить требование, а некоторые начали издеваться и острить над городовыми. Наконец, некоторые из студентов начали бросать в конных городовых комки снега, а один, оставшийся неизвестным, студент схватил кусок льда, бросил его в поручика конно-полицейской стражи Владимирова и причинил последнему ушиб. Поручик Владимиров приказал разогнать хулиганствовавших студентов. Городовые тотчас-же исполнили приказание своего начальника, рассеяв безчинствовавшую толпу, причем городовые нескольких студентов стегнули нагайками.

Стегали студентов нагайками и раньше. Был случай, именно 8-го февраля 1896 года, когда пьяная толпа студентов стала ломать входную дверь в ресторан Палкина и затем вступила в драку с вызванными дворниками, то последние били студентов и метлами, и палками. И студенты молчали. Но после полученных ими нагаек 8-го февраля 1899 года, благодаря подстрекательству либеральной части прессы, среди студенчества возникли самые бурные волнения, охватившие не только высшие учебные заведения столицы, но и все высшие учебные заведения других городов Империи. Движение это, впрочем, вскоре приняло революционный характер.

Столкновением студентов с полицией 8-го февраля воспользовалась радикальная часть студентов, состоявших членами нелегального сообщества, называвшегося „Касса взаимопомощи студентов с.-петербургского университета“. „Касса“ эта существовала уже года три и преследовала, главным образом, две цели: приобретение для сту-

действия революционных или же тенденциозных изданий и сбор денег для той же цели и для оказания материальной помощи политическим ссыльным и заключенным. Достаточно упомянуть только нескольких членов „кассы взаимопомощи“, чтобы убедиться в ее революционном характере: 1) Иван Каляев, впоследствии совершивший убийство великого князя Сергея Александровича, 2) Борис Савинков, организовавший вышеупомянутое убийство, а также убийство статс-секретаря В. Плеве и несколько покушений на убийства должностных лиц; 3) Георгий Носарь, приобретший впоследствии известность, как председатель совета рабочих депутатов; 4) Сергей Салтыков, бывший впоследствии членом 2-й Государственной думы и привлеченный ныне к судебной ответственности, как один из наиболее деятельных членов социал-демократической фракции; 5) Павел Щеголев, бывший впоследствии редактором революционного журнала „Былое“; 6) Михаил Могилянский, принимавший в 1905 году участие в организации покушения на убийство с.-петербургского генерал-губернатора Трепова. Уже этих фамилий достаточно, чтобы убедиться, что представляла собой „касса взаимопомощи“.

Члены „кассы взаимопомощи“, при обсуждении вопроса о прощении 8-го февраля, решили настаивать на требовании примерного наказания чинов полиции, а в целях добиться этого требования— объявить забастовку, т.-е. прекращение посещения лекций и, кроме того, всеми мерами препятствовать чтению таковых. Затем обратились с воззваниями к учащимся всех высших учебных заведений империи, прося поддержать их требования.

Между тем, 20-го февраля опубликовано было высочайшее повеление о назначении комиссии под председательством генерал-адъютанта Ванновского для производства всестороннего расследования о причинах студенческих волнений. Появление этого известия несколько успокоило студентов, и прекратившиеся лекции снова было возобновлены. Вскоре после этого среди студенчества стали циркулировать листки с готовыми ответами, какие должны были давать студенты на допросе в комиссии генерала Ванновского. Так как текст ответов был явно оскорбителен не только для чинов полиции, но и для лиц, занимающих высшие правительственные посты, то охранное отделение, получив агентурным путем несколько таких листков, представило их в вышеозначенную комиссию.

Еще на сходках 9 и 10 февраля радикальная (часть студентов) предложила на обсуждение нижеследующие требования к правительству в целях гарантии личной неприкосновенности студентов: 1) изменение существующего в законе порядка привлечения к законной ответственности чинов полиции за преступления по должности; 2) чтобы разбор такого рода дел происходил в определенный минимальный срок и 3) издание особых правил, коими регулировались бы действия полиции при поддержании наружного порядка и в частности отношения ее к студентам. Наконец, 4-го марта члены «кассы взаимопомощи» выпустили листок революционного характера, озаглавив его «манифест». «Мы протестовали, — гласит листок, — не только против данного события; мы не могли ограничиться требованием его расследования, предполагая даже, что оно будет вестись правильно. Мы рассматривали данное событие, как единичный факт господствующего в России строя, основанного на произволе, безгласности и полной необеспеченности, или даже отсутствии самых необходимых, скажем

более, священных прав развития человеческой личности. Протест наш был, таким образом, протестом против царящего в России произвола, единственную гарантию от которого мы видели в законе и его «незыблемости». Называя далее студенческие волнения одним из «проявлений нарождающихся стихийных сил, коим предстоит отправить в историческую гробницу русский абсолютизм», манифест приглашал «все действительно оппозиционные элементы и классы русского общества организовать для предстоящей борьбы, которая окончится только тогда, когда главная ее цель—свержение самодержавия—будет достигнута».

Этот манифест сделал до наглядности ясным характер студенческих волнений, что это не волнение студентов, а прелюдия русской революции. Для общего направления хода студенческого движения «касса взаимопомощи» предложила выбрать «организационный комитет», что было и сделано. Примеру студентов университета последовали и студенты других высших учебных заведений. «Бюллетени», воззвания и листки посыпались со всех сторон. Содержание их становилось с каждым днем все более и более наглым, между тем ликвидировать эти комитеты охранное отделение не решилось из-за существования комиссии генерала Ванновского. Наконец, листки и бюллетени начали третировать и комиссию Ванновского, доказывая, что никакого толку от этой комиссии не будет. Спустя еще несколько дней, охранному отделению разрешено было перейти из выжидательного положения в наступление: 21-го марта был арестован в полном составе «организационный комитет студентов с.-петербургского университета» с массой вещественных доказательств революционной его деятельности. Студенты ответили на это выбором «второго организационного комитета» и запасных членов для третьего. 24 марта, вечером, был арестован «второй организационный комитет», 26-го марта «организационный комитет студентов горного института и т. д.

Обыски и аресты вождей студенческих волнений, начавшись 21 марта, продолжались непрерывно до 12 апреля. Любопытно отметить здесь же, что из студентов всех столичных высших учебных заведений, в течение 80-го и 90 г.г., всегда наиболее революционно были настроены студенты лесного института. Причина этого явления заключалась в том, что здание этого института находится вне города, а также и в том, что значительная часть студентов-лесников жили в интернате при институте, и потому деятельность интернатов была вне надзора полиции. Лесники с самого начала волнений начали выпускать в громадном количестве бюллетени, и, когда охранное отделение положило предел выпуску листов студентами других учебных заведений, то лесники еще интенсивнее стали проявлять свою издательскую деятельность. Решено было наложить узду и на лесников. В этих целях, в ночь с 3 на 4 апреля приступлено было к обыску интерната, а также ботанического и физического кабинетов в названном институте. Этот грандиозный обыск закончился только в 8 час. вечера 4-го апреля. Вещественных доказательств, в виде mimeографов, гектографов и других приборов для размножения копий, было обнаружено весьма значительное число; обнаружен также и типографский станок. В результате арестованы были 56 человек. После этого обыска студенческие волнения прекратились.

XI.

Насколько сильно учащаяся молодежь проявила свою деятельность в студенческих волнениях в первой половине 1899 г., настолько же слабо проявлялась за тот же период времени деятельность их в качестве пропагандистов среди рабочих. Публицисты революционного лагеря нередко стараются убедить читающую публику, что революционные кружки рабочих возникают в России естественным путем, т. е. без инициативы со стороны учащейся молодежи, и что сама революция является результатом естественного развития русского народа, а следовательно, неизбежна, и потому самому необходима. События первой половины 1899 года доказали воочию, что «наилучшая» теория публицистов-революционеров безусловно ложна. Пропаганда среди рабочих в этот период настолько ослабела, что не приходится констатировать ничего выдающегося. Свои интересы казались учащейся молодежи ближе, а пропаганда — дело чужое. Все были заняты студенческими делами, и потому пропаганда на время была оставлена. Только несколько лиц, преимущественно из женщин, продолжали «рабочее дело», и то ограничившись только водворением из Финляндии в С.-Петербург нелегальной литературы, преимущественно газеты «Рабочая Мысль».

Весьма уместным будет здесь же констатировать один или два таких случая. Бывшая слушательница высших женских курсов Мария Сизарева, полагая со своими сообщниками, что охранное отделение в такие дни, как великая суббота и первый день Пасхи, прекращает свою деятельность, взялась доставить из Финляндии транспорт газеты «Рабочая Мысль», сложив аккуратно номера пластами под корсет, юбку, лиф и т. д. По приезде на финляндский вокзал, в самый казун Пасхи, Сизарева была задержана и затем доставлена в охранное отделение. На другой день Пасхи, сообщница Сизаревой Мария Неустроева на том же вокзале была задержана с чемоданом. При осмотре чемодана в охранном отделении, он оказался с двойным дном и двойными стенками; все промежутки были плотно заполнены номерами газеты «Рабочая Мысль». Отобранная, по личному обыску у Сизаревой и Неустроевой, переписка повела к аресту прочих их сообщников. Осмотр чемодана и первоначальный допрос Неустроевой производил начальник отделения, полковник Пирамидов, в присутствии нескольких офицеров и чиновников отделения. Ответив, что чемодан принадлежит ей, Неустроева объяснила, что ей неизвестно, что именно находится в чемодане. По вскрытии чемодана, между двойными стенками обнаружены были экземпляры «Рабочей Мысли». Номер одного из их начинался стихотворением:

Не ест Пирамидов, не пьет и не спит,
Все неотступная мысль его голову гложет,
Что в поисках своих «Рабочую Мысль»
Никак захватить он не может».

Прочитанное тут же стихотворение вызвало на лицах присутствующих улыбку. Неустроева смутилась. «А кто это Пирамидов?», — спросила Неустроева, «Я», — ответил начальник отделения. «Видите ли, г-жа Неустроева, — заметил полковник Пирамидов, — что я и ем и сплю, и вовсе неотступная мысль мне голову не гложет, потому что каждый транспорт «Рабочей Мысли» непременно попадет ко мне в отделение».

И, действительно, в весну 1899 года охранное отделение перехватило значительное число транспортов с нелегальной литературой. Один шутник отправил в С. Петербург чемодан с парой полн дров и старыми газетами вместо нелегальной литературы. Конечно, вскрытие этого транспорта вызвало дружный хохот присутствовавших при вскрытии.

ХП.

По мере приближения мая месяца, члены группы „Рабочей Мысли“, а также некоторые, считавшие себя принадлежавшими к „союзу борьбы за освобождение рабочего класса“, и, наконец, кое кто из членов возникшей во второй половине 1898 года „группы освобождения рабочего класса“ принялись за агитацию празднования рабочими дня 1-го мая. Но агитация эта была прекращена арестами 29-го и 30-го апреля самих агитаторов и отобранием большого количества нелегальной литературы и воззваний, подстрекавших рабочих к празднованию 1 го мая. В числе арестованных главарей этой агитации оказались: домашняя учительница Вера Гурари, окончивший курс в юрьевском университете Константин Попов, потомственный почтенный гражданин Всеволод Кожевников, рабочие Владимир Привальнев, Арсений Покровский, Алексей Заикин и некоторые др.

В конце июня этого года охранным отделением арестован был на ст. Турсево по Финляндской ж. д. весьма большой, для того времени, транспорт нелегальной литературы (около 2.000 экзем.), переданный кем-то на хранение проживающему там студенту военно-медицинской академии Льву Дагаеву.

После прекращения студенческих волнений, преступная агитация среди рабочих снова возобновилась. В начале июля созревшая вновь группа „Рабочей Мысли“ была ликвидирована, причем обысками отобрано было значительное количество нелегальной литературы. В числе арестованных названной группы оказались: слушательница рождественских курсов Надежда Архангельская, дочери статского советника Юлия и Елизавета Раковы и рабочие адмиралтейских ижорских заводов Петр Китаев, Василий Ефимов, Александр Фелдман и некоторые др.

Вскоре, однако, после этой ликвидации, в охранном отделении получены были сведения о существовании группы пропагандистов, принявшей наименование „группы рабочих для борьбы с капиталом“. Принятыми отделением мерами члены этой группы были выяснены, установлены и затем подвергнуты обыскам и арестам. Наиболее деятельными в этой группе оказались следующие лица: дворянин Викентий Гutowский, слушательница курсов Лесгафта Елизавета Барабанщикова, дворянин Николай Полубояринов, конторщица Мария Борисова, бывший студент электротехнического института Владимир Зеест, горный инженер Михаил Прогодяконов и курсистка Геня-Хася Гуревич.

В течение 1900 года учащаяся молодежь столичных высших учебных заведений принимала весьма малое участие в революционной пропаганде среди рабочих. Это кажущееся странным явление объясняется тем обстоятельством, что после произведенных в предыдущем году арестов и высылки значительной части радикального студенчества, оставшиеся в стенах учебных заведений элементы разби-

лись на две части, из коих одна не желала возобновлять студенческого движения, а другая, малочисленная по составу, организовывалась для будущей возннкнуть борьбы с правительством.

Как и в предыдущие годы, брожение среди столичных рабочих, хотя довольно слабое, начало проявляться к 18-му апреля, если не считать 3-х небольших противоправительственных организаций, ликвидированных 13-го марта этого года: возникшего на короткое время „союза борьбы за освобождение рабочего класса“, подпольного „Красного Креста“ и недолго просуществовавшей „группы 20“, включившей в свою программу также требование о разрешении политических прав рабочих. Некоторые из арестованных по этим группам лиц оказались прикованными к группе, о которой вслед за сим последует изложение.

Одновременно с появлением среди рабочих новых номеров „Рабочей Мысли“ стали появляться и листки от имени „рабочей партии политического освобождения России“. Агентурой отделения и наблюдением летучего отряда филеров департамента полиции были установлены сношения некоторых лиц, принадлежавших к группе „Рабочее Знамя“ и проживавших в С.-Петербурге, с их единомышленниками, жившими в гор. Минске.

18-го апреля в Минске обнаружена тайная типография, печатавшая „Прибавление к № 2 Рабочего Знамени“, листки вышеупомянутой партии и брошюру „Свобода“, которую редактировал приобретший впоследствии слишком печальную известность Григорий Гершуни. Спустя 10 дней, именно 29-го апреля, произведена была и в С.-Петербурге ликвидация членов преступной группы „рабочей партии“. В числе обысканных и арестованных оказались: дворянин Михаил Дмитриев Сладкопевцев, жена мещанина Любовь Михайловна Клячко (урожденная Ларионова), вышедшая, в целях перемены фамилии, замуж за крещеного еврея Семена Клячко, слушательница высших женских курсов Елена Александрова Щеголева, Даниил Пименов Колотов, рабочие Сергей Домрачев, Петр Толмачев, Александр Челышев и многие другие.

ХШ.

Конец 1900 года ознаменовался снова возникшими волнениями среди студентов с.-петербургского университета, среди которых успел вновь появиться „организационный комитет“, члены которого выжидали какого-либо предлога, чтобы подстрекнуть остальных товарищей к активной борьбе с правительством. Вскоре подходящий предлог был найден, и студенческие волнения вновь охватили не только столичные, но и все высшие учебные заведения в империи.

На 23 ноября назначена была к представлению в Малом театре (А. Суворина) пьеса Крылова и Литвина „Контрабандисты“.

Пьеса эта была не новая и давалась ранее на сценах под названием „Сын Израиля“. Революционная часть учащейся молодежи, к которой принадлежат все студенты и курсистки еврейского племени, задумали сорвать эту пьесу, усматривая в ней будто-бы осмеяние религиозных чувств еврейского народа. Началась агитация. В назначенное время начался спектакль в Малом театре. Большая часть билетов была куплена лицами, явившимися в театр с целью сорвать представление пьесы и захватившими с собою свистки, огурцы, картофель

и т. п. предметы. С поднятия занавеса демонстрация пошла во всю: свистки, крики, бросание разных предметов на сцену и т. п. Таким образом, каждый акт этой пьесы начинался и прерывался по нескольку раз. Наконец, заготовленный еще ранее полицейский наряд вошел в театр и вывел оттуда всех бесчинствовавших. По удостоверении личности, все задержанные были отпущены и затем были привлечены к судебной ответственности за нарушение общественного порядка. Лично присутствовавший на этом спектакле начальник охранного отделения, полковник Пирамидов, возвратившись в отделение и беседуя с чинами отделения по этому поводу, пророчески заметил: „нет, это не демонстрация, а настоящая революция“. Слова полковника Пирамидова оказались верными, и началом русской революции надобно считать не 9-ое января 1905 года, как это принято революционными партиями, но 23-ье ноября 1900 года.

На другой день, 24-го ноября, среди студентов стали циркулировать слухи, что при удалении полицией демонстрантов из театра, многие из задержанных, между которыми большинство были студенты и курсистки, подверглись будто-бы со стороны полиции побоям и истязаниям.

Пошли снова сходка за сходкой. Вновь появились воззвания от всевозможных организаций. К волнениям примкнули, хоть и незначительными частями, студенты и других учебных заведений. Наконец, в начале декабря, главари волнений были арестованы, исключены из университета и высланы из столицы. Этим событием и закончился 1900 год, не предвещая ничего отрадного для порядка и общественной безопасности не только по столице, но и по всей империи.

XIV.

15-го января 1901 года начались лекции в с.-петербургском университете. Главари студенческих волнений оповестили товарищей, что они изготовляют отчет о событиях в с.-петербургском университете, а пока роздали листки следующего содержания: „В с.-петербургском университете уволены 31 человек; в киевском университете студенты в солдаты 182 человека. Товарищи, наступил критический момент: соберитесь на сходку в поведельник, 22-го января к 12 час. дня, на площадке перед актовым залом“.

Сходка состоялась. На ней обсуждались вопросы, как реагировать студентам: обструкцией, забастовкой или всеобщим протестом. Большинство студентов склонно было к протесту. Вслед за этой сходкой посыпались целые тучи воззваний, заявлений и бюллетеней с подписями различных групп: „союза справедливых“, „группы университетов“, „организационного комитета“ и др.

К середине февраля все эти прокламации стали обращаться к учащейся молодежи с призывом всеобщего протеста против применения „временных правил“ об отдаче студентов в солдаты. Не взирая на то, что 16 февраля охранное отделение арестовало группу лиц, в числе коих оказался и Алексей Покотилов, впоследствии виновник взрыва в Северной гостинице, печатавших приглашения к устройству демонстрации 19-го февраля у Казанского собора, а также арестовало 18 лиц, собравшихся в больнице Николая Чулотверца с целью обсуждения вопроса о способе выражения протеста, — демонстрация 19-го февраля все-таки состоялась, и так как толпа демонстрантов знач-

лась исполнить требование полиции разойтись, то она была окружена полицией, задержана и переписана. Задержанными оказались, преимущественно, студенты и курсистки 16 столичных высших учебных заведений.

За несколько дней до этой демонстрации, именно 14-го февраля, был смертельно ранен выстрелом из револьвера министр народного просвещения Боголепов явившимся к нему, в качестве просителя, гомельским мещанином Петром Карповичем. Произведенным по этому поводу следствием было установлено, что убийца никакого прикосновения к революционным организациям в столице не имеет и только накануне убийства прибыл в С.-Петербург.

Произведенными охранным отделением 1—3 марта обысками и арестами подстрекателей к устройству новой демонстрации, при чем было отобрано несколько флагов с революционными надписями, подготовленных для демонстрации, предотвратить таковой не удалось, и она состоялась 4-го марта, тоже у Казанского собора. Участвовавшая в демонстрации толпа состояла, преимущественно, из учащейся молодежи обоих полов, но кроме них явились в значительном числе и литераторы-публицисты. Были подняты в толпе восемь флагов с революционными надписями. Начались было речи и разбрасывание воззваний. Явившиеся для водворения порядка казаки и полиция были встречены демонстрантами палками, железными прутьями и обломками карнизов паперти собора. В результате значительная часть демонстрантов была разогнана при помощи нагаек, а меньшая, именно 330 мужчин и 377 женщин, была арестована.

Об участниках в демонстрациях 19-го февраля и 4-го марта произведено было в отделении дознание в порядке охраны, при чем все 960 человек были допрошены. Независимо от сего, о лицах, явившихся на демонстрации с флагами, возбуждено было дознание при с.-петербургском губернском жандармском управлении.

В ночь с 9-го на 10-ое марта совершено было покушение на жизнь обер-прокурора святейшего синода Победоносцева.

Виновником этого покушения был сын чиновника Николай Лаговский, произведший несколько револьверных выстрелов в окно квартиры действительного тайного советника Победоносцева, к счастью, не причинивших последнему никакого вреда. Судебным следствием было установлено, что Лаговский только за несколько дней до покушения прибыл в С.-Петербург и с представителями революционных организаций в России не мог видаться.

С арестом, во время демонстрации, значительной части вожakov студенческих волнений, последние, как-будто притихли, но за то среди остальной части студенчества образовались, частью вновь, а частью из существовавших ранее, несколько подпольных групп, при чем к некоторым из них примкнули наиболее радикальные элементы из публицистов, помощников присяжных поверенных, учителей и учителей и т. п. профессий. Эти группы вновь стали обсуждать вопрос о демонстрации, предполагая устроить таковую 19-го апреля, по случаю дня всемирного рабочего праздника, и так как демонстрация должна была принять чисто-революционный характер, то решено было привлечь, путем агитации, к участию и рабочих столичных фабрик и заводов. Для выяснения возможно-большого числа агитаторов, охранное отделение мобилизовало все силы агентуры и наблюдательного состава. К половине апреля состав агитаторов, наконец, был выяснен, и в ночь

с 18-го на 19-ое апреля произведены были в столице небывалые, по своей численности, обыски и аресты: были обысканы 283 лица. О всех этих лицах возбужденная в порядке охраны переписка производилась в отделении, и, на основании постановления особого совещания при г. министре внутренних дел, большая часть этих лиц была выслана с воспрещением жительства от одного до трех лет. Значительное число высланных поселились на дачах в Финляндии, по линии финляндской железн. дор. и, конечно, не прекращая своей революционной деятельности, не только дирижировали революционным движением в С.-Петербурге, но вели преступную пропаганду и среди населения Финляндии.

XV.

Одновременно с только что упомянутыми группами, была ликвидирована 18 го апреля „группа пропагандистов союза борьбы за освобождение рабочего класса“, во главе которой находились бывшие студенты: с.-петербургского университета Борис Савинков, электротехнического института Евгений Тарасов и лесного института Дмитрий Зайцев.

В марте месяце этого же года в отделение поступили сведения о группе лиц, поставивших себе целью пропаганду социалистических идей среди фабрично-заводских рабочих столицы и принявших уже старое наименование „комитета рабочей организации союза борьбы за освобождение рабочего класса“. Деятельностью агентуры и наблюдательного состава в середине июня месяца лица этой группы выяснены и установлены, и так как этими лицами велась среди рабочих агитация об устройстве 17-го июня новой демонстрации на Невском проспекте, то в ночь с 15-го на 16-ое июня группа эта была ликвидирована, при чем были арестованы и главарь этой группы: врач Иван Покровский, дочь чиновника Мария Любинская, акушерка Мария Логачева, дочь статского советника Екатерина Маркова, сын священника Яков Пономарев и др.

В самый разгар студенческих волнений, именно с 9-го на 10-ое февраля, охранным отделением была ликвидирована петербургская группа „Рабочего Знамени“, во главе которой стояли: сын протоперера Николай Татаров, упоминавшийся выше помощник присяжного поверенного Михаил Смирнов, жена последнего Надежда Смирнова (родная сестра вышеупомянутого Сергея Андронова), помощник присяжного поверенного Илья Пичахчи, технолог Абрам Лурье, бывший студент горного института Александр Савинков и некот. др. Группа эта выяснена совместной деятельностью агентуры департамента полиции и наблюдательным составом отделения.

Хотя попытки агитаторов из интеллигенции, подстрекавших фабрично-заводских рабочих ко всеобщей забастовке, оказались безуспешными, тем не менее на некоторых фабриках и заводах в районе Шлиссельбургского участка в мае месяце произошли частные забастовки и в том числе на фабрике Паля. Разумеется, забастовщики были рассчитаны. Последние начали сперва подстрекать, а потом требовать от продолжавших работать примкнуть к забастовавшим. Те отказались. Тогда группа забастовщиков явилась в контору фабрики Паля, под предлогом проситься вновь на работы. Получив отказ, забастовщики бросились в мастерские фабрики, перерезали основы на стан-

как и, произведя переполох среди мастериц, убежали, ранив ножом одну мастерицу. По этому делу возбуждена была при отделении переписка в порядке охраны. Привлеченные к переписке 33 человека рабочих оказались принадлежащими, как выяснено было, к „союзу борьбы“. Все эти лица, по постановлению особого совещания, были удалены из столицы с воспрещением им на разные сроки жительства в С.-Петербурге.

Со времени ликвидации 16-го июня в С.-Петербурге наступило обычное в революционном движении летнее затишье, продолжавшееся до осени.

XVI.

21-го июня того же года произошло весьма большее несчастье в семье охранного отделения: в этот день совершенно случайно был убит начальник отделения, полковник Владимир Михайлович Пирамидов. Несчастье это произошло при следующих обстоятельствах. В 12 час дня этого числа состоялся на балтийском заводе в высочайшем присутствии спуск только что построенного броненосца Александр III.

Благодаря быстрой прекрасной погоде, на торжество спуска явилась масса публики. Все сооружения балтийского завода, а также и суда, стоявшие на Неве, были разукрашены флагами. На берегу, у самого завода, стоял громадной высоты пловучий кран, на верхушке которого с давних пор находилась весьма высокая мачта.

Обыкновенно в торжественных случаях на мачте подымался громадных размеров флаг. Так было и на этот раз. В целях охраны государя императора и других высочайших особ, было командировано значительное число агентов охранного отделения, обязанных находиться во время торжества среди присутствовавшей там публики. Среди публики этой находился и полковник Пирамидов. Приблизительно в час пополудни со стороны Финского залива налетел чрезвычайной силы ураган. Так как громадный флаг, находившийся на вышеупомянутой мачте, представлял большое сопротивление, то сильным порывом ветра мачта была сломана, и затем с 14-ти саженой высоты рухнула в середину присутствовавшей на торжестве публики, убив напавал пятерых человек и — в числе их — полковника Пирамидова. Горе не только семьи убитого Владимира Михайловича, но и всех его сослуживцев — было неписуемо. Любимый и уважаемый всеми дорогой начальник так трагически и совершенно неожиданно погиб. Четыре дня спустя, семья отделения торжественно проводила тело покойного в Александро-Невскую лавру и после отпевания опустила его собственными руками в свежевырытую могилу. Слишком больно и горько было, а главное, так неожиданно, терять такого любимого и уважаемого начальника. После смерти полковника во временное исполнение обязанностей начальника отделения вступил, по распоряжению департамента полиции, подполковник Николай Пиларонович Мочалов.

XVII.

К осени этого года в сферу революционных деятелей в С.-Петербурге стали входить настоящие социал-демократы, старавшиеся водворять

и распространять транспорты своей газеты „Искра“ и журнала „Заря“. Во главе этой группы в С.-Петербурге находились: сын потомственного почетного гражданина Сергей Цедербаум, бывший студент с.-петербургского университета Аарон Сольц, сыновья чиновника, братья Иннокентий и Лев Соболевы, окончивший московский университет Павел Николаев Торгуев, мещанин Виктор Павлов Ногин, дочь врача, еврейка Елизавета Мандельштам, дворянка, дочь генерал-лейтенанта Екатерина Генрихова Гуро, еврейка Августа Минская, мещанка, еврейка Ревекка Мовшиева Рубинчик, дочь полковника София Павлова Кублицкая-Плюток и мн. др. Все эти лица вели среди рабочих пропаганду все еще под флагом „союза борьбы за освобождение рабочего класса“. Время ликвидации этой группы вполне было назревшим ко второй половине ноября, но в виду перемещения всего отделения из дома с.-петербургского градоначальства в д. № 12 по набережной реки Мойки, состоявшегося 21-го ноября, ликвидация на время была отложена. Наконец, в ночь с 3-го на 4-ое декабря группа эта была ликвидирована, при чем обысками обнаружены в громадном числе экземпляры циркулировавших в то время печатных нелегальных изданий „Искры“, „Заря“, „Рабочего Знамени“, „Рабочего Листка“ и т. п.

В годы юности.

(За культуру).

ОТРЫВОК ВТОРОЙ.

После студенчества. Наше братство.

В первом отрывке воспоминаний юности ¹⁾ я пытался восстановить краткую, но выразительную историю „Студенческого Научно-Литературного Общества“ при СПб. Университете. Здесь сам собою должен был выдвинуться образ „Ольденбургского кружка“, который стоял в центре его молодой работы, являя в Обществе главную творческую мысль и направляющую инициативу. Я могу быть осведомленным летописцем этих событий и живописцем этих людей, ибо был членом Общества с самого начала и рано сделался членом кружка. Я знаю правду о том, что пишу, хочу изобразить ее в неподдельности, потому что дорожу ею, как, уверен, хорошою страницей из истории нашего просвещения в те смутные годы. Вся жизнь доказала мне, что нельзя пренебрегать пережитым прошлым.

Теперь сделаю шаг вперед и внутрь, постараюсь проследить судьбы нашей группы дальше, войти в описание некоторых более интимных сторон ее развивавшейся общей души.

Я передвигаюсь в наши после-студенческие лета.

Мне кажется, что в нашей духовной эволюции индивидуализировался тип, мало замеченный в истории нашей интеллигенции. Несмотря на отклонение от распространенных форм,—а, может быть, именно поэтому—в нем выявляется разновидность, не лишенная ценности, как сырой материал для истории развития русского общества в пору внешнего упадка его активности под тяжелой реакцией „свинцового“ царствования Александра III. Может быть, мой опыт вызовет за собой и записки других о явлениях того же порядка, возникавших там же или в иных центрах. Это было бы очень важно особенно в настоящий момент пренебрежения истории ²⁾.

Буду рассказывать черты из истории нашего *дружеского братства* восьмидесятых и девяностых годов. Оно представляло собою факт из

¹⁾ См. „Былое“, № 12, 1918 г. июнь.

²⁾ См. в этом смысле характернейшую по абсолютной слепоте, для восприятия прошлого и ощущения неразрывной связи его с настоящим и будущим, заметку *Николая Пущина*, к вопросу о воспитательном значении исторического материала в № 1, „Вестника народного просвещения союза коммун северной области“ (август 1918 г.).

жизни тесной группы людей, выросшей в области моральных отношений. Но в нем присутствовал и сильный элемент общечеловечности. Братство наше стремилось крепко сплотиться в единый, внутренне-цельный союз; но монастырская замкнутость (анакоретство, сектантская вера в единоспасаемость) в нас не жила никогда; мы открыто шли навстречу другим людям и другим союзам; влечение „ветвиться“, вступать в широкие, разнообразные связи с окружающими ячейками, хотя бы разнородными, было всегда особенностью нашей природы и динамики. Мы стремились не к самодовлению, а, так сказать, к социальному синтезу. С другой стороны, залавываясь в работе над собой большою нравственною проблемою усовершенствования своего личного духа, мы никогда не переставали почитать дело служения окружающему миру и активно его осуществлять, хотя бы в виде юношеских начинаний. Мы развивали в себе политические взгляды, и вся группа поддерживала в своих членах и в примыкающих друзьях тягу к общественной деятельности. Мы только искали для того новых, более глубоких и полнокровных идеалов и путей, чем те, к которым звали холодные прогрессивные знамена. Нас всегда влекло начало творчества. Может быть, оно оказалось объективно слабо и неудачно (не нам судить!); но субъективно оно неугасимо горело в нас. Оно питалось научным трудом, к которому мы все были причастны, либо близко стояли, и идейным интересом, который нас наполнял и елжил.

Такова духовная атмосфера, которою мы дышали друг в друге, старались развивать и кругом. Надо было, прежде всего, наметить ее формальными признаками, чтобы очертить рамки повествования.

1.

Я сообщал, как на почве студенческой работы в Научно-Литературном Обществе произошло мое первоначальное доброе знакомство с обоими братьями Ольденбургами и их друзьями. Теперь необходимо набросать обстоятельства нашего теснейшего сближения: это даст конкретный фон для дальнейшей картины. Это же побудит нарисовать фигуры главных действующих лиц.

Уже в университетской аудитории, в залах собраний Общества, на заседаниях его Научного Отдела, устраивавшихся на частных квартирах его членов, или еще у шкафов студенческой библиотеки вырастала взаимная наша симпатия друг к другу. Возвращаясь умственно назад теперь (после протекших десятков лет), с особенною ясностью чувствую, как тогда, попав в среднюю для себя духовную среду и сказавшись в сфере общения с сильными и хорошими людьми-сверстниками, я стал внутренне раскрываться богаче и лучше, избавленный от тисков чуждых мне по духу революционных групп того времени. Я говорил уже о том реально-жизненном, при всем его идеализме, направлении—смело служить прогрессу родины созидательною работою мирных культурных сил, которое крепко объединило всех членов ольденбургского кружка. В него они верили и бесстрашно его пропагандировали.¹⁾ С тех пор и выработался у меня

¹⁾ Я почти с детства высоко любил *Тургенева*, но я стыдился принять им самим себе данную характеристику „либерала-постепеновца“. От нее радикальному юноше звучало чем-то слабым и робким. Между тем такая вера в мирный прогресс соединялась у великого писателя с любовью к народу и широким демократизмом, почитание свободы сочеталось с проповедью просвещения для всех. Все это делало его и нашим учителем, и я вдвойне полюбил его,

ставший нравственной основой души долг бороться за народное и за общественное, и за свое дело (эти три блага слились в сознании, как родные и одинаковые) положительным идеальным трудом, примыкая к действующим культурным учреждениям и разным жизненным начинаниям против реакционного гнета и расходясь с революционным методом. Это дело стало правдой моего существования. Вместе с ними, с друзьями крепилось и выковывалось такое убеждение. То было добро и свет, покоившийся на нас и согревавший нас, но вместе и зажигающий группую и поддерживавшийся ею в сфере доступных ей отношений.¹⁾

К интимному же дружеству с Федором и Сергеем Ольденбургими и их кружком меня подвинуло частное наше общение, которое стало постоянным с осени 1885-го года. Я тогда только что женился на Марии Сергеевне Зарудной, дочери известного деятеля эпохи реформ Александра II, незабвенного Сергея Ивановича *Зарудного*.²⁾ Мы поселились — тут был какой-то перст благожелательной нам судьбы — в одном доме с Ольденбургими.³⁾ Жена моя быстро познакомилась с братьями и была любезно принята матерью их, Надеждою Федоровною. Живя на той же лестнице, разделенные одним ее пролетом, причем и окна нашей квартиры приходились напротив окон их гостиной по другую сторону узкого дворика (можно было переговариваться через форточку), мы стали видиться очень часто в разные моменты дня, по делам и в свободные минуты. Такое близкое соседство и общительный, увлекающийся нрав моей жены ускорили рост нашей общей дружбы, повышая темп сближения. Случайное в жизни людей часто поддерживает необходимое при образовании тех или иных важных для них явлений. Но как будто чертится и некоторая тайная линия, которая соединяет людей, не стесняя свободы их воли, а спешествуя ей. Не называю сейчас этой силы определенным именем, но чувствую присутствие высшего смысла в людских отношениях. Он может ухватываться нами, если умеем отрешиться от кажущегося хаоса переплетающихся внешних фактов и способны обуздать эгоизм.

когда понял по настоящему ценность его девизов, отрешившись от морального рабства революционному доктринерству.

¹⁾ Говоря это, не хочу быть несправедливым к своему „революционному прошлому“. Это было бы неблагодарностью. Прохождению через такую фазу я многим обязан. Эта полоса своим влиянием искоренила не мало пережитков привилегированности, ослабила инстинкт самосохранения, дала волевой упор. Сближение с опасностью, если оно идейно и добросовестно, учит жертвовать своим благом. Но приемы, которые предлагались нашими революционерами-террористами, коверкали душу. А в новом кругу я нашел согласие с тем, что действительно было дорого, во что по настоящему верилось, что могло всецело увлечь. И я познал здесь, что можно отказываться от себя не только в форме тайного заговора и прелития кроги.

²⁾ Он был главный творец первоначальных судебных уставов. Это был замечательный человек и по оригинальному уму, и по кристальной чистоте сердца. Тогда он уже сильно состарелся, но для меня было очень дорого сближаться с ним хоть в самые последние годы его жизни. См. о нем проникнутую горячим пиететом книгу *Г. Джанишова*, С. И. Зарудный и судебная реформа (М. 1889).

³⁾ Он расположен был по 6 линии Васильевского Острова рядом с Ларинской гимназией (тогда № 15). Принадлежал он Анне Васильевне Жаклар, сестре известной Софии Васильевны Ковалевской, с которой мы также встречались и очень интересовались ею. Муж нашей хозяйки, живой и умный француз, член парижской коммуны 1871 г., раньше уже был знаком мне. Он был сотрудником „Дела“, где писал любопытные письма из Парижа под псевдонимом *Жика*.

стическую требовательность, вызывающую себялюбивые протесты против хода событий, когда обвиняем часто обстоятельства во вражде к нам, нашему благу и счастью.

Основною особенностью, обусловившей созвучие внутреннего быта наших обоих „домов“ было идеалистическое настроение и трудовой склад. Я начинал учительство в средней школе, готовился к магистерскому экзамену; жена моя ¹⁾ приступала к работе в начальной школе. Оба мы горячо и дружно хотели жить хорошо, не как все, а как надо. Братья Ольденбурги кончали университет, много трудились научно и участвовали, кроме Студенческого Научно-Литературного Общества, в различных других просветительных организациях. Оба полны были стремления к лучшему. Около Ольденбургов группировался, — об этом приходилось уже упомянуть, — тесный кружок товарищей, ставших мало по малу друзьями по чувству и по убеждениям, и по вкусам жизни, и по уклону деятельности. Он постепенно расширялся и из него вышел не один замечательный человек и видный деятель.

Не могу характеризовать подробно и полно духовный образ каждого из сочленов содружества, но набросать силуэт некоторых, как будто, нужно. Это может облегчить выполнение задуманной темы. Попытаюсь. Каждый отдельный из „друзей“ оттеняет остальных. Говоря о каждом, столько возрождаешь милого и ценного былого, из чего выросло дальнейшее, чем живет еще настоящее. Восстанавливая эти духовные образы, я стою на почве тогда уже присущих кружку принципов и склонностей, именно большого уважения начала личности и внимания к дарам духа, покоящимся в каждой индивидуальности. Личность, ее достоинство и свобода, как воплощение этого достоинства, и культура, как орудие ее развития, свобода и культура для всех и работа за всех — то были элементы „декларации прав“, входившей в жизнь молодого союза.

Называли мы — все подходившие извне — кружок „Ольденбургским“ не только потому, что квартира Ольденбургов была обычным местом общения друзей, хотя играло спланивающую роль и это обстоятельство — домашний уют и простор. Но Ольденбурги составляли ее центральное, организующее и притягивающее ядро. Первоначальный состав кружка определился еще до петербургского студенческого периода так называемую „варшавскую компанию“. Она сложилась во время прохождения ее членами гимназического курса в столице русской Польши. Интересно, что воспитавшись в одном из средоточий острой руссификаторской политики царского правительства, никто из нас не впитал в себе воинствующего национализма, как стихии своего характера. У всех (или почти у всех) идея братства народов легла в основу руководящих принципов жизни.

Кроме братьев Ольденбургов в варшавскую компанию, ее древнейший концентр, ²⁾ входили: кн. Д. И. Шаховской, А. А. Корнилов, Л. А. Оболянинов, С. Е. Крыжановский и Н. В. Харламов. ³⁾ Со вре-

¹⁾ Она тогда только что окончила Высшие Женские Курсы, была близко знакома с К. Н. Бестужевым-Рюминым и занималась под руководством А. Н. Веселовского.

²⁾ См. статью А. А. Корнилова, Воспоминания о юности Ф. Ф. Ольденбурга, в „Русской Мысли“, 1916, VIII.

³⁾ Последний за внушительную осанку, длинную бороду и рано появившуюся лысину издревле прозывался „генералом“, хотя доброта и мягкость его

мени переезда в Петербург к ним скоро примкнули—навсегда В. И. Вернадский, на годы, которые предшествовали описываемому мною времени, А. Н. Краснов и Н. Г. Ушинский. Трое последние были естественниками, так же как Оболянинов из основного зерна. Остальные развивались в кругу гуманитарных наук.

Несомненным духовным центром группы был Ф. Ф. Ольденбург. Я пытался выдвинуть его умственный и нравственный образ уже в прошлом очерке. Лицо его и дальше останется объединяющим началом моего изложения, как портрет лучшего из нас и безусловно замечательного самого по себе. О нем можно говорить всю правду, не только потому, что он сам сносит чудными перлами его внутренних совершенств, но и потому, что его уже нет с нами, и его удивительно строгая к себе скромность не налагает запрета открывать все добро, которое в нем таилось. О других писать труднее—они живы и на них продолжают светить разноцветные лучи жизни, озаряя то одну, то другую сторону их природы. Но вполне ли верен обычай молчать о живых, особенно о друзьях? Думаю,—нет¹⁾. Я старше их всех; у меня больше шансов сойти со сцены раньше их, а мне потребно сказать о них свое слово. Пусть они простят мне нарушение привычек и не пеняют, если я ошибся в хвале или порицании. Первая превысит безмерно второе, но и второе будет окрашено горячею дружбой-любовью.

О Федоре Ольденбурге, повторяю, мною уже сказано многое (сказать о нем все невозможно, так богата его личность). Но хочу сейчас воспроизвести фигуру его брата Сергея. Я познакомился раньше с Федором, но затем сблизился особенно тесно именно с Сергеем, и лишь позже жизнь особенно соединила с Федором и так осталось до конца его дней. О Сергее в первом очерке мне приходилось говорить больше рядом с Федором, оттеняя не раз, что он был на того не похож. Около Федора всякий, даже богатый качествами, может показаться ниже, чем он есть. А мне дорого, чтобы Сергей не противопоставлялся, а связывался с Федором: они были разные, но неразделимые.

Оба брата сжились друг с другом почти до образования цельной парной личности. Они до дна понимали друг друга и необычайно друг друга любили, осуществляя братское единство в виде акта органической жизни души. Это было удивительно хорошо. Если Федор и Дм. Ив. Шаховской, о котором я скажу особо сейчас ниже, были в кружке главными творцами новых идей, зиждителями движущей

мало подходили, как признаки, для строгого символа.—Князь же Шаховской, наоборот, титул свой систематически устранил и, как студент, всегда подписывался просто—Дмитрий Шаховской. Когда я спросил его, титулован ли он (сам я тогда был в разгаре революционного демократизма), он ответил: „Да, я князь Шаховской, но не придаю этому значения“. Это правдиво и выразительно было сказано, и мне стало стыдно от своего вопроса, сердце потянулось к тому, кто так открыто ответил. Беседа наша происходила в университете за столиком издателей лекций. Потом мы вышли с Дмитрием Ивановичем и долго шли вместе по Невскому, оживленно разговаривая. Он рассказывал мне о своих интересах и занятиях, и что то от умной и колоритной его речи вселялось в меня новое, сильное. Этот случай врезался в память, как первая живая встреча души с другим, чулось мне, крупным человеческим одушевлением.

¹⁾ В литературе критики и публицисты позволяют себе так много резких нападок, даже прямых изобличений и личных инвектив по отношению к писателям и делам противников. Почему же считается предосудительным еще при жизни добрым словом очертить неистязавших единомышленников и любимых людей? Это несправедливо!

мысли, то Сергея Федоровича надо назвать особенно сильным провозгласителем творимой группой идеологии и проповедником ее идеалов, первым инициатором воли. Он был горячим патриотом всего лучшего, что создавал коллективный дух кружка. Тем самым он вдохновлял и поддерживал даже тех, кто первый поднимал вопрос или ставил мысль. В его ясном уме идея находила энергичную формулу. Он сам ею проникался, доводил ее до активного начинания и в таком смысле являлся также строителем, двигателем и убежденным пропагатором открываемой истины. Сергей обладал открытой экспансивностью, и его яркие дарования лились наружу обильным ключом, звучным узлеченным голосом раздавалась из уст его волновавшая его правда. Она легко заражала других, могущих сочувствовать, притягивая и новых адептов. Он любил науку всею душою и надеялся пробивать в ней новые пути. Индия и ее культура, особенно духовная, литература, религия, позже искусство, почти с отрочества наметились целью его стремлений. Возможно, что тут первым импульсом было оригинальничанье задорной юности: двину вперед то, что известно немногим. Но постепенно мало исследованная область, арийское востоковедение и преимущественно мир санскрита, — стал для него предметом глубокой научной страсти. Работал С. Ф. под руководством крупного учителя, первоклассного знатока буддизма, проф. И. П. Минаева, с определенным талантом и неутомимым рвением, но кругозор своего не замыкал. Считал он восток носителем высшей идеи, но не пренебрегал европейскою мыслью, был хорошим классиком и отлично знаком был с новою литературою. Все, что входило в него, выливалось затем в изящную, отчетливую форму. Возбуждало его и самолюбие, окрылял, м. б., порою и успех. Но тщеславные мотивы не побеждали, искренним носителем подлинного идеализма и принципиальности он оставался всегда. Пышущая в нем энергия делала его уверенным в себе, но он не ослеплялся самомнением. Он ставил себя, совсем правдиво, ниже Федора и других сильнейших членов кружка, часто говорил: у меня нет большого таланта, есть лишь научное остроумие. Огкровенно сознавал он и свои дефекты в нравственной области, даже преувеличивал их. В близких друзьях он превозносил от всего сердца их лучшие качества. Он охотно искал, легко находил — добрые свойства, видные таланты и в более дальних, с радостью приветствовал во всех выраставшее благо. Общий след Сергея Ольденбурга, несмотря на кипучую живость, был несколько отвлеченный, и любимые идеи часто принимали у него вид поспешных схематических афоризмов, лишенных иногда настоящей глубины и жизненной гибкости, но и их одухотворял юношеский энтузиазм. Самоуверенность его облекалась в цвет милой молодой веры, которая привлекала головы и покоряла сердца. Благодаря всему этому и специально благодаря свободной выразительности его речи, симпатичной и приветливой благожелательности он являлся в кружке одним из виднейших „лидеров“ и сильнейших органов лучеиспускания его идей. И знакомились с ним всего быстрее, и нас улавливали через него. Мне дорого закрепить юношеское лицо Сергея Ольденбурга, твердо запечатлевшееся в душе. Много мы с ним спорили, иногда резко расходились, быть может, прищипывали друг другу печаль, но все превозмогала добрая, родная любовь, и я чувствую, что многим ему обязан, и мне радостно признать это по истечении стольких лет. Для всех нас Сергей был прекрасным ферментом начал добра. Такую особенность идеального объеди-

нителя, верующего организатора, горячего, светлого, неутомимо трудоспособного деятеля, инициатора и руководителя очень больших и сложных дел научных, политических и общественных он остается всю свою жизнь. Он был верен себе и как профессор, и как непременимый секретарь академии, и как член Временного Правительства.

Вслед за братьями Ольденбургими встает и сочетаются с ними другие, тогда все близкие, многие до сих пор дорогие лица. На Дм. Ив. Шаховском уже тогда ярко сиял луч высшего духовного света. Он весь вдохновенно, но сдержанно, гармонично горел могучим порывом к благу и истине. С любовью и большим успехом занимался он русской филологией, обнаруживая уже признаки научной зрелости и зоркости взгляда. Его очень ценил такой первоклассный руководитель, как академик И. В. Ягич, и настойчиво звал его остаться при университете. Может быть, став ученым, Дм. Ив. всего счастливее развернул бы свои превосходные духовные дары: я совершенно убежден, что в нем жил крупный, настоящий научный талант.¹⁾ Во всяком случае, профессорское будущее открывалось перед ним широкими вратами. Он рвался, однако, к прямой немедленной практической деятельности для народа, непосредственно среди него. Горячо отдавался он и основным вопросам о конечном смысле жизни. Думаю, он был тогда самым религиозным человеком из компании, с некоторым наклоном к лучшему в славянофильстве. Находясь он и в известном родстве с идеями Льва Толстого, которого и лично знал, но обладал огромною самостоятельностью смелой творческой мысли. Она воплощалась в своеобразно индивидуализованном, цветном и сильном языке, в самобытном слове, произносившемся глубоким, чарующим голосом; эта неподдельная и высокая сила всеобновляющего творчества, открывающего прозрения, осталась навсегда печатью живущего в нем высшего начала. Самая наружность его привлекала особую, духовную красотой энергично и гордо выточенных черт. Со всем тем Дм. Ив. в юности полон был и искренней душевной веселости, прекрасной простоты в общении с людьми при очень уже сложном внутреннем мире. Он обладал таким художественным юмором, богат был неиссякаемым запасом коллегияльного чувства и дружеской активности. Выдающаяся, мощно строившаяся индивидуальность объединялась в нем уже тогда двумя созвучно действовавшими жизнедеятельными началами — крупным умом и благородным характером, вдохновенною проницательностью в искании правды, верующею смелостью в осуществлении добра²⁾.

¹⁾ Когда насильственные трагические перерывы в его позднейшей политической деятельности оставляли его не раз оброшенным с дороги и он возвращался к научной работе, исторической и историко-литературной, в частности разрабатывал материал из архива князей Щербатовых, своих родичей и предков, удивительно, с какою легкостью он входил в работу, будто обнаруживая долгий опыт постоянного исследовательского труда. Бурные перипетии жизни не дали ему довести этой работы до созревшего плода. Но выдающаяся острота его научного взора для меня несомненна.

²⁾ Могу слабо провести лишь несколько черт, обрисовывающих некоторые линии прекрасного, любимого и чтимого образа. Можно прочитать собственный автобиографический очерк, набросанный Дм. Ив-чем в юбилейном словаре сотрудников „Русских Ведомостей“. Это — ценный подлинный материал для истории всего кружка. Я не сошелся с ним в такой интимной близости, как с братьями Ольденбургими. Но сердце связано с ним глубокою привязанностью. Дм. Ив. живет и действует среди нас, продолжает интенсивно на нас влиять. Жизнь не дала ему всего, чего он достоин: через нее проходит трагическая полоса. Но

Вслед за обрисованными двоими поднимается в памяти лицо Владимира Ивановича Вернадского. Уже тогда он был определенно выраженный, очевидно, очень талантливый будущий научный исследователь, натуралист-экспериментатор, но с философскою складкою ума, со склонностью даже, казалось мне, к спиритуализму. Последнее влекло меня к нему: он рисовался близким, несмотря на далекую специальность. Он живо интересовался гуманитарными науками, историею, правом, религиею. У него образовались очень раскинутые вкусы, и он приобрел большие разнородные знания. Начитанность его была поразительна. Он одарен был способностью умно прочитывать трудную книгу с необычайною быстротою, и особый стол у него был завален множеством очередных томов, не залеживавшихся понапрасну¹⁾. К постоянной, напряженной жизни мысли Вл. Ив. В.—ский привык уже в гимназии²⁾. В университете же он раскрывал положительно редкую рабочую силу, — достиг удивительного уровня научной подготовки и, думаю, работал уже самостоятельно. — Полный, розовый, сдержанно-приветливый, улыбающийся и паружно-тихий, он смотрел на людей с уравновешенным, критическим вниманием. Но в движениях его чувствовалась нервность, в словах и тоне проглядывала легкая насмешливость, в действиях иногда род задора. Говорил он неровно, путаясь, не доканчивая фразы, бросая мысль и переходя к другой, завершая улыбкою, которая прикрывала многозначие; но в необработанной речи ощущалось внутреннее лицо, даже вскрывалось упорство формы. В.—ский слагался ярко выраженным индивидуалистом; но он не был никак противоположенным и отнюдь не походил на скептика. В мягких, светлых глазах из-под очков просвечивало некоторое „себе на уме“ малорусского типа (он настойчиво именовал себя украинцем). Он умел промолчать в сложной коллизии фактов и отношений, постоять, посмотреть, как будет, не идя на опрометчивый шаг или наивно-прямолинейный поступок; но то была не хитрая уклончивость на эгоистической подкладке, а умное воздержание при понимании трудности положения, нежелании попасть впросак. Неуступчивый, но и непритворливый, он являл себя иногда упрямым в разных любимых пунктах, но не капризничал по мелочам. Он был ценный друг, умеющий, если захочет, войти в другую душу. Он еще студентом соприкасался с некоторыми (довольно видными) революционерами; в нем пробуждены были политические стремления, но свободу своего духа от радикальных шаблонов он умел сохранить. Он был критик и идеалист. Помню, как впервые я внимательно всмотрелся в В., когда, идя раз с Ольденбургами по набережной Невы на Васильевском Острове, мы встретились с ним. Остановились, и они вступили в дол-

крепок и постоянно возрождается после ударов его подвижнический дух. В короткие месяцы его страстотерпения летом 1917 г. я мог непосредственно наблюдать изо дня в день самоотвержение его души.

¹⁾ Такая прозорливость на чтение сохранилась у него до сих пор. Правда, над ним посмеивались, будто бы он читаемых книг не оканчивает. Он реагировал на это молчаливою усмешкою и вел свою липию огромного потребления разнообразнейшего материала. Непременный вопрос о новой научной книге всегда был у него: а литература там указана?

²⁾ Он учился в гимназии в Харькове, где отец его был профессором политической экономии, потом кончил курс в петербургской первой. Интересен собственный его рассказ о гимназических и студенческих годах в воспоминаниях об умершем друге его профессоре А. Н. Краснове. См. изданный в память о нем сборник — Профессор Андрей Николаевич Краснов (Харьков, 1916).

гий разговор. Я больше глядел и слушал, и ясно тогда почувствовал в нем без треска искрившееся многообразное содержание души, благие свойства которой, еще не слившиеся, однако, уже энергично взаимодействовали. Еще помню, на меня сильное впечатление произвела его комната в квартире, где он жил с матерью на Надеждинской: темная, в нижнем этаже, во дворе, она заставлена была книгами и какими-то научными приборами. Единственное окно закрыто было почти все большою клеткою с разными птицами: представлялся невольно кабинет алхимика, полный тайн и чудес.

Я говорил до сих пор о главных, всеми признававшихся „корифеях“ кружка. Но хочется выдвинуть еще некоторых постоянных и в разных смыслах характерных его членов. Всех, конечно, не опишешь. Но несколько живых образов дают физиономию группы.

Александр Александрович Корнилов (в компании «Адя») ¹⁾ был человеком замечательной доброты и «дружелюбия», принципиально и серьезно относившийся к жизни с юности, умный и дельный работник. Он вырос в ладной многодетной семье с несколькими младшими сестрами, о развитии души которых радел братски, почти отчески. Он искренно проникнут был патриархальными традициями теплых и крепких домашних привязанностей. Я позже близко узнал его мать, Елизавету Николаевну ²⁾, которую в настоящем смысле можно назвать превосходным человеком, полным благородства, широты ума и редкого безкорыстия. Она тоже полюбила наш кружок и долго активно входила в его интересы. Повидимому, ее печать покоится на всей большой корниловской семье. Александр Александрович и на друзей переносил свою способность к глубоким интимным отношениям, становившимся почти кровными в его сердце. Он—сам всегда бесхитростно скромный к себе—высоко ставил членов своего дружеского союза и навсегда остался для тех, кто сами сохранили основы своего духа, верным другом в жизни, незаменимым сотрудником в делах.—По занятиям своим А. А. был юрист-историк, с любовью углублявшийся в науку во время студенчества, много от нее научившийся, никогда вполне ее не покидавший во все периоды своей разнообразной, содержательной, всегда стойкой общественной и политической деятельности. В ней он умел не только трудиться, не покладая сил, но и жертвовать своею безопасностью ³⁾. В последние годы он опять вернулся к науке, как любимой работе ⁴⁾. Умственное настроение в сту-

¹⁾ Он первый из кружка заговорил об общем молодом прошлом в печати (я цитировал его статью о юности Ф. Ф. Ольденбурга в „Русской Мысли“).

²⁾ Отец его служил в Варшаве управляющим канцеляриею генерал-губернатора при Гурко, там он и умер вскоре после того, как сын кончил университет.

³⁾ После университета он уехал в Польшу комиссаром по крестьянским делам, затем долго служил (в 90-х годах) при восточно-сибирском генерал-губернаторе Горемыкине по тому же делу. Он приобрел там большую авторитет, что не помешало ему подвергнуться по возвращении преследованиям, аресту и высылке за одну свободную литературную борьбу (в начале 1900 г.). Потом, выбитый из официальных рамок общественной службы, он отдался писательству, а с момента основания конституционно-демократической партии являлся одним из деятельнейших ее работников. Раньше он принимал крупное участие в „Освобождении“.

⁴⁾ Он преподавал все последние годы русскую историю в Петербургском Политехническом Институте и выпустил несколько ценных сочинений—„Общественные движения при Александре II“, „Юные годы Вакулина“, „Русская история XIX в.“ (только что вышло 2-е изд.) и др.

денческие годы клонило его к позитивизму; некоторая рационалистическая складка сохранилась в нем до сих пор. Но широта взора и удивительное беспристрастие избавляло его от доктринерства, помогала ему отзываться на многообразные духовные интересы. Справедливость в суждениях о людях, в отношении к вопросам были неизменно его отличием, не часто встречающимся, важным и для группы достоинством. В изображаемый момент я знал А. А-ча довольно мало: он скоро уехал в Польшу на службу. Но по письмам его, которые друзья при мне часто читали, я тогда же в душе начинал сближаться с ним и ясно представлять себе его милые и умные качества, в которых позже убедился воочию, когда между нами установилась с каждым годом углублявшаяся дружба. Особенно часто общались мы в самые последние лета войны, соединенные особенно тесно общим горем за родину и общую потерю лучшего друга, Федора Ольденбурга. Чрезмерная работа для общества в трагических условиях революции 1917 г. нанесла, думаю, непоправимый удар его здоровью.

Еще один из исконных членов кружка от стародавних варшавских времен ясно встает в воображении — и не удивительно: он до сих пор остается общим другом, хотя мы лишь урывками видимся с ним. Это — Лев Александрович Обольянинов (дружеская кличка — „Лелька“). Он — человек совсем другого склада и лада. Можно бы сказать, что он не подходит к компании, принадлежит людям иного толка. Но это только наружно. Сродство с душою группы он сам затемнял преувеличением своих материалистических теорий и своего бытового „нигилизма“, особым подчеркиванием отрицания всяких „сентиментальностей“ и идеалистических бредней. Наука, опытное знание, изучение природы для открытия доступной истины, трудовой строй, так или иначе примыкающий к социализму, как устройство жизни, — и никаких туманов, полнейший реализм, такова была его *profession de foi*, которую он, впрочем, не очень часто высказывал: обычно он молчаливо держал ее про себя, обнаруживая разногласие критическими взглядами, краткими афоризмами, проницательной улыбкой и пожатием плеч. Он не то что напускал на себя такое отрицание верований и идеализаций, но и сам себя в том несколько обманывал, что именно такова правда ¹⁾. Это ему и нравилось, и в таком материализме он, может быть, невольно находил оправдание своим и других „человеческим“ слабостям. Но указанное умонастроение являлось скорее национализированною оболочкою его души в качестве идейной вывески (для пропаганды). Оно поддерживалось мнимой суровою внешностью — строгим взглядом, густыми усами и длинной черной бородою, иногда полупрезрительно надувавшимися губами, сквозь которые он пропускал клубы табачного дыма, вносившего также ему присвоенный знак отличия среди всей некурящей компании. Сразить противоречие он старался особенным выражением недоумения в раскрытых глазах и собранных вверх складках кожи на лбу, которое он себе неуклонно придавал, когда друзья впадали в неодобряемые его здравым смыслом фантазии. — В существе же дела он был — добрейшая, преданнейшая душа, доступная самым нежным движениям (лишь бы только они не выражались вопне, как у других), искренно участвовавшая во всех

¹⁾ В литературе он признавал только натуралистическое направление и очень восхвалял Эмиля Золя, не замечая присущего его излишествам своеобразного романтизма.

интересах группы. Он только склонен был придавать всему собственную реалистическую терминологию и подчеркивать в компанейских планах элементы радикальной общественности. Оболянины чувствовал музыку и сам наигрывал самоучкой на фортепьяно (один из компаней), любил цветы и мог быть чрезвычайно мил и трогателен с детьми.¹⁾ Он также скоро уехал из Петербурга, поселился в имении отца в Гдовском уезде, где стал заниматься хозяйством, специально садоводством. Потом он предался там же энергичной земской деятельности, которой неизменно служил до последней катастрофы, не страшась препятствий и гонений. Его деревенская жизнь, близость к природе и простому трудовому быту приносила нам всегда с его приезда особую свежую струю.

О Харламове и Ушинском говорить не буду. Они скоро отошли: второй изменился и охладел; первый уехал также в Польшу, и сношения с ним ослабели, он зажил отдельною жизнью.²⁾ А. Н. Краснов, ярко талантливый юноша и рано начавший подавать блестящие надежды молодой ученый-натуралист (ботаник и географ), сам отделился от кружка, отчасти разойдясь в исканиях и влечениях, отчасти чем-то обиженный против нас, задетый как-то в личном самолюбии или не захотев раз'яснить какое-то происшедшее недоразумение: часто бывает, что мелочи служат причиною порчи доброй связи между людьми³⁾.

Только об одном из вышеперечисленных коренных членов группы тяжело говорить, потому что он от нас ясно отщепился. Это—С. Е. Крыжановский (первоначально „Сережка“). Он был человеком особого, иного склада. Вырос он в духовно-чиновничьей семье, где был единственным сыном; но, повидимому, внутренним уютом пригнет он в родном доме не был. Мать его рано умерла. Отец, бывший директором гимназии в Варшаве (именно там, где учились Ольденбурги), окончил жизнь службою в синоде, где был близок к Победоносцеву. Может быть, из отчего дома С. Е. вынес уже недоверие к людям вообще, к людской природе, в центре которой видел зло. Такое отношение в последствии закреплено было в нем непреодоленными впечатлениями от службы в провинциальных захолустьях⁴⁾. Сам он живой и здоровый, крупного роста с громким голосом и сильной, широкой рукой, больно сдавливавшей при пожати, вероятно, искал в дружеских отношениях выход для раскрытия сил, очень недоужинных, рвавшихся наружу,—бывшихся в душе, сжатой сухою обстановкою дома. В университете, одно время он увлекался радикальными кружками и костюмом своим—косовороткою, высокими сапогами—подчеркивал охватившее его настроение. Но рядом он любил серьезный

¹⁾ Когда у нас стали подрастать дети, он сделался их неизменным любимцем. Он отлично рассказывал им сцены из жизни животных (особенно славился эпизод о петухе—„хвостульке“). В рассказы он постоянно вносил собственное творчество и тем, очевидно, очаровывал малых слушателей.

²⁾ Отношения его с компаниею оставались хорошие и родственно потом укрепились женитьбой его на одной из сестер Корнилова.

³⁾ Это видно из писем его В. И. Вернадскому, который и вперед сохранил с ним близость. Краснов скончался харьковским профессором уже во время войны. Вернадский высоко ставил его научные дарования и личные свойства и начертал его образ в воспоминаниях, напечатанных на страницах посвященного ему сборника, на который я уже ссылаюсь.

⁴⁾ Суровое отношение к „человеку“, помню, мрачно-характерно выразилось у него, когда он стал служить по судебному ведомству, в Прибалтийском крае, в его эскизах психологии населения. Он отметил племенные особенности преступлений; он говорил: „латыш—это вор, эстонец—убийца“.

умственный труд и занимался с большою энергиею. Я познакомился с ним еще раньше, чем с Ольденбургими, в каких-то студенческих делах и часто встречал его в Публичной библиотеке, где он постоянно работал¹⁾. Он сам собрал себе хорошую юридическую, отчасти историческую библиотеку²⁾. В то время, о котором я теперь пишу, С. Е. Крыжановский был тесно близок с Ольденбургским кружком и, наверно, искренно любил всех входивших в него. Думаю, он увлекался и их идеями чистосердечно, может быть, только они не проникли до дна его души, не закалили ее. Он и тогда, бывало, возражал с некоторою ирониею, но милою, добродушною, против „крайностей“.—Этическая и политическая принципиальность легла на него сверху и столкновения с жизнью быстро разочаровали его в идеалистических построениях, которые стали казаться наивными. Критический реализм завладел им. Но тогда все считали его и он сам себя полным членом компании. В фотографической группе, которою запечатлен был кружок именно в эти годы (так характерны образы, взгляды, позы всех на ней: хотелось бы приложить ее снимок к рассказу!), фигура С. Е. занимает прочное место. Свет от хорошего содружества давал ему тепло, и природа его раскрывала свои лучшие цветы. И ему от этого было хорошо, и сам он влагал в группу нечто оригинальное от своего ума и воли. Корень жестокого скептицизма и зерно сильного честолюбия, сидевшие в нем, задерживались в своем развитии добрым соседством, а сердце поднималось чистотою дружбою. Потом судьбы его души и жизни попали под другие звезды, и он стал постепенно удаляться от компании. Стремление к власти пересилило все остальное: „когда я буду царем“ сделалось в его устах повторявшимся символом. Он отдал свой выдающийся ум и редкую трудоспособность на служение порядку (даже порядкам), могшему его возвеличить. Не буду судить о его превращениях—это и больно, и легко можно впасть в несправедливость. Скажу только, что и в дальнейший период служебных чиновничьих своих успехов С. Е. при создавшемся уже контрасте идей, симпатий, дел, нравственного поведения сохранил доброе чувство к спутникам юных дней и, „достигнув степеней известных“, выражал всегда радость при встречах с нами, всегда доволен был оказать нам услугу³⁾. Теперь величие его сменилось падением в все-

¹⁾ Образ Публичной библиотеки централизует вообще много воспоминаний о работе юных лет. Много продумано было нами в ее старой (теперь уже исчезнувшей) зале, освещавшейся газовыми лампами, своеобразно хлопавшими при зажигании. Мне кажется, я и теперь чувствую во всех подробностях картину наполненной залы, лица согнутых фигур занимающихся соседей, все звуки и особые книжные запахи, и собственное напряжение и увлечение. Федор Ольденбург говорил, что Публичная библиотека была одним из самых величественных для него первых впечатлений после переселения в Петербург.

²⁾ В революционных кружках он был больше дилетантом, чем работником, и относился к ним не без насмешки. Ольденбурги обо мне узнали именно от него. Он им говорил про меня: „Это—радикал, но серьезный, наукою занимается“. Из уст чистого представителя студенческой крайней левой вид ли могла раздаться такая формула более или менее одобрительной характеристики.

³⁾ Когда С. Е. уже сильно разошелся с кружком, я от времени до времени продолжал с ним видаться. Тянула старая симпатия, и все думалось: не окончательно же избрал он чуждый нам путь. Кроме того, я дружил с его женой (М. И. рожд. Иц-ской), с которою у нас было много общих литературных вкусов и художественных созвучий в области почитания французской культуры. Так вот интересно отметить, что он при наших последних свиданиях часто бранил нашу компанию за разные ее „faits et gestes“, но и никогда не слышал от него осуждения Федору Федоровичу Ольденбургу. И его дух, даже в

общем effoulement старой России. Некоторые из прежних друзей, от которых он отошел, только на минуту были поставлены роком на мнистерские посты, с которых революция свалила его и его сановных коллег. Этими немногими власть принималась, как тяжелый крест, а не желанная цель жизни, как труд и долг, а не как себялюбивое удовлетворение. Но в тяжком испытании родины их нерушимая твердость в исконных идеях поможет спасти дух от отчаяния верою в силы народные, вечно возрождающиеся, и в светлое будущее отечества. Может быть, и он в страданиях от крушения найдет правду в том, что было некогда и его искуплением.

2.

Таковы были лучшие индивидуальности из компании, или интересные фигуры в разновидностях их характеров или судеб. Быть может, начертанные силуэты дают краски для восстановления некоторых элементов в духовном колорите эпохи, момента, поколения, ритма ее культурного движения. Радостно, если они внесут лепту в коллективно собираемый трудом всех видов летописателей исторический клад о нашем близком прошлом.

Члены кружка высоко ценили друг друга (радостно по внешне, без чванства и тщеславия) и предвидели для многих крупное будущее. Но были установлены и дружески признанные градации. Сергей Ольденбург, который всегда был самым решительным выразителем устанавливаемого в компании общественного мнения, так мне говорил: „Между нами самый умный—Шаховской, а самый талантливый—Вернадский“. Но при этом он колебался и оговаривался: „Впрочем, не знаю: пожалуй, даже наверно—Федор умнее всех“. Думаю, в самом деле, троица—Федор, Шаховской, Вернадский—стояла в центре группы, и это само собою (конечно, без всякого заранее обдуманного намерения) выразилось в полшуточном произведении одного из членов. Д. И. Шаховской, когда приближалось время расходиться по жизненным дорогам, составил нечто вроде перспективных характеристик друзей под общим заглавием; „Что выйдет из нас, когда мы будем большими?“ И здесь названные три лица—Федор, Вернадский и сам Дмитрий Иванович представлены в виде одного коллективного образа с коллективным же прозвищем—„Шахвербург“, составленным из трех их фамилий. Это—интересный, спонтанный показатель и единства и значения этих трех руководящих членов кружка, вылившаяся из уст одного из них, под мотивом только особой дружбы, без всякого сомненья. Автор хотел сказать: мы особенно вместе, а отнюдь не воображал: мы особенно хороши. Последний вывод принадлежит исключительно мне ¹⁾.

Это—так. И все же поверх такого тройного центра духовная роль Фед. Фед. Ольденбурга возвышалась над всем, что вытекало из чудодейственного соединения в нем многообразных и чрезвычайных духовных совершенств. Громадный (смело говорю так!) ум и удивительная совесть, неустанный труд, постоянное искание, замечательное по-

моменты обострения разногласий, склонялся перед неотразимостью морального обаяния Федора.

¹⁾ Подлинного текста означенного произведения я не читал: мне только о нем рассказывали. Тогда не успел добиться, чтобы мне его показали (голова была занята слишком многим другим). Потом оно куда-то запропастилось. Очень жаль: важно было бы именно ныне прочесть.

нимание вопросов науки, сплетений жизни, характеров людей, необычайная, альтруистическая любовь и чувство правды, — это такое соединение, которое не могло не поставить его фактическим вождем, что бы он ни думал сам, что бы ни рисовали себе все мы. Это был — синтезирующий, нас объединяющий гений, живой и живящий, животворный. — Мы в различной степени были близки друг с другом. Но Федор был всем почти равно близок и нужен. Бездеприсутствие, всеенедобходимость Федора была особенностью жизни кружка, хотя, может быть, мы того не сознавали. Когда он был тут, мы могли этого не замечать, как здоровый организм себя не чувствует. Но когда он отсутствовал, сейчас становилось неладно, и его же бранили: зачем тебя нет? и не стесняясь призывали: будь с нами! — А он неизменно все приписывал другим, радовался за всех. Тихий пламень деятельной святости исходил от него неиссякаемым источником света и тепла.

Старая, в тесном смысле, „варшавская“ компания множилась; но кружок не расплывался, и зерно его сохраняло густую окраску. Рост происходил органически. Большинство членов вышло из „привилегированных“ семейств. Почти все они были „генеральскими сыновьями“. Но они проникались демократическими идеями и любовью к народу от всего сердца. Сознание долга служить ему и по принципу „noblesse oblige“¹⁾ сообщало лишний мотив общественной их энергии. Я уже говорил, что от дворянства у них оставалась духовная благовоспитанность и сердечная деликатность. Они все были хорошо образованы, верили в науку и вместе в жизнь; в них росла бодрая надежда, что наука освещает жизнь, культура ее движет. В душах их господствовало единство. Они свободны были от разъедающего дуализма, который вызывает особенно часто в русском человеке непримиримый конфликт между знанием, теоретическими исканиями (для будущего) и деятельностью, добром, улучшением действительности (для настоящего). Правда — истина и правда — справедливость ощущались здесь родными сестрами, а не соперницами, требующими раздела или монополии. Отсюда истекал и доверчиво струился в них оптимизм, убеждение, что все будет хорошо нам и всем. Пока компания не вошла еще в жизнь и вращалась больше в сфере студенческих теоретических интересов, такой оптимизм покоился на вере в светлое будущее родины²⁾, а также в указанном верующем отношении друг к другу.

Кружок помимо внутреннего общения на почве шпирившихся идейных интересов и стремлений, помимо потребности крепнуть, „растить союз“ углубляющейся духовной дружбы³⁾, — энергично разви-

¹⁾ Отдача народу полученных трудом его благ, несение отплаты за „цену прогресса“, как говорил П. Л. Лавров в „Исторических письмах“, которые тогда сильно на многих действовали.

²⁾ У нас слово „патриотизм“ мало будит в душе те положительные чувства, какие оно вызывает во всяком нормальном представителе запада. Старый порядок ломал связь русского человека с родиной. Щедринское выражение „патриот своего отечества“ как бы санкционировало осуждение молодого Россиею старого карамзинского образа „любви к отечеству и народной гордости“. Это большая беда, отрывающая нас от реального целого нации; действие ее отразилось на свершившейся теперь катастрофе. Члены изображаемого мною кружка всегда горячо любили родину, и я заражался от них здоровым патриотизмом, который придавливался радикальными предрассудками.

³⁾ См. в ст. А. А. Корнилова („Р. М.“, 1916, VII, стр. 59) отрывки из письма Федора Ольденбурга (31 декабря 1885 г.): очень важный набросок воспоминаний, как сложился их дружеский кружок. Это материал современный, потому особенно свежий и достоверный.

вал различные коллективные деловые начинания, в которых заключались и питались новые умственные и общественные связи. Такая напряженная активность реальной работы характеризовала также природу компании. Так в пору моего сближения с нею она организовала прежде всего собственными силами группу для изучения народной литературы (в начале 1884 г.). О ней следует вспомнить.

Дело возникло по явной инициативе Д. И. Шаховского, который уже тогда определенно решил посвятить себя работе по образованию народа и доказывал, что то или иное участие в деле просвещения масс—долг каждого члена интеллигенции. Поставленная задача открывала естественный путь для расширения трудовых и идейных сношений с сочувствующими, однородно настроенными, самоуглубления и распространения своей веры.

Мы с женою познакомились фактически со всею группой именно таким путем: нас ввели в кружок народной литературы. Для меня дело представляло лишь теоретический интерес, но для нея здесь открывалась существенная помощь в начинавшейся специальности, которая потом заняла много лет и сил жизни.—В работе участвовали все „варшавяне“, причем каждый, кроме братьев, особенно Вернадский и, первое время, Краснов, вносили свои знания, тон, стиль и вкусы, научные, литературные и общественные. Помимо них постоянными членами были несколько девушек: Анна Николаевна Сироткина, скоро потом вышедшая замуж за Д. И. Шаховского, и две, потом три сестры Тимофеевы, особенно вторая—Александра Павловна, которая на следующий год стала женою Сергея Ольденбурга ¹⁾. Участие женщин придавало кружку полноту и задушевность. В компании господствовало безукоризненно чистое, идеальное и практически серьезное отношение к женщине. Воодушевленно поддерживалась идея полного равноправия между обоими полами. Не было чрезмерного „феминизма“, но влияние женщин развивалось заметнее, и члены группы—мужчины много труда отдавали на различные женские предприятия ²⁾.

Собирался кружок народной литературы (можно отчасти сказать—и школы) не менее раза в неделю, чаще всего на квартире Ольденбургов. Федор Федорович, хотя еще не пришел к решению связать свою судьбу с начальной школою, не мог не вложить своей исключительной энергии во всякое дело, устраивавшееся компаниею. Он играл в кружке роль и рядового рабочего, и секретаря, и часто председателя собраний. Тут он приобрел первые основательные сведения и выработал первые идеи о народном образовании, которые легли зерном дальнейшего роста в уме его замечательной специальности, в которой он стал впоследствии лучшим в России знатоком, первоклассным хозяином и мастером.

Федор вырос „городским“ человеком; но он стремился к деревне отчасти по принципиальному убеждению, что ни один русский не

¹⁾ Мать их, сестра известного, очень почтенного педагога Карла Карловича Сент-Илера, была сослуживицею матери Ольденбургов по Смольному институту. Отсюда возникло у нас знакомство и с самим К. К. Сент-Илером, а через него и с кругом передовых учителей и педагогических кружков и обществ.

²⁾ Сергей Ольденбург, любивший выразительные, хоть и не всегда доказательные афоризмы, формулировал свое убеждение в необходимости приобщения женщин ко всем правам и сферам деятельности в изобретенной им схеме: „нет ни мужчин, ни женщин, а есть люди“.

должен быть чужд ее, отчасти по личному интересу к заманчивой новизне, сулящей важные открытия. Часть лета, предшествовавшего зиме, о которой идет речь, он провел с Д. И. Шаховским в именин его бабушки кн. Щербатовой, „Рождественном“ Московской губернии ¹⁾. Оба друга ездили тогда же к Л. Толстому в „Ясную Поляну“ и пробыли у него несколько дней. Непосредственная встреча и беседа с „великим писателем русской земли“ и учителем жизни глубоко захватила Ф. Ф. Оттуда они ходили пешком (125 верст) в известную „Оптину пустынь“ около Козельска и видели там знаменитого отца Амвросия, с которого Достоевский писал своего старца Зосиму. Затем пешком они прошли до Калуги (70 верст) и вернулись по Оке через Серпухов в Москву. Ф. Ф. любил рассказывать о впечатлениях этой поездки. Она врезалась в память его и картинами сельской природы и крестьянского быта. Перед глазами его открывался целый мир ²⁾. Может быть, разговор с Львом Николаевичем направил сильнее мысль Федора на идею служения народу просветительным трудом, как одну из возможных дорог при выборе жизненного поприща, а новое общение с другом Д. И. углубили эту перспективу среди планов будущего.

Когда мы с женою вступили в кружок народолюбивой литературы, Шаховского уже не было. Он первый отлетел из центра, погрузился в житейское море с делом, раньше облюбованным в труде и мечте. С ним познакомились известные тверские земцы Павел Асигритович Корсаков и Федор Измаилович Родичев, которые, ощутив в нем крупную силу, убедили его взять место заведывающего народным образованием по приглашению от земства в Весьегонском уезде. Оно тогда впервые создавалось. Как раз осенью 1885 г. Д. И. отправился в первый опыт нового дела. Общенье наше с двумя только что названными лицами продолжалось, и это для нашего вхождения в жизнь было очень важно. С Ф. И. Родичевым особенно легко было облизиться; с ним существовали родственные связи: он был женат на двоюродной сестре моей жены (рожд. Е. А. Свечиной) и находился в дружественных отношениях с семьею Зарудных. Сам он, молодой и пылкий, ближе находился к нам и по возрасту. Он не так давно был еще студентом нашего же университета, соприкасался с нами традициями. Он был политик, но любил литературу, знал хорошо Герцена и постоянно ссылался на французских историков и философов. Красноречивый, общительный и простой, он легко сошелся с нами во время своих приездов. — П. А. Корсаков уже поселился в Петербурге, отойдя от тверской земской службы (он был управляющим казенной палатой). Как старший, он нам больше импонировал; но он отнесся к нам с вниманием и признанием, чем поднимал наше самочувствие. К нему мы могли обращаться как к советнику, в практических начинаниях, и общение с принципиальным человеком, обладавшим большим умом и широким опытом, было для нас очень ценно. Осу-

¹⁾ Серпуховского уезда около станции Лопасни. Я впоследствии также был там у Шаховского, когда он уже сам управлял имением после смерти бабки. Это красивая, крупная дворянская усадьба, типичная для подмосковного края.

²⁾ Я много жила позже с Федором среди природы. Знаю, как он чувствовал ее великие явления и интимную прелесть, знаю, как он понимал особенности людских нравов. Тогда, когда вся жизнь была впереди, чую, какие развешивались перед ним широкие горизонты, как летело его сердце навстречу миру. Сохранилось подлинное его письмо об этом путешествии, из которого большой отрывок напечатан в ст. Корнилова (стр. 64).

существовал выход из однородной сферы чисто студенческих связей, начиналось социальное сближение с многообразными людьми, вступление в сообщество и сотрудничество со старшим поколением. Это налагло на нашу теоретическую трудовую молодость новые краски.

Д. И. Шаховского, я сказал, уже не было в Петербурге, но первое заседание кружка народной литературы, на котором мы присутствовали, было занято чтением оставленного им в завещание доклада об имеющихся работах, посвященных книгам для народа.¹⁾ Обсуждение его хорошо вводило нас в круг занятий. Жена моя привлекла к участию в кружке сестру свою Екатерину Сергеевну Зарудную, обитавшую с нами. Она была ученицей академии художеств и с увлечением занималась живописью²⁾.—Скоро прикнула к работе ее же двоюродная сестра Наталия Егоровна Старницкая. Обе быстро вошли в группу и стали своими. Через год Н. Е. Старницкая повенчалась с В. И. Вернадским. Браки особенным образом сплачивали дружбу. Обе вновь принятые девушки внесли в компанию живые и привлекательные черточки личного характера, обе тонкую живость и доброту, одна художественный талант, другая литературные вкусы, наблюдательность, горячий интерес к жизни; обе пылали идейною жаждою к хорошей жизни.

Собрания кружка были всегда содержательны³⁾. Делались сообщения теоретические, знакомились с сериями изданий, собирали и разбирали библиографию, ставили дальнейшие задачи и устанавливали план их осуществления. Каждое собрание поднимало серьезный вопрос и оставляло деловой след. Часы не тратились на пустые словопроения. В то время происходило вообще оживление работы по народному образованию, исходя из различных (не правительственных) кругов—земств, специальных обществ и частных групп. Петербургский Комитет Грамотности однако после издания своего очень полезного „Систематического обзора народно-учебной литературы“ (СПб. 1878 и допол.) захирел и опустился. Но незадолго перед тем раздался громкий голос харьковских учительниц, сгруппировавшихся около Христины Даниловны Алчевской: она выпустили два толстых, насыщенных тома „Что читать народу?“ (СПб. 1884, 1889), сыгравшие важную, влиятельную роль в движении всего дела.—Затем Лев Толстой незадолго перед тем приступил к составлению книг для народа. Вышли его известные произведения—„Чем люди живы“, „Бог правду видит“, и др. Основалось инспирированное им книгоиздательство „Посредник“ с целью именно пропаганды религиозных, этических и

¹⁾ Эту давнюю тетрадку я недавно откопал среди нагроможденных и перелутавшихся куч моих бумаг.

²⁾ Впоследствии она стала известной художницей (портретисткой и жанристкой) и вышла замуж за Е. И. Кавос. Она скончалась в конце 1917 г. от жестокой болезни, вызванной потрясениями рокового года.

³⁾ К сожалению, приходится писать обо многом, доверяя памяти, пользуясь лишь отрывочными материалами, зарегистрированными в те времена. Дневников мы не вели (это не было в привычках поколения, перегруженного текущими работами, заботами и тревогами). Протоколы и деловые бумаги порастерялись в перипетиях жизненных случайностей, даже несчастий. Письма мы также не научились хранить в порядке. Многие исчезли, переданные в руки других, в полицейских обысках или сожжены в ожидании их. Все это разрушительные условия русской действительности, печальные для мемуариста. Теперь собиранию следов старины препятствуют затрудненные сношения: нельзя добраться и до того, что сохранилось. Я стараюсь проверять все возможное, надеясь пополнять пробелы в невосполнимом отдельном издании полных воспоминаний.

общественных идей великого писателя. В Петербурге Маракуев выпускал ряд серьезных народных книжек художественного и научно-популярного содержания. Подобные начинания множились. Приступал к тому же делу П. Д. Сытин в Москве.

Так ольденбургский кружок народной литературы был определенным отражением жизненных веяний, к которым чутким ухом прислушивались его учредители. Кружок находился под влиянием сильно распространенных в молодежи народнических воззрений; только оне в нем своеобразно освобождались от революционаризма и бунтарства, приобретая характер мирного и гуманного демократизма. Еще во времена студенчества компания коллективно изучала Глеба Успенского, увлекалась сектантством, читая вместе работы Пругавина и т. д. Это искреннее народничество группы было чуждо, впрочем, мечтательного преклонения перед мнимыми совершенствами русского народа и стремления „опроститься“, спускаясь к формам его быта и уровню его мироощущения, отказываясь от своего просвещения. Основною целью тут ставилось служить образованию масс наукою и художественною литературою. Цель эта углублялась сознанием нравственного и общественного блага. Такое народничество приобретало особую санкцию со стороны, без сомнения, действовавшего на кружок влияния Толстого, т. е. того замечательного душевного перелома, который в нем совершался именно в те годы, когда выходили первые его религиозно-этические трактаты—„Исповедь“, „В чем моя вера?“ и др. Захватывая и импонировав тот факт, что обращение Толстого к религии соединялось в нем с возвращением к творчеству непосредственно для народа. Религиозные взгляды Толстого воспринимались пока мало, и приводило в недоумение начинавшее высказываться им отрицание науки. Но вызвали почитание ригористические призывы к моральному перерождению, к решительному определению по новому того—„Что же нам делать?“, если хотим выйти из зябдущей обыденщины, найти путь праведного и действительного жития.

Все такие потребности и влияния вели к расширению кружка народной литературы, раздвижению сферы его работы. Много данных сообщают письма Федора Ольденбурга к Д. И. Шаховскому в Везегонье. Тот, хоть уехал, но признавался, как основатель, „почетным членом“ кружка.

Новые знакомства шли по разным линиям. Завязались отношения с „толстовцами“: П. П. Бирюков стал постоянным членом кружка. С Вл. Гр. Чертковым происходили неоднократные встречи. Первоначально к нему относились с предубеждением, подозревая в нем узкого и властного фанатика или наоборот словесного проповедника, не осуществляющего идеал. Но отношение изменилось при сближении. Особенно помогло общению большое собеседование с ним на квартире у нас (Гревсов) в марте 1886 г. Остались разногласия, но подучилось взаимное доверие и симпатия, создавшие возможность совместной работы.¹⁾

¹⁾ Федор пишет (31 марта): „Чертков совсем очаровал Сергея, который был очень против него настроен... Так и Гревсы, которые, не видя Ч., почти его ненавидели, теперь почти полюбили“:—Свел нас один студент, яркий радикал, но уважавший Чертова и пенявший его мысль. Он устраивал ряд собраний студенчества и курсисток с ним. Много споров, но Чертков производил впечатление и известные сомнения в правильности шаткого революционизма в кругах молодежи разрешил.

Зародились сношения с харьковскими составительницами „Что читать народу?“ С Х. Д. Алчевской приходилось сходиться лишь редко; но установилась тесная внутренняя связь с другою, самую выдающуюся из участниц в харьковской группе, Александрой Михайловной Калмыковой. Она тогда переселилась в Петербург после назначения ее мужа сенатором. Здесь окончательно совершилась в ее душе и жизни уже вполне созревшая в Харькове перемена от привилегированного существования, формы которого особенно опутывали дни женщины из светского и чиновного круга, к трудовому бытию, освещенному нравственным и общественным мыслью. Впоследствии: А. М. стала совсем близким человеком для Ольденбургов и Вернадских. Теперь она сделалась желанным членом народного кружка. Своими знаниями по предмету, ясным и смелым умом, твердостью и инициативой, быстротою и находчивостью, воплощаемым в ярком, четко красочном языке и неутомимой деловой подвижности,—она явилась крупною сотрудницею, определенной руководительницею в деле. Она была значительно старше нас, но обладала молодым и одушевленным складом, умела просто и внушительно подойти к людям, так что скоро заняла место видного члена в кружке, входя постепенно и в компанию.

Совершенно естественно было ориентирование кружка в сторону сотрудничества с Комитетом грамотности. Старые деятели-основатели поутомились, несколько затянулись рутинной; правительственная реакция, жестокая цензура и общественная апатия действовали на них угнетающим образом. По первым впечатлениям вошедших туда членов из компании, в кружке явилось желание, несколько горделивое, но попутное и не вполне беспочвенное,—влиять в Комитет новый дух, всприснуть его живой водой. Учреждение не очень понравилось в наличном состоянии, но открывалась арена для выхода из частной ячейки на организованный общественный труд. Убеждение в ценности именно выросших из жизни течений, обществ, укрепляло в компании жажду к реализму, положительному делу. То было дальнейшее развитие начала, характерного для нее и прежде, ее постоянного вкуса к „культурной работе“ для прогресса, исходя из существующих основ, примыкая к традиции, но внося в нее обновление.

Разведка в Комитете грамотности сразу столкнула кружок с двумя замечательными людьми, с которыми должны были установиться долгие и глубокие связи. То были Бернард Эрнстович Кетриц и Елизавета Петровна Свешникова. Оба окончили жизнь в настоящем году, об обоих слишком мало знает родная интеллигенция и трудовая Россия, для которых они были достойными редкими подвижниками.

Б. Э. Кетриц в неустанной работе, которой он будто сам не замечал и которую ценили только близко знавшие его, достиг довольно глубокой старости, но до последнего дня сохранил неиссякаемую бодрость крепчайшего идеализма и цепкую наружность недряхлеющей трудоспособности. Сначала земский работник (по третьему элементу), потом присяжный поверенный, юрист, всецело преданный делу просвещения народа,—Б. Э. узнал о нас также от тверских земцев. Сам он прожил в Весёгонье ряд лет, и ему рисовалась картина объединения деятельности Шаховского на месте с работой кружка в Петербурге. Заведение постоянных сношений с Комитетом грамотности и толстовцами было для него продолжением того же, и он без малейших претензий предлагал, прямо отдал нам свои усилия.—Он был олицетворение исключительного бескорыстия, напряженнейшего труда без вся-

кой мысли о себе. Он стоял на страде, пренебрегая всякою заботою об удобствах. Часто, казалось, он проводил дни без пищи и отдыха, ночи без сна. Вечно находился он в движении с громадным портфелем под мышкой, нагруженным книжками и рукописями. Он всегда полон был мыслей и планов, никогда не оскудевал в их исполнении, не гнушаясь черною работою. Мы посмеивались над его чудаковатою манерою, но высоко цтили его, как редкий образец самоотвержения. Казавшийся суховатым и рассудочным, он способен был на самое тонкое чувство и нежную заботу. Никогда не говорил он о себе, не оставил видимых следов после своей будто бы серой жизни; на самом же деле, он был живою частью души во многих светлых делах русского передового просвещения, литературных предприятий, общественных начинаний, производительных союзов. В нем жил чистый от отдаленных признаков фразы и суеты безымянный герой, скрытый под невзрачною внешностью, однотонным скучноватым говором с книжными оборотами речи. Он носил неподходящее к его суровой наружности прозвище „Дотика“. К нам ко всем он относился,—могло наружно показаться,—с деловою холодною, но многому научил нас примером, много оказал деятельных, бесхитростных услуг. С Тверской губернией он сохранил живую связь, переписывался и с земцами, и с крестьянами. К нам он приводил тогда знаменитого всеягонца Журавлева, горячего поклонника грамотности и литературы, своеобразного крестьянина—любителя просвещения. Он был зовущим, бодрящим духом, незыблемым напоминанием о деятельности, необходимым органом всяких связей¹⁾.

С Елизаветой Петровной Свешниковой мы близко сошлись позже. В описываемый момент сношения с нею были деловые. Потом она стала ближайшим другом Ольденбургов, отчасти и нас. Она была также удивительным человеком, пожалуй, однородным с Кетрицем по ее духу спокойного, почти бессознательного самоотречения. Но она обладала, может быть, более гибким чутьем жизни. Образованная и сведущая, она всегда довольствовалась скромными видами деятельности, и в каждой групповой работе сама проделывала обязанности многих нерадивых или неуспевающих. В 70-х годах она была постоянной сотрудницей М. К. Цебриковой и Е. И. Конради в их литературных и педагогических начинаниях. Когда мы познакомились, она была одною из главных участниц „Женского Образования“ В. Д. Сиповского. Она помещала там под общим заглавием—„Среди детей“, „Как детей портят“, „Как в детских сердцах читают“, тонкие наблюдения над жизнью „малых сих“ и прекрасные размышления о воспитании в раннем и в школьном детстве. Раз она замыслила почти одна издавать осведомительный журнальчик по детской литературе и выпустила несколько книжек под названием „Библиографический Листок“, очень содержательный. Она ставила там как одну из задач при разработке вопроса—„Что читать детям?“—собираение материала по „истории чтения“ в жизни отдельных лиц и поместила интересные собственные воспоминания о том же. Журнал прекратился, как многое хорошее у нас, за недостатком средств. В кружке народной ли-

¹⁾ Совершенно обязательно близко знавшим всю жизнь Б. Э. Кетрица считать все имеющееся о нем. Надо спасти от забвения одну из симпатичнейших фигур в галлерее русской идейной интеллигенции, превосходного работника правды, соединявшего в себе реминисценции 60-х годов и вечно развивавшегося вплоть до первой революции 1917 г.

тературы она явилась незаменимой силой и в технической работе, и в организации связей с другими¹⁾. Как Кетриц, вечно „в работе пребывающая“, богатая памятью и выдержкой, она являлась всегда „на минутку“, с ридикюлем, полным деловых бумаг (как портфель Кетрица), и всегда приносила материал, мысль, помощь и труд. Она тоже казалась сухой и холодною, сама любила себя так называть; но в душе ее таился большой запас любви к другим, всегдашней готовности разделить все с имеющими нужду. Это был ценнейший член для кружка из старшего поколения. Елиза. Петровна рисуется в моей душе образом удивительного богатства хорошего дела почти без слов, самоотверженного чувства при строгой, иногда сердитой внешности, настоящего свободного ума и активного добра²⁾.

Кружок народной литературы множился и среди сверстников. Каждый из основных членов привлекал адептов из своих ближайших знакомых. Интересно отметить, что около каждого из ольденбургской компании слагалась еще особая группа с специальным центром притяжения. Это обстоятельство облегчало для нас задачу пускать ростки кругом. Из молодых присоединившихся можно назвать Анну Конст. Дитрихс (впосл. жену Влад. Гр. Черткова), студента-медика, потом доктора и профессора Ал. Ив. Яроцкого, нашего коллегу по студ. Научно-Лит. Общ. Н. А. Рейтлингера, ставшего горячим патриотом кружка, М. А. Аргачкову и еще Б. Б. Глинского, впоследствии писателя, также старого студенческого товарища. Последний, более „правого“ уклона, чем мы, служил свопением с правительственными изданиями и начинаниями по народному просвещению, например, с тогда известною официально „хрущевскою“ комиссиею народных чтений³⁾. Делались, значит, „рекогносцировки“ и в ту сторону. Все это характерно для избираемой группы: оставаться самими собою, но не чуждаться связи с работою других, только без принципиальных уступок. Такой вырабатывался у нас девиз.

Внутри кружка продолжалась линия собирания сведений о сделанном в прошлом. Фиксировать результаты задумывалось в форме каталогов—полных, как справочных пособий, и рекомендованных (bib-

¹⁾ Она познакомила нас с другом своим, генералом Алексеем Николаевичем Острогорским, также прекраснейшим человеком, стоявшим во главе журнала „Педагогический Сборник“ и одним из руководителей Педагогического Музея, отличным деятелем в области воспитания и обучения (см. посвященную памяти его книжку его журнала, 1917 г.). Она же свела нас с Ал. Ник. Альмедингеном, только что устроившим детский журнал „Родник“. Так росли связи, вызываемые живым и важным делом и им же питавшиеся. С другим Острогорским—Виктором Петровичем, моим прежним учителем, отношения поддерживались через меня все по поводу того же вопроса о книге и чтении для народа (См. мою заметку в память о нем в журн. „Мир Божий“).

²⁾ Она была старше нас лет на пятнадцать, но сошлась с нами как с равными. В 1888 г. она вместе с Ф. Ф. Ольденбургом руководила учительскою школою Максимовича в Тсерн. Уйдя оттуда, она приняла на себя скромные обязанности казначея на Высших Женских Курсах в П-бурге и несла их, пока не сломила ее болезнь. Около полувека неослабевающего труда, полного внутреннего принципиального смысла и реальных результатов. Ел. Петр. Свешникова умерла в первых числах октября 1918 г., истощив все свои силы на стезе духовной работы,—и теперь негде даже поместить краткой памяти и благодарности о жизни ее. Пусть эти несколько строк выполнят долг дружеского и кропотливого по редкому хорошему человеку.

³⁾ Мечталось (может быть, не совсем несомнительно), что при осторожном воздействии и на официальные сферы—можно будет смягчать их мертвенность, использовать их средства и бороться против монополизации ими дела народного просвещения.

Biographies raisonnées) различных размеров, смотря по целям и предполагаемому уровню читателей. Часть таких списков достигала печати в различных изданиях, и отдельно. Кроме ознакомления со старою литературою систематически изучалась текущая новоя. Надо было искать места для печатания библиографических заметок. Е. П. Свешникова устроила постоянные отношения для Александры Павловны Тимофеевой-Ольденбург с А. Н. Альмедингенем, и она стала вести в педагогическом приложении к его „Роднику“ — „Воспитанию и Обучению“ постоянные обзоры по детской и народной литературе.

Под влиянием Калмыковой собирали лубочные картины, начали изучение народных журналов. Ф. Ф. Ольденбург делал розыски в Публичной библиотеке, подробно докладывал о них в кружке, изумляясь, что их возникло довольно много и не без достоинств. В самой группе поднималась мысль об издании собственного журнала для народа — под названием — „Город и деревня“. Кружок задумывал, а отдельные члены составляли и выпускали собственные народные книжки ¹⁾. Не решусь судить, на сколько эти издания были удачны, но хочется начертить, по каким направлениям разрослся труд. Что самые задачи были серьезны и жизненны, — это ясно, и это характеризует „реальность идеализма“ кружка, его культурную чуткость.

Не претендуя на высоту качества собственного литературного производства, кружок всегда спешил отдать силы для помощи крупной инициативы других. Находясь в постоянном общении с фирмою тодстовцев — „Посредник“, члены кружка хлопотали через свои связи об облегчении цензурных препятствий для выпуска народных произведений самого Льва Николаевича. Так было с книжкой „Два старика“. Все это происходило в пределах одного-двух-трех лет, и это свидетельствует о сильном напряжении работы.

Много одушевления и энергии взяла попытка „завоевания Комитета грамотности“. Сторонниками захвата власти там, чтобы спасти учреждение от замирания и бездействия, были А. М. Калмыкова и Вернадский. Они проповедывали политику введения в Комитет возможно большего числа своих членов и взрыва старого совета при помощи нового большинства, замены его выразителями планов „обновителей“. Ф. Ф. Ольденбург был, напротив, защитником мирного воздействия на „стариков“ и в таком смысле больше успеха имела его линия поведения. Опыт бурного натиска окончился неудачей и породил было неприятное и бесплодное обострение отношений в Комитете между „отцами и детьми“. А мирное выступление Федора Федоровича привело к взаимному пониманию и утверждению влияния кружка в Комитете.

Кружок, чем дальше, тем больше стремился именно к практической работе. Сношения с Комитетом грамотности привели к знакомству с начальными учительницами и учителями. ²⁾ Это сблизило с

¹⁾ А. М. Калмыкова выпустила в серии сытинских „листков“ Сократа, который распространился в очень большом количестве экземпляров. А. П. Тимофеева-Ольденбург составила переработку „Мучеников“ Шато-бриана, также выдержавшую несколько изданий и переведенную на новые языки. С. Ф. Ольденбург вводил в обиход народного чтения индийские сказки, а Е. С. Зарудная иллюстрировала их. А. Н. Сироткина обрабатывала сказки Андерсена, Е. П. Свешникова переделывала драмы и комедии Островского и составила очень хорошую книжку о Франциске Ассизском. Н. Е. Вернадская дала книжку, составленную по известным „Делателям золота“ Цюке.

²⁾ Между ними с известным В. Я. Авраамовым, превосходным педа-

умственными нуждами городских детей и взрослых рабочих. Специально из нашего дома—по настойчивой мысли жены моей вырос вопрос о необходимости положить начало устройству бесплатных народных читален в Петербурге. Она убедилась из своей начавшейся деятельности в школе патронного завода, как необходимы такие библиотеки. Ей удалось и там в последующие годы основать библиотеку сначала для детей, потом и для взрослых. Из нее черпали книги, и она служила просвещению многих работавших на заводе в 90-ые годы и дальше. Но и указанная более широкая задача, возникшая в нашей среде, нашла осуществление. Удалось заинтересовать Комитет грамотности, некоторых гласных Думы; за дело взялся город и так основаны были первые две народные читальни в Петербурге, кажется, и мени Пушкина и Тургенева.

Столько людей хотело примкнуть к кружку, что численно нельзя было уже оставаться неразделенными отчасти из трудности полицейского характера (собираться тогда двум десяткам людей спокойно было нельзя), отчасти из-за удобства расчлененной работы. Поэтому решено было обособить младших членов в особую „филиальную“ группу, которая и стала функционировать отдельно с начала 1886-го года под главным руководством А. М. Калмыковой. Появлением своего „детища“ основатели очень гордились.— Я распространился о кружке народной литературы, который был учрежден ольденбургским обществом, потому что наряду с работой в „Студенч. Н. Лит. Обществе“—это был один из первых ее опытов „вступления в жизнь“, и, мне кажется, в его деятельности хорошо обнаруживается характер трудовых стремлений, открываются типические особенности культурной физиономии группы, а с тем вместе настроений, захватывавших часть молодой интеллигенции в те годы.

3.

Восстанавливая деятельную сторону жизни нашего кружка, надо еще вспомнить, что некоторые из нас уже приступили к учительству в начальных и средних школах, которое требовало большого напряжения и ощущалось, как любимое дело. Другие готовились усиленно к будущему университетскому преподаванию, твердо двигаясь к научной, профессорской специальности. Но все это не насыщало еще сил и не истощивало энергии.

В этом же году (1885-86) среди членов Научно-литер. Общества образовался „Спенсеровский кружок“ для изучения вопросов психологии и особенно социологии. Главными основателями были наши товарищи по Обществу—геолог К. К. Фохт и талантливый, много тогда обещавший Митр. Ив. Свешников, юрист-философ, ученик проф. А. Д. Градовского, который одно время увлекался им. К нему примкнули В. В. Водовозов, А. А. Кауфман, Г. А. Клейбер, А. Н. Краснов¹⁾. Впоследствии он превратился в маленькую политическую группу, которую по окраске можно было сблизить с типом „радикалов-парламентаристов“. Отдавалась в нем известная дань и социализму; некоторые прямо разделяли его учение²⁾. Официальные

гогом народной школы, действовавшим в Волковом селе под Петербургом. Он был образцом и учителем для многих тружеников народного образования на севере.

¹⁾ Все они знакомы читавшим первую часть моего рассказа.

²⁾ Про одного из последних даже острили, что он, плохо говорящий по-английски, только слово „socialism“ произносит с эффектом и шиком.

он назван был в эту более позднюю фазу у нас „кружком инициативы“ или, в просторечии, „фохтовским“, потому что собирались чаще всего у него на квартире. В нем занимал видное место шурик мой, совсем тогда молодой, Александр Сергеевич Зарудный, очень ратовавший вообще за расширение элемента политической борьбы в нашей компании. Но с самого начала и „наши“ (более тесные) в нем принимали участие, особенно В. И. Вернадский (вообще больше всех нас тогда интересовавшийся политикой) и все тот же незаменимый и неутомимый Федор.

Отдельными своими членами кружок участвовал или влиял на занятия целого ряда частных молодых групп. Припоминаю литературный кружок у Краснова, занимавшийся изучением беллетристическо-народников; еще кучку членов Н. Л. Общества, образованную Д. С. Мережковским для расширения и оживления знакомства с западной и русской литературой. Кроме того, Вернадский, Краснов и их приятель Ремезов хлопотали о культивировании при том же Обществе научного „отщизноведения“. Вернадский замыслил коллективно составление своими силами большой географии России. Я указывал, что почти около каждого из нас образовывалась особая группа друзей, тесных знакомых, близких индивидуально, единомышленников, или сотрудников в каком-нибудь деле. Когда „Ольденбургская компания“ выросла в ярко индивидуализированный духовный союз с своеобразным нравственно-общественным настроением, указываемая черта очень способствовала изучению и собственных принципов, и восприятиям извне. Это мешало замыканию в себе, освежало, расширяло притоком других течений.

Например, сам я входил в давно уже сложившийся кружок, дружеский и идейный, который окрашен был „революционным социализмом“, но не народофильским, а подходившим скорее к направлению старого „лавризма“ (времен журнала „Вперед“). В нем участвовали, кроме меня с женой и ее сестрой и Н. В. Старицкоу, старый друг моего детства Нат. Дм. Бекарюкова, женщина-врач и писательница ¹⁾, ее друг и товарищ по учению и по медицине А. Г. Контарева, мои приятели С. И. Лагербек и Б. Е. Ивановичий ²⁾. Еще к нам присоединились мой старый учитель Алексей Викторович Гизетти, заведывавший петербургской земской статистикой, и давний его друг Федор Федорович Зибольд. Оба они были юристы-экономисты, выросшие под влиянием идей немецкого научного социализма. Последний уже в зрелом возрасте поступил в Лесной Институт и сделался замечательным ученым лесничим в Крыму, хотя общественные взгляды его сильно изменились. Алексей Викторович был мне очень близким человеком. Он и женился на лучшем друге

¹⁾ Литературно-беллетристический талант ее, скромный, но глубокий и колоритно-искренний, сродный по типу с В. Г. Короленко, мало оценен, так как ему не дала развернуться ее болезнь, постепенно отделившая ее от общения с окружающим. Не напечатанные ее вещи (см. особенно отдельный томик — под псевдонимом Т. Барвенкова, Раздолье и др. М. 1901 г.) свидетельствуют о свежем, горячо сияющем даровании. И человек она редко выдающегося ума и чудной души.

²⁾ Это — человек блестящего таланта научно-математического и политического; только он притих или обесплодился в чиновничьей деятельности для старой государственности. Он обладал также замечательным тонким остроумием, оригинальным красноречием, настоящим литературным даром. Больно представлять себе, какие богатства разрушаются русскою жгучестью.

моей юности (только что названной Н. Д. Бекаряковой), и до последних дней его жизни (1914 г.) мы находились с ним в тесном общении, хотя и не всегда в единомыслии. Он стоял на точке некоего отвлеченного революционизма, исходящего, он думал, из программы Маркса и коммунистическом манифесте. Но строил он его идеально, как бы закрывая глаза на оборотную сторону нераздельного с осуществлением его насилия и пролития крови. Против русских террористов он восставал всею душою. Он называл себя „социал-демократом немецкого типа“ и сравнительно с Зибольдом „более марксистом, чем дюрингистом, как тот“. Но вместе в кружке мы изучали именно экономические сочинения Дюринга, которые переводились на русский язык, по инициативе Ф. Ф. Зибольда, родичем его; также поклонником Дюринга, А. А. Штоффом¹⁾. Сам А. В. Гизетти высоко почитал науку и много работал по экономическим вопросам. Он всем сердцем любил культуру, был „европейцем“ в настоящем, хорошем смысле слова. Он негодовал против умственной узости русских революционеров, боролся за научное просвещение в кружках радикальной молодежи. Это сближало его с ольденбургскою компаниею, которой он симпатизировал, хотя и обвинял ее в том, что ему казалось (думаю, несправедливо) „равнодушием к политике“. Повторяю, он был революционер-идеолог, выросший из реально пережитой дворянской идеалистической культуры с французскою литературною окраскою²⁾; на нем запечатлелись и особенности позитивистских направлений наших шестидесятых годов. Это был образованный, замечательно искренний человек, — для меня милый и любимый, — деятельный, горячий, цельный и чистый в своей принципиальности; но в нем преобладала кабинетная теоретическая мысль над реальным чутьем жизни. Он мечтал о социалистическом перевороте в России, но стоял горой за культурные ценности европейской цивилизации. Он умер в 1914 г. до начала войны. Благо ему, что судьба дала ему честно сохранить дорогу иллюзию³⁾.

Компания неустанно развертывалась в ширь, не утеривая прежних дел и связей. Так продолжалось изучение университетского вопроса и вообще истории высшего образования у нас и на западе⁴⁾. Выдвинулись здесь новые факты в жизни высшей школы заграницев⁵⁾. В русских журналах появились описания американских попыток, особенно в Чоуттокском университете, предпринять распространение научного образования не только словом и влиянием на не-

¹⁾ Последний короткое время управлял министерством торговли и промышленности в министерство гр. С. Ю. Витте.

²⁾ В юные годы он идейно рос в непосредственной духовной близости с рано угасшим ярко талантливым историком литературы А. А. Шаховым. Сочинения которого он впоследствии издал с глубоким пиететом к умершему другу.

³⁾ С ним была близка и отчасти влияла на наш „экономический кружок“ писательница Екатерина Григорьевна Вартенова, образованная и талантливая социалистка также французской культуры, которая была очень интересной фигурой в рядах русской радикальной интеллигенции. Она была старше Гизетти и принадлежала к составу когда то влиятельного в Петербурге „Общества тревожных философов“. Характерно самое наименование. Она была близка к редакции „Дела“, в частности, к М. А. Антоновичу, также очень незначительному образцу нашей интеллигентских типов. Чернышевский у нее и у Гизетти был непререкаемым авторитетом.

⁴⁾ А. А. Корнилов („Р. М.“ стр. 56—57) упоминает о произведенных здесь работах.

посредственных слушателей, но и печатью и перепиской, в духовно-восприимчивое пространство. Планировалось печатать программы с библиографией руководств и пособий, вызывать запросы от интересующихся издали, отвечать письмами, так разливать знания на более длинном радиусе общения. По мере накопления вопросов и требований должны были устраиваться на основании их раз'ездные лекции в главные центры установившихся отношений — страстующий университет.

Вопросом увлекались наши приятели И. А. Клейбер и Н. А. Рейтлингер. Последний прочитал о Чоутокском университете доклад в Н.-Лит. студ. Обществе. Узнав, что фирма М. О. Вольфа через редакцию своего журнала „Новь“ завала подобную переписку с своею публикою, он возмущился, что важное новое дело попадет в ненадлежащие, несведущие руки, он загорелся пылом служения ему. Он смело отправился к профессору Н. П. Вагнеру („Коту Мурлыке“) с предложением, чтобы дело взяли профессора петерб. университета, с обещанием помощи от молодых. Вагнер согласился, но ничего не сделал. Вообще предприятие, должно быть, было не по плечу для нашей культуры. Мы прямой инициативы в таких попытках не брали, но заявившиеся приходили к нам за вдохновением и советами. В нашем же кружке начало в изучение нарождавшегося в Англии однородного „University extention movement“. Оно привело на западе к движению по устройству народных университетов, которое позже отразилось и в России. Затем возникшие уже в 90-х годах в Петербурге и особенно серьезно в Москве комиссии по составлению программ для самообразования отчасти связаны с этим толчком, испытанным нашими сознаниями.

Новые дела и интересы вращались около тех же дорогих связей с высшею школою и горячей привязанностью ко благу учащегося студенчества, из рядов которого все не хотелось нам совсем уходить. Для наших высших учебных заведений судьба все чернела. В университете все крепче утверждалась реакция. Закрыт был прием на женские врачебные курсы (кажется, в 1885 г.). На борьбу за восстановление медицинского образования женщин возгорелся у нас Сергей Ольденбург. Он решил приняться за горячую агитацию в пользу этого дела и нашел воодушевленную поддержку в А. М. Калмыковой. Она составила „двойственный союз“ и открыла кипучую деятельность для поставленной цели. Сергей на несколько месяцев пожертвовал всеми другими своими интересами. Рано утром выходил он из дома на поиски за адептами, на пропаганду идеи, привлечение других работников, нахождение сильных покровителей. Не решусь сказать, что их усилиями создавался впоследствии „Женский Медицинский Институт“; но не сомневаюсь, что страдная работа собрала первоначальные силы, из которых выросла группа основателей будущего научного учреждения. Тут проявлена была двумя названными членами компании, при деятельном сочувствии других лиц, выдающаяся энергия и воспитались существенные организаторские умения.

К „Высшим Женским Курсам“ (Бестужевским), благодаря знакомствам с профессорами и широкому общению с молодежью, наш кружок также находился в живой близости. Женское студенчество, многочисленное, но разрозненное, переживало нелегкие испытания. Массы там бурлили, сильно реагируя на акты революционеров и правительственный гнет. Готовился кризис, который и разразился в 1889 г.

также закрытием приемов и реорганизацией курсов на бюрократических началах. Мы стремились, пользуясь своим университетским опытом, содействовать образованию и на курсах культурно-сплавивающего центра, на подобие нашего Научно-литер. Общества. Помню, Сергей О. и я несколько раз в собраниях курсисток проповедывали идею основания такого союза. Мы встречали созвучие в умеренных, склонных к научным занятиям, но получали отпор со стороны радикалов, подозрительно относившихся к „легальным“ начинаниям „культурников“

В то же время наши „дамы“, бывшие курсистки (больше всех А. Н. Спириткина и моя жена), агитировали для того же в кружке Н. В. Стасовой (заведывавшей Высшими Женскими Курсами), где по инициативе Н. Н. Платоновой и других задумано было устройство Общества окончивших курсы. Мы стремились к „демократизации“, к соединению окончивших с настоящими слушательницами и больше направляли к научной, образовательной цели. Те стояли за солидность (не распыляться в массу, не терять, говорили они, однородности) и больше выдвигали практическую взаимопомощь с наукой и литературой, лишь как формы общения. Их план, как более простой и приемлемый сверху, наш осуществление; наш провалился, встретив нечувствие „левых“ и „правых“. Но, думаю, он мог бы послужить на пользу серьезным, прогрессивным элементам из учащихся на курсах, как послужило нам Научно-Литературное Общество ¹⁾.

В эти же годы ²⁾ мы оставались близки с университетским студенчеством, сначала через Общество, потом через новые личные связи. Последние легко завязывались. Те из нас, которые были „оставлены при университете для приготовления к профессорскому званию“, постоянно встречались с студентами на лекциях и занятиях в библиотеках, лабораториях. Вернадский приглашен был в число хранителей минералогического кабинета и через него получились знакомства среди младшего преподавательского персонала. Мы проводили в этих отношениях те же начала: научности в настоящем студенчестве, прогрессивной общественности в будущей их жизни, отрицания преждевременного революционерства, различия дружеского общения и демократических идей. В интересах расширения общения студенчества мы стояли за устройство собраний в торжественные университетские дни; так как начальство не допускало очень многочисленных сборищ, „чаепитий“ демократического характера, какие удалось завести в 90-х годах, то мы стремились устраивать, по крайней мере, сравнительно скромные „банкеты“ в день годовщины Университета 8-го февраля для студентов настоящих, какие традиционно происходили в кругу „бывших“, но стояли дорого и потому аристократизировались. Совершенное изгнание при этом „спиртных напитков“ противоречило бы установившимся нравам ³⁾; но наши проводили на таких банкетах по-

¹⁾ Когда прием был закрыт и на эти курсы правительством, — также в нашем кружке возникла мысль создать центр для работы в пользу восстановления учреждения. Тогда мы сблизились с деятельницами Комитета Общества для доставления средств курсам, предложили им свое сотрудничество для собирания материала по истории женского образования в России, как лучшего агитационного средства за дело, которое так само за себя будет говорить. Это был первый толчок для составления исторической записки о курсах. Нечто сделано было и силами нашего кружка для возрождения курсов.

²⁾ 1895 и следующие: рассказываю, некоторыми фактами забегая вперед.

³⁾ Интересно, что „право пить“ причислялось тогда к составу студенче-

этого типа со всюю энергиею мучала трезвенности и воздержания, стараясь выдвигать именно духовное общение. Предметы беседы заранее обдумывались, подбирались ораторы, старались давать тон речам. С „большого банкета“ к нам приезжали по зову нашему любимые профессора, ректор И. Е. Андреевский, особенно О. Ф. Миллер. В февр. 1886 г. он сказал превосходное слово „о форме и духе“, Андреевский — „о консервативных началах“, понимая этот термин, как символ охраны традиций самоуправления и вообще реформ 60-х годов против „радикалов реакции“¹⁾.

Тогда же в студенчестве началось движение в пользу чествования памяти 19 февраля 1861 г. Стали агитировать устройство торжественных панихид на литературных мостках Волкова кладбища и нехождение в этот день на лекции. То были первые предвестники забастовочного движения в студенчестве. Полиция препятствовала, конечно, панихидам и всяким демонстрациям. Наша компания боролась против резких выступлений, а также очень горячо против „неучения“, как пути чествования великих годовщин, как орудия протеста вообще. Но она горячо стояла за то, чтобы отмечать их квалифицированными собраниями с развитием идеи мирной борьбы за реформы. Так, 19 февраля 1886 г. было устроено заседание Н. Л. Общества в зале совета университета, всецело посвященное освобождению крестьян. О. Ф. Миллер сказал на нем краткую речь, вспомнив знаменитое стихотворение Пушкина — „Увижу ли, друзья, народ освобожденный“. В. В. Водовозов прочитал реферат содержащий, содержательный о ходе законодательных работ по освобождению. Он закончил его мыслью, что в такой день должно не столько критиковать недоделанное, сколько оценивать значение осуществленного блага в прошлом, чтобы опираться на нем среди мрачного настоящего для подготовки лучшего будущего. Из традиции к идеалу! Для пылкого радикала, В. В. Водовозова, в таком тезисе открывалось много сознательного чувства меры. Это приветствовалось нами, как принятие к нам, новым нашим другом, вырабатывавшейся нами идейной *ligue de conduit*. В конце, по предложению И. А. Шляпкина²⁾, прочитан был тем же Водовозовым манифест 19 февраля, выслушанный стоя³⁾.

Так росла жизнь компании вширь (экстенсивно). Мы довольны были пускаемыми живыми ветвями, только появлялось опасение: как бы не набрать дела выше сил и тогда поневоле не вдаться в поверхность. Пока хватало молодой неутомимости (у нас не в пирях до расвета, а именно в неустанной бодрой работе, деловой и принципиаль-

ских волюнтерств: даже радикальная молодежь требовала, чтобы студенческие балы устраивались непременно с „мертвецкой“, т.-е. с водочным и винным буфетом, где находили приют и тела опьяневших. Это была статья из тогдашней „декларации прав“. Начальство же боялось, что вино развывает и политические страсти, и не разрешало, происходили конфликты. Только позже трезвенность стала одним из предикатов радикализма; полиция же тогда, наоборот, стала покровительствовать вечерам с выпивкой. Это — любопытная метаморфоза.

¹⁾ Тогда же в Н. Л. Общ. О. Ф. Миллер произнес чудную речь, смелую и резкую, об истинном идеале свободы слова в связи с Константином Аксаковым.

²⁾ Он был, как и О. Ф. Миллер, и тогда и потом до конца жизни оставался поклонником реформ Александра II. Политические взгляды его развились, как очень консервативные, но этой освободительной традиции он был верен. Сакшиский крестьянин, на своей родине около Белоострова он лично поставил себе памятник государю-освободителю.

³⁾ В виде иронии судьбы текст манифеста читался по запрещенной в России книге, изданной в Берлине — „Материалы по освобождению крестьян“.

ной, — „от бессонных ночей голова не болела“), беды не было. Но Федор Федорович, во всем необходимый спутник, соратник, более — вдохновитель, предостерегал: не перегружаться, чтобы не изменить основной добросовестности и глубины, не потерять самостоятельности.

Рядом в направлении интенсивности развития отношений кружок не расплывался, а креп, как целое. Дружества ширились, но содружество окрашивалось все сильнее. Это было оригинально и драгоценно.

С уехавшими, Шаховским, Корниловым, Харламовым, поддерживалась переписка. Выдвигалось правило долга писать: пиши друзьям не в случайную свободную минуту, а выделяй часть рабочего времени, увеличивай его, чтобы эту обязанность честно выполнять. Установлен был особый день 30 декабря, в который должно было происходить годовое собрание кружка для подведения итогов прожитого и сделанного, для построения плана должного на следующий год, для проверки дружеским добрым сердцем взаимных настроений, просто для рукопожатия и объятия в свете и тепле общей любви. Постановлено было, чтобы и разбросавшиеся по разным углам России при малейшей возможности съезжались к этому дню в Петербург, во всяком случае списывались. На компанейской годовщине в конце 1885 г. мы с женою участвовали уже по полному праву. Эти собрания наши 30 декабря осуществлялись ежегодно в продолжении тридцати двух лет без пропусков. Только в 1917 г. 30 декабря прошло без собрания.

Ставившиеся предначертания, разумеется, приводились в действие далеко не безукоризненно: забывали писать¹⁾, инне и виделись не вполне аккуратно. Но многое делалось и будило, и ростило и укрепляло. Особенно сильными явлениями во внутреннем развитии компании-содружества в описываемый год была замечательно деятельная переписка Федора Ольденбурга с уехавшим в Вельегонье Д. И. Шаховским, и наше (Грецов) окончательное слияние с группой: один факт относится к дальнейшему расцвету уже бывшего, другой к цветению нового.

По письмам Федора к Дм. Ив. можно хорошо восстановить волю нашей жизни в памятную зиму²⁾. Через них, с другой стороны, глубилось изумительное существовавшее между ними обоюдное понимание, жизнь вдвоем, даже на расстоянии. В одном из них Федор прямо высказывает мысль, что он и Шах. являются дополнением друг к другу и как будто предназначены быть одним человеком. Федор отвечает на признание Д. И. в один из кризисов духа, которые временами настигали его, выражаясь в припадках уныния. Он пишет: „Как жаль, что нам нельзя исправлять одной должности! Ты бы администраторствовал, я бы организовывал; ты бы составлял докладные записки, я бы их распространял и доставлял, куда следует; ты бы не давал мне разбрасываться, лениться и прочую гадость, а я бы заменял тебя во время твоих настроений, заводил бы знакомства, продавал бы книжки и т. д.“. Здесь Федор, по обыкновению, умалчивает себя, но

¹⁾ Устанавливался, впрочем, уже тогда обычай окружной пересылки писем от одного к другому. Это много давало для поддержания связей. Конечно, письма интимно-индивидуализованные в обмен не входили.

²⁾ Писал он — по стилю худо, беспорядочно, нескладно, романтически неправильно; но сквозь недостатки формы блестяло богатство содержания.

мысль о том, что они были „половинами“ друг друга—верная и тонкая. И она много раз оправдывалась.

В тех же письмах постоянно упоминается о быстром росте близости между Ольденбургскими и нами. При этом как бы радостно звучит его перо, а у меня теперь при чтении вновь загораются все юношеские чувства от пережитых тогда лучших духовных наслаждений молодости¹⁾. Мы—постоянные участники всех дел и всех волнений, и всех интимных переживаний новых друзей. Братья Ольденбурги рвутся к нам при каждом мало-мальски выдающемся событии; нас влечет к ним за делом и за отдыхом. Что то создавалось превосходное, что силы удваивало, что одухотворяло все существо. Важным благом было тут наше близкое соседство: только ежедневное общение во всех перипетиях существования кует настоящую связь дружбы, если для нее есть основание в коренном родстве душ. Через братьев мы тогда же соединились симпатиями и с другими членами основного зерна. Образование крепкого эмоционального союза констатируется с обеих сторон: письмами Федора и моим незабвенным воспоминанием.

Все, очевидно, вело к объединению всех нас в дружество особой природы; все двигалось к превращению компании добрых приятелей в коллективную личность нового, необычного вида. Движимым началом творческого акта-создания живого одуховления в целом являлась юношески горячая и зрело глубокая любовь. Но требовалось нечто еще, не только эмоциональное, но и идейно-волевое, что давало бы не одну огромную радость любовного общения, но и смысл и удовлетворение активности, одухотворяющей и сплачивающей всех: коллективная душа образуется не одним общим чувством, но и общей мыслью и работой. Цицерон говорил, что дружба есть „высшее согласие (consensio) в вопросах земного бытия и религиозного познания, соединенное с взаимным благожелательством и любовью (benevolentia et caritas)“. Нас уже единила любовь и солидарность во взглядах на жизнь. Но нам потребно было дело, вытекавшее именно из нашего содружества. Оно должно было и усилить сотрудничество в проведении того, что опиралось на согласия в идеях, и пробудить действие слабого еще в нас религиозного начала.

Встреча наша с Фреем дала путь к разрешению такой потребности, властно уже ощущавшейся нами, но не находившей еще формы для своей кристаллизации.

Ив. Гресс.

Калуга, лето 1918 г.

¹⁾ 25 октября 1885 г.: „Мы с Гревсами живем замечательно дружно и тепло; каждый день по несколько раз видимся“. Он старого друга стремится приобщить к новым друзьям.

К истории первого мая (1890—1893 г.).

Историческая справка.

I.

Положение трудящихся во всех капиталистических странах, как бы они ни разнились по внешнему виду,—в социальном смысле одинаково. Это давно уяснили себе и европейские рабочие и все социалистически мыслящие, а потому и начали стремиться к своему объединению, минуя национальные и государственные границы. О „братстве народов“ говорили давно, с древности. Римский император Марк Аврелий называл себя гражданином всего мира. Сен-Симон установил классовое строение общества, а Карл Маркс обосновал и доказал единство и солидарность *пролетариата* всех стран. Отсюда девиз: „Пролетарии всех стран, объединяйтесь“; отсюда учение, что интересы тружеников каждого государства ближе между собою, чем разные классы в одной и той же стране. Первые попытки фактического организованного объединения трудящихся возникли только в 60-х годах XIX столетия.

Результатом этого объединения и был „Интернационал“ или Международное Общество рабочих. Интернационал имеет свою историю: их было три: „Первый“—до парижской коммуны, „Второй“—до мировой войны, „Третий“—коммунистический.

В эпоху *Первого* Интернационала, т.е. в период между 1864—1873 годами рабочий класс не подымал вопроса „о первом мае“. Идея последнего назрела накануне *второго* Интернационала (1889—1914), а именно в самом конце 80-х годов того же XIX века. Произошло это следующим образом.

В декабре 1888 года, в большом северо-американском городе Сен-Луи собралось многолюдное годовое собрание крупнейшего пролетарского единения „Американской Федерации Труда“. Это собрание постановило устроить через год, а именно 1-го мая 1890 года, общую *демонстрацию рабочих*.

Это постановление, вынесенное в Соединенных Штатах Северной Америки, поддержал и первый марксистский „Международный Социалистический Конгресс“, собравшийся в следующем 1889 году (в июле, с 14 по 21) в Париже¹⁾. Парижский конгресс,—по докладу французца Лавинье (против голосов Бельгии и России)—постановил по этому поводу следующее: назначить международную манифестацию в раз на-

¹⁾ Конгрессов—„Международных“, „социалистических“ в 1889 году заседало в Париже два—марксистский и брусский. На последнем, созванном Гантчаем, Бруссеи и „лассибилитами“, вопрос о 1-м мае не обсуждался.

всегда установленное число; пред'явить в этот день во всех странах однообразное требование—ограничить законом рабочий день 8-ью часами труда,—и выставить в этот день в качестве лозунгов все остальные постановления Международного конгресса в Париже.

Таким образом, в первый раз вынесенное постановление о 1-м мае носило случайный, эпизодический и утилитарный характер. „Первое мая“ было демонстрацией, а не празднеством, притом демонстрацией без определения способа и тактики ее проведения.

В 1890 году демонстрация рабочих в день 1-го мая почти повсеместно прошла более успешно, чем это ожидалось. Неудача постигла только рабочих Германии, да из России в этом году еще не было слышно почти никакого отголоска.

В Германии неуспех был своего рода неожиданностью. Обманулся в ожидании даже ветеран рабочего дела Фридрих Энгельс. Он именно этим днем подписал предисловие к 4-му изданию знаменитого „Коммунистического Манифеста“. „Зрелище этого дня,—писал Энгельс,—покажет капиталистам и землевладельцам, что пролетарии всех стран соединились. О, если бы Маркс стоял здесь подле меня, чтобы видеть все это собственными глазами!..“ („*Kommunistische Manifest 4 Auflage*“, Berlin 1890). Но хорошо, что Маркс не стоял в этот подле Энгельса: в Германии с пролетарским делом в это время обстояло неблагоприятно. Здесь с самого начала, что называется, пересолвили. Резолюция Парижского конгресса была понята, как требование *единодневной всеобщей забастовки*, что уже сильно осложняло вопрос. Реальные условия страны диктовали осторожность: социал-демократия только что одержала серьезную победу на выборах, поглотивших к тому же все внимание,—правительственная власть насторожилась и готовилась. Все требовало от парламентской фракции социал-демократии крайней осмотрительности. И действительно, определенная часть буржуазной прессы, несомненно, провоцировала выступление рабочих, рассчитывая на эксцессы, долженствовавшие сорвать успех рабочих, вызвать репрессии и, в итоге, воскресить суровый закон о социалистах. Берлинская группа выпустила,—как то видно из воспоминаний Франца Меринга¹⁾,—энергичный и плач к забастовке, а парламентская фракция и центральный комитет партии—молчали.

Наконец, в конце апреля появилось запоздавшее воззвание от фракции социал-демократов в рейхстаге. Здесь парламентские вожди убеждали не производить вторичного осмотра сил, уже выясненных на февральских выборах того же года, а ограничиться одним проведением резолюции о 8-ми часовом дне на рабочих митингах и собраниях.

Произошел разнобой, и первое „1-ое мая“ закончилось в Германии полной неудачей. Причины неуспеха после долго разбирались в партийных кругах и съездах.

По уверению В. Вейтинского, русского автора очерка истории празднования 1-го мая в Германии,—это фиаско и послужило началом известной „берлинской оппозиции“, расколовшей партию на „мелодых“—будущих „независимых“, а позже—„спартаковцев“, и „старых“, впоследствии названных шейдемановцами²⁾.

¹⁾ *Mehring, F. Geschichte der deutschen Social-demokratie. 2. Theil. Stuttgart. 1898. Стр. 537.*

²⁾ Вейтинский, В.—„Социал-демократия в Германии и 1-е мая“ в журн. „Народное Хозяйство“ за 1905 г. кн. IV.

Но не всюду происходило так, как в Германии. Почти во всех других капиталистических странах Европы 1-ое мая 1890 года прошло настолько успешно, что решено было устраивать впредь празднование „1-ое мая“ постоянно.

В Германии же, по предложению Августа Бебеля, было решено перенести празднование 1-го мая, если оно приходилось на будничный день, в первое майское воскресенье. Это делалось с целью избежать репрессий за забастовку. Предложение Германии поддержали англичане и швейцарцы. Зато второе 1-ое мая—1-го мая 1891 года прошло всюду дружно и успешно. Так как первый день мая этого года пришелся на день будний, то в Германии в этот день происходили только народные собрания, на которых выяснялось значение 8-ми часового дня и смысл законодательной охраны труда; в ближайшее воскресенье кое-где в местностях, где не мешала полиция, устроены были собрания под открытым небом и шествия.

В этом же 1891 году к общему первомайскому движению впервые прижилась Россия.

Заседавший в этом году „Международный Социалистический Конгресс“ в Брюсселе постановил: „чтобы сохранить за 1-м мая его истинный экономический характер—требования 8-ми часового рабочего дня и укрепления классовой борьбы,—установить единую первомайскую демонстрацию для рабочих всех стран“. При этом Конгресс добавил, что рабочие должны выдвинуть единство требований и свою солидарность, а также „рекомендуется прекращение работ там, где это исполнимо“. Таким образом, отныне впервые устанавливалась *самоустановленность* празднования, выдвигалась *идейная* сторона его и определялась самая *форма*, при всей категоричности достаточно осторожная.

Это уже была иная, чем на Конгрессе в Париже, резолюция. Здесь нет эпизодичности и утилитарности, а, наоборот, как досуг, выдвинута идейная сторона: „классовая борьба и международная классовая солидарность“.

Третье празднование, 1892 года, пришлось на воскресенье и прошло всюду очень успешно. В Германии совпадение пролетарского праздника с воскресным днем тоже помогло выйти из ряда практических затруднений. В том же духе прошло и четвертое празднование 1893 года.

Мне пришлось быть 1 мая 1893 года в Германии, в столице Баварии, в Мюнхене. Я с утра отправился в пригородный парк „Хольцапфелькрейт“ (Holzapfelkreit bei München, Bayern), пригородное место народных гуляний. У входа уже была громадная толпа бедно, но опрятно и даже празднично одетых баварских рабочих; многие были с женами, некоторые с детьми. Я вошел и долго слушал ряд подобищих случаев речей. Все это в большом огороженном естественной оградой парке с центральной поляною и узким входом в место празднества. Несколько скромных плакатов и украшений.

Помню небольшую, но резко врезающуюся в память подробность. Неподдалеку от входа стал, недвижим, как монумент, плотный, с иголочки одетый баварский „шутцман“ (городовой). Он стоял как раз на пути ко входу в Хольцапфелькрейт. Черный людской поток образовал такой же почтительный изгиб вокруг этой социальной окаменелости, как наша Самарская Лука на Волге около правобережных высот. Тысячи огибали одного, образуя живой черный полукруг вокруг неподвижного синего символа.

Эта безмолвная власть одного над тысячами красноречивее всяких речей выяснила мне и форму роковой социальной привычки, и вековую робость народных масс перед установившимся порядком. Приходилось глубоко задуматься...

Кстати о воспоминаниях. Расскажу о первом праздновании 1-го мая в России, чему я был незадолго перед тем очевидцем. Дело происходило в Петербурге в 1891 году, т.-е. 30 лет тому назад.

В те дни появлялись только первые ростки „революционного пролетарского сознания“, как позднее стали говорить. Осведомленность в России о международной идее демонстрации 1-го мая 1890 г. была в соответствующих кругах полная, но русские социалисты-марксисты, — эмбрион будущей русской социал-демократии, — тогда еще ничего не могли сделать для осуществления первомайской идеи в России¹⁾. Только рабочие изолированного от остального русского пролетариата Царства Польского впервые приняли живое участие в первой первомайской демонстрации, о чем свидетельствует № 2 „Социал-демократа“, где его редактор-издатель Г. В. Плеханов немедленно поместил большую статью на эту тему. Отсутствие участия России было и тогда заметно.

В следующем, 1891 году, в Женеве вышла брошюра Г. В. Плеханова „Ежегодный всемирный праздник рабочих“ (Женева. Русская Библиотека, вып. V. Тип. „Социалдемократа“, ц. 5 к.). В ней автор, между прочим, говорит, что „полезно было бы русским рабочим принимать участие во всемирном рабочем празднике“, и предлагает, в виду возможных наказаний, „хоть на тайных собраниях праздновать великий день“. На этот раз голос Г. В. Плеханова был в России услышан.

19-го апреля 1891 г., т.-е. в наш срок 1-го мая европейского стиля, в Петербурге было тоже отпраздновано празднество. На этом собрании были произнесены речи, записанные и пересланные для напечатания за границу, первые публичные речи русских рабочих²⁾. Как произошло это первое празднество 1-го мая в России в нашей печати известий до сих пор не было. Даже своеобразный бытописатель истории русского рабочего движения „рабочеделец“ В. Акимов-Махновец говорит вскользь о 1-м мае 1891 г., отпразднованном в „ближайшее воскресенье после 1-го мая“. О втором праздновании 1-го мая 1892 года — тот же верный писатель говорит еще скромнее следующее: „мне неизвестно, как отпраздновали петербургские рабочие 1-ое мая“³⁾. Других указаний я не нашел.

Первое первомайское выступление было организовано интеллигентами и находившимися под их влиянием рабочими. Оно тесно связано с именем студентов-технологов: М. И. Бруснева, Дивинского, Коробки и рабочих: Богданова (Николая) и двух Афанасьевых, Федора и Егора, особенно последнего. Принял в нем участие и пишущий эти строки, тогда еще юноша-подросток, только что окончивший

¹⁾ В № 1 „Социал-демократа“ Г. В. Плеханова за 1890 г. (февраль) помещен был подробный отчет о Парижском Международном Конгрессе с заметкою в несколько строк о манифестации 1-го мая.

²⁾ „Первое мая 1891 г.“ Четыре речи рабочих, произнесенные на тайном собрании, с приложением адреса петербургских рабочих Н. В. Шелгунову, с предисловием Плеханова. Женева. 1892 г.

³⁾ Акимов-Махновец. В. „Первое мая в России“, в журн. „Былое“. 1906 г.. №№ 10—11—12.

курс реального училища и преподававший в нелегальных кружках естествознание. Центральной фигурой среди рабочей молодежи был кузнец Егор Афанасьев по паспорту (Ив. Мих. Бубнов⁴), крестьянин Ямбургского уезда Петроградской губ., родившийся в деревне в 1866 году. Подростком он поступил в кузницу при Экспедиции заготовления государственных бумаг, где, работая в то же время, как и многие более способные юноши, прошел вечерние классы технической школы при Экспедиции, одной из ценных звеньев заслуженной сети Императорского Русского Технического Общества, так много сделавшего для образования русских рабочих.

По выходе из школы Афанасьев свел знакомство с известным тогда народовольцем „Семеном“, с тем самым Василием Семеновичем Голубевым, которого в те годы знала вся революционная Россия. „Семен“ помог Афанасьеву разобраться в вопросах экономии и политики. На почве последней Афанасьев вскоре свел знакомство с группой студентов Петроградского Технологического Института. Они ютились вокруг своего организатора, студента Михаила Ивановича Бруснева, давшего имя этой группе. Из студентов-марксистов в это время выделялись братья Леонид и Герман Красины, Цивинский, Коробка, курсистки Миловидова, Кугушева, Лидия Томсон⁵ и некот. др. Из рабочих выделялись Алексей Егорович и Вера Марковна Карелины, позднее принявшие видное участие в гапоновском движении, известный Шелгунов, Николай Богданов, Егор Афанасьев, Лунегов и другие.

Группа Бруснева, если не считать так наз. благоевского кружка, к этому времени полицией совершенно ликвидированного, была de facto первой социал-демократической организацией, имевшей серьезные связи среди петербургских рабочих. Сеть кружков самообразования начала к этому времени покрывать окраинные рабочие кварталы столицы, солидно и всесторонне подготавливая будущие кадры деятелей из рабочей среды. В одном из таких кружков в районе Экспедиции заготовления бумаг я и преподавал физику и геологию и там свел знакомство с Егором Афанасьевым, тогда молодым, энергичным и отзывчивым кузнецом Экспедиции.

Занимаясь со мною, с „Семеном“, с Брусневым и в ряде других кружков, Егор Афанасьев пополнял свое образование и постепенно выработал свое естественно-научное мировоззрение, свой политический и экономический символ веры марксиста-революционера, от которого в дальнейшем никогда не отступал.

Афанасьев много, систематически и с толком читал, превосходно запоминал прочитанное и очень охотно делился со всеми своими впечатлениями о книгах. Он говорил речисто и несколько книжно, всегда умело и находчиво спорил. Живость и отзывчивость делали его душой всякого кружка, куда он входил, а открытый нрав и прямота всюду создавали ему верных друзей.

Ярким моментом в жизни Афанасьева, моментом, по своему историческим, является его содействие устройству первого празднования первого мая в Петрограде в 1901 году и произнесение им на этом праздновании большой программной речи, вскоре за-границею (в Женеве) напечатанной.

После второго первомайского празднества, в следующем 1892 году, группа Бруснева „провалилась“. 2-го июня 1892 года Афанасьев

был арестован и несколько позднее выслан из Петербурга почему-то в Прибалтийский край, кажется, в Ревель.

В 1894 году, вернувшись в Петербург, он поступил на Путиловский завод, откуда за устройство большой забастовки был вторично выслан в Вологду. Здесь Афанасьев долго болел, почему по окончании ссылки переехал на юг. Он устроился в Керчи, на землечерпалке машинистом, принимая при этом участие в местной социал-демократической организации. В эту эпоху роль его была очень значительна по свидетельству лиц, в эту пору жизни его знавших (напр., керченца М. Н. Кристи). Егор Афанасьев был наиболее влиятельным лицом в этом городе. Естественно поэтому, что все это не могло пройти незаметно. В Керчи он был выслежен, приговорен и бежал.

1905 год увлек Афанасьева в Петроград, где ему пришлось жить нелегально с паспортом нижегородского мещанина Ивана Михайловича Бубнова. Здесь, за отсутствием в те дни физической работы, кормился репортажем в газетах, обнаружив большой такт и разборчивость в газетном деле. Он всегда умел выбрать интересный, характерный в социальном смысле материал и осветить его с новой стороны. Когда рабочая хроника в газетах оскудела, он стал искать иной работы. Вскоре он попал монтером в Общество электрических сооружений, где служил до революции. Несчастный случай при работе, удар тока, лишил его значительной доли трудоспособности. С началом движения он вступил в ряды большевиков и работал в партии, в Выборгском районе Петрограда. Последнее время он служил вне Петрограда, заведывая торфяными разработками где-то около Рязани. Скончался зимой 1918 г. от сыпного тифа в Петрограде, куда возил сына, и похоронен на Выборгской стороне.

О кончине Егора Афанасьева я узнал из большого траурного партийного объявления, признававшего всех „почтить память старого революционера“. Объявление исходило от партийной организации Выборгского района.

Печальным были эти похороны. В морозный день из часовни Марининской больницы двинулись белые дроги с сосновым желтым гробом. Убогая лошадка, подгоняемая закутанным в лохмотья мальчишкой, едва переставляла слабые ноги. Старшая дочь покойного. Серафима Егоровна, его ближайший друг крымский татарин Меисей Джемиллов, средствами и заботами которого организованы были похороны, какой-то подросток—знакомый и я—вот и вся „процессия“. До Литейного моста шли с нами еще два сослуживца покойного. Труден и долг был путь до отдаленного загородного богородицкого кладбища, жалкая лошадевка едва передвигала ноги. Мы едва брели. Местами сугробы снега заставляли нести гроб на руках. На кладбище могила не была приготовлена. С трудом розысканному могильщику помогали рыть мы... Поздно вечером вернулись мы усталые и расстроенные.

Вот этот-то человек и был в числе немногих лиц, впервые устранивших в России первое мая. Мы готовились к делу не долго. Ввиду отсутствия соответствующих воспоминаний, расскажу несколько подробностей.

1-го мая 1891 г. названные выше интеллигенты вместе с рабочими, в числе около 70—100 человек собрались на окраине Екатерингофского парка. Здесь первым выступил Егор Афанасьев с речью,

призывавшей к культурной работе и политическому единению для борьбы за социалистические идеалы.

Затем говорили: рабочий завода Лесснера Богданов, рабочий Диннер, говоривший о задачах европейской культуры, и ткач Федор Афанасьев, нарисовавший грустную и тяжелую картину жизни русского фабричного рабочего.

Эти четыре речи и были, как уже выше сказано, напечатаны в Женеве в следующем году Г. В. Плехановым. День был удачный, теплый, ясный. Никто не мешал собравшимся. Домой возвращались довольные, веселые, пережив большой духовный подъем.

Те же лица, но несколько в большом составе, сделали и в 1892 г. попытку собраться 1-го мая, но уже в другом месте, а именно в конце Баттарейной дороги Крестовского острова. День опять выпал прекрасный, солнечный и теплый. Большинство участников приехало на лодках. Я ехал с Егором Афанасьевым, литографом Алексеем Карелиным, ткачихой Верой Марковной (Карелиной), сыгравшей впоследствии видную роль в движении 1905 г.

Мы пристали к концу острова, где высадились и расположились. Картина пикника, — таков был внешний вид маевки, — была живописна и красочна. Расположились группами на траве, начали закусывать. Передавали тогда редкую подпольную литературу и несколько политических карикатур. Неожиданно среди маевщиков показалась фигура хорошо одетого лесного сторожа с винтовкой, пожилого и худощавого бородача, потребовавшего, чтобы мы немедленно разошлись и покинули владения князя Белосельского-Белозерского, которые он призван охранять. Ни убеждения, ни уговоры не помогали. Сторож был неутомим; он встал в воинственно непримиримую позу и грозил вызовом полиции.

Встреча с последней для собравшихся была по многим мотивам крайне нежелательна. Пришлось безмолвно покориться и уехать. Не окончив собрания, обратно. Так наше празднество расстроилось. Вскоре, впрочем, было устроено тайное собрание за Волковым кладбищем. Здесь, кроме перечисленных лиц, были еще Анюта Гаврилова и Наташа, игравшие тогда роль в движении. 2-го июня многие из названных выше лиц были уже арестованы. Я и Лунегов скрылись из Петрограда до Волковского собрания, ибо за квартирой нашей на Рижском проспекте (столяра экспедиции Василия Иванова, здравствующего и поныне) — усиленно и явно следили.

После русских к первомайскому движению 1895 года присоединились жившие в пределах России поляки, евреи и латыши. Из столиц и крупных промышленных центров движение перешло в самые различные местности России.

Проф. В. В. Святловский.

Петроград, февраль 1921 г.

„Первое преступление“ М. Горького ¹⁾).

(Из очерков по архивным материалам).

Мы мало интересуемся биографиями наших виднейших писателей и общественных деятелей,—и хороший пример тому наше крайне слабое знакомство с биографией, бесспорно, самого крупного из современных писателей-художников—Максима Горького. Целый ряд моментов в биографии этого писателя до сих пор совершенно не разработан,—и притом моментов столь важных и интересных, как например, годы его юности (конец 80-х г.г.),—период, когда будущий М. Горький, а в то время никому неизвестный „нижегородский малярного цеха подмастерье“ Алексей Максимович Пешков, только что начинал наступивать свой путь в жизни...

Заполнить один из пробелов в этой области, познакомить читателей с одним из интереснейших эпизодов в жизни Горького—юности и является задачей нашей статьи: в ней мы, на основании архивных материалов, расскажем (к сожалению, далеко не с той полнотой, как это нам хотелось бы) историю первого ареста А. М. Пешкова²⁾. До сих пор в литературе этот арест, нас сколько нам известно, совершенно не освещен,—о нем только упоминалось в некоторых биографических заметках, да в кратких—справках³⁾, составленных о Горьком в департамент полиции⁴⁾.

¹⁾ А. М. Горький по просьбе редакции прочел этот очерк в рукописи и написал к нему примечания, которые печатаются вслед за текстом. *Ред.*

²⁾ Материалом для настоящего очерка послужило имеющееся в нашем распоряжении в копиях дело № 7 за 1889 г. нижегород. жанд. управл., хранящееся с 1918 г. в нижегородском „Архиве революции“: в этом деле стоит переписка по ряду дознаний: переписка по делу А. М. Пешкова и его товарищей занимает л.л. 16–50. Как видно из характера этой переписки, данное дело о Пешкове было не основным, а добавочным делом о нем нижегород. жанд. упр.: оно включает в себя переписку, которую вел начальник этого жанд. упр. ген.-м. Познанский со своим помощн. подп. Федоровым, ведшим следствие об А. М. Основное дело, ведшееся подп. Федоровым и заключавшее протоколы допросов, в нижегородском архиве не сохранилось: оно было послано в департамент полиции и оттуда не возвращено. Сохранилось ли оно в архиве деп. пол.—судить пока трудно; можем только сказать, что во время нашей работы в этом архиве над делами 80-х г.г. нам дела о Пешкове не попадались: возможно, что оно уничтожено: жандармы периодически производили чистку своего архива, сжигая „ненужные“ дела; особенно беспощадна была чистка, произведенная незадолго до революции в 1915 году. Как бы то ни было, именно неполнотой архивного материала объясняется неполнота нашего очерка.

³⁾ Таких „справок“ напечатано две; ранняя, составленная в 1902 г. на предмет исключения Горького из академии наук („Былое“ за № 12, июль 1918 г.) и более позднего происхождения (около 1913 г.) опубликованная в „Луче“ за ноябрь 1917 г.

В конце апреля или начале мая 1889 года¹⁾ А. М. Пешков, после двух-летнего отсутствия, во время которого он исколесил Поволжье до Царицына, возвратился в Нижний-Новгород. В этом городе у него имелись родственники: здесь (по Грузинскому переулку) проживал его дядя, тертежник Василий Сергеевич Сергеев, в семье которого А. М. провел 7 лет—с 1880 по 1887 г.г. 1—перед своим отъездом в Казань. Но на этот раз А. М. поселился не у дяди, а в квартире „состоявшего под негласным надзором полиции бывшего сельского учителя Акима Чекина (Чикачева тоже)“ в доме Лик по Жуковской улице. Вскоре после переезда в эту квартиру Пешкова, в ней же поселился третий жилец,—некто Сергей Сомов, 2 тоже с точки зрения начальства, „личность подозрительная“: бывший студент, привлекавшийся несколько лет тому назад по политическому делу (если не ошибемся, по делу казанского кружка сочувствующей народолюбцам молодежи), отбывший по этому делу административную ссылку в Сибирь, откуда он теперь только-что возвратился, и, конечно, также состоявший под надзором полиции.

Таким образом в означенном доме Лик образовалась уже целая „коммуна“ подозрительных, с точки зрения начальства, личностей, и нет ничего удивительного,—особенно если принять во внимание тогдашнюю острую безработицу в жандармских управлениях—в том, что подобие „скопление“ „сомнительного в отношении политической благонадежности“ народа привлекло к себе пристальное внимание недоброго ока начальства.

Квартира была взята под „негласное наблюдение“, данные которого только усилили подозрение.

Это наблюдение установило, что и А. М. Пешков, и его жители круг своих знакомых ограничили „лицами, состоящими под надзором полиции или навлекающими на себя подозрение в политической неблагонадежности“, что их квартиру часто посещают „личности, считающиеся неблагонадежными“. Круг этих знакомств „дело“ выясняет плохо: в нем есть указания на ряд лиц, преимущественно женщин, посещавших квартиру А. М. и его товарищей, но эти имена (часть их мы приводим ниже) ничего не говорят ни уму, ни сердцу современного читателя. В числе тогдашних знакомых А. М.,—знакомых, хотя и не упомянутых в „деле“, но, несомненно, не оставшихся неизвестными жандармам, были и люди, оставившие след в нашей общественности: к числу их надо в первую очередь отнести известного беллетриста народника Петропавловского-Каронина, привлекавшегося в свое время к знаменитому „большому делу“ о „пропаганде в империи“ (закончившемуся „процессом 193-х“); о крупном влиянии, которое было оказано этим писателем на складывавшееся тогда мировоззрение Горького юноши, рассказано недавно самим Горьким³⁾; о том же, что это знакомство не могло остаться неизвестным жандармам, с безошибочностью можно догадываться на основании того факта, что и Петропавловский-Каронин в то время так же, как и сам Горький, состоял под надзором полиции⁴⁾.

¹⁾ Указания на этот счет в наших документах расходятся: сам Горький (в очерке „Писатель“, „Современник“, 1911 г., № 10) пишет, что прибыл в Нижний весной 1889 г.

²⁾ См. цитированный уже выше очерк „Писатель“.

³⁾ В секретном отделе архива бывш. нижегород. губернатора о Каронине хранится специальное дело (№ 52 за 1887 год.).

Далее то же самое наблюдение выяснило ряд других ценных, с точки зрения власти, подробностей: было установлено, что „жизнь этих трех лиц (т.-е. А. М. Пешкова, Сомова и Чекина) и общение их между собою велись на коммунистических началах, что они не только не держат у себя никакой „прислуги“, но—больше того—они не дозволяют даже прислуге домовладельца г. Лика прибегать у них в комнаты и запирают квартиру“, когда уходят из нея, очевидно скрывая, как догадывались провинциальные жандармы, от постороннего глаза что-то, в этой квартире хранящееся.

Все это увеличило подозрение попечительного начальства, у которого складывалось представление о квартире во флигеле дома Лик, как о каком-то центре крамолы: впоследствии в ноябре 1889 года, начальник нижегород. губерн. жанд. упр. ген.-м. Познанский так формулировал (в поданной губернатору резюмировочной записке по делу А. М.) свой взгляд на эту „коммуну“ вообще и на А. М. Пешкова в частности.

„Это обстоятельство (характер совместной жизни А. М. с Сомовым и Чекиным) меня еще более утверждало в политической неблагонадежности Алексея Пешкова, так как дружба его с вышеназванными двумя, несравненно выше его стоящими по образованию и развитию личностями, которые, кроме того, гораздо старше его годами, давало мне полное право предполагать, что он, Пешков, представляет из себя орудие, при помощи которого Чекин и в особенности Сомов распространяют или желают распространять в городе свои антиправительственные воззрения“.

Собрав в Нижнем такие сведения о „коммунарах“ из дома Лик и как расценивая уровень их политической благонадежности, г. Познанский, конечно, должен был приняться за тщательные разведки об их прошлом: и действительно, мы знаем, что уже с июля 1889 года¹⁾ он начал рассылать в разные города запросы о А. М. и его товарищах. Об А. М. Пешкове запросы были посланы, как видно из дела, в Казань, Саратов и Царицын: ответа, присланного из Саратова, в деле не сохранилось,—известно, только, что он был. Ответ из Царицына сохранился: из него явствовало, что А. М. во время своего пребывания в Царицыне² не попал в сферу влияния полиции: „) этот ответ гласил:

„Вследствие предписания от 12 июля текущего года за № 403. имею честь довести до сведения вашего превосходительства, что так как чинами отд. корпуса жандармов, так равно и местной полицией не установлено того, чтобы когда-либо проживал в Царицыне маляр Алексей Максимов Пешков, донося о вышеизложенном я имею честь почтительнейше просить ваше превосходительство не отказать почтить меня предписанием, в котором году и у кого именно проживал Пешков в Царицыне, состоял ли он в качестве рабочего в артели или имел свое малярное заведение. Ротм. Устинов“.

Зато ответ Казанского губ. жанд. управления содержал в себе ряд очень интересных,—и для нижегородских жандармов, и для нас,—подробностей о жизни А. М. в Казани: приводим этот ответ полностью:

¹⁾ Запрос в Царицын был отправлен 7 июля 1889 г. (№ 403).

²⁾ Бумага эта датирована 22 октября, в Нижнем получена 27 октября: в своем ответе на нее нижегор. жанд. управление указывало, что „в данное время в справках относительно А. Пешкова надобности уже не встречено“.

Казанское губ. жанд. управл.
Октября 13 дня 1889 года
№ 1530.

Начальнику Нижегород. губер. жанд. управл.

Секретно.

На отношение вашего превосходительства от 9 сего октября имею честь сообщить, что упомянутый в оном маляр Алексей Максимов Пешков, очевидно, тот самый, о действительной выдаче коему нижегородской мещанской управою паспорта за № 323 сроком с 7 декабря 1887 года по 7 декабря 1888 года ваше превосходительство уведомили меня от 6 минувшего сентября за № 566/1048, и фотографическая карточка которого при сем прилагается,—проживал в Казани в 1887—88 году; занимался не малярным мастерством, но служил разносчиком хлеба в существовавшей с апреля мес. 1887 г. по июнь месяц 1888 года в городе Казани, на углу Бассейной улицы и Безмянного переуллка, в доме Степановой, булочной, официальным владельцем которой считался проживавший в г. Казани и занимавшийся мелочной торговлей бакалейными товарами, а впоследствии объявленный несостоятельным должником крестьянин Степан Иванов Деренков, дочь которого Мария Степанова, в 1886 г. кончившая курс казанск. ксеннинской женской гимн., а ныне состоящая в замужестве за управляющим имением казанского уездного предводителя дворянства г. Перцова при деревне Капшмары, Мамадышского уезда, Казанской губернии, Николаем Алексеевичем Рамазовым ⁴ и по своим знакомствам и сношениям возбуждавшая сомнение в ее политической благонадежности, лично производила торговлю в упомянутой булочной, при которой и проживала, как уполномоченная от своего отца. В действительности же, как на то указывали получавшиеся мною негласные сведения, булочная эта была с весьма подозрительными целями, сущность коих, однако, не представлялось возможности выяснить, открыта на средства известного по своей политической неблагонадежности, состоящего ныне ассистентом при одном из профессоров хирургии императорского казанского университета врача Петра Филипповича Кудрявцева ⁵, бывшего в то время еще студентом означенного университета, и совместно с товарищами своими,—также сомнительными в политическом отношении,—студентами Анатолием Ивановым ⁶ и Виктором Пьянковым, из которых последний помогал Деренковой в торговле, проживавший как бы в качестве квартиранта при означенной булочной, которая имела чисто консперативный характер, служа местом подозрительных сборищ учащейся молодежи, занимавшейся там, между прочим, совместным чтением тенденциозных статей и сочинений для саморазвития в противоправительственном духе, в чем участвовал и Алексей Пешков, что, помимо негласных сведений, явно доказывается препровождаемыми при сем для сведения и в полное распоряжение вашего превосходительства: 1) тетрадь, содержащей написанную, как видно из надписи под заглавием лист (?) Алексеем Пешковым, носившим также прозвище „Грохало“, выписку из статьи „Современные учения о нравственности и ее история. Миртов. О. З., 10 ч., 4 том“¹) и 2) принадле-

¹ Очевидно, „70-й год, т. 4-й“; бумаг этих в нижегородском архиве не сохранилось.

жащим Пешкову экземпляром из данного, как в свое время было выяснено, с противоправительственными целями в 1883 году в г. Челябинске, Оренбургской губ., владельцами библиотеки братьями Покровскими, а в августе месяце того же года распространенного в г. Казани известным вашему превосходительству Василием Кларк и его товарищем по казанскому университету челябинским купеческим сыном Николаем Зобниным, ныне состоящим в административной ссылке в Зап. Сибири, печатного „Систематического указателя лучших книг и журнальных статей 1856—1883 г.г.“, каковые предметы обнаружены у подвергнутых по распоряжению моему, на основании 29 статьи положения 14 августа 1881 года, в ночь на 4 августа сего года обыску— без дальнейших впрочем, последствий и по причинам, не имеющим отношения к деятельности упомянутой булочной, — проживавшей в городе Казани сельской учительницы Надежды Александровны Щербатовой, которая с августа 1887 года до мая месяца 1888 года также проживала при булочной этой, помогая в торговле и по хозяйству Марии Деренковой, ее воспитаннице по гимназии.

Когда упомянутая булочная в указанное выше время, по недостатку денежных средств у предпринимателей, прекратила свое существование, то Алексей Пешков, оставшийся некоторое время без всяких занятий, 7 июля 1888 года отправился в село Красновидово, Свяжского уезда, Казанской губернии, где пробовал, но неудачно, заняться мелочной торговлей¹ откуда же в сентябре месяце, того же года, возвратился в г. Казань, а затем в конце того же сентября месяца неизвестно куда выехал, причем, по имеющимся негласным сведениям, Алексей Пешков в последних числах мая месяца текущего года был на весьма короткое время в г. Казани, но с какою целью сюда приезжал и где квартировал, не представилось возможным выяснить, как равно не представляется возможности установить времени, целей и самого факта других приездов его летом настоящего года в город Казань, где он по всей вероятности останавливался у кого-либо из своих знакомых, не представляя своего документа к прописке. Что же касается до причин, которые могли бы вызвать упоминаемые вашим превосходительством поездки Пешкова из Нижнего-Новгорода в г. Казань, где Пешков также постоянно вращался в кругу лиц прямо неблагонадежных и сомнительных по своему политическому направлению, весьма возможно, что он был посредником каких-либо тайных сношений между неблагонадежными личностями, проживающими в Нижнем-Новгороде и Казани.

К изложенному необходимым считаю присовокупить, что Алексей Пешков, проживая в г. Казани, не был явно скомпрометирован в политическом отношении и мой запрос вашему превосходительству от 25 августа сего года за № 1086 касательно документа Пешкова и сведений о нем вызван был именно обнаружением у Надежды Щербатовой вышеозначенных предметов, Пешкову принадлежащих, как это удостоверила Надежда Щербатова, объяснившая, что предметы эти она увезла случайно со своими учебными книгами при отъезде ее из булочной в мае месяце 1888 года на летнее время к знакомым в Чистопольский уезд, Казанской губернии, и не возвратила по принадлежности, так как более с Пешковым не встречалась и не знала его местожительства. Начальн. управления полк. Гангард¹⁾.

¹⁾ Впоследствии, в 90-х г.г., комендант Шлиссельбургской крепости (в период относительно мягкого режима).

Эти справки о Пешкове прибыли в Нижний, как видно из имеющихся на них отметках, уже после того, как были совершены описываемые нами ниже обыски в „коммуне“ в доме Лик и арест А. М. Пешкова; поэтому роли в этом аресте, вызванном совершенно иными причинами, они не сыграли,—они характеризуют лишь, какую сеть плело в это время вокруг Горького-юноши нижегородское жандармское управление.

Причины ареста, повторяем, были другие.

Ген. майор Познанский, как он после сам писал губернатору, „постоянно искал случая проникнуть в общую квартиру Сомова, Чекина и Пешкова, но к сожалению не находил к тому законных оснований“; такое „законное основание“ нашлось только в октябре в виде полученной 12 октября в Нижегородском губернс. жандармском управлении из департамента полиции телеграммы о заарестовании Сергея Сомова, в связи с одним небольшим делом, возникшим в это время в г. Казани. Эта телеграмма доставила Познанскому, по его собственному признанию, „известное удовольствие“: он, „наконец, мог посредством обыска узнать в известной степени, в какой мере неблагонадежны обитатели квартиры в д. Лик, и принять относительно их соответствующие меры“.

С производством обыска спешили: телеграмма об аресте пришла 12 октября, в этот же день был произведен обыск, и все же жандармы опоздали. „Хотя я,—писал потом Познанский,—и поторопился с обыском (он был произведен в самый день получения депеши), но в квартире не оказалось уже никого; во время самого обыска в нее возвратился только Пешков. Чекин же за два дня перед тем выбыл в Горбатовский уезд, а Сомов часа за 3 до получения мною телеграммы о заключении его под стражу исчез и затем в Нижнем уже найден не был“.

Такого рода результат обыска, конечно, далеко не был приятен для властей, и свою досаду они начали вымещать на А. М. Пешкове.

Производивший обыск подп. Федоров немедленно же после того, как выяснилось отсутствие Сомова и Чекина, сообщил об этом факте г.-м. Познанскому, и последним было отдано следующее распоряжение:

№ 711. октября 12 дня 1889 г. Подполковнику Федорову.

Вследствие полученного сейчас через посланного жандармского унтер-офицера донесения вашего высокоблагородия о том, что в квартире, занимаемой бывшим студентом Сергеем Сомовым и бывшим сельским учителем Акимом Чекиным, в данное время вами осматриваемой и обыскиваемой, ни Сомова, ни Чекина не оказалось, и что неизвестно, где они находятся, но что во время обыска в эту квартиру явился третий жилец оной Алексей Пешков, предлагаю вашему высокоблагородию поступить так: принять меры, чтобы означенный Пешков до окончания обыска в квартире из нее никуда не отлучался и не мог бы сообщаться с кем-нибудь из посторонних лиц и в особенности со знакомыми Сомова и Чекина и затем, руководствуясь законом об охране, опросить как Пешкова, так и хозяев и прислугу владельца дома, в котором находится квартира Сомова, Чекина и Пешкова, неизвестно ли им, где в данное время пребывают Сомов и Чекин и когда они отлучались. О том, что окажется по этим опросам, мне тотчас же донести.

„Опрос“ Пешкова был произведен: протокола его не сохранилось, из других же документов мы узнаем, что на этом допросе Пешков держал себя мужественно: он не только ответил, что не знает, где Сомов, но стал даже уверять, что Сомов исчез из квартиры не 12, а 11-го октября. Держал себя при этом опросе Пешков в высшей степени дерзко и даже нахально¹⁾.

Это показание Пешкова разошлось с показаниями прислуги и убедило жандармов в том, что А. М. „укрываетелствует“. Такого рода вывод находил некоторое подтверждение в общей картине, найденной жандармами при входе в квартиру; об этой картине Познанский писал:

„Что касается до Сомова, то он по всей вероятности был кем-нибудь оповещен о производящемся ныне в Казани дознании и аресте некоторых из его знакомых и поторопился, уничтожив или припрятав все, что могло служить уликой против его, а быть может, и против его сожителей, скрыться из Нижнего. Оказавшиеся в квартире Сомова, Чекина и Пешкова книги и бумаги найдены разбросанными в беспорядке и частью порванными и притом между ними не обнаружено ничего существенного. ¹⁾ Очевидно было, что найденное представляло только ненужный отбросок, что бумаги пересматривались и разбирались. Какого-либо имущества (платья, белья и пр.) у Сомова также не было найдено, а между тем об отъезде его из Нижнего и об оставлении им квартиры в д. Лик ни членам его семейства, ни даже его прислуге, с которой встречался как в день своего исчезновения, так и накануне, не было известно“.

Эта обстановка отъезда Сомова с несомненностью говорила, что ему в его отъезде кто-то помогал, а так как Чекина в городе в это время не было, то таким помощником, ясно, мог быть лишь „третий жилец квартиры в доме Лик“—А. М. Пешков. Такого рода вывод и был сделан жандармами, и он определил судьбу Пешкова: его решено было арестовать. Предписание об этом аресте, отданное г.-м. Познанским подполковнику Федорову гласило:

№ 713. Октября 13 дня 1889 г. Подполковнику Федорову.

Рассмотрев произведенные вами в порядке закона об охране и по моему распоряжению опросы мещанина Алексея Пешкова, дворника дома Лик, в котором жили Сомов и Чекин, крестьянина Якова Шарина и кухарки мещанки Ольги Прохоровой и заметив: 1) что показания этих трех лиц, относящиеся до времени исчезновения из квартиры бывшего студента Сомова, не согласуются между собою, 2) что Пешков, очевидно, отклоняется от истины, говоря, что он не знает, куда отправился Сомов и в 3) что скрывает он местонахождение Сомова весьма понятно для того, чтобы лишить вас возможности разыскать Сомова и чтобы в то же время предупредить его, Сомова, о произведенном у него обыске и грозящей ему, быть может, беде, предписываю вашему высокоблагородию привлечь Пешкова к особому от производства о Сомове дознанию в порядке закона об охране в качестве обвиняемого и мерою пресечения относительно его принять заключение под стражу, что необходимо для успеха дальнейших розысков Сомова“.

¹⁾ „Несущественное“ было все же в небольших размерах взято: ниже мы приведем расписку А. М. Пешкова в обратном получении забранных у него рукописей и карточек.

Привлечь А. М. к дознанию не пришлось—данных для этого было мало, но к переписке он был привлечен и в тюрьму посажен: в деле сохранились уведомления о возбуждении этой переписки и сведения об А. М., посланные в департ. полиции: эти документы, в виду их интереса, мы приводим целиком.

„Уведомление о возбуждении переписки:

1. Наименование переписки: по обвинению нижегородского мещанина Алексея Максимовича Пешкова в укрывательстве лица, обвиненного в государственном преступлении.

2. Время возбуждения переписки: 13 октября 1889 года.

3. Место возбуждения и производства переписки: г. Нижний-Новгород.

4. Кто производит переписку: отдельного корпуса жандармов подполковник Федоров.

5. Основание возбуждения переписки, вследствие ¹⁾ совместного проживания обвиняемого с подлежащим аресту Сергеем Григорьевым Сомовым и дачей относительно Сомова, очевидно, ложных объяснений с целью скрыть его местопребывание“.

Вслед за этой бумагой (на языке жандармских канцелярий она именуется „литерой А“, как первое извещение департамента полиции о каждом вновь возникающем дознании и переписке) последовала вторая („литера Б“) „со сведениями о лице, привлеченном к переписке в качестве обвиняемого по делу об укрывательстве лица, подлежащего аресту (№ 715 от 16 октября):

1. Когда послана лит. А: 14 октября 1889 года за № 714/1228.

2. Фамилия, имя и отчество: Пешков Алексей Максимов.

3. Время рождения: 14 марта 1868 года.

4. Место рождения: г. Нижний-Новгород.

5. Вероисповедание: православного.

6. Происхождение: мещанин г. Нижнего-Новгорода.

7. Народность: русский.

8. Подданство: русский.

9. Звание: мещанин.

10. Место прежнего жительства: г. Нижний Новгород.

11. Место приписки: г. Нижний-Новгород, получает вид на жительство из ремесленной мещанской управы.

12. Занятие: частною перепискою у присяжного поверенного Ланина.

13. Средства к жизни: получаемый заработок от переписки 20 рублей в месяц.

14. Семейное положение: холост.

15. Родственные связи: не имеет ни отца, ни матери, а также ни братьев, ни сестер родных.

16. Место постоянного жительства родителей или заменяющих их родственников или опекунов.—

17. Экономическое положение родителей:—

18. Место воспитания: обучался в нижегородском ремесленном приходском училище, но курса в оном, по бедности, не окончил: оставил это училище в 1879 году.

19. На чей счет воспитывался: на счет родителей.

¹⁾ Перед этим было написано, но poste зачеркнуто: „на основании результатов обыска“.

20. Был ли за границу, когда именно, где и с какою целью: не был.

21. Привлекался ли раньше к дознаниям: не привлекался.

22. Основания привлечения к настоящей переписке: вместе проживал с подлежащим аресту Сергеем Григорьевым Сомовым и, явившись во время обыска, давал сбивчивые и очевидно ложные ¹⁾ пояснения относительно местонахождения Сомова.

23. Время привлечения к переписке: 13 октября 1889 г.

24. Местопроизводство переписки: г. Нижний-Новгород.

25. Время и место обыска или ареста: обыск произведен 12 октября, а арестован 13 октября в г. Нижнем-Новгороде.

26. Время нового допроса: 13 октября 1889 г. ²⁾

27. Что обнаружено по обыску: ничего ³⁾ особенного не найдено.

28. Принятая мера пресечения: заключен под стражу в 1-м корпусе нижегородского тюремного замка.

29. Время сообщения (кому именно, число и номер) о привлечении к дознанию обвиняемого, состоящего на государственной службе или воспитанника учебного заведения, по принадлежности его начальству:—

Пом. начальн. нижегородского губернского жандармского управления подполковник Федоров*.

На квартире Пешкова и его товарищей после ареста А. М. была посажена засада из чинов полиции, задерживавшая для выяснения личности всех ходивших на квартиру; в деле сохранилось, донесение пристава 2-й кремлевской части Чеховского (от 15 окт. за № 13929) о лицах, посетивших 14 октября квартиру в доме Лик; список этих лиц любопытен в том отношении, что он знакомит нас с кругом ближайших знакомых А. М. и его товарищей, в этом списке фигурируют;

1. Алкина, состоящая под надзором полиции, живущая в д. Малышевой, на Больничной улице, (в других находящихся в деле документах она именуется „девицей татаркой“ и гражданской женой упомянутого выше находившегося в ссылке в Зап. Сибири Василия Кларка);

2. Бетнер, Лев ¹⁰ Дмитриевич, живет у смотрителя Аракчеевского корпуса г. Бетнера;

3. Ширяева, Елена ¹¹ Григорьевна, крестьянка дер. Таволжки, Петров. у., Сар. губ., живущая на Б. Покровке (в других документах она именуется „женой запасного секретаря“ и „состоящей под негласным надзором“).

4. Яковлева, Варвара Маркеловна, санитарка отделения нижегородской земской больницы, живущая на Мартыновской улице, в женском отделении.

Уведомляя Федорова, ведшего следствие, о посещении этими лицами квартиры в д. Лик, г.-м. Познанский прибавлял, что „не мешало бы всех этих лиц опросить о причинах их прихода в ту квартиру, а также к кому именно они приходили, об отношении их к Сомову, Пешкову и Чекину“, тем более, что „из поименованных 3-х женщин Алкина и Ширяева состоят под надзором и принадлежат

¹⁾ Последние три слова вписаны сверху карандашом.

²⁾ Зачеркнуто: „подозрительного“.

к числу личностей, считаемых мною крайне подозрительными в отношении их политической благонадежности¹⁾“.

Были-ли произведены опросы этих лиц, и, если да, то что они показали,—из дела не видно...

В тюрьме А. М. на этот раз пришлось пробыть очень недолго. 15 октября из Казани была получена телеграмма о задержании там Сергея Сомова и в тот же день Познанский писал подп. Федорову:

„Получив сегодня из Казани депешу о том, что бывший студент Сергей Сомов разыскан и задержан, я нахожу, что содержать мешанина Алексея Пешкова под стражей не представляется необходимым, почему и предлагаю вашему высокоблагородию его, Пешкова, из под стражи освободить и меру пресечения, впредь, до окончания о нем переписки, назначить особый надзор местной полиции“.

16 октября А. М. был освобожден и в департ. полиции была послана „литера Н.“: „Уведомление об изменении меры пресечения“, где причиной освобождения выставлялось: „на том основании, что скрывшийся и подлежащий аресту Сергей Григорьев Сомов задержан в Казани и что, следовательно, нет опасения, чтобы Пешков способствовал укрывательству Сомова“.

Но „переписка“ о Пешкове не прекратилась: она шла своим чередом и 30 октября уже была закончена. 31 она поступила к г.-м. Познанскому, в препроводительной бумаге подп. Федоров писал, что на основании собранных сведений „безошибочно можно причислить Пешкова к личностям неблагонадежным в политическом отношении“. Познанский дела у себя не задержал и уже 1 ноября препроводил его к нижегородскому губернатору, приложив к нему большую резюмирующую записку. Фактические данные этой записки нами уже использованы выше, и здесь мы отметим только ее выводы.

Стремясь все время подчеркнуть бдительность нижегородского жандармского управления, своевременно заметившего „сомнительное в отношении политической благонадежности“ поведение А. М., записка эта приходит к выводу, что Пешков, „представляет собою удобную почву для содействия неблагодарному люду России“, „был знаком с неблагонадежными личностями“, „читая сочинения особенного, не вполне желаемого не соответствующего его развитию и полученному им образованию, направления“ и т. д. Но так как это в большей части „относилось к прежней жизни Пешкова (в Казани) и при обнаружении не было найдено достаточным для привлечения Пешкова к дознанию, то и я,—писал Познанский,—разумеется не нашел возможным основывать обвинение Пешкова“ на этих фактах; „все же другие показания, встречающиеся в переписке о нем, и между ними показания г. г. Лика и Ланина (т.-е. того прис. пов., перепиской у которого А. М. зарабатывал свои 20 рублей. Б. Н.),—личностей, заслуживающих полной веры и уважения, говорят скорее в пользу Пешкова, нежели против него“. Вследствие всего этого Познанский „полагал бы дело о мешанине Алексее Пешкове дальнейшим производством прекратить, принятую относительно него меру пресечения, — гласный надзор полиции, изменить на негласный надзор с тем, чтобы по поступлении его на военную службу (он будет тянуть жребий в конце ны-

¹⁾ Любопытно, что в этом перечислении Познанским пропущен был Ветвер, т. е. оставшийся неприпятным к делу. Случайным этот пропуск конечно быть не мог: таких случайностей у жандармов не бывало. Чем же его объяснить?

нешнего года) о его прошедшем было сообщено его военному начальству".

Как и следовало ожидать, этот вывод жандармов был поддержан губернскими властями (известно, ведь, что последние чрезвычайно редко не соглашались с заключениями первых), и вскоре в жандарм. управление поступила из канцелярии губернатора бумага, за подписью вице-губернатора П. Неклюдова, уведомлявшего, что он „разделяет взгляд относительно прекращения производством дела о мещанине Алексее Пешкове и отмены учрежденного за ним гласного надзора с подчинением его секретному надзору полиции“.

Дальнейшее уже просто: 5 ноября переписка, вместе с ответом губернатора, была отправлена в департамент полиции: в этот же день А. М. были возвращены отобранные у него бумаги; приводим подлинную расписку А. М. в получении этих последних:

„Принадлежащие мне книги и бумаги, с прибавлением под заглавием „Здесь свалка навоза и мусора“ и за исключением фотографических карточек Кармазинской, Ширяевой, Полудницыной, Басаргиной и Алкиной я получил 5 ноября.

Мещанин Алексей Пешков“.

Последний, хранящийся в деле и имеющий отношение к А. М. Пешкову документ,—это уведомление нижегородского полицеймейстера от 19 ноября о том, что А. М. перешел на новую квартиру,— в д. Малышева, по Больничной ул...

Так закончилось для А. М. Пешкова его первое знакомство с российскими жандармами. В дальнейшем у него таких знакомств было не мало...

Бор. Н—ский.

Примечания М. Горького.

1. С 80-го по 85-й год. За эти пять лет я две навигации служил „посудником“ на пароходах сначала „Добром“ Курбатова, потом „Пермь“ Любимова. 83-й и 84-й года был „мальчиком“ при лавке икон и старопечатных книг и, в то же время, числился учеником иконописной мастерской Салабанова. Весною 84-го снова поступил к Сергееву. Летом 85-го уехал в Казань. „Поселиться у дяди“, я, конечно, не мог, ибо не жил у него, как у родственника, а служил, как у хозяина. Сергеев был племянником моей бабушки. См. мою книгу „В людях“.

2. С. Р. Сомов, „нигилист“ из дворян Саратовской губ., жил в Париже, изображен П. Д. Боборикиным в романе „Солидные добродетели“ под фамилией Ломова. До Парижа работал с В. Пругавиным по изучению артелей на Волге, хорошо знал П. А. Кушэвского, встречался с Лесковым. Был в ссылке в Ялуторовске или Верхоянске— вместе с И. Е. Петропавловским-Карониным, которого, между прочим, вызвал на дуэль, поссорившись с ним из-за брюк. Дуэль не состоялась. Сомов был наиболее типичный „нигилист“ из всех людей этой марки, встреченных мною. Фанатический поклонник естественных

заук, яркий рационалист, он хвастался своим эгоизмом и любил показывать его в формах крайне отталкивающих — был грязен, груб, пиничен, в сущности же оставался большим добряком, до смешного увлекавшимся изысканием среди молодежи „гениальных парней“. Я познакомился с ним в Казани, где он организовал довольно обширный кружок молодежи: после переезда С. в Нижний, во главе кружка встал его талантливый ученик Федосеев, вскоре „провалившийся“ вместе со всем кружком. Сомов написал большую работу, в которой доказывалось, что явления социальной психологии подчиняются тем же законам физики, как и явления электричества. На рукописи этой работы была надпись Н. К. Михайловского, сдержанно одобрительная; помню из нее два слова: „мало фактов“. Более одобрительно отнесся к работе этой молодой московский психолог Викторов — его надпись тоже была сделана на обложке рукописи. Одна глава этой работы была издана в Нижнем брошюрой.

3. Я жил не в Царицыне, а на ст. „Крутая“, Волго-Донской ветви и, вероятно, подлежал наблюдению железно-дор. жандармов. Шпионов к нам на станцию присылали из Калача. Следили за мною, телеграфистом Юриным, казанским переплетчиком Лахметкой и поручиком Матвеевым, бывшим ссылкой. „Наблюдение, было вызвано частыми визитами к нам на станцию казаков из двух ближайших станиц, а также наездами Матвеева из Царицына и Лахметки из Калача. Поступил к нам сторожем некий Черногоров — мужчина весьма бравого вида, но скоро наш станционный жандарм Бодряга предупредил нас, что это шпион из Ростова. Недели через три Черногоров напился эверски, избил помощника начальника станции Ковшова и был прогнан.

4. Это был Михаил Антонович Ромась, мещанин гор. Козельца железнодорожный рабочий, года за два перед тем вернувшийся из Якутской ссылки, где он жил вместе с В. Г. Короленко, а в 92 г. арестованный в Смоленске, как заведывающий тайной типографией „народоправцев“. По этому делу был арестован и Мациевич, М. А. Натансон, А. М. Лежава — ныне Замнаркомвнешторга — и много других. В Нижнем и Казани по делу „народоправцев“ выдавала истерическая девица Истомина, убитая вместе с ее ребенком, взрывом на даче Столыпина.

5. Неверно, — на деньги Андрея и Марии Деренковых, детей Степана.

6. Анатолий был маляр и стекольщик, а не студент. Изумительно талантливый юноша, он не вынес тяжелой жизни и застрелился в 90 г. 19-ти лет.

7. Вадор. В Красновидово меня пригласил для пропаганды среди мужиков М. А. Ромась, который открыл там мелочную лавку на средства, данные ему Чарушниковым и Натансоном. Работали в Красновидове Надежда Цербатова, Мария Деренкова, Анатолий, я и рыбак Изот „распропагандированный“ Ромасем, чудесный мужик, уминица и добряк. Ромась продавал товары значительно дешевле других двух сельских лавочников, что быстро вызвало их ненависть к конкуренту, и они решили расправиться с ним „по-домашнему“. Изота убили и сунули под баржу, в Ромася дважды стреляли из ружья, начинили колоено дров порохом и взорвали у нас печь в кухне; наконец, в августе подожгли лавку и она сгорела со всем товаром. Едва не сгорел и я, захваченный огнем на чердаке, стаскивая оттуда ящик книг.

Выбросился из окна, завернувшись в тулуп. Поджог приписали Ромасю и хотели бросить его в огонь, но он, вообще отличавшийся непоколебимым спокойствием, так величественно курил трубку, пуская дымок прямо в рожки освирепелых мужиков, что они благоразумно отступили. Меня застигли, когда я рубил загоревшийся плетень соседа, но в руках у меня был топор, мужики уже знали, что я довольно силен и ловок в драке, на помощь мне, не торопясь, пришел Михаил Антонович, и все кончилось благополучно. Ромась был могучий мужчина лет 40—45, борода большая, а голова гладко острижена, под высоким лбом—серые, спокойные и умные глаза. Он был человек весьма начитанный, имел несколько десятков хороших книг и всюду возил их с собою. По делу „народоправцев“ он сидел около года в тюрьме, потом был сослан на 10 лет, кажется, в Якутскую. Весной 1904 г. он жил в Седлеце, куда я ездил навестить его. Тюрма и ссылка почти не изменили его физически и совершенно не отразились духовно—такой же крепкий человек, спокойно верующий в правоту своего дела. Из Седльца его выслали на родину в Козелец, где он—в 1908 г.—был арестован за пропаганду среди штундистов. Жив ли он теперь? Не знаю. Я очень многим обязан ему,—он пригласил меня к себе в Красновидово, вскоре после того, как я прострелил себе левое легкое, покушаясь на самоубийство. Из всех моих знакомых той поры, он один отнесся ко мне внимательно и серьезно.

8. О наблюдении за нашей квартирой я был предупрежден торговкой кружевами Саней Клыевой, сестрой жандарма, чудеснейшей дамой, с которой у меня были наилучшие отношения. Ее брат, одетый ломовым извозчиком, но всегда забывав перемешать жандармские штаны, почти ежедневно торчал в мелочной лавке против ворот дома Лик. Ожидая обыска и ареста, Аким Александрович Чекин уехал в Сергачь, а Сомов—в Казань откуда были получены сведения об аресте членов кружка Федосеева.

9. Неверно. Арестован я был тотчас после обыска, т. е. 12-го октября. Допрошен через три-четыре дня. Выпущен из тюрьмы не 16-го октября, а 7-го ноября, накануне Михайлова дня. Это я хорошо помню, ибо на другой день была вечеринка у Кларка и тут я впервые увидал „нелегального“ (кажется, это был Сабунаев). Он вызвал у меня весьма памятное впечатление: был очень неумело одет, плохо загримирован, носил рыженький парик, говорил пренебрежительно. а публика слушала его почти подобострастно. Мне он сказал: „Тюрма—необходимая школа для революционера“. Помнится, я ответил ему дерзостью,—должен был ответить так.

10. По паспорту Льва Бетнера жил в Нижнем—недолго—Гусев, пропагандист среди молокан Саратовской губ, только что возвратившийся из ссылки, вскоре арестованный в Саратове и, через 9 месяцев, умерший в тюрьме. Читай о нем у Степняка.

11. Елена Ширяева—жена Степана Ширяева, погибшего в Алексеевском равелине. Перед арестом своим Степан Ширяев поручил ей своего брата Петра, алкоголика, с которым она и жила в невыразимых мучениях. Жандармы, видимо, смешали ее с Еленой Ширяевой, сестрой Степана и Петра, умной и милой девушкой.

М. Горький.

20 Марта 1921 г.

Из летописей Шлиссельбургской крепости.

I.

„За возмущение и необыкновенно упорный и отчаянный характер“.

С 1 апреля 1847 года по 27 марта 1856 года, в течение девяти лет, содержался в Шлиссельбургской крепости Игнатий Вещицкий. Во всеподданнейших рапортах комендант ежемесячно доносил царю, что причина заключения Вещицкого—„возмущение и необыкновенно упорный и отчаянный характер“. В действительности, Вещицкий был уже ненормален и таил зародыш серьезной душевной болезни, когда учинил свое преступление, а в Шлиссельбургской крепости он окончательно потерял рассудок и страдал буйным помешательством. Попечительное же начальство буйные выходы сумасшедшего считало проявлением преступной закоснелости и упорного, отчаянного характера и применяло образ воздействия, соответствующий такому взгляду. Но, в конце-концов, сумасшедший в секретном крепостном замке—бытовое явление того времени, и история жизни Вещицкого—типичная крепостная драма, о которой следует рассказать подробнее.

Дело Вещицкого открылось в январе 1846 года. Время было тревожное. Русское правительство с тщательным вниманием следило за проявлением революционного духа в Западной Европе, а особенно в пограничных странах. Внутри России особенно подозрительно относились к разоблачению польских заговоров и к пресечению всех попыток к восстанию. В период такой настороженности внимания киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора Д. Г. Бибикова не мог не привлечь донос, сделанный 25 января чиновником канцелярии попечителя Киевского учебного округа Сосновским. Он объявил, что прибывший в Киев бывший студент университета Св. Владимира Игнатий Вещицкий открылся ему, что он после старания своего в Варшаве поступить в военную службу, не будучи принят в таковую, тайно ушел в Пруссию, там был арестован, но при содействии одного помещика освобожден и, получивши от него деньги, ездил в Париж и другие места, виделся с Лелевелем и прочими польскими выходцами по мятежу, получив от них приглашение пригласить жителей Польши к восстанию, к которому жители западных губерний будто бы уже готовы,—затем Вещицкий склонял Сосновского присоединиться к заговору, быть в готовности к возмущению и иметь заблаговременно приготовленных молодых решительных людей, из студентов, учеников и служащих в Киеве по канцеляриям, и когда

даво будет знать, выступить отрядами и начать действия освобождением арестантов и уничтожением начальствующих лиц, следуя плану, который будет сообщен в свое время". Вещицкий 24 января был арестован, началось дело и Бибииков донес графу Орлову о том, что снятие вопросов с Вещицкого и прикосновенных лиц поручено жандармскому полковнику Белоусову и чиновнику особых поручений при нем Андреевскому. 14 февраля начались допросы, а 19 февраля один из прикосновенных к делу, дворянин Яворский, содержавшийся в участке, после третьего допроса наложил на себя руки: находясь в постели, зарезал себя бритвой. Это обстоятельство, несомненно, придало в глазах властей сугубое значение делу Вещицкого. К тому же Вещицкий! держался с необычайной стойкостью на допросах и отрицал все возводимые на него обвинения и оговоры. О себе он объявил следующее: „он, Гржимало Вещицкий, 27 лет, уроженец Минской губернии, Мозырского уезда, сын бедного дворянина; первоначально обучался в Мозырском уездном училище, потом в Киевском университете, по закрытии которого перешел в Харьковский, из оного возвратился снова в Киевский университет, в 1843 году оставил оный, не имея чем содержать себя, и, не кончив курса, получил увольнительное свидетельство для поступления в военную службу. От этого времени до лета 1845 года находился в разных местах: с паспортом Минского губернатора был в Варшаве, проходил чрез Калиш, Августов и другие города и села Царства, прося везде о принятии его в какую-либо казенную или частную должность, но нигде не получил оной. Жизнь его в Царстве была самая несчастная, огорчения и лишения преследовали его на всяком шагу. В 1845 году в Минске он вновь испросил паспорт на следование в Харьков, выехал в декабре в Мозырь и оттуда в Киев, тоже для прискания службы. О переезде своем из Минска в Варшаву и пребывании в Царстве Польском, равно о возвращении в Минск, Вещицкий дал ответы неудовлетворительные, отзываясь запямятованнем“.

Доносчик по его делу, чиновник Сосновский, на допросе дал подробные дополнения к доносу о своих сношениях с Вещицким. Из объяснений Сосновского было ясно, что Вещицкий был или представлялся эмиссаром польской эмиграции. По словам Сосновского, Вещицкий при свидании с ним 18 января приглашал его послужить национальному делу и указать надежных помощников. Сосновский указал на Яворского. Сосновский должен был, по мысли Вещицкого, готовить к восстанию студентов, гимназистов, чиновников. Придет час и Вещицкий даст знать о начале общего восстания, придет прокламация, и Сосновский соберет всех единомышленников, разделит их на отряды, перебьет начальство, освободит заключенных и двинется по указанному Вещицким пути, разбрасывая всюду прокламации и действуя решительно и быстро. Казначеем повстанцев должен был быть, по словам Вещицкого Сосновскому, Милевский. При следующем разговоре 20 января Вещицкий объявил Сосновскому, что ксендз Коризна обещал дать денег, а Яворский согласился подыскать голяка в Польшу. Когда Вещицкий заметил взволнованный и унылый вид Сосновского, он посоветовал ему говеть и сохранять твердость, хотя бы его резали по кускам. 22 января, — показывал Сосновский, — „Вещицкий пришел с сердитым видом и рассказал, что Коризна отказал в деньгах, не хотел с ним говорить, так что если бы это случилось в уютном месте. Вещицкий заколол бы его; что Яворский извинился невозможностью

прислать посланца в Польшу, при чем присовокупил: „ну, раскрылся же предо мною Киев вдруг, но погодите, разве повесят меня, а не то будете визжать“. После сего Вещицкий вынул из кармана и сжег свои письма. Вещицкий во весь вечер был очень взволнован; поглядывал страшно и, схватив свой нож, повертел им и сказал, обращая речь к ножу: „дождешь ли ты поры, чтобы хотя одного пронзить“. Мелкие подробности, рассказанные Сосновским, убедительно свидетельствуют о неуравновешенном состоянии духа Вещицкого.

На очной ставке Вещицкий заявил, что все рассказанное Сосновским—выдумка, и отперся от всего.

Ксєндз Коризна показал на следствии, что к нему действительно приходил неизвестный ему человек, оказавшийся впоследствии Вещицким, требовал денег и, выслушав отрицательный ответ ксєндза, дал ему срок до 22 января. В этот день Вещицкий явился к ксєндзу, нашел его в коридоре вместе с его слугой и заявил, что пришел за деньгами. „Услыхав, что их нет, воскипел гневом, изменился в лице—и звал в комнату на несколько слов“, но ксєндз не пошел. Слуга ксєндза подтвердил показание хозяина и добавил, что Вещицкий „после удаления ксєндза из коридора в комнату, смотрел страшно от злости“. На очной ставке Вещицкий заявил, что никогда к Коризне не приходил и его не видел. Дворянин Милевский, названный в доносе Сосновского, на допросе дал характерное показание, рисующее ненормальное состояние Вещицкого: „Утром после ночлега, когда они остались наедине, Вещицкий требовал, чтобы Милевский достал для него 20 капель яду, что Вещицкий повторял в тот же день вечером, говоря, что яд нужен ему непременно, потому что вскоре ему надобно выехать в Житомир, не хотел верить невозможности приобрести яды, говорил с иступлением, как помешанный, смотрел сурово и ушел, повторяя требование достать ему яду. На следующий день, 24 января, Вещицкий явился опять, застал Милевского одного, сидевшего в углу под печкою, подсел к нему так, что загородил собою Милевского, долго всматривался в него и, наконец, объявил, что сделает его казначеем. Милевский с удивлением стал спрашивать, какое это будет казначейство, и Вещицкий, сопровождая слова свой ужасным взглядом, сказал: я хочу сделать мятеж, а тебя избираю в казначеи, знаешь ли, я никогда не лгу, так слушай, я один произведу мятеж, а ты будешь хранителем сумм, для мятежа собранных. Милевский принялся увещевать Вещицкого, который вдруг спросил, а яд есть? При слове—нет—Вещицкий выхватил свой нож и сказал: не хочу ничего знать, смотри, чтобы яд был; мне надобно вскоре ехать в Житомир, если не будет яду, я тебя заколю этим ножом так точно, как вчера вечером чуть не пронзил им в сених ксєндза Коризну в его квартире за то, что не хотел тоже принадлежать и собирать денег. Испуганный Милевский начал представлять свое положение, что он не здоров, дитя его отчаянно больно, жена едва оправилась от болезни, и, чтоб избавиться от Вещицкого, присовокупил, что для прислания яду нужно время, но он надеется, что вскоре представится случай достать яд. Вещицкий, несколько успокоенный, сказал, что не когда-нибудь, а теперь, т. е. сегодня или завтра ему нужен яд, не забудь найти его и с этим ушел“. На очной ставке Вещицкий отвечал, что все показанное Милевским—совершенная ложь.

Таковы были скудные результаты следствия по доносу Соснов-

ского. Не было самого главного—признания самого Вещицкого. На дело было обращено серьезное внимание в Петербурге, куда жандармский полковник присылал подробные доклады. Граф Орлов доложил о деле Николаю Павловичу и 25 марта 1846 года писал Д. Г. Бибикову: „Усматривая, что Вещицкий замыслил произвести восстание и готов был покушаться на самые ужасные преступления, я всеподданнейше докладывал о сем государю императору с таковым мнением, что Вещицкий должен быть настоящий эмиссар, и его императорское величество высочайше повелеть соизволил сообщить вашему высокопревосходительству, дабы вы на дело сие обратили строжайшее внимание“. Известившись о таком волеизъявлении, Бибиков должен был постараться во-всю. Вещицкий был предан военному суду, по полемому уголовному уложению, при Киевском ординарском-гаузе. Перед военным судом прошли все те же свидетели и доносчики, не прибавившие ничего нового к своим показаниям, а Вещицкий остался верен своей тактике и отрицал все их показания. В результате приговор военного суда оказался довольно неожиданным для представителей высшей власти, придавших огромное значение Вещицкому. „Военный суд, находя, что к обвинению подсудимого Вещицкого в зловердных политических замыслах никаких законных доказательств не открыто, что, по показанию Милевского, Вещицкий, еще будучи студентом в прежнее время, имел признаки помешательства,—что хотя, по уликам означенных лиц, падает на него некоторое подозрение в означенных разговорах, если эти разговоры не были следствием помрачения в то время рассудка, приговорил: на основании 86, 87 и 88 ст. 1 книги и 316 ст. 2 книги, 5 части свода военных постановлений, подсудимого дворянина Вещицкого в противозаконных политических разговорах его с Сосновским, Милевским и Яворским оставить в некотором подозрении“.

Казалось бы, такой приговор должен был бы открыть Вещицкому тюремные двери, но не тут то было. С этого момента начинается отягощение участи Вещицкого, ибо над ним висела воля русского императора. Получив на конфирмацию приговор военного суда, Бибиков распорядился отправить Вещицкого на испытание в военный госпиталь. Но за время пребывания Вещицкого в госпитале, „никаких признаков помешательства в нем не замечено и умственные способности его были в нормальном состоянии“.

Утвердить приговор военного суда Бибиков не осмелился и, связанный известной ему высочайшей волей, усилил наказание Вещицкому. Изложив ход дела Вещицкого в отношении к графу Орлову от 27 февраля 1847 года (№ 595), Бибиков давал место и своему мнению. „По рассмотрении сего дела, я начощу, что военный суд, не вникнув надлежащим образом, как в характер самого Вещицкого, так и в самое происшествие и не имея сведений о политических сочтаниях в Кракове и Галиции, сделал о нем приговор, несоответственный обстоятельствам дела, ибо Вещицкий обвиняется показаниями 4-х человек,—сам он характера бешеного и отчаянного, притом необыкновенное упорство его при допросах обнаруживает ту опасную закоренелость в преступных мечтах и намерениях, которые совершенно приличествуют его характеру и образу жизни. Кроме сего, тот способ начинания бунта, о котором Вещицкий, до начатия еще возмущения в Кракове и Галиции, говорил Сосновскому, т.-е. истребление начальствующих лиц, разделение на малые отряды, увлечение молодых

людей, особенно служащих по канцеляриям и ожидание плана действий, который будет ему сообщен, совершенно сходствует с той организацией польского заговора, которая была в последствии у галицийских злоумышленников и как самое это обстоятельство доказывает уже, если не участие Вещицкого в том заговоре, который обнаружился в начале прошедшего года в Кракове и Галиции, то по крайней мере знание его об оном, а, может быть, судя по собственным словам его, сказанным Сосновскому, и желание распространить о нем известность и в управляемых мною губерниях, то посему, на основании Высочайшего указа 18 февраля 1846 года, я полагаю отправить Вещицкого на службу в самый дальний Сибирский гарнизон и отправить его из Киева не иначе, как с двумя жандармами, сообщив генерал-губернатору, чтобы за ним иметь самый строжайший надзор, дабы он из Сибири бежать не мог, ибо, как выше я имел честь из'яснить, он принадлежит, по характеру своему, к числу тех отчаянных людей, которые не останавливаются ни на каком преступлении и готовы совершить его всегда и везде".

III Отделению это усиление кары Вещицкого показалось недостаточным. На бумаге Бибикова имеется карандашная резолюция генерала Дубельта. „Спросить фельдмаршала, не лучше ли в крепость и тем более, что могут открыться обстоятельства, по которым будет лучше“. В духе этой резолюции было составлено заключение и отправлено на рассмотрение наместника Царства Польского фельдмаршала князя варшавского И. Э. Паскевича. „Вполне разделяя мнение г. киевского губернатора о необходимости принять против Вещицкого строжайшие меры, дабы от столь отчаянного человека не могли произойти обширные и гибельные последствия, я нахожу, что удаление его в Сибирь еще не довольно лишит его возможности к побегу и неким предприятаям, а потому полагал бы удобнейшим заключить его в крепость, тем более, что судя по возрождающемуся сомнению, не принадлежал ли он к заговору галицийскому и не оставил ли в России других, еще неизвестных, преступных связей, быть может, встретится надобность в снятии с него новых показаний“. Конечно, князь варшавский вполне согласился с заключением графа Орлова и, кроме того, предоставил ему труд войти по делу Вещицкого со всеподданнейшим докладом (7 марта 1847, № 20). 10 марта граф Орлов представил Николаю доклад о Вещицком: повергая свое мнение на высочайшее воззрение и указав на согласие с ним фельдмаршала, граф Орлов присовокупил, что „он полагал бы заключить Вещицкого в Бобруйскую крепость“. Чем выше становились инстанции, рассматривавшие дело Вещицкого, тем тяжелее оказывались наказания, определяемые для него в этих инстанциях. И, наконец, окончательное и тягчайшее наказание было вынесено для него самим царем. На докладе о Вещицком граф А. Ф. Орлов записал карандашом: „высочайшие согласился с моим мнением с тем только изменением, чтобы на место Бобруйской заключить его в Шлиссельбургскую крепость“.

14 марта 1847 года Бибилов уведомил графа Орлова „об отправлении, под самым надежным караулом, в сопровождении двух жандармов, содержащегося в Киевской крепости арестанта дворянина Игнатия Вещицкого к Шлиссельбургскому коменданту, для заключения в тамошней крепости“. А 28 марта последовал высочайший указ капитулу российских императорских и царских орденов о награде доносчику. „В воздаяние отличия по службе, оказанного чиновником канцелярии

попечителя Киевского учебного округа, дворянином Сосновским, все-милостивейше жалую ему орден св. Анны 3-й степени, повелеваем капитулу снабдить его сим орденом и грамотою" ¹⁾).

11 марта 1847 года III Отделение уведомило коменданта Шлиссельбургской крепости ген.-лейт. Заборинского о Вещицком: „Государь император высочайше повелеть соизволил арестованного в Киеве дворянина Минской губернии, Игнатия Вещицкого, который подговаривал других лиц к возмущению, а при производстве о нем дела показывал необыкновенно упорный и отчаянный характер, заключить в Шлиссельбургскую крепость“.

1 апреля 1847 года Игнатий Вещицкий был доставлен в Шлиссельбургскую крепость. О жизни его в крепости сохранились скудные сведения. 27 ноября того же года комендант испрашивал у графа Орлова разрешение арестанту дворянину Вещицкому заниматься сочинением. Граф разрешил, но с тем, чтобы сочинения Вещицкого не были никому передаваемы. 20 января 1849 года комендант доводил до сведения III Отделения, что дворянин Вещицкий „покорнейше просит его исходатайствовать ему дозволение писать письма к отцу его в Минскую губернию“. III Отделение разрешило Вещицкому писать письма к родителям, но с тем, чтобы в этих письмах он не касался бы ни до каких объяснений, кроме домашних обстоятельств, и не упоминал бы о своем местопребывании, письма же его доставлять в III-е Отделение“.

13 января 1849 года Вещицкий написал письмо в Мозырь отцу своему—„Францу Михайловичу старому Вещицкому“. Трогательное письмо Вещицкого—человеческий документ, который не может быть обойден в истории Шлиссельбургской крепости. В письме нет в сущности фактического содержания, но и теперь чувствуется, как изнывает, плачет и бьется в тоске о стены каземата человеческая душа. Необходимо привести его целиком в том переводе с польского языка, который был сделан в III Отделении для генерала Дубельта.

„Простите мне, родители мои, прошу вас, что несколько уже лет я не писал; намереваясь писать, я думал, однако, что сам буду у вас, притом же обстоятельства не позволяли, и я не писал, простите мне, как сыну. Я здоров, весел, очень весел, даже совершенно весел, и для меня все идет хорошо, одно только огорчало меня то, что несколько лет от вас не получал я никакого известия—и не получал по своей же вине, простите. Прошу вас, напишите ко мне немного, немного, хочу, батюшка, знать и о вашем здоровье и о ма-тушкином здоровье, о братьях и сестрах моих—напишите маленько, немного, мало, как поживаете вы и братья и сестры мои. Я постоянно надеюсь, постоянно думаю, что скоро Бог позволит мне быть у вас; надеюсь, надеюсь, что буду, что вскоре сам у вас буду. Прошу вас, родители, не беспокоиться о мне, мне хорошо, хорошо, слава Богу здоров и весел, весел, вполне весел. Прошу вас, родители, напишите ко мне, только немного, немного, может быть прежде, нежели я сам приеду к Вам, получу еще ваше письмо, обо мне же, прошу, совсем совершенно не беспокоиться. Бог даст, я буду у вас, сам буду у моего отца, матери, тогда мне будет уже хорошо, хорошо, сам буду у вас

¹⁾ 29 августа 1847 г. докладчик дворянин и кавалер Иван Сосновский просил графа Орлова предоставить ему какое-либо место в столице, где „он, никак не зна-мый, мог бы трудами и усердием устроить дальнейшее свое служебное поприще“.

при вас и будет хорошо. Увижу своего отца, увижу мать, увижу брата, встречу сестру и Бог даст и будет хорошо, хорошо.

„Матушка, не беспокойтесь, я у вас сейчас, сейчас буду, скоро буду, скоро, скоро буду, сам буду у вас. Матушка, я весел, я совсем весел, вполне весел и у вас скоро, скоро буду, я матушка совершенно весел, совершенно весел, желаю только иметь от вас письмецо, немножко, немножко напишите, напишите как вы живете, а я у вас буду скоро, буду, буду, батюшка, матушка и сестры, живу и прошу вас напишите об этом и напишите немного, немного. Батюшка, матушка, прошу перешлите мое братнее приветствие Казимиру и Теодору, у вас, родители, целую ноги и руки, и братьев и сестер моих всех нежно прижимаю к груди, нежно вас, братьев и сестриц моих, к сердцу, в объятия прижимаю. Родители, целую ваши ручки.

„Ваш сын, родители, ваш родной сын Игнатий.

„Прошу батюшку написать, как мои братья, окончили ли они ученье в школах или еще нет. И как Александр и Павел—здоровы ли и сестры здоровы ли, Казимиру и Марциане прошу передать братнее приветствие и Теодоровым. Целую ваши ручки, Игнатий.

„Братьев и сестер всех, всех прижимаю нежно к сердцу, Кучинских и Сонинских нежно, нежно к груди прижимаю. Батюшке и матушке целую ручки. Игнатий.“

Дубельт прочел перевод письма Вещицкого и положил на нем резолюцию „не посылать“. В справке читаем: „хотя в этом письме не было ничего, кроме бессмыслицы, но его сиятельство приказал не отправлять оно, тем более, что Вещицкий, быть может, под непонятным выражением дает что-либо разуместь своим родственникам“. Так подлинное письмо с маленьким конвертиком, написанное слезами Вещицкого, сохранилось подшитым к делу III Отделения. При рапорте от 6 июня 1849 года комендант генерал-майор Альбранд представил новое письмо Вещицкого и при этом „почтительнейше присоединил, что ум арестанта сего несколько тронут“. Специалист при III Отделении прочел письмо Вещицкого и представил начальству следующее заключение: „это письмо совершенно в том же роде, как первое. Прося брата, чтобы он каких-то детей посылал учиться вместе с своими детьми, просить учить их только азбуке и купить им—для одного флейту, а для другого скрипку“—пусть учатся азбуке, „азбуке, азбуке, ходят в школу, пусть ходят в школу, не надобно ничему учить, кроме азбуки, азбуки.. Пусть один играет на флейте, пусть играет на флейте“ и проч. Эти и такие же выражения повторяются во всем, довольно обширном письме, и оно, не имея никакого смысла, показывает, что ум Вещицкого вполне расстроен. Посылать это письмо также неудобно: ибо родственники могут выводить, что Вещицкий находится в самом жалком положении“. Это письмо, как и первое, было удержано при деле III Отделения.

На пятом году тюремного заключения и на четвертом году заточения в крепость, Вещицкий находился уже в полном помешательстве. Врач, приглашенный комендантом, представил 25 августа 1850 года следующий рапорт об его здоровье: „Вследствии приглашения вашего превосходительства от 24 августа сего года за № 41 для освидетельствования арестанта, входящегося в крепости под № 11 м, честь имею донести, что помянутый арестант уже от трех лет начал мешаться рассудком все более и более до такой степени, что ныне почти постоянно и непрерывно бредит (mania), а как в нынешнем

его положении и содержать и лечить весьма затруднительно, хотя ни на какую внутреннюю болезнь не жалуется, то, кажется, лучше было бы его отослать в Санкт-Петербург в дом умалишенных, в коем все средства для поправления его здоровья, как в физическом, моральном, так и медицинском отношении имеются".

31 августа 1850 года комендант Троцкий вошел к генералу Дубельту с следующим рапортом о состоянии Вещицкого: „С давнего уже времени содержащийся в вверенной мне крепости арестант Вещицкий замечен в расстройстве рассудка и ныне чем далее, тем болезнь усиливается, так что его почти невозможно выпускать на дозволенные прогулки без видимой опасности, равно и водить в баню: между тем, как он беспрерывно просит о прогулке на воздухе.— Почему имею честь обстоятельство сие представить на благоуважение вашего превосходительства с тем, что не соизволите ли исходатайствовать об отправлении его в дом умалишенных, тем более, что по поручению моему доктор Кучинский, пользующий его, донес рапортом, что хотя он и не жалуется ни на какую болезнь, но ныне почти беспрерывно бредит, а потому и находит необходимым отправление его. На что и буду иметь честь ожидать вашего предписания“.

Почему-то для разрешения вопроса, поднятого Троцким, генерал Дубельт счел нужным войти в сношение с военным министром князем А. И. Чернышевым. Об этом свидетельствует помета Дубельта на рапорте: „По буйному характеру Вещицкого, г-н военный министр не разрешает отправлять его из крепости, но для его же собственного охранения приказал послать туда камзол“. За камзолом, употребляемым для охранения одержимых сумасшествием, III Отделение обратилось в медицинский департамент военного министерства к В. Б. Пеликану. Пеликан препроводил 21 сентября, за неимением во 2-м военно-сухопутном госпитале камзола, рубаху, признанную лучшей и стоившую 2 руб. 32½ коп. серебром.

В ноябре 1850 года III Отделение собралось было переводить Вещицкого в больницу всех Скорбящих и изготовило по этому поводу должное отношение, но „граф приказал оставить“. В январе 1853 года комендант Троцкий представил список арестантам, пребывание которых в крепости представлялось ему нетерпимым. Одним из пяти обозначенных здесь был Вещицкий, и Троцкий против его фамилии написал—„совершенное отсутствие рассудка“. Граф А. Ф. Орлов представлял об этом Николаю Павловичу, результаты представления — в меланхолической карандашной отметке графа Орлова: „ничего нельзя сделать, в сумасшедшем доме за ними присмотр такой не может быть“. Нам такое решение, дышащее каким-то жестоким упорством, совершенно непонятно. Непонятно, зачем надо было держать в крепости людей в совершенном отсутствии рассудка, и почему присмотр за ними в сумасшедшем доме казался Николаю не обеспечивающим интересов правительства.

Через десять с лишним лет кончились земные страдания Вещицкого. 27 марта 1856 года комендант Троцкий рапортовал господину генерал-адъютанту и кавалеру графу Орлову: „Содержавшийся во вверенной мне крепости арестант Вещицкий от давно одержавшей его болезни сего числа волею Божиею помер, о чем вашему Снятельству почтительнейше честь имею донести“. 3 апреля граф доложил об этой новости царю.

А еще через полтора года „верноподданная Терезия Николаева

дочь Вещицкая обратилась с следующим прошением: „Сын мой Игнатий Вещицкий проживал в Киеве, где в 1846 году, завлеченный пагубными идеями в преступление, получил достойное за сие наказание, и с этого времени я, мать его родная, не знаю, где он и жив ли. Стоя у края гроба, я, несчастная мать, приношу к подножью Твоего трона, Августейший Монарх, последнюю всеподданнейшую просьбу, почти умирающим голосом отзываюсь к Твоему отеческому сердцу, прося помилования для моего дитяти. Знаю, что сын мой преступен пред Тобою, Великий Государь, и пред лицом премудрых наших законов, но мать всегда остается матерью, она всегда любит свое дитя, она плачет и жалеет о нем даже тогда, когда сама осудит достойным наказания. Августейший Монарх! Дозволь несчастной родительнице хотя у дверей вечности увидеть прощенным дитя свое и осенить померещенное чело его материнским благословением. — Единственная моя надежда и упование на Монаршую Твою Милость“.

9 декабря 1857 года III отделение предложило начальнику Минской губернии объявить просительнице, что „помянутый в прошении сын ея, после продолжительной болезни, 27 марта 1856 года умер“. Так и не узнала верноподданная Терезия Вещицкая, где и при каких условиях умер ее сын¹⁾.

II.

„Должны быть решительно забыты“.

5 февраля 1843 года военный министр князь Чернышев сообщил шефу жандармов графу А. Х. Бенкендорфу о том, что „Государь Император Высочайше повелеть соизволил доставленных в С.-Петербург из Варшавы, бывших контролеров Польского Банка, Налепинского и Адельта, и счетчика Краевского, за соделанное ими преступление, подтвержденное собственным их сознанием, заключить на всю жизнь в одну из крепостей Империи и преимущественно в Шлиссельбургскую“. 9 февраля того же года три названных чиновника были заключены в Шлиссельбургскую крепость. Одному из них, счетчику Францу Краевскому, не суждено было выйти из стен крепости: „одержимый водяною болезнью, с которою уже прибыл, волею Божиею сентября 15 числа 1843 года Краевский умре“. Товарищам его, Налепинскому и Адельту, посчастливилось увидеть вольный свет, но после исключительно сурового и долголетнего заключения в крепости. — через восемнадцать, без малого, лет.

Через несколько дней по заключении в крепость чиновники польского банка обратились к коменданту с просьбой „исходатайствовать им писать к их женам в г. Варшаву, о присылке им денег на содержание, ибо по дороговизне здесь в с'естных припасах положенного казенного содержания недостаточно“. Так как чиновники были заключены по высочайшему повелению, объявленному военным министром, то начальник III Отделения, к которому поступил рапорт коменданта о просьбе заключенных, не нашел возможным разрешить ходатайство

¹⁾ Дело 1 эксп. 1846 года № 32 по доносу чиновника Сосновского об объявленных ему студентом Вещицким преступных замыслах и дело по управлению Шлиссельбургского коменданта об арестанте Вещицком № 7. Ист.-рев. архив в Петрограде.

своей властью и передал его на усмотрение военного министра. И военный министр не отважился на самостоятельное распоряжение в данном случае и довел просьбу до сведения императора Николая. Ответ Николая даже для сего монарха был чрезвычайно суров и категоричен. „Его величество—сообщил 16 февраля 1843 года военный министр шефу жандармов—находя, что по важности их преступления они не заслуживают никакого внимания и должны быть решительно забыты, не соизволил ни на доставление к ним денег, ни на дозволение писать к своим семействам“. Эта высочайшая воля тяжелым камнем придавила заключенных в крепость и устранила всякую возможность облегчения их положения. И когда в июне 1844 года комендант крепости гев.-лейтенант А. Н. Зыборянский вновь просил графа А. Ф. Орлова за Налепинского и Адельта, III Отделение, сославшись на высочайшую волю, а также и на неизвестность для него о причинах заключения, не признало возможным ходатайствовать об облегчении их участи. Но любопытная и характерная черта в Николае Павловиче!—предавая тягчайшим наказаниям родителей, он оказывал милость детям: повесив Рыльева, он трогательно заботился о судьбе его вдовы и дочери. Когда Адельт обратился с всеподданнейшей просьбой о помещении его 14-ти летнего сына в казенное учебное заведение, царь дозволил привезти этого малолетнего самой матери его, проживавшей в Варшаве, но, дозволяя этот приезд, не преминул приказать шефу жандармов принять строжайшие меры «в особенности с прибытием жены Адельта в здешнюю столицу, дабы от нее сокрыты были самые слезы, которые могли бы обнаружить место заключения мужа ее». Николай, очевидно, хотел подчеркнуть, что милость к сыну Адельта ни на йоту не меняет положения его отца.

А мать Адельта, кажется, не поняла этого оттенка и в ноябре 1845 года попробовала отправить военному министру письмо для пересылки сыну. Прошение матери через наследника поступило в III Отделение, и когда наследнику была доложена справка с изложением рассказанных выше обстоятельств, наследник «не удостоил изъяснить соизволения на означенную просьбу матери Адельта». Приблизительно в это же время Адельт, изыскивая способом так или иначе дать о себе весть на волю, объявил претензию на инспектора Варшавской тюрьмы, которому, при отправлении в Петербург, он оставил свои вещи и деньги. Адельт просил ходатайства коменданта об истребовании вещей и денег и о доставке их в крепость. Адельт рассчитывал, что правительство, безоглядно защищавшее принцип частной собственности, охранит и его право. Комендант передал просьбу Адельта в III Отделение, III Отделение доложило ее наследнику и наследник не разрешил коменданту входить в переписку по предмету возвращения принадлежащих Адельту вещей. В марте 1847 года жена Налепинского подала на высочайшее имя прошение о дозволении ей видеться или по крайней мере писать мужу, ибо «дела ее требуют этого, без чего угрожает ей с семейством совершенное разорение». Сообщая о том, что Николай не изъясил на просьбу высочайшего разрешения и отозвался, что просьба удовлетворена быть не может, граф Орлов собственноручно приписал в отношении, поднесенном ему для подписи: «тем более, что место заключения их должно быть неизвестно никому.» В июне 1847 года мать Адельта обратилась к наместнику Царства Польского с просьбой уведомить ее, находится ли в живых ее сын. Наместник обратился с этим вопросом к военному ми-

нистру, военный министр, не получавший от Шлиссельбургского коменданта рапортов о содержащихся в крепости и потому не имевший возможности ответить, запросил в свою очередь III Отделение; последнее кратко ответило, что, как видно из представленной 1-го июля 1847 года ведомости, Адельт находится в живых.

Но родственники заключенных неумоимо стучались во все двери. В феврале 1848 года они обратились к содействию жандармского генерала: «Начальник III Округа корпуса жандармов, генерал лейтенант граф Нессельроде, свидетельствуя истинное свое почтение его превосходительству Леонтию Васильевичу, имеет честь покорнейше просить «прилагаемое письмо приказать доставить находящемуся в Сибири Станиславу Адельту». Но попытка кончилась неудачно. Письмо было возвращено обратно генералу, при чем III Отделение присовокупило, что о местопребывании Станислава Адельта неизвестно, и кроме того вежливо предложило генералу Нессельроде «приказать, чтобы на будущее время ни от кого не было принимаемо в его управлении писем на имя Адельта». По встретившейся надобности в январе 1851 года, по поручению военного министра, барон Вревский запросил, находится ли в живых Налепинский; III Отделение лаконично ответило, что, как видно из представленной ведомости на 1-е января, Налепинский находится в живых. Но в июне 1851 года жена Налепинского обратилась к графу Орлову с просьбой «приказать выдать ей свидетельство о смерти ее мужа, сужденного не за политическое преступление, а за вину по службе, на вечное заключение, объясняя, что акт этот ей нужен для несовершеннолетних детей ее». На эту просьбу III Отделение, за подписью графа Орлова, ответило решительной ложью, предложив объявить Налепинской: «о муже ее во вверенном мне управлении не имеется никаких сведений и что по сему означенная просьба ею мною исполнена быть не может». Жена Налепинского не успокоилась на таком ответе и через полгода обратилась к графу Орлову с ходатайством о выдаче ей необходимого для имущественных распоряжений удостоверения о смерти мужа. Граф Орлов 1 ноября 1851 года через наместника дал ей ответ, буквально следующий: «Мне и вверенному мне управлению ничего неизвестно о ее муже». Но Налепинская не унималась и обратилась уже на высочайшее имя. 21 ноября 1851 года управляющий канцелярией прошений писал графу Орлову: «Жена заключенного в 1843 году на всю жизнь в одну из крепостей империи, бывшего контролера польского банка, Маргарита Налепинская подала на высочайшее имя прошение о дозволении ей вступить в новый брак. Как по правилам римско-католической церкви брак уничтожается только натуральною, а не политическою смертью одного из супругов,—то, вследствие высочайшей воли, имею честь покорнейше просить ваше сиятельство о благосклонном сообщении мне: не имеется ли в делах III Отделения собственной Е. И. В. Канцелярии сведений о смерти помянутого преступника Антона Налепинского и когда таковая последовала,—для ответственного затем разрешения означенного прошения». Любопытно, что на этой бумаге рукой генерала Дубельта написано для сведения графа: «Жив, но позволяйте отвечать, что не знаем». Но в письме Туркуля была ссылка на высочайшую волю, и граф Орлов приказал ответить, что Налепинский находится в живых.

Шли года. За это время подрос сын Адельта и начал хлопотать о своем отце. Он нашел случай обратиться к великому князю Констан-

тину Николаевичу, и 28 июня 1856 года управляющий морским министерством барон Врангель обратился к генералу Дубельту со следующим письмом: „Корпуса корабельных инженеров прапорщик Адельт обратился к его императорскому высочеству генерал-адмиралу с просьбою об исходатайствовании у государя императора всемилостивейшего прощения отпущу его, служившему в 1842 году контролером в польском банке в г. Варшаве, титулярному советнику Станиславу Адельту, сосланному за прикосновенность по делу председателя польского банка Лубинского. Вследствие сего, по поручению государя великого князя генерал-адмирала, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство сообщить мне для доклада его высочеству, в чем именно обвинен был отец просителя Адельта и какому наказанию подвергнут“. На это письмо III Отделение ответило, что оно не имеет сведений, за что именно заключен Адельт, и сообщило о резолюции Николая, предававшей полному забвению заключенных польских контролеров. А тем временем комендант крепости генерал Троцкий выдал секрет и, не спросившись III Отделения, ответил на запрос управляющего канцелярией военного министерства, что Адельт и Налепинский живы, что первый совершенно здоров, а второй слабого здоровья и страдает грыжей. Троцкий уведомил III Отделение о своем ответе и получил предупреждение „в случае поступления к вашему превосходительству каких-либо вопросов о секретных арестантах Шлиссельбургской крепости, предварительно отзывов ваших на сии вопросы, испрашивать на сие разрешение г. шефа жандармов“.

Но генерал-адмирала не смутил и не остановил лаконичный ответ III Отделения. Он приказал спросить наместника Царства Польского князя Горчакова о причинах застояния Адельта и добился, наконец, ответа...

До сих пор мы подробно рассказывали об условиях крепостного заключения, которые пали на долю контролеров польского банка Адельта и Налепинского, ибо в истории этой много выдавшей в своих стенах крепости страницы об их заключении—из самых жутких. Резолюция Николая и вся рассказанная нами история их сидения вызывают из подполья нашей памяти легендарные рассказы о людях, пропадавших в доброе, старое время, людях, как бы канувших в воду. Но мы должны остановиться и ответить на вопрос, который, мы уверены, уже давно беспокоит и волнует читателя: за какие преступления государственной важности были брошены в шлиссельбургские казематы Налепинский и Адельт, пытались ли они потрясти основы государственного бытия или выступили с какой-либо безумно-дерзкой выходкой против священной особы монарха или, наконец, их тяжкое преступление было вызвано стремлением помочь своей родине каким-либо повстанческим заговором? Ни то, ни другое, ни третье: читатель будет изумлен и разочарован, когда узнает, в чем состояло дело польских контролеров. В их преступлении абсолютно отсутствовал элемент политический; они были в полном и буквальном смысле слова преступниками уголовными. Служа в польском банке контролерами, Адельт и Налепинский по соглашению с счетчиками Краевским и Коханским учинили подлог и выиграли 217.500 рублей серебром при тиражах в 1840 и 1841 годах облигаций займа Царства Польского. Счетчик Коханский выдал своих товарищей, и они учинили сознание. Вот и все. Современному читателю непонятна столь необычайная и тяжкая реакция правительства на их преступление. Некоторое объясне-

ние находим в следующих строках отношения наместника Царства Польского (от 28 сентября 1856 года) барону Врангелю: „Предместник мой, при подробном всеподданнейшем донесении о сем происшествии, повергал на Высочайшее усмотрение, что предание сих преступников суду военному, или гражданскому дало бы делу сему гласность, которая угрожала бы всему кредиту Царства, и потому и спрашивал высочайшего соизволения, чтобы, придав преступлению вид политический, сослать Адельта, Налепинского и Краевского в Сибирь, а Каханского, как добровольно открывшего преступление и чистосердечно в оном сознавшегося, отослать на жительство в одну из отдаленных губерний, под надаор. Блаженный памяти государь император, одоблив таковую меру, высочайше повелеть соизволил Адельта, Налепинского и Краевского заключить на всю жизнь в Шлиссельбургскую крепость“. В этой каре без суда слышатся отголоски старорусского уголовного права, по которому фальшивомонетчикам заливали горло расплавленным оловом.

В самых кратких и сжатых чертах доскажем историю необыкновенного заточения Налепинского и Адельта. Великий князь Константин Николаевич взялся за дело всерьез. Получив от наместника разъяснение о причинах жестокой кары, он распорядился отправить отзыв наместника вместе с всеподданнейшим прошением сына Адельта к шефу жандармов князю В. А. Долгорукову и поручил (8 октября 1856 года) просить его, не изволит ли он признать возможным войти по этой просьбе с особым докладом к государю“. Князь В. А. Долгоруков счел нужным запросить по предмету этой просьбы мнение наместника Царства Польского князя Горчакова. Только 19 декабря пришел ответ от князя Горчакова. Он находил, что „Адельта и Налепинского возвращать в Царство Польское не следует, для избежания весьма вредных последствий на общий кредит Царства, ни даже в западные и средние губернии Империи, и что, по важности их преступления, наказание, им определенное, весьма справедливо“. Князь Долгоруков доложил дело новому царю Александру, и он „не изволил признать возможным в настоящее время изменить распоряжение, сделанное относительно бывшего контролера польского банка Адельта“. И за могилкой продолжала действовать и влиять высочайшая воля Николая Павловича.

В 1858 году Адельт просил „буде возможно, осчастливить его сведением о сыне его Иване и дочери Софии, где они ныне находятся и в каком положении“. На этот раз III Отделение снизошло на просьбу Адельта и ответило ему. За все время заключения Адельта и Налепинского это была первая и единственная льгота, первая и единственная в принятом с начала их заключения порядке их содержания. Летом 1860 года сын Адельта начал вновь хлопотать об отце. Он лично просил за него у князя В. А. Долгорукова. Приказано было запросить коменданта, как ведет себя Адельт, каково состояние его здоровья, и признает ли он, комендант, по праву и качествам Адельта возможным отправить его на жительство в одну из отдаленных губерний. Комендант дал благоприятный ответ, но царь, по докладе ему, отложил разрешение до личного разговора с наместником во время посещения Варшавы. 8 ноября 1860 года наместник дал свое заключение по делу Адельта. „Главною причиною, по которой полагается невозможным возвратить этих преступников на родину, есть опасение, чтобы огласка о их преступлении не повредила кредиту Царства.

По передаче мне настоящего прошения подпоручика Адельта, я требовал по оному заключения главного директора финансов и председателя Польского банка, которые, вследствие сего, донесли, что по истечении двадцати лет после учинения Адельтом и Налепинским преступления, можно бы их ныне освободить от ареста, в котором находятся, и отнюдь не возвращать в Царство Польское, выслать их в одну из отдаленнейших губерний Империи, под надзор полиции, с тем, чтобы они обязаны были подпискою не говорить о причине ссылки своей, под опасением в противном случае возврата в прежнее место заточения. Соглашаясь с таковым мнением тайных советников Ленского и Непокойчицкого, я полагаю сверх того, что Адельту и Налепинскому по освобождении их из под ареста, следует воспретить вести переписку с жителями Царства Польского²⁾.

Так и было сделано. Адельту и Налепинскому предложено было дать подписку не говорить о причине своей ссылки и не вести переписки с жителями Царства Польского. Конечно, заключенные с радостью дали такую подписку. III Отделение напоследок просто разошлось в своих заботах о нуждах освобождаемых и проявило редкую и не лишнюю дозу сладострастия трогательности. В докладе князю Долгорукову читаем: „Отделение сие обязывается представить на благоусмотрение вашего сиятельства следующее: 1) Адельт и Налепинский, прибыв в назначенный им город, не будут иметь средств ни для обзаведения, ни для удовлетворения своих нужд, самых необходимых, если им не дано будет единовременное пособие. 2) На содержание лиц, высылаемых под надзор полиции, определено законом: по 15 коп. в день на продовольствие и 1 руб. 50 коп. в месяц на квартиру, все это вместе составляет 6 рублей в месяц. — содержание это не может быть достаточно при самой скромной жизни. 3) Чтобы доставить им утешения религии, которых они были лишены во время их заключения³⁾, не позволено ли будет просить министра внутренних дел назначить одну из тех губерний, в которых есть католическая церковь, или, по крайней мере, куда прибѣгают священники этой церкви, для совершения богослужения“.

Последнее соображение прямо великолепно. Через двадцать лет заточения вспомнили, наконец, и об утешениях религии.

21 декабря 1860 года Налепинский и Адельт были освобождены из секретного замка Шлиссельбургской крепости и отправлены с жандармами — первый в Вологду, а второй в Вятку⁴⁾.

П. Щеголев.

²⁾ Прежде в Шлиссельбургскую крепость католические священники, для исполнения духовных треб, были допускаемы, в 1849 году это приостановлено по случаю политических событий того времени. В 1850 году арестанты католического исповедания просили о приглашении к ним священника для причащения их, но разрешения на этот раз не последовало, а дозволено приглашать католических священников только в случае болезни кого-либо из арестантов. *Примечание автора доклада.*

³⁾ Дело III Отделения 1 экз. 1843 года № 46 о бывших контролерах Польского банка Налепинском и Адельте, заключенных по высочайшему повелению на всю жизнь, на 288 листах. — Ист.-рев. архив в Петрограде.

К характеристике Я. В. Стефановича.

(Письмо в редакцию).

Возражение на „Письмо в редакцию“ В. И. Засулич, по поводу моей статьи „Здание у Цепного Моста“ („Былое“, № 10—11), по техническим и общим условиям переживаемого нами „книжного“ кризиса появляется в печати только теперь, когда В. И. Засулич уже навсегда покинула нас...¹⁾

В виду этого, мое возражение естественно должно принять совершенно иную форму и ограничиться исключительно лишь фактическими поправками тех неточностей и искажений исторической перспективы, которыми полно вышеупомянутое „Письмо в редакцию“, озаглавленное автором „Правдивый исследователь старины“. Читатель найдет в настоящей книге „Былого“ весьма характерный документ, розысканный недавно в архиве б. Департамента Полиции, — „записку“ Я. В. Стефановича „об эмиграции“, написанную им, когда он сидел в 1882 году в „запечатанной“ камере № 1 при Д-п. Полиции²⁾. „Записка“, как читатель мог убедиться, дает исчерпывающий ответ друзьям Стефановича, пытавшимся восстановить репутацию его, как безупречного революционера и общественного деятеля. Из этой „Записки“ ясно обнаруживается, что Стефанович вступил в соглашение с директором Департамента Полиции В. К. Плеве и выдавал своих товарищей...

Вот, например, что писал Стефанович в своей „Записке“: „Единственная попытка завести непосредственные сношения с родиной была сделана Аксельродом (в 1880 г.), выписавшим через Женеву в Яссы одного из Одессы чернопередельца, который на обратном пути в Россию был арестован“. Здесь в рукописи сделана выноска и рукою В. К. Плеве на полях написано: „Кто именно?“. Видно, что, задавая этот вопрос, Плеве не сомневался получить на него ответ. И, действительно, внизу рукою Стефановича приписано: „Имя неизвестно, содержался он в Кишиневском замке“. Этих указаний Стефановича было, конечно, вполне достаточно, чтобы безошибочно установить личность одесского чернопередельца. Оговор самого Павла Аксельрода тоже очевиден; Стефановича нельзя оправдывать обывательским оправданием подобных оговоров, ссылаясь на то, что де в тот момент Аксель-

¹⁾ Письмо Н. С. Тютчева в первоначальной редакции, написанной до открытия записки Стефановича доставлено нам в 1918 г. *Ред.*

²⁾ В такой же папке, в которой была обнаружена записка, найдены были и письма его к Л. Г. Дейчу и ответные письма к нему Л. Г. Дейча. К сожалению, копии письма Стефановича об инциденте с Ю. Богдановичем и Ошаниной пока еще не найдено.

род находился за границей, так как Стефанович, конечно, не мог ручаться, что Аксельрод навсегда останется в сфере „недостигаемости“... Итак, в одной короткой фразе Стефанович выдал русскому правительству двух товарищей.

Затем Стефанович оговаривает группу „набатовцев“ (Френка, Турского, Морозова, О. Любатович), зная при этом, что Морозов, Любатович и зачеркнутый им в рукописи „Романенко“ были уже в данное время жандармами арестованы. Далее он оговаривает (и инсценирует по пути!) группу „Общего Дела“, группу „Украинской Громады“ (Драгоманова, Подолинского, Павлика, Лохотского, Жилку), группы примыкавших к „Народной Воле“ (Ефрона, Зелинского, Туманову, Голдовского, Рома (?), вновь того же Подолинского, Бени)... К „Черному Переделу“ Стефанович отнес Божановского и Похальского, не говоря уже о других,—о Плеханове, Дейче, Засулич...

Говоря об агитации, поднятой в Швейцарии князем П. Кропоткиным по поводу Геси Гельфман (присужденной к смертной казни по делу 1 марта и готовившейся стать матерью), Стефанович прибавляет: „чему, впрочем, многие крайне не сочувствуют, опасаясь вызвать со стороны швейцарского правительства *справедливые* (подчеркнуто мною. Н. Т.) упреки в злоупотреблении его гостеприимством“... Папьяка Стефанович очевидно мил сердцу Плеве: Плеве снисходит до того, что сам редактирует его рукопись и заменяет неудачные выражения Стефановича, могущие шокировать высочайшие уши, более подходящими: так—он вычеркнул титул П. Кропоткина „prince“, а в фразе Стефановича (по поводу 1 марта): „хотелось верить, что близость лучших времен не за горами“ заменил слово „лучших“ выражением „иных“... Трогательное сотрудничество революционера и мастера розыскных дел, совместными усилиями составляющих доклад Его Величеству!

Об эмигрантской колонии в Румынии есть тоже донос—сообщение. Стефанович пишет: „Если эта колония и имела какое нибудь вредное (!) значение для правительства, то гораздо больше для румынского, чем для русского, и то в лице одного Судилковского. Этот человек жил в Яссах под именем Росселя, занимая официально положение врача, и вел пропаганду среди румынской молодежи и даже (!) написал социалистическую брошюру на этом языке“. (Затем Стефанович перечисляет по фамилиям всех эмигрантов, живших в то время в Румынии, дает их характеристики и указывает их профессии).

После приведенных выписок, полагаю, беспристрастный читатель не ответит решительным отрицанием на вопрос—способен ли был Стефанович выдать Судейкину Юрия Богдановича, даже зная, что ему, как „Бобозеву“, по делу 1 марта угрожает виселица... Я имею теперь объективное право высказать свое субъективное мнение, что Стефанович сознательно выдал Богдановича, но выговорил при этом, что живущая с Богдановичем М. Н. Опанина (Баранникова-Полонская) арестована не будет. Это было *do ut des*, т. е., попросту, — договор между Стефановичем и охраной. И друзьям Стефановича никакими мавиловскими lamentациями (о „невольном преступлении“, о „самом тяжком воспоминании его до самой смерти“ и пр.) теперь вряд ли удастся завуалировать этот факт выдачи Ю. Богдановича, замученного потом в Шлиссельбурге...

В натуре Я. В. Стефановича, очевидно, заложены были черты,

побуждавшие его достигать намеченных целей окольными путями и не стесняться в средствах, даже и тогда, когда эти пути в корне подрывали самую основу главной цели. Так он действовал в Чигиринском деле, обманув крестьян заявлением, что действует, как эмисар царя. В „Народную Волю“ он вступил тоже с закрытым забралом, как настоящий Конрад Валленрод... Попав в руки жандармов, Стефанович в первые же дни заключения решил совершить политическое грехопадение и тем облегчить свою участь... Стефанович был последователен в своей тактике!

Как же и когда совершилось грехопадение Стефановича? Найденное досье дает указания на этот вопрос. В досье находится несколько писем Стефановича к Л. Г. Дейчу, проживавшему в то время за границей, и несколько ответов последнего на эти письма. За исключением первого письма Стефановича, датированного 15 февраля 1882 года, т. е. десятым днем после его ареста, вся эта корреспонденция велась официально через жандармов. Особенно интересно для характеристики автора, именно это первое письмо, которое, будто бы, должно было придти, минуя жандармов...

20 февраля 1882 г. Московский обер-полицеймейстер препроводил в Департамент Полиции „копию письма, переданного Стефановичем (содержавшимся в одном из моск. участков) 16 февраля одному из служителей участка“ для отправки этого письма по почте. Стефанович сообщает в этом письме своему другу Л. Г. Дейчу, что его завтра или послезавтра увезут в Питер. Затем он прощается с Дейчем и пишет: „Уж, конечно, не видать нам больше друг друга, повесят ли меня, не повесят, все равно не видать мне тебя больше“. После этого Стефанович просит Л. Г. Дейча не приезжать в Россию, по крайней мере, до тех пор, пока он не будет повешен или сослан на каторгу. „Меня будет вдвойне—пишет он—мучить твое присутствие здесь. Во первых—постоянная мысль, что ты провалишься, во вторых—провалишься, не найдешь для себя никакого делового удовлетворения, унесши с собою невыполненные планы „новшеств“ (курсив мой. Н. Т.), да—весьма вероятно—недовольство кашеями (т. е. народо-вольцами, как видно из той же переписки. Н. Т.)... Я бы не с такой смелостью просил тебя обречь себя на пребывание за границей до моей смерти или каторги, если бы не считал вероятным 2-й пункт в результате твоего приезда, каково же мне сознавать, что ты арестован, да еще в таком нравственном состоянии“.

Из этих строк видно, что планы „новшеств“ были известны адресату и потому для него не требовалось комментариев. Из дальнейшей же корреспонденции, из некоторых мест „Записки об эмиграции“ и из „Дневника Карийца“ (Стефановича) с несомненностью вытекает, что „планы“ эти состояли в том, чтобы „Народная Воля“ прекратила террористическую деятельность; целью этих „планов“ было, как я выразился в своей статье, „взорвать“ Н. В. „изнутри“...

На этом кончается первая часть письма... Как видит читатель, содержание ее достаточно мрачно: автор опасается (по крайней мере, он так пишет), что ему может грозить даже виселица, и притом при сознании, что проведет в жизнь „новшества“ ему не удалось... Тем более непонятным кажется, по первому впечатлению после этого пессимизма, внезапный скачек в крайний оптимизм второй части письма, с первого взгляда отзывающийся даже легкомыслием... Стефанович продолжает так свое письмо: ...„Будешь же ты жить на свободе, и я

буду жить... Я стану измышлять все способы, чтобы иметь от тебя вести и о себе тебе подавать знать, и надеюсь, что это не последнее мое письмо к тебе. *Мало того я буду искать случая опять жить с тобою, восстановить мою неразлучность с тобою не в заключении, конечно, а на воле.* Всем этим я буду занимать себя пока жив". (Место, набранное курсивом, отчеркнуто на оригинале, вероятно, самим Плеве, точно так же, как и даваемый Стефановичем адрес и следующая за ним фраза. Н. Т.) Давая адрес для получения телеграммы, извещающей о получении этого письма (Петербург, Николаевский вокзал: Степану Васильевичу Яковлеву), Стефанович пишет: „Я устрою так, чтобы ее получить"... и далее: „думаю, что смогу (писать), хоть через жандармов даже".

Все это достаточно ясно, даже и для профана, а тем более все было ясно для Плеве... Получив это письмо 21 февраля, когда Стефанович уже был перевезен в Петроград (18 февраля), Плеве написал на отношении Московского обер-полицеймейстера: „Завтра вызвать Стефановича". И уже „завтра", т. е. 22 февраля, тот же Плеве сообщил начальнику телеграфа о задержании телеграмм („до востребования на Николаевский вокзал") на имена Яковлева Степана Васильевича и Дмитриева Степана Ивановича... Таким образом появился еще новый адрес Дмитриева (о котором в письме Стефановича не было ни слова!)... Очевидно, этот адрес, во время разговора с Плеве, сообщил ему сам Стефанович, причем ему разрешено было при этом отправить письмо с этими адресами Л. Г. Дейчу, ведь ясно, что ожидать ответных телеграмм возможно лишь на отправленное письмо.

Итак соглашение Стефановича с охраной состоялось уже 22 февраля... Обе стороны даром времени не теряли. При этом невольно возникает еще следующий вопрос: действительно ли Стефанович был настолько легкомыслен, чтобы передать свое письмо совершенно неизвестному ему ранее слугителю участка для отправки его по почте? Но Стефанович был далеко не легкомысленным человеком и к тому же не новичком, первый раз попавшим в тюрьму... Спросим себя: выгодно ли ему было бы, если бы это письмо попало в руки властям. На этот вопрос можно ответить лишь положительно. Во первых—оно являлось для него сертификатом по отношению к террору, а это было ему весьма существенно; во вторых—оно давало ясно понять жандармской власти, что автор его согласен идти на какое то соглашение с нею... Первые шаги на этом пути, понятно, весьма неприятны даже и для весьма податливого самолюбия, ну, а при подобной комбинации—первый лед пришлось бы проламывать самим властям... Ничто не ново под луною! Далее, и самый примененный Стефановичем способ—соблюдя все аппарансы невинности, довести до сведения властей желательное — не нов: он практиковался некоторыми арестованными и ранее... Очень наивные или черезчур ослепленные дружбой люди одни только и могли поверить, что Стефановичу, только „ради его прекрасных глаз" как говорится, жандармы разрешили вести переписку с товарищем эмигрантом. А до чего доходило подобное ослепление видно, между прочим, и из письма Л. Г. Дейча, от 22 апр.—4 мая, ответного на 3-е письмо Стефановича. (На этом письме рукою Стефановича написано между прочим: „Позвольте на днях прочесть еще раз. Пожалуйста. Стефанович"). Л. Г. Дейч сообщил в этом письме о получении карточки Стефановича, посланной через жандармов, и писал: „очень благодарен твоему начальству за нее и за предо-

ставленную нам с тобой переписку; за это я и презентую ему свою карточку (Курсив мой. Н. Т.). Тебе, конечно, я также пришлю ее“...

Так и кажется, что друзья переписываются через своих добрых знакомых, которым эмигрант вполне безопасно может подарить свою фотографию, будучи уверен, что она не попадет в руки жандармов, т.-е. не может послужить к его аресту, а через него и к вероятному аресту его товарищей по революционным делам...

Из дел Департамента Полиции видно, что Плеве вообще пользовался прирученным им Я. Стефановичем для разнообразных справок. Так, наприм-р, в январе 1883 г. (№ 29) известный киевский жандармский полковник Новицкий донес в Департамент Полиции, что „по имеющимся у него сведениям жена князя Кропоткина (эмигранта, П. А.—Н. Т.) должна быть по фамилии Рабинович и, если эти сведения совпадут с имеющимися в Департаменте Полиции, то он „не замедлит донести о тех лицах, проживающих в России, с коими жена Кропоткина имеет связь и ведет переписку“. На этом донесении имеются такие пометки Плеве: „Прошу вызвать завтра Стефановича“; делопроизводителя: „Исполнено 14/1“; снова Плеве: „Уведомить, что действительно женщина, выдающая себя за жену Кропоткина, Софья Рабинович. Дир. Плеве“¹⁾.

На этом можно и покончить с досье Я. В. Стефановича: моральная и политическая физиономия последнего обрисовалась уже вполне достаточно.

Перехожу теперь к фактическим поправкам выставленных против меня обвинений в „Письме в редакцию Былого“.

Сличив текст моей статьи „Здание у Цепного моста“ с фразами, будто бы мною приписываемыми Стефановичу, взятыми автором „Письма“ в кавычки, читатель сам может убедиться, что „кавычки“ эти созданы воображением самого автора „Письма“ („проговорился в разговоре“, „изнутри взорвать партию“, „сжигал корабли“). Ограничусь, поэтому, только этим замечанием. Исторические неточности и прямые извращения истории требуют более детального разбора в виду того, что современный читатель в большинстве совершенно не знаком с историей нашего революционного движения и потому утверждения покойной В. П. Засулич в его глазах могут показаться ему авторитетными. Мой критик, например, пытался объяснить, как могло случиться, что Стефанович, „не будучи убежденным террористом“, попал в Ныродную Волю. Критик говорит: „Дело в том, что после 1 марта (1881 г.) в жизни партии „Н. В.“ был такой момент, когда часть партии—и к ней принадлежал вождь этого момента Тихомиров, не помышляя о новом покушении на царя, которое было бы и не под силу расшатанной организации, стремилась укрепить и расширить другие отрасли деятельности партии. Для этого оказались пригодными не только Стефанович, но и все бывшие чернопеределцы, видоизменившие свои взгляды в сторону будущей программы группы „Освобождения Труда“ и признавшие необходимость политического освобождения и борьбы за него“. Такое объяснение, конечно, могло бы оправдать вступление Стефановича в члены „Н. В.“, если бы действительно он был только „неубежденным террористом“, а не непримиримым принципиальным его противником, если бы в данном случае возможно было сослаться на Л. Тихомирова и если бы при этом

¹⁾ Последняя пометка сделана 15/1—III Дек. № 1109 (81 г.).

не была извращена вся историческая перспектива... Стефанович вернулся в Россию в сентябре 1881 г. и тогда же был принят в члены „Н. В.“, весь наличный состав Исполнительного Комитета которой был тогда еще в России. Прошло всего 5—6 месяцев после казни Александра II, и планы о царевубийстве Александра III еще не были отложены ни тогда, ни даже во время ареста Стефановича, в феврале 1882 г., когда организация „Н. В.“ еще не была разбита. Она была разбита, и планы эти, действительно, были отложены, но лишь два года спустя после этого: после лопатинского всероссийского разгрома партии „Н. В.“.

Я считал необходимым внести эту поправку и восстановить историческую перспективу событий в виду того, что с историей „Н. В.“ незнакомы даже видные современные революционные деятели. Например, один из них в своей речи при открытии памятника С. Л. Перовской произвел Рысакова в члены Исп. Ком. „Н. В.“, а другие предлагали даже назвать одну из улиц г. Череповца—родину Рысакова—именем этого слабого человека, сыгравшего такую поворную роль на следствии о 1 марта..

Далее автор „Письма“ пишет: „даже сообщая о постигшем Стефановича наказании, г. Тютчев считает нужным уменьшить его ровно вдвое. Не четыре года, а восемь лет провел Стефанович в карийской каторжной тюрьме“... При поправках надлежало бы быть более точным. Действительно, у меня указан был срок каторжных работ Стефановича четырехлетний: я цитировал его по редакционному примечанию „Былого“ к статье „Процесс 17 народолюбцев в 1883 году“¹⁾. Почему друзья Стефановича не исправили этой ошибки в течение 12 лет? Да просто потому, что тут фактической ошибки почти и не было! По коронационному манифесту 1883 г. 8-летний срок Стефановичу был сбавлен на одну треть,²⁾ т.-е. до 5 л. и 4 мес., а с обычными сокращениями (кара считалась рудником, а не крепостью или заводом) из этих 5 лет и 4 мес. следует еще вычесть, если я не ошибаюсь, по 2 мес. на год. Остается, следовательно, около 4 ¹/₂ лет каторжных работ. Правда, Стефанович пробыл на Каре дольше: с конца 1883 г. по осень 1890 г., но, как видно из его „Дневника“, он сам добровольно задерживал срок отправки его на поселение.

Мне остается еще сказать несколько слов по поводу замечания автора „Письма“, что Стефанович, будто бы „всегда относился очень недружелюбно ко всякой позе, ко всякому фразерству, хотя бы и на революционной почве“. Утверждение это совершенно неверно.

Достаточно даже бегло пробежать „Дневник Карийца“, чтобы убедиться, что его автор типичный революционный фразер. Он позабыл уже свои грешки, сделанные в запечатанной камере при Департаменте Полиции—благо, они были или неизвестны, или более или менее правдоподобно объяснены публике и, встав в позу цензора нравов, морализирует с первой и до последней страницы своего „Дневника“, уснащая свою менторскую мораль революционной фразеологией и... инсинуациями (о Н. П. Щедрине, Савелии Златопольском, М. Н. Ошаниной и о многих других) и измышлениями, вроде, например, пущенной еще Гольденбергом и подхваченной жандармами версии о „Распорядительной Комиссии „Н. В.“, никогда, как известно,

¹⁾ „Б“, 1906 г., № 10, стр. 458.

²⁾ См. Г. Ф. Осмоловского: „Карийцы“—„Мин. Годы“. 1908 г. VII.

фактически не функционировавшей. Стефанович же утверждает, что „Р. К.“ существовала и функционировала. Инсинуациями переполнены также и его „Записка об эмиграции“, в чем читатель и сам может убедиться.

О приемах борьбы, практиковавшихся Стефановичем даже и по отношению к революционерам, мы можем судить по воспоминаниям О. С. Любатович и Н. А. Морозова.

О. Любатович в своих воспоминаниях о периоде, непосредственно следовавшем за Липецким и Воронежским с'ездами, рассказывая, как осенью 1879 г. произошел окончательный раздел организации на „Н. В.“ и „Черный передел“, говорит, что „некоторые обвиняли даже, что Стефанович подлил масла в огонь, ускорив окончательный разрыв“¹⁾. А ему именно поручено было вести эти переговоры.

Н. А. Морозов рассказывает, что на Воронежском с'езде были приняты, по его предложению, в „Землю и Волю“ В. Засулич („в полной уверенности, что она будет сторонницей нового способа борьбы“, террора) и несколько других членов, и что из них Стефанович сильно способствовал потом окончательному распадению „З и В.“. „Он был тогда очень властолюбив“, прибавляет Н. А. Морозов. У него же мы находим и указание на способы, которыми пользовался Стефанович для достижения такого результата. „Когда,—пишет Н. А. Морозов,—после Воронежского с'езда, где достигнуто было формальное примирение обеих фракций „З. и В.“ и выработан *modus vivendi*, участники его вернулись в Петербург...Стефанович начал вербовать себе сторонников среди лиц, имевших тесные сношения с „З. и В.“, и завербовал в том числе хозяйку нашей типографии Крылову. Она заявила, что не позволит печатать ни одной статьи в новом направлении, так как гражданская свобода будет способствовать развитию буржуазии и таким образом пойдет во вред рабочему народу. Благодаря такому положению дел в типографии издание „Земли и Воли“ оказывалось фактически неосуществимым, несмотря на то, что все остальные наборщики стояли за новое направление. Такое положение тянулось два месяца“²⁾.

Из всего предыдущего, мне думается, моральная физиономия Я. В. Стефановича обрисовалась настолько ясно, что друзьям его едва ли удастся восстановить его доброе имя.

Но и политическая его деятельность (обман Читиринских крестьян) не может быть оправдана, даже с революционно-утилитарной точки зрения, не говоря уже о моральной.

В русском революционном движении красной нитью проходят два типа деятелей. К преобладающему принадлежали: А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская, А. И. Желябов; к второму типу—С. Г. Нечаев, Я. В. Стефанович и немногие другие. Эти люди, ради достижения текущих злободневных целей, допускали пригодность всех средств, даже и таких, которые подрывали самую сущность основной цели всего движения. Я назвал бы их фанатиками успеха данной минуты. История не знает ни одного великого революционера, который шел бы такою извилистою дорогою, ибо великие революционеры, конечно, понимали, что подобный путь всегда в конечном счете неизбежно

¹⁾ „Былое“, июнь. 1906 г.

²⁾ Н. Морозов. „Повести моей жизни“. Т. IV. Изд. „Задруга“. М. 1917 г. Стр. 302 и 303.

приводит к крушению самой идеи революции. Но этот путь чреват и иными опасностями для слабых характером людей; раз допустимы все средства, то почему не воспользоваться ими и ради личного спасения и для облегчения своей участи. Ведь принципиальной разницы в большем или меньшем обмане не существует. К таким слабым людям принадлежал и Я. В. Стефанович, и...он покатылся по наклонной плоскости.

С. Г. Нечаев, обладавший неослабевавшей энергией и железным характером, кончил совсем иначе: он боролся с властями до конца, щепетильно оберегая свое достоинство человека и революционера, и погиб на посту, сохранив к себе, несомненно, уважение даже врагов.

Но, конечно, не всякому дано!.. Из этого, впрочем, не следует, чтобы возможно было защитить незащищаемое, как это пытались сделать друзья Я. В. Стефановича.

Н. Тютчев.

Петроград. Июль 1919 г.

БЫЛОЕ

№ 17

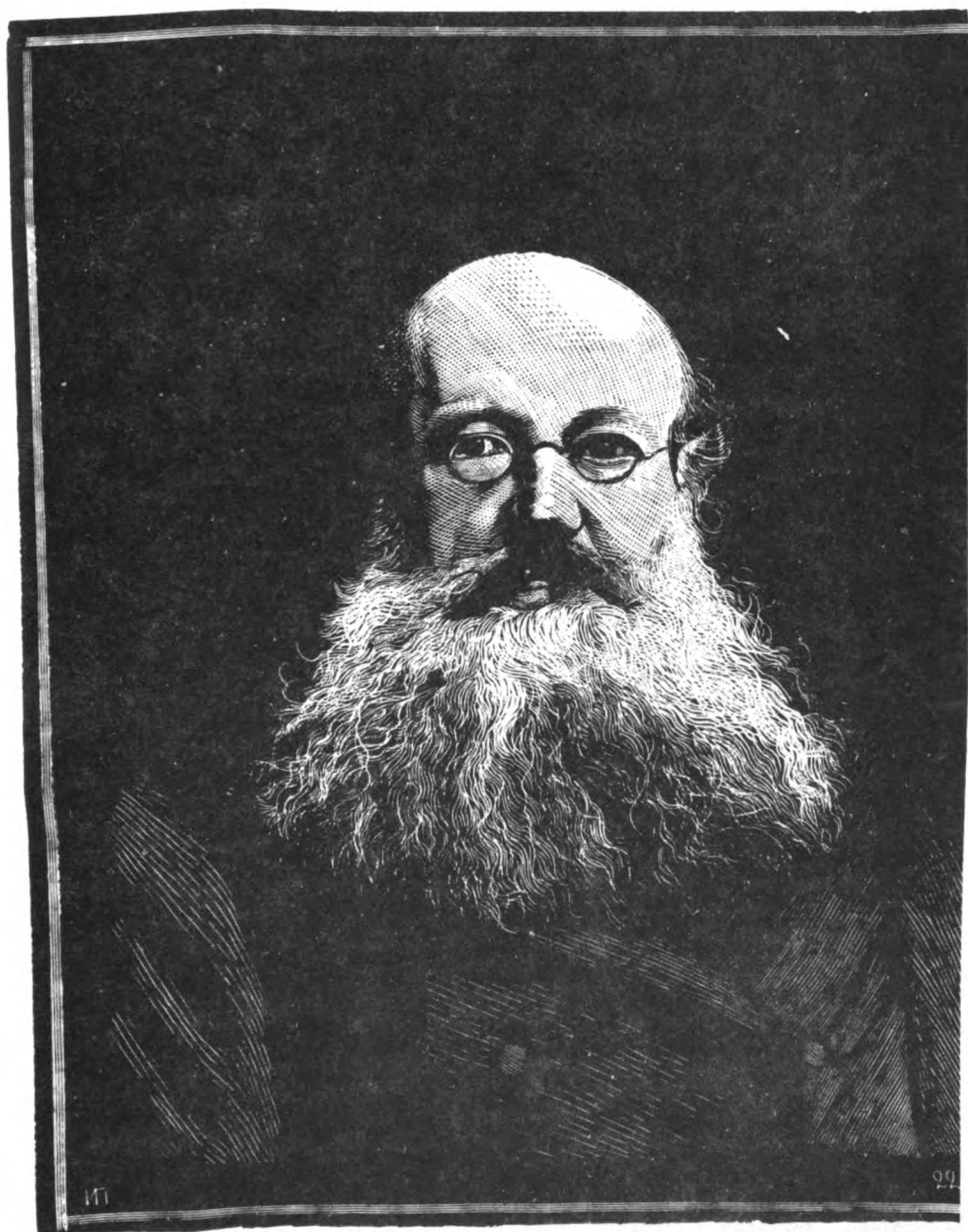
1921

Р. В. II. № 378.

Москва.

Тираж 1000 экз.

7-я типография М. С. Н. Х. (бывш. Мамонтова)



Н. Кривошеин

Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?

(Записка П. А. Кропоткина 1873 г.).

От редакции. Народническое течение освободительного движения 60-ых годов перешло в начале 70-ых годов в решительную революционную фазу. Начавшемуся с весны 1874 г. стихийному хождению в народ предшествовала короткая, но напряженная теоретическая работа по выработке и формулировке революционного миросозерцания и соответственных ему практических путей деятельности для осуществления идеала социального переворота. В этой интересной и глубокой работе весьма видная роль принадлежала П. А. Кропоткину, который, вернувшись из-за границы, где он впитал в себя бакунистическое течение Интернационала, в 1872 году весной примкнул к кружку чайковцев и явился в нем представителем анархического боевого течения. Для кружка чайковцев, не имевшего резко очерченной революционной программы, он и составил „Записку“, которая известна в литературе под заглавием „Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?“.

Резюме этой записки вошло в обвинительный акт по знаменитому процессу 198-х, как доказательство наличия у обвиняемых „ближайших задач революционной деятельности“ в виде „уничтожения существующего порядка вещей посредством революции“, с отнесением „на второй план вопроса о форме нового строя жизни“.

Самая „Записка“ была по обыску найдена у Кропоткина и приложена к делу в качестве вещественного доказательства. У него же взят по обыску и другой аналогичный документ—программа революционной пропаганды, повидимому, составленная, судя по ее содержанию, также Кропоткиным.

Вот текст этой программы, которая является и дополнением, и развитием положений „Записки“:

„Несмотря на усиливающиеся гонения правительства, несмотря на новые аресты и новые репрессивные статьи закона, число молодых людей; отправляющихся в народ, постепенно возрастает. Последовательно, от военных заговоров, совершенно чуждых социального элемента (1825 г.), наша протестующая молодежь перешла к республиканско-социалистическим разговорам промеж себя, затем к поверхност-

ным сношениям с заинтересованною в перевороте частью народа и, наконец, и более прямому, более постоянному сношению с этим народом. Теперь следует ожидать сношений еще более тесных, за которыми не замедлят последовать агитаторы из самой народной среды, а, наконец, и вооруженный мятеж. Но, ввиду этого усиливающегося шествия в народ, становятся более, чем когда-либо, необходимыми подготовка, осмотрительность и сноровка со стороны революционеров. Что касается до первой, то мы не знаем лучшей школы, чем та, которую предложил автор статьи: „Револ. из прав. среды“. Одного желанья приносить добро, одной энергии, одного ума, одной выносливости и т. п.—еще слишком мало для революционера; необходимо, кроме того, еще близкое ознакомление с народом, усвоение с его нуждами, воззрениями, способом мышления. Человек, желающий быть революционером, еще не есть революционер, и необходимо, чтобы он подготовился. Подготовка же должна состоять в чтении книг, содействующих расширению знания народных нужд, недостатков современного быта, прошедшего и т. п., а также книг, дисциплинирующих мышление, и в изучении какого-либо ремесла и в личном (на первое время) общем ознакомлении с жизнью народа. В этот период революционер должен быть нем, как рыба, чтобы не попасться понапрасну, должен только присматриваться, слушать... Только когда он сочтет себя достаточно подготовленным, должен впервые раскрыть свои уста для пропаганды. Как ни тяжело скрывать свои чувства и мысли, но лучше молчать в первый период, чем говорить невпопад. Во 2-ой стадии революционер должен разорвать свой дворянский паспорт окончательно, навсегда, сделаться крестьянином, мастеровым, фабричным и—пропагандировать. При этом, как доказывает западно-европейская практика, пропаганда может быть действительна только в специальном кругу. Незрелый крестьянин или рабочий не поймет общественных идей о социализме, равенстве и солидарности. Его не тронут за живое (особенно в первое время) нужды и страдания его же собратьев, не тождественные с его собственными. Оставляя в стороне исключения,—вы не двигаете ни шаг фабричного толками о малом наделе крестьян какой-то Полтавской или Тульской губернии. Революционер может рассчитывать на успех только тогда, если будет выдвигать на первый план местные интересы. На Западе лучший практический агитатор есть тот, который становится во главе работников данных кам.-уг. копей, данной ассоциации каменщиков, данной ассоциации переделетчиков и т. п. и главным образом (и только несколько олухотворяя свою пропаганду общими идеями) преследует именно эти местные, частные интересы. Из этого следует, что навсегда оставшийся в народ революционер должен поселиться в какой-нибудь данной местности и примкнуть к какому-нибудь данному ремеслу. Не имея иных средств к жизни, он, пожалуй, даже и сам получит, вследствие этого, в придачу к своим человеколюбивым стремлениям могучий импульс эгоистического интереса.

Эго общая сторона. Кроме того, мне хотелось бы сделать 2—3 мелких замечания. Неоднократные беседы с простодушными убедителями, что непрактично в высшей степени задевать их религиозные верования. Для крестьянина страшен и, по меньшей мере, непривлекателен тот, кто говорит, что Бога нет, что душа не бессмертна и т. п. Если иной из них сам и переварил такую личность, то другие

испугают его тем, что он водится с греховодниками. Революционер должен не только стать вполне и навсегда простолюдином в отношении экономическом, он должен сделаться простолюдином и во всяких других культурных отношениях, т. е. в одежде (красные рубахи и т. п. режут глаза крестьянам: они так одеваются только по праздникам), в домашних привычках и в религиозном отношении: он должен ходить в церковь там, где не бабы только, но и мужики ходят; должен поститься по средам и пятницам и в посты, — обычай, везде соблюдаемый и мужиками. Кроме того, непрактично задевание „царя“. Надо всячески обходить этот вопрос, обрушиваясь всю тяжестью на правительство и господ — слова, которые на всей Руси каждому известны. Можно задевать „царя“ только в тех случаях, когда ход беседы неожиданно приводит к необходимости или выгородить его (и след. косвенно восхвалять), или отнести его к той же... народным; но и тогда весьма полезна сдержанность.

„Вредно в таком упоминании о царе нет ровно ничего. Летит только правительство и господ, а царь сам... Его и с...“

Для правительственных сфер, чрезвычайно встревоженных развитием революционного движения в стране, „Записка“ Кропоткина, равно как и программа революционной пропаганды, явились материалом высокой важности и ценности. Тайнотенный враг, неожиданно бросивший с весны 1874 года в народные массы целую армию грозных для самодержавия борцов, раскрывал здесь, — в этих материалах, свои карты, свою программу и организацию, исповедовал свою веру и рисовал свои идеалы. За этими документами стояло большое движение, силу которого хорошо учло и знало III Отделение. Опасности для государственного строя вырастала во вполне конкретную, — и как всегда, правительство должно было озаботиться принятием мер предупреждения, пресечения и уничтожения революции и революционеров.

„Записка“ была доведена до сведения императора Александра II-го, и, по докладу ген. Попова, повелено было вопрос о революционной пропаганде обсудить в комитете министров.

В комитет министров поступило из III Отделения целое досье в виде печатной брошюры, в состав которой вошли „Записка“ Кропоткина и программа революционной пропаганды, а также копия письма гр. Палена к старшим председателям и прокурорам судебных палат. Эти материалы сопровождалось „Извещением“ канцелярии III Отделения „о возникновении и направлении дела“ и послужили предметом обсуждения в комитете министров в течение трех заседаний: 18, 24 марта и 1 апреля 1875 года. Мы воспроизводим „Записку“ по этому официальному тексту.

Любопытные суждения в комитете, равно как и интересные материалы и данные, представленные в процессе обсуждения этого вопроса, будут освещены на страницах этой же книги. Пока ограничимся этими указаниями, чтобы оттенить историческую ценность печатаемой ниже „Записки“ Кропоткина.

Текст ее был пропущен в 1920 году редакцией „Былого“ П. А. Кропоткину, жившему в Дмитрове, и престарелый революционный деятель живо заинтересовался документом из эпохи своей молодой работы в России. Он поспешил своими заметками, поправками и пояснениями „Записку“, которую ему пришлось пересматривать уже в свете новых устроений, результатов долговременной жизни и

работы. Просмотра своего Н. А., к сожалению, не закончил, но рукопись эта хранится среди всего духовного наследия Кропоткина.

Вслед за „Запиской“ мы печатаем статью Кропоткина „Идеал в революции“. Она писалась в Дмитрове в 1918 году и также не была закончена. По плану эта статья должна была завершить и зафиксировать весь идейный круг развития взглядов Кропоткина в связи с современной русской действительностью и социальным в ней переворотом...

Ред.

Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя? Я полагаю, что должны.

Во-1-х, потому, что в идеале мы можем выразить наши надежды, стремления, цели, независимо от практических ограничений, независимо от степени осуществления, которой мы достигнем, а эта степень осуществления определится чисто внешними причинами.

Во-2-х, потому, что в идеале может выразиться, на сколько мы заражены старыми предрассудками и тенденциями. Если некоторые бытовые стороны покажутся нам так святы, что мы не посмеем их коснуться даже при разборе идеальном, то насколько же велика будет наша смелость при практическом уничтожении всяких бытовых особенностей? Другими словами, хотя умственная смелость вовсе не есть ручательство за смелость практическую, но умственная мысльбоязнь есть уже наверно мерило мысльбоязни практической.

Говоря об определении идеала, мы, конечно, имеем в виду определение только 4—5 крупных черт этого идеала. Все остальное должно быть неумолимым осуществлением в жизни этих основных начал. Поэтому оно не может быть предметом обсуждения теперь. Формы осуществления не могут быть проведены научным путем. Практически они могут быть выведены только путем многократным практического обсуждения незадолго до и во все время осуществления, на месте, в общине, в артели, а не теперь, при зарождении дела.

Под идеалом мы разумеем такой строй общества, прогресс которого основан не на борьбе людей, с людьми, а людей с природою.

Нет никакого сомнения в том, что между различными социальными, самых разнообразных оттенков, существует довольно полное согласие в их идеалах, если взять их в самой общей форме. Общественный быт, которого осуществление они желали бы, в более или менее близком будущем, вообще довольно одинаков, и различия между их идеалами скорее происходят не от коренных различий в идеале, а от того, что одни сосредоточивают все свое внимание на таком идеале, который может, по их мнению, осуществиться в ближайшем будущем, другие—на идеале, по мнению первых, более отдаленном,—чем от коренных различий в самом идеале.

В самом деле, все теперешние социалисты стремятся к возможно более полному равенству условий различия отдельных личностей и обществ.

Все они желали бы осуществления такого строя, чтобы каждый имел одинаковую возможность заработать себе средства к жизни личным трудом, т.е. чтобы каждый имел бы одинаковое право на пользование теми орудиями труда и сырьем, без которых никакой труд невозможен, чтобы каждый был поставлен в необходимость зарабатывать себе средства к жизни личным трудом, чтобы распределение

полезных занятий в обществе было такое, при котором невозможно образование класса, занятого пожизненно, а тем более наследственно, исключительно привилегированным трудом, т.-е. трудом более приятным, менее тяжелым и менее продолжительным, но дающим право на одинаковое благосостояние с прочими, или даже больше: чтобы каждый имел одинаковую возможность, наравне со всеми остальными, получить то теоретическое образование, которое ныне составляет удел лишь немногих, чтобы отношения отдельной личности ко всем остальным были бы таковы, при которых, пользуясь наибольшей суммой благ от этих отношений, она несла вместе с тем наименьшее количество стеснений ее личной свободы и ее личного развития.

Словом, коротко выражая все эти положения, внешние социалисты стремятся к равенству:

- в правах на труд,
- в труде (в обязанности трудиться),
- в способах образования,
- в общественных правах и обязанностях, при наибольшем возможном просторе для развития индивидуальных особенностей,
- в способностях, безвредных для общества.

Такова программа громадного большинства, едва ли не всех социалистов нашего времени. Даже те, которые, повидимому, проповедуют идеал, совершенно иной, те, которые, напр., проповедуют в конечном идеале государственный коммунизм или иерархический строй и т. п., в конце концов, желают того же: и если они сосредоточивают сильную власть в руках или правящего меньшинства, или выборных старцев и, таким образом, приносят в жертву, напр., личную самобытность, то отнюдь не потому, чтобы они не придавали ей никакой цены или считали ее вредною, но только потому, что они не находят возможным осуществление такого строя, при котором все четыре формы равенства осуществлялись в одинаковой мере, и жертвуют одною из форм для достижения прочих. При этом никто из живых последователей этих ученых социалистов и не думает, чтобы какая бы то ни была общественная форма могла закаменеть и не подлежать дальнейшему развитию.

Мы рассмотрим теперь все вышеупомянутые различные формы и условия равенства порознь и посмотрим, насколько они совместимы друг с другом, и насколько необходимо совместное осуществление всех их для прочности каждого, при чем практические меры, кажущиеся теперь полезными, для осуществления каждого из этих идеалов рассмотрим особо.

Первое условие равенства ясно само по себе и менее всего может быть предметом спора.

Чтобы каждый член общества имел возможность зарабатывать себе средства к жизни своим трудом, не закабалаясь ради этого никому, никакой отдельной личности или компании, или артели, он, очевидно, должен иметь возможность во всякое время взять ту лопату, которою он намерен копать, тот хлопок, из которого он намерен спрядать нитку или соткать ткань, тот хлеб, одежду, квартиру, где он должен жить прежде, чем изготовить вещь, имеющую меновую ценность для общества, то помещение, где он будет работать. Очевидно, что если в былые времена производство было так просто, что для всего этого не требовалось большого накопления прежних продуктов своего труда, если всякий, работавший хотя бы только ору-

днями труда, имевшимися в его семье, над теми сырыми продуктами, которые он брал бесплатно у природы, мог производить полезные меновые ценности, то ныне, и в этом состоит прогресс общества, предварительное накопление продуктов труда, для создания орудия производства и заготовления сырья должно быть так велико, что не может быть делом ни отдельной личности, ни отдельной группы личностей. Ясно, следовательно, что если желательно, чтобы личность, принимаясь за работу, не должна была закабалить себя, не должна была уступать часть своего труда, своих сил и своей независимости ни постоянно, ни временно, отдельным личностям, произволу которых всегда принадлежало бы определять, как велика должна быть эта часть, то необходимо, чтобы ни орудия труда (орудия, машины и фабрики), ни места возделывания сырых продуктов (земля), ни запасаемые ранее сырые продукты, ни средства для запасаания их: передвижения в данное место (пути сообщения, складочные магазины и проч.), ни средства существования во время работы (запасы средств пропитания и дома) не находились в руках отдельных личностей.

Таким образом, мы приходим к отрицанию в будущем строе осуществления которого мы желаем, всякой личной собственности, всякой собственности товарищества на паях или акциях, артелей и т. п.

Те писатели прежнего времени, которые приходили к подобному заключению, не видели другого исхода, как передача всего общественного капитала государству, т. е. сильной организации, представляющей собою интересы общества и заведывающей всеми делами, какие касаются всего общества в совокупности.

Ей предоставлялось обеспечить за каждым членом общества возможность получать нужные ему орудия труда и проч.: ей же предоставлялось распределить между членами общества выработанные ими продукты.

Но именно поэтому блестящие сны последователей этих учений и не находили себе достаточно приверженцев среди тех, которые должны были осуществить эти сны в действительности. В самом идеале этих учений осуществлялась только одна сторона жизни, — экономическая. Те же, которые привыкли мыслить конкретными образами, очень хорошо понимали, что какие бы сочетания условий ни были измышлены для того, чтобы такое правительство выразило собою образ мыслей большинства, как бы ни был подвижен, изменчив и удобоизменяем его состав, но всегда тот кружок личностей, в пользу которых общество отказывается от своих прав, будет властью, отдельною от общества, стремящегося расширить свое влияние, свое вмешательство в дела каждой отдельной личности, каждой группы личностей, и чем шире круг действия этого правительства, тем более вероятности, что правительство перестанет быть выражением выгод и желаний большинства.

Поэтому, как массы, так и многие отдельные мыслители давно поняли, что передача такой самой существенной основы жизни общества в руки какого бы то ни было выборного правительства была бы источником самых существенных неудобств, если не просто самоубийством общества.

От этого сознания самый естественный переход был к тому, что весь капитал, накопленный в том или другом виде предыдущими поколениями, должен стать достоянием всех, всего общества, которое само и должно быть полновластным его распорядителем.

Ближайшую, непосредственную форму выражения этого идеала составляет:

„Признание всего наличного капитала, разрабатываемого планет, собственности всех членов той территориальной единицы (группы, областей, страны), где совершается социальный переворот.

„Признание всего разрабатываемого общественного капитала (возделываемой земли, лесов, работающих руд, фабрик, действующих или строящихся железных дорог, жилых домов и т. п.), отданным в пользование (на некоторый срок) тем лицам, которые на нем прилагают свой труд.

„Принятие нужных мер для того, чтобы уравнение невыгодных условий, в которых находятся отдельные работающие группы, совершилось в различных мелких территориальных единицах (города, губернии) путем взаимного согласования этих групп, не устраняя возможности дальнейшего перераспределения для уравнения количества труда, который у них признается нужным“.

Громадное различие такого положения дел от современного очевидно из того, что теперь горсть личностей, завладевая чужим трудом, имеет право расходовать его бесконтрольно для удовлетворения всех потребностей и, таким образом, трудом всех оплачивает производство или поступки, нужные ей одной. Это зло устраняется.

Но не раз было высказано, что такой порядок дел, который мы имеем в виду в таком идеале, имеет за собою другой недостаток. Говорилось, что потребности большинства вовсе не суть потребности прогресса человеческого общества; что всегда прогресс в обществе шел таким путем, что некоторое меньшинство, случайно попавшее в особо-благоприятные условия, развивалось более всех остальных, открывало и вещало миру новые истины, которые воспринимались несколькими подготовленными личностями. Хотя мы сомневаемся, не нижеизложенным причинам, чтобы таков был в большинстве случаев ход прогресса в обществе и чтобы он всегда должен был быть таким, но, допустив даже, что таков бывает единственно-возможный ход прогресса в данном направлении, хотя бы в каком-нибудь редком, хотя бы даже исключительном случае, мы, конечно, должны подумывать: может ли предлагаемая нами в идеале классификация труда задержать этот процесс прогресса?

Понятно, однако, что все рассуждавшие таким образом исходили из современного положения дел и воображали себе идеальную оценку труда в нынешнем обществе, при нынешней удручающей обстановке мастерских, при разъедающем силы непосильном труде, при той невозможной продолжительности машинального труда, которая необходима теперь для того, чтобы иметь хотя крошечку хлеба. Но очевидно, что та классификация занятий, о которой мы говорим, возможна только в обществе, подвергавшемся перестройке, о которой говорилось по поводу первого условия равенства. И для такого общества немислимо отсутствие довольно продолжительного досуга. Если некоторые экономисты и говорили, что раздел всего теперешнего дохода петрудящейся части общества поровну между всеми членами общества повысил бы средний заработок каждого члена только на 5 су (8 копеек), то опять-таки эти экономисты брали условие невозможное, т.-е. воображали себе дележку, невозможную в теперешнем обществе, происходящую в теперешнем обществе при сохранении теперешних условий и форм производства. Теперь, конечно,

невозможно даже определить, сколько времени пришлось бы каждому члену общества трудиться над производством предметов, необходимых для доставления всем членам общества комфорта, равного комфорту людей нижних частей теперешнего среднего класса. Но можно прямо сказать, что, если теперь каждый работник содержит средним числом (в Германии и во Франции, кроме себя, еще 3-х, а во Франции почти четырех человек, из которых только один есть член рабочей семьи, а остальные 2-е, почти 3-е, суть паразиты их семьи, то, имея подобных, содержат в лучше организованном обществе только 1-го, много 2-х человек, т. е. всего вместе с ним самим от 2 до 3 человек, вместо 4-х—5-ти чел.; он может работать уже вдвое менее, т. е. 5½ час. вместо 11 час. в день,—всего 33 часа в неделю и вместе с тем абсолютно нисколько не уменьшать своего благосостояния. Вспомнив далее все непроизводительные расходы обществ, обусловливаемые, главным образом, их общественной неурядицею (войска, войны, тюрьмы и суды, тяжбы и проч. и проч.); вспомнив, далее, какие несметные количества труда тратятся на производство предметов, не служащих для увеличения производительных сил народа,—мы, конечно, поймем, как велик был бы досуг, который оставался бы в справедливо-устроенном обществе, за удовлетворением даже того разумного комфорта, о котором теперь не мечтают даже баре средней руки; мы поймем тогда, насколько был ближе к правде Оуэн, утверждавший, что для этого и для многого другого достаточно было бы 3-часовой работы всех членов общества.

Вот почему (допустив даже прогрессивное влияние меньшинства) мы полагаем, что отдельные личности имели бы совершенную возможность для выработки всех тех прогрессивных идей, которые отдельные личности могут выработать, для распространения их, для изобретения всех тех механических орудий, которые могли бы облегчить человечеству удовлетворение его потребностей, для изобретения и усовершенствования всех тех наслаждений, которые способствуют дальнейшему развитию человека. Подготовленность почвы в обществе, которое состояло бы из членов, имевших возможность с детства получать такую подготовку, составляющую теперь удел лишь редких счастливых, способность этого общества к восприятию всего хорошего с устранением теперешних помех, возможность...¹⁾ хорошее с общественно-полезным и дурное с общественно-вредным, наконец, наплыв в область творчества, ремесленного, научного и художественного всей ныне бездеятельной массы,—вот залог прогресса в будущем обществе, не только не меньшего, чем теперь, но в 10, 100 раз большего.

Поэтому мы считаем наше старое условие необходимым условием равенства и ближайшим. Но вместе с тем и довольно полным шагом к достижению этой части идеала равенства мы считаем:

„Признание общественной меновой стоимости только за такими предметами, которые будут признаны нужными обществу большинством данной группы, данного союза групп“.

Все сказанное сейчас приводит нас также к убеждению в осуществимости и практической целесообразности такого распорядка полезных занятий, при котором не существует...²⁾ личностей, занятых

¹⁾ Пропуск в оригинале.

²⁾ Тоже.

исключительно привилегированным трудом, напр., трудом умственным, управлением некоторыми делами фабрики, завода, общины и т. д.

В том, что существование такого класса людей есть проявление неравенства, само по себе вовсе нежелательное, очевидно, не может быть никакого сомнения. Сомнения и возражения могут быть только в том смысле, что: 1) существование такого класса необходимо для дальнейшего развития самого общества; 2) с точки зрения необходимости, по мнению многих, разделения труда. Мы сказали выше, что не находим ни справедливым, ни полезным оплачивать общественным трудом предметы, полезные или нужные только меньшинству. Мы сказали также, что для производства этих предметов достаточно будет досуга по окончании работ, необходимых для удовлетворения необходимых потребностей, требуемых обществом, и что возможные размеры досуга вместе с увеличением подготовленности почвы и увеличением числа людей, имеющих возможность употребить досуг на всевозможные занятия, содействующие прогрессу общества, увеличение силы общественного мнения, суть достаточный залог против застоя культуры и цивилизации общества.

Теперь мы идем далее. Мы говорим, что среди занятий, которые будут признаны нужными данной группой личностей, могут быть занятия, так сказать, привилегированные. На первых же порах, всякой общине потребуется школьный учитель, медик, бухгалтер, через несколько времени потребуется профессор, ученый техник, пожалуй, финансист и т. д. Спрашивается, не выгоднее ли будет для самой общины, чтобы школьный учитель занимался только обучением детей в течение тех 7—8 часов, которые придется каждому члену общества употребить на общественные занятия, не употребляясь ни на какие другие работы, или же он должен, вместе с тем, ежедневно или периодически отправлять другие обязанности, так, напр., по черной работе, напр., колоть дрова для школы (если бы это понадобилось), мыть или натирать полы, топить печи, мести школьный двор...¹⁾ учебные пособия и т. д. и т. д. Должен ли профессор, в таковой общине, где таковой потребовался, заниматься только чтением, в указанные 7—8 час., лекций, а вместе с тем заниматься в мастерской изготовлением физических приборов вместе с слесарями и механиками, заниматься очисткою нечистот в университетском здании и т. д. Мы полагаем, что да, что он должен отправлять черные работы. Так как образование класса аристократии чистого труда рядом с аристократией черного труда вовсе не желательно, то весь вопрос, следовательно, только в том, насколько выгодно для общества такое распределение занятий, при котором отдельные личности не специализируются так, как теперь. Дарвин, занимающийся вывозом нечистот, потому только кажется людям абсурдом, что они не в состоянии отрешиться от представлений цельности, взятых из современного общества, только потому, что они забывают, что для того, чтобы могла образоваться такая личность, как Дарвин, опередившая в умственном развитии свое общество на целое столетие, нужен был подбор в течение многих лет особоблагоприятных, исключительных условий, только потому, наконец, что они допускают (конечно, бездоказательно), что если бы Дарвин и...²⁾ не высказали в 1859 г. гипотезы естественного подбора, то челове-

¹⁾ Пропуск в оригинале.

²⁾ Выпущено имя по неясности в оригинале.

ство продолжало бы не знать ее еще долгие века и что нет такого сочетания общественных условий, при котором эта гипотеза могла бы быть высказана не только в 1859 г., но даже несравненно раньше, только потому, наконец, что они считают единственным или наиболее выгодным ходом прогресса в человечестве появление у отдельных личностей таких воззрений, которые опережают массу общества на целые столетия, если не тысячелетия. Все эти воззрения и представления, однако, в высшей степени неверны.

В силу всего сказанного мы считаем совершенно необходимым на первых же порах:

Признание ненужности класса, пользующегося привилегированным родом занятий, другими словами:

Признание обязательности лучшего мускульного труда для всех членов общества, рядом с признанием в выборе этих занятий полной свободы каждой личности, если ты докажешь свою способность к избираемому роду занятий.

Осуществление этих двух условий равенства и переход их в действительную жизнь обеспечиваются осуществлением четвертого условия—равенства в образовании, не только возможности равенства в образовании, но действительно фактического.

Безусловно отрицая, чтобы наиболее выгодное прогрессивное движение в обществе совершилось путем развития меньшинства, получающего образование несравненно большее, чем остальное общество, мы вовсе не хотим на общественные средства выделять такое меньшинство; поэтому нам ненужно ни университетов, ни академий, содержащих на общественные средства, если ими не пользуется каждый без исключения член общества. Если отдельные личности, захотевшие употребить свои досуги на дальнейшую разработку своих умственных способностей, будут учреждать высшие учебные заведения, ученые общества, консерватории и т. п., — пусть учреждают они их на продукты своего досуга, пусть посещают их в часы досуга, в то время, как другие члены общества будут тратить эти часы на заботы или увеселения, по обществу, не желающее накладывать руки на те условия равенства, которых добилось своими усилиями, не должно выделять на эти учреждения ни единой единицы общественного труда.

Мы не хотим, чтобы само образование с детского возраста стремилось разбить людей на управляемых и управляющих, из которых первые знакомы по преимуществу с черною работою труда, необходимого для обыденной жизни, а вторые — преимущественно с приемами управления и с так называемыми высшими проявлениями человеческого ума. Поэтому нам вовсе не нужно университетов, которые создадут докторов, когда большинство трудящихся на этом же поприще будет обречено на исполнение обязанностей сторожа, сиделки или фельдшера; адвокатов, когда большинство может быть только писцами; профессоров — рядом со сторожами; кабинетов ученых, техников — рядом с чернорабочими.

Повторяя формулировку Прудона, мы скажем: если морское училище не есть само судно с его равноправными матросами, получающее теоретическое образование, то оно создает офицеров над матросами, а не матросов; если техническое училище не есть сама фабрика, сама мастерская-школа, то она создает мастеров и управляющих, а не рабочих и т. д. Нам не нужно этих привилегированных учреждений, нам не нужно ни университетов, ни технических училищ, ни

морских академий, созданных для немногих; нам нужна больница, фабрика, химическое производство, судно, производящая мастерская, школа для работающих, которая, ставши уделом, с невообразимой быстротой перешагнет уровень теперешних университетов и академий. Устранив весь ненужный балласт бесполезных знаний, изобретя усовершенные приемы образования (которые всегда являются лишь тогда, когда является на них неотложный спрос; Америка может отчасти служить тому реальным доказательством), школа подготовит здоровых работников, одинаково способных как к дальнейшему умственному, так и к дальнейшему физическому труду.

Сколько часов в каждом возрасте должен будет ученик заниматься производством (не игрой в производстве, как в нынешних технических и реальных училищах) и сколько часов теоретическими занятиями, и до которого возраста последнее будет обязательно, — решит тогда каждая община, каждый округ независимо, и, конечно, это решение будет не случайное, ни теоретическое, а на основании разумных начал.

Мы должны сказать, наконец, несколько слов об обязательности образования, которая всегда была предметом стольких споров. Мы полагаем, что источник всех споров был тот, что возражавшие против этой обязательности всегда имели в виду современное государство со всеми его атрибутами. Но очевидно, что мы можем говорить об обязательности образования не в нынешнем обществе с его теперешним государством, а о будущем обществе с теми учреждениями, которые будут выполнять те из полезных отправлений (или, вернее, могущих быть полезными), которые теперь отправляет государство.

Поэтому мы, конечно, считаем, что в будущем обществе образование, до известных пределов, определяемых самим обществом, будет и должно быть обязательным.

В силу сказанного, мы считаем необходимым для осуществления этой четвертой стороны идеала равенства:

„Признание необходимости закрыть все университеты, академии и проч. высшие учебные заведения и открыть повсеместно на общественные средства школу-мастерскую, которая в очень скором времени объемлет преподавания, конечно, разовьется до уровня теперешних университетов и превзойдет их“.

Установить согласие по 5 пункту, политического равенства, всегда было труднее для всех социальных школ; несколько десятков лет научные представители социализма не находили даже возможным осуществить свои идеалы иначе, как при посредстве сильного централизованного государства, сильного правительства, которое устанавливало бы, регулировало бы все общественные отношения, вмешивалось бы во все мелочи частной жизни людей. Особенно разделились эти понятия среди писателей Франции и Германии. Но оттого и естественно отвращение как во многих массах, так и в весах искренних социалистах от прочих справедливых начал коммунизма.

Понятно, однако, что все это есть следствие простого недоразумения. Избавленный от вечно грозящего представления всемогущего правительства, коммунизм стал быстро распространяться даже в Западной Европе в измененной и ограниченной форме, под именем коллективизма.

С другой стороны, многие лучшие мыслители нынешнего столетия стремились определить литературным путем, каким сочетанием

условий может быть достигнут такой порядок дел, при котором отдельной личности обеспечивается наибольшая свобода действий и развития, при наименьших стеснениях? Понятно, однако, что, покуда эти мыслители задавались мыслью выработать только чисто политические отношения, они не могли дойти ни до каких практических результатов. Но с перенесением вопроса в область экономических отношений, он решается гораздо проще.

Самая идеальная форма, до которой дорабатывались защитники государственной идеи, есть федерально-республиканская, с такой самостоятельностью общины, при которой ей приходится решать независимо как можно больше дел, с возможно большею независимостью округа, как у штата; такую форму мы видим в Соед. Штат. С. Ам. Необходимым дополнением этой формы считается в Европе то, что некоторые законы отдаются на голосование всего народа, всех граждан, как мы это видели в некоторых кантонах Швейцарии и во всем Швейцарском Союзе для законов, касающихся изменений Союзного Уложения. Дальнейшим улучшением этой формы считается, наконец, отдача всех законов на народное голосование, с предоставлением правительству права только от себя издавать.

Перечислять здесь все неудобства таких форм, все нарушения свободы, к которым они приводят, всю неспособность этих форм выражать, хотя в большинстве случаев, волю и желание большинства, — было бы неуместно, эта критика делалась много раз, и достаточно сказать, что все ее выводы выведены не из логического разбора возможностей, а из критики реальных, ныне совершающихся явлений. Достаточно, наконец, сказать, что весь этот разбор привел к следующим положениям:

Помимо всех тех качеств и свойств всякого правительства, которые вытекают из экономической неправомерности, все указанные формы приводят к тому:

„Что центральное правительство округа, штата и союза не есть выражение воли большинства населения: что, постоянно усиливаясь, оно ведет к захвату прав штата, округа, общины; что отдельные личности, обладающие большею энергиею, могут, хотя на время, захватить в свои руки большую власть и парализовать все необходимые меры, которые желает принять большинство;

„что, создавая весьма сложную государственную машину, требующую долговременной практики для ознакомления с ее механизмом, такой порядок ведет к образованию класса, специально занимающегося государственным управлением, который, пользуясь приобретенною опытностью, начинает морочить остальных ради собственной выгоды;

„что, наконец, граница между законом и постановлением не может быть проведена даже с приблизительною точностью и что, таким образом, приходится передать значительную власть в руки центрального правительства округа или штата, за невозможностью ежедневно собирать весь народ для голосований“.

Вся эта критика привела Прудона к отрицанию всякого правительства — к безначалию (анархии).

Чтобы решить вопросы между предложенными воззрениями, не вдаваясь в очень обширные рассуждения, мы обратимся к самому корню государственной идеи.

Черта, общая всякому правительству, есть та, что члены общины,

округа, штата, государства, лишены части своего права решать свои собственные дела, и это право предоставлено нескольким личностям. При этом определяется в общих чертах, какие именно дела могут решать эти личности, составляющие местное правительство; не менее коренная черта та, что этой группе личностей предоставляется решить не одно какое-нибудь частное дело, но все те дела, которые возникли и могут возникнуть по управлению общими делами, и определяется только объем, в котором они могут решать эти дела. Другая черта, общая всякому правительству, столь же основная, есть та, что этой же группе личностей или же еще меньшей группе, избираемой либо первым, либо всюю остальную совокупностью народа в государстве, округе или общине, предоставляется приводить в исполнение решения либо общего собрания, либо выборного правительства. Для этого создается целая лестница исполнительных органов, обязанных подчиняться приказаниям исполнительной власти общинной, окружной или государственной. В видах удобства, исполнительная власть общинная подчиняется окружной, а эта, в свою очередь, государственной. Такова в общих чертах суть всякого правительства. Различия состоят только в том месте, где обширнее круг действия общины, а в других местах больше общих дел передано окружному или центральному правительству; в одних местах эти власти все или отчасти выборные, в других они сами себя поставили над народом и т. д.

Неудобства, возникающие от такого порядка дел, слишком известны, чтобы следовало на них останавливаться. Но важнее здесь то, велики или малы эти неудобства, а то, что они лежат в самой основной мысли учреждения, в самой ее сущности, и потому не могут быть устранены никакими мерами, вроде ограничения, контроля и т. п., пока продолжает существовать самая сущность учреждения, а в самой сущности мы знаем, что всякая группа людей, которой поручено решать некоторую совокупность дел, нередко ограниченных качественно, всегда стремится расширить круг этих дел и свою власть в этих делах. И чем умнее, энергичнее, деятельнее эти люди, тем более будет это стремление с их стороны к захвату непорученных им дел.

Чем энергичнее, чем деятельнее и чем добросовестнее эти люди, тем больше привыкает остальное общество не следить за их деяниями и не проверять их. Тем легче, следовательно, случайно попавшему в правительство недобросовестному, но талантливому человеку, направить деятельность этой группы к достижению своих личных целей.

Известно, что самое трудное составляет приложение к делу какого-нибудь общего начала. И чем новее это начало, чем менее оно сознано в частных его приложениях, тем легче, при приложении этого общего начала, сделать такие уступки, которые могут совершенно парализовать самое начало. Между тем в системе выборных, которые должны решать за известную группу людей, поневоле приходится требовать от них только решения согласно с общим началом в принципе, а не во всех частностях. Словом, самая трудная часть решения, где всего более требуется содействие разнообразных складов ума, предоставляется группой отдельной личности.

Всякая центральная власть округа, штата или государства должна состоять из небольшого числа лиц, и чем крупнее эти единицы, тем менее возможности, чтобы избранные лица были известны большинству, тем менее, следовательно, обеспечивается избрание надежных достойных лиц.

Наконец, всякое правительство, созданное по нынешнему образцу, должно иметь в своем подчинении силу, которая приводила бы в исполнение его решения. Но понятно, что если бы решения правительства всякий раз признавались полезными большинством равноправных граждан, то в такой силе вовсе не могло бы быть никакой нужды. Если бы встречались мелкие единичные уклонения отдельных лиц или мелких групп от исполнения воли всех, то эти личности или группы или были бы оставлены, или бы вынуждены к исполнению невыгодами такого уклонения, без всякой физической силы. Эта физическая сила, состоящая на службе у всякого правительства, только потому и необходима, что никакое правительство не может быть выражением воли громадного большинства; чем ближе к этому выражению, тем менее бывает физическая сила в распоряжении у правительства (пример: Соед. Шт. с 40.000 войска).

Все эти рассуждения опять-таки приводят к зловредности всякой центральной власти, и, следовательно, к обеспечению. Но представим себе страну, организованную без такой центральной власти. без правительства, и посмотрим, в каких отправлениях общества может оказаться надобность в таком правительстве?

Представим себе группы сельских общин, занятых земледелием и производящих хлеб, скот и т. п.

Представим себе, что, по общему согласию всех жителей данной страны, эти общины не считаются собственниками занимаемых земель, а только пользуются ими. Положим, что в отдельной общине является туеялец, который отлынивает от работы и желает жить, не работая. Теперь он не получает денег и без денег не может жить. Тогда он не получит денег-чека рабочего времени, что он отработал ежедневно свою долю нужного труда, и без этого также не будет в состоянии жить.

Положим, что он начинает грабить и т. п. Теперь его препроводят к становому и т. д. Тогда с ним распорядится общинный самосуд сам или через выборных.

Словом, понятно,—и об этом не может быть спора,—что во всех своих внутренних делах община так же, как и теперь, сумеет и сможет сама распорядиться, не созданная правительства.

Но положим, что одна община захватывает у другой земли, загоняет свой скот на ее луга или запахивает ее пашни и т. п. Теперь из-за этого возникает целое дело, решаемое во всевозможных правительственных судах. Что же без этих судов? Во 1) никакая община хлебопашцев...¹⁾

Мы переходим теперь к самому трудному, но вместе с тем и самому существенному вопросу нашей программы, к вопросу о практических мерах, которые следует принимать для осуществления нашего идеала.

Мы сказали уже, что, по нашему убеждению, осуществление этого идеала должно совершиться путем социальной революции. При этом мы вовсе не ласкаем себя надеждою, что с первой же революцией идеал осуществится во всей полноте: мы убеждены даже, что для осуществления равенства, какое мы себе рисуем, потребуются еще много лет, много частных, может быть, даже общих взрывов. Но мы убеждены также, что чем полнее, чем ниже будут поставлены

¹⁾ Напечатано согласно с оригиналом: повидному, большой пропуск.

требования масс с самой первой революции, чем яснее, чем реальнее будут выражены эти требования, чем более будет уничтожено, с первого же шага, культурных форм, мешающих осуществлению социального строя, чем более будет дезорганизовано тех сил и отношений, которыми держится теперешний общественный и государственный быт,—тем мирнее будут последующие перевороты, тем скорее будут следовать друг за другом крупные усовершенствования в отношениях людей. Поэтому нашей целью должно будет употребить свои силы на то, чтобы ускорить этот взрыв; чтобы выяснить те надежды и стремления, которые существуют у громадного большинства в неясных формах, чтобы можно было своевременно воспользоваться такими обстоятельствами, при которых взрыв мог бы иметь наиболее благоприятный исход; чтобы, наконец, самый взрыв произошел во имя ясно выраженных требований и именно во имя тех, которые приведены нами выше.

Мы должны, следовательно, приложить совокупность мер, которыми, по нашему мнению, наилучшим образом достигаются эти цели.

При этом, если при разработке нашего идеала мы могли, в значительной мере, идти логическим путем, то здесь главной нашей опорой будет опытный путь. Говоря об идеале, мы могли исходить из общих стремлений и надежд массы и выводить тот общественный склад, который наилучшим образом мог бы удовлетворить этим стремлениям (конечно, не противореча складу воззрений нашего народа) и быть выражением понятий о справедливости, которые всегда присущи всем массам. Здесь же мы не можем уже довольствоваться общими надеждами и стремлениями нашего народа; мы должны принять в расчет целую массу частных представлений, образов мыслей, отношений, поступков и т. д., предвидеть которых заранее нет возможности, узнать которые можно только путем опыта.

Далее, в общих стремлениях масс, у всех народов, чрезвычайно много общего, оттого стремления и надежды, выраженные западноевропейскими рабочими, во многих отношениях сочувственно принимаются и нашими. Но в вопросах о революционной практике западноевропейские примеры должны быть приводимы лишь с крайней осторожностью, так как взвесить, в каждом данном случае, всю совокупность бытовых условий, которую обуславливался тот или другой результат, крайне трудно.

Но этими соображениями определяется также и одна общая черта всей второй части нашей программы. Если наши идеалы мы считаем теперь окончательно установленными, если основные начала наших идеалов мы считаем неизменными, если всякую частную уступку мы сделаем только тогда, когда увидим окончательную невозможность осуществить какую-нибудь сторону нашего идеала на практике, и тогда все-таки будем считать эту уступку вынужденною и временною,—то, с другой стороны,—так как программа наших практических подготовительных мер, должна определяться не только их целесообразностью ввиду общего идеала, но и совокупностью бытовых условий среды, где мы действуем, то-есть рядом наблюдений, то мы не будем считать этой части нашей программы чем-нибудь неизменным, напротив того, мы будем готовы на всякое изменение ее, если только жизнь покажет нам, что такой-то способ действий ближе и лучше ведет к предполагаемой цели.

Есть, однако, несколько основных положений, которые мы счи-

таем возможным и необходимым удержать неизменными во всей нашей практической подготовительной работе. Это отрицание в революционной организации таких отношений между лицами и таких способов действий, которые прямо противоречат идеалу, ради которого они вводятся.

Таким образом, мы безусловно отрицаем введение в революционную организацию подчинения личностям, порабощения многих, одному или нескольким лицам, неравенство во взаимных отношениях членов одной и той же организации, взаимный обман и насилие для достижения своих целей. Нечего и говорить, конечно, что все подобные средства мы считаем совершенно позволительными и даже необходимыми во всех наших отношениях к представителям капитала и власти, с которыми вступаем в борьбу.

Мы еще вернемся к этим вопросам, когда выясним характер предполагаемой нами организации.

Прежде всего мы глубоко убеждены в том, что никакая революция невозможна, если потребность в ней не чувствуется в самом народе. Никакая горсть людей, как бы энергична и талантлива она ни была, не может вызвать народного восстания, если сам народ не доходит, в лучших своих представителях, до сознания, что ему нет другого выхода из положения, которым он недоволен, кроме восстания. Следовательно, дело всякой революционной партии не вызвать восстание, а только подготовить успех готовящегося восстания, т. е. связать между собою недовольные элементы, помочь ознакомлению разрозненных единиц или групп со стремлениями и действиями других таких же групп, помочь яснее определить истинные причины недовольства, помочь им яснее определить своих действительных врагов, снимая маску с врагов, прикрывающихся какою бы то ни было благовидною личиною, наконец, содействовать выяснению сообща ближайших практических целей и способов их осуществления.

Поэтому, прежде всего, есть ли эти недовольные элементы в русском народе, существует ли то настроение, которое необходимо для успеха всякой революционной пропаганды и организации?

Мы можем смело ответить, что да.

Все наши личные наблюдения, все сведения, которые мы получаем, неоспоримо свидетельствуют, что среди нашего крестьянства и фабричных рабочих, глухое недовольство существует, что рядом с систематическим разорением народных масс это недовольство растет. что в первое время после освобождения крестьян оно было несравненно слабее, чем теперь, что надежды на то, что тем или иным способом помещиков уравниают в земле, податях и натуральных повинностях с крестьянами, продолжает жить среди народа, что надежда на то, что это уравнивание произойдет сверху, — мало-по-малу утрачивается, что боготворение царя в некоторых местах заметно подрывается, что это боготворение, о котором так много говорили прежде, вообще чрезвычайно непрочное и очень легко уступает место, особенно в крестьянской молодежи, совершенно иным отношениям, что уверенность в том, что царь бессилен среди окружающих его бар, постоянно усиливается и, таким образом, неизбежно ведет к тому, что народ, однажды выведенный из терпения, примется беспощадно истреблять этих бар, а царь без их поддержки, конечно, станет бессильным названием, что это недовольство крестьянства замечается не в одной какой-нибудь местности, а более или менее сильно повсеместно, что отрицают его

только те, которые никогда не стояли в близких отношениях к крестьянству, и, наоборот, утверждают все те, которые каким бы то ни было способом стали в близкие отношения к крестьянству или фабричным рабочим, что, наконец, наблюдения тех же людей приводят к тому, что готовность к риску гораздо сильнее, чем это могли думать даже оптимисты, что, наконец, те же подтверждается местными волнениями, которые постоянно продолжаются время от времени. Таковы отношения в экономической сфере. Что касается до государственной,—то мы видим, с одной стороны, полнейшее равнодушие ко всем реформам правительства, с другой—повсеместную ненависть ко всякому представителю государственных интересов, при чем ненависть эта постоянно возрастает с увеличением государственных поборов. С другой стороны, расхождение между барством и народом, развитие безумной роскоши среди барства, гигантское развитие в барстве невообразимой жадности и разврата, сопровождающееся упадком творчества, таланта и трезвой мысли и развитием жестокости, бешеной погоней за легкой наживой и т. д. и т. д. свидетельствуют о том, что барство, с своей стороны, не решится своевременно на нужные уступки и не сумеет ими удовлетворить народ.

Наконец, развитие в Европе военно-хищнического элемента, безумное увеличение постоянных армий и неизбежность крупных войн в Европе свидетельствуют о неизбежности такого развития государственной силы, которое должно вести быстрыми шагами многие государства Европы, начиная с беднейших, к полному банкротству, а народ—к дальнейшему разорению.

Словом, все, что мы видим кругом нас, приводит к несомненному убеждению, что приступить к организации революционной партии вполне своевременно и что задачи этой партии облегчаются всюду встречаемым ею содействием.

Задачи этой партии могут быть подразделены для удобства обзора на две отрасли деятельности, которые должны, впрочем, идти на самом деле одновременно и неразрывно: это, с одной стороны, распространение своих воззрений и увеличение числа своих единомышленников и, с другой стороны, соединение с ними в одну общую организацию. Для удобства, мы рассмотрим обе деятельности порознь.

Прежде всего, куда должна быть направлена наша деятельность, где должны мы по преимуществу распространять свои воззрения и подыскивать себе единомышленников:—в среде ли учащейся молодежи и вообще барства, или же в среде крестьянства и городских рабочих?

Мы отвечаем на этот вопрос категорически и этот ответ считаем основным положением в нашей практической программе: непременно в среде крестьянства и городских рабочих. Здесь должны мы распространять наши воззрения, здесь должны мы подыскивать товарищей, которые помогли бы дальнейшему распространению этих воззрений, с этими товарищами должны мы стать в дружную, тесно сплоченную организацию. С образованною средою и преимущественно со средою учащейся молодежи мы не хотим прерывать всяких сношений, но, отказываясь на себя брать роль неотлучных воспитателей этой молодежи в указанном направлении, мы будем вступать в тесное сношение только с теми кружками или людьми, относительно которых, при первом же знакомстве, мы приобретаем уверенность или почти полную надежду, что они направят свою дальнейшую деятельность в среду крестьянства и городских рабочих. Для всей массы образова-

ной молодежи мы готовы делать только одно: распространять и, если дело не может обойтись без нашего содействия, а также, если хватит свободных сил, заготавливать такие книги, которые непосредственно содействуют разъяснению наших идеалов и наших целей, которые дадут в руки факты, чтобы показать всю необходимость социального переворота и необходимость оплотнить, организовать пробуждающиеся народные силы.

К этим заключениям мы пришли путем опыта, путем самой жизни, но мы можем подтвердить их и несколькими общими соображениями. Мы изложим и те, и другие.

Прежде всего, восстание должно произойти в самом крестьянстве и городских рабочих. Только тогда может оно рассчитывать на успехи. Но не менее необходимо для успеха социального переворота существование среди самих восставших сильной, дружно действующей кучи людей, служащих связью между отдельными местностями, согласной в способах действия, ясно определившей, как сформулировать требования народа, как избежать различных ловушек, чем закрепить свою победу. Ясно, что при этом такая партия не должна стоять вне народа, а среди его самого, должна служить не проводником каких-нибудь чуждых мнений, выработанных особняком, а только более отчетливым, более полным выражением требований самого народа: словом, ясно, что такая партия не может быть группой людей, чуждых крестьянству и рабочим, а должна быть средоточием наиболее сознательных и решительных сил самого крестьянства и городских рабочих. Всякая партия, стоящая вне народа, а тем более барская, как бы ни была она воодушевлена желанием блага народу, как бы хорошо она ни выражала требования самого народа, — неизбежно обречена будет на гибель вместе со всеми остальными, как только восставший народ, первыми своими поступками, раскроет бездну между барством и крестьянством. И мы видим в этом лишь вполне справедливое возмездие за то, что эта партия не сумела ранее встать среди народа не верховными руководителями, а равноправными товарищами. Только те, которые своею предшествующею жизнью, всем складом своих прежних поступков сумеют заслужить доверие крестьянства и рабочих, будут выслушиваемы ими, а это будут только деятели из самого же крестьянства, и те, которые безраздельно отдадутся народному делу и докажут это не геройскими поступками з минуты увлечения, а всю свою предшествовавшую обыденною жизнью, те, которые, отбросив в жизни всякий оттенок барства, теперь же завяжут тесные отношения, связанные личною дружбою и доверием, с крестьянством и городскими рабочими. Наконец, если мы уже признаем необходимость сплочения пробуждающихся народных сил, то мы решительно не понимаем, каким образом можно было бы не прийти к заключению, что единственно возможное для этого положение есть положение среди самого же крестьянства и рабочих, с таким складом жизни, который служит окружающим прямым доказательством того, что исповедуемые убеждения суть не простое разглагольствование, а дело всей жизни.

Такова главная причина, которая побуждает нас перенести нашу деятельность в среду крестьянства и городских рабочих. Но есть еще несколько второстепенных соображений, которые приводят к тому же результату.

Самое главное — то сравнительно слабая восприимчивость наше:

учащейся молодежи к проповеди социальной революции и к активному действию в этом направлении. При этом очевидно, что такая невосприимчивость вызывается не недостатком данных, которые приводили бы к убеждению в невыносимости теперешнего общественного быта,—эти данные слишком общеизвестны; не невозможностью убедиться в том, что всякое полезное преобразование в этом направлении не может быть невынужденным,—и в этом отношении современная история слишком богата данными,—а просто невосприимчивостью ко всякого рода крайним воззрениям, неспособностью отрешиться от преданий школьной науки и, наконец, просто нежеланием прийти в теории к такого рода заключениям, выполнение которых в жизни вовсе нежелательно. Кроме того, всякая образованная молодежь так заражена поклоном авторитетам, так развращена привычкой требовать, чтобы ее убеждали сотнею фактов, извороченных и представленных на все лады, выкопанных из самых авторитетных, разнообразных источников, тогда как существует уже целая совокупность фактов, доказывающих те же положения (подобно ученым, утверждающим, что изменчивость видов еще не доказана), наконец, так привыкла требовать, чтобы ей научно вывели ход будущего развития человечества, тогда как вывести это научным путем ни теперь, ни в очень далеком будущем невозможно,—что, говоря вообще, для всякой проповеди среди образованной молодежи нужны такая начитанность и такая диалектика, которые представляют страшную непроизводительную затрату времени и стравление сил от несравненно более насущного дела. Между тем, те из молодежи, которые искренно ищут выхода из своих сомнений, неизбежно приходят сами, узнавая нужные факты, к тем же заключениям о необходимости революционного действия. Поэтому нашей обязанностью по отношению к этим личностям, было бы только давать им возможность узнать нужные факты, т. е. знакомить с главными моментами новейшей истории рабочего движения на Западе и у нас, с отношениями к этому движению барства и правительства и, наконец, с результатами, к которым мы сами приходим в нашей деятельности,—но и здесь—лишь постольку, поскольку наше содействие может способствовать появлению и распространению таких книг. Затем мы, конечно, будем вести знакомство с такими кружками, где можем встретиться с такими людьми, которые, не раз обратившись барски-ученым духом, охотно соглашались в необходимости перенести свою деятельность в рабочую среду, и стараемся не упускать случая ближе сойтись и поговорить с такими людьми. Но брать на себя роль воспитателей, заниматься воспитанием и выработкою людей народного дела, мы положительно отказываемся, так как всегда можем подыскивать себе единомышленников, гораздо более надежных, во многих отношениях более полезных, а, во всяком случае, более нужных, обращаясь прямо в среду крестьянства и городских рабочих. Наконец, мы должны признать, что даже самые лучшие представители цивилизованного общества, если они уже успели заглянуть в эту развешивающую обстановку, никогда не дают таких полных представителей народного пропагандизма, каких можно желать. Сила их привычек к известному образу жизни и мыслей и к известному складу миросозерцания, настолько в них велика, что даже и стелющиеся личности никогда вполне от них не отрешаются.

Наконец, есть еще одна сторона деятельности в среде крестьянства и городских рабочих, которую не следует оставлять без внима-

ния. Необходимое и первое условие какого бы то ни было успеха среди крестьянства и рабочих есть полнейшее отречение от всяких признаков барства, понижение своей материальной обстановки почти до уровня той среды, где человек намерен действовать, и труд. Фактический труд, который каждому рабочему, каждому крестьянину понятен именно, как труд. С другой стороны, мы знаем, что от всякого революционного деятеля требуется крепкая нравственная закалка, т. е. упорная, устойчивая сила воли. И всякая партия действительно всегда стремилась к тому, чтобы вырабатывать это качество в своих сочленах, но большею частью этого стремились достигнуть преимущественно взаимным нравственным влиянием.

Не отрицая благотворности последнего, мы считаем его однако недостаточным и полагаем, что лучшей школой для выработки этой воли есть добровольно на себя принятый, полезный, но не легкий, упорный труд и отказ от материальных благ. Человек, неспособный отрешиться от этих удобств, когда видит полезность такого отречения, неспособный на упорный, скучный труд, никогда не будет способен на упорную революционную деятельность. Минутами он может быть героем, но нам не нужны герои: они сами явятся в минуту увлечения из самых обыденных людей; нам нужны люди, которые, раз придя к известному убеждению, готовы изо дня в день терпеть из-за него всевозможные лишения. Но обращение в среду крестьянства и городских рабочих именно и требует отказа от всяких житейских благ, сужения своего благосостояния до уровня доступного рабочему — и труда, непременно труда. Таким образом, мы видим в указываемой нами деятельности и неизбежное воспитательное значение и, вместе с тем, лучшее средство для того, чтобы узнавать людей. Если бы какие бы то ни было лишения приходилось налагать на себя, как некупительную епитимию или исключительно как воспитательную меру, то мы, конечно, не стали бы говорить о ней; мы не монашеский орден. Но в наш век всякой лжи и обмана других и самих себя, мы считаем не лишним указать, что деятельность среди крестьянства и рабочих, вызванная совершенно иными соображениями, имеет, между прочим, и этот смысл, и это значение.

С другой стороны, мы видим, что подыскивание, среди крестьянства и городских рабочих, личностей, которые могли бы служить центрами дальнейшей пропаганды идеи о необходимости социального переворота, в указанном выше направлении, дает результаты, положительнее даже лучшие, чем те, которых могли ожидать несколько лет тому назад самые смелые начинатели. Мы могли бы здесь нарисовать картину результатов, достигаемых в нескольких концах России, но чтобы не дать недоговоримой картины, вместо той, которую следовало бы начертать, мы окончательно воздержимся от этого.

Всякий, искренно желающий узнать эти результаты, всегда найдет возможность узнать их устно от нас и наших друзей.

Вот почему мы выставляем основным положением нашей практической программы — распространять наши воззрения и подманивать себе единомышленников почти исключительно среди крестьянства и городских рабочих.

Мы переходим теперь к возможным возражениям против этого положения.

Нам могут заметить: такую деятельность еще рано вести. Нам мало: когда нас наберется достаточно, чтобы наша деятельность среди

народа могла иметь заметные результаты, тогда мы, конечно, направимся в крестьянство и рабочую среду. До тех пор будем же подбирать себе товарищей из образованной молодежи.

Отчасти мы уже ответили на это возражение, указав на то, что мы скорее находим себе единомышленников в крестьянской и рабочей среде, чем в среде образованной молодежи. Но мы можем привести и более частные доводы против этого возражения.

Прежде всего, это возражение предполагает доказанным одно положение, которое однако не доказано, да и не верно. Это то, будто наиболее плодотворными проповедниками и организаторами среди народа есть и будет так называемая интеллигенция. Мы считаем это положение совершенно ложным. Если на стороне человека интеллигентности есть больше знаний, больше умения аргументировать, больше способности уловить в каждом факте известную его сторону, то из этого еще вовсе не следует, чтобы такой человек непременно был лучшим агитатором, чем человек из народной среды. Опыт до сих пор приводит к заключению, что из народной среды могут вырабатываться такие же преданные делу агитаторы, какие выходили из интеллигенции. Что же касается до убедительности доводов этих агитаторов, то нужно помнить, что они имеют дело не с учеными, которые всегда готовы укрыться за каждый брусстер, за каждый куст, чтобы только отстоять какую-нибудь традиционную идею, а с людьми, не предрассужденными против истинности социальных воззрений. Если аргументация таких агитаторов и не могла бы устоять перед аргументацией какого-нибудь философа, то убежденность в том, что существующий строй настолько плох и настолько неподатлив, что изменить его нужно и возможно только путем восстания, — раз вселившись, обращается у этих агитаторов уже в веру и не уступает ни перед какою аргументацией; человек после этого скорее ищет уже мотивов того, что ему говорится, чем логической доказательности утверждаемого. Наконец, мы убеждены, что для того, чтобы убедиться в несправедливости нынешнего строя, к неспособности его изменяться без напора со стороны угнетаемых, наконец, в возможности изменения его этим путем, вовсе и не требуется такой обширной подготовки, о которой всегда мечтает в таких случаях цивилизованное юношество. Но раз признавши, что для подготовки социальной революции достаточно подготовки, даже несравненно меньшей, чем та, которую мы получаем, но только направленной целесообразно, и что такая подготовка людей непредубежденных вовсе не требует страшной массы времени, — мы должны будем признать далее, что по кругу и способу своего действия агитатор из народа будет несравненно полезнее, чем агитатор из цивилизованной среды. Это последнее утверждение так уже ясно, что мы и не будем о нем распространяться.

Далее мы считаем коренною ошибкою, выставив целью создать агитаторов среди народа, самим держаться поодаль от народа и вращаться в кругу своих интеллигентных товарищей. Нельзя, в данную минуту, по собственному желанию разом перейти из интеллигентных сфер в круг народной жизни. Интеллигентные сферы во всем кладут на людей, вращающихся в них, особый отпечаток, от которого нужно сперва отрешиться, чтобы иметь успех среди народа. Сделаться народным агитатором в несколько дней нельзя, — нужно воспитаться в этой деятельности. Поэтому мы считаем лучшим средством для достижения этой своей цели неотложно приступить к деятельности сре-

ли народа, как бы ни был мал кружок людей, пришедших к этому заключению. Мы убеждены также, что спланировать людей, во имя будущей деятельности, нельзя или, по крайней мере, крайне неудобно и что гораздо легче спланировать людей во имя такой деятельности, в возможности и целесообразности которой всякий может сам сейчас же убедиться, к которой он может сейчас же приступить. Показывая достигнутые результаты и действуя на людей не одним словом, а словом и делом,—гораздо легче их убедить в том, в чем сам убежден. Наконец, так как приходится иметь дело с самыми обыкновенными людьми и так как всякое начинание надо строить на содействии именно таких людей, то приходится иметь в виду, что всякое объединение, во имя предполагаемой со временем деятельности, к которой нельзя приступить сейчас же,—поведет к образованию кружков из таких людей, которые взаимное схождение и влияние друг на друга скоро поставят главным своим делом и скоро совершенно забудут о своей будущей цели. Наконец, немедленно, приступая к деятельности среди народа и предлагая приступить к ней тем из цивилизованной молодежи, с которыми мы сходимся, мы сразу даем им возможность испытывать и доказывать свои силы на таком поприще, которое требует отказа от многих прежних традиций и, вместе с тем, есть уже дело на пользу будущей революции, ибо каждый из цивилизованной молодежи, хотя бы он и не считал себя подготовленным к агитации среди своих цивилизованных собратьев, всегда имеет уже в запасе столько фактов, что может ими делиться с людьми из крестьянства и рабочих. Если даже его идеалы будущего не настолько ясно им сознаны, чтобы служить предметом распространения, он всегда может содействовать развитию в рабочих и крестьянах критики существующего, разоблачению причин всех язв современного быта. Также общение с крестьянством и рабочими несколько не мешает развитию тех именно идеалов, которые прямо вытекают из отрицания неправды всех сторон существующего быта.

Словом, мы полагаем, что сходиться ради того, чтобы немедленно приступить к деятельности среди народа, есть наиболее прямой путь, что сходиться во имя какого-нибудь будущего дела крайне неудобно, что сходиться во имя начатого уже дела гораздо целесообразнее и полезнее, что всякий результат, достигнутый в деятельности среди народа есть уже результат, достигнутый ради социальной революции, что деятельность среди народа есть деятельность, которая дает возможность приложить свои силы каждому честному человеку, что эта деятельность представляет наилучшие условия для его собственного дальнейшего развития и исключает возможность отвлекаться от своей конечной цели, что, наконец, такая деятельность, веденная совокупно, есть лучшее средство согласить между собой разнообразные оттенки в образе мыслей, которые всегда будут существовать, и привести их к наиболее прямому выражению стремлений, к равенству, присущему народу.

Поэтому, мы считаем такую программу, которая требует, прежде чем приступать к деятельности среди народа, полного соглашения между деятелями во всех частностях идеала и кроме того организации обширной группы деятелей — положительною ошибкою. Поэтому мы говорим каждому честному человеку, как бы одиноко он ни стоял в каком-нибудь уголке России: станьте в такое положение, при котором вам можно будет сходиться с крестьянами или городскими ра-

Сочиним, в отношении равенства, начните подбирать себе единомышленников и старайтесь подготовить из лучших людей этой среды преданных делу народных агитаторов: тогда, во имя начатого дела, подберите себе товарищей из незараженной барством интеллигенции.

Вот прямое выражение наших взглядов на этот вопрос. Мы можем только прибавить, что ежедневный опыт показывает, что к такому же заключению приходят весьма многие, совершенно независимо друг от друга.

Затем является вопрос, в каком же положении деятельность среди народа может быть наиболее полезна? В какое положение должен стать народный деятель?

Мы можем дать на эти вопросы один общий категорический ответ. Прежде всего, — такое, при котором человек живет при такой обстановке, что всякий вошедший к нему и говорящий с ним рабочий или крестьянин видит в его образе жизни такого же рабочего и крестьянина, как и он сам, и если чувствует разнь между собою и им, то только в степени развития. Поэтому всякое такое положение, при котором человек, чтобы удержаться на месте, принужден жить в обстановке барской, — мы считаем положительно не выгодным. Мы, таким образом, положительно отрицаем возможность успеха в положении всяких правительственных чиновников, земцев и пр. Затем мы думаем, что самое выгодное положение есть положение крестьянина или фабричного работника, но полагаем, что есть и многие другие положения, не исключające, в том или другом частном случае, возможности действия, как, напр., сельский фельдшер, иногда учитель. может быть, даже волостной писарь и т. д. Не место было бы здесь вдаваться в разбор относительных выгод этих положений: руководясь поставленною себе целью, каждый сам лучше нас сумеет взвесить выгоды и невыгоды каждого положения.

Мы переходим теперь к ближайшему определению того, в чем собственно должна состоять, по нашему мнению, деятельность всякого, ставшего в такое положение. В общих чертах эта деятельность ясна: это — разъяснять окружающим коренные недостатки существующего строя; разъяснять ту замаскированную и явную эксплуатацию, которой подвергается работник со стороны всех высших слоев общества и правительства; указывать средства для выхода из этого положения, т. е. убеждать в том, что этот строй не изменится без сильного напора со стороны угнетаемых, что всякая уступка барства может быть вынуждена только силою; наконец, что добиваться и добиться одной какой-нибудь частной уступки не имело бы никакого значения, в силу солидарности всей экономической и государственной эксплуатации; убеждать в том, что насильственное отнятие у бар и правительства их средств эксплуатации — возможно и что есть данные утверждать, что согласно в этом исходе устанавливается между крестьянами и рабочими различных местностей; наконец, сплачивать наиболее деятельные личности в одну общую организацию, т. е. доставлять возможность лично знакомиться таким деятелям из различных местностей, узнавать, таким образом, о ходе дела в различных местах, совещаться и сговариваться между собою относительно общих мер.

Если согласиться, что таковым должен быть характер деятельности всякого, стоящего среди крестьянства и городских рабочих, то этим решается один спорный вопрос: должно ли своею проповедью обращаться к отдельным личностям или к массам; другими словами.

какую пропаганду вести,—личную или массовую? Мы не имеем теперь достаточной опытности, чтобы решить этот вопрос окончательно, но предложим здесь несколько соображений по поводу той и другой.

Мы думаем, что, если восстание не предвидится сейчас же, через очень короткий промежуток времени, то вести пропаганду открытую, повсеместную, обращенную ко всем и каждому,—нельзя, да и незачем. Ходить по деревням, сеять на ходу мысль о необходимости восстания, производить мимолетное впечатление, допустив, что человек находится в таком положении, при котором крестьянство его слушает, мы считаем бесполезным, а главное не наиболее полезным в данную минуту. Всякое кратковременное впечатление в этом направлении не будет прочно: оно очень скоро изгладится, если та же мысль впоследствии не будет постоянно поддерживаться местными народными агитаторами. Наконец, чтобы произвести сколько-нибудь сильное, одновременное впечатление на всеобщем протяжении России, потребовалось бы гораздо больше деятелей, чем сколько бы их можно было собрать теперь.

Поэтому мы считали бы более полезным оседлое влияние и в этом случае как влияние на расположение умов вообще, в данном селе или даже околотке, так и влияние на отдельные личности, но в этом случае—на столько полное и сильное, чтобы по удалении деятеля из села, оставшиеся отдельные личности продолжали бы объяснять своим односельцам те же воззрения и продолжали бы подбирать лучших личностей для расширения дела. При этом считаем, конечно, необходимым, чтобы такое село или деревня впоследствии постоянно посещались (и по возможности чаще) тем, кто прежде в нем жил, или теми, которые через него сведут знакомство с кружком подобранных людей того села. Затем не менее необходимых считаем мы, чтобы кружок этого села был знаком не только с тем агитатором, который в нем жил, но и с людьми из кружков, образовавшихся в других селах. Быть может, для этого потребуются периодические съезды, которые мы считаем совершенно возможными, хотя бы на этих съездах приходилось ограничиваться даже одними рассказами выбранных о том, что и как делается в разных местах,—то и тогда были бы они полезными; но весьма вероятно, что на этих съездах поднимутся и некоторые общие вопросы, касающиеся общего дела. Затем мы думаем, что полезно было бы, чтобы всякий деревенский кружок представлял собою какое-нибудь пособие организации, т. е. сходилась бы для обсуждения общих дел кружка (а такие общие дела всегда находятся, и их тем больше, чем ревностнее ведется агитация), представлял бы какое-нибудь распределение обязанностей по общему соглашению и сносился бы с другими знакомыми ему деревенскими кружками. Мы полагаем бы, что никогда не следует останавливаться пред ничтожностью возможного состава кружка и наличных в данную минуту вопросов. Если бы кружок мог состояться только из трех человек, но за то эти люди были бы связаны тесною, личною дружбою, то общие вопросы у них нашлись бы и, раз признавши себя в круговой поруке по общему делу, они имели бы более задатков живучести. Если бы съезд состоял всего из выбранных от 4—5 кружков и результатом его было бы только, в каждом из этих 4—5 человек, съехавшихся из разных мест, реальное, образное представление о том, что то-то делается там-то,—тоже и этот результат мог бы стоить некоторых затрат времени и средств, лишь бы не преувеличивалось его значение.

Таковы наши доводы за единичную пропаганду и организацию. Но если кружок собирается только для того, чтобы заниматься личным развитием и обучением, если он подбирает себе новых товарищей только для того, чтобы в большей компании безопасно вести болтовню о материях важных, то понятно, что это обращается в самое скверное и вредное безделье. Между тем, замкнутый кружок, если имеет он в виду только сговариваться между собою, неизбежно приходит к этому, если только его члены не обладают достаточным развитием всяких хороших сторон, а именно на такое-то большинство всегда следует рассчитывать. Вот тут-то, по нашему мнению, и является на помощь то, что мы назвали массовою пропагандою. Если целью такого кружка есть действительное распространение своих воззрений не только в кругу посвященных, но и всех односельцев, то такой кружок будет несравненно более застрахован от распада и от нравственного растления, а вместе с тем будет готовить и дело народного движения. В самом деле, если наиболее интеллигентные личности (честные и искренние)—эти условия мы считаем признанными прежде всего, как аксиомы) будут постоянно иметь в виду,—сегодня прочесть там-то, такую-то книжку и по поводу ее повести такую-то беседу, завтра завести на посиделке речь об том-то и т. д., то они достигают разом трех целей: лучше узнают настроение отдельных лиц и их способность отстаивать свои убеждения на людях, поддерживают известное настроение в большинстве, да, вместе с этим, и себя самих охраняют от безделья и пустой болтовни. Признаемся, мы как-то всегда не доверяем тем людям, которые приобретают убеждения для самих себя и про запас для исключительных личностей. То есть, мы приходим к заключению, что для того, чтобы единичная пропаганда и организация в крестьянской и рабочей среде могла идти сколько-нибудь успешно необходимо, чтобы народные агитаторы из интеллигенции или из самой народной среды отнюдь не ограничивались бы одним общением с посвященными, а вместе с тем старались влиять на общее расположение умов во всей массе, всяким способом, какой только будет признан полезным, т. е. сторонники личной пропаганды и организации признают полезность пропаганды в массе ради самой личной пропаганды и организации. Но пропаганда в массе и сама по себе имеет громадное значение. В самом деле, если мимолетное впечатление не может быть признано серьезно полезным, то никто уже не станет отрицать, что впечатление и действие, постоянно повторяющееся в массе в известном направлении, не могло достигать известного результата, видоизменяя расположение умов в известном направлении. Но нельзя же не признать, что такое видоизменение не только полезно, но и весьма желательно и это—по очень многим причинам. Прежде всего, хотя бесспорно верно, что социальные воззрения так справедливы, так легко вытекают из очень простых соображений, что они присущи всякому народу, но мы знаем, что от смутного сознания,—а оно, конечно, смутно,—до сознания, на столько ясного, чтобы село соглашалось с мерами, которые предлагают лучшие энергичные личности, еще очень далеко. Еще дальше до непосредственного действия. Поэтому, если мы и допустим даже, что в селе мог бы образоваться кружок лучших людей, что они пользуются уважением мира и что они,—взяв село во всей его теперешней неподготовленности, могли бы убедить его взяться за топоры (когда селу известно, что и другие села взяли за тот же исход),—то все-таки нельзя же утверждать,

чтоб село, при неподготовленности массы, непременно приняло такие дальнейшие меры, которые облегчили бы и закрепили бы за ним победу; но мало того, нельзя ручаться даже, что, взявшись за топоры, оно возьмется разрушать именно то и в такой мере, что требуется разрушить. Поэтому, кроме подготовки отдельных людей, крайне необходимо, чтобы и во всю массу проникли, не только некоторые, а как можно более, как можно более ясные, сознательные представления о совокупности общих отношений и о возможных способах их переустройства. Говоря это, мы, конечно, вовсе не хотим утверждать, чтобы необходимо было дожидаться до социального переворота, пока во всю массу проникнут ясные, сознательные представления: но мы говорим, что чем больше их проникает, тем лучше, и что, следовательно, упускать какой бы то ни было случай для того, чтобы распространять в массе эти представления, было бы крайне странно и непоследовательно. Именно во всей массе необходимо развивать дух критики, дух недовольства, сознание безвыходности мирных реформ, дух бодрости и веры в возможность союзного действия. Чем более будет развит этот дух в каждом человеке, тем солидарнее со всеми будет также чувствовать себя отдельная личность, вошедшая в народную организацию, тем сильнее будет ее вера в возможность переворота, тем яснее в ней самой будут складываться ее воззрения на будущий возможный строй. Наконец, всякая личность есть продукт окружающих ее воззрений, и чем более проникают в массу известные воззрения, тем более выделяется из массы новых людей, отдающих себя общему делу, тем радикальнее эти люди.

Вот почему мы думаем, что всякий народный деятель не должен упускать никакого случая и даже подыскивать всякий случай, чтобы повлиять на всех и каждого в известном направлении. Эту цель он никогда, ни в одной беседе, ни в одном поступке не должен терять из виду и не может даже, — если только он с увлечением отдается своему делу. Пусть иной задавлен, не развит, способен обдумывать только ближайшие события и вовсе не способен обобщать причины. Но и тут всегда будет возможно, став на точку зрения этого человека, разобрать явление с более широкой стороны и навести его на соображения об общих причинах. С каждым отдельным лицом придется, конечно, разное вести речь: одному придется развить социальные воззрения и выводы из них полнее, другому — в самой первоначальной форме, но лишь бы все эти беседы клонились к тому, чтобы развить склонность к этим воззрениям, способность прочувствовать гнет и сознание необходимости противопоставить ему крестьянское единство.

Как вести дело с каждым человеком, какую струну затронуть, на сколько откровенно высказывать свои конечные мысли, — все будет обуславливаться подготовкою того человека, того общества, с которыми имеешь дело, и осторожностью, нужною в том или другом случае: но следует помнить одно, что во всех и каждом надо готовить восприимчивость к этим конечным целям, стало быть, надо действовать в этом направлении. Конечно, везде найдутся люди, в которых личный эгоизм сильнее всего остального и возиться с ними, даже случайно, значило бы попусту тратить время и силы; но не об них и говорим мы: мы говорим о всей массе, которой не было случая или времени обдуманнее отнестись к окружающему, но которой именно и придется действовать когда-нибудь. Отказываться от влияния на эту массу было бы просто ошибкою.

В силу сказанного мы считаем, что влияние на личности и влияние на массу должны идти одновременно, рука об руку; стараться влиять только на общее расположение умов в массе, не создавая тесного кружка нескольких человек, который можно было бы ввести в общую организацию, было бы так же ошибочно, как стараться только создать тесный кружок, но упускать влияние на общее настроение в массе. Выгоды всего дела требуют и того, и другого влияния одновременно. Понятно, что все сказанное вполне приложимо и к городским рабочим. При этом мы напомним, что наши городские рабочие представляют некоторые существенные отличия от западно-европейских и что эти отличия объясняются, почему деятельность среди городских рабочих, несмотря на их малочисленность в России, имеет серьезное значение.

Дело в том, что рядом с рабочими, обратившимися в постоянных городских жителей и имеющими определенное ремесло, т.-е. с заводскими рабочими, существует гораздо более обширный класс рабочих, так назыв. фабричных. Он складывается весь из крестьян, преимущественно молодежи, не знающих определенного трудного ремесла и поступающих на всевозможные фабрики (ткачей).

Все они на родине имеют земельный надел и находятся в тесной связи со своими односельцами; все они живут в городе непостоянно, а стекаются из разных концов России на время; а затем снова, через год или через два, а нередко во время безработья и каждый год, возвращаются в свои села на крестьянскую работу. Таким образом, представляя подвижный элемент из крестьянской среды, элемент, избавленный от консервативного влияния семьи, наконец, людей несколько более присмотревшихся к разным житейским отношениям, а вместе с тем—элемент, когда возвращается назад, в село, представляет прекрасную, а в большинстве случаев и весьма восприимчивую почву и средство для распространения социальных идей. Наконец, все они живут не в одиночку, как заводские рабочие, а артелями, что значительно облегчает знакомство с большим кругом людей. Выработка из них отдельных личностей, способных к дальнейшей агитации, наконец, облегчается широким простором для выбора лучших людей, а помощь той образованной молодежи, которая приступает к занятиям с этими рабочими, значительно облегчает подбор, давая возможность поддерживать знакомство с очень многими рабочими. Так как эти рабочие несколько не разрывают своих связей с селом и несколько не изменяют своего прежнего крестьянского образа жизни, то из них всего удобнее вырабатывать людей, которые потом в селе могут послужить ядрами сельских крестьянских кружков.

Практические приемы такой пропаганды не место здесь излагать, но мы остановимся на одном обстоятельстве, к которому многие, по нашему мнению, слишком легко относятся. Это то, что мы находим полезным и необходимым сообщать рабочим такие сведения, которые относятся к области научных сведений. Прежде всего, к нам часто обращались с просьбой заняться обучением чтению, письму и арифметике. Если это есть единственное средство для знакомства с артелью, и если предвидится, что в этой артели найдутся люди, которые довольно скоро заинтересуются социальной пропагандой, то мы, конечно, не откажемся от таких занятий сами или, если есть другие более производительные занятия, то постараемся подыскать людей, которые, еще не желая заниматься социальной пропагандой, взялись бы, од-

нако, этим заняться, зная, с какою целью ведутся эти занятия. Когда, читая среди этих занятий какие-нибудь книжки и ведя общую беседу по поводу прочтенного, мы видим, что отдельные личности принимают к сердцу общие интересы, мы постараемся участвующими беседами довести этих людей до мысли, что занятия арифметикой или письмом вовсе не ведут к цели, станем тогда знакомить их с совокупностью социальных воззрений и постараемся войти с ними в личные дружественные отношения; тех же, которые будут видеть в занятиях арифметикой свою исключительную цель, конечно, оставим через несколько времени, понимая очень хорошо, что всех желающих арифметике не обучишь и что есть вещи более нужные. Если мы столкнемся с человеком восприимчивым, энергичным, обещающим сделаться полезным агитатором, который не умеет даже читать, мы, конечно, сочтем неперемнной обязанностью выучить его грамоте, понимая очень хорошо, что человеку грамотному легче вести агитацию, чем неграмотному, что то, о чем не успеешь с ним перетолковать, он узнает и из порядочной книги, и собственным размышлением над прочитанным.

Далее тем лучшим людям, которые сделаются народными агитаторами, мы считаем необходимым сообщить и более обстоятельные сведения по истории, конечно, той, которая служит нам основанием для наших выводов, по так называемой политической экономии, т. е. по критике существующих отношений между трудом и капиталом. Мы знаем, что переход из мирного рабочего, стоявшего век за станком и проявлявшего свою энергию, честность и отсутствие эгоизма лишь в личных или артельных отношениях, к убежденному, деятельному народному агитатору делается не в день и не в два. Мы знаем далее, что переход тем прочнее, залог дальнейшего успеха тем больше, чем большую совокупность данных владеет человек, чем большая сфера явлений дает ему доводы для подтверждения своей мысли. Поэтому мы должны сообщать такому человеку нужный ему материал, должны стараться выработать в нем способность пользоваться всякими фактами для подтверждения своих воззрений, а так как в 3-х, 4-х-месячный срок всегда найдется и с избытком время для таких бесед, и так как изложение, напр., нужных исторических фактов или разъяснение экономических отношений бывает удобнее в последовательной форме, то мы считаем положительным необходимым сообщать им эти сведения, — читать им „курсы истории и политической экономии“, если только курсами можно назвать десяток последовательных рассказов, в которых каждый факт подтверждает известную сумму воззрений, каждый вывод служит предметом общих бесед на известную тему. Поэтому мы утверждаем:

„Подготавливать народных агитаторов необходимо; подготовить их в недельные сроки невозможно, если желаем оставить по себе что-нибудь прочное; во время знакомства, продолжающегося несколько месяцев, всегда найдется время для обстоятельного ознакомления их с фактами, которые потом очень пригодятся им в их агитации“.

Следовательно, нужно вести такие беседы и нужно заботиться о возможно большем развитии таких агитаторов, конечно, всегда строго избегая нагружать их память какими бы то ни было лишними баблами.

Понятно, что во всяком таком деле не может быть определяемо никаких точных границ. Нужно только, чтобы каждый деятель ясно сознавал свою цель и не уклонялся от нее посторонними побуждениями.

Из всего сказанного уже видно, что главное место в нашей пропаганде мы отводим пропаганде личной, устной, а не литературной, как в виду поставленных нами целей, так и в виду неграмотности русского народа.

Но этим мы вовсе не отрицаем необходимости литературной пропаганды и считаем ее необходимой ради тех же целей.

О характере литературной пропаганды в так называемой цивилизованной среде сказано уже выше; там же определены и возможные наши отношения к ней. Но гораздо более необходимо появление и распространение в крестьянстве и рабочих таких книг, которые удовлетворяли бы поставленным выше целям. Такого рода книги мы считаем положительно необходимыми.

Необходимы такие книги, которые давали бы возможность людям, не умеющим легко поднимать и ставить известные вопросы, тем не менее затрагивать эти вопросы. Книга, специально написанная с этой целью, дает возможность поднимать и подвергать общему обсуждению такие вопросы. Далее, необходимы такие книги, которые давали бы народному агитатору нужный материал и факты, чтобы убеждать своих собеседников. Такие факты дают книги по истории народа, книги, объясняющие способы накопления капиталов в частных руках, захвата земель, захвата правительством народных прав и т. д. Наконец, необходимы книги, пробуждающие дух независимости, сознание в народе его силы и бессилия барства, поддерживающие чувства мирского единства, сознание общности интересов и общности врагов всех разрозненных частей русской земли, всех отдельных классов народа и выясняющих круговую поруку царя, барства, купечества, мироества и поповщины. Словом, нужны беллетристические рассказы, как повод для бесед, нужны рассказы о сильных, выдающихся личностях из крестьянской среды, нужны, наконец, исторические и бытовые рассказы, разъясняющие всю безысходность современного быта, будящие сознание и дух силы, разъясняющие необходимость, возможность и способы предварительной организации. Поэтому мы ставим необходимой своей задачей заготовление и распространение таких книг. Мы уверены, что всякий из занимающихся пропагандой в крестьянской и рабочей среде, обладающей творчеством и талантом, всегда найдет время писать такие книги, не отрываясь от личной пропаганды, и мы всегда готовы будем уделить часть своих сил и на печатание и распространение таких книг.

Понятно, что почти все такие книги должны быть нецензурные. Нам нужны, однако, и цензурные небольшие рассказы, затрагивающие разные стороны общественного быта, потому что с нецензурною книгою нельзя являться в первый раз в совершенно незнакомую группу рабочих и крестьян; поэтому мы всегда будем стараться вызвать от наших литераторов и подыскивать такие рассказы из ранее изданных, которые, будучи по крайней мере невинны, могли бы давать повод к нужным беседам. Понятно, что все это требует самых ничтожных затрат времени, а средства всегда даже могут быть найдены из посторонних источников.

Наконец, мы полагаем, что весьма полезно было бы иметь небольшое повременное издание, пишущееся языком, доступным крестьянам и рабочим, которое действовало бы в этом направлении, внося в него элементы современности.

Нам остается, наконец, рассмотреть один род пропаганды, кото-

рую мы назовем фактической. Сюда мы отнесем всякие такие действия, которые содействуют, по мнению нашему или других, распространению изложенных нами воззрений и организации народной революционной партии. Здесь мы рассмотрим, следовательно, всякие такие учреждения, которыми пропагандируются социальные воззрения, как, напр., артели производительные и потребительные, такие движения, как, напр., местные волнения на фабриках или в деревнях с какою-нибудь частною целью, направленные против каких-нибудь местных злоупотреблений, наконец, местные народные движения с широким социальным целью.

Мы начнем с артелей. После всего сказанного выше, нечего уже и говорить, что, как средство улучшения общественного быта, мы считаем артели мерою совершенно неприложимою и нецелесообразною. Как воспитательную меру для приготовления социального переворота, мы считаем их не только не полезными, но даже совершенно вредными. Всякое временное улучшение материального быта небольшой кучки людей в нынешнем разбойничьем обществе неизбежно отзывается на них усилением их консервативного духа. Вся дальнейшая их деятельность направляется на то, чтобы сохранить, удержать это свое привилегированное положение, и по этому самому они, роковым образом, должны утрачивать всякий импульс и отчасти даже фактическую возможность распространять это улучшение на остальных. Поглощаемые делами своей артели, они прежде всего заняты ими и становятся менее способными употреблять свое время на активную социальную пропаганду. Затем, мало-по-малу, они утрачивают всякую охоту заниматься этим делом; улучшение обстановки развивает только старание удержать эту обстановку, охранить ее от случайностей внешнего движения, полицейского вмешательства и т. д.; развивает самодовольствие и высокомерное отношение к своим противникам, менее счастливым братьям; то, что в значительной мере есть результат случайных случаев, приписывается своей личной энергии и т. д. В общем, мы убеждены, что всякая артель, сколько-нибудь удачная, есть лучшее средство отвлечь наиболее умных рабочих в полубуржуазное положение, и отнять у революционной агитации нередко хорошие силы. Поэтому мы не считаем артели средством социальной пропаганды.

Таковы самые естественные общие выводы, но каждый из них может быть подкреплён и развит десятками доказательств, взятых из опыта жизни. Вся практика западно-европейская и отчасти русская дают для этого богатый материал. Естественно, что так же мало придаем мы воспитательного значения артелям потребительным. Те из германских агитаторов, которые восхищаются результатами дешёвизны в какой-нибудь общественной кухне и придают воспитательное значение общему заведыванию кухонными делами, могли бы именно в России, где каждая артель холостых фабричных рабочих представляет такое потребительное общество, убедиться, как прост и удобопонятен этот принцип, помимо всякой пропаганды, и как легко он осуществляется на практике, если не встречается каких-нибудь внешних или исторических помех. Они убедились бы также, как медлен избираемый ими путь, если учреждение потребительных обществ они считают ступенью к революционной деятельности.

То же, что о потребительных артелях, думаем мы и о кассах взаимного вспоможения, взаимного пособия и т. д. К ним безусловно

приложимы все предыдущие соображения и все они могут быть подтверждены еще большим количеством фактов, доказывающих и их бессилие, и их вредное влияние. Мы считали бы даже гораздо более нравственным личную помощь, путем складчины, в каждом нужном случае случайно пострадавшему товарищу, чем касса, обращающаяся в какой-то налог для бедных. Поэтому мы никогда не станем проповедовать таких касс и готовы всегда отклонять от них наших друзей.

Но зато мы считаем полезными всякие кассы для социальной пропаганды, т. е. для приобретения книг, способствующих пробуждению критики существующего и сознания своей силы, для пособия агитаторам, покидающим работу и меняющим место жительства с целью пропаганды, для содержания квартир и т. д., хотя, конечно, очень хорошо понимаем слабость таких касс (кроме исключительных, хорошо обставленных рабочих) и потому не станем преувеличивать их значение. Понятно, что всего лучше будут возникать такие кассы, по мере развития потребностей пропаганды и организации.

Наконец, в числе подобных же воспитательных мер, мы считаем, положительно полезным общежитие рабочих на началах коммунистических, т. е. общей собственности всего заработка, но знаем очень хорошо, как велики трудности, с которыми сопряжено всякое такое учреждение, за невозможностью выработки в нынешнем обществе коммунистического духа и отчасти по местным условиям (отсылка заработков в деревни и т. п.). Мы думаем поэтому, что рекомендовать эту меру следует, как прекрасное воспитательное средство для агитаторов, но что приводить ее в исполнение возможно будет только в ограниченных размерах, с исключительными личностями и большей частью лишь при сожитии рабочих с кем-нибудь из воспитавшихся в этом духе членов интеллигентной молодежи. Во всяком случае, если, по характеру сблизившихся людей, такое сожитие возможно устроить, то, по нашему мнению, им не следует пренебрегать.

Что касается до всяких местных волнений, с какою-нибудь частною целью, напр., демонстрации против мастера или управляющего на фабрике, демонстрации против какой-нибудь стеснительной меры, волнения в деревне с целью учета старшины, писаря, посредника и т. п., то мы смотрим на них как на воспитательное средство массы и как на средство для народных агитаторов ближе узнать людей, узнать выдающихся личностей, наконец, самим этим личностям — приобрести местное влияние и отчасти воспитаться в духе более или менее раскованного протеста. Этого значения частных движений, конечно, невозможно отрицать, и так как они всегда бывают помимо воли отдельных людей, то агитатору остается только этим пользоваться, чтобы ближе узнавать людей. Затем нельзя не признать, что такие волнения, если они не привели к жестокому усмирению, всегда поддерживают дух недовольства и раздражения в массе. Но, признавая эту полезность, мы, очевидно, должны решить вопрос, следует ли в интересах организации возбуждать и поддерживать такие волнения? Мы полагаем, что общего решения этого вопроса нельзя дать. Следует только в каждом частном решении иметь в виду, на сколько каждое такое волнение может содействовать или мешать успеху организации и пропаганды. Если можно предвидеть, что такое волнение, дав возможность ближе узнать людей, не повлечет за собою улачения агитаторов из среды, где они уже успели освоиться и приобрести некоторое доверие, и если при этом оно дает массе возможность почуе-

отвратить силу дружного протеста, то, конечно, следует поддержать и вызвать такое волнение; если же можно предвидеть, что, даже достигнув своей частной цели, волнение поведет за собой удаление агитаторов из среды, где желательно было бы, чтобы они остались, то следует избегать такого волнения. Действенными личностями следует по нашему дорожить и не подвергать их риску из-за пустяков или из-за результатов, которыми некому будет воспользоваться. Нужно помнить, наконец, при этом, что все правительства запада, а также наше, не замедлят принять ту же программу, всегда стараясь вызывать даже такие местные волнения, чтобы захватить лучших людей, вырвать их из места или перестрелять и нагнать страх на население. Поэтому всякое такое движение становится мечом о двух остриях. С одной стороны, выясняются отношения между правительством и народом, с другой стороны, оно слишком тяжело отзывается на силах революционной партии и на лучших людях данного участка. Наконец, есть еще одно соображение, касающееся, впрочем, только людей из так называемой цивилизованной среды. Это то, что во многих волнениях они никак не понесут всех тех последствий, которыми такое волнение ложится на крестьянство и городских рабочих. Как бы ни была тяжела нравственно та кара, которая постигает в таком случае человека из интеллигенции, но она материально (а, следовательно, в глазах народа) несравненно легче, чем кара, постигающая остальных. Очевидно, однако, что это обстоятельство на будущее время вредит агитации человека из интеллигентной среды в данной местности, даже во имя общих начал. Наконец, всякое средство, не прямо ведущее к цели, чрезвычайно легко, во всяком новом деле, становится целью: и мы считали бы необходимым, во всяком подобном деле, всегда прилагать при постановке решения, как отнестись к данному настроению умов по поводу частного вопроса. Не менее существенно и то, что всякая подобная агитация отвлекает внимание и время от агитации более существенной.

Но может явиться и такое соображение. Всякая агитация, не подкрепляемая никаким делом, скоро перестает поддерживать бодрость в деятельных людях. Люди деятельные не могут уже так спокойно свесить окружающих их неправд и неизбежно стремятся к тому, чтобы вступать в борьбу с этой неправдой, в каком бы виде она ни являлась. Стараться воздерживаться от протеста, когда он настойчиво напрашивается сам, значит, развивать равнодушие к окружающему и даже род неуверенности. Мы думаем, однако, что это воздержание было бы неверно, прежде всего очень желательно было бы, чтобы на пропаганду и организацию агитаторы смотрели именно как на дело, и не считали более серьезным делом борьбу со старшиной или с мастером. И всякий человек, смотрящий на каждый представляющийся ему факт именно с точки зрения пропаганды и организации, всегда сумеет воспользоваться им, чтобы окружающим разъяснить его, как частное проявление целого, и перенести ненависть страсти, разожженной частным событием, на общего врага. Далее, всякий деятельный и впечатлительный человек и без постороннего вмешательства достаточно склонен к протесту против всякого частного безобразия, а в таких людях скорее приходится сдерживать порывы страстного протеста против частного события, указывая возможность воспользоваться им для народной организации, чем разжигать эту страсть против самого события. Наконец, что касается того, что во всяком совершающемся

протесте, как бы ни была очевидна его безысходность и что бы ни было высказано против него в минуту предварительного обсуждения,— во всяком мирском риске агитатор должен быть впереди,—об этой азбуке уже и говорить нечего.

Все сказанное вполне приложимо и к вопросу о стачках. Об них писано и говорено уже так много, что можно ограничиться одними общими выводами.

Прежде всего, ясно, что никакими стачками, как никакою палативной мерой, положение рабочих не может быть существенно улучшено. То маленькое улучшение, которое иногда достигается стачкою,— уменьшением ли рабочих часов или увеличением рабочей платы,— всегда бывает только временное и очень скоро уничтожается. Далее, можно привести тот факт, что стачка всегда была в Западной Европе единственным средством возвысить сколько-нибудь заработную плату, когда, с увеличением дороговизны, она становилась решительно невозможной для существования. Поэтому в Западной Европе стачка стала обычным орудием борьбы между рабочими и капиталом, как в фабричной, так и земледельческой сфере, а организация стачки долгое время была даже единственной целью, которою заведались и задаются до сих пор весьма многие рабочие общества и весьма многие агитаторы. У нас стачка есть явление, несравненно более редкое по весьма многим причинам, о которых здесь не место говорить. Должна ли, следовательно, у нас стачка пропагандироваться так же, как в последние 20—30 лет она пропагандировалась в Западной Европе? Не можем ли мы помощью ее достигнуть таких же результатов, каких достигли западно-европейские рабочие и которые, бесспорно, содействуют в некоторых отношениях социальной пропаганде? Сравнивать в этом отношении наше положение с западно-европейским было бы крайне неправильно. Стачки в Западной Европе суть явление не последних лет, даже не последнего века. В Англии, т. е. именно в той стране, где ими достигнута и наибольшая заработная плата и наименьшие часы работы, они начались и организовывались уже с XIX века. Рабочие союзы, главным образом, ради стачек, уже в прошлом столетии были так распространены и так сильны, что на развитие таких союзов вновь теперь потребовались бы целые десятилетия. Вот почему Англия могла опередить другие страны в скорости повышения заработной платы и уменьшения рабочих часов, которое, однако заметно повсеместно за последнее столетие, хотя и в меньшей мере, чем в Англии. Сила рабочих союзов для стачек не может быть приобретена скоро,—на это нужны долгие годы беспрепятственных со стороны правительства стачек, долгие годы воспитания.

Теперь в рабочих возникают новые идеалы, новые цели, новые стремления. Задачей рабочего вопроса становится уже не частное улучшение быта, а вопрос о передаче орудий труда в пользование самих рабочих. В этой же форме возникает задача и у нас. Следовательно, вопрос об организации для стачек становится уже вопросом о том, должны ли мы теперь, когда задача поставлена широко, трудиться над созданием организации, которая на Западе создалась в то время, когда задача становилась об улучшении быта, а не о коренном преобразовании? Ответ неизбежен и ясен: нет! Разве может быть полезно противодействовать аду в частной его форме, когда уже слышна общая причина ада? Разве мы имеем право скрывать эту общую причину? Разве, раз уже сознана общая причина ада, раз уже появи-

лась надежда и вера в ее искоренение, можем мы и рабочие внести в пропаганду организации для стачек ту веру, какую вносили в эту пропаганду те, кто видел в стачке единственное возможное оружие борьбы с капиталом? Ясно, следовательно, что в России, где рабочее движение начинается в эту пору, не может создаться той сильной организации для стачек, которая существует во многих местах Западной Европы. Ясно, что если рабочее движение не утратит веры в достижение конечной цели, оно не направится на стачки с той энергией, с какою направлялось вплоть до последнего времени в Западной Европе.

Но если стачка уже не может быть для нас целью сама для себя, то не может ли она быть полезным средством для достижения заданной цели? Давая реальный, всем доступный импульс для организации, не может ли стачка сослужить ту службу, что подвигает к организации тех, которые без этого импульса к ней не приступили бы? Не послужит ли она хорошим случаем для социальной пропаганды? Но здесь мы, следовательно, опять сталкиваемся с тем же вопросом, на сколько полезно для достижения заданной цели ставить сперва какую-нибудь второстепенную, косвенную цель, или, другими словами, на сколько полезно привлекать к организации, имеющей в виду социальный переворот, людей, которые еще несогласны с необходимостью переворота? Но ответ на вопрос в такой форме не может подлежать сомнению: конечно, не полезно, ибо эти люди будут только мешать организации ее целей, на них нужно действовать, следовательно, иным путем. Вообще, мы считаем не только недобросовестным, но и совершенно непрактичным—завербовывать людей для одной цели, выставляя им другую. Что касается до того, что стачка может служить хорошим поводом для социальной пропаганды, то на это нужно заметить, что для критики общественного быта случай всегда есть, и стачка не есть наиболее удобный. Для пробуждения же сознания собственно и силы стачка служит хорошим средством только тогда, когда она оканчивается победою. Говоря о форме, достигшей наибольшего развития на Западе, мы здесь сошлемся на пример Западной Европы. Все имевшие дело со стачками утверждают именно это. Но стачка только тогда увенчивается успехом, когда рабочие (не говоря уже о вмешательстве правительства и допустив даже, что оно не существует) заранее имели прочную кассу, когда они получают помощь (немедленную) от других касс и т. п.; мы же сказали выше, почему думаем, что прочной организации для стачек теперь не думаем достигнуть. Что же касается до созвония (солидарности) единства, общности, которой так способствует круговая порука во время стачек, то мы думаем, что то же сознание, в такой же мере, достигается постоянным сношением кружков, необходимым при всякой организации, — сношением, тем более живым и тесным, чем однороднее состав их. Обширная же организация ради стачек этому последнему несколько не способствует, а скорее вредит ему, внося крайнюю разнородность агитаторской подготовки в состав необходимых для этой цели кружков. Вот почему мы думаем, что обширная организация для стачек у нас не была бы и целесообразным средством для достижения наших целей.

Затем остается воспитательный элемент стачки, который несомненно во многих отношениях. Всякая стачка приучает к общему ведению дела, к распределению обязанностей, выделяет наиболее та-

лантливых и преданных общему делу людей; наконец, заставляет прочих узнать этих людей и усилить их влияние. Поэтому мы полагаем, что не следовало бы, если бы имелись силы, упускать ни одной стачки без того, чтобы народные деятели не принимали в ней, по возможности, деятельного участия. Но впрочем ради этого во будждать стачки со всеми их ужасными последствиями для рабочих в случае неудачи (лишениями, голодом, растратой последних грошевых сбережений) мы считаем положительно невозможным.

Наконец, мы приходим к последнему разряду случаев фактической пропаганды. Это местные движения с определенной общесоциалистической целью. Положим, что есть основание думать, что в какой-нибудь губернии могло бы возникнуть восстание с явной целью отобрать все земли, фабрики, дома и капиталы в мирское владение и устроиться по-своему. Но между тем предвидится, что это движение не будет поддержано и его задавят войсками. Следует ли стараться вызвать это движение, следует ли поддерживать нравственно и физически собирающихся начать это движение или же следует употребить все старания (напр., двинуть в эту губернию все наличные силы), чтобы удерживать от этого? Очевидно, что здесь представляется много соображений. Не говоря о том, что такое волнение, начавшись с такими, всем понятными целями, может привести и к тому результату, что поднимет соседние области; за исход такого движения, особенно когда повсеместно есть некоторые недовольные элементы, никто не может ручаться, даже тогда, когда известны, повидимому, все определяющие обстоятельства. История полна таких неожиданностей, которых вовсе не предвидел никто из наиболее даровитых и знающих современников. Поэтому мы никогда не взяли бы на себя решить вопрос об исходе иначе, как по ознакомлении с местными условиями данного случая и по обсуждении их целым съездом народных деятелей. Но мы указываем на этот вопрос теперь же потому, что им может определяться план действия целой партии. Если бы решено было, что такое местное движение желательно, то, по выбору местности, можно было бы туда направить все наличные силы вместо того, чтобы разбрасывать их по всей России. Поэтому мы выскажем только некоторые соображения, мотивирующие, почему следовало бы поставить этот вопрос, как только знание местных условий различных частей России позволит толковать о нем.

Что такое подавленное местное, да еще социалистское движение, слишком хорошо известно; какие вакханалии разыгрываются вечными кровопийцами народа на трупах всего, что есть честного, смелого, умного в разгромленной местности,—все это позорными клеймами выжжено на животных лицах этих кровопийц. Каким подавляющим гнетом ложится такой разгром на полуравнодушное большинство,—тоже известно. Но известно и то, какую враждою на всю жизнь заставляет он поклясться тех из уцелевших, в ком есть искра человеческой души, незащищенная животными потребностями. Известно и то, как расширяет глаза всякому неслепому эта драма, где маски сброшены, и одни давят других со всем остервенением бессильных и подлых, вымещающих свою злобу над сильным и честным, пойманным в капкан. Пусть хоть раз выскажется бабство и царь во всей их животной наготе, и реки крови, пролитые в одной местности, не протекут без следа. Без рек крови, социальный переворот не совершится; первые заменят последующие,—лишь бы только первые ослабили навод-

нение будущих. А, впрочем, эти первые реки, может быть, ручьи, льются уже теперь и непрерывною струей то сочатся, то льются через все после ние десятилетия и, может быть, с нашей стороны было бы даже безумием мечтать о том, чтобы задержать их, и, может быть, для нас нет лучшего исхода, как самим утонуть в первой реке, пролившей плотину.

Наши отношения ко всяким партиям довольно ясно определяются из всего сказанного. Мы выскажем их, однако, в нескольких словах.

Прежде всего—наши отношения к Интернационалу. Вести речь о том, примкнуть к Интернационалу, или нет, не в принципах, а на деле, мы считаем теперь невозможным. Пока у нас нет сколько-нибудь сильной организации среди крестьянства и рабочих, всякие наши отношения были бы не деловые, а только личные, но о таких отношениях едва ли стоит рассуждать. Следовательно, о том, примкнуть ли или нет к Интернационалу, еще впереди. Мы можем сказать только, что, вследствие громадной разницы строя мышления нашего народа, его склада представлений, его стремлений, с этими свойствами западно-европейских рабочих, вследствие розни языка, наконец, вследствие нашей экономической изолированности, мы не думаем, чтобы в сколько-нибудь близком будущем наши отношения могли бы быть сколько-нибудь тесные и живые, иначе как между отдельными личностями. Нет спора, что в довольно близком будущем всякое социалистское движение на Западе будет отзываться и в нашем народе, всякий крупный успех западных интернационалистов будет сочувственно и с интересом принят у нас, будет подбодрять и нас; весьма вероятно также, что решения Интернационала будут обсуждаться и у нас, не только цивилизованною молодежью, но и рабочими кружками. Но все это еще не составляет того общения, которое должно существовать между частями одной партии. А такое едва ли скоро может установиться.

Поэтому мы только ограничимся заявлением, что в принципах, как видно из всего сказанного, мы вполне сходимся с отраслью федералистов Интернационала и отрицаем государственные принципы другой.

Что касается до наших русских заграничных партий, то, сходясь в принципах с русскими представителями федералистского отделения Интернационала, мы совершенно отстраняемся от всякого вмешательства в раздоры наших партий, так как они приняли, наконец, личный характер и так как, живя здесь, не можем иметь никакого точного понятия о характере этих раздоров. Относительно их временных изданий мы должны сказать, что ни одно из них не можем признать органом нашей партии.

Глубоко уважая некоторых представителей нашей русской эмиграции и их деятельность в Интернационале, мы, тем не менее, ни с кем из них не намерены вступать в тесный организованный союз, потому что не видим никакой возможности сделать этот союз реальным. Мы намерены здесь развиваться самостоятельно, вне всяких руководств заграничных партий, так как полагаем, что никогда эмиграция не может быть точным выразителем потребностей своего народа, иначе как в самых общих чертах, ибо необходимое для сего условие есть пребывание среди русского крестьянства и городских рабочих. Наконец, необходимое условие полного объединения лиц есть возможность находиться в непрерывных, тесных сношениях,—что в данном случае невозможно.

Идеал в революции.

Из незаконченной рукописи 1916 г.

Во всемирной истории выступает один ярко определенный факт. За последние три столетия, через каждые 130—140 лет, в какой-нибудь из европейских стран совершается крупная революция, которая затем на следующие сто с лишним лет (четыре поколения, как говорил итальянский историк Феррари) дает направление прогрессивному развитию мысли.

Отбрасывая более ранний период и начиная с английской революции 1648 года, мы видим, что Англия вплоть до французской революции дает более передовым странам свой лозунг: полная религиозная свобода, право каждого толковать Библию, как он ее понимает; развитие свободных местных городских и земских учреждений—приход, как основная земская единица—и конституционный образ правления. Этими лозунгами вдохновляются на той стороне океана молодые английские поселения Северной Америки, а в Европе философия шотландских философов энциклопедистов, а затем и целая страна—Франция.

В 1789 году начинается во Франции ее большая революция, и она не только принимает лозунги, выставленные Англией, но и со свойственной французскому уму логикой, т. е. последовательностью и систематичностью, она старается провести в жизнь „Права Человека“—т. е. политическое равенство всех перед законом, уничтожение всех безусловно пережитков феодального и крепостного права, представительный образ правления при всеобщем избирательном праве и, наконец, автономию сельских и городских общин. Эту автономию Франции, впрочем, не удается провести в жизнь, так как ей, с первых же годов революции, приходится вступить в отчаянную борьбу, на жизнь и смерть, со всеми королями Европы, и таким образом перейти на время от демократической республики к империи; точно так же ей приходится выдержать такую жестокую борьбу с католическим духовенством, которое поднимает, при содействии Австрии, германских государств и Англии, целые громадные области против республики и против проводимой ею в жизнь философской религии, в которой высоко-правственное начало равенства, братства и любви к родине выводилось из созерцания природы и человеческого разума.

Для поверхностного наблюдателя французская революция, где наполеоновская империя скоро заменила республиканский режим, да-

казала только бесполезность революции; на деле же весь XIX-ый век был осуществлением в Европе начал, провозглашенных французской революцией, равенства всех граждан перед законом, уничтожения пережитков феодального строя и повсеместного введения представительного правления. Эти лозунги французские савантолы, а впоследствии даже Наполеон, разносили на своем трехцветном знамени, уничтожая крепостное право в Италии, Испании, германских княжествах и в Австрии, вводя под именем Наполеонова кодекса свод законов, выработанный Конвентом и уничтожавший сословные привилегии, и кладя конец кострам инквизиции в католических странах.

К несчастью, эта волна докатилась до России только тогда, когда во Франции царил уже император, а республиканская армия уже обратилась в сброд самых разноплеменных полчищ.

И вот теперь мировая история наложила на Россию тяжелую задачу выполнить новую революцию, распространяя далее на восток те же права человека и прибавляя к ним наследие XIX века—разрешение социального вопроса, как для крестьянских масс, так и для непомерно разросшегося городского населения и его естественного последствия—пролетариата. Подобно тому, как Франции в своей революции пришлось пойти гораздо дальше Англии, и ребром поставить уничтожение земельного феодализма.—оно и было совершено во Франции,—тогда как в Англии он продолжает существовать и до сих пор, точно также России предстоит провести в жизнь среди своего разноплеменного населения не только утверждение „Прав Человека“ и уничтожение земельного феодализма, но еще и разрешение экономических вопросов, поставленных перед человечеством в XIX-ом веке. Задача громадная, вероятно, даже непосильная для русского народа, если он в ней не будет поддержан народами Запада, уже совершившими свои две революции, т. е. Англии и Франции, но совершенно неизбежная при современных условиях экономической жизни.

Задача, стоящая перед Россией еще более осложняется тем, что нам приходится совершать нашу революцию во время жестокой войны, в которую нам приходится воевать не с ничтожными армиями разрозненных немецких княжеств, как это приходилось Франции, а с громадными силами двух империй, обладающих в сложности населением в 120 с лишним миллионов жителей, обладающих высоко развитой промышленностью и воспитанных за последние 30 лет для завоеваний и распространения на восток.

Но есть еще одна сторона, ставящая Россию в гораздо худшее положение, чем была Англия и Франция во время своих революций,—и тут требуется от безусловно лучших людей в России самое упорное напряжение сил, чтобы противостоять разлагающему влиянию этого фактора, которого не знали ни Англия, ни Франция.

Обе эти революции, ставя себе определенные экономические цели, вместе с тем были одушевлены высоким нравственным идеалом.

Английская революция была в значительной мере революцией народной совести. Являясь протестом против разложения католического духовенства, она выставила строго нравственные идеалы — пуританство. Ее вражда направлялась столько же против разврата двора и высших классов, сколько и против их политического преобладания. Ее воодушевлял нравственный идеал столько же, сколько и идеал политического и экономического равенства.

Точно так же и французская революция ставила себе целью не

только уничтожение политических и экономических классовых привилегий, но и проведение в жизнь высшего идеала человеческой взаимности.

Философия XVIII-го века была проникнута идеалом человеческой взаимности, хотя она и высказывала принцип эгоизма, но она понимала эгоизм, как сознание разумной солидарности всех членов общества. И если, среди более зажиточных классов проповедь эгоизма Гольбаха в его ограниченном смысле, имела успех, то среди рабочих масс любимым философом был Руссо с его проповедью гуманности и солидарности, высоко нравственного общественного образования. В том же духе шла в то время вся проповедь франк-масонства, к которому принадлежали все сколько-нибудь видные деятели революции и которое дало революции ее лозунг— свобода, равенство и братство.

К сожалению, несмотря на удивительные подвиги самопожертвования, проявленные русскими революционерами в ее подготовительный период, несмотря на высокий общественный идеал, воодушевлявший их, мы видим, что теперь берет верх учение, постепенно просачивавшееся в нашу жизнь за последнее десятилетие—учение об экономическом материализме. При чем это учение понимается не в том смысле, в каком понимали его бланкистские организации Франции, когда они назывались коммунистами-матерьялистами, понимая под этим коммунизм не монашеских общин и парагвайских иезуитов с их колониями рабов, а коммунизм *de facto*, на деле, дающий всем не только нравственное благосостояние, но и нравственную независимость. В учении экономического материализма, шедшем из Германии, это понимание материализма утратилось.

Смысл, который оно приобретало в учениях последователей Фурье, осмеивался, как утопическое учение, и вместо него брало верх понимание социальной революции как разнузданность единичных вожделений в смысле каких-нибудь штирнерианцев или вишнеановских сверхчеловеков низшего сорта. В этом отсутствии высокого, вдохновляющего идеала русской революции лежит все различие между нею и ее предшественницами. Остается одно—жить надеждой, что такой характер революция приняла только под тлетворным влиянием последних годов самодержавной вакханалии и что здравый смысл русского народа возьмет верх и избавится от этой язвы, которая грозит обессилить русскую революцию и сделать ее бесплодной.

П. А. Кропоткин.

Князь П. А. Кропоткин.

„Справка“ департамента полиции ¹⁾.

Князь Кропоткин, Петр Алексеевич. Родился в 1842 г. в г. Москве. С 1862 г. по 1867 г. служил офицером в Амурском казачьем войске. С 1867 по 1871 г.г. проживал в С.-Петербурге, где изучал математику; в то же время занимал место секретаря географического общества, по поручению которого в 1871 году исследовал глетчеры Финляндии и Швеции. В 1872 г. Кропоткин отправился в Бельгию и Швейцарию, где примкнул к „Международному Обществу Рабочих“ („Интернационал“), но в том же году вернулся в Петербург. В 1873 году Кропоткин стал одним из выдающихся членов и казначеем образовавшегося тайного „кружка чайковцев“. Он издавал революционные брошюры и, сблизясь с рабочим людом, старался вселить в нем убеждение в необходимости революции и уничтожения как верховной власти, так и всего дворянства. В 1874 г. Кропоткин был арестован и заключен в Дом предварительного заключения, а затем переведен в Николаевский военный госпиталь, откуда 30 июня 1876 г. при содействии Софии Лавровой и властей госпиталя бежал.

Скрывшись за границу, Кропоткин поселился в Швейцарии под фамилией Левашова. В 1881 году он был изгнан из пределов этой страны за социалистические проделки и за участие 18 марта того же 1881 года в Женеве в собрании социалистов с целью отпраздновать злодейское убийство 1 марта и память французской Коммуны, на каковом собрании было поставлено выразить сочувствие цареубийцам и составлен был протест по поводу казни преступников.

В ноябре 1881 г. Кропоткин поселился в Лондоне, но в декабре месяце того же года вернулся в один из городков, расположенных на французском берегу Женевского озера, где и был тогда же арестован по обвинению в участии в анархическом движении во Франции. Приговором Лионского суда от 7 января 1883 года Кропоткин был приговорен к тюремному заключению на 5 лет с отсидкою затем под надзор полиции сроком на 10 лет. Впоследствии Кропоткин был освобожден, после чего поселился в Лондоне, где вместе с Чайковским и Войничем состоял хранителем фонда вспомоществования русским политическим эмигрантам.

¹⁾ Для нужд подведомственных ему розыскных органов департамент полиции составлял так называемые „справки“ — краткие сводки сведений о разыскиваемых революционных деятелях и рассылал их с приложением фотографических карточек. Справка о Кропоткине составлена в 1900 г. Ред.

В марте 1896 года Кропоткин прибыл в г. Диепп, но, ввиду последовавшего 20 февраля 1896 г. воспрещения ему жительства в пред-лах Франции, он был удален обратно в Англию. В 1897 г. он ездил в Нью-Йорк, где в октябре месяце читал лекции об анархизме, а затем вернулся обратно в Лондон, где вошел в состав образовавшейся там группы русских анархистов. С этого времени Кропоткин стал усиленно работать на почве распространения идей анархизма за границей написав целый ряд сочинений по анархизму и став творцом собственной теории анархизма. Его учение об анархическом коммунизме выражено в сочинении „La conquête du pain“ („Завоевание хлеба“).

Из произведений Кропоткина обращают на себя внимание, кроме названного выше, следующие:

1) „Записки революционера“, 2) „Русская революция“, 3) „Экспроприация“. Помимо этого Кропоткин написал множество небольших брошюр, газетных статей и рефератов.

С 1903 года Кропоткин принял ближайшее участие в издании органа заграничной анархистской группы „Хлеб и Воля“, явившегося выражением его же учения, а, по прекращении этого издания в 1906 году, стал принимать непосредственное участие в издании „Листков Хлеба и Воли“, которые стали выходить исключительно благодаря его инициативе.

В настоящее время Кропоткин проживает в г. Лондоне, продолжая принимать весьма деятельное участие в делах русских заграничных анархистских групп.

Возбужденное в 1874 году уголовное преследование по обвинению Кропоткина в принадлежности его к противоправительственному сообществу, присвоившему себе наименование „кружка тайковцев“, на точном основании ст. 68 п. 2 Уголовного Уложения ныне не может быть возобновлено. Таким образом Кропоткин не может подлежать уголовной ответственности за издание им в последнее время вплоть до 17 октября 1905 г. сочинений революционного содержания, ибо составление и распространение таких произведений предусмотрено ст. 129 того же Уложения и виновные в означенном преступлении, совершаемом ими до 17 октября 1905 г., в силу п. 1 Именного Высочайшего Указа 21 октября 1905 г., подлежат прощению. Ввиду же того, что, кроме описанных преступлений, Кропоткин ныне изобличается еще в принадлежности к образовавшейся за границей группе „анархистов“, поставивших своей задачей насильственное изменение существующего в Империи государственного строя, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 102 Угол. Уложения, то против Кропоткина, в случае возвращения его в Россию, должно быть возбуждено уголовное преследование по упомянутой выше 102 ст. Угол. Улож.

П. А. Кропоткин на государственной службе.

С п р а в к а.

Служебная карьера „состоявшего при министерстве внутренних дел титулярного советника, князя Петра Алексеевича Кропоткина“ закончилась в России весной 1872 года. 11-го мая он подал в департамент общих дел этого министерства докладную записку следующего содержания: „Не имея более возможности, по домашним обстоятельствам, продолжать службу, имею честь покорнейше просить департамент общих дел сделать зависящее распоряжение об увольнении меня от службы и о выдаче мне узаконенного аттестата. С. Петербург, 11 мая 1872 года. Титулярный советник, князь Петр Кропоткин. Жительство буду иметь в Москве, у Зачатьевского монастыря, в доме Кравченко“.

Ниже мы воспроизводим в полной орфографической неприкосновенности тот „аттестат“, о выдаче которого, уходя в отставку, просил Кропоткин и который в дальнейшем служил ему паспортом. Аттестат отмечает все служебные этапы Кропоткина в той форме, в какой обычно составлялось curriculum vitae каждого военного и гражданского служащего. Он составлен на основании „Дела № 256 об определении на службу с причислением к оному (sic) отставного титулярного советника князя Кропоткина (в официальных бумагах его фамилия писалась через „а“) и с откомандированием в центральный статистический комитет“. (Дело № 256 департамента общих дел министерства внутренних дел; отделение II, стол 2; началось 4 ноября 1868 г., решено 25 сентября 1873 г., на 45 листах.)

Военную службу (в Сибири) Кропоткин закончил в январе 1868 года, когда в чине есаула¹⁾ „высочайшим приказом был уволен от службы по домашним обстоятельствам для определения к статским делам с переименованием в титулярные советники“. Восстание поляков, работавших на Кругобайкальской дороге и жестоко усмирённых войсками, явилось последней каплей, переключившей оппозиционное настроение Кропоткина, и он, „убедившись,—как говорит в своих „Записках революционера“, — в том, что значит, так или иначе, принадлежать к армии“, вместе с братом своим Александром решил расстаться с военной службой и уехал в Петербург, где поступил на математическое отделение физико-математического факультета.

¹⁾ Как видно из послужного списка, Кропоткин, как есаул, получал в год жалованья 366 р. и столовых 294 рубля.

Одновременно с этим Кропоткин был зачислен по министерству внутренних дел с откомандированием для занятий в центральный статистический комитет,—на службу, повидимому, номинальную, но связанную с личными научными работами Кропоткина. Служба Кропоткина не стесняла, и он о ней в своих „Записках“ даже почти не упоминает. Часто он ездит в отпуск, что и отмечено в его аттестате. В 1869 году он ездил в Калужскую губернию, очевидно, в отцовское имение Никольское, Мещовского уезда. В 1870 году он опять ездил в ту же губернию и в Москву, где жил его отец. В 1871 году императорское русское географическое общество предложило ему экскурсию, „скромную“,—как называет ее Кропоткин,—в Финляндию и Швецию для исследования ледниковых отложений. Кропоткину дан был неопределенный—„в течение нынешнего лета“—отпуск, и он уехал в Финляндию вместе с геологом генералом Г. П. Гельмерсеном и исследователем Сибири Фридрихом Шмидтом. Трое путешественников вскоре разделились, и Кропоткин уже один объездил значительную часть Финляндии, переправился в Швецию, где изучал Упсальский оз, и провел в Стокгольме „несколько счастливых дней вместе с Норденшильдом“. Затем Кропоткин вновь вернулся в Финляндию, но, вызванный по телеграфу из Москвы, где умирал его отец, проехал в древнюю столицу. Из Москвы, куда он попал только к отпеванию отца, он обратился в министерство с просьбой о разрешении ему по случаю кончины отца 7 сентября отпуска в Московскую, Калужскую и Тамбовскую¹⁾ губернии, ходатайствуя о вручении документа об отпуске для отсылки в Москву известке своей княгине Вере Кропоткиной.

4-го февраля 1872 г. Кропоткину дан был заграничный отпуск на 28 дней, и он получил заграничный паспорт в Москве (от 11 февраля 1872 г.; та же дата в паспорте и на явке при отъезде в Вержболове). Эта поездка оказала решительное влияние на политическое и социальное мировоззрение Кропоткина, и он вернулся из-за границы,—как сам он определяет,—„с определенными социалистическими взглядами“ и ворохом запрещенных книг и газет, которые ему удалось переправить через границу при помощи контрабандистов. 3 мая 1872 года он переехал границу и тотчас отправился в Петербург, где начинается уже новая эпоха в жизни Кропоткина.

„Вскоре после моего возвращения из-за границы,—рассказывает он в своих „Записках“,—Дмитрий (Клеменц) предложил мне вступить в кружок, известный в то время среди молодежи под названием кружка Чайковского“. В связи с этим 11 мая он и подал прошение об отставке.

Представление в Правительствующий Сенат о производстве за выслугу лет князя Кропоткина в коллежские асессоры со старшинством с 1 ноября 1871 года было уважено, согласно указу сената по департаменту герольдии от 17 августа 1872 года.

За производство в этот чин, по закону, с Кропоткина полагалось пошлинно 26 р. 10 коп. Требование об уплате этих денег достигло Кропоткина только через год в Москве.

Печатаемый ниже аттестат выдан за подписью министра внутренних дел Тимашева. В качестве характерного образца бюрократического

¹⁾ Именне в Тамбовской губернии было оставлено отцом П. А. Кропоткину. Но в „полном послужном списке“, выдаваемом ему на военной службе, равно как в аттестате, отмечено, что „за ним и за родителями не состоит недвижимое имущество“.

самовеличания оставляем в полноте весь тот титул, который очевидно с любовью созерцал, при подписывании бумаг, честолюбивый министр. В оригинале, писанном от руки, этот титул помещен на особом печатном листке-трафарете, который приклеен в конце оригинала.

Ред.

АТТЕСТАТЪ.

Предъявитель сего Титулярный Совѣтникъ Князь Петръ Алексѣевичъ КРАПОТКИНЪ, какъ видно изъ формулярнаго о службѣ его списка происходить изъ князей, Московской губерніи, двадцати дѣяти лѣтъ отъ роду, вѣроисповѣданія православнаго, кавалеръ ордена Св. Станислава 3 ст., холостъ, имѣнія ни за родителями, ни за чимъ никакого не состоитъ. Назначенъ въ Пажѣ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУ 1849 г. Апрѣля 11; опредѣленъ въ Пажескій ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА корпусъ 1857 г. Августа 25, Камеръ Пажемъ 1861 г. Іюля 16-го, Фельдфебелемъ 1861 г. Іюля 19 го, произведенъ по казачеству въ Сотники, съ опредѣленіемъ въ Амурское Казачье войско тысяча восемьсотъ шестьдесятъ втораго Іюня тринадцатаго; прибѣлъ и назначенъ въ распоряженіе исправлявшаго должность Наказнаго Атамана Забайкальскаго Казачьяго войска по Амурскимъ сплавамъ 1862 г. Сентября 8; Былъ въ командировкѣ по Амурскимъ сплавамъ съ 10 Сентября 1862 г. по 30 Сентября 1863 г., назначенъ, по распоряженію Начальника, Чиновникомъ особыхъ порученій VI Отдѣленія Главнаго Управленія Восточной Сибири по казачьимъ войскамъ 1863 г. Октября 4-го; утвержденъ въ этой должности приказомъ по Военному Министерству, отданнымъ по иррегулярнымъ войскамъ 1863 г. Декабря 22; За отличную усердную службу, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ награжденъ орденомъ Св. Станислава 3 степени 1864 г. Іюля 26; по распоряженію Начальства командированъ 7 Апрѣля 1864 г. въ Приамурскій край, по дѣламъ до того края относящимся, гдѣ и находился до Сентября мѣсяца того же года; за отличіе по службѣ, произведенъ въ Есаулы 1866 г. Іюля 22-го; ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ по военному вѣдомству уволенъ отъ службы по домашнимъ обстоятельствамъ для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ, съ переименованіемъ въ Титулярный Совѣтникъ 1868 г. Января 4-го; Приказомъ по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 8 Ноября 1868 г. за № 45, опредѣленъ на службу въ сіе Министерство съ причисленіемъ къ оному и съ откомандированіемъ для занятій въ Центральныи Статистическій Комитетъ съ 1868 г. Ноября 1-го; ИМПЕРАТОРСКИМЪ Русскимъ Географическимъ Обществомъ командированъ въ Іюнь 1871 г. для геологическихъ изслѣдованій, въ Финляндію и Швецію. Приказомъ по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 14 го Мая 1872 года за № 20 мѣ, уволенъ отъ службы, согласно прошенію, по домашнимъ обстоятельствамъ съ одиннадцатаго того же Мая. О производствѣ Князя Крапоткина, за выслугу лѣтъ, въ Коллежскіе Ассесоры, съ надлежащимъ старшинствомъ, будетъ внесено представленіе въ Правительствующій Сенатъ, по Департаменту Герольдіи. Въ походахъ, штрафахъ, потѣ судомъ и слѣдствѣмъ не былъ. Изъ отпусковъ былъ въ 1869 г. съ 31 Іюля на 28 дней, явился 10 Сентября того же года; въ 1870 году съ 10 Іюля на 28 дней, явился 1-го Сентября того же года; въ 1871 году съ 18 Сентября на 28 дней, явился 8 Ноября 1871 года, причина просрочки

сего отпуска, по случаю смерти отца Князя Крапоткина, признана Начальством уважительною, и въ 1872 г., съ 4-го Февраля въ Россію и за границу на 28 дней, изъ котораго явился 10 сего Мая. Въ отставку былъ съ 4 Января по 1-е Ноября 1868 г. Случаямъ, лишавшимъ права на полученіе знака отличія безпорочной службы не подвергался. Въ удостовѣреніе вышеизложеннаго и данъ сей аттестатъ Титулярному Совѣтнику Князю Крапоткину, за моимъ подписаніемъ и приложеніемъ герба моего печати. С.-Петербургъ. Мая 18 го дня 1872 года.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Всемилостивѣйшаго ГО СУДАРЯ моего, Генералъ-Адъютантъ, Генералъ отъ Кавалеріи, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Президентъ Общества Попечительнаго о Тюремъ и состоящаго при ономъ Комитета для разбора и призравленія нищихъ, и Орденовъ: Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, Бѣлаго Орла, Св. Равноапостольнаго Князя Владимира 2-й степени, Св. Анны 1-й степени съ мечами надъ орденомъ, Св. Станислава 1-й степени, Иностранныхъ: Датскаго Ордена Данеброга Большаго Креста, Шведскаго Большаго Креста Ордена Меча и Императорско-Австрійскаго Командорскаго знака Ордена Леопольда Кавалеръ; имѣющій медали: золотую за труды по освобожденію крестьянъ, серебряную за усмиреніе Венгріи и Трансильваніи въ 1849 г., брѣзовую въ память войны 1853—1856 г.г., зн. отл., учрежд. 24 Ноября 1866 г. въ память поземельнаго устройства государственныхъ крестьянъ, Кавказскій крестъ и знакъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ (Подписалъ) Тимашевъ.

Директоръ Департамента Общихъ Дѣлъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

(Скрѣпилъ) Мансуровъ.

Вѣрно: Столоначальникъ (Подпись).

П. А. Кропоткин и русское правительство в 1875 году.

I.

„— Как это возможно, Кропоткин, чтобы ты, камер-паж, бывший фельдфебель, мог быть замешан в таких делах, и сидишь теперь в этом ужасном каземате?

„— У каждого свои убеждения.

„— Убеждения? Так твое убеждение, что нужно заводить революцию?“¹⁾

Такой разговор происходил в 1874 году между Кропоткиным и великим князем Николаем Николаевичем, братом императора Александра II. Великий князь посетил казематы Петропавловской крепости и счел нужным зайти к своему старому знакомому, одному из блестящих представителей русской родовой знати из Рюриковичей. „Рюрикович“, однако, принял великого князя более, чем холодно, и брат царя ушел недовольный, резко отвернувшись от отцепенца, предпочевшего золотому блеску императорского двора холодную, бездомовую и скитальческую жизнь русского революционера.

Великий князь своим недоуменным вопросом выразил не только личное свое смущение пред страшным фактом преобразования аристократа высшего ранга в боевого народника, агитатора и пропагандиста среди рабочих и народа. Брат царя отражал, несомненно, и настроения высших правительственных кругов, потерявших пред новым массовым явлением—революционным движением, в круговорот которого попали лица всех общественных положений, не исключая и высших. Еще больше, однако, правительство было смущено той программой, которую поставило себе это движение, программой широкой, всесторонней, потрясавшей все основы и выворачивавшей, выкорчевывавшей все старые социальные корни и создававшей новый общественный строй. Это был не политический заговор, не антидинастическое движение в верхнем домашнем кругу придворной знати. Это была социальная война, впервые объявленная русскому правительству и русскому политико-общественному строю.

И эту программу правительство обрело не у кого иного, как у князя, стоявшего столь близко к придворным сферам... Княжеская

¹⁾ Кропоткин, „Записки революционера“, Изд. „Знание“, Спб. 1906, стр. 327

„Записки“ и княжеская „Программа революционной пропаганды“ точно открыли глаза правительству на смысл и разум движения, на его душу и практические замыслы. И можно себе представить, поэтому, то впечатление, какое было произведено в „верхах“ русской жизни, когда два замечательных документа оказались в руках жандармской власти, немедленно доложившей о том царю...

В первое время это впечатление можно было охарактеризовать, как полную растерянность. Недаром же эти важные и многоговорящие документы хранились в столь глубокой тайне, что даже члены комитета министров открыто, в официальном заседании, жаловались на полнейшую свою неосведомленность относительно революционного движения и его программ и заданий.

Но революционное движение расло и множилось, загадочные волны новых социальных потрясений быстро надвигались на власть и пришлось волей-неволей серьезно призадуматься над вихрем событий и над средствами, которые могли бы застраховать власть от потрясений, к которым, ходом истории, дом Романовых сделался принудительно-чутким.

И высшее правительство решило прибегнуть к „общему совету“, но кого, кроме своих же министров, могло оно привлечь к этому государственному обсуждению? Обреченное всем своим бытием на изолированное от общества и народа существование, оно только в тесном кругу своем могло искать коллективного разума и спрашивать у него совета.

И по высочайшему повелению, согласно доклада главного начальника III отделения собственной его императорского величества канцелярии генерал-адъютанта Потапова, комитету министров предложено было обсудить общий вопрос о революционном движении 1874—1875 гг., ознаменовавшемся хождением в народ и пропагандой „самых крайних разрушительных учений“.

Комитет министров занялся этим вопросом в марте месяце 1875 года, когда Кропоткин томился в Петропавловской крепости. Вряд ли молодой революционер мог предполагать, каким содержанием революционным символом сделалось в это время его имя в правительственных сферах. Можно сказать, что фамилия Кропоткина не сходила с тех в высшей степени секретных и важных бумаг, которые составлялись и писались в качестве материалов для суждения в комитете министров.

II.

Дело началось с всеподданнейшего доклада главного начальника III отделения генерала Потапова, сделанного им в конце февраля или начале марта 1875 года. В своем представлении комитету министров от 4 марта этого года генерал Потапов пишет:

„Процесс соумышленников Нечаева и некоторые другие, менее значительные, дела, дознания по которым производились в III отделении собственной его императорского величества канцелярии, ясно указывали, что революционное движение в России приняло в последние годы новое направление. Отрешившись от исключительно политической программы, вожаки революционной партии выдвинули на первый план вопросы экономические и главною задачею своею поста-

вили сближение с народом и распространение в его среде крайних социалистических и коммунистических теорий¹⁾.

С этого момента Кропоткин точно незримой революционной тенью входит в мысли и рассуждения государственных людей и его имя и произведения его революционного пера становятся уже неизбежной принадлежностью всех последующих документов.

Новый оборот революционного движения в России начальника III отделения доказывает темп „вещественными доказательствами“, которые были найдены при последних арестах. Это—программы революционных партий. На первом месте „краткая программа социальной пропаганды“, найденная у Сергея Синегуба. Но на ней ген. Потапов совершенно не останавливается. За то он подробно излагает вслед за тем содержание „Записки“ и „Программы“, обнаруженных у князя Кропоткина. Эти материалы, в связи со всем ходом революционного движения, дают начальнику III отделения основание для последующих выводов.

„Ряд дознаний, произведенных в последние месяцы,—пишет в своем представлении ген. Потапов,—приводит к убеждению, что эта революционная программа (Кропоткина) неуклонно применяется на деле многочисленными агитаторами, рассеившимися по всей империи и везде идущими одним и тем же путем. Как руководство и пособие к этой преступной деятельности, создалась особая литература народных книг и брошюр, грозящая извратить здравый смысл народа и подорвать в нем преданность царю и доверие к правительству. И не только заграничные и подпольные издания служат этой преступной цели: рядом с ними распространяются нередко книги, даже разрешенные цензурой, которая затрудняется, сквозь условную фразеологию, понять истинный смысл и назначение, повидимому, невинного произведения.

„Возникшее в половине прошлого года дело о пропаганде, порученное, по высочайшему повелению, генерал-лейтенанту Слезкину, осязательно указывает, какие размеры приняло социально-революционное движение и какую серьезную опасность грозит оно в близком будущем. Дознание показало, что зло более глубоко, нежели можно было предполагать. Разрушительные теории социализма охватили не отдельные кружки, но—можно сказать—почти целую генерацию. Пропаганда ведется не в одной или нескольких местностях, но повсеместно, и—что особенно важно—везде по одной и той же программе, одними общими средствами. Число лиц, привлеченных к дознанию, достигает уже до двух тысяч и ежедневно возрастает: из них было подвергнуто аресту более 450 человек, против которых собраны особенно важные улики; но многие ускользают от преследования вследствие неуловимости самых признаков совершаемого ими преступления¹⁾.

¹⁾ При обсуждении вопроса в комитете министров, ген. Потапов представил более точные и 자세한 сведения из дел III отделения о числе и общественном положении привлеченных к дознанию о противоправительственной пропаганде в разных местностях империи лиц. Общее число таковых лиц составляет ныне к марту 1875 г. 1.837, из коих арестовано 412. По составу и по месту воспитания число это распределяется следующим образом (первая цифра обозначает число арестованных, вторая—привлеченных): студентов технологического института 17—36; медико-хирургической академии 24—51; С.-Петербургского университета 13—38; Московского 5—11; Киевского 2—17; Харьковского 4—10; Казанского 3—9; Новороссийского 5—2; Ярославского лицея — 8; харьковского ветеринарного института 13—7; казанского ветеринарного института 1 —. Пе-

„Вообще надо заметить.—продолжает ген. Потапов,—что принятая в настоящее время революционной партией система пропаганды представляет так мало юридических улик и вообще внешних проявлений, что большую часть ускользает от судебного преследования; меры полицейские и административные точно также оказываются бессильными к предупреждению и пресечению преступной деятельности острогожного агитатора. Только решительное и открытое противодействие общественного мнения, поддерживаемого и направляемого всеми охранительными элементами русской жизни, могло бы ослабить прогрессивно возрастающее зло и положить пределы его распространению“.

Идею необходимости искать поддержки у общественного мнения ген. Потапов, повидимому, заимствовал у министра юстиции графа Палена, который в начале марта того же года обратился к старшим председателям и прокурорам судебных палат с письмом о „необходимости своевременного отпора разрушительным учениям“, не только в официальной, но и в частной жизни“).

На это письмо и ссылается далее в своем представлении ген. Потапов и сообщает, что Александр II повелел обсудить вопрос, не представляется ли желательным и полезным, чтобы все министры и главноуправляющие дали подобные же указания по их ведомствам.

К своему представлению ген. Потапов приложил копию письма министра юстиции, „Записку“, „найденную в бумагах князя Кропоткина“, и „Программу революционной пропаганды“, „составленную князем Кропоткиным“.

Кропоткин, как он и сам рассказывает об этом в своих „Записках революционера“, отказался на предварительном следствии от дачи каких бы то ни было показаний. Поэтому авторство Кропоткина в составлении „Программы“, вероятно, было установлено экспертизой почерков. Что касается „Записки“, то III отделение установило лишь

травской академии 15—12; земледельческого института — 7; института инженеров путей сообщения 2—2; студентов горного института — 3; гимназистов 29—57; семинаристов 29—83; воспитанников низших учебных заведений 6—11; дворян 22—42; чиновников 26—89; учителей 19—67; военных (отставных) 15—39; купцов 3—17; мещан 16—60; крестьян 26—116; евреев 1—7; разночинцев 30—237; женщин привилегированных сословий 78—187; непривилегированных сословий 6—10“.

¹⁾ Существенная часть этого письма, опубликованного в заграничной русской печати, сводится к следующему. Отметив широкое распространение пропаганды, министр принужден признать, что одна судебная борьба с ней не может достичь цели, так как „пагубные учения не встречают часто в самом обществе достаточно сильного и энергического порицания. Преследовать можно только положительный факт нарушения закона, но не легкомысленное одобрение того или другого явления, ни молчание“ ввиду того, что эти проявления не принадлежат „к области той деятельности, которая указана законом органам правительства, охраняющим основы общественного строя. Между тем в настоящее время мы довольно часто встречаемся с весьма странным явлением: люди, от которых, по всем условиям общественного и официального положения, нельзя ожидать не только участия в коммунистической и революционной деятельности, но даже и сочувствия к ней, остаются равнодушными зрителями развивающегося зла и даже нередко считают как бы своей обязанностью порицать правительство за меры, принимаемые против демагогических стремлений“.

Резко критикуя подобный образ действий, министр считает, необходимым, чтобы „еще во-время все благосмысленные элементы общества соединились с тем, чтобы не только в официальной деятельности, но и в сфере частной жизни противодействовать влиянию и распространению этих вредных и разрушительных начал. При том со стороны всех честных людей порицание этих начал должно быть высказано решительно и громко, и в этом должна выразиться действительная самостоятельность благоразумного человека“.

в процессе дальнейшего производства дела о пропаганде (дело 193-х) принадлежность ее также перу Кропоткина, о чем обвинительный акт по этому делу говорит вполне категорически.

III.

Таким образом, дело возникло на основании тех материалов, какие были даны исключительно Кропоткиным. Только благодаря двум его произведениям, правительство принуждено было выйти из рамок III отделения и взглянуть на вопрос в возможной для него государственной полноте.

Министр юстиции граф Пален не ограничился, однако, только своим письмом, как актом самозащиты против революционного натиска. Он составил свое обозрение или записку о развитии революционной пропаганды¹⁾ и внес ее в комитет министров к моменту открытия его заседаний. Эта записка ставила вопрос уже в более глубокой перспективе и, таким образом, первоначальное предположение „о пользе“ аналогичных письму графу Палену „указаний“ со стороны всех прочих министерств и ведомств расширилось. И в первом заседании комитета министров (18 марта 1875 г.) ген. Потапов сообщил о высочайшем повелении „обсудить, не представляется ли вообще необходимым и полезным принять и какие-либо другие меры с целью уменьшения влияния обнаружившейся деятельной пропаганды пагубных лжеучений“.

Таким образом, комитет министров, на заседание которого, по высочайшему повелению, был приглашен бывший шеф жандармов, генерал-адъютант граф Шувалов, получил возможность обсудить вопрос о революционном движении во всей его всесторонности и с точки зрения не ведомственной, а широко-государственной. Как говорят теперь, комитет получил „боевое задание“, — и, другими словами, на этом вопросе он должен был обнаружить всю силу своего государственного разума и наличность государственной мысли.

И в этом отношении „особый журнал комитета министров по предмету обнаруженного распространения в обществе разрушительных учений“²⁾ представляет не малый интерес. Он является типичным образцом бюрократического мышления, которое, соприкасаясь с таким крупным и все шире и шире развивавшимся явлением, как революционное движение, шло неизбежно по своему шаблонному укладу—самозащиты на старых политических позициях во что бы то ни стало, путем хотя бы логических абсурдов, хотя бы явных нелепостей и противоречий; страха пред угрозой перехода на новые точки зрения, чуждые до того самодержавному образу мыслей, опасения раздвинуть в жизненной перспективе факты и данные и взглянуть на них со стороны социальных и бытовых условий, а не только со стороны неприкосновенности старого и ветхого уклада жизни.

В особом журнале воспроизведено вышеприведенное представление ген. Потапова с кратким, но содержательным изложением „Записки“ и „Программы“ князя Кропоткина. Но этого комитету мини-

¹⁾ Записка гр. Палена напечатана в „Былом“ IX, 1907 г.

²⁾ Е. Г. А. Ф., I секция, I отделение. Дела комитета министров. Особый журнал комитета министров 18 и 26 марта 1875 года и приложения к нему.— № 2772.

стров естественно показалось мало и в особом журнале, с 12 по 24 страницу, вновь и самым подробным образом излагаются все революционные мысли крамольного князя, с приведенным подлинных из этих документов цитат. Принимая во внимание, что журнал излагает и записку графа Палена о развитии революционной пропаганды, в которой имя Кропоткина и его идеи упоминаются весьма часто, имея в виду, что и в резолютивной части комитет неоднократно ссылается на Кропоткина, можно естественно сделать заключение о необычайном „успехе“ молодого анархиста в правительственных сферах.

IV.

Комитет министров, при обсуждении предложенного ему вопроса, „принял к убеждению, что размеры пропаганды разрушительных теорий и самые приемы оной, сообразованные с расчетом на заражение зловредными учениями классов общества, наименее развитых, вызывают необходимость особо серьезного отношения правительственных органов к делу противодействия губительным для всякого порядка началам“.

Комитет обратил внимание на справку, приведенную гр. Шуваловым и касающуюся 1866 года, когда дознаниями было обнаружено существование социалистических кружков только в Петербурге и Москве. Ныне, „несмотря на все принимавшиеся в течение прошедших 9 лет меры, разветвления революционной партии захватили более чем 30 губерний“, что „неоспоримо доказывает недостаточность означенных мер“ и „необходимость более систематического противодействия анархическим стремлениям“.

Перейдя к обсуждению практических форм борьбы с революционным движением, комитет министров одобрил обращение министра юстиции к старшим председателям и прокурорам палат. „Чины сип.— говорит комитет,—по их образованию и самостоятельному положению, пользуются естественным образом исключительным в среде губернского общества авторитетом и если они, вследствие обращения к ним министром юстиции приглашения, подымут голос свой в осуждение вредных и разрушительных начал и сочувственно отнесутся к мерам строгости, неизбежным в видах пресечения пагубных ложных учений, то отзывы их могут оказать благотворное влияние на направление общественного в губерниях мнения“.

Комитет министров, вполне понятно, отнесся положительно к письму графа Палена, тем более, что такой акт со стороны министра юстиции заслужил уже высочайшего одобрения. Но, переходя к вопросу об аналогичных письмах и обращениях к служащим других министерств и ведомств, комитет не мог не остановиться в затруднении и принужден был признать, что протест против революционной агитации „со стороны чинов полиции“, как и вообще чиновников, „не мог бы иметь для общества существенной авторитетности“. А обращение военного и морского министров с таким ведомственным циркуляром могло бы „внести сомнение и смуту в военную среду“, в которой, по данным III отделения, относительно революционной пропаганды все обстоит благополучно, потому что, по заявлению ген. Потанова, среди привлеченных за пропаганду не имеется лиц, состоящих на действительной военной или морской службе...

Конечно, идея борьбы с революционным движением путем цир-

кулярных писем и посланий министров—довольно нелепа. Но нельзя не отметить, что ген. Потапов давал заведомо неверные сведения о благополучии в военной среде. К его представлению в комитет министров, между прочим, приложена справка на ластке почтовой бумаги небольшого формата без подписи и даты об отставных военных, привлеченных к делу о революционной пропаганде. Но все это была офицерская молодежь, только что вышедшая в отставку ради облегчения себе более свободной возможности революционной деятельности¹⁾. Таким образом, справка ген. Потапова должна быть отнесена к обычному разряду официальной лжи, практиковавшейся ради создания иллюзии всеобщего благополучия.

Но, как бы то ни было, комитет министров не одобрил всеобщей министерской пропаганды против социализма и коммунизма. Тем не менее принципиально комитет не мог не подойти к пункту, который подсказывался логикой и жизнью даже твердокаменным бюрократическим умам.

Комитет министров не мог не остановиться пред тем фактом, что общество совершенно не реагирует на революционную пропаганду в смысле борьбы с ней. Комитету министров представляется вся система учения революционеров нелепой, дикой, бредом фантазии. Тем не менее комитет констатирует со стороны общества или молчание, или же даже содействие, о котором гр. Пален говорит в своей записке весьма доказательно.

Глубоко вникнуть в это явление значит перейти самодержавный Рубикон и начать пересмотр всей правительственной политики с точки зрения жизненных интересов и нужд. На это комитет, конечно, не способен. Но он слеп, ошущью бродит около идеи свободы печати, которая в целом представляется ему каким то чудищем, но в частности создает некоторые просветы: ведь письмо графа Палена относится к категории тех явлений, которые происходят из потребности в свободном слове, в свободной борьбе идей, как бы министерское письмо ни было далеко от такой исходной точки зрения.

И, подходи к этому просвету, комитет не может не обратить внимания на то, что обществу совершенно неведомы прежде всего размеры столь зловредной, хотя и нелепой, революционной пропаганды. Комитет указывает на „всеобщую неизвестность“ в этом отношении. Ничего не знает и широкая „публика“ и „чины высшего государственного управления“.—„в том числе и большинство членов комитета министров“!

Сделав этот легкий укол III отделению, комитет начинает колебаться между правильной мыслью о роли общественного мнения и соединенной с нею свободы печати и—самодержавной старозаветностью. не позволявшей никаких компромиссов с общественностью и свободой.

¹⁾ Приводим эту справку ввиду ее интереса и значительности в истории революционного движения некоторых упоминаемых в ней лиц: „Список лицам артиллерийского ведомства, прикосновенным к делу о противоправительственной пропаганде в народе: 1. Топорков Лев, отставной поручик. 2. Рогачев Дмитрий, отставной поручик. 3. Воронков Михаил, отставной подпоручик. 4. Шишко Леонид, отставной поручик. 5. Кравчинский Сергей, отставной поручик. 6. Павленков, Флорентий, отставной поручик. 7. Ярцев Александр, отставной поручик. 8 и 9. Усачев Владимир и Аитов Давид, бывшие воспитанники Михайловского артиллерийского училища. 10 и 11. Нефедов Михаил и Теплов Николай, бывшие юнкера Михайловского артиллерийского училища. 12. Елюев Сергей, канонир. 13. Емельянов Егор, поручик, служивший на патронном заводе“.

„По мнению комитета, при такой неизвестности нельзя ставить прямым укором обществу отсутствие серьезного отпора лжеучениям, нельзя ожидать, чтобы лица, не ведающие той опасности, которую лжеучения сии грозят общественному порядку, могли столь же энергически и решительно порицать деятельность революционных агитаторов“.

Такую неосведомленность комитет признает даже вредной, потому что она вызывает „конечно, в большинстве случаев, легкомысленные упреки правительству за принимаемые меры преследования злоумышленников и их аресты, приписываемые часто одному лишь произволу администрации и возбуждающие обыкновенно сострадание к арестуемым и разыскиваемым лицам“.

„Между тем, по глубокому убеждению комитета, едва ли положенная в представленной генерал-адъютантом Потаповым записке одного из передовых деятелей агитации Кропоткина картина будущего, которую революционные пропагандисты готовят настоящему поколению, могла бы возбудить какое-либо сочувствие не только в благонадежных общественных сферах, но даже в натурах неразвитых и склонных к экзальтации. Сами составители записки и программы пропаганды это чувствуют и постоянно указывают на необходимость для успеха дела скрывать его конечные цели“.

Повторяя далее положения кропоткинской „Записки“, комитет приходит к убеждению, что „подобный бред фанатического воображения не может возбудить к себе сочувствия, но для того, чтобы общественное мнение отшатнулось от провозвестников такого учения, начала этого учения не должны оставаться во мраке“.

Итак, вывод ясен: для борьбы с лжеучениями необходимо предоставить обществу возможность в полноте ознакомиться с сущностью этих лжеучений, что естественно мыслимо лишь при свободе печати. Но импотентная в государственном отношении мысль бюрократов отходит немедленно назад при первом признаке свободы, и комитет соглашается лишь с тем, что необходим непременно гласный разбор в судах всех политических дел. Борьба с новыми судебными установлениями не началась еще в той жесткой форме, в какой она завязалась впоследствии. В судебной гласности еще видели одно из средств борьбы с преступностью, и закрытие дверей суда не сделалось еще особенностью нашей Фемиды, у которой пока не отнимались политические дела, хотя III Отделение в упомянутом представлении комитету уже делает основательный намек на недостаточность и бессилие судебной репрессии в борьбе с революционным движением.

Признав необходимым гласный суд над политическими преступлениями, комитет тотчас встретился с большим затруднением: борьба с социальными лжеучениями при помощи гласности в судах необходима, но предварительное следствие тянется по такого рода делам слишком долго, а между тем необходимо вырывать корни тлетворных идей своевременно. И комитет ввиду этого находит необходимым „временное опубликование добытых производящимся исследованием данных и фактов“, но тотчас же, обуреваемый основательным страхом, как бы такие публикации не повредили делу, подчеркивает, что подобное опубликование должно производиться „с крайней осторожностью, дабы не послужить оружием в руках агитаторов к вящему распространению их учений“. Ясно, что в подобного рода

делах единственно компетентным учреждением является третье отделение, и комитет, поэтому, предоставляет начальнику этого отделения и министрам юстиции и внутренних дел,—это для декорации,—всю литературную часть деятельности по борьбе с революционным движением.

Таким образом, просвет свободы печати отшатнул тотчас же государственных людей 1875 года,—и она оказалась замененной казенными „правительственными сообщениями“, успех которых в русском обществе был всегда вполне определенным.

У

Еще один просвет обнаружился в комитете министров.

Генерал-адъютант Грейг внес в комитет предложение „о необходимости изучения тех причин, коими вызывается периодическое проявление деятельности революционной пропаганды и обусловливается возможность успехов ее в известных местностях России и в тех или других слоях общества“.

Вопрос был поставлен правильно, и создавался единственный путь, иля которым можно было бы добраться до каких-либо конкретных, хотя бы,—при бюрократическом мышлении,—и микроскопических результатов. Но комитет министров либо разумно, но с точки зрения консервативной опасливости, либо просто неразумно сразу же смял и скомкал предложение ген. Грейга. Он отнесся к нему одинаково как и к сделанным в заседании заявлениям статс-секретаря Валуева, ген.-ад. гр. Шувалова, ген. Потапова и Посыета о необходимости противопоставить системе революционной пропаганды системе правительственного на нее воздействия,—точно между этими двумя предложениями было что-либо общее. В ту же „кучу“ комитет свалил и предложение ст.-с. Валуева о необходимости для духовенства и школы „служить опорой здоровых государственных начал“.

И комитет министров, боясь затронуть наши неблагополучия (по совету Щедрина, предостерегавшего от этого, так как, тронув одно неблагополучие, придется затрагивать и бесконечное количество следующих за первым), решил отделаться общими фразами от предложения ген. Грейга, уклонившись от рассмотрения вопроса по существу.

Комитет признал, что, „с одной стороны, вследствие обширности и многосложности возникающих задач, образование особой комиссии для изучения причин обсуждаемых явлений не может быть признано соответствующим предположенной цели и состоянию еще не вполне выясненного дела. Уяснение причин, почему та или другая местность в России оказывается восприимчивой к проповедываемым революционным идеям, какие условия народной жизни содействуют успехам пропагандистов и дают им надежду на колебание в народных массах верности религии и престолу,—словом, исследование государственного и общественного строя русского народа составляет задачу столь сложную, что, очевидно, превышает силы нескольких лиц. С другой стороны, комитет, сознавая всю силу и важность влияния духовенства и школы на правильное развитие духовных и нравственных народных качеств, находит, что усиление такого влияния может достигнуто быть лишь в более или менее отдаленном буду-

щем и что, сознав эту цель, необходимо стремиться к ней последовательно и неуклонно“

Но чтобы не вызвать упрека в игнорировании общеполитических мер, что, по видимому, имел в виду ген. Грейг, комитет министров пошел навстречу предложению министра внутренних дел, выразившего надежду, что все министры сочтут своим долгом „направить все усилия свои к разработке тех мер, кои могли бы содействовать развитию общего в государстве благосостояния и уврачеванию раскрытых в народной жизни язв“. Но,—торопится прибавить комитет,—сваливая со своих плеч непосильную тяжесть разрешения сложной задачи,—такие меры должны разрабатываться в каждом отдельном министерстве...

Так комитет министров и покоялся с вопросом о борьбе с революционным движением. Кроме единственной практической меры, — „правительственных сообщений“ — комитет придумать ничего не мог, но зато проявил некоторую ловкость, правда, медвежьей, старательным обходом всех щекотливых вопросов, которые были естественно и органически связаны с развитием революционного движения. Комитет подходил, хотя издали, к корням исторического явления и соприкасался и с вопросом свободы печати, пропаганды и общественного мнения, и анкеты о причинах революционного движения и связи его с благосостоянием народных масс и народной школы. Но все это было боязливо отброшено и погребено под грудой банальных казенных фраз, скрывавших свободную мысль, плохо работавшую в самодержавном клепе.

В этом идейном сражении мы, по справедливости, должны признать победителем буйного Кропоткина, который, несмотря на всю теоретичность своих воззрений и идей, имел за собой социальную правду, говорившую в его построениях, имел мужество, имел, при отрицании государственности, государственный разум. Его противники оказались вялыми духом.

VI.

В заключение нам остается отметить одно любопытное последствие работ комитета министров по борьбе с революцией. Члены комитета министров жаловались открыто, что даже их держат в потемках относительно „размеров революционного движения“. Комитет министров проявил некоторую заботливость о том, чтобы общество о нем было осведомлено и позаботился также и о себе. Министры пожелали иметь у себя по экземпляру представления начальника III отделения и всех к нему приложений. Ген. Потапов ввиду этого вошел со всеподданнейшим докладом соответственного содержания, и 19 марта, на другой день после первого заседания комитета министров, — уже извещал управляющего делами комитета министров М. С. Каханова, что государь разрешил исполнить это желание министров.

Все упомянутые документы, т.е. представление начальника III отделения, „Записка“ и „Программа“ Кропоткина, записка графа Палена, копия его письма старшим председателям и прокурорам палат независимо от выписок из журнала, были таким образом предоставлены в копиях министрам и главноуправляющим.

В результате цели гласности, с которой немного позаботились члены комитета министров, были достигнуты. Выйдя из секретных

папок канцелярии, некоторые документы увидели свет в... нелегальной прессе.

Судьба угодно было, чтобы письмо графа Палена старшим председателям и прокурорам палат оказалось напечатанным в газете П. Л. Чаврова „Вперед“, № 8, 1875 г., а знаменитая записка гр. Палена о развитии революционного движения в газете „Работник“, Женева, 1875 г. (записка перепечатана в журнале „Былое“, IX, 1907). Так совершенно неожиданно для себя и вопреки всем своим намерениям, комитет министров, едва затронув вопрос о необходимости свободы печати, „прорубил окно в Европу“ для нелегальной прессы...

Это был единственный положительный результат всей работы комитета...

Ник. Анешин.

Воспоминания о побеге П. А. Кропоткина.

О своем побеге из арестантского отделения Николаевского военного госпиталя в Петербурге П. А. Кропоткин рассказал в своих „Записках революционера“. Нарисованную ярко самим „беглецом“ картину существенно и значительно дополнил покойный А. И. Иванчин-Исарева („Былое“, 1907, I). Ниже мы даем место „Воспоминаниям“ непосредственной участницы в организации побега известной революционной деятельницы М. П. Лешерн-фон-Герцфельд, в свою очередь весьма существенно дополнившей данные Иванчина-Исарова. Наконец, архивные материалы в настоящем номере, приводимые в статье П. А-ва, дают освещение этому интересному в истории революционного движения эпизоду, с другой стороны — в области правительственных мероприятий, вызванных беспримерным бегством „политического арестанта“. Таким образом, этот момент в жизни П. А. Кропоткина получает если не полное, то во всяком случае достаточное освещение.

Ред.

Это было летом 1876 года. Я проездом была в Петербурге и пошла отыскивать Ореста Эдурдовича Веймара, жившего на Невском пр. в собственном доме, где у него была ортопедическая лечебница, хозяйством которой заведывала Виктория Ивановна Ребиндер; она предложила мне приют на своей половине, и я охотно приняла предложение, так как потеряла из виду всех своих знакомых после долгого отсутствия из Петербурга.

О. Э. Веймар не принадлежал ни к какому политическому кружку, но он был дружен со многими революционными деятелями.

Когда я пришла к нему, то заметила, что он чем-то сильно занят и взволнован. Вскоре он спросил меня: „вы что думаете делать в данную минуту?“

Я передала ему, что собираюсь ехать на Урал, где предполагаю принять участие в делах уральских рабочих, так как были слухи, что брожение между ними очень сильно, и они нуждаются в поддержке. Некоторые из наших друзей уже поехали туда, а я до отъезда предполагаю пробыть некоторое время в Петербурге.

— Не примете ли вы участие в одном деле? — спросил он меня и рассказал, что предпринимается освобождение Кропоткина.

И, конечно, немедленно согласилась, и он повел меня знакомиться с участниками. Мы застали всю компанию за приготовлением

красных шаров, которые никак не удавалось надуть до такой степени, чтобы они могли подняться на значительную высоту.

Дело было в том, что по плану освобождения, составленному самим Кропоткиным, следовало подавать ему знаки красными шарами, стены же двора военного лазарета, где содержался П. А., были высоки, и шар должен был хорошо подниматься.

Мне предложили роль сигнальщика—я согласилась, не зная, что выйдет с этими неудачными шарами. После этого Ор. Эд. повез меня смотреть лошади на какую-то площадь. Великолепный вороной конь, имевший массу аттестатов, останавливал внимание на себе. Мы поехали пробовать его—стрелой летело красивое животное. Но лошадь совсем не оправдывала своего имени „Варвар“,—такое это было симпатичное и добродушное создание.

Лошадь была куплена и со всеми предосторожностями доставлена на дачу, где жили родители Ор. Эд.

Через несколько дней получено было известие, что надо приступить к действию.

Утром, часов в 9-ть, все пошли занимать свои позиции. Местность, где находился Николаевский военный госпиталь, была в то время совершенно пустынной. Только передний фасад здания выходил на большую улицу—Кавалергардскую, по которой ходила конка: но позади строения шла узкая немощеная улица, а за ней тянулись огороды и пустыри и только против двора госпиталя начинались постройки¹⁾.



¹⁾ Несколько лет тому назад и ходила смотреть эту местность; ее узнать нельзя: нет ни бывших переулков, ни деревянного домика, пустыри застроены, всюду широкие улицы и большие каменные дома.

День был жаркий, безветренный, и шар совсем не поднимался: на меня напало уныние, когда я очутилась в глухом месте, и попытка моя заставить шар подняться оставалась без всяких результатов. Долго я ходила, но боясь навлечь на себя внимание своей странной прогулкой, я, наконец, решила уйти домой.

Во время своего бесконечного хождения, я заметила, что в ближайшем домике, во втором этаже, окна которого выходили на госпитальный двор, отдавалась квартира ¹⁾. Не заходя туда, чтобы не завести лишних разговоров, я поспешила на сборную квартиру. Все было в отчаянии от неудачи, но, конечно, решили повторить попытку. Я сообщила о квартире и предложила занять ее.

Предложение было одобрено, и мы с Зубком (Зубок Мокиевский) отправились нанимать квартиру; она оказалась такой удобной, какой только можно было желать; окна во все стороны, весь госпитальный двор виден, и все окрестности можно наблюдать. Мы были в восторге и сочинили следующую историю.

И—акушерка из провинции и везу сюда богатую барыню, у которой роды ожидаются не совсем правильные. Я поехала вперед, чтобы устроить квартиру,—вещи придут на-днях. Со мной приехал брат моей клиентки (Эд. Веймар должен был подавать знаки скрипкой, и ему необходимо было жить здесь, чтобы быть всегда наготове). Мы привезем пока самое необходимое: мебель возьмем у знакомых. Молодой человек, который пришел со мной, родственник семьи, для которой мы занимаем квартиру.

Мы дали задаток и очень расположили к себе молодую женщину, которой было поручено хозяевами, уезжавшими на дачу, сдать квартиру. Не медля ни минуту, Зубок отправился в Апраксин рынок, покупать мебель, а я пошла известить о нашей удаче. К вечеру мы уже устраивались на новоселье. Первой заботой было выставить все окна; с тревогой обсуждали мы, будет ли слышна скрипка на дворе госпиталя; вскоре наши опасения улеглись. Как только заиграла скрипка, часовой, сидевший на крыльце госпиталя, стал отбивать такт ружьем. Слышно, слышно! Все хорошо.

Хозяйка наша была на столько любезна, что беспрестанно приходила справляться, не нужно ли нам чего-нибудь: ее расспросы тяготили меня, так как приходилось придумывать массу подробностей, интересовавших ее, конечно, из простого любопытства. Она была очень наивна и простодушна. На ее вопрос о наших паспортах, я сказала, что они остались у нас в вещах и придут на-днях. Ночевать пришел к нам и Зубок, чтобы нам не страшно было вдвоем. Я не боялась нисколько, но Эд. Эд. находил, что жутко.

Наблюдать было теперь очень удобно, и роли были распределены следующим образом: О. Эд. Веймар в дворянской фуражке с дамой (Аксёдова) должен был подъехать к лечебнице; находящейся напротив госпиталя. Дама выходит, а кучер (я не помню фамилии) с баринком становятся в тень около забора госпиталя. Немедленно дают знак музыкой, что все готово; но, кроме того, на Кавалергардской улице, на тумбе, против переулка, упирающегося в наш домик, сидел,

¹⁾ В своей статье „Записки революционера“ Кропоткин упоминает о „серенькой даче“. Может быть, и ему пришла мысль, что хорошо было бы занять ее, но, во всяком случае, мы обсуждали вопрос о найме этого дома до получения его указания; и, насколько мне помнится, сообщили ему, что знаки будут подаваться из дома—музыкой.

будто пьяный и ел вишни—Зундевич, наблюдавший, чтобы не было препятствий на Кавалергардской улице: он подавал условный знак мне, поместившейся в окне против него, а я передавала Эд. Эд., что надо делать. Зубок наблюдал из правого окна за знаками, которые подавал еще один из участников (не помню кто) о препятствиях на дальнейшем пути. Переулки были здесь так узки, что какой-нибудь воз мог вполне преградить путь рысаку. Все эти сведения передавались музыкой Кропоткину.

Наконец, он вышел на прогулку; спокойно прохаживался он по двору. Наше волнение росло с каждой минутой, но вот исчезли все препятствия.—можно действовать.

Кропоткин выбегает за ворота, сбрасывает арестантский халат, одну секунду остается в недоумении, не узнав дворянской фуражки, затем вскакивает в пролетку, Веймар подхватывает его, и Варвар мчит их по закоулкам. Когда они проезжали мимо нашего дома, аккомпаж чуть не опрокинулся,—так быстро завернули они за угол, а Кропоткин в это время надевал пальто и цилиндр.

Часовые так растерялись, что кидались во все стороны и не знали, что предпринять. На улице поднялся неимоверный шум. Часовые просили лошадей у коночных кучеров, которые не давали, бабы голосили и ругали мужиков за недогадливость: „Вам бы на перерез, они, ведь, вои как летят“, и этим только увеличивали суматоху. Я страшно боялась, что догадаются о нашем участии и все просила Эд. Эд., чтобы он не переставал играть, а у него руки дрожали от волнения. Наконец, настал час, когда мы обыкновенно уходили обедать, и мы вышли, как всегда, стараясь придать себе равнодушный вид. На крыльце стояла наша хозяйка и масса публики.

— Что случилось? спросила я хозяйку.

Она обстоятельно рассказала все происшествие и с разными восклицаниями передавала свое мнение о смелости и нахальстве предпринимателей:—Среди бела дня и т. д.

Зубок убежал вперед, Эд. Эд. с нетерпением ждал окончания излияний словоохотливой женщины.

Наконец, мы отделались и поспешили на конку. Облегченно вздохнули мы, когда конка тронулась.

Я отправилась узнавать, чем все кончилось, но на условленном месте в квартире я застала одну Викторю Ивановну, которая томилась в неизвестности. Мой рассказ успокоил ее отчасти, но, ведь, погоня могла настичь; вообще тысячи случайностей могли еще произойти. Идти пришлось долго,—за то получились самые утешительные вести.

Беспрепятственно Веймар довез Кропоткина на квартиру к Корниловым. В их доме на Гончарной был проходной двор. Веймар и Кропоткин подъехали к парадному крыльцу. У Корниловых преобразили Кропоткина до неузнаваемости; Веймар также переменял свое одеяние, и они вышли через двор на Невский, где ждала их карета в которой они отправились на дачу к Веймару. Кучер, высадив седоков, поехал к Николаевскому вокзалу, куда пришла Аксенова, и он привез ее к нам оповестить о ходе дела. Полная удача, никакой потери—лучшего нельзя было ожидать.

Зубок так расхрабрился, что решил узнать, что делается на квартире, и увезти оттуда некоторые вещи (между прочим, платье, которое я забыла в попытках). И умоляя не подвергать себя опасности, он ни за что не хотел отказаться от своей затеи; дал слово, что будет

очень осторожен, и пойдет только в том случае, если все будет спокойно. Он победоносно привез оттуда мое платье и даже некоторую мебель. Оказалось, там еще ничего не подозревают. В городе много говорили о происшествии. Куда ни пойдешь, всюду рассказ с разными вариациями. Рассказывали, что француженка пела романсы и таким образом подавала знаки Кропоткину и т. п.

Вечером многие из участников отправились на дачу к Веймару, там я познакомилась с Петром Алексеевичем, о котором я раньше только слышала. Мы провели вечер очень приятно, катались на лодке, вспоминая все подробности удачного дела.

Несколько дней Кропоткин оставался на даче и только ездил в Петербург, чтобы не возбудить подозрения безвыходным пребыванием дома. Между прочим, и я возила его в карете и к знакомым, и в загородный ресторан обедать.

Затем я уехала из Петербурга и не принимала уже участия в его отправлении за границу, подробности о которых мне неизвестны.

М. П. Лешерн-фон-Гернфельд.

Побег П. А. Кропоткина.

(По материалам архива III отделения.)

I.

Живописно и увлекательно рассказал П. А. Кропоткин в своих „Записках революционера“ историю своего освобождения 30 июня 1876 года из царских уз, после двухлетнего пребывания в Петропавловской крепости, Доме предварительного заключения и арестантском отделении Николаевского военного госпиталя в Петербурге.

Бегство „весьма важного политического преступника“, совершенное с замечательной, поистине, революционной дерзостью и красотой, является одним из самых красочных эпизодов в истории нашего революционного движения. Понятно, это бегство не могло не ошеломить правительства и не произвести на него потрясающего впечатления. Целый ряд статей, посвященных Кропоткину, как выдающемуся деятелю движения 70 годов и помещенных в настоящей книге, дает достаточный материал для того, чтобы с несомненностью установить очень высокую оценку, какую совершенно справедливо давало правительство Кропоткину. Для III отделения Кропоткин был настоящей „язвой здешних мест“, злостным очагом мятежного идейного брожения и заразы. И в то же время этот непримиримый враг „существующего строя“ был врагом титулованным, выпестованным в придворной атмосфере верноподданничества и оказавшимся ренегатом по отношению к императорскому дому.

Ясно, что весть о бегстве Кропоткина могла привести правительство только в бешенство.

Сам Кропоткин ярко описывает, как Петербург, во исполнение высочайшего повеления „разыскать во что бы то ни стало“ Кропоткина, был наводнен сыщиками и ищейками, явными и тайными, бродившими по городу с фотографическими портретами беглеца или в сопровождении солдат и стражников, видевших его в госпитале. Это была только внешняя картина поисков. Каково же было внутреннее настроение правительственных сфер, упустивших из своих рук такого врага, как Кропоткин? И что предпринимала власть, чтобы немедленно изловить дерзкого преступника, проявившего изумительную ловкость и скрывшегося буквально среди бела дня и на глазах у всех?

Ответ, хотя и неполный, дают нам данные и материалы архива III отделения вплоть до 1917 года, оставшиеся забронированными, как

самые секретные, а потому никому не доступные. Документы архива дают лишь бумажную картину правительственной деятельности и правительственной психологии. Движение правительственного аппарата и механизма по этим данным представляется нам в форме неживой и при том частичной. Нужно некоторое воображение, чтобы за грудой исписанных бумаг почувствовать, как III отделение со всем его штатом наблюдателей, согладатаев, шпионов и агентов, затем секретное отделение канцелярии градоначальника тоже со своей „прислугой“ и, наконец, военное министерство, безнадежно скомпрометированное бегством Кропоткина, напрягались, чтобы смыть с себя „пятно позора“, оправдать высочайшее доверие и выполнять императорскую волю. Но все же психологию властей можно уловить и по мертвым бумагам.

Прошло не менее недели после бегства Кропоткина, как власти пришли в себя, опомнились и могли взвесить создавшееся положение, чтобы определить верный курс своих поисков.

Эта первая неделя пропала совершенно бесплодно. III отделение осведомилось о бегстве, совершившемся около 5-ти час. веч., в 9 час. веч. того же 30-го июня из телеграммы с.-петербургского градоначальника ген.-адъютанта Трепова. И уже в 11 часу веч. управляющий III отделением Шульц писал доклады главному начальнику III отделения Потапову и его товарищу ген.-ад. Мезенцову.

На другой день был сделан всеподданнейший доклад, но совершенно бессодержательный, потому что у властей не было решительно никаких данных по поводу бегства. Тем не менее III отделение, относившееся к судебным властям весьма подозрительно, тогдаш добилось весьма желательного для него высочайшего повеления, чтобы „впредь перевод из мест заключения в госпитали и больницы государственных преступников производился не иначе, как по соглашению с III отделением“, о чем последнее срочно и известило 2 июля министра юстиции. И в тот же день военному министру было передано, тоже через III отделение, высочайшее повеление „обратить особенное внимание на это дело и произвести самое строжайшее исследование“.

Громоотвод был найден. Царский гнев был отведен на военное министерство, распорядки которого в госпитале создали возможность для бегства, и на судебное ведомство, позволявшее себе обходить III отделение в таком важном вопросе, как перевод преступников из одного места заключения в другое.

Следующие затем всеподданнейшие доклады состоялись 3 и 5 июля (в Гельсингфорсе и в вагоне между Гельсингфорсом и Тавастгусом), при чем лишь в последнем докладе высказывается предположение, что сообщники Кропоткина поселились против госпиталя на Костромской улице в доме Некора, чтобы сигнализировать оттуда о ходе подготовлений к побегу.

По городу металась бесплодно агенты сыска. Данных у III отделения не прибавлялось. Следы беглеца исчезли совершенно. И медленно начал разворачиваться обычный аппарат дознания и предварительного следствия, не имевший в руках никаких наводящих нитей более или менее серьезных материалов.

3 июля прокурор судебной палаты предложил петербургскому жандармскому губернскому управлению приступить к дознанию о бегстве на основании закона 19 мая 1871 года,—того закона, который

столь существенно искажил Судебные уставы 1864 года, войдя в них поистине жандармским клином.

В течение 6 и 7 июля III отделение было занято рассылкой циркуляров во все пограничные пункты о задержании Кропоткина, фотографические карточки которого прилагались к циркулярам, шедшим, конечно, по почте. Военное министерство, согласно высочайшей воле, начало свое „исследование“. А жандармское управление, работая под непосредственным руководством III отделения, только 6 июля, то-есть через шесть дней после бегства, произвело первый осмотр дома, где жили сообщники Кропоткина, и только 7-го июля начались аресты.

Власть работала в потемках и на верный след не могла напасть. Она арестовала свояченицу Кропоткина, жену прис. пов. Л. С. Павлинову (сестру жены его брата Александра), сестру П. А. Кропоткина — Елену А. Кравченко и рядового Муравьева, служившего при арестантской камере в госпитале. Первые два ареста ничего существенного не дали, так как обе родственницы бежавшего имели разрешенные свидания с Кропоткиным и в легальном порядке передавали ему книги и пищу (через прислугу). Трудно было даже для жандармов предположить, чтобы эти дамы, открыто навещавшие Кропоткина, рисковали слишком явно своим соучастием в преступлении.

Третий арест имел весьма существенные последствия. Допрос Муравьева навел власти на несомненные, с точки зрения законов и инструкций, нечеловеческие и беспорядки в арестантском отделении Николаевского госпиталя, — и власть, увлеченная предположением, что столь смелое бегство не могло обойтись без участия служащих в госпитале, можно сказать, ринулась в поиски в этом направлении. Для Кропоткина и его друзей, столь блестяще его освободивших, такой оборот следствия, конечно, был весьма благоприятен. Устремив все свое внимание на госпиталь, власть уж совершенно безнадежно опустила все нити, которые могли бы привести ее на верный след.

В таком направлении дело и пошло в дальнейшем своем ходе, сходясь все более и более от революционного кружка, освободившего Кропоткина.

В двух случаях мелькнула было тень надежды найти виновников бегства вне госпиталя. Жившая в д. Некора дочь подполковника Петрова сообщила жандармской власти, что, встретясь со своей знакомой, вдовой майора корпуса жандармов Жезловой, она узнала от нее, что бегство Кропоткина устроила сестра его Починская, специально для этой цели приехавшая из Одессы. Но расследование, перебравшее всех окружавших и Жезлову, и Починскую, должно было оборваться, потому что Починская оказалась душевно-больной, а Петрова по-просту сплетницей.

16 июля была освобождена Е. А. Кравченко, сестра Кропоткина, а 23 июля для властей представился второй случай напасть на этот раз на вполне верный след. Прислуга Павлиновой, носившая пищу Кропоткину, призналась, что ходила в госпиталь не одна, а с сестрой Павлиновой, Софьей Лавровой.

Из „Записок революционера“ и из всех данных дознания видно, что С. С. Лаврова, действительно, принимала участие в бегстве Кропоткина. Она, повидимому, вела переписку путем шифра при помощи книг, которые приносила Кропоткину. Она передала ему в часах записку, окончательно устанавливавшую план бегства. Она, проходя под

окнами камеры Кропоткина, успевала обмениваться с ним несколькими французскими фразами. Она сумела проникнуть в арестантское отделение, саживать в служительской комнате, вести разговоры и переговоры со служителями и давала им чаевые деньги. Смелая и решительная, она даже однажды пыталась получить нелегальное свидание с Кропоткиным, обратившись за этим к одному из дежуривших портупей-юнкеров. Ходила она в госпиталь без разрешения и действовала „явочным порядком“ за свой страх.

Но С. С. Лаврова бесследно исчезла. Ни малейших указаний у властей об ее местопребывании не было. Был на-лицо ее муж, но он с женой не жил: у него была новая семья. К тому же Софья Лаврова именовалась по отчеству то „Севастьяновной“, то „Александровной“. Как было выяснено при дознании, она долгое время жила в доме графа Муравьева-Амурского, который называл ее „дочерью“,—отсюда и пошло ее второе отчество. Но оно спутывало власть в поисках—и С. Лаврову так и не пришлось привлечь к дознанию.

28 июля (т.-е. через три недели после ареста, а не через три месяца, как утверждает Кропоткин в своих „Записках“) Л. С. Павлинова была освобождена под поручительство ее мужа, в сумме 20 т. р.

II.

Тем временем вернулся в Петербург жандармский подполковник Смельский, командированный III отделением в поиски беглого Кропоткина. Командировка дала самые плачевные результаты. Однако, большой интерес представляет его отчет, представленный в III отделение в порядке агентурном.

Подп. Смельский прежде всего направился в Финляндию, чтобы отыскать „Белую Кирку“, в которую, по агентурным сведениям, будто бы бежал и там укрывается Кропоткин. „Белой Кирки“ вообще не оказалось. Но Смельский нашел около Белоострова, а затем у „Новой Кирки“ две дачи—Филимонова и Лаврова, на которых окрестные финны будто бы видели лицо, похожее на Кропоткина. Смельский обнаружил около дачи Лаврова агента III отделения, который в третий раз сюда приезжал и ровно ничего выяснить не мог.

Гораздо интереснее, по приводящим деталям, путешествие Смельского в Германию.

Смельский объехал со стороны Пруссии пограничные местности Польши и Ковенской губернии, а также прибрежные места Пруссии от Мемеля до Штетина. Германские власти действовали в полном общении со Смельским. „В Германии,—пишет он в агентурном отчете,—при особом, содействии мне в лице полицей-президента гор. Кенигсберга г. Девенс гумбиненского губернатора графа Весларп, начальника сыскной кенигсбергской полиции г. Ягальского, русского консула г. Вышемерского и статс-анвальдта (прокурора) Хефт,—положительно дознано, что Кропоткин по сие время не появлялся ни в одной из местностей всей Германии и о разыскании его сообщено секретно, с приложением фотографии, во все главные германские полицейские управления. О побеге Кропоткина известного за границей уже давно, и об этом в первых числах июля было напечатано почти во всех иностранных газетах“.

„В Швейцарии,—продолжает Смельский,—производит розыск

один из мне знакомых полицейских гор. Кенигсберга, отправившийся туда недавно, и покамест я еще не имею от него сведений о результате розыска".

Заканчивает свой доклад Смельский „сенсационным" сообщением, которое должно свидетельствовать о серьезности его отношения к своей задаче.

„По слухам,—пишет он,—социалисты всех государств собрались ныне в Филадельфии для обсуждения каких-то вопросов, а потому князь Кропоткин, наверно, ныне находится в Америке; с наступлением же осени, вероятно, прибудет в Швейцарию, где, как говорят, в ноябре будет тоже съезд социалистов в Женеве, Цюрихе или каком-либо другом из тамошних городов".

К этим жандармским измышлениям сочла нужным сделать и свое добавление императорская русская миссия в Дрездене, которая препроводила в III отделение 7 августа 1876 г. „сведения, доставленные императорской миссии полицейским управлением г. Хемница о каком-то русском князе Крапотине (?), которые, быть может, не будут лишены интереса".

Почему-то III отделение придало большое значение материалам, присланным миссией, быть может, веря источнику хемницкой полиции, быть может, в силу жадной неразборчивости, с какой оно хваталось за всякое сообщение о Кропоткине. Присланный из Дрездена материал оказался вырезкой из хемницкой газеты следующего содержания (в переводе вопреки оригиналу, Крапотин именуется уже „Кропоткиным"):

„Мы недавно сообщали о смелом побеге бывшего петербургского арестанта князя Кропоткина (несколько лет тому назад он отдал безвозмездно земли крестьянам в своем имении). На этих днях здешняя полиция была извещена о том, что князь Кропоткин выехал из Берлина в Брауншвейг; приметы князя-социалиста были сообщены, и полиции было поручено иметь за ним наблюдение. Владельцы гостиниц были об этом уведомлены. Как мы дружелюбно расположены к России!— Полиции однакож не удалось открыть князя Кропоткина. Брауншвейгская полиция может долго его разыскивать; несколько дней уже тому назад князь Кропоткин приехал из Берлина в Хемниц, был в ресторане, посещаемом преимущественно здешней буржуазией, и провел время очень весело. В настоящее время он уже прибыл благополучно в Швейцарию".

Из немецкого оригинала видно, что эта заметка перепечатана хемницкой газетой из брауншвейгской, но на этот пропуск в переводе III отделение не обратило никакого внимания и в таком виде представило эту явную нелепость императору Александру, о чем имеется на оригинале пометка от 11 августа 1876 г.

III.

Между тем жандармское дознание шло своим путем, и 24 августа отдельного корпуса жандармов подполковник Оноприенко и товарищ прокурора судебной палаты Поскочин подписали любопытное постановление о привлечении к делу смотрителя Николаевского военного госпиталя полковника Стефановича. Постановление это написано редким среди канцелярской литературы слогом, горячо, убедительно, с сильным логическим анализом, с энергичными приемами обличения.

проникнутых настоящим пафосом. Нет сомнения, что автором этого документа явился товарищ прокурора палаты Поскочин, потому что многочисленные произведения пера подполковника Оноприенко, имеющиеся в деле, представляют собою весьма убогие образцы письменной литературы.

Это постановление послужило материалом для всеподданнейшего доклада, сделанного ген.-ад. Мезенцовым 9 сентября 1876 г. в Ливадии. Доклад подводит итоги всей розыскной работе III отделения и дает окончательный ответ на вопрос о виновниках происшествия 30 июня 1876 года. Он является последним этапом, который убеждает, что III отделение так до конца и осталось в полнейшем неведении относительно действительной обстановки бегства Кропоткина.

Всеподданнейший доклад, который мы приводим в кратком изложении, указывает, что „успех организации и выполнения плана бегства Кропоткина, выработанного в течение пятинедельного пребывания Кропоткина в арестантском отделении госпиталя, находит себе полное объяснение в преступном поведении смотрителя этого госпиталя полк. Стефановича.

„24 мая с. г. содержащийся в доме предварительного заключения князь Кропоткин, по болезни, переведен был в секретный номер арестантского отделения. Как арестант весьма важный, князь Кропоткин вызвал необходимость принятия особых исключительных мер строгости заключения, как со стороны управляющего Третьим отделением с. е. и. в. канцелярии, так и со стороны лиц прокурорского надзора, наблюдавших за ходом производившегося о нем следствия. Об установлении исключительного надзора т. с. Шульц счел нужным предупредить начальника госпиталя ген.-м. Штрандмана особым письмом, а лица прокурорского надзора поручили офицеру отдельного корпуса жандармов то же самое, на словах разъяснить начальнику госпиталя, и при этом передать книг и свидания с родственниками Кропоткину разрешались не иначе, как по пропуске и в присутствии того же жандармского офицера. Ввиду того, что смотритель госпиталя по закону есть начальник хозяйственной и полицейской частей в госпитале, а равно и всех чинов, к сим частям принадлежащих, начальник госпиталя ген.-м. Штрандман особою резолюцией на письме тайного сов. Шульца, 27 мая, возложил на полк. Стефановича обязанность письменно разъяснить дежурным офицерам о принятии относительно Кропоткина исключительных мер предосторожности с целью устранения всякой возможности Кропоткину сноситься не только с лицами посторонними, но и со служителями. Этого распоряжения полк. Стефанович не исполнил. К делу представлен самим Стефановичем собственноручный отпуск приказа..., который должен быть признан подложным и составлен смотрителем позднее в свое оправдание, не только потому, что подлинный приказ не отыскан, но и потому, что все последующие распоряжения полк. Стефановича диаметрально, противоположны смыслу этого приказа. Этими распоряжениями он сделал невозможным надзор со стороны дежурного офицера; сам не предпринял ни одной меры строгости и, наконец, уничтожил самую силу закона по содержанию кн. Кропоткина, как секретного арестанта. Даровав ему льготы, ниже сего перечисленные и предоставленные законом только генералам, штаб- и обер-офицерам, находящимся на излечении в госпитале, полк. Стефанович поставил Кропоткина в глазах дежурных, караульных, служителей и других арестантов—не аре-

стантом, а лицом привилегированным,— князем, и, что всего замечательнее, по собственному его сознанию, сам в своих распоряжениях руководствовался тем же взглядом. Разрешив кн. Кропоткину, вопреки установленным правилам и несмотря на запрещение дежурного офицера, на второй день заключения его в арестантском отделении госпиталя, пользоваться домашним обедом, смотритель открыл возможность лицам посторонним проникнуть внутрь арестантского отделения, и арестанту разрешено было гулять в общем саду. Не воспользовался он этим разрешением только потому, что главный врач Величковский, которому смотритель предъявил бумагу, не согласился допустить прогулку по саду, а избрал для этой цели арестантский двор. После сего полк. Стефанович, с 12 июня, дозволил секретному арестанту гулять по двору, в сопровождении двух госпитальных служителей, отменив, таким образом, параграф 9 инструкции дежурным офицерам, требующий наряда за гуляющими арестантами конвойных. Последствием подобного произвольного распоряжения явилось для кн. Кропоткина возможность сноситься с служителями. Полк. Стефанович оправдывает свои действия недостатком нижних чинов в карауле... Об этом обстоятельстве, как равно и о самом разрешении арестанту прогулок, полк. Стефанович вовсе не доложил начальнику госпиталя. Самое его оправдание несогласно с истиной, потому что некоторые дежурные офицеры от себя посылали конвойных следить за прогулками арестанта и, наконец, сам полк. Стефанович, за несколько дней до побега, при том же числе караульных, отменил свое распоряжение и стал посылать для надзора за кн. Кропоткиным караульных. Это последнее обстоятельство, не объясненное полк. Стефановичем, заставляет предполагать умышленность его действий: подготовив рядом последовательных послаблений кн. Кропоткину план бегства, близившийся к концу, он в решительную минуту—и в своих объяснениях всю ответственность за побег старается возложить на конвойных,—устраняет госпитальных служителей. Подобное же незаконное распоряжение полк. Стефановича открыло кн. Кропоткину ворота арестантского двора,—это последнее препятствие для осуществления плана побега. До нынешнего лета на дворе арестантского отделения складывались в небольшом количестве дрова лишь для отопления собственного флигеля. Затем ныне по распоряжению смотрителя, за недостатком в госпитале места, как он поясняет, начали возить на арестантский двор и дрова из общего госпитального запаса. Разрешение подобной меры по закону зависело от комитета госпиталя, постановляющего свои решения по журналам, которые передаются для исполнения по принадлежности. В данном случае полк. Стефанович не мог сослаться на подобное постановление, так как, по словам главного врача, члена комитета, подобного вопроса не решалось, а что, напротив того, он, Величковский, не раз говорил смотрителю о неудобстве ставить дрова на арестантском дворе. Постоянный привоз дров требовал и постоянного отпирания ворот, которыми заведывал служитель Александров. 30 июня в условленный для побега час, когда пролетка стояла за открытыми воротами, Александров отошел от ворот, предоставив арестанту беспрепятственно исполнить задуманное. Ко всему изложенному остается добавить, что полк. Стефанович, разрушая последовательно, по мере возрастания смелости арестанта кн. Кропоткина, все преграды к осуществлению плана бегства, так обдуманно составленного в стенах секретной камеры арестантского

отделения, весьма редко посещал это отделение и никогда не присутствовал при обеде или прогулках Кропоткина, столь серьезно рекомендованного его исключительному вниманию".

„На этом основании Стефанович 1 сентября был арестован так же, как и надзиратель госпиталя Смагин.

„В ноябре месяце дознание было закончено и препровождено на заключение прокурора палаты и затем через министра юстиции вернулось в III отделение на его заключение. В конечном результате дело о Павлиновой за недостатком улик было прекращено, о Лавровой за ее неразысканием приостановлено, а Стефанович и находившиеся под арестом рядовые Муравьев и Александров и надзиратель Смагин преданы военному суду".

Нужно заметить, что вышеупомянутый всеподданнейший доклад в значительной степени смягчил все выяснившиеся при дознании распоряжки в арестантском отделении госпиталя. Царю была представлена только доля истины, вероятно потому, что общая картина нарушений закона была бы слишком удручающая, а также и потому, что только сконцентрировав обвинение на сравнительно мелкой сошке—Стефановиче, можно было отвести грозу от высших чинов военного министерства. Как бы то ни было, но дознание выяснило, что у Кропоткина совершенно незаконно в камере была громадная библиотека книг и масса письменных принадлежностей, что он гулял по коридору и общался с другими арестованными, которым давал книги для чтения, что он носил свое белье и платье, использовал служителей для общения с внешним миром и вел даже переписку слишком открыто. Выше указано было, что С. Лаврова своей смелостью и энергией добилась для себя какого-то привилегированного положения, приходя в арестантское отделение, как домой.

Насколько, однако, справедливо предположение властей о том, что Стефанович, смотритель госпиталя, был в заговоре с Кропоткиным, судить об этом трудно. Мы не имеем никаких данных предполагать, чтобы между Стефановичем и Кропоткиным был какой-то договор или секретный союз. Из дела видно, что Стефанович мало интересовался жизнью арестантского отделения, точно махнул на него рукой. Проще всего объяснить такое его отношение обычной халатностью, бюрократизмом и отсутствием всякого опыта содержания под своим начальством секретных преступников. Нравы поэтому складывались довольно патриархально, и то, что приписывается злому умыслу Стефановича, легко могло явиться результатом того первобытного уклада, когда „политика“ не развела еще окончательно чиновничьих душ.

Кропоткин, конечно, был сильной натурой, и он легко подчинил себе, как это видно из дела, служителей, оказывавших ему всевозможные услуги. В „Записках“ Кропоткин вспоминает, что мысль присесть на прогулки подал ему один из служителей. Понятно, что давать такие советы служитель мог, только подпав под сильное влияние, а, может быть, и очарование. Но Стефанович редко виделся с Кропоткиным; к тому же смотритель был при своем далеко немолодом возрасте (ему было 58 лет) безнадежно болен: у него был рак печени и порок сердца. Ясно, что он стоял в стороне от всего плана бегства.

Все эти данные хорошо рисуют жизнь Кропоткина в арестантском отделении. Можно сказать, что он там „жил князем"—до такой степени осыпали его льготами и окружали его благосклонным вниманием. Иначе, конечно, бегство было бы и не мыслимо.

IV.

Наступил 1877 год. III отделение уже, несомненно, знало тогда, что Кропоткин, благополучно уехавший в Англию и пробывший там почти до конца года, переехал в Швейцарию. Естественно, что все розыски сами собой прикончились. Но все же тень Кропоткина и некоторые обстоятельства в связи с его делом еще долго тревожили III отделение.

В январе месяце III отделением была решена судьба имущества, оставшегося в камере после богства Кропоткина. Довольно много вещей и платья и даже 6 р. 70 к. денег решено было препроводить градоначальнику „для раздачи бедным“, а книги, карты и бумаги остались на хранении в III отделении. Только в октябре следующего, 1878 года, императорское Русское географическое общество осведомилось о нахождении книг и бумаг Кропоткина в III отделении и обратилось к нему с просьбой предоставить их обществу, так как именно оно разрешило еще в 1874 году Кропоткину, когда он сидел в Петропавловской крепости, пользоваться книгами и рукописями библиотеки общества для приготовления к печати VII тома „Записок по общей географии“, который был впоследствии отпечатан. Книги, ученые записки и карты были выданы Географическому обществу в том же октябре 1878 г.

29 апреля III отделение было оповещено петербургским комендантским управлением, что „содержащийся в комендантском управлении под стражею... полковник Стефанович сего числа в 3¼ ч. дня умер от рака печени и хронического порока сердца“. На этом сообщении, повидимому, управляющий отделением т. с. Шульц сделал — точно для истории — следующую столь редкую на жандармских документах человеческую надпись:

„Только сегодня, в 3 часа, 2-ой комендант, г.-м. Адельсон, приезжал ко мне, чтобы предупредить о болезни Стефановича, прося содействия о переводе его в лечебницу не в качестве арестанта, так как Стефанович ни за что не хотел быть помещенным в Николаевский военн. госпиталь, где он был смотрителем“.

Следующим документом комендантское управление сообщало, что похороны Стефановича состоятся 2-го мая, и рукой того же Шульца написано на сообщении: „д. с. с. Перетцу поручено командировать туда нескольких агентов“, — не для отдачи последнего долга, конечно, а, вероятно, для агентурных подслушиваний людских толков в толпе провожающих гроб...

В октябре 1877 года III отделение было взволновано полученным им агентурным путем сведением, что С. С. Лаврова вернулась в Петербург и живет вместе с прежним мужем на Моховой улице. Однако, секретное отделение канцелярии градоначальника сообщило, что Лавровой в Петербурге нет. И т. с. Шульц, повидимому, очень мало веривший общей полиции, сделал надпись на сообщении: „тут просто какая-то проделка местного пристава“. Но „проделки“ все-таки не оказались, и С. Лаврова так и канула в воду...

В январе 1879 г. III отделение вновь серьезно всполошилось, оно получило известие, что Кропоткин „намерен тайным образом проникнуть в Россию“. Полетели на все пограничные пункты телеграммы и вновь были разосланы циркуляры с приказом об аресте Кропоткина.

Затем в феврале 1880 г. III отделение вновь разослало всем губерским жандармским управлениям какую-то телеграмму о Кропоткине. В деле отпуска нет, а потому невозможно судить об ее содержании. Но два управления в ответ на телеграмму извещали III отделение, что у них не имеется в делах розыскного циркуляра и карточки Кропоткина.

III отделение было упразднено, и начал свою просвещенную работу департамент полиции. В октябре 1880 г. департамент разослал во все пограничные пункты опять телеграмму о том, что Кропоткин предполагает „между 1 и 15 ноября прибыть в Россию“. И затем следует обычный приказ об аресте. На эту телеграмму имеется один ответ—и то весьма курьезный—от начальника верховольского пограничного отделения, который пренаивно запросил департамент полиции, из какого именно государства должен выехать Кропоткин? На запросе резолюция: „последнее время был во Франции, но где теперь—неизвестно; не вижу особ. надобности в этом сведении“.

7 августа 1881 года наш представитель в Швейцарии Гамбургер шифрованной телеграммой из Берна просил департамент полиции сообщить ему все сведения, какие он имеет, о Кропоткине. 8 марта министр внутренних дел гр. Игнатьев уже препроводил т. министра иностранных дел Н. К. Гирсу подробную справку департамента полиции о Кропоткине и его деятельности и жизни в России по день бегства. А 12 августа тот же Гамбургер прислал торжествующую телеграмму, что Кропоткин федеральным советом изгнан из пределов Швейцарии...

Объемистое дело о бегстве Кропоткина на 196 листах заканчивается двумя документами. В первом и. д. саратовского губернатора Азанчевский в написанном лично сообщении, передает подслушанную в городском саду его чиновником беседу о том, что Кропоткин находится в Саратове (24 августа 1881 г.). Это фантастическое сообщение написано с такими грубыми грамматическими ошибками, что даже директор департамента не удержался от искушения часть из них (вроде „имянины“, „карточька“, отсутствия ятей и т. п. подчеркнуть синим карандашом).

Второй документ серьезнее. Прокурор саратовской судебной палаты рапортом сообщил министру юстиции (копия рапорта, конечно, была немедленно передана в департамент полиции), что в борисоглебском уезде при с. Петровском, туголуковской волости, находится имение, принадлежащее князю Кропоткину, в количестве 270 десятин и что доходы с этого имения, отдаваемого в аренду крестьянам, за плату в 1890 р. в год, пересылаются Л. С. Павляновой, жгущей близ Петербурга по финляндской ж. д. А. Павлинова, — сообщает прокурор, — „будто бы“ пересылает эти суммы за границу кн. Кропоткину.

„Так как, — осторожно пишет прокурор, — возникает предположение, что означенный князь Кропоткин есть тот самый выходец из России, который, скрываясь от преследования за совершенные им государственные преступления, бежал за границу и до последнего времени проживал в Женеве, занимаясь там революционной деятельностью, то тамбовским губернатором собираются по сему поводу сведения, по получении которых имеется возбудить вопрос о признании кн. Кропоткина безвестно отсутствующим и о взятии его имения в опекуновское управление“...

Прокурор дополняет, что об этом он узнал лично от тамбовского

губернатора, посетившего имение Кропоткина и приказавшего „задержать следующие владельцу арендные деньги“. По поводу этого распоряжения губернатора к нему обращался брат кн. Кропоткина, „высланный, вероятно, по административному распоряжению в Сибирь, чему служит доказательством направление его переписки чрез начальника местного жаядармского управления“¹⁾.

Прокурор палаты в заключение сообщает, что он ждет запрошенных тамбовским губернатором сведений о Павлиновом, чтобы дать делу надлежащий ход.

Этим и оканчивается все производство дела о побеге князя Кропоткина²⁾.

Н. А—с.

¹⁾ Брат П. А. Кропоткина Александр проживал в Сибири в ссылке. В 1884 г. он застрелился в Томске.

²⁾ Е. Г. А. Ф. VII секция. Архив III отделения. № 144, часть 135. Дело 8-го отделения собственной его императорского величества канцелярии. Экспедиция 3-й. О распространении молодыми людьми книг социально-революционного содержания и о пропаганде их в народе. О бегстве князя Петра Кропоткина из Николаевского военного госпиталя. Начато 26 мая 1874/5 года. Окончено 29 февраля 1880 года. На 196 листах. Количество листов обозначено неверно, так как подсчет сделан лишь за время производства дела III отделением. Департамент полиции продолжал дело и всего в нем листов 214. Дата окончания также неверна; окончено дело 31 августа 1881 г. Последний документ—рапорт саратовского прокурора—не датирован.

Из воспоминаний о П. А. Кропоткине.

В первый раз мне пришлось познакомиться с Петром Алексеевичем в Париже, во Франции,—в стране, столь же близкой его сердцу, как и Россия.

Это было в 1906 году, вскоре после поражения первой русской революции. На короткий миг блеснул луч свободы у нас и—погас. Снова начались репрессии и преследования всех передовых элементов. Десятки тысяч русских революционеров вынуждены были уехать за границу и здесь вести тяжелую эмигрантскую жизнь.

В Париже, в 1906 году, Латинский квартал был переполнен русскими эмигрантами и учащейся молодежью. Среди русской левобережной колонии велись нескончаемые споры о причинах поражения революции, о классовой борьбе, о роли пролетариата и т. д.; вожди всех революционных партий старались доказать истинность своей теории и правильность своих программ. Русская эмиграция жила обособленным мирком и своими интересами...

А между тем, в это время во Франции, в особенности в Париже, росло и крепло рабочее синдикальное движение; в рабочей французской среде вырабатывались новые методы революционного действия и создавались новые социальные организации, в которых многие видели ячейки будущего социалистического общества.

Придя однажды во Всеобщую Конфедерацию Труда, я узнала, что в Париж, после двадцатилетнего изгнания из Франции, приезжает П. А. Кропоткин.

Это известие взволновало меня: предстояла возможность воочию увидеть эту почти легендарную личность знаменитого русского революционера и анархиста, члена I-го Интернационала, человека, которого царское правительство считало одним из самых страшных своих врагов и присутствие которого признавалось опасным даже для республиканской Франции.

Сначала меня поразило, что П. А. по приезде в Париж выступает прежде всего перед французскими рабочими, но впоследствии я поняла, что П. А. был революционером не только русским, но и интернациональным, и в международном рабочем движении, особенно в латинских странах, он имел больше друзей и единомышленников, чем среди русских революционеров.

В день собрания, на улице, перед зданием, где был назначен

митинг с участием П. А., почти с самого утра царило необычное оживление; замечались многочисленные полицейские, а к вечеру появились патрули агентов циклистов... По тротуарам тянулись вереницы французских рабочих, итальянцев, испанцев, русских... Вскоре зал был переполнен. Становилось тесно, душно и тускло от табачного дыма...

В толпе и на эстраде выдвигались фигуры многих видных деятелей французского рабочего движения: вот высокий и худой Жемс Гальом, член I-го Интернационала, близкий друг Бакунина и главный деятель знаменитой Юрской федерации; вот Эмиль Пуже, редактор „Голоса Труда“, главного органа синдикалистов; Грифюэль, секретарь Всеобщей Конфедерации Труда; вот верный ученик Кропоткина, Жан Грав и т. д., и т. д.

Время тянулось бесконечно долго. Но вот зал всколыхнулся, и раздался громкий взрыв аплодисментов и возгласы: „Vive Kropotkin!“ . Затем после того, как волнение улеглось, и П. А. добрался до эстрады, председатель собрания, после короткого, горячо прочувственного приветствия, предоставил слово Петру Алексеевичу.

„Chers compagnons et amis,—раздается с эстрады ласковый, тихий, но в то же время ясный голос.—Я счастлив, что я снова с вами... Прошло почти полвека, когда я с некоторыми моими товарищами выступил в вашей стране на борьбу за лучший строй, когда навсегда исчезнет эксплуатация человека человеком и власть человека над человеком... Нас было тогда слишком мало, борьба была так неравна, но мы стойко шли к своей цели“...

Тут в первый раз увидела я Петра Алексеевича. Держась за спинку стула, он весь устремлялся вперед; его глаза блеснули сквозь очки; серебристая борода развевалась широким веером... Речь тихо и плавно льется, захватывая своей искренностью и задушевностью. Нет ораторских приемов, красивых жестов, напыщенных слов, чувствуется лишь безграничная любовь к человечеству, искренняя вера в народные массы и в их созидательное творчество.

Из всей речи П. А. мне особенно врезались в память следующие положения:

„Уже в Первом Интернационале намечался и вырабатывался новый мир социальных отношений и новые методы мышления... Мы и тогда понимали,—говорил П. А.,—всю глубину и нравственную силу движения... Поражение Парижской Коммуны приостановило развитие социального движения, но не убило его в корне, и теперь это движение становится грозной силой... но в мире царит еще эксплуатация и неравенство, и задача всех сознательных людей состоит в том, чтобы покончить с миром насилия и гнета“...

„Хотим мы или не хотим,—продолжал П. А.,—но Европа ускоренным ходом идет к социальной революции. Революция близка. Она захватывает все новые и новые страны и распространяется все дальше и дальше на восток. Нечего бояться поражения русской революции, она неизбежно воспрянет снова через несколько лет и положит конец бесправия русского народа... От трудящихся всех стран и вас зависит,—будет ли грядущая революция дальнейшим этапом по пути к свободе, или человечество повторит эту вечную ошибку, поставив над собой новых властителей, и жизнь снова вернется в старое русло“...

„Совершить социальную революцию путем диктатуры и власти

невозможно, нужно широкое сотрудничество рабочих и крестьян для выработки вольных форм новой хозяйственной жизни“.

И П. А. горячо призывал „отдать все силы души, всю энергию бескорыстному служению народным массам и делу социальной справедливости“... Он яркими образами рисовал картины будущего строя, когда солидарность и взаимопомощь,—эти великие двигатели прогресса,—заменят принудительное начало, царящее в современном обществе, и только тогда люди и народы всего земного шара смогут объединиться в одну великую семью равных и свободных“...

Бурные аплодисменты несколько раз прерывали речь. Но вот П. А. кончил. Сотни рук потянулись, чтобы пожать его руку... Приветливо раскланиваясь, немного смущенный и взволнованный, пробирается П. А. к выходу, радушно пожимая протягивающиеся к нему руки.

Наконец, он около меня, я вижу его в нескольких шагах от себя... Ясные, ясные глаза любовно перебегают с одного человека на другого...

Через несколько дней мне пришлось увидеть П. А. у одной русской эмигрантки и познакомиться с ним лично. Более близкое знакомство с ним еще сильнее укрепило мое первое впечатление, и я невольно поражалась его всеобъемлющим ясным умом, научной эрудицией, его широкой терпимостью, его безграничной верой в человека и его глубокой любовью ко всем угнетенным и эксплуатируемым.

Дмитров.
11 июля 1921 г.

Н. Критская.

Мое последнее свидание с П. А. Кропоткиным.

Это было прошлой осенью в конце октября. Я поехал к Петру Алексеевичу для того, чтобы вылепить с него этюд для бюста, который заказал мне Центральный Географический Музей. В Москву я поехал вместе с П. А. Пальчинским, который рассказал, что он недавно виделся с Кропоткиным и нашел его в прекрасном состоянии. Это известие очень меня порадовало; я все находился под впечатлением моего последнего посещения П. А. в Бордолоро на Ривьере. Тогда П. А. чувствовал себя нехорошо после болезни.

Поездка в Дмитров, где жил П. А., оказалась делом не очень легким: вокзал находится на окраине города; трудно было попасть в поезд, переполненный пассажирами и их багажем; приходилось все время стоять в духоте и в тесноте. Но за то, добравшись, наконец до Дмитрова, я почувствовал радостное настроение. Свежий осенний воздух привел меня в себя. Восхитил меня красивый великорусский городок. Он расположен по неровной живописной местности. Все утопает в зелени, и после лета, проведенного мною в городе, я здесь почувствовал прелесть русской природы.

В одной из верхних улиц города, внутри красивого сада, уютно расположен дом-дача, в котором жил П. А. Никого дома не было. Поднимаясь по садику, я попал в открытое место—огород—и там увидел Софью Григорьевну (жену Кропоткина). Она копала картофель.

— Вот видите,—заговорила она,—на старости лет приходится работать на земле. И руки не могу вам подать. С утра копаю картофель: весь огород—это дело моих рук,—за то овощи будут на весь год. А Петр Алексеевич,—прибавила она, заметив, что я осматриваюсь и ищущими глазами,—скоро придет: он теперь гуляет.

— Как его здоровье?

— Не очень-то хорошо. Сердце очень слабое. Я очень беспокоюсь за его здоровье; поддерживаю его, сколько позволяют мои силы. Счастье, что у нас корова,—и я могу ежедневно давать ему хорошее молоко. Ну, вот на сегодня довольно,—закончила она,—теперь надо картофель снести в сарай. Помогите.

Взвалив мешок с картофелем на тачку, я собирался катить ее вниз, но в это время у калитки появился Петр Алексеевич. Медкою быстрою походкою он вплотную подошел ко мне, радостно приветствуя мой приход. Мы расцеловались. Меня порадовал его свежий бодрый вид. Таким я его видел лет 15—17 тому назад в Англии, в Бромлее,—он показался мне ничуть не состарившимся.

— Дайте я помогу, — сказал он и, схватив ручку тачки, встал со мною рядом, желая везти картофель. Мы противились этому. Софья

Григорьевна опасалась, что это вредно отзовется на его сердце, но П. А., не обращая внимания на наши протесты, повез свежий картофель в сарай.

Вошли в дом. Через стеклянный крытый балкон попали в крошечную темную переднюю, затем в небольшую уютную столовую и оттуда в кабинет, заставленный так тесно мебелью, что трудно было вдвоем пройти к роялю, на котором лежали книги. Книгами была наполнена и вся комната: они лежали и на подоконнике, и на столах, и даже на стульях. Все это напомнило мне его кабинет в Бромлей; вообще вся квартира и даже обстановка ее была точно перенесена из Англии, — только сад и огород говорили о помещичьей жизни (раньше этот дом-дача принадлежал известному помещику).

— А вот и ваша комната, в которой вы будете спать, — сказал П. А., открывая дверь небольшой комнаты возле балкона, — и сильный острый запах яблок и томатов, лежавших на столах и на комод, пахнул мне в лицо. — Тут живет Саша (дочь П. А.), когда она приезжает из города.

— Как она себя чувствует?

— Она страшно много хлопочет в городе о выезде в Англию; ей необходимо съездить в Лондон и привезти мою библиотеку — около 10 ящиков книг. Бедная, она очень злится, потому что ей не выдают разрешения на выезд.

Я передал П. А. письмо от директора Географического Музея, который сообщал об избрании П. А. Кропоткина почетным членом Музея, а от себя прибавил о поручении последнего вылепить П. А. для Музея.

— Что же, я очень рад, — сказал П. А., — вот можете устроиться у окна и — хотите? — сейчас же начнем. Скажите, что вам нужно: столик и еще что?

Признаться, место, на которое указал П. А., было очень неудобно для работы, — слишком тесно, да и двигаться было нельзя. Впрочем, мне не раз уже приходилось работать при таких неблагоприятных условиях. Помню, что когда я впервые лепил Л. Н. Толстого, то не мог делать никаких движений, потому что Л. Н. писал, и я боялся произвести шум, чтобы не помешать ему.

Мы решили сейчас же приняться за работу.

— Но раньше всего, — сказал П. А., — мне надо переодеться и причесаться.

Я вспомнил первый сеанс, когда я лепил П. А. а в Бромлей: он и тогда до начала моей работы побежал прихорашиваться...

Во время работы П. А. заговорил о Географическом Музее и стал рассказывать о своем влечении к изучению географии и о том, как он работал, когда писал о ледниковом периоде, и как сотрудничал в географических обществах в Петербурге, а затем в Лондоне.

— Да, это было лучшее мое время, — закончил он свой рассказ.

— О чем вы пишете теперь? — спросил я, — вероятно, события последнего времени дали вам огромный материал?

— О, нет, — отвечал П. А., — пишу об этике.

Это меня удивило, но я вспомнил, что такое же удивление вызвал во мне подобный же ответ Плеханова, когда я был у него в 90-х годах в острый политический момент, и когда на мой вопрос, что он пишет, он ответил:

— Об искусстве...

— Я начал свою этику с животных, — говорил П. А., а я по этому поводу рассказал Кропоткину о той перемене, которая произошла во взглядах на животных в области живописи и скульптуры: в последнем

столетии художники стали подмечать у животных их мирную интимную жизнь и передавать это в картинах и группах, — чего раньше в искусстве не замечалось. Об этом я писал в одном художественном журнале. П. А. заинтересовался этим и просил прислать ему статью.

Подали обед. Софья Григорьевна жаловалась на дороговизну и высказывала свое негодование по поводу всей обстановки современной жизни. П. А. не так резко осуждал строй жизни.

— Я, конечно, отрицательно отношусь к многому, что теперь делается,—говорил он,—и я это высказал прямо и откровенно многим стоящим во главе нынешнего правительства. Но ко мне хорошо относятся и многое, о чем я просил, было удовлетворено, — даже предложили мне принять участие в делах, но я, конечно, отказался. Как анархист, я не могу примириться ни с каким правительством.

После обеда П. А. отдохнул, а потом позвал меня на прогулку:

— Покажу вам город, он очень интересный и красивый.

Как ученый географ, П. А. давал мне точные и интересные сведения о местности и о природе. Он, повидимому, все изучал и облюбовал.

— Вот тут вал. Поднимемся: оттуда открывается вид на окрестности.

И П. А. стал мне рассказывать историю городка. Когда-то это было модное место прогулки известных и именитых московских богачей. Сюда приезжали зимою покутить и погулять, а летом тут устраивали своих метресс,—и жилось здесь тогда всем весело. Теперь, конечно, все опустело, и многое уже видоизменилось.

На следующее утро П. А. писал, а я один гулял по городу, вспоминая вчерашние рассказы П. А. На сеансе мы говорили об искусстве, которым П. А. очень интересовался. Он сам хорошо рисовал и показал мне свои работы, в высшей степени интересные по отделке и по той любви, которую он проявлял к формам. Эти рисунки должны сделаться достоянием Музея.

Во время обеда Софья Григорьевна опять стала жаловаться на неудобства, вызванные современными условиями жизни. Она очень пессимистически смотрела на положение вещей. Но П. А. не так мрачно представлял себе будущее. Он верил в будущность России: „это все—история; так и должно быть, а будет лучше, чем было“.

— Меня интересует вопрос,—сказал я,—не считаете ли вы, что коммунизм больше других форм революции приближает нас к осуществлению идеалов анархизма, служит как бы его этапом?

— До известной степени это так,—ответил П. А. и попутно выразил сожаление, что вообще анархизм несколько ослаб, в особенности в Москве анархисты не особенно деятельны.

Беседы с П. А. продолжались и на следующий—последний—день. Ясность ума и широта взгляда П. А. на современные события произвели на меня глубокое впечатление и сильно подняли мое настроение. Я уехал от него бодрым...

Когда буря и гроза ломают деревья, заливают землю, заливают луга и производят опустошения,—одни вековые дубы держатся стойко, под натиском стихийных сил. Эти дубы—свидетели многих перемен в природе. Радостно видеть этих гигантов. От них уходишь с верою в мощь и жизнь природы. И я счастлив, что видел такие дубы, как Л. Н. Толстой и П. А. Кропоткин.

Илья Гинцбург.

П. А. Кропоткин в Дмитрове.

Воспоминания кооператоров.

I.

Узнав от товарищей-кооператоров, что в Дмитрове живет Кропоткин, я, конечно, захотел познакомиться с ним. 15 лет тому назад я прочитал его книгу—„Поля, фабрики и мастерские“, многое мне разъяснившую и произведшую на меня большое впечатление. С тех пор я начал глубоко ценить и уважать Кропоткина... И вдруг явилась возможность увидеть этого самого человека, — автора любимой книги...

Я с волнением ждал вечера, в который я условился с товарищами-кооператорами побывать у Кропоткина.

В глубине парка знакомый домик Олсуфьева, в котором живет Кропоткин, — и сердце мое начинает усиленно биться. Я мысленно уже представлял себе, что вот увижу сейчас человека, великого духом, по внешности схожего с Толстым — в рубаше, в простых сапогах... Робко вхожу сзади двух товарищей на терраску и в домик, и в дверях нас встречает радостный, с большой белой-белой бородой старичек, чисто одетый. Я сразу узнал в нем Кропоткина, так как раньше видал его на портретах. В маленькой столовой у него в это время были гости. В. А. Рыжов познакомил меня с П. А., и как-то сразу и волнение, и робость исчезли у меня, не стало присущей при первой встрече натянутости, и я сразу почувствовал пред собой открытую настежь, одинаково любящую всех душу. И быстро у нас завязался разговор... Когда я шел к П. А., я думал больше слушать его, а вышло как раз наоборот, — я только что приехал с Урала, и П. А. начал расспрашивать меня о жизни и настроениях на Урале, и, увлекшись, я забыл о главной моей цели — послушать его и, уходя, очень жалел об этом. Странное чувство было тогда: увидал я впервые человека, а уходить от него не хотелось, как будто я очень давно был знаком и близок этому человеку. Вышел на улицу и как будто что-то родное, близкое оборвалось в душе и осталось в этом маленьком домике...

Второй раз я был у П. А. весной со своей женой. П. А. сразу узнал меня. Дома была и Софья Григорьевна, и опять они очень радостно встретили нас, начали суетиться, готовить чай, и чувствовалась в них большая заботливость к гостям и предупредительность в каждой мелочи. Если чего-либо не оказывалось на столе, П. А. быстро, по молодому, вскакивал со стула и легкой, быстрой походкой приносил

нужное. Закашлялась моя жена,—опять он быстро встает и приносит пилюли, и как ни отказывалась жена—П. А. настойчиво просит принять лекарство, говоря: „Я всегда так,—как закашляюсь, так пилюлю приму, и пройдет кашель“. Много и с увлечением рассказывал он о своей заграничной жизни, об обязанностях человека, расспрашивал о жизни нашей земледельческой артели и давал свои советы.

Марии Михайловне (моей жене) захотелось посмотреть огород и сравнить его со своим артельным. П. А. шуточно ответил, что это—дело Софьи Григорьевны: она и покажет свои труды. Все вместе пошли на огород. Софья Григорьевна рассказывала о том, сколько пришлось ей затратить трудов на расчистку огорода; он весь был завален боем кирпича; подробно рассказывала о посадках и уходе. Огород был образцовый,—хотя и не больших размеров; все в нем тщательно было подобрано, выполото, подвязано, и растения были свежие—сочные. Видна была во всем любящая и заботливая рука... Кирпич был собран в кучи...

Впечатление от посещения Кропоткиных у меня и у жены осталось очень сильные, и мы часто об этом вспоминали. Чувствовалось, что и семейная жизнь П. А. такая же радостная, как и вся его жизнь.

В третий раз пришлось мне побывать у П. А. осенью 1920 г., уже как представителю земледельческой артели. На собрании мы постановили в знак глубокого уважения к Петру Алексеевичу поднести ему артельный подарок—2 фунта меда со своей маленькой пасеки. Мы очень боялись, как бы не обидеть Петра Алексеевича этим подарком, но нам хотелось, чтобы этот небольшой подарок подчеркнул нашу искренность и глубокое уважение к нему и чтобы он это понял. Из артели командировали меня и другого артельщика—пчеловода Н. Я. К. П. А. мы пошли вечером. При входе у дома мы увидели его прислугу с длинным шестом (слогой), старшуюся раскрутить высоко висящую телефонную проволоку. Мы взяли у ней шест и начали разъединять проволоку. Эту сцену из окна увидал П. А., вышел к нам на террасу и шутя остановил работу, сказав: „Пусть Мария Филимоновна сходит на почту и попросит мастера разъединить, а гости пойдете в дом“... И так же опять весело и жизнерадостно встретил нас. Мы передали ему выписку из протокола и подарок... И как мы обрадовались, увидав, что Петр Алексеевич радостно-искренне принял его и благодарил за наши чувства к нему: „Как, говорит, кстати, а я вот думал: чего бы нам послать Александре Петровне (дочь П. А.-ча), она только что выздоровела от тифа—вот хорошо“...

Мы, боясь его затруднить, так как знали, что всякое переутомление ему вредно, хотели уйти, но он нас не пустил—оставил пить чай, и, пока готовили самовар, разговорились о жизни нашей артели; П. А. рассказывал о том, как живут в Англии такие же артели и какие делают они успехи и, между прочим, советовал, как можно скорее строить отдельные домики для каждого семейства, иначе почти все сельско-хозяйственные коллективы распадаются. Живя в одном доме, „артельщики или перессорятся между собой, или перевлюбятся и, в результате,—распад артели“. Он высказал мысль, что экономическую сторону артели легче наладить, а духовную—труднее, в особенности трудно наладить жизнь между женщинами. П. А. передавал, как удобно и дешево живут в таких отдельных домиках—городах—садах в Англии, и начал разыскивать в своей библиотеке английскую книгу об этих домиках. В это время принесли на стол маленький самовар-

чик. Видя, что П. А. не удастся найти книгу, мы просили не разыскивать ее, но он все-таки нашел и нам показал рисунки построек и объяснял их. Потом разговор перешел к вопросу о нравственности человека в общественной и личной жизни и много вырывалось у него ярких, отчетливых мыслей о человеке. Тут он упомянул и о том, что он пишет книгу на эту тему и что ему хочется закончить эту книгу.

Не хотелось уходить от П. А., да уж время было идти, да и П. А., видимо, утомился... И дивное дело, каждая раз оставалось одно и то же у меня впечатление: завидовал Петру Алексеевичу, что он так долго, до самой глубокой старости, сохранил жизнерадостность и глубокое любовное отношение ко всем. А, уходя от него, каждый раз хотелось и самому быть лучше, чище, больше всех любить и прощать всем...

Бутырская тюрьма,
25 марта 1921 г.

В. Сазонов.

II.

П. А. Кропоткин приехал в Дмитров (Московской губернии) летом 1918 года и поселился в доме, раньше принадлежавшем графу Олсуфьеву на Дворянской улице (теперь переименованной в Советскую).

Дом этот расположен в глубине сада, обнесенного с улицы забором, и окружен старыми березами, в которых весной находили себе приют грачи. Дочь Петра Алексеевича—Александра Петровна—очень не долюбила этих соседей и сердилась на их шумное поведение по утрам и на то, что они перепутывали телефонные провода. Но Петр Алексеевич всегда был их ярким защитником, хотя они не раз лишали его телефона, и часто рассказывал об их жизни. При этом в словах его чувствовалось большое знание перелетных птиц и много любви к ним.

Домик, в котором прожил свои последние годы Петр Алексеевич, состоял из пяти небольших комнат с прихожей, кухней и комнатой для прислуги. Сам он занимал маленькую комнату с одним окном на север: она служила и спальней, и рабочим кабинетом.

У Петра Алексеевича был установлен очень строгий порядок дня; было точно определено время для занятий, отдыха, обеда, ужина и прогулки, что помогало ему, при его слабом уже зодовьи, сохранять до конца дней работоспособность. Он не гулял только тогда, когда бывал нездоров. И дмитровские жители скоро познакомились с его подвижной фигурой—в черном пальто, широкополой шляпе и с крючковатой палкой в руках.

Первое из учреждений, с которым познакомился Петр Алексеевич в Дмитрове, был Дмитровский союз кооперативов, который привлекал его, прежде всего, своим книжным складом, библиотекой и музеем.

Помнится, в библиотеке союза, помещавшейся в маленьком деревянном мезонине дома, занятого союзом, мне и пришлось познакомиться с Петром Алексеевичем. Сразу поразила простота его обращения, которая почти уничтожала невольную перед ним робость.

Петр Алексеевич интересовался и чисто кооперативной работой союза. Он смотрел на кооперацию, как на медленный, но верный путь к достижению социализма. Особенно большое значение он придавал

промышленной кооперации и часто ссылался на английских кустарей, которые достигли в своем производстве больших успехов, благодаря применению технических усовершенствований.

В конце декабря 1918 г. Петр Алексеевич, по приглашению правления, появился в первый раз на собрании уполномоченных союза. Все собрание дружно встало, приветствуя его. Вероятно, не многие из уполномоченных-крестьян знали его имя раньше. Но его преклонные годы, большой жизненный опыт, искренность и теплота его слов сразу завоевывали глубокое к нему уважение.

Поэтому появление Петра Алексеевича на собраниях уполномоченных всегда вызывало радужный, даже восторженный прием. Петр Алексеевич не раз говорил на собраниях о том, что революционный переворот, подобный тому, какой переживает Россия сейчас, переживается человечеством периодически, раз в 120—130 лет, и что за ним должен следовать громадный подъем производительных и умственных сил страны. Он призывал кооператоров к наибольшему напряжению труда и приложению своих знаний в целях налаживания жизни на свободных началах.

Эти бодрые слова такого глубокого старика заражали всех верой, и в собрании на лицах всех присутствовавших нельзя было не видеть радости и умиления. Таково было обычное впечатление от выступлений Петра Алексеевича на собраниях уполномоченных. Он любил сниматься вместе с собранием уполномоченных, и есть фотографии, на которых можно видеть его сидящим в центре группы вместе с Софьей Григорьевной.

В последний раз он выступал в собрании уполномоченных, посвященном 5-ти-летию существованию союза — 14 ноября 1920 г. Сердце у него работало уже плохо. Но он все-таки хотел говорить, и речь его, как всегда, была очень простой и задушевной. Он указывал на Францию, где сейчас привлекаются к ответственной работе практические работники-кооператоры. Говорил и о том, что он „грешным делом подписывал и сейчас подписывает“, — и возможно, что в некоторых отношениях он „ошибался“. Но, — говорил он, — недостаточно хорошо писать книжки, чтобы правильно построить жизнь: надо глубже знать самое жизнь и необходимо участие в управлении страной людей дела, хорошо знающих эту жизнь.

На этот раз Петр Алексеевич сейчас же после своей речи ушел из собрания, потому что сильно утомился.

Петра Алексеевича посещали многие крестьяне и рабочие, и он всех их принимал с большой любовью, и посетители всегда от него уходили с большим удовлетворением.

Лично я, начиная с конца 1918 года, частенько к нему заходил со своими горестями и радостями и всегда уходил от него, зараженный новой свежей силой и верой в жизнь. Бывало, когда приходишь к нему, — если застанешь его сидящим, — он быстро встает и бодрой походкой, с сияющим и добрым лицом, идет навстречу. Только в последнее время, с осени 1920 года, он стал частенько прикидываться и тогда принимал у себя в комнате, в постели, но все же весело говорил: „Немножечко сердце пошаливать стало... ну, это ничего, скоро пройдет“.

Любил он рассказывать о своих молодых годах и о заграничной жизни и всегда говорил с увлечением. Болел душой за тяжелые переживания русского народа, но при этом прибавлял: „Все случившееся

сделает громаднейший переворот в жизни народа и выведет его на широкий путь". Частенько беседовали мы с ним о кооперации; он не одобрял политики государства, когда оно вмешивалось в жизнь и работу кооперации, и говорил, что „кооперации государство должно помогать, а не мешать“.

П. А. любил музыку и пение русских песен. Изредка к нему приезжали сестры Денисовы и пели ему русские песни. В это время он весь преображался и сиял. Семейная жизнь его была трогательна. Он очень внимательно относился к Софье Григорьевне и был очень нежен с дочерью, и Софья Григорьевна к нему относилась с большим вниманием и заботливостью и часто себе во многом отказывала, чтобы получше накормить Петра Алексеевича. И, может быть, благодаря такой преданной заботливости жены, он и прожил до 78 лет.

П. А. сильное впечатление произвел и на мою уже старушку-мать, которая, по неграмотности своей, никаких его писаний, конечно, не знала. Ей случалось бывать у Кропоткиных в отсутствие Софьи Григорьевны, и мать потом часто мне рассказывала, как Петр Алексеевич радушно принимал ее, показывал ей свою комнату и книги и рассказывал про заграницу,—как он там жил и как там люди живут. И когда я шел в Дмитров, она мне часто совала лепешки или еще какой-нибудь деревенский гостинец для Петра Алексеевича, говоря при этом: „Ведь он очень хороший старичек; таких забывать не надо“. И Петр Алексеевич через меня обычно посылал и ей привет.

Бывая часто в доме Петра Алексеевича, я знал, как шло его домашнее хозяйство. В связи с общим недостатком продовольствия, Петр Алексеевич тоже испытывал нужду, но когда ему был предложен кремлевский паек, он один или два раза получил его, а затем отказался. В 1920 году он стал получать литературский паек, но и это ему не очень нравилось.

Вообще всякие привилегии его сильно тяготили, и он все время стремился устроиваться самостоятельно. И говорил: „Если хватит нам продовольствия от этой полочки, то в следующую получать не надо“...

Помню, что ему присылали продовольствие с Украины, иногда помогали кооператоры или привозили подарки приезжавшие к нему иностранные гости. Но все это делалось не регулярно, да и он к этой помощи относился очень осторожно. Вместе с тем от людей, которые ему казались близкими и делали приношения от доброго сердца, он принимал их совсем легко и просто.

Помню, как-то кустарная артель предложила Петру Алексеевичу книжный шкаф своей работы. Он был смущен и, отозвав меня, советовался, как быть. Я убедил его, что от кооперативной организации принять такой подарок можно.

На свое же, самостоятельное, хотя и маленькое хозяйство Петр Алексеевич и Софья Григорьевна обращали большое внимание. Основой его была корова и огород. Часто им приходилось, сокращая свои потребности, продавать молоко, чтобы купить для Петра Алексеевича яиц или немного мяса. Огород они разработали в 1919 году и он им сослужил большую службу. Софья Григорьевна отдавала столько любви, труда и заботы этому делу, что достигла в 1920 году больших успехов, и их огород с очень разнообразной культурой мог служить образцом. Особенно поражала в нем правильность и аккуратность работы, что Софья Григорьевна сама объясняла тем, что она естественница по образованию.

Всю физическую работу по огороду приходилось выносить ей, потому что Петр Алексеевич, по болезни сердца и преклонным летам, не мог в ней участвовать. Но зато я часто заставлял Петра Алексеевича и Софью Григорьевну вместе разбирающимися в английских и французских руководствах по огородничеству. Руководясь научными выводами, Петр Алексеевич, однако, никогда не пренебрегал советами и указаниями местных людей—хозяев. Так помню, когда садили картофель, мне пришлось указать, что расстояние при посадке слишком мало, и это будет мешать правильному очутиванию. Совет Кропоткины приняты во внимание и потом были довольны. Труд не пропал даром и давал им возможность иметь для стола все овощи. И Петр Алексеевич за столом часто говаривал: „Это выращено трудом Софьи Григорьевны“.

Весной 1920 года они вздумали несколько расширить хозяйство—завести кур, так как яйца были необходимы при болезни Петра Алексеевича, а покупать их было трудно; кроме этого Петр Алексеевич жаловался, что скучно как-то, когда не слышно голоса петушка. Принес я им петушка, а потом и курочку.

С этим петушком Петр Алексеевич подружился и, часто выходя гулять, кормил его овсом и любовно с ним разговаривал. Он внимательно наблюдал за птичьими нравами и находил в петухе много кокетства, а в курочке подмечал ревность.

Вообще Петр Алексеевич любил водить дружбу с животными, разговаривать с ними и ласкать их.

Последние годы своей жизни Петр Алексеевич писал „Революционную этику“. Эта работа протекала при очень тяжелых условиях,—он принужден был временами сам переписывать свои рукописи на пишущей машинке, так как за неимением средств не мог приглашать машинистку.

Это замедляло его литературную работу. Некоторое время, до мая месяца 1920 г., перепечатывала его рукописи машинистка Дмитровского союза А. А. Суворова, но с ее отъездом на родину в мае месяце П. А. остался в этом отношении без всякой помощи.

Мною от имени союза предлагалась Петру Алексеевичу такая помощь, но он от этого отказывался, ссылаясь на недостаток машинисток в самом союзе.

Последняя встреча с Петром Алексеевичем была у нас 14 ноября 1920 года на собрании уполномоченных Дмитровского союза кооперативов. После этого, через неделю, руководителей союза арестовали вместе с ответственными работниками неторгового отдела, и таким образом, были прерваны наши отношения с Кропоткиным.

Мое общение с Петром Алексеевичем оставило во мне глубокий душевный след. Он влиял на нас не только, как ученый и культурный деятель, но и как высоко-нравственный и кристальной чистоты человек. Его влияние особенно сильно отражалось на нашем душевном складе; он будил всем существом своим человека в человеке. Вот что его поднимало на такую большую нравственную высоту. Вечная, вечная память тебе, дорогой наш Петр Алексеевич!..

В. Рыжов.

Бутырская тюрьма.
5 марта 1921 года.

III.

Мне приходилось встречаться с П. А. Кропоткиным только в последние два года его жизни. Он проживал в то время в Дмитрове, куда переехал летом 1918 года. Здесь он жил в уединении и тишине глухого уездного городка и продолжал свою литературную работу, насколько ему позволяли силы. Летом 1918 года я вела культурно-просветительную работу в Дмитровском союзе кооперативов, в частности, в молодом только что затеянном деле изучения местной жизни и создания музея дмитровского края.

Несмотря на свою старость, П. А. не только горячо относился к нашей работе, но и сам принимал в ней живое участие и сумел внести в нее много ценного и от себя.

Особенностью П. А. было его открытое, сердечное и простое отношение к людям, и потому даже мимолетные встречи с ним оставляли глубокое впечатление. Самая внешность его сразу располагала к нему всякого. Серебристо-седые волосы и пушистая широкая борода придавали ему вид патриарха, но добродушное лицо почти без морщин и ясные живые глаза были совсем не-стариковские. А в движениях было столько живости, подвижности, иногда почти мальчишеской резвости, что после первой встречи с ним забывалось, что он старик. Казалось, что он стоит как-то вне возраста: и молодой, и старый в одно и то же время.

Поражала его изысканная вежливость при встречах с людьми, даже совсем ему посторонними... Он снимал шляпу и кланялся так радушно, пожимая руку с такой приветливой улыбкой, точно самый факт встречи двух людей являлся уже радостным событием. И после встречи с П. А. казалось, точно вам подарили что-то хорошее без всякой заслуги с вашей стороны. Дома он встречал также радушно и приветливо всех, как старых друзей, шутил и смеялся с детской ясностью, любил вспоминать времена своей юности, свое путешествие по Сибири, бегство из тюрьмы, скитание за границей. И видно было, что картины эти до сих пор остались в его памяти живыми и яркими, как и в те давние времена, когда это происходило.

В первый раз меня очень поразило в нем умение сохранять в памяти картины молодости во всех деталях и живую молодую душу до 78 лет, а потом все это стало казаться естественным, точно иначе и быть не могло.

Внешнее обаяние его испытывали все, приходившие с ним в соприкосновение.

Вот как рассказывает о П. А. крестьянка, служившая в музее: „Приходил, говорит, без вас старичек, спрашивал вас,—такой хороший старичек, чистенький, такой легонький, ну, прямо святой старичек. Я сказала ему, что вас нет.—Ну, говорит, кланяйтесь, да скажите, чтобы заходила. Называл он как-то себя, да я забыла. Только уж очень он интересный, ну, прямо, вот как святой“.

С работой музея П. А. познакомился очень скоро после своего переезда в Дмитров. В это время, летом 1918 г., собирались коллекции по природе края, и П. А., как геолог и географ, сам проявил интерес к нашему делу и желание познакомиться ближе с работой, находившейся еще в стадии подготовительной, лабораторной.

Как сейчас помню большую, угрюмую комнату с печкой посре-

дине, всю заваленную всевозможными материалами. С одной стороны, столы с камнями, с другой — на полу папки с растениями, мхи, лишайники, ветки деревьев, с третьей — аквариумы, баночки с насекомыми, садки с гусеницами. И посреди этого хаоса подвижная, элегантная, европейская фигура П. А. и жены его Софьи Григорьевны. Оба они внимательно вникают во все мелочи, слушают и задают вопросы, вспоминают английские музеи, дают советы и уходят, ободрив нас и своим вниманием, и обещанием своей помощи в будущем. И действительно, с этих пор П. А. является деятельным участником работы музея. Совсем вскоре после первого посещения, П. А. зашел второй раз в музей, но никого здесь не застал (мы были на экскурсии) и оставил свою визитную карточку.

Перед открытием музея для публики, он внимательно просматривал, как специалист, отдел геологии и давал свои советы, затем принимал участие в заседаниях болотной комиссии, председательствовал на музейных совещаниях, наконец, осенью 1920 года выступал с докладом о задачах музея на съезде учащихся. И это было не простое формальное участие: болотной комиссии он делает доклад по ледниковому периоду, а на совещании он предлагал простой и остроумный способ увеличивать карты. В конце заседания он тихо извинялся предо мной в том, что „плохо председательствовал“, мотивируя это тем, что „у нас, анархистов, председателей не бывает“.

Доклад же на съезде учащихся был серьезно разработан им предварительно и записан. Это — простой, непосредственный рассказ о своей работе в молодости в сибирских музеях, и заключение, полное горячей веры в будущность нашего музея. Большого труда стоило П. А. добраться в этот день до места съезда, так плохо было у него сердце, и все же, несмотря на свое недомогание, он остался и на другие доклады и после них внес свое предложение, чтобы музей составил список того, что из его коллекций может быть использовано школой. Да и, помимо публичных выступлений, все время чувствовалось постоянное ободряющее внимание П. А. к нашему делу. То он принесет зубы лошади, найденные им, то обратит внимание на известковую плиту, отысканную у него на огороде, то даст два-три листочка с выписками географического характера, интересных, по его мнению, для музея.

При этом П. А. никогда не показывал себя ученым специалистом, подавляющим своим авторитетом. Нет, перед нами был товарищ с живым пронизательным умом и чутким вниманием к делу. Мне кажется, и все его отношение к науке заключалось в непосредственном глубоком интересе к окружающей природе и жизни; опираясь на свой зоркий глаз и глубокий ум, он не боялся делать смелые предположения, давшие такой толчок в вопросе о ледниковом периоде.

Он любил вспоминать свое путешествие по Финляндии, которое убедило его окончательно в правильности его предположений по этому вопросу.

Один, с котомкой за плечами, с карандашем и записной книжкой, он пересек Финляндию с севера на юг, делая в день по 10 — 15 верст, останавливаясь и исследуя по дороге каждую скалу, каждый камень, каждый обрыв, допытываясь, какого они состава, какого происхождения, что они из себя представляют. И он записывал и зарисовывал все виденное.

И на основании виденного П. А. пришел к твердому убеждению

о существовании древнего ледника, когда-то покрывавшего Финляндию и Россию. Здесь зоркий глаз сослужил ему лучшую службу, чем изучение литературы, кабинетные исследования, длительные изыскания. Так природа сама давала правдивый ответ на прямой и глубокий вопрос.

Живая наблюдательность сохранилась у П. А. и до последнего времени. Когда заходил вопрос о далеком прошлом долины Яхромы, он не спрашивал, каков ее уклон, из чего состоят ее берега,—он говорил: „Да ведь она сама отвечает на этот вопрос. Вы посмотрите на нее в половодье с Подлипецкой горы. Ведь она превращается в сплошное громадное озеро. Ну, и раньше на ее месте было озеро, это ясно“.

Когда он увидел в музее клыки мамонта, и я сказала, что находки их часты в северной болотистой части уезда, он заметил: „ну, конечно, они тонули в тех непроходимых болотах, которые были здесь после ледника, тонули и погибали. Естественно, что здесь и должны быть их находки“.

И я почувствовала, что и болота эти, и мамонты были для него живые, реальные, яркие картины.

Трогательно было обращение П. А. с детьми. К нему приходили два крестьянских мальчика, умных, живых, интересовавшихся серьезными вопросами. П. А. охотно с ними беседовал, давал им советы, руководил их чтением. Думаю, что посещения эти оставили в детях глубокий след на всю жизнь.

Да и в нас, знавших П. А., не пропадут искорки от его любовного живого внимания ко всему: и к людям, и к природе, и к жизни.

Бутырская тюрьма
12 февр. 1921 г.

А. Шаховская.

Последние дни П. А. Кропоткина.

Воспоминания сестры милосердия.

Мои воспоминания о последних днях жизни Петра Алексеевича не внесут нового света ни в его социалистическое учение, ни в его философское мировоззрение: они могут быть ценны, лишь как последнее воспоминание о нем, об его обаянии, силу которого, думаю, пришлось испытать каждому, кому посчастливилось знать его.

Я не могла непосредственно записывать все слова и рассказы П. А. за немением свободного времени, но они хорошо сохранились в моей памяти, и я записала их тотчас после похорон П. А. Соблюдать хронологический порядок по дням мне не удалось, так как во время ухода за больным, когда ночи превращаются в день, представление о времени, о днях теряется.

Но мне кажется, это не так важно.

Я приехала в Дмитров 19 го января 1921 г. днем с дочерью П. А-ча Александрой Петровной, которая просила меня поехать в Дмитров в качестве сестры милосердия, на что я тотчас же согласилась. Накануне с П. А. было два сердечных припадков. Я думала, что найду его в очень тяжелом состоянии, совсем беспомощным, и была обрадована, увидав его, хотя и слабым, но в полном сознании, веселым и сравнительно бодрым. Он вспомнил меня и ласково встретил. С нами из Москвы, с тем же экстренным поездом, приехали врачи в числе шести человек,—количество, по словам одного из них, достаточное, чтобы отправить на тот свет кого угодно. В маленькой комнате П. А., где он лежал, при осмотре было так тесно, что решительно негде было повернуться. Осмотр, видимо, утомил П. А., но он терпеливо вынес его, благодарил каждого из врачей, извиняясь за доставленное им, против его воли, беспокойство. Выслушав П. А., профессор Плетнев был поражен совершенно молодой и свежей кожей П. А. и вспомнил по этому поводу знаменитое изречение о здоровом духе в здоровом теле. Выслушав утешительное заключение проф. Щуровского о состоянии своего здоровья, П. А. сказал, что до сих пор у него была уверенность, что болезнь его это приближение конца, а умирать ему еще не хотелось: хотелось еще работать. Он покорно согласился со всеми назначениями врачей (просил лишь не ставить ему мушек) и обещал во всем слушаться их и меня, как исполнительницу их требований, и энергично решил выздоравливать.

Первые дни болезни он был в довольно возбужденном состоянии,

двигался порывисто, никак не хотел помириться с тем, что не может и не должен обходиться без посторонней помощи. Со мной он быстро освоился и привык ко мне. Звал он меня „Нерсикой“ (от Nurse) или „сестричка дорогая“ или просто „Катей“. По поводу моего имени он вспомнил, что мать его тоже звали Катей, и тут же рассказал о ней и попутно о жене Александра II, женщине, к которой, после матери, он испытал сыновнее чувство. Вот его рассказ, как я его помню, кажется, довольно точно; конечно, он был рассказан отрывками, прерываемый моими убеждениями меньше говорить, в чем ему трудно было помешать, да и лечивший П. А. проф. Шлетнев разрешил с ним потом говорить на неволнующие его темы, так как принудительное молчание на него тягостно действовало, порождая навязчивые мысли...

„Моя мать тоже звали Катей, Екатериной Николаевной. Я был маленький, когда она умерла,—мне было 3 года,—но воспоминание о ней самое для меня святое. Она была красивая: темно-русая с карими глазами. Я на нее не похож. Любила танцевать, ездить по балам. У меня был ее портрет, писанный французским художником. Я его очень берег. К сожалению, его у меня взяла одна моя племянница. Сказала, что отдаст мне, когда я перестану кочевать, оснущусь на месте. И у меня он был бы цел до сих пор, а у нее его теперь отобрали, и я хлопочу, чтобы мне его вернули.

„Еще к одной женщине я испытал чувство сына к матери, это к жене Александра II-го Марье Александровне. Помните, у меня в воспоминаниях о ней есть? Я, маленький, был на придворном балу в костюме персидского принца. Должно быть, он шел ко мне. Я понравился Николаю, он поставил меня на стол, чтобы показать всем. А потом, как маленький ребенок без матери, я почувствовал себя одиноким, устал и искал, куда приютиться. Сидела тут же жена Александра II, тогда цесаревна; она в то время ждала сына. Я прикурнул у нее на коленях и заснул. Она просидела весь вечер, не сходя с места, чтобы меня не разбудить. Потом, когда я был камер-пажем царя, мне приходилось с ней часто встречаться. То время было время новых идей, новых исканий, новый мир открывался. Бог по боку, религия по боку... Александр для нас, мальчиков, еще был окружен ореолом реформ. Как-то, во время экзаменов, прибегает ко мне Штакельберг, камер-паж императрицы. „Кропоткин, милый, хороший, замени меня на дежурстве, мне еще столько вызубрить надо, милый, дорогой“. Ну, я за него и пошел. Царица должна была принимать американского посла. Ей надо было проходить через холодные комнаты, и на ней была накинута горностаевая накидка; я должен был снять ее с нее, а потом опять надеть, и когда я помогал ей ее накинуть, мне вдруг захотелось ей сказать, что я к ней привязан, как к матери, но подумал,—скажут, что я подлизываюсь, и промолчал..... Другой раз, опять во время экзаменов, я заменял при ней Штакельберга, на приеме городских дам и девиц. Она так хорошо себя держала,—девицам позволила поцеловать руку, а дамам пожала, а поцеловать не дала. Я, кажется, должен был ей подать веер или что-то в этом роде. Она спросила, где Штакельберг, и, узнав, что он готовится к экзамену, сказала мне: „А вам, Кропоткин, верно, это ничего не стоит, вы так хорошо учитесь?“ Я ответил: „Мне тоже придется заниматься, но, чтобы оказать вам какую-нибудь услугу, я готов не спать ночь“. Я видел, что ей было приятно, что такой молодой мальчик ей так сказал. С ней очень плохо обращались.

Когда Александр женился на Долгоруковой-Юрьевской, ее просто третировали. Когда до Александра II дошло известие о том, что она умирает в Сан-Ремо, он боялся ехать уже тогда и выписал ее. Ее привезли умирающей. Я слышал от врачей, что на ней было грязное белье, комнаты ее не проветривались, не были убраны". Долгорукову описал Тургенев в „Дыме". Она была хорошая наездница. Раз в манеже мне пришлось выезжать на ее лошади. Лошадь была очень выежена, слабоузда, слушалась малейшего движения. Я не знал ее, потянул повод. Она закинулась назад. „Я понял, что, если не спрыгну, она убьет меня. Сбросился с нее,—ко мне бегут. А лошадь переломила спину. Ее пристрелили. Странная у меня была встреча с дочерью Долгоруковой. За границей (кажется, в Лосагно) я встретился с ней. Мы с ней много говорили. Она не осуждала нас за то, что мы убили ее отца. Меня поразила ее рука. Я все припомнить хотел, где я видел эту руку? Очень широкая, короткая кисть. И вспомнил, наконец, что это рука Александра II, ее отца. Я когда-то так хорошо знал эту руку“...

Помню, я наливала горячий чай из термоса; П. Ал. рассказал о происхождении термоса: „Его изобрел один коммунар, когда коммунары жили в изгнании в Англии. Он изобрел его для Луизы Мишель. Луиза Мишель была и немолодая, и некрасивая, но такая добрая и хорошая, что все ее любили. Вот этот коммунар хотел сделать ей что-нибудь приятное. Она любила по утрам горячее кофе, и вот, чтобы Луиза могла утром в постели выпить горячего кофе, он выдумал эту бутылку. У него не было средств, конечно, для распространения своего изобретения. Его у него приобрел какой-нибудь богатый предприниматель и, верно, хорошо нажился“.

Как-то П. А. рассказал историю своих зубов. Они выпали еще в крепости, после цынги. Цынга и потом его часто мучила. В Англии он решил однажды заказать себе челюсти; пошел к дантисту, тот дал ему укусить воск, чтобы примерить ширину...

Я кусал, кусал,—все мало. Никак он к моей славянско-монгольской челюсти подобрать не мог. Наконец, сделал он мне челюсть, привинтил. Я пришел домой, а Саша увидала меня и как закричит: „Папа—Карьер!“—знаете из „Домби и Сына“. Я их снял и отнес обратно. Так больше и не пробовал других“.

П. А. говорил о своей любви к музыке. Он сам любил играть, когда его никто не слушал. Играл „Норму“ Беллини. Ее играла его мать. Любил „Жизнь за царя“. С восторгом вспоминал игру Б. Ф. Лебедева, этюды для левой руки Скрябина, которые тот играл в последний раз. Про свою игру сказал, что ему вредно много играть, так как игра его очень волнует: „Последний раз я играл почти два часа подряд и разволновался до слез. Верно играя и простудился“. Когда в начале болезни наступило улучшение, он попросил меня ему поиграть, и хотя техника у меня очень неважная, музыка доставила ему громадное удовольствие и разогнала мучившие его навязчивые мысли.

Уже в конце болезни, когда он был очень слаб, ему вдруг захотелось, „чтобы Дунечка пришла и помурлыкала“. К сожалению, Е. Д.

Денисовой, исполнявшей роль курьера между Москвой и Дмитриевым, уже не было в Дмитриеве...

П. А. преследовали часто навязчивые мысли, которые утомляли его: то вдруг ему представлялся большой лист бумаги, на котором что-то написано прямым крупным почерком, и одно слово неразборчиво,—его надо разобрать. То преследовало его умственное „писание“... „Все пишу, пишу и все впустую, и такая чепуха в голову лезет“. Это не давало ему спать иногда и ночью. Раз всю ночь он писал план анархической коммуны. Чтобы отвлечь его от этих навязчивых мыслей, я рассказывала ему сказки. Они ему очень нравились. Помню раз, когда я дошла в рассказе до места, где принц зеленой страны встретил принцессу голубой страны,—П. А. радостно воскликнул: „Ça y est!“

Е. Д. Денисова привезла П. А. звонок, чтобы он мог позвать, если бы ему понадобилось что-нибудь; это было, когда ему стало гораздо лучше и когда думали, что он поправляется окончательно,—поэтому я должна была уехать в Москву. Я его просила не пробовать самому брать что-нибудь и подниматься, а звонить, чтобы кто-нибудь подошел и помог. Он вспомнил, как в детстве у них был колокольчик, изображавший даму в широких юбках, и они, дети, звали ее „тетенькой Елизаветой Петровной“, так как у тетеньки тоже были тяжелые юбки, и она также их с боков поддерживала, и П. А. представлял, как она это делала. Я уезжала в Москву, думая, что увижу Петра Алексеевича уже выздоровевшим. Мне было грустно с ним расставаться, так я к нему привыкла и столько в нем—и больном—было очарованья. Но было радостно видеть его поправляющимся. На прощаньи я с особой нежностью поцеловала его руку, а он поцеловал мою, и я обещала приехать через два дня. Пробыла я в Москве, кажется, шесть дней и вернулась в Дмитров, вызванная Софьей Григорьевной. С П. А. было что-то вроде нервного удара. Он потерял на несколько часов способность говорить. Но опять, как и в первый раз, я нашла его более бодрым, чем ожидала. Мне кажется, его необыкновенная душевная доброта давала ему эту бодрость из боязни огорчить других. Он встретил меня словами: „А я вас все ждал во вторник, а вы не приехали. А я без вас тут всех напугал, замолчал“. Я спросила его о самочувствии. Потом, увидав звонок на столе, спросила, пользовался ли он им? „Нет, конечно,—ответал П. А.,—ведь я анархист, а звонок—проявление власти“.

Я имела дело со многими, многими больными, но совершенно беспристрастно могу сказать, что такого терпеливого, такого заботливого больного не видала. Во всю его тяжелую болезнь, я не слыхала от него ни одного раздраженного слова; постоянно он заботился о том, чтобы не доставить лишних хлопот, чтобы дать отдохнуть окружающим близким. Мне вспоминаются о нем слова старушки Марьи Филимоновны, дмитровской прислуги: „Такой хороший старичок был, всегда у него для всякого улыбочка найдется“. Даже больной, он сохранил эту „улыбочку“ почти до самых последних дней болезни. Как-то мы перекладывали его, меняли белье; он был уже очень слаб, и это перекладывание—всегда тяжелая для больного процедура. Он ни разу ни на что не пожаловался, только вздохнул и сказал: „Как тяжело, что столько хорошим людям доставляю беспокойство“. Вечером, выпив на ночь чай, он укладывался спать. Ему нравилось, как я его укрывала: он просил: „ну, теперь уложите меня по-своему и шарф мне

наденьте, который шведы прислали, и сами свернитесь в клубочек. Оттого казак гладок, что поел, да и на бок". Ночью я сидела на стуле около его кровати и иногда дремала, положила голову на край кровати у его ног. Раз, помню, я вижу, что он не спит, и лежит очень тихо, я встала, чтобы спросить, не хочет ли он пить? „А я все думаю, задремали вы или нет, вы так тихо дышите, и все боялся пошевелиться, чтобы вас не разбудить". Как-то в порыве нежности я сказала ему, что он „прелестное маленькое дитя". П. А. засмеялся, а потом сказал, что это великое свойство женщин видеть во всяком человеке ребенка. „Какие хорошие женщины—русские женщины",—и он вспомнил, что недавно перечитывал „Русских женщин" Некрасова.

В последние дни болезни на П. А. напало полное равнодушие. Ему было все равно. Он ни на что не жаловался, лежал, молчал, ничего не просил. И на вопрос, как он себя чувствует, отвечал: „Полное ко всему равнодушие". И все же и тут в нем сохранилось бережное отношение к окружающим. Раз я сидела у стола и, видя, что он лежит с открытыми глазами и не спит, я пододвинула стул к кровати, чтобы посидеть с ним рядом, и спросила: „Посидеть с вами или тоже все равно?" Он был уже очень слаб тогда, но взял мою руку, поцеловал и сказал: „Нет, совсем не все равно, а очень приятно". Как-то я спросила его, очень ли он устал лежать? Он ответил: „Нет, вот когда курьером, бывало, едешь несколько сот верст и нельзя вытянуться, тогда хуже бывало". Как то незадолго до конца он долго лежал молча, потом промолвил: „Какой тяжелый процесс—умирание". При его нежной коже его очень мучили уколы. В особенности, когда их пришлось участить. Он жаловался, что доктора его мучат. „И вы тоже хулиганкой стали,—опять меня мучите". Я просила его за это на меня не сердиться. „Так я же знаю, вы не хотите меня мучить, а потому, что надо". А потом шутя прибавил: „А впрочем, женские уколы никого не ранят". Помню, меня и доктора Атабекьяна очень обрадовала эта шутка. Промелькнула надежда, что, может быть, еще не все кончено. Но это были проблески жизни в полном общем равнодушии к жизни, так замечательно описанном Толстым в смерти Андрея Волконского. И до самого конца, мучительно долгого, ни одной жалобы. Только в глазах все время была какая-то просьба и страдание. Я старалась угадать, что он хочет, но он все время молчал. Может быть, ему было тяжело видеть горе близких, дочери и жены, благородно мужественно переносивших свое горе...

Е. Тинд.

П. А. Кропоткин, как теоретик био-социологического закона взаимопомощи.

В 1859 году появилось в свет известное сочинение Чарльза Дарвина „Происхождение видов“. В этом произведении Дарвин формулировал, как известно, свой биологический закон борьбы за существование. Теория Дарвина произвела полный переворот во всем научном мировоззрении девятнадцатого века, и ее выводы стали считаться незыблемой основой всего естествознания. Дарвин и его последователи утверждали и доказывали, что „борьба за существование“ или „борьба за жизнь“ является основным законом биологии и главным фактором прогрессивной эволюции всего животного мира.

Влияние дарвинизма не ограничилось только областью естественных наук, но очень скоро идея борьбы за существование проникла и в область наук социальных. Многие социологи, экономисты и историки стали рассматривать общественную жизнь людей и весь исторический процесс с точки зрения дарвинизма и в своих сочинениях стремились доказать, что закон борьбы за существование царит также и в мире людей и является главным законом прогресса и исторического развития народов.

Победа дарвинизма, понимаемая в его узком смысле, в эпоху семидесятых и восьмидесятых годов прошлого века была на столько полной, что никто не осмеливался подвергнуть сомнению истинность и действительность этой теории и усумниться в прогрессивном и благодетельном значении борьбы за существование, хотя очень многие чувствовали всю безнравственность этого закона в приложении его к человеческой жизни. Великий русский писатель и моралист Лев Толстой один из первых возмутился безнравственностью закона борьбы за существование и еще в своем знаменитом романе „Анна Каренина“ устами Левина высказал протест против этого закона и даже отрекся, благодаря этому, от самой науки. „Закон природы,—рассуждал Толстой,—не может противоречить законам нравственности и разума, а борьба—безнравственна и неразумна, а потому она не может быть истинным законом жизни; если же наука признает этот закон основным законом жизни, то эта наука не настоящая, а ложная“.

Но критика Толстого не была обоснована научно и поэтому была мало убедительна для большинства людей, тем более, что почти все ученые, приводя бесчисленные примеры из жизни разнообразных животных и людей, доказывали вполне ясно и определенно, что борьба

за существование является биологическим фактом и что оспаривать его бесполезно и ненаучно.

Но, вот осенью 1890 г. в английском научном журнале „Nineteenth Century“ появляются очерки П. А. Кропоткина под заглавием: „Взаимопомощь среди животных“, а весной 1891 г. в том же журнале его статья „Взаимопомощь среди дикарей“. В этих статьях П. А. выступает с смелой критикой общепринятых положений дарвинизма и доказывает, что основным законом жизни и прогрессивным фактором эволюции является вовсе не закон борьбы, а закон взаимной помощи. Многочисленными и красноречивыми примерами, взятыми из жизни самых разнообразных животных, насекомых и птиц, П. А. строго научным образом обосновывал и подкреплял свои выводы и утверждал, что те виды животных, у которых индивидуальная борьба доведена до минимума, а практика взаимной помощи достигла наивысшего развития, оказываются неизменно наиболее многочисленными и наиболее приспособленными к дальнейшему прогрессу“. В своих очерках о взаимопомощи среди животных П. А. говорит, что только благодаря недостаточно внимательному наблюдению ученые исследователи могли сделать заключение, что в мире живых существ царит, главным образом, борьба и соперничество, тогда как более близкое знакомство с жизнью большинства животных приводит исследователя как раз к обратному заключению, т. е. к признанию, что среди почти всех видов животных взаимная помощь и взаимная поддержка являются господствующими фактами.

Интересно отметить, что после появления этих статей П. А. в печати никто из дарвинистов не осмелился выступить с критикой взглядов П. А., и тот же Гёксли, незадолго перед тем утверждавший в своей напумевшей лекции в Оксфордском университете, что весь мировой процесс, включая сюда и человечество, есть не что иное, как „кровавая схватка зубами и когтями“, обошел молчанием появление статей П. А.

В 1892—1894 г.г. в том же журнале „Nineteenth Century“ появился еще ряд очерков П. А., в которых он разбирал вопрос о взаимопомощи среди варваров и в эпоху средних веков, а в 1902 г. на английском языке вышла книга П. А. — „Взаимопомощь, как факт эволюции“¹⁾.

В этой книге П. А., описывая общественную жизнь различных насекомых, птиц, животных, первобытных людей, варваров и современных цивилизованных народов, красноречиво доказывает, что взаимопомощь является тем связующим цементом, без которого невозможна никакая общественная жизнь и вообще невозможна никакая организация. „Природа не делает ни одного движения, — говорит П. А., — общество не выполняет ни одной цели, космос не подвигается ни на шаг вперед без зависимости от кооперации... Согласно биологическим законам, — продолжает далее П. А., — только в соединении друг с другом, — будут ли то соединения атомов, клеточек, животных или человеческих существ, — могут индивидуальные единицы совершать какой-либо прогресс, и создание таких соединений является во всяком случае первым условием прогрессивного развития“.

¹⁾ По русски была издана в 1906 г. товарищ. „Знание“, но была вскоре по выходе арестована царским правительством. В 1907 г. вышла в издании Орехова СПб. в сокращенном виде, при чем фамилия автора была заменена инициалами — „П. Кр.—ин“.

Таким образом, П. А., выдвигая свою теорию взаимопомощи и солидарности, подрывал основы „дарвинизма“ в его узком толковании и заставлял всех естественников пересмотреть тщательнее свои теории и утверждения относительно прогрессивного значения борьбы за существование, понимаемой, как „схватку когтями и зубами“.

Теория взаимопомощи не явилась у П. А. плодом книжных и чисто теоретических изучений, но она была результатом его долготлетних научных исследований и размышлений. Еще в период 1864—1866 г.г., т.е. вскоре после выхода в свет „Происхождения видов“, П. А., путешествуя по Сибири и Дальнему Востоку, и будучи под свежим впечатлением книги Дарвина, старался отыскать среди сибирских животных то обостренное соперничество между животными одного и того же вида, на котором Дарвин строил свой биологический закон. Однако, наблюдения над жизнью животных восточной Сибири показали как раз обратное: „Многие животные и птицы,—говорит П. А.,—объединялись между собою в большие стада или стаи, чтобы совместно бороться против неблагоприятных естественных условий“.

Под впечатлением этих наблюдений у П. А. уже тогда возникла мысль о том, что на-ряду с законом борьбы за существование в животном мире существует также и закон взаимной помощи. Однако, в то время П. А-чу не удалось формулировать и обосновать этот закон, так как он в эту эпоху был поглощен всецело чисто-географическими исследованиями и работами в области геологии. К вопросу о взаимопомощи он вернулся только спустя двадцать лет после этого, а именно в 1883 г., когда он, сидя во французской тюрьме (куда он попал по проискам и настоянию русского правительства) стал перечитывать сочинения Дарвина. Но и на этот раз ему не удалось разработать вопрос о взаимопомощи, так как он в это время был занят обоснованием своей социальной теории анархического коммунизма. И только в 1888 г., живя уже в Англии, П. А. приступил к систематическому изложению своих идей по вопросу о взаимопомощи в животном мире.

Доказав существование закона взаимопомощи среди животных, П. А. распространил этот закон и на социальную жизнь людей. „Общественная жизнь людей,—говорит он,—зидается на сознании, хотя бы инстинктивном, человеческой солидарности, на тесной зависимости счастья каждой личности от счастья всех и на чувстве справедливости.“

Развивая эти мысли в ряде очерков — „Взаимопомощь среди дикарей“, „Взаимопомощь среди варваров“, „Взаимопомощь в средне-вековом городе“ и, наконец, „Взаимопомощь в современном обществе“, П. А. доказывает, что взаимопомощь и солидарность являются главным фактором общественной жизни и что действительный прогресс и культура создаются только при помощи этих факторов.

Несмотря на сокрушительные силы централизованной государственной власти, несмотря на все учения индивидуализма и проповедь борьбы,—взаимопомощь и солидарность, по мнению П. А., всегда практиковались и практикуются народными массами в своей повседневной жизни, и „даже в наши дни,—говорит П. А.,—когда крайний индивидуализм, т.е. забота прежде всего о самом себе, проповедуется словом и делом,—даже теперь, как только мы начнем присматриваться к жизни народных масс, нас поражает прежде всего та огромная роль, которую играют в человеческой жизни даже в настоящее время начала взаимной помощи и взаимной поддержки“... „Без взаимной

помощи,—замечает П. А. в другом месте своей книги,—человечество не могло бы прожить даже нескольких десятков лет“.

В опровержение буржуазно-экономической теории Мальтуса о том, что среди людей должна неизбежно существовать жестокая борьба за жизнь, так как эта борьба представляет результат того факта, что размножение людей на земле идет гораздо быстрее размножения продуктов питания,—П. А. еще в своей книге „Завоевание хлеба“ (или „Хлеб и Воля“) доказал, на основании статистических данных, что человек увеличивает свою производительную мощь гораздо быстрее, чем он сам размножается. Так, например, в Англии с 1842 г. по 1892 г. население увеличилось на 62%, а его производительность возросла по меньшей мере на 130%. Во Франции, где население увеличилось меньше, чем в Англии, рост богатства и производительности шел не менее быстро, чем в Англии. „Несмотря на кризис сельского хозяйства во Франции,—говорит П. А.,—несмотря на препятствия со стороны государства, производство пшеницы во Франции за последние 80 лет учетверилось, а производство промышленное более, чем удесятирилось... и это несмотря на то,—добавляет П. А.,—что в Англии и во Франции тысячи людей занимаются в то же время самым непроизводительным трудом, тысячи людей ведут жизнь паразитов и эксплуататоров“.

П. А. глубоко верил в творчество и созидательную мощь народных масс и он утверждает, что все экономические и социальные учреждения, поскольку они являются результатом свободного творчества народных масс, происходят из вечно живой склонности человека к взаимной помощи и являются результатом общественной солидарности.

„Чувство взаимопомощи,—говорит П. А.,—ищет и в наше время путей для проявления своей силы; оно ищет средств для создания новых социальных учреждений, которые уже не будут ни политическим государством, ни средневековым вольным городом, ни деревенской общиной, ни родовым строем дикарей, но, отправляясь от всех этих форм, будут совершеннее всех их по глубине и по широте своих гуманных начал“.

В процессе своего развития инстинкт взаимопомощи и чувство солидарности не только расширяются, захватывая все более и более широкие круги людей, но и углубляются. Так из первоначального инстинкта взаимопомощи развилось с течением времени чувство сострадания, симпатии, доходящее у некоторых людей даже до самопожертвования. Взаимопомощь и солидарность способствовали также и зарождению у человека понятия справедливости. Все эти три свойства человеческой природы—взаимопомощь, справедливость и сострадание лежат в основе всех наших этических понятий, и доказательству этого П. А. посвящает свой последний большой труд „Происхождение и основы нравственности“, который является как бы синтезом всех научных и социально-политических идей П. А.

Заканчивая свой настоящий очерк, я должен еще прибавить, что П. А., признавая взаимопомощь, как фактор прогресса и эволюции, этим самым не отрицал закона борьбы за существование и не отвергал самую борьбу. Он только расширял и углублял основные теории Дарвина, и, ставя на первое место творческий фактор взаимопомощи и солидарности, видел в нем лишь более этический, более прогрессивный и более действительный способ борьбы за существование.

П. А. признавал, и на этом, я думаю, нет надобности настаивать,

что жизнь природы и социальная жизнь людей проникнуты натапом борьбы. Борьба есть неизбежная форма человеческой деятельности, и человек, что бы он ни создал, всегда наталкивается на естественные, природные или социальные препятствия, которые он так или иначе должен устранить или преодолеть. Борьба необходима и неизбежна, но она благотворна и этически законна лишь в том случае, когда она несет сама творческий характер, когда она разрушает или уничтожает естественные или социальные препятствия, мешающие свободному проявлению творческих сил. В частности, социальная борьба только тогда благотворна и прогрессивна, когда она, уничтожая старые формы социальной жизни, способствует возникновению новых учреждений, основанных на более широких принципах свободы, справедливости и солидарности.

Теория П. А. Кропоткина о взаимопомощи имеет глубокое значение и приложение ее к биологии и социологии будет иметь важные и чрезвычайно плодотворные последствия. Задачей науки ближайшего будущего является раскрытие всего смысла и значения этой теории, которая открывает нам новые обширные горизонты и неизмеримо расширяет современное научное мировоззрение.

Н. Леbedev.

Г. Дмитриев.
10 июля 1921 г.

П. А. Кропоткин ¹⁾.

В ночь на 8-е февраля в городке Дмитрове, в 60 верстах от Москвы прекратилась жизнь большого человека—Петра Алексеевича Кропоткина. Болезнь его продолжалась недолго. За месяц до смерти с ним случился сердечный припадок, и хотя казалось, что он поправляется, но последовательные припадки привели к фатальному концу.

В маленькой комнате, служившей П. А. кабинетом и спальней, лежало тело одного из величайших сынов России. В продолжение двух дней непрерывные процессии детей, молодых и старых людей, женщин, рабочих и крестьян приходили отдать последний долг любимому согражданину, жившему среди них последние три года. Из простенького домика семьи Кропоткина останки П. А., сопровождаемые всем населением городка и окрестных деревень, были перенесены на станцию Дмитрово. После кратких, прочувствованных, последних прощаний, посланных покойному представителями анархических и местных организаций, тело было отправлено со специальным поездом в Москву.

Масса народа собралась на вокзале в Москве встретить учителя, товарища и друга. Под звуки революционной музыки, под сенью выразительных красных и черных знамен добровольная процессия медленно шла ко Дворцу Труда (бывшее Дворянское собрание).

Семьдесят один год тому назад в этом самом здании П. Кропоткин в первый раз выступил публично. По случаю 25-летия царствования Николая I московское дворянство давало в честь царя костюмированный бал, который по своему великолепию должен был остаться в летописях больших дворцовых деяний. Все народности, подвластные русской империи, были представлены в костюмах и знаках отличия своей нации. Молодой 8-летний Петр был одет в костюм наследника персидского престола. При входе царя все подвластные народы выразили низкими поклонами свое подчинение всемогущему правителю России. Поразительная внешность Петра, самого молодого участника этого торжества, привлекла внимание царя. Он взял мальчика и представил его своей невестке, жене наследника престола, ожидавшей тогда третьего ребенка. С привычными ему казарменными манерами царь сказал ей: „вот, какого молодца мне нужно“. Утомленный впечатлениями, маленький Петр уснул на коленях будущей императрицы...

¹⁾ Настоящая статья принадлежит тов. Э. А. Гольдман, видной деятельницы и единомышленице П. А. Кропоткина. Перевод с английского рукописного подлинника сделал Е. А. Серебряковой. Ред.

Не думал Николай, что в мальчишке, представленном, как модель, царственному дому, скрыта потенциальная сила, которая со временем решительно расшатывает основу царственного строя. Но, конечно, Петр Кропоткин не был единственным ребенком, который рос тогда, чтобы стать со временем русским Самсоном,—были легионы сынов и дочерей России, которые своею кровью оплодотворили землю для окончательного освобождения от царизма. Но Петр Кропоткин был самый великий из всех их.

В 1850 г. Кропоткин заснул в зале Дворянского собрания, в 1921 г. он опять лежит спящим в этом же самом здании. Но вместо царя Николая, наследника престола, будущей императрицы, хозяина и царственных гостей, теперь присутствовал русский народ. Из всех районов и окрестностей Москвы приходили рабочие, крестьяне, красноармейцы, дети, мужчины и женщины, деятели науки и литературы,—бесконечный человеческий калейдоскоп, чтобы взглянуть в последний раз на своего любимого учителя.

Похороны Петра Кропоткина были самым внушительным явлением, которому я была свидетельницей во время моего пребывания в России.

В воскресенье, 13-го февраля, за долго до назначенного часа, улицы, прилегающие ко Дворцу Труда, были полны народа, пришедшего принять участие в похоронной процессии. Рабочие организации, политические партии и ученые общества были представлены в громадном количестве своих членов. Дворец Труда, где три дня лежало тело Кропоткина, был переполнен. Простой гроб, стоявший на помосте в центре прекрасно декорированного зала, был покрыт венками. Первая и шестая Патетические симфонии Чайковского, — любимые вещи П. Кропоткина, которые он так часто и искусно играл,—были исполнены знаменитым оркестром Московской оперы. Когда тело медленно выносили из Дворца Труда, хор в двести человек пел потрясающий душу Реквием, и звуки „вечной памяти“ приветствовали солнечный день.

Девятнадцатое столетие дало миру десятки великих мужчин и женщин. Наука, искусство, литература, революционная мысль и социалистические идеалы имели своих видных представителей. Но в Петре Алексеевиче были соединены почти все свойства, присущие лишь редким умам: универсальный ученый, литератор, революционер с пламенной душой, апостол анархизма, который горячо проповедывал, что только в анархическом обществе—спасение человечества, Петр Кропоткин в то же самое время обладал способностью общедоступного изложения, которая делала его самую блестящую фигуру на горизонте XIX—XX столетий. Его жизнь и работы были высечены из одного целого. Это была симфония, где лейтмотивом была всеобъемлющая любовь.

Происходя из княжеского, царственного рода (Рюриковичей), с блестящею перспективою карьеры, он, однако, с юности стал поборником обиженных и угнетенных. Из тюрьмы, куда он был заключен на своей родине, он бежал и жил за границей во многих странах, преимущественно в Англии. Неизменным принципом его жизни было—не извлекать никакой материальной выгоды из своей анархической деятельности. Все его многочисленные анархические работы—книги, памфлеты и брошюры—он отдавал во имя пропаганды для популярных изданий. Не будет преувеличением сказать, что его памфлеты,

например, „Воззвание к молодежи“, „Система заработной платы“, „Анархизм и коммунизм“, „Идеалы русской действительности в русской литературе“, „Историческая роль государства“ и др., циркулировали в миллионах изданий по разным странам.

В задачу этой статьи не входит определение влияния Кропоткина, как ученого, анархиста и человека. Равно не место в ней для критических размышлений о позиции его по отношению к великой войне. Достаточно заметить здесь, что вместе с большинством анархистов всего мира я не разделяла взглядов нашего великого учителя на европейскую катастрофу. Мы были твердо уверены, что все капиталистические войны реакционны в основе своих причин и империалистичны в сущности своих целей. Эта разница точек зрения товарищей была единственным поводом для нашего расхождения с Петром Алексеевичем.

Проведя 41 год в изгнании, П. А. 17 июня 1917 г. возвратился на родину. Он был встречен с большим энтузиазмом.

Керенский делал неимоверные усилия, примиряя непримиримое: он убеждал Кропоткина войти во временное правительство, предлагая ему на выбор любой пост министра. Кропоткин отказался. „Я считаю ремесло чистильщика сапог более честным и полезным“, — ответил он.

После октябрьской революции Кропоткин видел с ясновидением пророка, что революционные усилия народа были отводимы в правительственные каналы и в сторону от идеалов, вдохновлявших массы в период священного подъема первых октябрьских дней. Но Кропоткин не терял действенной энергии. Он энергично и постоянно настаивал на необходимости фундаментальной реконструкции экономической жизни страны на началах безвластия.

Усиленное умственное и физическое напряжение Кропоткина в 1918 году истощило его жизненную энергию и состояние здоровья заставило его, хотя и молодого душой (ему было 76 лет), переехать из Москвы в Дмитров, где он сделался добровольным изгнанником. Отойдя от современной кипучей жизни, Кропоткин жил совершенно изолированно.

Человек, жизнь которого была так богата и разносторонняя, теперь не имел возможности соприкасаться с ходом мировых событий. За исключением советских изданий, он не имел никаких источников знаний. Лишь несколько журналов доходили к нему иногда из-за границы. И переписка его была скудна. Его бесчисленные товарищи и друзья редко имели возможность посещать его. Последний год его жизни прошел в одиночестве. Он сосредоточился на своей крупной работе об этике. Но даже и для этой работы у него не было достаточного количества научных материалов. Медленный ход этой работы тяготил его мозг. У него не было секретаря, и его стареющие руки не могли долго работать на пишущей машинке. Смерть покоячила с ним раньше, чем он со своей работой.

Многие из его друзей и товарищей удивлялись его безмолвию и позиции его по отношению к происходящему в России. Причины этого выясняются в приводимых выдержках из письма к его старому другу.

Дмитров, 2-ое Мая 1920 г.

„Дорогой Александр,

.....
„Я возобновил свои работы по вопросам нравственности потому, что считаю, что эта работа абсолютно необходима. Я знаю, что не книги создают умственное направление, но, совершенно обратно. Я также знаю, что для разъяснения этой идеи необходима помощь книги, которая выражает базисы мысли в их полной форме. И чтобы положить основание морали, освобожденной от религий, и выше религиозной морали, которая не ждет вознаграждения на том свете, необходимо иметь помощь разъясняющих книг.

„Нужда в таких пояснениях чувствуется более настойчиво теперь, когда человеческие мысли борются между Ницше и Кантом (в действительности мораль Канта была религиозной этикой, хотя и была замаскирована „философией“, т.-е. между ницшеанством и христианством).

„Замечательно, что Бакунин (я узнал это недавно), когда он после разгрома Коммуны удалился в Локарно, также почувствовал потребность разработать новую этику. Кто-нибудь да сделает это. Но необходимо подготовить почву, и так как я умственно вовлечен в поиски новых путей в этой плоскости, то должно, по крайней мере, наметить этот путь.

„Мне недолго жить. Мое сердце делает последние усилия. Сегодня я почти лишился чувств без всякой видимой причины.

„И потому, мой дорогой друг, я сосредоточу еще мои силы на изучении этики; я еще больше чувствую, что во времена, переживаемые теперь Россией, нельзя достичь серьезных результатов активной деятельностью отдельных личностей. Сотрясение масс велико,—индивидуальное масс недостаточно.

.....
„Я глубоко верю в будущее. Я внутренне убежден, что синдикалистское движение, т.-е. рабочих организаций, которые на своем последнем конгрессе собрали представителей от 20.000.000 рабочих, сыграет в течение каких-нибудь 50 лет громадную роль в образовании коммунистического безначального общества...

„Я также верю, что в организации коммунистических общин в крестьянстве, кооперативное движение — особенно русское крестьянское кооперативное движение—будет в последующие 50 лет служить творящим ядром коммунистической жизни, без какой-либо примеси религиозного характера.

„Я глубоко верю в это. Но я чувствую, что для того, чтобы запечатлеть эти два движения с жизненной силой, чтобы дать им форму, развить их, приготовить твердый базис для них и помочь им трансформироваться из орудия самозащиты в могущественное средство, для реорганизации общества на принципах коммунизма,—требуется сила моложе моей—и особенно кооперация из среды рабочих и крестьянства. Эти силы будут найдены. Они уже есть в обоих движениях, хотя они еще не сознают своей миссии. Они еще не уяснили сами себе, что они еще не прониклись идеалом коммунизма“...

.....
Петр Кропоткин не терял случая обращаться к рабочим Европы, чтобы они настойчиво просили мира с Россией. Он возмущался отно-

шенем известных старых „революционеров“, наводняющих ныне Европу, которые присоединились к империалистическому кличу об интервенции. В то же время он критиковал, не колеблясь, политику советского правительства. Кропоткин несколько раз взывал к рабочим Европы, чтобы они заставили их правительства убрать от России руки прочь. Никто не выявлял лучше, чем он, что продолжение похода на Россию означает одновременно и полнейшее расстройство остального мира. Россия по многим причинам нуждается в мире,—говорил он,—и в той же мере голос свободной критики должен быть услышан, так как новая Россия может быть построена только доброй волею и соединенными усилиями всего народа.

Кропоткин умер и, однако, никогда еще не был так жив. Он живет в сердцах и мыслях России и всего мира. Он не нуждается в комментаторах своих работ. Он поставил себя в самое скромное положение духовного учителя и писал с простотою, доступною пониманию всех. Его отношение к людям было просто. Дух его живет. Он вибрирует в дыхании масс.

Эмми Гольдман.

Восстание на Кругобайкальской дороге 1866 года.

„Полевой военный суд, учрежденный в Иркутске по делу о возмущении преступников на Кругобайкальской дороге“, — корреспонденции П. А. Кропоткина.

Раздавленное и потопленное в море крови польское восстание 1863 года не вполне закончило польское движение шестидесятых годов. Революционные волны точно не могли еще успокоиться, и когда Сибирь наполнилась ссыльными повстанцами, дух мятежа еще змедем бродил в их умах, и жажда свободы не могла совершенно исчезнуть из сердца.

И в результате—последняя конвульсия революционной вспышки, но уже на территории Сибири, среди каторжной обстановки, в условиях, которые могли признать благоприятными для нового восстания лишь воспламененные неугашаемым революционным дерзанием души, рвавшиеся к свету из мрака сибирского ада.

Попытка польского восстания на Кругобайкальской дороге в июне 1866 г. мало освещена в русской исторической литературе. Поэтому нельзя отказать в значительном интересе корреспонденциям, которые писал П. А. Кропоткин из Иркутска в газету „Биржевые Ведомости“ в октябре 1866 года и которые представляют собою отчет о разборе дела о кругобайкальском восстании военно-полевым судом, или, вернее, комиссией, в Иркутске. Эти неизвестные исследователям корреспонденции П. А. Кропоткина мы извлекаем из „Биржевых Ведомостей“ и воспроизводим ниже.

Отчет Кропоткина написан своеобразно, тяжелым для газеты слогом и без той определенности и ясности, какие были бы необходимы для полного уразумения всего кругобайкальского эпизода и судебной после него расправы. Быть может, здесь сыграли свою роль, „независящие обстоятельства“,—не даром Кропоткин в своих „Записках революционера“ отмечает, что его корреспонденции появились в печати „к великому неудовольствию генерал-губернатора“ Восточной Сибири. Но, во всяком случае, принимая во внимание условия печати в то время, в особенности—сибирской, корреспонденции Кропоткина имеют свою историческую ценность, как достоверные показания о процессе со стороны самого достоверного свидетеля и беспристрастного наблюдателя.

В „Записках революционера“ читаем: „О бунте стало известно за границей. Казни, жестокость двух офицеров, которая раскрылась на суде, вызвали сильное волнение в Австрии. Австрийское правительство заступилось за галичан, принимавших участие в революции 1863 года и сосланных тогда в Сибирь, и некоторые из них были тогда возвращены на родину. Вообще вскоре после мятежа 1866 года положение всех ссыльных поляков заметно улучшилось. И этим они были обязаны бунту, тем, которые взялись за оружие, и тем пяти мужественным людям, которые были расстреляны в Иркутске“.

Это несомненно. Но верно и то, что русская печать, по мере возможности, помогла осветить эту революционную трагедию и дала материал для агитации на Западе. И без преувеличения позволительно думать, что корреспонденции П. А. Кропоткина не остались в этом отношении без влияния.

В пользу такого предположения достаточно сказать, что Кропоткиным был ярко и выпукло освещен один из самых возмутительных эпизодов умирения восстания, связанный с действиями войскового старшины Лисовского и его отряда.

С другой стороны, корреспонденции Кропоткина дают интересную и верную картину старого дореформенного суда, в котором не было ни правды, ни милости. Если под давлением времени и в силу уже входивших в Европейской России в действие новых судебных уставов самый иркутский процесс протекал в условиях гласности, то во всем остальном это был настоящий крепостнический суд, в котором обвинительная власть обрушивалась на обвиняемых всею тяжестью своего привилегированного положения. Подсудимые не могли иметь защитников, не было настоящего судебного следствия, не было начала равенства сторон и устности процесса; письменные показания душили судебную правду. Чрезвычайно типично положение обвинителя в этом процессе, который, в поисках улики против подсудимых, не останавливался перед психологическими экскурсиями и не без лести забирался в их души и читал там тайные планы, мысли и намерения, — и все это ставил им в вину, выдвигая свои фантазии, как явную улику.

Отчегу П. А. Кропоткина мы предпосылаем фактическую справку о восстании поляков, написанную Л. О-ым, и ради лучшего уяснения читателями некоторых подробностей дела, приводим некоторые дополнительные данные к кругобайкальской трагедии.

В процессе часто фигурирует имя Котковского, относительно которого прокурор заявил на суде, что это, — „как сообщил недавно шеф жандармов, тот самый, который был жандармом-вешателям в Варшаве, отрезавший ухо г. Фелькнеру и избежавший смертной казни по тому, что это открылось после его осуждения“.

В статье „Восстание поляков на Кругобайкальской дороге“ („Ист. В.“, III, 1883) Н. Берг, повидимому, пользовавшийся официальным материалом, рассказывает о Котковском, что он, действительно, входил в группу террористов, действовавших по приказанию революционной польской организации—Центрального Комитета народного правительства.

Осенью 1862 года в Варшаву начальником тайной полиции был назначен бывший инспектор школ Фелькнер, которого вскоре (в октябре) было предписано—„убрать“. Группа революционеров, в том числе „таможенный аппликant“ Котковский, привела приказ в исполне-

ние, при чем главная роль в этом деле принадлежала именно Котковскому. Он нанес три смертельных удара кинжалом в грудь Фелькнеру и убежал вместе со своими товарищами. Но по дороге он вспомнил, что оставил у ворот дома, где произошло убийство, свою бурку, и что он, кроме того, забыл захватить с собой для представления народным властям *corpus delicti* — „ухо правительственного шпиона“. Бесстрашный, он, несмотря на то, что у дома стояла уже толпа народа, смело подошел к месту происшествия, поднял свою бурку и при всех отрезал ухо у убитого Фелькнера, а затем спокойно удалился... Котковский затем участвовал и в убийстве Анны Висневской, сожительницы одного из его сотоварищей, грозившей в связи с делом Фелькнера выдать их властям.

Котковскому естественно пришлось спасаться. С новым бесстрашием он пошел в рекруты по конскрипции Велепольского в конце 1862 года и в качестве солдата служил в Петербурге, а затем был переведен в Харьков. На военной службе он быстро делал карьеру: как исправный, честный, исполнительный и хорошо грамотный солдат, он заслужил в общем доверие.

Уже по окончании восстания, в 1865 году, вследствие продолжавшихся арестов, тайна убийства Фелькнера и Висневской была обнаружена, и варшавские власти стали искать Котковского, который в это время был уже писарем в харьковском гарнизонном штабе. Несмотря на самый лестный отзыв штаба о Котковском, который был к тому моменту представлен даже к офицерскому чину, его арестовали и судили. Это был послереволюционный период, когда, по предписанию из Петербурга, в Варшаве никого уже не казнили, и Котковский поэтому был приговорен к вечным каторжным работам.

Таким образом, если Кропоткин не ошибся в изложении слов прокурора, то ошибся последний, так как Котковский и был именно осужден за участие в убийстве двух лиц...

Что касается приговора кругобайкальским повстанцам, то Кропоткин в своих „Записках“ сообщает: „Генерал-губернатор телеграфировал в Петербург и просил разрешения смягчить приговор, но ответа не последовало. Он обещал нам не приводить в исполнение смертного приговора, но, прождав несколько дней и не получив ответа из Петербурга, приказал совершить казнь секретно, рано утром. Ответ из Петербурга прибыл почтой, через месяц! Генерал-губернатору предоставлялось „поступить по собственному благоусмотрению“...

Ред.

I.

Кругобайкальское восстание.

1.

Общее восстание поляков-каторжан, размещенных по сибирским каторжным заводам, было задумано в начале 1865 года в иркутской тюрьме, когда в ней сосредоточились большие партии поляков из Царства Польского, осужденных за события 1863 года. Идея этого восстания пропагандировалась среди повстанцев группой каторжан — Шарамовичем, Целпским, Рейнером, Котковским, Арцимовичем, Ильяшевичем и Вронским, которые впоследствии, при попытке восстания

и явились главными его руководителями, при чем наибольшую деятельность, по свидетельству их современников, проявили, главным образом первые четыре революционера. Ведя агитацию среди своих товарищей-каторжан, они сносились со всеми каторжными заводами Сибири, где только были заключены поляки за движение 1863 года. Подготавливая восстание, они входили в сношения по поводу этого выступления даже с маленькими местечками, например, с Сиваковым, за Читой, где было всего несколько поляков-каторжан, работавших на постройке барж.

Весь 1865 год и начало 1866 года ушли у них на сношения с товарищами, заключенными в других тюрьмах и организацию задуманного восстания.

Целью заговора было освобождение всех осужденных правительством на вечное поселение и каторгу поляков. Осуществить эту задачу предполагалось таким образом: в назначенный день во всех каторжных заводах Сибири, поляки должны были напасть на окарауливавшую их стражу, отобрать у нее оружие и, вооружившись и захватив в каторжных заводах съестные припасы, направиться, забирая по пути товарищей с поселений, через тайгу и забайкальские хребты в Монголию, а пройдя Монголию, выйти к морю, захватить на нем вооруженною силою суда и на них переправиться в свободную, независимую Америку.

Таков был вкратце план восстания, задуманный повстанцами Шарамовичем, Целинским, Рейнером и Котковским.

В начале 1866 года, скопившуюся в Иркутске партию каторжан-повстанцев, начали группами отправлять на Усольские солеваренные и Александровский винокуренный заводы и на прокладку нового Кругобайкальского тракта. Находившиеся в это время в иркутской тюрьме¹⁾ повстанцы все были посвящены в тайну подготовлявшегося восстания. Часть из них, состоявшая, главным образом, из дворян, графов и князей, не сочувствовала этой затее и не принимала никакого участия не только в ее подготовке или пособничестве заговорщикам, но даже не участвовала в совещаниях по этому вопросу, считая как цель, так и средства этой затеи неосуществимыми, несбыточными мечтами. Однако, эта группа повстанцев не предпринимала ничего такого, что могло бы помешать осуществлению задуманного восстания. Более же демократические элементы, революционно и враждебно настроенные против русского правительства, принимали все решения заговорщической группы всей душой и горячо откликались на все начинания их всем своим молодым пылом (большинство составляло молодежь в возрасте от 17 до 35 лет).

Поэтому повстанцы из аристократов, не желавшие принимать участие в готовившемся восстании, употребляли все меры, чтобы отмежеваться от заговорщиков и не попасть с ними в отправлявшиеся по каторжным заводам и на работы партии, а, сгруппировавшись отдельно, пойти в Усольский солеваренный каторжный завод, где уже находились тоже повстанцы из бывших привилегированных лиц. Они, действительно, и попали все на Усольский завод, а самая большая партия повстанцев, принимавшая участие в заговоре, решила

¹⁾ Поляки-повстанцы 1863 года в Иркутске размещены были в здании, которое в настоящее время занимает казенная палата, на Преображенской улице.

записаться на работы по прокладке нового кругобайкальского тракта и пойти туда. Третья партия, состоявшая из сочувствующих плану восстания, пошла в Александровский винокуренный каторжный завод.

Общий режим на каторжных заводах для каторжан тогда был суровый, с обязательными работами. Режим этот особенно усилился с прибытием из Иркутска большой партии каторжан-повстанцев. Начальник конвойной команды полковник Клейн и помощник его поручик Вессельрот-фон-Керн, специально прикомандированный к конвою для политических польских преступников, принимал все меры, чтобы стеснять жизнь повстанцев. Он ограничивал их в пище и переписке и тем самым лишал их возможности продолжать организацию восстания и отчасти способствовал тому, что оно вспыхнуло внезапно и не было поддержано теми повстанцами из других тюрем, которые выразили раньше согласие принять в нем участие.

Восстание поляков на новом кругобайкальском тракту началось совершенно неожиданно для всех, как для администрации, так и для населения; поэтому, когда 26 июня, в 10 часов утра, прибыл в Иркутск нарочный к губернскому воинскому начальнику с рапортом прапорщика Важеева о начавшемся восстании, и, когда от него по Иркутску распространились слухи об этом чрезвычайном возмущении поляков, то весь город сильно встревожился. Население его начало толпами высыпать на улицы и вести разговоры об этом сенсационном известии, а слухи все росли и увеличивались, и уже через час—два передавалось по городу, что находящиеся в разных местах Сибири на поселении и в каторжных заводах поляки перебили все начальство и, вооружившись ружьями и пушками, идут на Иркутск, Читу и другие крупные города Сибири, чтобы захватить их в свои руки... и что усмирить их уже нет никакой возможности!.. Слухи эти, ежедневно увеличивавшиеся и росшие, как снежный ком, распространились среди иркутского и окружного населения и вызвали страшную панику.

В два часа пополудни из Иркутска отправился за Байкал отряд из восьмидесяти нижних чинов и двух офицеров под начальством командира батальона майора Рика. До Лиственничного они были довезены на почтовых, а через озеро Байкал в Посольск доставлены на пароходе Хаминова, предоставленном им в распоряжение военного начальства ввиду необычайных событий.

Двадцать седьмого июня, ночью, в два часа, к начальнику военного штаба прибыли два ящика, бежавшие из плена от поляков и пробравшиеся со станции Выдриной на лодке через Байкал, и сообщили, что человек двести вооруженных поляков-каторжан прибыли на эту станцию, конвоируя арестованного ими полковника-инженера Черняева, заведывавшего техническими работами по прокладке тракта.

Это новое известие не замедлило вызвать всевозможнейшие слухи. Двадцать седьмого июня из Иркутска отправился, под начальством войскового старшины Лисовского, отряд в двести конных казаков на станцию Култук, где его ожидал исправник Павлищев с собранными им вооруженными бурятами, а за Байкал, в Посольск, в помощь Рiku, были отправлены еще два отряда в четыреста человек под начальством поручика Лаврентьева и штаб-ротмистра Ларионова. Для сопровождения второго отряда командирован был адъютант начальника военного штаба поручик Порохов, которому и было предписано про-

водить отряд до соединения с Риком и доставить подробнейшие сведения о положении дел.

Иркутяне и окружное население, видя, что начальство спешно отправляет на место восстания отряд за отрядом, находили в этом подтверждение ходивших тогда тревожных слухов.

Проходили дни. Официальных известий о ходе восстания не было: получаемые же частным путем до невероятности извращали картину совершавшихся событий. Все это сильно всех нервировало...

Ссылных поляков в Сибири в то время было больше двадцати тысяч человек.

Начальством были призваны на службу казачьи сотни, которые и были разосланы по уездным городам и окружным селам и деревням; по городу Иркутску усилены были караулы и ночные и дневные разъезды. Словом, были приняты все меры предосторожности на случай нападения восставших поляков.

Дело же в общих чертах происходило следующим образом. Правительство соорудило кругобайкальский тракт и для этих работ было назначено более двух с половиною тысяч политических преступников из поляков. Работы производились на протяжении более двухсот верст от Култук до станции Лихановской, под руководством военного инженера Черняева и подполковника Шаца. Повстанцы-каторжане были распределены партиями от полутора до трехсот человек. Конвойной команды всего было до 150 человек на всех каторжан.

В ночь на 25 июня поляки-повстанцы, находившиеся на прокладке тракта в двенадцати верстах от Култук, в числе 250 человек, перевязали конвойных, отняли у них оружие и, захватив казенных и бурятских лошадей (буряты в то время работали также на прокладке тракта), отправились на станцию Амурскую, где перевязали ямщиков, забрали всех почтовых лошадей с повозками, оружие, какое было, и направились на станцию Мурино, предварительно испортив телеграфное сообщение с Иркутском. Ночью на 27 июня поляки-повстанцы пришли на станцию Лихановскую, в 25-ти верстах от Посольска. Здесь между ними и конвоем этой станции завязалась перестрелка, при чем конвой, во главе с поручиком фон-Керном забаррикадировавшись в станционном доме, начал отстреливаться через окна. Неизвестно, чем бы кончилась эта перестрелка, если бы не подошел на помощь конвою отряд майора Рика, завидя который поляки-повстанцы облили керосином здание станции и подожгли его, а сами поспешно начали отступать в тайгу. Поручик Весельрот-фон-Керн едва-едва мог спастись из охваченного пламенем здания. Этим пожаром уничтожена была станция и две тысячи пудов хлеба, привезенного казною для продовольствия каторжан. Здание горевшей Лихановской станции красным заревом далеко освещало окрестности в темноте ночи. Громкие выстрелы и пальба пачками из винтовок далеко разносились по Байкалу и тайге, доносились до Посольска и бударажили жителей, которые в паническом страхе выбегали толпами из селения со своим скарбом; часть из них убежала в лес, а часть направилась в Лиственное на лодках.

Майор Рик со своим отрядом гнался за поляками-повстанцами до станции Мысовой, где и получил сведения, что полковник Черняев, подполковник Шац, эсаул Прошутинский и сотник Попов захвачены восставшими поляками на станции Мишихе и арестованы.

На этой станции отряд повстанцев действовал под руководством

Шарамовича, захватившего всех вышеперечисленных лиц в плен. Между прочим, рассказывали, что полковник Черняев, арестованный повстанцами, задал им вопрос:

— Вы захватили пароходы на Байкале?

— Нет,—отвечали ему.

— Тогда ваше восстание не удастся; вы сделали громадный промах: через день-два здесь будут войска и вас подавят...

Двадцать восьмого июня, подходя к станции Мишиха, майор Рик с отрядом штаб-ротмистра Лаврентьева и поручика Порохова встретил у моста при речке Быстрой многочисленный конный отряд поляков-повстанцев: после непродолжительной перестрелки противники вступили в рукопашный бой. Бой был ожесточенный. В нем проколотый пиками пал поручик Порохов, три солдата и крестьянин Чулков.

После рукопашной сиватки конный отряд повстанцев усакал в тайгу и скрылся в ней.

В следующие дни в разных местах правительственные войска имели рукопашные стычки, схватки и перестрелки с отрядами восставших поляков. Перевес, конечно, оказался на стороне правительственных войск. Каторжан-повстанцев брали в плен и отправляли в Иркутск. Некоторые же отряды восставших ушли в леса прибайкальских гор.

Всего участников восстания было до тысячи пятисот человек. Они, разбившись на четыре главных отряда под руководством Шарамовича, Рейнера, Целинского и Котковского и на несколько мелких отрядов, вели партизанскую борьбу с населением и войсками, выступившими для усмирения их.

В июле в Иркутск были доставлены первые партии поляков, снятых с работ по постройке тракта, не принявших участия в восстании и плененных в тайге. Когда они проходили улицы города, их встречали громадные толпы народа и провожали до тюрьмы. Повстанцы шли медленно, тяжело ступая; ободренные и истощенные и, кроме глубокого сожаления, ничего не могли возбудить. Одни только уличные мальчишки, да озорники-взрослые позволяли себе кричать им:

— Вот они, мягежники и бунтовщики...

— Молчите, не ваше дело,—останавливали их.

— Что, панове, захотелось побушевать?—спрашивали некоторые со злой насмешкой.

— Чтож, вам хорошо,—как бы оправдываясь, отвечали повстанцы,—вы свободны, сыты, одеты, со своими семьями, а мы—каторжане, невольники, вдали от родины, семьи... А как мы жили, если б вы знали... Работа у нас на тракту была каторжная, приходилось ломать каменные глыбы в жару, ворочать и рубить пни, рыть землю тяжелой кайлой и лопатами; и при такой работе кормили нас только омулями, иногда протухлыми; хлеба часто по несколько дней корки не видали. жили в глухой тайге и варились в своем соку, без живых людей, и переписываться нам не давали. Что же было нам делать?..

И каждый день шли партии усмиренных повстанцев, захваченных в лесах, а потом их начали везти на баржах из-за Байкала. Все они, даже раненые, были в кандалах и наручниках. Раненых переносили с баржей на носилках. Картина была ужасная и тяжелая... Помещены они были в казармах на Преображенской улице и в больнице при остроге.

9 июля в вышедшем № 27 „Епархиальных Ведомостей“ появилась краткая заметка о происшедших событиях, и номер газеты разбирался нарасхват. Всем хотелось узнать подробности о восстании поляков. После этого тоже очень краткое описание последних событий появилось в „Сибирском Вестнике“, а 16 июля была перепечатана эта заметка и в „Губернских Ведомостях“ в № 29 с добавлением, что в Иркутскую тюрьму доставлено 485 поляков—убитых, раненых и больных.

За разбежавшимися в лесах повстанцами были посланы казаки и воинские отряды.

Поляки же в тайге, блуждая, голодали, питаясь только ягодами, травой и корой, но все-таки, истощенные, погибали или с голоду и утомления, или в стычках и боях с войсками.

Официальный отчет об операциях правительственных войск, ничего нового не приносящий в вышеизложенное описание хода восстания, помещен в приказе по войскам сухопутным и морским восточно-сибирского военного округа, изданном в Иркутске 26 сентября 1866 года за № 315.

2.

Следствие по делу о восстании военные власти вели быстрым темпом. И в начале октября уже вручили арестованным по этому делу обвинительные акты, а с 24 октября открылся над ними военно-полевой суд (военно-полевая комиссия), длившийся 15 дней непрерывно. На суд были доставлены все участники восстания.

Главными руководителями вооруженного восстания на новом кругобайкальском тракту были судом признаны: Целинский, Шарамович, Рейнер, Котковский, Арцимович, Ильяшевич и Вронский и приговорены к смертной казни через публичное расстреляние; 160 человек из каторжан, принимавших в восстании участие, получили прибавку срока каторжных работ еще на двенадцать лет; восьмидесяти человекам прибавлено по 8 лет каждому, 68—по пяти лет, а остальные обвиняемые свыше двухсот человек пошли на поселение в разные отдаленные и захолустные места Сибири.

Командующий войсками, генерал губернатор Восточной Сибири, на усмотрение которого был представлен судом приговор для конфирмации, утвердил смертный приговор Целинскому, Шарамовичу, Рейнеру, Котковскому и Ильяшевичу.

Пятнадцатого ноября утром за Якутской заставой, возле находящихся в настоящее время пороховых погребов, на месте, где сейчас стоит шестой телеграфный столб, если считать от заставы, приведен в исполнение смертный приговор суда над Шарамовичем, Целинским, Рейнером и Котковским.

На месте казни было вкопано в недалеком расстоянии друг от друга четыре столба, а около них—ямы.

Место это было окружено войсками, на казнь пришла многотысячная толпа народа, по улицам Иркутска происходило громаднейшее движение пешеходов и экипажей; все ждало со страхом и любопытством, скоро ли поведут обреченных на смерть повстанцев...

И вот народ заволновался. Вдали показалась черная колесница, а в ней стояли осужденные. Эту колесницу толпа встретила гробовым молчанием и пошла вслед за нею. По прибытии на место, где должно

было совершиться ужасное дело, приговоренные спокойно сошли с колесницы; навстречу им вышел ксендз иркутского костела Шверницкий для последнего напутствия. Он когда-то сам был ссыльным по заговору Канарского. Очевидно, поэтому он с особенно тяжелым и, видимо, гнетущим его чувством, приступил к исполнению неизбежной миссии—отпущения в загробный мир своих товарищей. Лицо его было бледно, руки дрожали и в глазах его блстели слезы. Он подошел к первому Шарамовичу, который, видя его нервное состояние, тихо сказал ему:

— Отче, вместо того, чтобы нас подкрепить Божьим словом и придать нам мужества в последние минуты, ты сам упал духом и требуешь поддержания; рука твоя, которая должна благословить нас к отходу в жизнь вечную, не тверда. Успокойся и молись не за нас, а за будущее Польши. Нам все равно, где бы мы ни погибли за свое отечество: у себя ли дома или в изгнании; мысль наша, бывшая путеводной звездой нам всегда, не умрет и после нас; это нас подкрепляет и утешает.

Сказав это, Шарамович обнялся с остальными товарищами, стоявшими неподалеку, принял благословение от трепещущего ксендза и направился к одному из врытых в землю столбов.

Палач надел на него саван, Шарамович перед этим, сняв с головы шапку, бросил ее вверх и крикнул: „Еще польска не сгинела“...

Все приговоренные были привязаны к столбам. Среди них выделялся самый молодой—Котковский, плакавший навзрыд.

Раздался залп...

Толпа вздрогнула; послышались крики и истерический плач.

Трое казненных сразу же склонили головы на грудь, а Шарамович начал биться в предсмертной агонии. Он был тяжело ранен, но не убит. Тогда раздалась еще ружейные выстрелы, почти в упор в него, и кто-то из солдат ткнул в него пикой.

Все было кончено. Одни только барабаны продолжали греметь. Толпа начала расходиться. Слышались в толпе разговоры о присутствии духа Шарамовича, сожалели о убежденном седином Целинском и о юноше Котковском.

В городе весь день только и было разговора, что о совершенной ужасной казни.

Л. О.

II.

Полевой военный суд, учрежденный в Иркутске по делу о возмущении преступников на Кругобайкальской дороге.

Корреспонденции „Виржевых Ведомостей“.

1.

Иркутск, 28 октября 1866 года.

24 октября нынешнего года происходило 1-е заседание полевого военного суда по делу о беспорядках, случившихся летом на Кругобайкальской дороге, и о которых писали столько (правды и вадора) в русских газетах. Желавших попасть на это заседание было чрез-

вычайно много, но едва нашли в Иркутске залу в казармах, где бы могло поместиться достаточно публики. Билетов на вход на это заседание было разослано 180 и, повидимому, все владельцы билетов явились. Известно, как мы падки на новинки. Но непривычная к долгому сиденью и вниманию публика (я выключаю карты) скоро, повидимому, соскучилась. С 3-го часа (заседание началось в 9¹/₂, ч. утра) начинается хождение взад и вперед. Скучающие, но по какому-то ложному стыду, а, может быть, и просто — любопытству, нежелающие уйти, слушатели, — виноват, зрители, — начинают рассказывать взад и вперед, то выдвинувшись вперед, то опять уйдут, заглянут в лицо подсудимого и опять отойдут прогуляться и т. д. А люди-то наполовину военные — сабли, шпоры начинают шуметь в задних рядах, — и советы брать пример с солдат нового пришедшего сюда батальона, ловко и без малейшего шума переходящих с места на место, и то только тогда, когда это нужно, — ни к чему не ведут.

Легко поэтому представить себе, каково записывать при этом шуме, что происходит в заседании суда; о некоторых частях я имею таким образом лишь самые отрывочные сведения. Вообще не скажу, что я вел стенографический отчет, а потому заранее извиняюсь в неполноте моего отчета.

Заседание суда началось с чтения приказа генерал-губернатора Восточной Сибири об учреждении полевой военно-судной комиссии, состоявшей из 6 членов, под председательством начальника артиллерии Восточной Сибири Г. М. Сафьяно.

Затем было приступлено к чтению извлечения из дела, составленного назначенным прокурором при суде г. Милотинным.

В лето нынешнего года были выведены на работы по Кругобайкальской дороге политические преступники из поляков. Расположение их было следующее: они были разделены на 2 отделения: култукское и мишихинское. 1 култукская партия в 12 вер. от Култука состояла из 48 чел. при 5 конв.; 2 — 47 чел., 6 конв. в 28 вер.; 3 — 43 чел. при 7 конв., в 50 вер. от Култука. В 9 вер. от Култука находились буряты, собранные здесь для работ. В 57 вер. от Култука, на ст. Муриной, находилось 102 чел. привилегир. при 14 конв.; в Мишихе было 3 партии: 1-я — в 11 в., не доходя до Мишихи, 2-я — в 9 вер. и 3-я — в 6 вер. за Мишихой, всех их было тут 335 чел.; последняя состояла исключительно из привилегированных. В 128 в. от Култука на Мантурихе было 106 чел. при 9 конв. и в 112 вер. от Култука на Лихановой было 41 чел. привилегиров. при 6 конв. Всего было 720 чел. при 123 конв., из которых, за исключением бывших на хозяйственных занятиях, находилось на действительной службе 80 чел.

Все они, выйдя на дорогу, должны были приняться за постройку балаганов; но замечено было, что балаганы строились очень неудовлетворительно, от работ все уклонялись, особенно привилегированные; затем прокурор изложил, какие когда были получены донесения и какие меры приняты; так как все это уже было напечатано, то я опускаю эти подробности. Сигнал к движению подала 1 култукская партия; в ночь с 24 на 25 июня поляки, предводительствуемые Арцимовичем, который называл себя Квятковским, бросились на конвой, обезоружили его, взяли бурятских лошадей, пасшихся на р. Похабихе и пошли к ст. Муравьева-Амурского. По дороге присоединилась 2 партия. 26 июня в Муриной арестован прапорщик Лаврентьев, затем начальство над восстанием принял на себя Шарамович. С этих

пор начинаются раздоры; большая часть политических преступников, бывших на дороге, не присоединилась к восставшим, многие отстали от партии. Из Муриной Шарамович послал передовой отряд под начальством Ильяшевича и Вронского, сам же должен был следовать за ним. Передовой отряд испортил в Снежной телеграфную проволоку и аппарат, арестовал ехавшего по дороге полковника Черняева ¹⁾. Далее они заставили присоединиться к себе 84 чел. политических преступников, и 26-го в 12 ч. передовой отряд был на Мишихе. Тут же арестованы инженер, полковник Шац ²⁾, архитектор Дружинин и телеграфист Трапезников. Тогда Ильяшевич направился к дворянской партии, расположенной за Мишихой, и 27 июня дошел до ст. Лихановой, откуда послал отряд на Сухой Ручей. На Лихановой несколько рядовых и подоспевший потом пор. Керн, как известно, отстреливались по мятежникам из станц. дома, который был подожжен при приближении майора Рика. Тогда передовой отряд отступил к Мишихе, где приступлено было к окончательному формированию шайки.

Во весь день 28 июня Целинский принимал деятельное участие в формировании отряда.

Когда отряд был сформирован, провиант положен на вьюки, и Шарамович двинулся в поход к Посольску. На р. Быстрой, в 12 вер. от Мишихи, он встретился с майором Риком, который шел с 80 человеками.

Во время похода г. Рика из Посольска ему сдалась дворянская партия.

Встретясь возле Быстрой с партией Шарамовича, г. Рик начал перестрелку, продолжавшуюся около часа, после чего партия отступила и разбежалась в горы; Котковский с 70 чел. перешел назад р. Мишиху и ушел в горы, между Выдриной и Снежной, перейдя за гольцы по Йгумновской дороге. Другие тревожили наши отряды; большая часть разбежавшихся поляков схвачена казаками 1-й конной бригады, но все-таки только 20 июня схвачены главные начальники. Из бывших на работах 721 чел. привезено в Иркутск 688; 29 убиты и пропали без вести (2 бежали ранее и 2 умерли раньше).

Таким образом мятеж усмирен воинскою силою, и главные участники взяты с боя, говорит г. Милютин. Усмирение стоило 1 офицера, 1 у.-оф., 1 казака и 1 крестьянина; злодейски умерщвлены 2 вожака. Из политических преступников убито 22 и 2 ранено. Убытки, понесенные казною, значительны. Только часть издержек исчислена в 39.000 р., из коих 24.000 из казны ³⁾.

В мятеже принимали участие некоторые беглые из нерчинских заводов, жившие возле Култука или скитавшиеся в Прибайкальских горах.

Затем прокурор приступил к изложению того, что открыто следствием. Следствие продолжалось более 2 месяцев, опрошено до 1.000 человек, и из всех этих показаний можно составить себе довольно ясное понятие об этом деле. Прокурор прочитывал в своем обвинении огромное количество этих показаний, из которых очень хорошо обрисовывается значение отдельных предводителей мятежа и их личности. Я буду излагать только главные.

¹⁾ Заведывавшего политическими преступниками на Кругобайкальской дороге.

²⁾ Строитель дороги.

³⁾ Сюда не внесены все расходы по Забайкальской области.

Показания конвойных и ямщиков из бурят говорят, что в первой култукской партии, где началось движение, все поднялись единодушно, перевязали конвойных, из которых двое были на часах и ничего не видели, другие же 4 сидели в балагане и, повидимому, играли в карты.

Забравши сухари, кое-какое оружие, запасенное прежде и отобранное от конвойных, все двинулись к следующим станциям по тракту,—Муравьева-Амурского и Утуликской, где, обыскавши стационарные дома, забрали припасы, одежду, кормили лошадей хлебом, при чем распорядившийся партией Квятковский побил ямщицкого старосту, и тронулись дальше на двух телегах и на 7 верховых лошадях, остальные же пешком. На дороге к ним присоединились готовые уже партии, которые перевязали конвойных и шли вперед по дороге, забирая с собою конвойных и ямщиков. С ними обращались хорошо, кормили, но обменивались одеждою.

В Муриной во главе восстания является Шарамович (низкий, довольно толстый, с черною бородою, по описаниям свидетелей). Здесь также стояла партия, в которой связали конвойных, обменялись одеждою и заставили казаков рубить телеграфные столбы, после чего забрали всех лошадей, грозя убить ямщиков, если они не укажут, где лошади.

На этой же станции случилось следующее. Один из поляков, пробуя ружье, выстрелил нечаянно, за это атаман ударил его палочкой, говоря, что нельзя по-пусту тратить порох и свинец, так как они нужны.

Тут же был деревянный ящик, чтобы собирать на что-то деньги. Полагают, что в нем было рублей 10; по уходе поляков этот ящик оказался взломанным.

Из Мурина Шарамович послал передовой отряд под начальством Ильашевича и Вронского. На Снежной, следующей станции от Мурина,—продолжал прокурор,—мы имеем очевидцами восстания телеграфиста, рабочих и перевозчиков. Они рассказывают о приходе на рассвете передового отряда, который ворвался в один дом, обшарил все, забрал 1 фунт пороха, дробовик, пистоны, на станции же сломал телеграфный аппарат и уделился. В 11 часов пришел Шарамович, обедал здесь, держал себя тихо, жалел, что передовой отряд бушевал, приказал перерубить канат на перевозе и потопить карабаз. С ним было около 100 человек поляков, которые оттачивали здесь шашки. Они забрали 3 ружья, 2 повозки и пошли далес. Ямщики, из которых один водил поляков до Мишихи, показывают то же.

Шодин, мещанин, шедший с Снежной по дороге, был принят поляками за лазутчика; они хотели убить его, но, заметя ошибку, снабдили хлебом, сахаром и отпустили.

Между Снежной и Выдриной передовой отряд арестовал полковника Черняева. Об аресте все показания сходны, за исключением показания одного, который уличал Вронского в том, что он будто бы целился из карабина в полковника Черняева.

Полковник Черняев показал, что 26 июня, в 5 ч. утра, он был встречен поляками, около 20 человек, под начальством Вронского, ехавшего с карабином. Они объявили ему о возмущении. На приказание г. Черняева сложить оружие, они отвечали, что не могут, получивши приказание из Иркутска, откуда пришло до 80 человек, готовых к восстанию; в Иркутске же, говорил Вронский, все власти уже

арестованы. На спрос об участии конвойных и ямщиков сказали, что все целы и будут целы. При полковнике Черняеве оставили двух часовых и пошли с ним в Выдрину. В разговоре с главным начальником партии, г. Черняев стал доказывать ему безрассудность предприятия; он отвечал ему: „Разве можно таких молодых, как мы, спокойно запереть в глушь? Поверьте, лучше пуля, чем такая ссылка“.

Все доехали в Выдрину; там партия уже собиралась в дорогу и г. Черняеву предложили ехать с ними дальше, в Переемную. По дороге сажались иногда в повозку к г. Черняеву Ильяшевич и Бронский и вступали в разговоры. Г. Черняев упрекнул их в том, что после такой амнистии¹⁾ они решились на такой противозаконный поступок. — „Не такой мы ждали амнистии, — отвечали они, — нас переводят на поселение, но этот переход хуже каторги. Здесь нас кормят, одевают, там же мы должны умирать с голода от недостатка пищи и одежды, там предстоит каждому лишь мученье. Нет, мы лучше сами возьмем свободу, лучше пуля, чем такое житье“. — Г. Черняев заметил тогда, что они не выйдут за границу; тогда ему рассказали, что значит личная энергия и привели в пример побег поляков из Камчатки. В Переемной г. Черняеву повторили, что он свободен и может ехать, но не давали лошадей; Ильяшевич же дал ему расписку на свободный пропуск. У него спросили казенных денег; г. Черняев ответил, что таковых нет у него, что очень удивило поляков; впрочем, он отдал им 100 рублей, говоря, что остальные его собственные; тогда в этих 100 р. ему дали расписку за подписью начальника авангарда сибирского легиона.

Накопец, Ильяшевич был готов и сказал г. Черняеву, что не может оставить его здесь, опасаясь неприятностей; дать же лошадей на обратный проезд не может, так как они необходимы для дальнейшего следования партии. Г. Черняеву предложили ехать с партией далее и положили в его повозку хлеб. Когда подъехали к 1-му стану политических преступников, то увидели, что конвой обезоружен, а партия собирается в поход, забирая с собою вещи, несмотря на строго повторенные приказания начальника брать с собою лишь по одной паре белья и по одной ковриге хлеба. Все они торопливо вооружались чем попало. Так как под г. Черняевым приставали лошади, то Бронский уехал вперед, обещая прислать навстречу свежих лошадей.

Показания Михайлова повторяют почти то же, с тою прибавкою, что он послал двух ямщиков в Иркутск, чтобы дать знать о восстании и посоветовал послать рыбаков. Он видел главный отряд Шарамовича, который просил лошадей и не велел своим трогать водку в Мишихе.

На Мишинской станции должен был быть есаул Прашутинский, женщины и ямщики, но г. Прашутинского не было дома, когда пришли поляки; он ездил выбирать место, куда хотели передвинуть партию. Когда он вернулся, его окружили. Ильяшевич просил позволения обыскать его комнату, — нет ли оружия и казенных денег, но комната уже ранее была обыскана. Женщины, бывшие на станции, было заперлись, но поляки влезли в окна и искали оружия.

Опуская показания, которые не прибавляют никаких сведений,

¹⁾ Полякам были сокращены сроки работ наполовину; те же, которые посланы в каторжные работы на 6 лет и менее, — освобождались и выходили на поселение.

перехожу снова к показанию полковника Черняева. Около 9 ч. вечера он дошел до Мишихи, так как кони пристали, и он должен был идти пешком. В Мишихе, где был склад разных припасов для политических преступников, г. Черняев встретился с полковником Шацом и архитектором Дружининым, уже арестованными передовым отрядом вблизи Мишихи. Поляки уже хозяйничали припасами, они забирали наиболее нужную провизию и одежду и отправились утром 27 июня, оставя только лазарет и прося полковника не трогать больных, не мстить им за арест. Оставшемуся при лазарете медику Чипкановскому была оставлена записка за подписом Целинского, гласившая, что г.г. Черняев и Шац свободны.

Вечером 27 июня прибыл Шарамович с вооруженною партией среди которой многие были вовсе без оружия. Шарамович вежливо спросил казенных денег, и г. Шац отдал ему 104 р., в чем и получил расписку за подписью начальника сибирского легиона вольных поляков. В сумерки явился Целинский и заговорил с полк. Черняевым о мятеже, называя его безрассудным делом, в котором он лишь по необходимости принимает участие. Уйдя к Шарамовичу, он через несколько времени вернулся к полковнику, гулявшему в это время перед станцией. Целинский говорил, что Шарамович упрямый фантазер, настаивает на своем, между тем как теперь мятеж потерян. Черняев спросил, что же заставляет его идти? „Приказание, я кавказский офицер,—говорит Целинский,—они предполагают во мне знание военного дела и желают, чтобы я начальствовал. Мне же теперь нет расчета идти в битву после милости, дарованной нам императором. Мне осталось пробыть в работах всего один год, у меня жена, семья¹⁾. Восстание—старое дело; его проектировал один сумасшедший старик, который говорил мне об этом на пути из Канска в Красноярск. Это лицо убеждало меня стать во главе заговора. После амнистии мнения разделились, так как многим остались небольшие сроки каторги²⁾. Кончая, он просил Черняева засвидетельствовать об этом перед русскими властями³⁾.

Вечером был привезен раненый неизвестно откуда⁴⁾, после же пришли пешие бунтовщики из Мурина.

Тут сделалось ясным, что передовой отряд не выполнил своего назначения; мишихинские поляки (привилегированные) отказались идти; это не дало возможности передовому отряду в тот же вечер и двинуться в Посольское, а утром, 27-го, отряд вышел слишком поздно, и в Лихановой наткнулся на майора Рика. Несмотря на увещания Ильяшевича, который ездил в дворянскую партию и пробыл там 3 часа, она не тронулась, и только отдельные личности присоединились к передовому отряду. Между тем Ильяшевич, не оправившийся после болезни, чрезвычайно утомился.

28-го утром собрались в почтовом дворе все пришедшие из Мурина. Шарамович сделал распределение людей, отобрал стрелков, конных и раздал оружие, при чем часть партии оставалась без оружия, часть же только с топорами. Наконец, все стали переправляться через Мишиху, провиант сложен на лодку и должен был идти по Байкалу,

¹⁾ Все это было ложь. Впоследствии оказалось, что Целинский холостой.

²⁾ Вообще, говорит г. Черняев, весь разговор производил на меня такое впечатление, что Целинский действительно идет на принуждению. Этому способствовали лета Целинского, рассказ его о семье и т. п.

³⁾ Впоследствии оказалось, что это нечаянно раненый самими поляками.

держась возле берега. Г. Черняев остался с Шарамовичем вдвоем и убеждал его сложить оружие. Шарамович, заспорив, высказывал надежду на успех, говорил, что, наконец, выйдет за границу и отдастся под покровительство Китая, или же пусть пуля покончит с жизнью. Доводы г. Черняева все-таки не убеждали его.

— Что же до пули, про которую вы говорите,—сказал г. Черняев,—то предоставьте ее закону, но не увлекайте людей насильно.

— Я никого не беру насильно; вам, верно, говорил Целинский,—возразил Шарамович.

Когда все было готово, Шарамович переехал Мишиху последним. При нем был сигналист.

Показания полк. Шаца не прибавляют ничего нового, кроме того, что Вронский просил у него карты Вост. Сибири и высказывал что Шарамович намерен идти на Петровский завод и Сиваково ¹⁾, освободить своих и идти за границу.

Из показаний архит. Дружинина, которое г. прокурор читал вполне, извлеку только то, что Вронский дал ему и есаулу Прашутинскому слово, что они будут живы. Отправляясь дальше, Ильяшевич предлагал им ехать в Посольское, за исключением есаула Прашутинского, которым, говорил он, недовольны как конвойные, так и преступники. Еще прибавлю, что в разговоре Шарамович говорил ему, что у них разногласие: на 60 человек подействовал высочайший манифест и они не хотят принять участия; наконец, г. Дружинин упоминает еще про жандарма-вешателя, с полотенцем на одном плече, с тонкою, но прочной бечевкой на другом; про него говорили, что он вешает по усовершенствованной методе, не на дереве, а на плече. У г. Шаца был на Мишихе материальный Багринский, пронырливый еврей, который по исчислении понесенных убытков (по общему отзыву преувеличенных) очень изысканными выражениями описывает приход поляков,—как они брали из магазинов припасы, порох, лошадей, делили здесь оружие и отправлялись в Лиханову. 27 числа вечером объявили, что ждут главного начальника. Приехал Шарамович, входил к арестованным г.г. Шацу и Черняеву, затем пошел на свою половину, где писал до 5 часов утра. В 5 часу собрал всех, поставил в две шеренги, назначил офицеров и с ними вернулся в комнату.

После того на Багринского наскочили мятежники, в том числе Котковский, накинули петлю и допрашивали, где оружие ²⁾, где деньги. Он тогда показал ящик, где было 295 рублей и потом чай, где был бумажник с 600 руб.; тут же было 53 р. Деньги проверены и взяты ³⁾.

— После прихода на Мишиху было 3 момента,—продолжал прокурор.—Рассмотрим их каждый отдельно. Если верить Шарамовичу и другим, то в план их не входило вооруженное столкновение с войском: они хотели идти в Посольск, где к ним по пути должны были присоединиться другие партии. Передовой отряд должен был подни-

¹⁾ Деревня возле Читы.

²⁾ Поляки полагали, что на Мишихе есть оружие, зарытое в песке над потолком.

³⁾ Показание это, как говорят, несколько сомнительно, потому что Багринский не получил будто бы расписки. Между тем, когда есаул Прашутинский объявил, что при обыске у него похитили 17 руб., то приказано было разыскать, но всю партию обыскали и, не найдя, решили, что, верно, укравший, боясь казни, бросил их в воду.

мать всех и гнать на Мишиху, устранить все препятствия, захватить оружие и т. д. Начальник передового отряда был Ильяшевич, которому назначен в помощники Вронский. Все было исполнено согласно предположению до Мишихи: подняты 3 култукские партии (150 человек), захвачено оружие и припасы. Отсюда передовой отряд должен был идти в Посольск, захватить там оружие, которого предполагался склад, затем полагали возможным дойти до Читы, захвативши в Верхнеудинске оружие. При этом рассчитывали на бурят; с ними думали тронуться за границу. Все было рассчитано на передовой отряд. Но для успеха необходимо было увлечь дворянскую партию, расположенную за Мишихой. Для этого Ильяшевич поскакал в дворянскую партию. После переговоров, продолжавшихся три часа, Ильяшевич, едва оправившийся после болезни, окончательно изнемог и вернулся в Мишиху. Таким образом, сделавши переход около 80 верст, он не мог двинуться тотчас же и остался до утра. На другой день с Ильяшевичем отправился только Рейнер, староста дворянской партии, с небольшим количеством дворян, дошел до Лихановой. Есть основание полагать, что он был виновником затеявшегося тут дела, сжег станцию, видя неудачу и видя приближение русских войск (майор Рик подошел к Лихановой, когда почтовый дом горел), вернулся к своей партии и на другой день вышел с заявлением покорности майору Рик. Таким образом мятежники потерпели тут неудачу вследствие осторожности дворянской партии, и неудача передового отряда была причиной неудачи всего движения.

Показания конвойных, ямщиков, рабочих, которые читал г. прокурор, рассказывают мелочные подробности, доказывающие, что начальник передового отряда был Ильяшевич; что с ним был Рейнер (в синих очках); что Рейнер читал приказ не обижать никого, не грабить, не даваться в руки живыми, бить русских—показание, убеждающее в том, что Рейнер был в числе самых деятельных зачинщиков и предводителей мятежа, умевший только вследствие своей осторожности принять вид покорного старосты партии. От всех этих показаний Рейнер впоследствии отказался, не опровергая их.

После неудачи под Лихановой наступает второй момент, когда выступает партия Шарамовича и происходит дело на р. Быстрой.

О деле под Лихановой имеется несколько показаний конвойных, ямщиков и хлебопека; наиболее достойны внимания показания поручика Керна и зауряд-есаула Попова.

Е. Попов был извещен поляками еще в Лиственничной о том, что готовится восстание, но не придавал этому веры. Когда майор Рик пришел в Посольск, то он послал Керна известить Попова; есаул Попов усомнился, не веря в возможность такого бесрассудного движения, и велел солдатам почистить амуницию для встречи г. Рика, сам же пошел с г. Керном к Байкалу смотреть шедший в это время пароход. В 200 саженях Попова и Керна окружили поляки авангарда; часть же из них бросилась к станционному дому. Г. Попов бросился в лес, был схвачен, потом освобожден и пошел на Мишиху лесом. Узнавши, что его ищут, он переделал даже в арестантскую одежду. Унтер-офицер Иванов приказал зарядить ружья и бросился в станционный дом вместе с ямщиками. Здесь они нашли еще патронов и стали отстреливаться. Поруч. Керн, услышав перестрелку, бросился к станционному дому, вскочил в заднее окно и одушевлял солдат. Тогда мятежники зажгли дом, а солдаты освободились в это время и ушли в

лес. Мятежники дали им свободно убежать и сами пустились врасстынную, услышав о приходе Рика. После дела под Лихановой, Бронский поскакал известить Шарамовича об этом деле; все решили, что, должно быть, прибыл целый батальон: передовой отряд бросился назад, три раненых — все это вместе было причиной деморализации; дворянская партия окончательно отказалась от участия и вышла под предводительством Рейнера навстречу Рiku. Таким образом Рейнер, бывший, повидимому, причиной лихановского дела, первый решился сдаться. В Мишихе же, как сказано выше, сошлись 3 култукские партии. Вечером 28-го прибыл Шарамович. Во весь день собирались остальные отсталые и приходили одиночные из дворянской партии, готовили оружие, провиант. Шарамович медлил, ожидая известий из передового отряда. Вечером же прискакал Бронский с известием из Лихановой. Шарамович был очень недоволен, приказал разыскать виновника, которым был, повидимому, Рейнер, так как он все время скрывался. В ночь с 27 на 28 происходили совещания у Шарамовича с Ильяшевичем и Целинским; первый предлагал идти напролом, последний — бежать в горы, но первое мнение взяло перевес и решили идти вперед. Шарамович писал всю ночь, затем утром разделил всех на плутонги, поручивши Котковскому стрелков, Квятковскому (Арцимовичу) — пехоту, а Целинскому — кавалерию, назначив из муринской партии к себе телохранителей, распределив офицеров и у.-офицеров, прочел им речь, в которой говорилось что-то о необходимости субординации, и выступил из Мишихи, переправившись последним вместе с сигнальником.

Полковник Шац тогда отправился на лодке в Иркутск, и кроме г. Черняева здесь остаются очевидцами лишь ямщики и женщины. Впрочем, из сличения показаний видно следующее: дойдя до дворянской партии, Шарамович увидел пароход¹⁾ и, догадавшись, что это, должно быть, войска, раскинул цепь около балаганов дворянской партии. Конвой был тут арестован и, как говорят, приказано было кологь конвойных, если с парохода начнут стрелять по шайке. Мятежники встретились с войсками г. Рика на берегу реки Быстрой, на неоконченной дороге. Войска наши имели в тылу дворянскую партию политических преступников. У моста майор Рик увидел вооруженных политических преступников, и так как нельзя было действовать сомкнутым строем, то он тоже раскинул цепь. Перестрелка продолжалась около часа. Тут был убит, как известно, поручик Порохов. Политические преступники все отвергают свое участие в этой стычке, говорят, что они только смотрели, а потом бросились бежать. Но Порохов убит, ему нанесено много ран, следовательно, были же сражающиеся, из которых между тем известны только трое, но самая продолжительность перестрелки доказывает, что преступники дрались и дрались упорно. Первым бежал Целинский, затем остальные. Бронский говорит, что Шарамович хотел убить себя, но он, Бронский, удержал его.

К вечеру подъехали поляки к р. Мишихе и потребовали перевоза. Есаул Прашутинский выслал Цикановского спросить, подчиняются ли они властям, и, получивши утвердительный ответ, приказал подать перевоз; перевозили всю ночь, после чего перевезенные партии направились в горы, перешли за гольцы и последние сдались лишь 22 июля.

¹⁾ Дорога идет вдоль берега.

О действиях этих шаек известно лишь очень мало, так как все основывается на их личных показаниях, но ясно, что руководители мятежа не теряли надежды пробраться за границу. Но более правильно организованной шайкой является шайка Держановского, наиболее же достойные внимания—это шайка Шарамовича, Целинского и Котковского. Все они сдались, уже перейдя за хребет. Они забирали русских бродяг, заставляя вести себя, но большею частью эти бродяги бежали, и лишь один из них сообщает некоторые сведения об этих шайках.

Вообще,—продолжал прокурор,—если мятеж не удался, то лишь вследствие энергических мер, принятых правительством, преступники же принимали все зависящие от них меры, чтобы выполнить задуманное дело. При незнании местности, мятежники бродили по лесам, умирали и заболевали и, наконец, принуждаемы были к сдаче лишь недостатком пищи; у них были деньги, но к чему вели они в этой пустынной местности,—и им приходилось питаться черемшой, ягодами, даже травой. Выходя к бурятам, они прежде всего старались убивать скот и есть, при встрече же с войсками часто упорно защищались и сдавались только после упорного боя, следовательно, упорствовали до конца.

Преследование, закрытие границы, при чем было уведомлено и монгольское начальство, единодушие бурят—вот что помешало приведению в исполнение их замыслов.

Затем прокурор перечислил отдельные эпизоды сдачи и захвата этих шаек. Опуская эти подробности, скажу только, что шайки Держановского и Котковского держались наиболее правильного направления; 1-я, как говорят, имела вожакom и руководителем бродягу из поляков Жилинского; последняя—бродягу Коровина. Этих бродяг они либо нанимали, либо заставляли вести себя, держа постоянно под конвоем. В двух шайках вожаки, которые вывели их на наши отряды, были убиты. (Чтение вышеизложенного продолжалось до 2 часов. После $\frac{1}{4}$ -часового отдыха снова приступлено к чтению обвинительного акта.)

— Во всех своих проступках преступники выказали упорное заперательство.—продолжал прокурор.— Несмотря на это, есть множество удик, общее соображение которых приводит к следующим выводам:

Политическими преступниками был сделан бунт против законного правительства намерением избежать установленной законом кары, который по всем признакам относится к преступлениям, предусмотренным ст. 174 ч. I разд. II уголовных военных законов.

Со стороны правительства вызваны были этим бунтом меры, необходимые для отнесения этого акта к указанным преступлениям, именно усмирения военною силою.

Преступление сопровождалось разграблением казенного и частного имущества, порчею телеграфа, насильственными действиями против начальства.

Если преступление не было выполнено, то по причинам, не зависевшим от преступников, принимавших с своей стороны все меры для того, чтобы его выполнить. Ниже видно будет, что преступление было умышленное.

Те, которые сознались, говорят, что целью их был побег за границу; прочее были случайности. Это опровергается обстоятельствами, раскрытыми следствием и подтвержденными присяжными показаниями.

Побег легче мог быть совершен маленькими шайками; для этого

не нужно было сплочиваться в массу, потому что чем более была шайка, тем труднее было бы пробраться.

Для побега незачем было идти в Посольское.

Если даже допустить эту цель, то лишь только преступники узнали о приближении войска, они должны были отказаться от своего намерения.

Мятежники хотели отдаться под покровительство Китая.

Значительное число преступников, неодинаковость их вины, различная степень участия воли в выполнении этих преступных замыслов заставляют меня разделить их на несколько категорий.

Обвинение может представить строгие данные в том, что лица, в настоящее время находящиеся перед судом, принадлежали к главным виновникам мятежа, между которыми следует искать зачинщиков и руководителей его.

Прежде всего народная молва, которая так редко ошибается, называла Шарамовича предводителем вооруженного восстания. Его называют все политические преступники. Затем все указывают на Квятковского (Арцимовича), как на главного зачинщика, на одного из самых деятельных помощников, если даже не зачинщиков. Затем на Вронского, адъютанта Шарамовича.

Но прежде, чем оценивать степень виновности означенных лиц, необходимо привести их показания и опровергнуть то, что в них есть ложного.

2.

Иркутск, 28 октября 1866 года.

Вронский, опрошенный первый, показывает, что он ничего не знал о предстоявшем мятеже, но подозревал что-то. Он подозревает Шарамовича, который, переезжая с ним на пароходе, говорил, что хорошо бы захватить пароходы, переехать в Посольское и там сжечь их, а затем идти в Китай. В Култуке, гуляя, говорил, что в простом народе, находящемся на работах, чрезвычайно много сохранилось жизни и энергии. Слышал также, что из-за Байкала получено письмо через бродягу. Зачинщиком он называет старосту Квятковского (Арцимовича), который несколько раз советовался, идти ли. В доказательство возможности побега он говорил, что в Култуке таможня,—следовательно, граница близко.

Он, Вронский, отказывался идти, считая Квятковского человеком глупым. 25 июня, гуляя, он встретился с собравшеюся в поход партией. Он дошел с нею до Мурина, где Квятковский сдал партию Шарамовичу, говоря: „Вот я привел тебе 150 человек“. Вронский уговаривал Шарамовича отложить намерение, но Шарамович говорил, что хочет их же счастья; на доводы об амнистии, Шарамович отвечал ему: „Ты спишь, но ты поляк, неужели ты станешь вымаливать милости у русского царя?“. Вронский пошел за Шарамовичем по дружбе к нему, принес себя в жертву Шарамовичу. Самоотвержение его дошло до того, что он, Вронский, отказался от должности адъютанта при Шарамовиче и пошел простым солдатом.

Шарамович отправил его в авангард и дал ему пашку прапорщика Лаврентьева, как самую легкую.

Таким образом Вронский отпирается от участия в заговоре, говоря, что пошел из дружбы к Шарамовичу. Он не отрицает ничего, говорящего в его пользу, но и из этого видна степень его участия.

Вронский говорит, что он не распоряжался арестом полковника Черняева, только видел его, но он же сознается, что, опасаясь грабежа, воспретил обыскивать его, с дороги послал Шарамовичу записку, прося жизни Черняева, и дал г. Черняеву честное слово, что он останется жив, и далее говорит, что Шарамович делал ему выговор за это честное слово, называя его честным словом ребенка. В доказательство небытности под Лихановой Вронский сослался на нескольких преступников, а между тем ездил сказать Шарамовичу о лихановском деле. Что же до другого его показания, что он был принужден к восстанию, то это ложь. Эта пассивная роль не согласуется с удостоверением г. Черняева, что всех злее был Вронский. Затем многие видели его в разных местах восстания, о чем есть несколько присяжных показаний.

На очной ставке с полковником Черняевым он решился сделать чистосердечное сознание и написал его по-польски; оно переведено на русский язык.

Вот оно:

Вронский слышал, что в Лиственичной что-то готовилось. Видя, что Ильяшевич в хороших отношениях с Квятковским, он пожелал знать, что такое затевают; но, увидевши, что Квятковский—человек грубый, необразованный, оставил желание познакомиться с ним. Здесь же он узнал, что затевается решительный шаг и записываются охотники. Когда он сказал об этом Ильяшевичу, тот ответил, что это глупости; Вронский поверил, не думая, чтобы такой дурак, как Квятковский, мог быть важным деятелем. Заметив, что Шарамович ведет постоянно разговоры и имеет тайные свидания, он спрашивал его, о чем эти разговоры, и вступал с ним в споры о возможности привести что-либо в исполнение.

Но в это время случилось какое-то воровство 2 винтовок и побег двух поляков, которые должны были ускорить восстание. В это же время приходил Новаковский и говорил, что теперь многие вышли на поселение, и поселенцы могут свободно сноситься друг с другом. Вронский видел Новаковского и хотел писать с ним что-то, но их разделили. Потом он и перестал думать о восстании, но 25-го увидал, что вся партия идет в Мурино; Вронский пошел с ними. На станции он увидел Шарамовича, которому Квятковский говорил, что он привел ему людей добрых, энергических, не упавших духом и готовых идти на гибель, Вронский говорил Шарамовичу: „Я плохой солдат“, и просился назад. „Немощные и трусы пускай идут вымаливать милости у русского паря“,—ответил Шарамович. Тогда Вронский пошел, сбросил халат и присоединился к прочим.

Ильяшевич был назначен начальником авангарда, Вронский—адъютантом Шарамовича и тоже должен был отправиться с авангардом и 30-ю отборными людьми. В Снежной Вронский просил Ильяшевича не портить телеграфного аппарата, на что получил ответ, что он дитя. Тогда он узнал, что дело приняло совершенно другое направление¹⁾. Глупость Квятковского, повешение Лисевича за донос и покража двух винтовок ускорили развязку, которая должна была быть через год.

¹⁾ Один из слухов, распространенных поляками.

Отправляясь, Ильяшевич давал Вронскому ружье; Вронский говорит, что он не хотел брать его, но Ильяшевич навязал насильно.

Идя по приказанию Ильяшевича к рыбакам за винтовками, Вронский встретил Черняева. Казак, находившийся при г. Черняеве, струсил, но полковник бросил такой взгляд, в котором я узнал величественную душу,—говорит Вронский,—и почувствовал к нему уважение, почему дал честное слово, что его не тронут, и написал об этом Шарамовичу.

На другой станции я просился у Ильяшевича назад, но он не отпустил. На одной из станций, заметив грабеж, он, Вронский, остановив грабивших, даже хотел в них стрелять, напомнив, что они политические, и их хороших дел никто не будет знать, между тем как худые всем будут известны.

После этого к нему стали обращаться с уважением за приказаниями, а потом Вронский ушел в дворянскую партию.

Ясно, что Вронский ничего не приводит тут в опровержение присяжных показаний, которые подтверждают, что он не был простым зрителем, а одним из начальствующих.

Целинский сам написал свои показания по польски. Г. прокурор прочел их по-русски. Он начинает их с заявлений, что государство, утратившее политическую свободу, не может вновь завоевать ее; что знал, что государь не даст прощения, если поляки вновь будут бунтовать; что теперь он ежедневно по 3 раза молится за здоровье государя императора, за которого он сражался на Кавказе в рядах русской армии и т. д.

Квятковский говорил ему, что настроение простого народа принимает дурное направление; что они жалуются на тягость положения, не надеются на будущее, хотя и благодарны государю императору за его милость. Это Квятковский все бунтовал народ, а Шарамович решился увлечь всех поляков и забирать оружие. Все это Целинскому не было известно, но он понимал это, как и многие. Шарамович, присматривая за ним и узнавши о разговоре с г. Черняевым, велел еще строже смотреть за ним. За реку (в стычку) он ходил для того, чтобы поговорить с Шарамовичем о деле; услышав выстрелы, Целинский ушел в лес. Оружия при нем не было, и откуда взялось оружие у других—он не знает. В лесу к нему примкнули все боявшиеся Шарамовича и пошли они, куда глаза глядят¹⁾. Слышал, как Шарамович приказывал Рейнеру собираться в поход. Он же предложил Целинскому начальствовать. Он, Целинский, отказался, но Ильяшевич пригрозил револьвером.

Его уличают в начальствовании, в том, что он был в деле под Мишихой, но во всем этом он запирается. Когда брали его шайку, он послал купить 15 баранов, но подчиненные закололи 40.

Восстание состоялось бы в больших размерах, если бы не высочайший манифест, который разделил партии. Про Рейнера ничего не знает, знал только, что он собирал свою расходившуюся партию.

— Вообще прибавлю,—сказал г. прокурор,—что Целинский один из тех, на которых так и сыплются улики; кроме множества присяжных показаний, мы имеем против него множество показаний политических преступников. Общее мнение говорит, что он, как по всему видно, был душою восстания; он шел в одной партии с Шарамовичем. При

¹⁾ При нем была карта Сибири.

русских он все как-то старался ступеваться, но в шайке он вполне развернулся; его шайка—самая организованная, он назначил себе адъютанта, и когда тот, кому он предлагал это, отказался,—Целинский бил его нагайкой (показания бродяги и поляков). Его шайка сдалась лишь после упорного боя (10 убитых). Все это объясняет он так: людей подбирал, чтобы сдать начальству; порох, оружие брал, чтобы сдать начальству, ушел за Гольцы для того, чтобы сдать начальству.

Шарамович, дворянин Киевской губернии, начинает свои показания с того, что человек должен откровенно высказывать свои действия, скрывать их может лишь подлец, либо ребенок. Вот сущность его показаний. Начальствовал я, но зачинщиков не знаю, кажется, их было несколько. Вступил в начальство с Муриной, но не подготовлял восстания. Рвение, высказанное людьми простыми, убеждало меня в возможности выполнить предприятие. Начальство предложил мне Квятковский, должно быть, потому, что он считал меня честным. Когда он звал меня к себе, я поехал в кулгукский лазарет. Я убеждал его не начинать восстания, но он рассказал мне, что уже сделано: собрано оружие, но когда и кем—не знаю. План действий мы обдумали дорогой. Из Посольска я не хотел идти в Нерчинск. Более подробно рассказывать не могу. Из Муриной отправил передовой отряд, приказавши оборвать проводку; аппарата ломать не приказывал. Из Мишихи шел обычным образом. Впрочем, я забыл сказать: Квятковский привел мне в Мурино около 100 человек, у меня было готовых около 120; я думал, что будет больше, но большая часть муринских разбежалась, в том числе родной брат мой. 16 человек я арестовал и держал их отдельно. О действиях передового отряда не знал, узнал только вечером, что произошло в Лихановой. В Мишихе узнал, что нам не сочувствуют, присоединилось только человек 50, да и все больше из непривилегированных. Из Мишихи хотел идти и провизию везти в лодках, но тут увидел пароход, которого я не ожидал; я думал, что нас будут ждать в Посольске, и затем обойти это селение. Тогда мы тронулись назад по дороге, я вернул их и мы ушли в лес. Мы решили идти, пробираться через горы в Китай. На следующее утро тронулись, раненых я уговорил вернуться. К нам присоединились несколько человек, в том числе бродяги. Потом собралось более 30 человек. Через несколько дней ушел бродяга и 9 человек; нас осталось, наконец, 17 человек; питались травой, рассчитывали на охоту, но убили только трех бурундучков. У меня был сначала револьвер, но кто-то отрезал его ¹⁾. Выйдя к жилью, взяли быка, рассчитывали заплатить за него, собрали деньги, но в это время нас заметили, стали стрелять; мы не сопротивлялись. Буряты связали нас и повезли. До Селенгинска я не говорил о своей фамилии, чтобы не быть зрелищем народа, там сказал. Я смотрю очень высоко на положение политических преступников и потому желал, чтобы все было честно; так как были отступления, то я просил неограниченной власти... (Шум, не слышно) Предположения о захвате парохода не делал. Писем из Нерчинского завода не получал, а слышал, что в Сиваковой были приговорения. Мне предоставили выбирать офицеров, я выбрал; кажется, один из них был Вронский, но не помню. Полковники и офицеры были арестованы без особой цели. О Вронском ничего не могу сказать. Он

¹⁾ Говоря, он закопал его в землю.

дитя, мы ссорились, но я его очень уговаривал итти. Целинского встретил в Мишихе, и так как он был прежде майором, то я предложил ему начальство. Докторов уговаривал итти с нами, грозил заставить итти. Но Рейнера не помню. Вронского посылал в передовой отряд. На Быстрой был начальником. Сигналист был,—не помню кто. О побеге из Култук не знал. Жандарма-вешателя при мне не было. Денежных средств не было. При этом Шарамович остался и впоследствии.—Таким образом, при всей напускной искренности,—продолжает прокурор,—он оказался не более искренним, чем другие, скрыл себя и подводил других, выдавая правосудию Квятковского, скрывая других¹⁾. Затем говорит, что Квятковского и Ильяшевича раньше не знал, между тем как они вместе гуляли и сговаривались. Когда же ему указали на это,—он остался при своем.

3.

Иркутск, 30 октября 1866 года²⁾.

Казимир Арцимович, в Иркутске переименовавшийся именем с Квятковским для того, чтобы ехать в Култук, в партию непривилегированных, не отрицает своего участия и говорит, что его уговорил один бродяга из нерчинских заводов, который уверил, что восстание будет повсеместным. Так как это был делегат из заводов, то он не мог его послушаться. На шайку не действовал угрозами, потому что предприятие всем казалось легким; сообразил, что делал большие приготовления к восстанию. Арцимовичу было приказано вывести в Мурино свою партию и сдать ее начальству, что он и исполнил. За взятие каких-либо вещей была объявлена смертная казнь. Говорит о сочувствии русских; полагал, что население недовольно управлением и присоединится к восстанию.

Ильяшевич отрицает свое участие в заговоре и говорит, что участвовал в восстании. Видел, что Квятковский (Арцимович) привел партию в Мурино, выехал к ним навстречу, но заметил, что слишком мало, отказался от участия. Тогда Шарамович предложил ему отправиться с передовым отрядом и отборными людьми, на что Ильяшевич

¹⁾ Если не ошибаемся, сначала разнесся слух, что Квятковский убит, потому, вероятно, его и выдавал Шарамович.

В этом письме содержится окончание отчета о 1-м заседании полевого военного суда, учрежденного в Иркутске по поводу беспорядков на Кругобайкальской дороге. Этим кончается суд над преступниками 1-й категории. В следующем письме о суде над преступниками 2-й категории будут приводиться оправдания преступников только в тех случаях, где они говорили что-нибудь разъясняющее обстоятельства дела, или когда личности почему-нибудь выдавались из толпы. Суд каждый день продолжает свои заседания. В субботу, 29-го, приступили к суду над преступниками 4-й категории, которые принимали участие в мятеже, но остались потом на дороге и не бросились в горы. Таких 79 человек (3-й категории было 118, второй 54 плюс 29 пропавших без вести). Эти заседания представляют мало интересного,—и залы, где происходит суд, совершенно пусты,—является с десятком посетителей и те только на полчаса, на часок.

30 октября не было заседания суда, да и заседание 29 октября не состоялось, так как, получивши телеграмму от государя императора о бракосочетании государя наследника, генерал-губернатор приказал отложить заседание суда, чтобы члены комиссии, свидетели и обязательно-присутствующие (управление политическими преступниками) могли быть на молебствии. (Примечание, очевидно, П. А. Кропоткина. *Ред.*)

согласился. Был действительно начальником отряда, но не получал никаких инструкций и не приказывал жечь станцию или ломать телеграфный аппарат. Отрекся от участия в совещании.

— При этом, переходя к Рейнеру, укажу, — говорит прокурор, — что он, как и все остальные, систематически отрицает в присяжных показаниях все то, в чем есть проблески истины, забывая при этом, что его преступление было слишком гласно.

Рейнер, староста дворянской партии, говорит, что его силою увезли до Мантурихи и что с дороги он убежал. Это похищение необходимо было придумать, ибо конвойные не видали его в течение 27-го. Его видели на Лихановой; но он указывает на Змиевского, который убит, напоминая, что Змиевский также носил синие очки и тут могла произойти ошибка. Рейнер действительно отсутствовал из своей партии, его видели солдаты нашего передового отряда в лесу. Участие его несомненно; мало того, в его присутствии Ильяшевич сделал более, чем следовало: он завязал перестрелку и сжег станцию. Таким образом 27-го Рейнер был на Лихановой, и 28-го вышел навстречу майору Рикку, с своей партией. Его уличают в том, что он был на Сухом Ручье, видели на Лихановой, на Мантурихе; но, узнав о приближении русских, Рейнер ускакал во-время. Когда Вронский привез Шарамовичу известие о лихановской стычке, Шарамович был ею очень недоволен, приказал разыскивать виновных, и Рейнер скрывался. Затем ему нужно было выставиться вперед, и вот он выходит во главе своей партии навстречу Рикку. Присутствие его на Мысовой и на Лихановой подтверждается несколькими присяжными показаниями; один из конвойных отлично знал его, как старосту; другие узнали его по цветной рубашке и т. д.

Не менее уклончив Котковский, служивший в военной русской службе, и, как сообщил недавно шеф жандармов, — тот самый, который был жандармом-вешателем в Варшаве, отрезавший ухо г. Фелькнеру и избежавший смертной казни лишь потому, что это открылось после его осуждения. (Котковского передергивает.) Все его показания в высшей степени несообразны. Несмотря на уличающие его показания, он говорит, что он (военный) бежал в лес и там прятался, пока не присоединился к другим шайкам. Личность его между тем такова, что в нем трудно ошибиться.

Вильчевский участия в передовом отряде не отверг. Ильяшевич передал ему полковника Черняева, когда сам поехал в дворянскую партию, при чем Рейнер показывает, что Вильчевский ранен в передовом отряде. Сам говорит, что был в обозе, ушел в тайгу, встретил шайку, которую вел бродяга Жилинский, и присоединился к другим.

Держановский. Один взгляд на него говорит, что это не из тех людей, которые могли бы участвовать в мятеже по принуждению народного правительства. (Держановский — очень плотный, довольно высокий, живой, но несколько горбатый человек.) На Мишихе был с палкой; в Мишихе его видели с ружьем. Говорит, что бежал в лес, сам не заметил, как перешел за Гольцы. Все заставляет думать, что в шайке он был вожаком. То, что его шайка отличается особенной практичностью, всех упорнее держалась, что он принимал участие в приготовлениях и что он во всем запирается — заставило меня причислить его к первой категории.

Итак, совокупность всех данных делает этот акт по всем при-

накам подходящим к определению бунта. Есть не сомненные данные, что он совершен не по внезапному побуждению.

1) Самая громадность замысла убеждает, что он не мог быть сделан, не обеспечивши возможности успеха, для приведения его в исполнение нужно было деятельное участие всех. Невозможно было, чтобы такой замысел явился у всех внезапно. 2) Мятеж вспыхнул через 2 недели по прибытии преступников на Кругобайкальскую дорогу, где тотчас же началось деятельное приготовление в Култуке. Из этого видно, что двигателей следует искать не в кругоморских партиях. Слова Целинского в связи с характером нации указывают, что мысль об уходе за границу была всегдашнею мыслью преступников: из намеков Вронского видно, что преступники постоянно разрабатываются тайными агитаторами. Но открыть гнездо мятежа было невозможно. Очевидно, что заговор был составлен раньше, в Листвничной, и что только внезапная монаршая милость разделила мнения. Но тем не менее наиболее упорные умы перенесли ее и в Култук.

Обдуманность заговора подтверждается тем, что Арцимович (Квятковский) должен был привести шайки в Мурино и там уже сдать другому.

Хотя, наверное, замысел был составлен дворянами, но они хотели привлечь простонародье, так как содействие таких агитаторов и деятельей, как Держановский, было им необходимо. Для того, чтобы поднять партию, в Култук послан Арцимович, который, чтобы попасть в партию непривилегированных, обменивается именем с Квятковским в Иркутске, во время совместного содержания с Целинским. В култукский лазарет двигаются все вместе; Ильшевич и Вронский—необходимые личности, так как Арцимович не знает местных условий. Сюда же, в лазарет, приезжает Шарамович и затем возвращается в Мурино.

В Култуке делались постоянные приготовления, среди балаганов была кузница, обнесенная высоким плетнем, где днем и ночью делалось оружие, пики и т. п. из казенного железа и насаживались на древки. При партиях были сухари, следовательно, заготавливались заранее. Из Култука и из Мишихи политические преступники постоянно уходили охотиться в тайгу, по всей вероятности, осматривая тропы.

На основании всего этого, находящиеся перед судом обвиняются в преступлениях, предусмотренных в ст.ст. 174, 634, 602 и 603 XII т. свода военных постановлений.

Первую категорию подсудимых составляют: ссыльно-каторжные: Целинский, 48 лет, бывший подпоручик 75-го Севастопольского полка, осужденный за участие в польском мятеже на крепостные работы на 8 лет; Шарамович, сосланный в рудники на 15 лет, Ильшевич, 26 лет, из дворян Киевской губернии, сосланный в рудники на 12 лет, и ссыльно-поселенец Арцимович, 24 лет, сосланный в заводы на 6 лет, обвиняемые в том, что они замыслили и подготовили преступление, не выполненное ими лишь вследствие посторонних причин; при чем Шарамович обвиняется в том, что был главою вооруженного восстания, а Арцимович в том, что подготовлял к этому восстанию; Рейнер, 21 г., сосланный в рудники на 8 лет, и Вронский, 20 лет, сосланный в рудники на 8 лет, в том, что они приняли непосредственное участие в мятеже и оказали ему энергическое содействие; Вильчевский, 23 лет, сосланный в заводы на 8 л., Котковский, 24 лет, сосланный в рудники на 15 лет и впослед-

стии оказавшись жандармом-вешателем в Варшаве, и Державинский, мешавший 42 лет—в непосредственном участии в бунте, замышленном первыми тремя и в предводительстве шайками.

Всем им сроки сокращены высочайшим манифестом наполовину, а Арцимович следовал на поселение.

Для обеспечения иска имеются у подсудимых деньгами 76 р. 90 к., вещей же почти нег никаких.

(Преступники уводятся, остается Целинский.)

Целинский высокого роста, плотный, седоватый и очень сумрачный. Он представил суду письменное оправдание, заключающееся в следующем.

Прежде всего Целинский просил высокую комиссию обратить внимание на его прошедшую жизнь. В 1848 году он, по воле отца, поехал за границу, где пробыл до 1850 г., когда возвращен на родину и оприходован за неявку. В 1853—1857 г.г. занимался дома хозяйством. В 1857 г. за дуэль сослан в Вятку и просился на Кавказ. В 1859 г. служил в Севастопольском полку, и служил честно, доказательством чему служат 5 полученных им наград и личное о нем представление начальника кавказской армии. В 1862 г. получил за храбрость орден св. Станислава и поехал в отпуск на волю, в Пятигорск. Дорогой заболел, опоздал явиться, и за то, что я поляк и не платил контрибуции, сослан в Сибирь. Когда скомпрометирована целая нация, невинные падают жертвами.—Я всегда был убежден,—говорил Целинский,—что если нация утратила жизненные силы, то она не может возвратить их насильем, и что единственное спасение для Польши объединиться с Россией. Такие убеждения я имел прежде, имею и теперь.

Прокурор. Покорнейше прошу суд обратить внимание на то, что человек, следовательно, не знал, что делал, а тем не менее делал.

(Целинский продолжает читать.) Всю жизнь ничего не делал противу правительства и все, что показал, справедливо. Если мое имя так часто называется в этом восстании, то это непременно ошибка или фирма. Ясно, что я не мог приобрести дочерия поляков, так как прибыл в Сибирь недавно и не имел в Сибири никаких знакомых, кроме 2—3 человек. Оружия при мне не было. Дорога, по которой шел, не вела к границе. При нашем арестовании не стреляли. Прок. Он ссылается на свою прежнюю службу, которую он разрушил своим первым преступлением, за которое сослан в Сибирь. Что же до того, что он не мог быть начальником, то это опровергается всеми показаниями, которые доказывают, что он был начальником; дорога, по которой он шел, вела именно к границе. Наконец, еще к обвинению его клонится его систематическое запертость. Целинский. Позвольте, у меня есть еще другое оправдание. Вооруженное участие никогда не был намерен принимать; доказательство, что я говорил об этом г. полков. Черняеву, и когда он посоветывал мне сложить оружие, я принял это за приказание и действительно исполнил его и уговаривал других. Если я последовал за убегающими в лес, то тоже с этой целью. Меня обвинять ложно; если не верят, то прошу строжайшего следствия. Я хотел хорошо сделать, но запутался; впрочем, полагаюсь на благородство и справедливость здешнего начальства. Прок. Против первого оправдания говорят все донесения вивиских начальников, по которым шайка Целинского сдалась с бою; что же до второго, то оно

опровергается всеми показаниями, против которых Целинский ничего не приводит.

Предс. Что же до следствия, то оно уже произведено, и суд не находит нужным назначать второе, строжайшее следствие; вы преданы суду на основании этого следствия. Наконец, вместо того, чтобы соизнаться во всем том, в чем вы уличаетесь, вы запираетесь, придумываете всякий вздор, говорите, что собирали людей, чтобы сдать их правительству, что хотите служить законному правительству, а между тем знали про заговор и не предупредили нас; вы раньше знали и сами говорили полковнику Черняеву, что говорили об заговоре, на пути из Кавска в Красноярск. Подс. Я решительно ничего не знал. Прок. Вы же говорили про какого-то старика. Подс. Я не знаю никакого старика. Полк. Черняев. Вы мне говорили его фамилию—Левандовский. Подс. В первый раз слышу. Черняев. Вы же сказали мне его фамилию. Прок. Наконец, вы получали через него письма, имели тайные свидания. Подс. Нет, я говорил, что только слышал. Черняев. Нет, вы сами называли мне его отставным полковником, вы говорили, что виделись с ним. Подс. Можно узнать, сделать следствие, я ничего не знал, я совсем даже Польши не знаю, и о заговоре ничего не слышал, не знаю даже Шарамовича. Прок. Но тут вот говорится, что вы сидели с ним. Подс. Сидел, да, но ничего не знал о восстании, я с Варшавы постоянно в дороге. Прок. Из всего видно, что вы знали; отчего же вы не предупредили? Подс. Я слышал кое-что, но не придавал этому веры; эти полчки столько говорят глупостей. Прок. Хорошо. Но зачем же вы брались вывести свою шайку за границу, „как израильтян из Египта“? Это ваши собственные слова.

Подсудимый отвергает это, но прокурор прочитывает ему присяжное показание казака. Прок. Потом, выйдя за голцы, он сражался и был ранен. Подс. Я ничего не жаловался. Предс. Но вас ранили. Подс. Так, немножко.

Прочитывается докторское свидетельство, из которого видно, что Целинский слегка ранен штыком в спину.

Затем прокурор прочитывает ряд присяжных показаний конвоиных и казаков, также показания и политических преступников, из которых видно, что Целинский ездил в шубе и кричал: „Пойдем на ура против русского царя“; что в тайге он принуждал одного из своей шайки быть у него адъютантом и за отказ бил того нагайкой; что он был начальником мятежа, приказывал бежать в тайгу; в тайге был начальником и бил одного за то, что тот сделал фальшивую тревогу, сказав, что идут русские; что Целинский шел с пехотой до Мишихи, а потом был начальником кавалерии; что в тайге собирал деньги, что его видели с шайкой и слышали, что Целинского называют начальником; что он хотел повесить одного из поляков и т. д.

Предс. Таким образом против вас ряд улик. Полковник Черняев указывает, что вы были на совещании с Шарамовичем. Узнав о его намерении сражаться, вы могли вернуться, как многие из ваших товарищей, но вы перешли р. Мишиху, сражались на Быстрой, в тайге были начальником шайки, вьюты, наконец, с оружием в руках и ранены. Подс. Эх, ваше превосходительство, все это ложь! Разве можно верить тому, что говорят эти поляки?

Затем Целинский продолжал в том же роде, не приводя других фактов; тогда председатель предложил ему подписать, что других

фактов в опровержение обвиняющих его показаний он не имеет, что было исполнено Целинским, и тогда приведен был Шарамович, среднего роста, плотный мужчина, с черною густою бородою, быстрым взглядом и очень спокойным выражением лица.

Прок. объявил, что Шарамович сознался в своем преступлении; все разногласие между вашими показаниями и показаниями других,—говорил прокурор,—состоит только в том, что вы не сознаетесь, что подготавливали восстание и принуждали к нему угрозами, сваливая это на Квятковского. Вы обвиняетесь в том, что вы были одним из главных зачинщиков восстания и предводителем вооруженного мятежа. Шарам. Про Квятковского, это не более, как выражение дум моих. Я не обвиняю его в том, чтобы он был зачинщиком; я сказал только, что имел с ним сношения. Мое оправдание. Я был свободен, но меня лишают свободы, лишают имения, вырывают из круга семьи, друзей, лишают всего, что составляет нравственную природу человека... Предс. Это не составляет вашего оправдания, это выше прошедшее. Зачем же вы сами уничтожили это счастье? Но это не идет к делу. Не имеете ли вы чего сказать в свое оправдание? Шарам. Мне показалось, что я могу говорить свое оправдание. Предс. Вас обвиняют за кругобайкальское возмущение. Имеете ли вы что-нибудь против этого обвинения? Шарам. Я могу только то ответить, что то, что я мог бы допустить, как оправдание, суд не может принять. Я знаю, что я решился возвратить себе свободу путем, признанным, по общепринятому государственному порядку, незаконным. Суд, я знаю, рассмотрит мою вину, и если есть что-нибудь, облегчающее ее, то найдет; надеюсь, что здесь будут судить меня справедливее, чем в Польше. Предс. Эту самую свободу, которую вы искали, вы могли приобрести другими путями, а не новым преступлением. Отвечайте нам о ходе дела. Положим, что вы хотели бежать за границу, но зачем же вы принуждали других, угрожая такими средствами, как пуля? Шарам. Такими средствами я не принуждал; я просто убеждал их присоединиться и идти, не имея сперва в виду, что дело дойдет до вооруженного столкновения. Предс. Но цель не оправдывает средства. Если вы действительно хотели бежать, то вы могли просто бежать; вы же избрали средством, для достижения своей цели, вооруженную силу. Вы говорите, что имели в виду не бунт, а побег, а между тем сделали бунт. Шарам. Я не имел в виду этих средств. Предс. Мало того, вы употребляли насилие. Шарам. На очных ставках меня никто не уличил в этом. Предс. А эта речь, которую вы им говорили? Шарам. Я объяснял им, что за всякий неблагородный поступок виновник будет строго наказан. Прок. Цинголевский уличал вас, что вы обещали пустить пулю в лоб тому, кто подойдет к русскому начальству. Предс. Самое лучшее доказательство вашего заpiresательства,—это то, что вы запираетесь даже в таких фактах, как то, что вы, например, сговаривались с Ильяшевичем и другими. Шарам. Положим, но я сказал, что об Ильяшевиче ничего не знаю. Предс. Все — не знаю. Как же сделалось восстание, о котором никто ничего не знает? Шарам. Не знаю. Предс. Все говорят, что вы были главным начальником еще раньше восстания. Шарам. Раньше, чем было восстание? Предс. Да, все говорят это. Шарам. Если моя фамилия сделалась известна, то только со времени восстания. Предс. Вы не знали, что Квятковский хочет поднять восстание? Шарам. Я знал, что Квятковский что-то хочет сделать. Предс. Вы постоянно

с ним советовались? Шарам. Моего взгляда на это Квятковский не знал. Предс. Не имеете ли вы еще чего сказать в свое оправдание? Шарам. Нет, я совершенно отдаю свою судьбу в руки суда, и уверен, что суд найдет оправдания, которые возможны.

Его уводят и приводят Арцимовича (Квятковского).

Прок. обвиняет его в подготовке восстания, в том, что он был главным деятелем, увлек свою партию и вел три култуксские партии до Мишихи, где сдал начальство Шарамовичу. После принимал деятельное участие в мятеже и сдался только при последней возможности. Арцимов. сознается во всем ¹⁾, имел в виду побег за границу, подготавливал восстание, по приказанию народного правительства, полученному через бродяг Жиплинского и Новаковского. На дальнейшие расспросы о начале мятежа отвечал, что больше ничего не знает. В оправдание говорит только то, что хотел освободиться, а других фактов для оправдания своего не имеет. Его уводят.

По уходе Арцимовича приводят Ильяшевича, высокого, худощавого молодого человека, с болезненным румянцем, на костылях, подерживаемого солдатом ²⁾.

Прок. обвиняет его в том, что он задумывал и подготавливал восстание вместе с Шарамовичем и Квятковским, был начальником передового отряда, арестовал своих действительных начальников и, как уличал его Вронский, приказал на Снежной сломать телеграфный аппарат и порвать проволоку. Предс. Что можете вы сказать в свое оправдание? Ильяш. Восстание я не подготавливал, а только слышал, что собираются идти за границу. Предс. О чем же происходили у вас такие продолжительные совещания с Шарамовичем и Квятковским? Ильяш. Я никогда не имел совещаний ни с Арцимовичем, ни с Шарамовичем... Предс. Из дела видно, что вы имели их. Ильяш. Кроме того я два—три раза разговаривал с Арцимовичем не о восстании. Предс. Вас может обличить Вронский. Ильяш. Вронский, пожалуй, обвиняет меня и в том, что я приказал сломать телеграфный аппарат. Прок. А вы отрицаете это? Ильяш. Вам, должно быть, очень хорошо известно из обстоятельств дела, что я был сзади, с отрядом, и когда пришел, то аппарат уже был сломан. Предс. Но свое командование передовым отрядом вы не отрицаете? Ильяш. Не отвергаю, что я был начальником передового отряда.

Приводят Вронского.

Вронский. Ильяшевич несколько раз видел, что Шарамович с Квятковским собирались и советовались что-то делать. Ильяшевич настолько любопытен, что он должен был поинтересоваться узнать, что затевается. Когда я спрашивал, действительно ли собираются уходить за границу, он отвечал, что нет. Ильяш. Может быть, я говорил вам, что так слышал от других? Врон. Несколько десятков раз, когда я спрашивал вас, что затевается, вы отвечали мне: „Спросите у Шарамовича, пусть он вам скажет“. Вы часто разговаривали с Шарамовичем, и все вместе говорили с Новаковским ³⁾. Когда я говорил

¹⁾ С Арцимовичем случилось следующее: все показали, что к восстанию при-
нуждал их Квятковский; этот Квятковский (Ян) убит, говорили все. Перед след-
ственной же комиссией явился Арцимович. Но этот Арцимович сам сознался,
что он был этот самый Квятковский, так как в Иркутске обменялся фамилией.

²⁾ Ильяшевич был ранен, у него сделался антонов огонь, он говорит с
трудом.

³⁾ Загадочная личность, положение которой не удалось выяснить. Это
беглый, который, повидимому, принимал деятельное участие в подготовке
восстания.

вам, что нет никаких средств уйти за границу, вы отвечали, что есть—это восстание. Предс. Вы говорили с Новаковским? Ильяш. Когда мы говорили? Врон. Я говорю истинную правду. Ильяш. Я действительно говорил с Новаковским. Врон. Помните, где мы с вами ходили чай пить, еще повозка была готова; я спросил вас, об чем вы говорили, и вы ответили, что Шарам. будет главным начальником в восстании; спросите его. Ильяш. Вообще, если мы разговаривали, то о том, как идти за границу. Предс. Вы, следовательно, зарнее знали, что Шарамович будет главным начальником? Ильяш. Ничего я не знал. Мы избрали его; когда он дал мне поручение идти с передовым отрядом, я подчинился ему и принял эту должность. Предс. Вы приняли. До тех пор, вы. стало быть, уже стояли в рядах. Допустим, что вы ничего не могли сделать, пока стояли в рядах; но когда вы приняли начальство, вы могли явиться русским властям вместе с своим отрядом. Но вы не сделали этого. Стало быть, вы не отвергаете того, что действительно были начальником передового отряда? Ильяш. Не отвергаю. Прок. Мало того. Он так усердно исполнял эту должность, что сжег станцию и приказал сломать аппарат, несмотря на то, что Вронский удерживал его от этого, так что даже Шарамович был недоволен. Врон. Я говорил ему,—не портите аппарата,—он стоит народу так дорого с доставкой сюда, а он только рассмеялся. Ильяш. Как же я мог портить, когда я там не был? Вам это должно быть известно. Врон. Да, но я говорил вам, как начальнику. Ильяш. Я не отдавал приказаний портить аппарат, но когда приехал, то узнал, что аппарат уже испорчен. Предс. Вронский показывает, стало быть, что он говорил начальнику авангарда не портить аппарата, но Ильяшевич не сделал распоряжения об этом. Ильяш. Да, так как Вронский всегда говорит много вздора. Врон. (Начинает очень скоро говорить что-то, чего нельзя расслышать.) Я уж не знаю, как говорить, вы отперлись. Я вам говорил, вы рассмеялись, сказали мне, что я ребенок. Предс. Отчего же вы вместо того, чтобы сделать распоряжение, назвали Вронского ребенком? Ильяш. Оттого, что он действительно ребенок.

4.

Иркутск, 30 октября 1866 года.

По уводе Вронского, прокурор читает защитительную речь Ильяшевича. Вот ее содержание:

„Меня обвиняют еще в том, что я силой принуждал идти, но кто же уличает меня в этом? Обвиняют в аресте полк. Червяева, но он сам свидетельствует, что арестован без моего ведома. Говорят, что я обезоруживал конвой... Да, я так же, как другие, желал освободиться. Если я принял начальство над авангардом, то потому, что во мне развито понятие субординации. Я не участвовал в деле под Быстрой, хотя и был с оружием. Вы будете судить меня перед глазами всей России, перед глазами Европы, народная молва произнесет о времени приговор над вашими поступками, и кровь осужденных вами падет на вашу голову и детей ваших. Народная молва говорила, что мы навеки здесь останемся; мы сделали попытку освободиться. Не-

ужели вы осудите меня за эту попытку? Я знаю, когда Беньяский бежал из Камчатки с 4-мя камчадалами-проводниками, то эти камчадалы были привезены в Россию. Узнавши, что эти бедные люди захнут вдали от родины, Екатерина II возвратила их на родину. Это было в XVIII в.; неужели теперь, когда все понятия изменились, вы осудите меня за попытку освободиться?»

Предс. Вы хотели вооруженною силою вернуть себе свободу? Ильяш. Я понимаю, что средство, избранное мною, признается незаконным. Предс. Вы оправдываете свою цель, забывая то, что цель не оправдывает средства. Вы избрали средством бунт. Мы судим то, что совершилось. Какая же была у вас цель впереди, куда вы хотели пробраться,—нам нет дела. Дело в том, что вы совершили бунт, умерщвляли людей, грабили, жгли... Ильяш. Я не отдавал приказаний жечь станции. Предс. В записке вы говорите, что думали навеки остаться здесь; вы забываете монаршую милость. Если в 1-й год вашей ссылки столько для вас сделано, то нечего было думать, что вас казны здесь оставят. Наконец, записка вовсе не идет к делу. Вы не хотите нам сказать, где начало мятежа, а между тем вы должны знать, где это начало. Когда вы были в Лиственичной, тогда уже было предположение уйти, прийдя на дорогу. Ильяш. В Лиственичной я ничего не знал. Предс. Но когда вы были в Култуке, вы должны были узнать от Арцимовича, от Новаковского, что готовится восстание. Ильяш. Новаковский ничего не говорил о восстании, просто хотели уйти за границу. Предс. Но как же вы хотели привести это в исполнение? Ильяш. повторяет, что не имели в виду вооруженного восстания, и затем дает подписку в том, что более ничего не имеет сказать в свое оправдание. Его уводят.

Приводят Рейнера. Молодой человек, блондин, без бороды, красивой наружности, в синих очках, движения очень сдержанные.

Прок. обвиняет его в деятельном участии в мятеже; в том, что Рейнер, тогда как его партия не тронулась (он был старостой дворянской партии, расположенной в 6 верстах от Мишихи), ездил в Лиханову, сжег там станцию, и тогда только вернулся и заявил свою покорность, выйдя навстречу майору Рикку. Поэтому прокурор причисляет Рейнера к наиболее опасным участникам мятежа, которые свои преступные замыслы прикрывают наружною покорностью. Кроме того Рейнер обвиняется в участии в совещаниях, в чтении приказа мятежникам и в участии в лихановском деле. Рейнер представил суду письменную защиту. Он говорит в ней: „Судьи, я еще раз заявляю свою невинность и прошу обратить внимание на то, что я не участвовал в деле, и на людей, дающих показания в том, что они меня видели. Показание Вровского не может быть принято, что он сам не помнит, что говорит. Показания солдат. Но я объяснил уже, что это неизбежно, ошибка. Другого, убитого, привели за меня по внешнему сходству. Писарь Багринский, но его показание не может быть принято. Я был старостою, и мне часто приходилось принимать от него испорченную провизию, мы часто имели с ним неудовольствие. Затем показания крестьян даны ими по следующим причинам. Когда меня привели в следственную комиссию, то там, где мне приходилось ждать, пока меня покуют, я увидел на дороге толпу крестьян, среди которых находился Багринский. При моем приходе, он горячо принялся рассуждать, оказывая на меня. Через 1/2 часа спрашивали крестьян, и ясно, что их показа-

ния сделавы под влиянием Багринского; но и тут даже на первом показании, так как совесть не позволяла им говорить утвердительно, они сказали, что, кажется, это был я. Спрашивается: возможно ли доверить таким показаниям? Этим оканчивается моя защита".

Прок. Несмотря на это, против Рейнера есть целый ряд показаний. Вронский говорит, что он хотел быть начальником партии. Все показания солдат (прокурор перечислил их имена) говорят, что Рейнер уезжал в то время, когда передовой отряд ходил к Лихановой; одни говорят, что не видели его в это время; другие видели, что он ездил, вернулся с офицерской пашкой, называли даже масть коня, на котором он ездил. Другие конвойные показывают, что он приказывал отбирать у них оружие; крестьянин Попов и другие (прокурор перечисляет их) утверждают, что Рейнер был главным во время поджога лихановской станции. Таким образом мы имеем против Рейнера ряд присяжных показаний рядовых и крестьян и бесприсяжных политических преступников. Что же до оправданий Рейнера, то если бы даже и не доверять Вронскому, то останутся ничем не опровергнутые показания солдат и крестьян. Голословно же отвергать присяжные показания невозможно. Рейнер. Спросите архитектора. Прок. Он уже был спрошен раньше. Предс. Наконец, против вас показания телеграфного ревизора. Вы говорите в своей защите, что показания крестьян не могут быть приняты, но крестьяне допускаются в свидетели законом. Затем кроме этих показаний есть еще несколько других, которые очень хорошо описывают вашу личность, сияние очки, одежду. Все они говорят, что вы были еще при сожжении лихановской станции. Прок. Конвойные не признали его, но крестьяне, бывшие с майором Риком, в один голос признали его. Предс. Так отвергать показаний нельзя. По закону достаточно двух присяжных показаний, а тут их еще несколько. Чтобы опровергнуть их, вы должны привести по крайней мере столько же присяжных показаний. Рейнер. Что я отлучался от партии, это я сам сказываю. Прок. Разница большая ездить по увлечению, или быть самому деятельным участником и начальником. Рейнер. Телеграфный ревизор не может говорить этого, так как я не видал его. Предс. А ямщик Ермаков? Он уличал вас в том, что вы ехали начальником. Рейнер. А почему он это знал? Предс. Это очень хорошо можно понять по действиям. Прок. Присяжные показания такого-то говорят, что при сожжении лихановской станции он принимал в этом непосредственное участие и стрелял в конвойных. Рейнер. Как же мог он это видеть? Предс. Он видел это, когда конвой отстреливался из станции. Рейнер говорит, что все это ложь, но председатель возразил ему, что так нельзя опровергать присяжных показаний, уговаривал Рейнера сознаться и указать зачинщиков бунта, но полсудимый продолжал утверждать, что ничего не знает. Тогда ему предложили дать подписку, что он более ничего не имеет в свое оправдание и увели.

Приводят Вронского, очень молодого человека, с свежим, довольно красивым и полным лицом и очень быстро бегающими глазами, низенького роста. Вронский, как известно, сознался во всем, и его оправдание заключалось лишь в том, что шел за Шарамовичем по дружбе к нему. Когда у него спрашивали более подробных сведений о начале мятежа, то он объявил, что сказал все, что подробностей не мог знать, так как он был болен, находился в лазарете и ничего не слышал.

Приводят Котковского.

Прок. обвиняет его в том, что он принял участие в мятеже, был одним из самых деятельных участников, командовал plutонгом на Мишихе, забирал провизию из магазина, командовал цепью в деле под Быстрой, затем обманом переправился назад через Мишиху, а после бежал в тайгу. В тайге предводительствовал шайкою и держался до последней возможности, сдавшись только с боя. По приказанию его надевали петлю на шею Багринского, чтобы узнать, где оружие и деньги. Наконец, шеф жандармов сообщил, что в Варшаве Котковский был жандармом-вешателем и участвовал в убийстве Фелькнера и отрезал ему ухо. Котк. оправдывается тем, что Багринский зол на него, так как он был помощником старосты и часто ссорился с Багринским за дурную провизию. Вся история про надевание петли—вымысел. Затем Котковский говорит: „Я из прусского войска поступил в военную службу“... Предс. Это ваше прошедшее. Оставьте его. Прокурор обвиняет вас в том, что вы принимали участие в мятеже, командовали отрядом. Котк. Я командовал цепью, но по приказанию Шарамовича; я не мог послушаться, так как боялся револьвера. Предс. напоминает ему, что 100 человек из их партии остались на месте. Прямо ссылаться на принуждение нельзя, нужно привести доказательства. Котк. Вронский говорит, что я командовал цепью, но он сумасшедший. Предс. Для того, чтобы решить, сумасшедший ли он, есть правительственные установления. Если его показания приняты судом, то вам нечего говорить об этом. Котк. просит новых очных ставок, чтобы доказать, что он не был начальником шайки. Предс. Зачем эти очные ставки? Вы хотите оправдаться? Котк. Да. Предс. Но это совершенно не нужно, когда все взятые с вами прямо говорят, что они были в шайке Котковского. Котк. Я хотел показать людей, которые подтвердили бы, что я насильно взят. Предс. Показания политических преступников не будут иметь силы против присяжных показаний. Котк. Не знаю, на каком это законном основании. Наконец, я должен напомнить, что говорят, что я забирал провизию; но все, бывшие в Мишихе, хозяйничали ею. В восстание же я пошел насильно, наравне с другими. Предс. И все время шли насильно? Котк. Я боялся пули. Предс. В Варшаве вы были смелее. Котк. Вы говорите про Варшаву; там один человек оговорил меня, и я за это сослан в Сибирь. Предс. Не об этом разговор. Вы говорите, что вы пошли насильно. Но были у вас товарищи, которые даже сперва приняли участие, а потом уходили, являлись начальству. Вы же ушли в тайгу и держались до последней возможности. Котк. Я заблудился в тайге. Предс. Незачем было ходить так далеко, чтобы можно было заблудиться; вы могли сдать в Мишихе. Котк. Я бежал в лес, а потом боялся выйти, чтобы в нас не стреляли; в тайге же я вовсе не был начальником. Прок. Для этого нужны доказательства. Котк. Какие доказательства там, где людей нет? Предс. Одним словом, вы и этого обвинения не опровергаете; вы могли остаться на дороге. В тайге же все называют вас начальником, так прямо и говорят, что шли в шайке Котковского.

Приводят Держановского, очень высокого, плотного bruneta, сутуловатого и даже несколько горбатого. Прок. обвиняет его в участии в бунте и в том, что он в тайге был начальником шайки. Держ. переспрашивает, что такое, говоря, что он глухой; ему кричат, в чем состоит обвинение; затем Держ. громко говорит на полупольском,

полурусском языке, беспрестанно переходя перед столом с места на место справа налево. Сущность его оправдания состоит в том, если бы он был начальником, то собирал бы коней, оружие и т. п. Между тем в этом его не обвиняют. За горами же его не взяли, но они сами добровольно сдались. Один из членов комиссии. Говорят, что вы в тайге были начальником? Держ. Пресвятая комиссия, какой же я начальник? Я не знаю ни читать, ни писать, карты не знаю. Чл. суда. Казаки говорят, что вы были. Держ. У меня не было очных ставок с этими казаками. Предс. Нет никакой надобности, казаки описывают вашу наружность, говорят, что такой-то был начальником шайки. Держ. Жилинский, бродяга, был начальником, ибо Ж. знал положение и водил нас. Чл. суда. Зачем же вы пошли в лес? Держ. Два раз мы ходили на дорогу, но казаки по нас стреляли, мы и огошлись в лес. Предс. Казаки в вас стреляли, когда вы сами стреляли; это было за гольцами. Чл. суда. Ружья имели с собой? Держ. У меня не было. Предс. У кого же были? Держ. Не знаю; палка у меня была. Чл. суда. Кто же вам дал ее? Держ. Монашеский; он был десятником. Предс. А это было у вас в шайке (показывает компас, вынутый из теодолита)? Держ. У кого-то было в шайке. Предс. У кого же взяли эту вещь? Держ. Не знаю. Чл. суда. Ты был начальником? Держ. Нет, Жилинский! Предс. Есть показание воинского начальника Матвеевского. (К прокурору). Прочтите его! Прок. читает, что отряд стоял у подножья горы Конгура, чрезвычайно высокого и крутого. По хребту ходили пешие патрули, которые сперва схватывали только одиночных поляков. Но в полдень на отряд напала вся шайка и начала стрелять. Тогда захватили 15 человек. В числе 12 человек сдавшихся был начальник шайки, Держановский,—в офицерской португее, высокий, суровый мужчина, с истинно-воинскою физиономиею. При опросе они показали, что намерены были пробраться в Монголию. Держ. Как перешли мы на ту сторону воды (р. Мишихи), то пошли в лес; как слышали выстрелы, бежали, дошли до братских и вышли из лесу к казакам. Чл. суда. Бились с ними? Держ. Нет, офицер еще дал нам поесть за то, что сами вышли. Некоторые остались, а мы вышли. Прок. Часть из них действительно выходили по одиночке, но некоторые дрались. Держ. утверждает, что сам сдался, что в шайке было только два ружья, но что оба не стреляли.

Приводят Вильчевского, из рядовых, молодого, сухоощавого, белокурого, низкого роста, с очень обыкновенным лицом. Прок. обвиняет его в том, что он участвовал в бунте, был в передовом отряде, арестовал полковника Черняева и, по показаниям Бронского, целился в него карабином; по показаниям нескольких портил телеграф; на Мишихе распоряжался, как начальник при расхищении магазина; ушел в тайгу; тел с шайкой до последней возможности, и ранен, следовательно, сражался.

Вильч. Я не знал, что здесь был заговор вооруженного восстания, а просто хотел идти за границу. Предс. Да, но этот побег вы исполнили с оружием в руках? Вильч. Нас заставили присоединиться, так что я принял участие не совсем добровольно. Предс. напоминает ему, что из их партии из 100 человек ушло 26, так что он мог остаться. Вильч. Они были за это арестованы. Предс. Кто же их арестовал? Вильч. Шарамович; поручик Лаврентьев освободил их из-под ареста Шарамовича. Предс. Какой же это арест, мно-

го ли человек караулило? Чего же вы, наконец, боялись? Вильч. А почему было знать? В Мишихе собралось много народа. Мало ли, что они могли с нами сделать. Предс. Но зачем же вы были в передовом отряде? Туда посылались отборные люди. Вильч. Нас было 32 человека; я был, как и все. Предс. Зачем же вы портили телеграф? Вильч. Нам было приказано. Предс. А на Мишихе вы распоряжались? Вильч. Да, пришли сказать, что из магазинов берут разные вещи; я сделал распоряжение не трогать и пригрозил заслушание. Предс. А как вы ранены? Вильч. Случайно,—я не сражался, я шел голодный, слабый, и был ранен в 3 шагах от есаула Матвеевского; он может подтвердить это. Предс. А остальные? Вильч. Были которые оборонялись; я же шел совершенно слабый и хотел сдаться. Прок. Он взят в шайке Держановского. Вильч. Нет, Жилянского. Предс. Жилянский, бродяга, вел вас. Кто же был начальником? Вильч. Жилянский, бродяга из поляков. Он вел нас. Предс. Зачем же вы не остались на дороге, а ушли в горы? Вильч. Нас было несколько человек; вечером все мы вместе хотели выйти, но увидели только крестьян, готовых стрелять в нас, мы ушли; потом нас собралось человек 60—70, встретили Жилянского, он и взял нас вывести за границу. Предс. Во всяком случае вы не отвергаете участие в арестовании полк. Черняева? Вильч. Нет, не отвергаю, но я был послан Ильяшевичем. Предс. А кто же вам приказывал целиться карабином в полковника Черняева? Вильч. Это неправда. Полковник даже сам просил меня остаться при нем, так как он меня раньше знал. Полк. Черняев. Это правда, действительно, он со мною шел и шел впереди; я не видел, чтобы он целился и едва ли он имел возможность это сделать. Предс. Хорошо, но во всяком случае вы не отвергаете, что участвовали в арестовании полковника Черняева, были в передовом отряде, не сделали никакой попытки уйти, между тем как 500 человек ушли... Вильч. Это было после, после. Тогда нельзя было, и мы ушли в лес. Предс. Кроме этого ничего не имеете в свое оправдание? Вильч. Ничего более.

Подсудимого уводят, и судьи уходят для совещаний.

5.

Иркутск, 2-го ноября 1866 года.

На следующий день, 25-го происходило, 2-е заседание суда. Публики было уже несравненно меньше, чем накануне, не более 30 человек.

В залу введены были преступники 2-й категории в числе 52, и, по прочтении им приказа командующего войсками о назначении суда, прокурор стал читать обвинительный акт. Изложивши, как произошли беспорядки на кругобайкальской дороге, он продолжал так или почти так:

„В настоящее время честь имею представить суду преступников 2-й категории, среди которых следует искать гнездо мятежа. Если лица, осужденные вчера, были главными зачинщиками и руководителями этого гнусного злодеяния, то, в настоящее время, мы имеем пред собою тех, без которых мятеж был бы немислим, так как они принимали непосредственное вооруженное участие или готовили

восстание. Все они селятся доказать, что шли по принуждению и не участвовали в стычке с войсками. Они указывают двух-трех лиц, которые, по их словам, принудили их принять участие в мятеже, но забывают свою численность, перед которою бессильны 2—3 лица. Они отвергают свое участие, но кто же жег, грабил, стрелял, сражался с Пороховым и т. д.? Но десятки посторонних свидетелей узнали их, и хотя они отвергают эти показания, но ничем не опровергают их. Частности их преступлений и присяжные показания в подтверждение обвинений будут приведены особо, при обвинении каждого из преступников.

После этого преступники были уведены, и оставлен

1. Александрович, Виктор, раненый пулею из револьвера Порохова и взятый на Мишихе в то время, когда шел, чтобы сдатьсь нашим войскам по совету Шарамовича, что подтверждается тем, что Шарамович говорил, что, действительно, увидя в лесу одного раненого, посоветывал ему сдатьсь.

Подсудимый оправдывается тем, что раньше ничего не знал. Наехали люди, которых он не знает, и погнали всех, не говоря куда. Когда Александрович услышал выстрелы, то бежал и ранен своими, ибо русских войск не видал. В подтверждение того, что, действительно, ранен своими, никого не может привести. Кто был старостой партии, не знает, ибо просто звали его старостею. Других фактов в свое оправдание не привел.

2. Бартольд, взятый без оружия за гольцами. Против него есть показание полк. Черняева, что на Мишихе он приходил к Шарамовичу, сделал ружьем на караул и рапортовал о побеге двух поляков. Кроме того, политические преступники говорят, что он был помощником Арцимовича, считался как бы начальником отдельной шайки и конвойных; что он первый вбежал в балаган, чтобы обезоружить конвой. Сам показал, что шел с палкой, и сознался, что был солдатом; прочее отрицает.

Обвиняется в том, что ушел из партии, принуждения не доказал, шел с ружьем, обезоруживал конвой; есть подозрение в том, что был под Быстрой, ибо имел ружье. Наконец, явное заpirationство. Все это подсудимый отрицал, и когда была дана ему очная ставка с одним из рядовых-конвойных, то этот последний объявил, что вся партия ворвалась в балаган арестовать их, и был ли он тут или нет, — не припомнит. Все были кто со штыками, кто с пестями.

Других фактов подсудимый не привел.

3. Юркевич, мещанин, явился сам без оружия; из 1-й култукской партии дошел до Мысовой (170 верст). Показывает, что шел по принуждению, был в обозе оружия и оттуда бежал, слыша выстрелы; найден шайкою Шарамовича и через 2 дня бежал. Рядовой Хаймович уличает его в том, что он был на Мысовой с оружием, ставил там самовар и предлагал Хаймовичу пить чай. При этом прокурор замечает, что конвойным показывали политических преступников в массе, и они в массе узнавали их, говоря такой-то был, такой-то не был ¹⁾. Подсудимый оправдывается тем, что хотел бежать за границу; но когда увидел, что им грозит голод, вернулся. Прокурор просит суд обратить на это внимание, как на доказательство упорства воли, уступившей только такому влиянию, как голод.

¹⁾ Большая часть из них накануне сбрила бороды и подстригла волосы.

4. Сарнецкий, кузнец, 1-й Култукской партии. Следовательно, занимался приготовлением оружия в домашней кузнице между балаганами. Многие политические преступники указывают на него, как на помощника Арцимовича. Кроме того, есть несколько показаний, что на Мишихе был начальником телохранителей Шарамовича, и говорят, что он знал бродягу Жилинского. Только отсутствие особенно резких указаний заставило отнести его во 2-ю категорию, а не в первую.

Подсудимый отрицает все это, говоря, что действительно был кузнецом, но занимался выделкою ножей и т. п.¹⁾ Создается, что был с ружьем, но это ружье дал ему Шарамович, а сам шел по принуждению, боясь смерти, так как Квятковский читал наказ, угрожающий смертью тем, кто не пойдет с партией.

5. Олторжевский, крестьянин, явился 16 июля к майору Риксу. Архитектор Чистяков уличает его в том, что он был на Мишихе с оружием. Подсудимый сознается, что был с пашкой, но ее дал Шарамович неизвестно для чего.

6. Бартасевич, крестьянин, которого Хаймович видел в передовом отряде, на Мантурихе, взятый 22 июля за гольцами, отрицает свое участие и говорит, что не имел никакого оружия, даже палки.

7—11. Крестьяне Кащевский, Бужинский, которого Арцимович рекомендовал Шарамовичу, как особенно надежного человека; Монеvский, на которого падает подозрение, что он объявил приказ народного правительства, и Крыжлинский, конвоировавший полк. Черняева, которых многие видели в разные моменты восстаний с оружием, в передовом отряде на Лихановой, Мысовой и т. д.; все отрицали свое участие, говоря, что тут должна быть ошибка, если их признали конвойные.

12. Затем приводят Ранецкого, крестьянина из I култукской партии, взятого 30 июня в окрестностях Мишихи. Он ранен пулею, которая, как видно из докторского свидетельства, вошла в глаз и раздробила подбородок; она ударилась в нижнюю челюсть, отскочила рикошетом назад и оторвала верхушку языка. Подсудимый не может говорить, почему в следственной комиссии не могли отобрать от него показаний. На вопросы председателя, он издает глухие звуки, из которых лишь по догадке можно составить слова; подсудимый говорит, что ранен на Мишихе в тайге; выходил оттуда, русские стреляли и ранили. Предс. возражает, что этого не было, что наши войска стреляли только на Быстрой. Прокурор прочитывает выписку из журнала штаб-р. Ларионова, из которой видно, что на левом фланге патруль наткнулся на 6 чел., которые сделали 4 выстрела и бежали. На месте остались 3 раненых, из которых один вскоре умер, у другого оторван язык. На месте найдено 1 ружье, 1 пика, 1 пашка и 1 коса.

13. Квятковский, крестьянин, обменявшийся именем с Арцимовичем, говорит, что был за р. Мишихой; Шарамович выстроил их около моста, они выстрелили и бежали в тайгу, где встретились с Шарамовичем. Когда они хотели вернуться, он уговаривал их идти, обещая вывести за границу. Обменялся именем, так как его уговаривал один высокий старик, — опекун двух молодых близнецов Левандовских, следовательно, это был Целинский, говоря, „пойдем с нами,

¹⁾ При последующих вопросах многие подтвердили, что Сарнецкий занимался приготовлением оружия.

ты будешь нам в партии прислуживать за деньги". Подсудимый согласился, так как тут он делался дворянином.

14. Зарембский, мещанин (заявил суду, что на самом деле он — дворянин и чиновник), взят в шайке Котковского. На него указывают, как на помощника Арцимовича; поручик Лаврентьев говорил, что когда Арцимович в 7 вер. от Мурина, уехал вперед, то Зарембский остался начальником; есть показание, что он знал о предстоящем восстании, что он был конвойным при поручике Лаврентьеве; что ехал с мятежниками, но без оружия, наконец, есть еще показание одного полигического преступника, что когда шли, то Целинский говорил, что Зарембский назначен тайным комитетом, как один из руководителей. Подсудимый объясняет 1-ое показание так, что поручик Лаврентьев, знавший его, обратился к нему с вопросом, и он отвечал, но начальником не был, так как на 7 вер. не к чему было назначать начальника, и если бы, действительно, был начальником, то имел бы оружие. Хотя не видался с Новаковским, но знал о подготовлявшемся восстании и говорил с Ильяшевичем, но всех громил за это и не хотел идти, имея жену и детей. Квятковский поэтому не доверял ему. Не донес же потому, что не хотел быть шпионом.

15—17. Ковальский, Клобушевский и Мысловский, хотя и видали их с оружием, но отвергают свое участие в мятеже и говорят, что шли по принуждению.

18. Шендер из евреев, взятый за гольцами, и по показанию есаула Прашутинского и одного рядового, бывший горничным при Шарамовиче (Шарамович не отрицает, что при нем был горничный), виденный конвойными с оружием на Лихановой и Мысовой, говорит, что у него, действительно, был рожок, кем-то ему данный, и что он на нем действительно раз сыграл отступление и бежал.

19. Писанко довольно прямо сознался, что был на Мантурихе, держал там лошадь и оружие. С Мантурихи бежал в тайгу и попал в шайку, где вожаком был Жилинский, а распорядителем Держаповский. Когда есаул Попов уличал его в том, что он был с оружием, то возразил, что есаул Попов, арестованный в то время, не мог видеть, когда он держал лошадь и оружие Вронского.

20. Ярошевский значится в списке поручика Лаврентьева, явившимся в Мурино. Но конвойные уличают его в том, что в Утуликке он поймал лошадь и напал с шайкой на солдат, что был перед Мишиной, что его видел в дворянской партии, в Мантурихе, на коне с шашкой; что под Лихановой он стрелял. Это противоречие объясняется тем, что г. Лаврентьев перечел только цифру бывших налицо, фамилии же ему гонорил один политический преступник Янчевский. Ряд показаний, которые следят за Ярошевским до Лихановой, — говорил прокурор, — не оставляют ни малейшего сомнения в том, что он, действительно, участвовал в восстании и что в список он попал по ошибке.

Подсудимый говорил, что его могли смешать с Гужинским, но следственная комиссия не нашла в них ни малейшего сходства.

21—23. Крестьяне Ягянов, Брудницкий, Бодарчук, Виктор Александрович, Мекаула, Кульшевский, Рапченко и мещанин Вильчинский, несмотря на многие показания лиц, видевших их с оружием в переловом оряде, продолжали утверждать, что вышли по принуждению, боясь быть арестованными и повешенными; о начале восстания ничего не знали; кто были начальниками,

большую часть, не помнят. 29. Тоже говорил и Керсновский, выходивший, по показаниям полковника Черняева, на вызов Шарамовича: „пане порушник 5-го полку“. Один только 30. Вишневецкий сознался, что был с оружием, которое бросил, и сослался на есаула Попова, который видел его утром 28-го без оружия, что г. Попов и подтвердил ¹⁾.

31. Наленч, двор., сознался, что был в передовом отряде и обвиняется в деятельном участии в мятеже. Подсудимый приводит в свое оправдание, что он явился в дворянскую партию, где скрывался, так как Шарамович хотел его повесить. Архитектор Дружинин и кондуктор уличали его в том, что он, арестуя их, был с оружием, на что подсудимый ответил кондуктору, что он потому уличает его, что до настоящего времени не отдал ему, Наленчу, 1 рубль, взятый взаимы. Поручик Лаврентьев говорит, что он не видал, был ли он с оружием или нет.

На 3-м заседании, 26 го октября, продолжали спрашивать подсудимых 2 категории. Публики, которой уже наскучило 2 заседания, не было; приходило несколько человек и уходило, посидев несколько времени.

Действительно следующие подсудимые 32—36. Вонсович, Жолондковский, Рохневич, Нежинский и Бенковский все показывали, что были по принуждению и оружия не имели, несмотря на все улики. 37. Прусский подданный Бушкат, бывший, по показаниям гг. Прашутинского, Дружинина, Просвирикова, Багринского и Черняева, жандармом-вешателем (они узнали его в толпе, несмотря на то, что он остриг волосы и сбрил бороду),—упорно отрицает это, говоря также, что не может защищаться иначе, как по-немецки (начальник над политическими преступлениями мажор Купенко уличал его, что он отлично говорит по-польски и объясняется по-русски). В оправдание Бушкат сослался на полковн. Шаца, который, действительно, говорит, что видел его, но не может сказать, был ли он жандармом-вешателем или нет.

38. Нидермаер, из дворян мушинской партии, взятый в дворянской партии. Несколько рядовых показали под присягой, что видели его 28 го с оружием; другие видели его с ружьем, верхом на Мантурихе, откуда он уехал на Лиханову. Вронский показывает, что Нидермаер был на Лихановой и рассказывал ему, Вронскому, что Рейнер делал ему выговор за то, что он ушел в лес. Подсудимый показывает, что он был в лесу, где собирал насекомых и, выходя, увлечен был партией, затем на него надели оружие, которое он бросил и ушел в дворянскую партию. Поручик Керн позволил ему даже разыскивать раненых. В оправдание свое подсудимый приводит, что его положение известно, в дела он никогда не вникал, жил особняком в балагаче, вдали от других, в помещальник явился к г. Черняеву. Г. Черняев говорит, что не может его припомнить. Подсудимый кончает, что предоставляет суду, если можно, облегчить его участь, что он полагал, что полк. Черняева его помнит; если же нет, то других фактов не может привести.

39. Панковский, из дворян, сборщик податей при Шарамовиче, показал, что, действительно, участвовал в восстании, был на Мишихе, чтоб драться, но не имел оружия, потому что не хватило.

¹⁾ Стычка под Быстрой была 28 го в 8-м часу вечера.

Из дворянской партии пришел на Мишиху, а потому не знает, ездил ли Рейнер на Лиханову. Денег было собрано до 40 р., которые Шарамович роздал потом по рукам. Целинский был, кажется, с Шарамовичем, но никаких назначений не имел. Панковский был при том, когда приехали конные и спрашивали, кто начальник. Никто не объявил себя. Ильяшевич ответил: „Не ваше дело“. Рейнер хотел собрать партию, чтобы совещаться, что делать, но партия не собралась. Тогда Панковский ушел к себе в балаган, а утром пошел в Мишиху. На спрос, кто ушел ночью и ездил ли Рейнер, подсудимый отвечал, что не знает; ждал только Шарамовича и пошел к Шарамовичу.

40. Также сознался и Мысловский, участвовавший в бою с поручиком Пороховым. Он говорит, что был в тайге и уходил уже после схватки на дороге, когда загородил ему дорогу наскочивший на него Порохов, слегка ранивший его в руку; тогда Мысловский ударил его своею саблею, кажется, по голове, — наверное не может сказать, — и удалился. Затем был в тайге с Шарамовичем и взят в его шайку. На дальнейшие расспросы Мысловский отвечал, что рассказал все, касающееся до него, а про других ничего не знает.

41—45. Фишер, Глинецкий, Маркус, Невера и Нюрка также отвергают свое участие, как и все остальные.

46—48. Тэль, Пшеполковский и Енджевский, бродяги, бежавшие из Читы, пристали к мятежу, как говорят они, по принуждению и взяты за голяцами. Прокурор по совокупности преступлений, зачислил их во 2 категорию. В оправдание свое они ничего не представили.

49. Спос, как раненый, был обвинен прокурором в участии в мятеже; но подсудимый сослался на полк. Черняева и других, которые знали, что он тот самый, нечаянно раненый, про которого упоминалось раньше. Они это подтвердили.

50. Блажиевский, бывший фельдшер при муринской партии, участвовал в мятеже и был в шайке Шарамовича. В оправдание свое приводил, что на повозке привезен до Мишихи; бежать не мог, так как боялся, а убежал уже из тайги, как только представилась возможность. Вовсе не хотел участвовать в мятеже, так как кроме своих книг ничего не знал и жил в балагане с одним стариком, который не принимал никакого участия в делах, и одним молодым человеком, который тоже постоянно читал. В подтверждение он сослался на полковника Черняева, но г. Черняев видел его только в воскресенье, 26-го, когда его арестовали, и он шел с Ильяшевичем, пославшим Блажиевского вперед распорядиться о самоваре, а затем во вторник, после лихановской стычки, Шарамович действительно подтвердил, что когда д-ра мишихинского лазарета отказались идти, он принудил идти фельдшера. В тайге ходил с несколькими поляками, боялся выйти, думая, что от русских солдат пощадят не будет.

51. Вигановский, явившийся к есаулу Прашутинскому после дела под Быстрой, был за р. Мишихой, следовательно, под Быстрой, и держал вьючную лошадь. Из расспросов полк. Черняева и собственных показаний подсудимого обнаруживается, что Вигановский должен был быть в число 70 человек, составлявших кавалерию Шарамовича. Заметив парход, который вез русские войска, Шарамович отдал задней половине приказание вернуться к Мишихе, где на лодке сложена провизия и навьючить ею лошадей. Тогда они все вернулись и стали вьючить, складывая припасы за неимением сум в свое походное

платье. Выгановский должен был быть в числе этих лиц; но затем он не пошел в тайгу, вырвался и сдался есаулу Прашутинскому.

52. Дзингалевский, бывший при арестовании полк. Черняева с ружьем, явился в Цосольском. Никаких фактов в свое оправдание не привел.

53. Витковский, сужденный заочно, привел в свое оправдание, что из-за подозрения в принадлежности к тайным обществам он был отдан в солдаты. Там без правого глаза и без зубов он был предметом постоянных насмешек со стороны солдат. Это побудило его бежать. Так как это было в военное время, то за это он попал в Сибирь. Здесь он выдержал тифозную горячку, потом, через несколько времени, эпидемическую. Все это страшно его расстроило. Недостаток пищи, сырой климат, неполучение от родных писем,—все это привело его в отчаяние, и он пошел за авангардом. В настоящее восстание он лишился руки, и остается без правого глаза, без зубов, без руки и просит сострадания у судей. К той же категории причислены Давидовский, который не сужден по болезни, Зарембецкий и Радзивилович, умершие, и 27 человек, пропавшие без вести.

Приговор я сообщу по окончании суда над всеми.

6.

Иркутск, 3-го ноября 1866 года¹⁾.

27-го октября начался суд над преступниками 3 категории, в числе 119 человек, и кончен 28-го. В эту категорию были зачислены преимущественно те, которые были взяты за гольцами; а то, что они были при оружии, не доказано положительно, так как имелось лишь одно присяжное показание, что при них было оружие.

Все это почти исключительно крестьяне, увлеченные в мятеж своими руководителями и по большей части почти не сознававшие, куда и зачем они идут.

После прочтения им приказа командующего войсками о назначении военно-судной комиссии, прокурор приступил к чтению обвинительного акта. Вкратце изложивши, так же как для второй категории, отличительные черты беспорядков, прокурор стал читать обвинение, касающееся собственно этой категории, приблизительно в следующих выражениях:

Если во 2 категорию вошли преступники, составлявшие самое гнездо мятежа, то преступники 3 категории были его проводниками. Отличительная черта этой категории—это отсутствие положительных указаний на то, что они участвовали вооруженными; но все они взяты

¹⁾ Мы получили эту статью при следующем письме: „Посылаю четвертое письмо о военном полевом суде в Иркутске. Оно заключает в себе изложение суда над политическими преступниками, отнесенными к 3 категории. О 4 и 5 категории я напишу в следующем письме. Вчера и сегодня судили 6-ую категорию, т.е. которые не приняли решительно никакого участия, но которых прокурор обвинял в том, что они знали о предстоявшем и, выходя все навстречу нашему отряду, предпринимали только стратегический маневр. Эти подсудимые были большею частью из людей образованных и начитанных, знакомых с судебною процедурою. Завтра пересироят всех остальных, составляющих 7 категорию. 7-го ноября состоится окончательный приговор“. (Примечание редакции „Биржевых Ведомостей“).

по ту сторону гольцов, следовательно, продолжали упорствовать в своем противозаконном намерении до самой последней возможности. В массе есть такие, которые, действительно, просто хотели бежать, но для того, чтобы достигнуть этого, они сопротивлялись войскам. Принимая деятельное участие в мятеже и побеге за границу, они обязаны отвечать и за последствия своего преступления.

Наконец, покорно прошу суд обратить внимание на их запарательство, неискренность показаний, на желание затемнить все те обстоятельства, которые могли бы разъяснить дело и степень виновности главных зачинщиков и участников. Поэтому я обвиняю их в деятельном пособничестве бунту, соединенном с упорством в достижении предначертанной преступной цели. Частности обвинений против отдельных лиц были изложены особо при отдельных вопросах. Некоторые из подсудимых этой категории обвинялись в том, что участвовали в мятеже с оружием. Все же вообще,—в участии вообще, и в том, что не отстали от мятежа раньше, в то время, как столько раз имели возможность бежать, как во время пути из своей партии до Мишихи, так и во время странствований по тайге.

Почти без исключения все подсудимые этой категории в своих объяснениях перед судом говорили, что раньше ничего не знали о предстоящем побеге за границу, видели только, что дворяне что-то говорили между собою. Оправдания всех сводятся на одно: наехали люди неизвестно откуда и стали выгонять всех из балаганов, заставляя идти и грозя в противном случае загноить в Байкал и потопить или пустить пулю в лоб. Чтобы не разбежались, окружили их конными и гнали на Мишиху; весьма многие прибавляют еще тот вариант, что усадили на телегу и увезли. На Мишихе расставили цепь и, слишком, хотели перерезать тех, кто не захочет идти. У приехавших таким образом людей в числе 30—50 человек ¹⁾, было оружие. „Где же было нам сопротивляться, когда и конвойные не могли ничего сделать“, прибавляли другие. Иные дополняли тем, что дошли до отчаяния; холодно, голодно, не думали, что будет хуже, и решились бежать за границу.

Некоторые из подсудимых говорят, что бежали с дороги, еще не доходя до Мишихи, и спрятались в тайгу. Но большинство говорят, что бежали, слыша выстрелы или трубы горнистов, или же слыша о приближении русских войск. На другой день, как говорили многие из подсудимых, они хотели выйти из леса на дорогу, но в них стреляли крестьяне, солдаты и казаки; другие же, узнавши это от скрывавшихся же в лесу, вернулись и потом присоединились к шайкам Шарамовича, Котковского, Держановского и другим, еще более мелким кучкам.

Замечу при этом, что во всех этих рассказах есть доля истины. Несомненно, как оказалось при суждении следующих категорий, что многие шли именно только в надежде убежать за границу, которую они считали очень близкою, вовсе не рассчитывая на вооруженное столкновение с войсками; что многие шли, действительно, по принуждению или увлеченные другими; что иные действительно хотели выйти из тайги, но в них стреляли, тогда они снова бросались в тайгу и сходились с другими, и присоединялись к шайкам. Но как все, за исключением 5—6 лиц, и в том числе даже такие, которые,

¹⁾ Другие говорили, что не помнят, сколько их было и кто именно.

несомненно, принимали деятельное участие, показали, что шли по принуждению; и весьма многие утверждали, что хотели вернуться, но не могли, то суд находился в весьма затруднительном положении—отделить действительно таких от тех, которые лгали. Таким образом, показания подобного рода, если они подкреплены фактами, не могли быть приняты судом, на основании соображения, что нелегко, что 5, 6, наконец, 10 человек могли всех заставить идти за собой. Поэтому легко может случиться, что в число действительно виновных попадут в следующей категории,—может быть, и в этой,—люди, шедшие по принуждению или же по необходимости, вернувшиеся в тайгу и, наконец (таких должно быть не мало), шедшие по увлечению, слишком положившись на своих руководителей; последних особенно их должно быть не мало.

Во время расспросов суд старался выяснить положение некоторых сомнительных личностей, как, напр., Держановского, Сарнецкого (кузнеца), Керсновского, а также Целинского и друг. По подсудимым по большей части не называли имен, уверяя, что не знали наехавших к ним людей, не знали о приготовлениях и т. п.; впрочем, двое показали, что Сарнецкий, действительно, приготовлял оружие; а если не более, показали один, что Держановский в тайге был хозяином (или старостой); другие,—что на нем была пашка на серебряной портупее и что он имел ружье, которое иногда передавал другим. Наконец, про Керсновского было показание, что он, действительно, был поручиком 5 полка.

Остальные говорили, что не помнят, в чьем были плутонге, в тайге же ходили без начальника, или выбирая такового по очереди на 3 дня.

Любопытно, наконец, следующее показание про Целинского; он обещал всех вывести за границу,—в Бухарию, по словам одного из подсудимых. „Пусть хоть один человек при мне останется, а с ним одним выйду за границу,—говорил некоторым Целинский,—и через 3 месяца будем уже в Париже“. Одного из своих спутников Целинской принуждал быть адъютантом. „Я отвечал ему,—говорил подсудимый,—что не умею ни читать, ни писать; но он выставил меня на 6 часов на дождь и бил нагайкою“. Когда спутники Целинского стали просить его поскорее вывести к жилию, а уже не за границу, то он отделил от себя 16 человек и говорил: „Идите, куда хотите“, и не хотел даже сказать, куда идти. „Наконец,—говорили подсудимые,—выходя из гор, мы сдавались без боя; не то нас захватывали казаки или бурята. Все терпели недостаток в пище, сперва питались лошадыми, делая из кожи сумы для припасов, а потом чем попало“. Фактических опровержений обвинения почти никто из подсудимых не представил.

7.

Иркутск, 10 ноября 1866 года.

На следующем 6-м заседании было приступлено к суду над политическими преступниками, отнесенными прокурором к 4 категории. Их было всего 76 человек. Все они,—говорил прокурор,—принимали более или менее деятельное участие в мятеже. Все они из своих партий, были на Мишке, некоторые даже на Бистре

Следовательно, были не из последних деятелей. Видя, что замысел их не удается, или одумавшись, они являлись добровольно к нашим отрядам.

Сюда же причислены те, которые, хотя не принимали деятельного участия в мятеже, но принимали участие в подготовке его и остались только впоследствии. Далее я представлю, — говорил прокурор, — более или менее сильные обвинения при суждении каждого отдельного преступника. Вообще же скажу, что розыски, сделанные для того, чтобы найти более сильные доводы против отдельных лиц, остались тщетными.

Все они являлись к начальству без оружия, но, конечно, оно было у них брошено только впоследствии. Явка начальству есть только маневр с их стороны для того, чтобы скрыть свое преступление. Вследствие всего этого обвинение видит в них особенно опасных участников мятежа, которые ловкими маневрами успели только скрыть следы своего преступления. Поэтому означенные преступники обвиняются в энергическом пособничестве мятежу.

В эту категорию вошли все те, которые хотя и принимали участие, по видимому, вооруженное, но сдались, не уходя за голыцы.

В суде все они показывали то же, т.-е., что если и пошли за другими, то потому, что не могли сопротивляться пришедшей в Култук толпе, у которой было оружие. К тому же Вронский страдал, что пустит пулю в лоб тому, кто ослушается и не пойдет. Затем на Мишихе некоторые получили оружие, но бросили его и сдались добровольно либо майору Рiku на Мантурихе, либо в Посольском, либо полковнику Черняеву, после схватки под Быстрой. Многие показывали, что были арестованы Шарамовичем, который запер около 30 человек в анимовье и поставил часовых. Конвойным не помогли оттого, что их балаганы были скрая, и когда пришел передовой отряд, то он налетел так внезапно, что перевязал конвойных раньше, чем можно было оказать им какую-либо помощь.

Против некоторых из подсудимых этой категории было по одному показанию, что их видели с оружием. Весьма немногие сознались, что, действительно, имели сперва оружие, но потом бросили его; другие же отрицали это, приводя иногда довольно правдоподобные объяснения против улик Багрянского, который указал на очень многих; иногда же подсудимый просто отрицал факт, говоря, что имел просто дубину или палку, чтобы опираться на нее во время дороги. Затем, действительно, были некоторые, доказывавшие свое неучастие в мятеже тем, что являлись м. Рiku в то время, когда он пришел на Мантуриху и ночевал вблизи Лихановой, следовательно, раньше схватки под Быстрой.

Во время расспросов, судьи старались узнать что-нибудь про начало восстания, но ответ был везде один и тот же, что раньше ничего не знали, хотя в этом же заседании оказалось, что как в Иркутске, так и в Култуке, были постоянные происки о назначении Шарамовича старостой. Действительно, одно время он был старостой, но его строгие правила (о которых он упоминал в своей записке) не понравились, и он должен был отказаться от своей должности. Но других указаний не удалось получить никаких. Также мало успешно было старание узнать, за что был смещен Рейнер; от всех получили только один ответ, что он был болен, — зубы болят, — или же, что

выбрали другого старосту, оттого что Рейнер был увезен передовым отрядом на Лиханово.

На 8-м заседании была суждена 5 партия, которую прокурор обвинял следующим образом. Главным образом,—говорил он,—обвинение относится к так называемой мантурихинской партии. Сперва она жила в Култукке, откуда, как известно, был подан первый сигнал к движению. В Култукке делались сборы и подготавливалось оружие; все это не было тайной и не могло оставаться скрытым. Сама она перешла за Байкал, в Мантуриху, добровольно; ясно, что был отряд надежных людей, который должен был взять Посольское, на что встречаются даже некоторые указания. Если главные виновники восстания возлагали это на мантурихинскую партию, то, конечно, люди, ее составлявшие, должны были, быть подготовлены: и если теперь эта партия (30 чел.) отнесена к 5 категории, то только потому, что против нее нет достаточного числа фактических данных. Вообще, все подсудимые этой категории более или менее знали о предстоявшем движении. В оправдание они ссылаются на неожиданность нападения; это неправда; они знали и не могли не знать о подготавливавшемся преступлении, особенно же мантурихинская партия, которой назначение было подготавливать умы других забайкальских партий. Если муринская партия может еще сослаться на принуждение, так как она имела дело с тремя култукскими партиями, то этого нельзя сказать о мантурихинской, имевшей дело с передовым отрядом. Эта партия была уважительная масса, которую не мог бы принудить идти отряд в 30 человек. Эта партия предполагала идти к Мишихе и затем отстала от мятежа, только заслыша о приближении войска; следовательно, была вынуждена отстать от задуманного преступления только силою внешних обстоятельств. В наших отрядах вышла эта партия только вследствие успешности действий наших войск. В случае же неудачи 200 сомнительных преступников готовы были двинуться на помощь другим. К 5 категории вообще отнесены преступники, действия которых наиболее подозрительны, тем более, что все они двигались с своих мест и в них должна была быть главная сила мятежа.

Отдельные обвинения приводились порознь для каждого подсудимого. Прежде всего был осужден один политический преступник Ауштадт, на которого падало подозрение в том, что он знал о приготовлениях к мятежу и принимал участие в совещаниях о нем. Он ездил,—говорил прокурор,—с Шарамовичем в култукский лазарет, не будучи болен; там, при тесноте помещения, он не мог не слышать происходивших разговоров; находясь же с Шарамовичем в хороших отношениях, даже должен был принимать в них участие. Против этого обвинения подсудимый приводил то, что оно основывается не на фактах, а на подозрениях; что, ездивши в лазарет, был действительно болен, так как во время сильного дождя в Мурино пробыл целую ночь в балагане, куда заливалась вода, и, не имея на себе сухой нитки, сушился потом целую ночь у огня, что видели конвойные; после этого заболел и был отправлен поручиком Лаврентьевым в лазарет, где был, действительно болен, что могут подтвердить смотритель лазарета и доктор. Шарамович же ему ничего не говорил. Возвращался назад с Шарамовичем, в Мурино, случайно, по неимению другой подводы.

Затем были призваны к суду 2 крестьянина култукской партии, укравшие у смотрителя станции дробовик, незадолго до мятежа. Это обстоятельство, как показывали некоторые, послужило к ускорению

начала мятежа. Действительно, 13 июня, в отсутствие смотрителя, два пьяных крестьянина забрался к нему в дом и, на виду оставшейся дома девочки, сняли со стены дробовик и бежали в лес. Один из них попался навстречу смотрителю, который погнался за ним. Тогда бежавший прицелился в смотрителя, но спустил курок у незаряженного ствола. Партия постаралась скрыть это обстоятельство, обещая расправиться с виновным своим судом. В оправдание свое обвиняемые показали, что были пьяны и не помнили, что делали, но председатель и прокурор указали им на то, что один из них помнит, что курка не спускал и что они бежали, следовательно, не были уж так пьяны. Хотя суд и старался дознать, кто подучивал их к этому, но ничего не удалось узнать.

Мантуркинская партия приводила в свое оправдание, что еще заранее 30 человек (3 балагана) заявляли есаулу Попову, что готовятся мятеж и что они не желают принимать в нем участие, за что товарищи хотят их перерезать. (Неудовольствие между этими двумя партиями началось еще раньше, когда десятник первого из балаганов, бывший артельщиком, не хотел выдать другому провизии на 13 человек, вместо 10, хотя тот и говорил ему, что у него в балагане 13 бродяг.) Это обстоятельство, — говорила партия, — заставило ее целую ночь пробить без сна, и послать патрули; г. Черняеву, оставшему их в таком положении, они объявили только, что боятся бродяг; есаула же Попова просили перевести их в другое место. Г. Попов отказал, — говорили подсудимые, — что все это пустяки, но что во избежание неудовольствий их перевезут туда, где товарищи и не найдут их. Г. Попов отверг это показание, говоря, что поляки говорили ему, что неудовольствия произошли потому, что часть не хотела жаловаться на то, что дают дурное мясо. Затем, в оправдание своего ухода из партии 26-го июня, все ссылалось на принуждение, которого не мог избежать и г. Попов; в доказательство же своего неучастия в мятеже обвиняемые приводили, что бежали с дороги, не доходя до Мишихи. Г. Попов подтверждает, что, действительно, передовой отряд, возвращаясь из Лихановой, выгонял всех из балаганов и гнал в Мишиху. К этому некоторые прибавляли, что г. Попов сам видел, что они шли неохотно, когда разговаривали с ним, за чаем и т. д. Пастух, пасший скот для политических преступников, отлучился с места, так как Шарамович приказал ему гнать скот в тайгу, что он сделал, но ушел в другую сторону и, пробыв в тайге 4 дня, вернулся и явился к русским, по уходе мятежников. Некоторые ссылались на показания конвойных, которые говорили, что такого-то видели шедшим с мятежниками, но без оружия. Другие же, наконец, говорили, что во время палибы под Быстрой сидели за кустами и смотрели, а когда все кончилось, пришли и явились полковнику Черняеву.

В эту же категорию попало несколько человек, явившихся в Пособьск, следовательно, по всем вероятностям, бывших под Лихановой. В свое оправдание они говорили, что заблудились в тайге, куда бежали при приближении вооруженных поляков. Наконец, сюда же были отвесены 7 человек из тех, которые были взяты отрядом войскового старшины Лисовского. Тут произошло следующее: с самого начала восстания 9 человек из находившихся на 5 версте от Мишихи в Буддуку, заявили свое нежелание принимать участие в мятеже. Потом, хотя они и тронулись с места, но тут же скрылись в тайгу; там же, сойдясь в числе девяти человек, вернулись к своим балаганам, где

и остались с 3 казаками. Во вторник, во время самой перестрелки, проходил мимо их балагана полковник Шац и разговаривал с ними; они просили его взять их с собою на лодку, но г. Шац отказал, так как у них не было провизии; посоветовал завтра послать на Мишиху за припасами и оставаться в шалаше. То же подтвердил архитектор Дружинин. Г. Черняев сам дал им конвойных, с которыми они и жили до субботы 2-го июля. Раньше еще стычки под Быстрой, они хотели в лодке ехать в Лиственичную, но казаки отговорили их, так как пускаться в лодке было небезопасно. Начиная со среды, они ходили на Мишиху, за провизией, и г. Прашутинский поручил им сзывать к себе всех, кого завидят шатающимися в тайге, что они и делали, так что к ним присоединился в среду один, Ционбайло, и еще двое в четверг. Конвойные, находившиеся при подсудимых, показали под присягою, что у них не было оружия, а были только топоры. В субботу все уже легли спать, в одном только балагане был огонь, у которого шил один из этих людей. Перед балаганом был разложен костер, балаганы же были изнутри заперты, завязаны веревками (все это подтверждают конвойные), когда вдруг подъехал к этим балаганам войсковой старшина Лисовский с казачьим отрядом и бурятами. В своем донесении он говорит, что около 2-го часу авангард заметил огонь и у огня людей; подошли и окликнули; ответ был: „поляки“. „Сдайтесь“. Но вместо этого люди заперлись в балагане; урядник бросился к балагану, повторяя „сдайтесь“, но вместо ответа ударили топором по ружью. Казак проколол одного из поляков штыком, урядника Пермяков ранил других; в балагане увидел одного убитого и 1 раненого, 2 бежали, оружия не найдено. Урядник показал то же, с тем однако, что г. Лисовский сам несколько раз выстрелил во внутрь балагана и убил одного, другого же ранил.

В своих оправданиях подсудимые сослались на г.г. Шаца. Дружинина, Черяева, Прашутинского и казаков, которые все подтвердили их показания. Казаки конвойные присягнули, что люди, за исключением четырех, ушедших за провизией, находились в балаганах, а не у огня. Как подсудимые, так и казаки показывают, что спали, когда налетел отряд г. Лисовского, о котором узнали потому, — говорили казаки, — что стали стрелять; другие же прибавляли, что выходили нагие по требованию Лисовского, либо что г. Лисовский, приставив пистолет к груди, разговаривал с ними; затем одного повалил и выстрелил ему в спину, других же бил и таскал за волосы, несмотря на уверения конвойных, что все тут находящиеся не принимали участия в мятеже. После этого в. ст. Лисовский связал их и угнал в Мишиху, при чем один, вышедший с папироской в зубах, подвергся тем же побоям, как и остальные. Один только, Ционбайло, убежал и был пойман впоследствии.

Прокурор заключил, что он основывает свое обвинение исключительно на донесении в. ст. Лисовского.

Суд долго спрашивал подсудимых порознь, равно и конвойных полк. Черяева и др., и, наконец, пришел к убеждению в их невинности, за исключением отст. матроса Ционбайло, который явился после дела под Мишихой, вероятно, сидел у огня, наделал суматоху и затем бежал.

На 9 и 10 заседаниях были суждены подсудимые 6 категории, разделенные на 2 половины. Эта категория состояла преимущественно (3.) из дворян мурынской и мишихинской партии. Прокурор обвинял

муринскую партию в том, что, имея среди себя Шарамовича, она не могла не знать о предстоящем движении, и вместо того, чтобы, принять какие-либо меры и отговаривать крестьян, вместо того, чтобы, наконец, остановить толпу крестьян, сама разбежалась в лес и тем очистила дорогу мятежникам. Дворяне подготавливали мятеж, все руководители дворяне, а потом, увидя недостаточность средств, они сами отказались и остались в стороне. Между тем, убежавши в лес, муринская партия дала возможность передовому отряду перевязать конвойных и беспрепятственно пройти дальше. Самое отступничество их, — говорил прокурор, — имеет все признаки положительного преступления, потому что люди этой категории участвовали в злоумышлении и содействовали ему нравственно. Поэтому прокурор признал их попустителями и укрывателями преступления, именуемого бунтом.

Прилагая те же общие соображения к мишихинской дворянской партии, прокурор говорил: как согласить их участие в подготовке к восстанию (отрицать которое немыслимо, имея в виду их влияние, наконец, то, что из среды их вышел Целинский), как согласить это с ролью, принятой ими в мятеже? Они самоуверенно остаются на месте и потом выходят навстречу войску. Между тем, все надежды возлагались агитаторами на дворянскую партию, — все шли к Мишихе; Шарамович был так уверен в их участии, что давал инструкции передовому отряду только до Мишихи. Но в Мишихе ждало Шарамовича разочарование еще худшее, чем то, которое он, по его собственным словам, встретил в Мурине; и если простолюдины оказались его орудием, то сам он оказался орудием в руках дворян. Ввиду фактов, прокурор находит, что стойкость дворянской партии, с первого раза жущаяся похвалой, — не более, как маневр. Дворянская партия должна была стать во главе движения, но доказано положительно, что мятеж сделан несвоевременно, без достаточных средств, и только потому, что во главе его стали не те люди, которым предназначалось стать. С получением известий о приходе войск, убедившись, что им предстоит неравный бой, а затем неприятное движение тайгой, дворяне решили с покорностью выйти навстречу войска. Но и это движение, — продолжал прокурор, — не более, как стратегическая уловка. Оставаясь между войском и мятежниками, они должны были необходимо принять участие, тогда как, становясь в тылу войск, они избрали стратегическое положение, чтобы начать действие в случае неудачи наших солдат. Это подтверждается их дальнейшими действиями. Они ходят в лес собирать убитых, передавая мятежникам известия с дороги, а может быть, и пищу; действительно, мятежники до тех пор держались в тайге, не переставая тревожить наших солдат, пока дворянская партия не была снята с дороги. Таким образом, эти 76 человек все делали, чтобы обеспечить успех мятежа, не компромет себя: они знали о нем и не донесли, не принимали никаких мер, чтобы предотвратить его, не действовали на массу, не оказали материального содействия нашему конвою, дозволяли обезоружить конвой, — а потому должны быть сочтены „попустителями преступления, именуемого бунтом“.

Оправдания подсудимых сводятся на следующее: 1) обвинение прокурора не основано на фактах; факты, напротив, за подсудимых; остались на месте, за что потерпели упреки, насмешки даже, в одном случае побой; знали недостаточность средств и не делали никаких приготовлений, не запасали даже обуви; некоторые убежали в тайгу.

но вскоре вернулись; 2) не сочувствовали восстанию, а даже уговаривали других не принимать участия и собрали около себя 80 человек; понимали очень хорошо, что если правительство выселило их из Польши ради политических целей, то не захочет оставить здесь так, а даст возможность завести хозяйство и приложить силы в краю невозделанном и нуждающемся в рабочих руках. Некоторые показали, что посылали заявить полк. Черняеву о своем желании не участвовать в мятеже, чрез Сурина и д-ра Красицкого. Г. Черняев подтвердил, что Сурин приходил и говорил, что многие не желают участвовать, но от своего имени, а не от имени партии; то же и д-р Красицкий, от которого полковн. Черняев впервые узнал, что большая часть дворянской партии намерена не принимать участия; 3) раньше ничего не знали, давали даже г. Черняеву денег на покупку вещей; если же было что-нибудь, то это не укрылось бы при характере польской нации; 4) конвойным не помогли оттого, что все сделалось внезапно и конвойные были в первом балагане от Мишнихи; за то был потом случай, что заступились за конвойных, позвали их в балаган и поручились, что волос не спадет с их головы; 5) если некоторые тронулись, то вследствие насилия, в подтверждение же последнего обвинения объявили, что с них, по приказанию Шарамовича, снимали сапоги (Шарамович подтвердил); 6) относительно стратегического положения, принятого партией, подсудимые приводили в оправдание, что в то время, когда в отряде м. Рика трубили отступление, поручик Керн спрашивал, что они будут делать, и получил ответ, что все пойдут за ним. При этом конвойных было всего 19 на 200 человек и, тем не менее, слыша крики отчаяния своих товарищей, никто из нас,—говорили подсудимые,—не тронулся с места. Следовательно, положение партии в тылу войск не могло быть стратегической уловкой; 7) убирать раненых ходили по приказанию г. Керна с конвойными; следовательно не могли иметь сношений с бродившими по лесу ¹⁾, и 8) пищи не могли носить, ибо у самих было мало.

На дальнейшие расспросы судей подсудимые отвечали, что сколько ушло—не знают; что Рейнера сменили, ибо передовой отряд увез его силой, надеясь, что партия пойдет за своим старостой; другие же говорили, что Рейнера сменили по болезни. За Целинским подзревали что-то и даже присматривали.

Муринская партия приводила в свое оправдание почти то же самое, и суд оправдал эту 6 категорию, за исключением двух человек.

На 11 заседании были, наконец, суждены подсудимые 7 категории. К этой категории прокурор отнес преступников разных партий, которые отказались идти за мятежниками, за что и были арестованы ими, а также те, которые были больны, в лазарете или же просто остались на местах.

Они обвиняются,—говорил прокурор,—в том, что, при громадности преступления, не могли не знать о нем, а между тем не предупредили о нем начальства. Из сего изъемятся лишь преступники, бывшие в Сухом Ручье, которые могли не знать об этом, ибо только что пришли из Пегровского завода. Кроме того, подсудимые 7 категории обвиняются в том, что не оказали серьезного сопротивления своим товарищам.

В оправдание свое подсудимые отвечали, что ничего не знали

¹⁾ В тайге нашли одного повешанного, Ивановского.

о подготовлявшемся и никогда не сочувствовали подобному мятежу, что даже оказывали ему сопротивление. Но что серьезного противодействия не оказали лишь потому, что были без оружия в то время, как прочие были вооружены.

Наконец, на 12 заседании было решено дело о вышеупомянутых 7 человеках, захваченных в ст. Лисовским, при чем эти люди были окончательно оправданы, за исключением одного, оставшегося в сильном подозрении. Да, кроме того, были суждены некоторые преступники, не спрошенные раньше за болезнью; наконец, был опять призываем Вронский.

Из показаний Вронского обнаружилось очень мало существенного. Искусно выгораживая себя, он постоянно повторял, что ничего не знал о подготовлявшемся бунте; что Квятковский и Ильяшевич ничего не говорили ему; но он, Вронский, заметил только, что подготовлялось что-то; знал о том, что многие не желают участвовать и что даже как-то раз ночью спорившие полезли-было на ножи; впрочем, ему удалось узнать, что существует деятельная организация, но не верил, чтобы ей удалось сделать что-либо, так как знал, что крестьяне в прошлом году, напр., так старательно работали на дороге около Посольска; Вронский убедился, что действительно готовится что-то только тогда, когда увидел, что Шарамович и Ильяшевич совещались о чем-то после порчи телеграфа, бывшей незадолго до 26 июня. Муринская партия не участвовала в беспорядках, желая быть самостоятельной, а мишихинская не знала, что делать, и все ждала Шарамовича. Затем Вронский продолжал уверять, что не был на Лихановой, а не доехавши 5 верст, остановился у балаганов, откуда в бинокль увидел войска, или же вернее показалось, что увидел войска, так как бинокль был плох, и вернулся сказать об этом Шарамовичу. Далее, забывая свое прежнее показание, что он отказался быть адъютантом при Шарамовиче ¹⁾, а шел простым солдатом, Вронский говорил, что во время дела под Быстрой находился при Шарамовиче, и, по его поручению, ездил узнавать, где находится Целинский, но, не найдя его, вернулся к Шарамовичу и сделал предложение, что Целинский вернулся за Быструю, — что могло согласоваться с его предположением идти в Монголию, в Ургу. Шарамович этому не поверил. Карабин Вронский получил от слесаря, который будто бы сделал его сам (?) в Лиственичной, для охоты за козами, утками и т. п.

После Вронского были еще суждены 5 человек больных из разных категорий, и тем комиссия заключила свои действия.

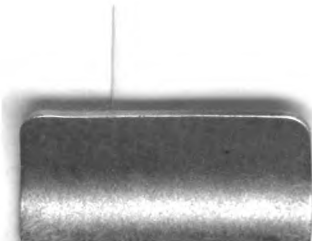
II. Кропоткин.

¹⁾ Народная молва говорит, что он был начальником штаба, что вероятно, так как он слушал в Генуе лекции Мерославского.

DK 1
.B982
New Ser.
no. 16-17



**DO NOT REMOVE
SLIP FROM POCKET**



DENCO

